

Джон Стейнбек

5

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

Джон Стейнбек

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

Том 5

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1989

84.7 США
С 79

Составление
и
общая редакция
С. С. И в а н ь к о

Иллюстрации художника
П. Н. П и н к и с е в и ч а

С $\frac{4703000000-1988}{080(02)-89}$ 1988—89

© Издательство «Правда». 1989.
(Составление. Перевод. Историко-литературная справка.
Иллюстрации.)

НА ВОСТОК ОТ ЭДЕМА

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Долина Салинас-Валли находится в северной Калифорнии. Лежит она между двумя цепями гор, и река Салинас, прежде чем влить свои воды в залив Монтерей, долго вьется и петляет по этой длинной и узкой полосе земли.

Я помню, какие названия носили здесь в пору моего детства травы и прятавшиеся среди них цветы. Помню, где водились лягушки; когда просыпались летом птицы; как пахли деревья и времена года, помню здешних людей, их лица, походку и даже запах. Память хранит множество запахов.

Я помню, как легко и радостно устремлялись ввысь горы Габилан к востоку от долины: солнечные, ласковые, они словно звали скорее забраться на их теплые склоны, тебя тянуло туда, как на колени к маме. Горы Габилан манили, их бурая трава сулила заботу и нежность. А западные горы Санта-Лусия, отгораживающие долину от океана, стояли на фоне неба темной угрюмой грядой — эти горы были неприветливые, грозные. То, что лежало на запад, вселяло в меня страх, зато я горячо любил все, что простиралось на восток. Объяснить такую страшную предвзятость могу, пожалуй, лишь тем, что утро спускалось в долину с пиков Габилан, а ночь поползала с уступов Санта-Лусии. Я видел, где день рождается и где умирает — может быть, отсюда и разное отношение к двум горным хребтам.

С обеих сторон долины в реку стекали из каньонов ручьи. В дождливые годы они превращались зимой в быстрые полноводные потоки, и река до того раздувалась, что порой, не умещаясь в берегах, гневно вскипала и принималась бушевать — ярость ее тогда бывала сокрушительной. Река обгрызала края усадеб и заливала поля; она опрокидывала дома, сараи, и они уплывали прочь, кренясь и под-

рагивая на волнах. Она ловила в свою западную коров, свиней, овец, топила их в мутной коричневой воде и уносила в океан. А потом, на исходе весны, река съеживалась, и проступали песчаные берега. Летом же река исчезала вовсе. Лишь кое-где под высокими откосами на месте глубоких водоворотов оставались лужи. Вновь вырастали трава и камыши, распрямлялись ивы, присыпанные мусором отступившего паводка. Настоящей рекой Салинас бывал всего несколько месяцев в году. Летнее солнце загоняло его под землю. Да, река у нас была не из лучших, но другой-то не было, и потому мы все равно ею хвастались — вон как бесится в дождливые зимы, а уж как пересыхает в сухое лето! Ведь что у тебя есть, тем и хвастаешься. И, может быть, чем меньше у тебя чего-нибудь, тем больше желание похвастаться.

В той своей части, что ниже предгорий, долина совсем ровная и плоская, потому что прежде здесь было дно морского залива. Устье Салинаса возле Мосс-Лендинга много веков назад было входом в лагуну, далеко вдававшуюся в сушу. Мой отец как-то раз взялся бурить колодец почти в самом центре долины. Бур прошел сквозь чернозем, сквозь гравий, а потом начался белый морской песок, в котором было множество ракушек и попадались даже кусочки китового уса. Слой песка уходил в глубину на двадцать футов, за ним снова пошел чернозем, и вдруг бур уткнулся в красную древесину, в обломок неподвластной времени и гниению калифорнийской секвойи. Должно быть, прежде чем стать заливом, долина была лесом. И все эти превращения произошли прямо у нас под ногами. По ночам мне иногда чудилось, будто я слышу гул моря, а сквозь него — шум леса, того леса, что был здесь еще раньше, чем залив.

Долину покрывал толстый плодородный слой почвы. Достаточно было одной богатой дождями зимы, и земля взрывалась травами и цветами. Весенние цветы в такие годы были неправдоподобно красивы. Всю долину и холмы предгорий устилали ковры из люпинов и маков. Когда-то одна женщина объяснила мне, что, если добавить в букет несколько белых цветов, соседние цветы покажутся ярче, их краски станут определеннее. У синего люпина каждый лепесток оторочен белым, и оттого поля люпинов — это такая синь, что невозможно себе представить. Среди этого синего моря брызгами рассыпались островки

калифорнийских маков. Маки тоже обжигали глаз яркостью: и не оранжевые, и не красные... такой цвет, наверно, был бы у сливок, снятых с чистого золота, будь оно жидкостью, наделенной свойствами молока. Отцветая, маки и люпины сменялись дикой горчицей, и ее стебли высоко вытягивались вверх. Когда мой дед только обосновался в долине, горчица здесь вырастала такой высокой, что по плечи скрывала всадника на лошади. Предгорья пестрели лютиками, мать-и-мачехой, анютиными глазками. А еще позже на холмах выступали красные и оранжевые пятна пушистой ястребинки. Все эти цветы не боялись солнца и росли на открытых местах.

А под виргинскими дубами, прячась от света, курчавился в тени приятно пахнувший венерин волос, над водой с мшистых берегов свешивались перья пышных папоротников и золотарник. Еще в долине росли светлые колокольчики: кремовые, похожие на крохотные фонарики, хрупкие и стыдливые, они встречались очень редко, и в них было столько волшебства, что, найдя такое чудо, ребенок радовался и гордился целый день.

В июне, вызрев, травы темнели, и холмы становились коричневыми, вернее даже не коричневыми, а то ли золотыми, то ли шафрановыми, то ли красными — этот цвет не опишешь. И до следующего сезона дождей земля сохла, а бег ручьев замирал. На ровном ложе долины появлялись трещины. Салинас мелел и хорошился под песком. По долине, подхватывая с земли пыль и травинки, гулял ветер: чем дальше он продвигался на юг, тем дул крепче и злее. Вечером он стихал. Ветер этот был колючий и резкий, а пыль, которую он нес, въедалась в кожу, от нее саднило глаза. Выходя в поля, люди надевали защитные очки и обвязывали лицо носовыми платками.

Верхний, пахотный слой земли был в долине глубокий и жирный, а холмы предгорий покрывала лишь тонкая корочка почвы, еле вмещающая в себя короткие корни трав, и чем выше ты поднимался в горы, тем эта корочка становилась тоньше, тем чаще торчали из нее камни, а потом полоса растительности обрывалась и оставался только сухой кремнистый гравий, ослепительно сверкавший на солнце.

Я рассказал, какими бывали благодатные годы, когда дожди приносили воду в избытке. Но случались и годы засушливые, повергавшие жителей долины в ужас. У чере-

ды дождливых и засушливых годов был свой тридцатилетний цикл. Пять-шесть лет подряд дождей шло вдоволь, то были изобильные годы — осадков выпадало от девятнадцати до двадцати пяти дюймов, и земля шумела травой. Потом шесть-семь лет уровень осадков колебался от двенадцати до шестнадцати дюймов, и людям жилось тоже неплохо. А потом приходили сухие годы, когда осадков набиралось всего семь-восемь дюймов. Почва пересыхала, травы, вызревая, оставались чахлой порослью, долину обезображивали широкие уродливые проплешины. Кора на дубах походила на струпья, полынь вырастала серой. Земля трескалась, ручьи высыхали, скотина вяло тыкалась носом в сухие кусты. И вот тогда-то земледельцы и скотоводы преисполнялись ненависти к долине. Коровы тощали, а то и просто дохли с голоду. Самую обычную питьевую воду надо было возить на фермы издалека, в бочках. Некоторые семьи за гроши продавали свои участки и перебирались в другие края. В засуху люди неизменно забывали об изобильных годах, а когда дождей хватало, напрочь выкидывали из памяти годы засушливые. Так уж повелось.

2

Вот такая была она, эта вытянувшаяся меж гор долина Салинас-Валли. Что до ее прошлого, то оно ничем не отличалось от истории всей Калифорнии. Сначала были индейцы — примитивный народец, ни тебе предприимчивости, ни изобретательности, ни культуры, — кормились разными там червяками, кузнечиками, улитками и были до того ленивы, что не занимались ни охотой, ни рыболовством. Что с земли подбирали, то и ели, ничего не сеяли и не сажали. Муку толкли из горьких желудей. Даже войны у них были не войны, а какое-то запудство с плясками.

Потом сюда стали засылать свои экспедиции жесткие, сухие испанцы: трезвомыслящие и алчные, они алкали золота и милости Божьей. Охотились они как за сокровищами, так и за людскими душами. Они прибирали к рукам горы и долины, реки и целые края, чем весьма походили на наших современников, выбивающих себе право застраивать обширные территории. Эти волевые, черствые люди без устали сновали по калифорнийскому побережью. Некоторые из них оседали на землях, пожалованных им испанскими королями — короли понятия не имели, что представ-

ляют собой эти подарки,— и каждый такой надел был величиной с небольшое княжество. Эти первые землевладельцы жили в бедных феодальных поселениях, скот их привольно пасся и плодился. Время от времени хозяева забивали скот, брали для своих нужд кожу и жир, а мясо оставляли стервятникам и койотам.

Испанцам приходилось давать названия всему, что они здесь видели. Такова уж неперемнная обязанность каждого первопроходца — обязанность и привилегия. Ведь надо же как-нибудь назвать то, что потом нанесешь на свою нарисованную от руки карту. Испанцы были, конечно же, люди религиозные, и вместе с солдатами в поход шли суровые неумолимые священники — это они умели читать и писать, вели путевые дневники и рисовали карты. А потому неудивительно, что названия различным местам давались в первую очередь по святым или в честь церковных праздников, приходившихся на дни привалов. Святых много, но их список не бесконечен, и среди наиболее ранних названий встречаются повторы. Так, в этих краях есть Сан-Мигель, Сант-Микаэль, Сан-Ардо, Сан-Бернардо, Сан-Бепито, Сан-Лоренсо, Сан-Карлос, Сан-Францискито. А в честь праздников: Нативидад (Рождество Христово), Насимьенто (Рождение Девы Марии), Соледад (Уединение). Названия местам давались и в зависимости от того, какие чувства владели членами экспедиции: Буэна-Эсперанса — добрая надежда; Буэна-Виста — кому-то понравился открывшийся вид; Чуалар — потому что уж больно красивое оказалось место. Затем следуют названия описательные: Пасо-де-лос-Роблес — там росли дубы; Лос-Лаурелес — вокруг были кусты лавра; Туларситос — привал, вероятно, сделали возле болота, поросшего камышами; Салинас — щелоченная почва в том месте была белая, как соль.

Есть также названия, поясняющие, каких птиц и животных довелось встретить путешественникам: Габилан — потому что над горами парили орлы; Топо — то есть крот; Лос-Гатос — дикие кошки. Иногда очертания и характер местности сами подсказывали названия: Тассахара — чашка на блюде; Лагуна-Сека — высохшее озеро; Корраль-де-Тиерра — земляной вал; Параисо — райский уголок.

А потом сюда пришли американцы, еще более алчные, потому что их было больше. Они присваивали земли и переделывали законы, чтобы прочнее закрепить за собой

право владения. И по всей Калифорнии рассыпались фермы-хутора, сперва в долинах, а потом и на склонах гор: бревенчатые домишки, крытые дранкой из красной секвойи и обнесенные частоколом. Рядом с любым ручейком тотчас возводили дом, и поселившаяся там семья начинала плодиться и размножаться. Во дворах высаживали герань и розы. На месте прежних тропинок пролегли колеи телег, а среди зарослей горчицы раскинулись квадраты полей, засеянных пшеницей, кукурузой, ячменем. На проторенных дорогах через каждые десять миль стояла кузница или лавка — они-то и положили начало мелким городкам вроде Брадли, Кинг-Сити, Гринфилда.

Американцы в отличие от испанцев предпочитали брать названия из обыденной жизни. Названия, появившиеся после заселения долин, часто связаны с разного рода событиями или происшествиями, и для меня такие названия намного интереснее прочих, потому что за каждым из них стоит какая-то забытая история. Например, Болса-Нуэва — новый кошелек; Морокохо — хромой мавр (кто он был, этот мавр, и как он здесь оказался?); каньон Уайлд-Хорс — дикая лошадь; Мустанг-Грейд — пригорок мустанга; каньон Шерт-Тейл — кончик рубашки... Уважительные и непочтительные, описательные, иногда поэтические, иногда насмешливые, названия эти несут в себе частицу души придумавших их людей. Именем Сан-Лоренсо можно назвать что угодно, а вот Кончик рубашки или Хромой мавр — это совсем другое дело.

По вечерам над поселками свистел ветер, и, чтобы с пашен не сдувало почву, фермеры начали сажать длинные ветрозащитные полосы эвкалиптов. Вот, пожалуй, и все о том, какой была Долина, когда мой дед перевез сюда свою жену и обосновался в предгорьях к востоку от Кинг-Сити.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Рассказывая о семье Гамильтонов, я вынужден во многом полагаться на слухи и толки, на старые фотографии, на слышанное с чужих слов и на расплывчатые воспомина-

ния, которые трудно отделить от домыслов. Гамильтоны ничем не прославились, и документированные сведения об их истории можно почерпнуть разве что из обычного набора свидетельств о рождении, браке, землевладении и смерти.

Молодой Самюэл Гамильтон родился на севере Ирландии, там же родилась и его жена. Происходил он от мелких фермеров, не богатых, но и не бедных, веками живших на одном и том же клочке земли, в одном и том же каменном доме. Все Гамильтоны были на удивление образованны и начитанны; среди их родни попадались люди как весьма знатные, так и совсем простые, что, впрочем, не редкость в том зеленом краю: там один из твоих двоюродных братьев может быть баронетом, а другой — нищим. Ну и, конечно, как все ирландцы, Гамильтоны вели свой род от древних ирландских королей.

Почему Самюэл Гамильтон покинул каменный дом и зеленые поля своих предков, мне неизвестно. Политикой он не занимался, так что вряд ли оставил родину из-за причастности к мятежам; к тому же он был человек безупречной честности, а следовательно, версия бегства от полиции тоже исключается. У нас дома иногда шепотом намекали — это была лишь робкая, интуитивная догадка и утверждать такое открыто мы не решались, — что на чужбину его погнала любовь, но любовь совсем не к той женщине, на которой он женился. Возможно, эта любовь расцвела слишком пышным цветом, а может быть, он сбежал от мук неразделенной любви — не знаю. Нам больше нравился первый вариант. Самюэл был красивый, обаятельный, веселый. Трудно допустить, что в ирландской деревушке нашлась бы гордячка, способная его отвергнуть.

В Салинас-Валли он переселился в самом расцвете лет, полный сил, энергии и фантазии. Глаза у него были голубые-голубые, а когда он уставал, один глаз чуть косил вверх. Самюэл был рослый, большой, но в нем ощущалась некая хрупкость. Кто возится с землей, обязательно перепачкается, а на Самюэле, казалось, никогда ни пылинки. У него были золотые руки. И кузнец отличный, и плотник, и столяр, он из кусочков дерева и металла мог смастерить что угодно. И еще он вечно придумывал, как по-новому, быстрее и лучше делать что-то давно известное, а вот талантом зашибать деньги Бог, увы, его не наградил. Другие, у кого имелся такой талант, воровали идеи Самюэла,

продавали их и богатели, Самюэл же всю жизнь едва сводил концы с концами.

Не знаю, что направило его стопы в нашу Долину. Выходец из зеленого края, он мог бы присмотреть место и поприличнее. Как бы там ни было, за тридцать лет до начала двадцатого века он приехал в Салинас-Валли и привез с собой из Ирландии жену, крошечную женщину с жестким твердым характером, напроць, как курица, лишенную чувства юмора. Она была непреклонна в своих суровых пресвитерианских воззрениях, и если бы все разделяли ее строгие понятия о морали, от большинства радостей жизни не осталось бы мокрого места.

Я не знаю, ни где Самюэл с ней познакомился, ни как за ней ухаживал, ни какой была их свадьба. Мне думается, в глубинах его сердца навечно сохранился образ другой девушки, ибо Самюэл был натура страстная, а жена его, не в пример иным, воли чувствам не давала. Но, несмотря на это, нет и тени сомнения, что за годы, прожитые Самюэлом в Салинас-Валли, то бишь с юности и до самой смерти, он ни разу не наведася ни к одной другой женщине.

Когда Самюэл и Лиза приехали в Долину, там уже были разобраны все равнинные земли, все богатые плодородной почвой низины, ложбинки в предгорьях, все поросшие лесом балки, но дальние окраины оставались еще не заселенными, и вот там-то, в голых холмах к востоку от будущего Кинг-Сити, обосновался Самюэл Гамильтон.

По заведенному обычаю он взял четвертину¹ на себя, четвертину на Лизу и, поскольку она тогда была беременна, еще четвертину на ребенка. Со временем у Гамильтонов родилось девять детей — четыре мальчика и пять девочек, — и при рождении очередного сына или дочери к ранчо добавляли еще по четвертине, так что в конце концов набралось одиннадцать четвертин, то есть тысяча семьсот шестьдесят акров.

Будь эта земля получше, Гамильтоны стали бы богачами. Но земля была твердая и сухая. Ни ручьев, ни родников, а слой почвы до того тонкий, что камни выпирали сквозь него, как ребра сквозь кожу. Даже полынь, чтобы

¹ Четвертина (160 акров) — земельная мера, применявшаяся в США при заселении неосвоенных земель. — Здесь и далее примечания переводчиков.

здесь выжить, боролась из последних сил, а дубы из-за нехватки влаги вырастали недомерками. Даже в годы, когда дождей выпадало достаточно, травы здесь было так мало, что скотина в поисках корма носилась по участку наперегонки и оставалась тощей. С высоты своих голых холмов Гамильтоны любовались зеленью по берегам Салинаса и изобильными землями, лежавшими к западу, в низине.

Дом Самюэл построил своими руками, а еще построил амбар и кузницу. Очень скоро он понял, что, будь у него здесь хоть десять тысяч акров, безводные, каменистые холмы не прокормят его семью. Его золотые руки смастерили буровой станок, и Самюэл начал бурить колодцы на участках более удачливых поселенцев. Он построил молотилку собственного изобретения и во время сбора урожая разъезжал с ней по нижним фермам, обмолачивая чужое зерно, потому что его земля зерна не родила. А в кузнице он точил лемехи плугов, чинил бороны, сломанные оси телег и подковывал лошадей. Со всей округи к нему возили чинить и подправлять разный инструмент. К тому же людям нравилось слушать рассуждения Самюэла о судьбах мира, о поэзии, философии и обо всем прочем, что существовало где-то за пределами Долины. У него был сочный низкий голос, приятно звучавший и в песне, и в беседе, и хотя Самюэл говорил без типичного ирландского акцента, его речи были свойственны напевность, особая мелодичность и мерный ритм, ласкавшие слух молчаливых фермеров с нижних земель. Вместе с инструментом частенько привозилась бутылка, и, отойдя подальше от окна кухни и осуждающих очей миссис Гамильтон, мужчины прикладывались к горлышку и зажевывали запах виски зелеными стебельками дикого аниса. Редко случался такой, верно совсем незадавшийся день, когда в кузнице собралось бы меньше трех-четырех человек: обступив горн, они слушали, как Самюэл стучит молотком и рассказывает свои байки. Вот уж кто шутить мастер, говорили про него фермеры; они старательно запоминали услышанное, а потом недоумевали, почему по дороге домой вся соль из этих историй куда-то пропадает — когда они пересказывали их у себя на кухне, получалось совсем не то.

Буровой станок, молотилка и кузница, казалось бы, должны были принести целое состояние, но у Самюэла не было жилки настоящего дельца. Его заказчики, вечно стес-

ненные в средствах, сначала обещали расплатиться после сбора урожая, потом — после Рождества, потом просили подождать еще, и в конце концов забывали вернуть долг. Напоминать же у Самюэла язык не поворачивался. И потому Гамильтоны жили в бедности.

Дети у них рождались один за другим: что ни год, то сын или дочь. Врачей в округе не хватало, работы у них было по горло, и принимать роды на далеких фермах они выбирались лишь в тех редких случаях, когда радость превращалась в кошмар и роды затягивались на несколько суток. Самюэл Гамильтон сам принимал роды у своей жены все девять раз: аккуратно перевязывал пуповину, шлепал младенца по попке и наводил в комнате роженицы порядок. При рождении его первенца возникло осложнение, и ребенок начал синеть на глазах. Самюэл прижал губы ко рту малыша и вдвух ему в легкие воздух до тех пор, пока тот не задышал самостоятельно. У Самюэла были такие толковые и добрые руки, что соседи с ферм за двадцать миль от его собственной не раз звали его помочь при родах. И он одинаково умело облегчал появление на свет и детям, и телятам, и жеребят.

На полке у него, с краю, чтобы далеко не тянуться, стояла толстая черная книга, на обложке которой было вытиснено золотом «Доктор Ганн. Семейный справочник по медицине». Одни страницы были загнуты и от частого пользования обтрепались, другие же, судя по их виду, не открывались ни разу. Пролистать эту книгу — все равно что познакомиться с историей болезни, заведенной на семью Гамильтонов. Вот разделы, куда заглядывали наиболее часто: переломы, порезы, ушибы, свинка, корь, ломота в пояснице, скарлатина, дифтерит, ревматизм, женские болезни, грыжа, ну и конечно, все, что связано с беременностью и родами. Может быть, Гамильтонам просто везло, а может быть, они были людьми высокой нравственности, но страницы, посвященные сифилису и гонорее, остались неразрезанными.

Никто не умел так, как Самюэл, успокоить бьющуюся в истерике женщину или до слез напуганного ребенка. Потому что речь его была ласкова, а душа нежна. От него веяло чистотой — в чистоте он держал и свое тело, и мысли. Заходя в кузницу потолковать с ним и послушать его рассказы, мужчины на время переставали материться, но не

потому что кто-то мог их одернуть, а совершенно невольно, словно чувствовали, что здесь дурным словам не место.

Самюэл навсегда сохранил в себе что-то неамериканское. Жители долины чувствовали в нем иностранца — возможно, из-за необычной мелодики его говора, — но именно это обстоятельство побуждало мужчин да и женщин тоже делиться с ним тем сокровенным, о чем они не рассказали бы даже своим родственникам и близким друзьям. Было в нем нечто нездешнее, отличавшее его от всех остальных, и потому люди доверялись Самюэлу без опаски.

А вот Лиза Гамильтон была ирландкой совсем другого разлива. Голова у нее была круглая и маленькая, но для содержащихся там убеждений не требовалось много места. Носик у Лизы был приплюснут, как пуговка, зато челюсть, не внемля призывам ангелов к смирению, воинственно выпирала вперед упрямым, чуть вдавленным подбородком.

Лиза хорошо готовила простую пищу, и в ее доме (а дом действительно был в ее полномочном ведении) все было всегда вычищено, отдраено и вымыто. Частые беременности не слишком умеряли ее усердие по хозяйству — лишь когда до родов оставалось не более двух недель, она давала себе передышку. Строение ее бедер и таза, вероятно, наилучшим образом отвечало женскому предназначению, потому что детей она рожала одного за другим, и все они рождались крупными.

У Лизы были весьма четкие понятия о греховности. Проводить время в праздности — грех, и играть в карты — грех (по ее понятиям, игра в карты тоже была занятием праздным). Настороженно относилась она и к любому веселью, будь то танцы, песни или просто смех. Чутье подсказывало ей, что, веселясь, люди приоткрывают душу проискам дьявола. А это уж совсем никуда не годилось, тем более что ее собственный муж очень любил посмеяться — душа Самюэла, полагаю, была открыта проискам дьявола нараспашку. И Лиза, как могла, оберегала мужа.

Волосы она гладко зачесывала назад и стягивала на затылке в строгий узел. Поскольку я совершенно не помню, как она одевалась, думаю, что ее одежда в точности соответствовала ее сути. Юмором она была обделена начисто, хотя иногда, крайне редко, могла вдруг полоснуть кого-нибудь острой, как бритва, насмешкой. Внуки боялись ее, потому что за ней не водилось никаких слабостей. Мужест-

венно и безропотно несла она сквозь жизнь бремя страданий, убежденная, что только так велит Господь жить нам всем. Награда за муки придет позже, верила она.

2

Когда переселенцы, особенно из числа мелких европейских фермеров, воевавших друг с другом за каждый овраг и пригорок, впервые попадали на американский Запад и видели, сколько земли готовы здесь отвалить любому, стоит только расписаться на бумажке и заложить фундамент хибары, от жадности на них словно нападала лихорадка. Они стремились захватить как можно больше — желательно, конечно, хорошей земли, но вообще-то сойдет любая. Возможно, их подзуживала атавистическая память о феодальной Европе, где достигнуть величия и сохранить его были способны лишь семьи, владевшие собственностью. Первые колонисты расхватывали земли, которые были им не нужны и которым они не находили потом применения: они хватали ни на что не годные участки только ради того, чтобы владеть ими. И все нормальные взаимосвязи нарушились. Если в Европе для безбедной жизни тебе, вероятно, хватило бы и десяти акров земли, то в Калифорнии даже на двух тысячах акров ты мог остаться нищим, как церковная мышь.

Довольно скоро вся голая бугристая земля близ Кинг-Сити и Сан-Ардо тоже была разобрана, и семьи бедняков, расселившись по холмам, сражались с тощей кремнистой почвой, чтобы наскрести на хлеб насущный. Эти люди, как койоты, обретались по пустынным обочинам изобильного оазиса и, как койоты, с отчаяния придумывали хитроумные уловки. Они прибыли сюда без денег, без необходимого снаряжения, не располагали ни орудиями труда, ни кредитом, и — что хуже всего — не располагали ни малейшими сведениями об этом новом крае, о том, как использовать его себе во благо. Я не знаю, что толкнуло их на этот шаг — божественная глупость или великая вера? Зато точно знаю другое: в наши дни подобный дух авантюризма почти исчез. Несмотря ни на что, эти люди выживали, их семьи росли. Ибо судьба дала им орудие, или, если угодно, оружие, которое в наши дни тоже исчезло из обихода, хотя, может быть, о нем лишь на время забыли

и оно пылится где-то, дожидаясь своего часа. Существует спорное утверждение, что, поскольку эти люди искренне считали Бога честным и справедливым, они вкладывали в акции его фирмы свой основной капитал — веру, после чего могли уже не тревожиться о результатах своих прочих, куда менее важных вложений. Но мне кажется, дело было в другом: эти люди верили в свои силы и уважали себя, они не сомневались, что представляют собой ценность и способны стать моральным ядром нового будущего — именно поэтому они могли отдать Богу в залог свою отвагу и достоинство, а потом получить их обратно. В наши дни такое тоже исчезло — возможно, потому что люди разучились верить в собственные силы, и когда вдруг надо рискнуть, предпочитают найти сильного, уверенного в себе человека и увязаться за ним по пятам, хотя, может быть, он идет совсем не в ту сторону.

Многие приезжали в Долину без гроша в кармане, но попадались и люди денежные, из тех, кто перебирался сюда строить новую жизнь, предварительно распродав свое имущество в других краях. Землю они обычно покупали, но обязательно хорошую, дома строили из теса, на полу у них лежали ковры, в деревянных переплетах окон красовались ромбики цветного стекла. И людей этой породы здесь было немало, они осваивали лучшие земли долины, расчищали желтые горчишные заросли и сеяли пшеницу.

Одним из таких был Адам Траск.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Адам Траск родился на ферме в окрестностях маленького городка, расположенного поблизости от другого, тоже не слишком большого города в штате Коннектикут. Адам был в семье единственным ребенком и родился в 1862 году, спустя полгода после того, как его отец записался в Коннектикутский пехотный полк. В отсутствие мужа миссис Траск одна вела на ферме все хозяйство, вынашивала Адама и, несмотря на занятость, выкраивала время для приобщения к началам теософии. Она была уверена, что

свирепые дикари-мятежники непременно убьют ее супруга, и потому готовилась к встрече с ним на том свете — «за пределами», как она говорила. Но супруг вернулся через полтора месяца после рождения Адама. Правая нога у него была отрезана по колено. Он приковылял на кривой деревяшке, которую собственноручно вырезал из бука. Деревяшка уже успела растрескаться. Войдя в гостиную, он вынул из кармана и положил на стол свинцовую пулю, которую ему дали в госпитале, чтобы он кусал ее зубами, пока хирурги отпиливали ошметки его ноги.

Сайрус, отец Адама, был, что называется, лихой мужик — бесшабашность отличала его с юности, — он гонял на своей двуколке как черт и держал себя так, что деревянная нога, казалось, лишь придавала ему особый шик и молодцеватость. Своей солдатской службой, правда, очень недолгой, он остался доволен. От природы загульному, ему пришлось по душе краткосрочная подготовка новобранцев, куда наряду со строевыми занятиями входили пьянки, игра в кости и визиты в бордель. Потом с частями пополнения он двинулся на юг — этот поход ему тоже понравился: солдаты любовались новыми краями, воровали кур и гонялись по сеновалам за дочерьми мятежников. Он не успел устать от серой тягомотины отступлений, наступлений и боев. Противника он впервые увидел весенним утром в 8.00, а уже в 8.30 был ранен тяжелым снарядом, непоравимо разворотившим ему правую ногу. Но Сайрусу и тут повезло, потому что мятежники отступили, и полевые врачи прибыли на место сражения немедленно. Да, конечно, Сайрус пережил пять минут кошмара, когда ему обстригали клочья мяса, отпиливали кость и прижигали открытую рану. Подтверждение тому — следы зубов на свинцовой пуле. И пока рана заживала в свойственных тогдашним госпиталям крайне антисанитарных условиях, он тоже изрядно настрадался. Но Сайрус был живуч и самонадеян. Он все еще скакал на костылях и только начал вырезать себе ногу из бука, когда подцепил солидную порцию необыкновенно лютых гонококков от юной негритянки, которая свистнула ему из-за штабеля досок и взяла потом десять центов. Завершив изготовление ноги и по болезненным симптомам поставив себе верный диагноз, Сайрус несколько дней вприпрыжку отыскивал свою возлюбленную. Он знает, что он с ней сделает, говорил он соседям

по палате. Он отрежет ей перочинным ножом уши и нос, а потом заберет свои деньги обратно. Обстригивая деревянную ногу, он показывал приятелям, как он искромсает эту подлюгу. «Когда я с ней разделаюсь, мордашка у нее будет — обхохочешься, — говорил он. — Такое из нее сотворю, что к ней даже пьяный индеец не полезет». Но владычица его сердца, видимо, чутьем догадывалась об этих намерениях, потому что Сайрус так ее и не нашел. К тому времени, когда Сайруса выписали из госпиталя и освободили от военной службы, его гонорей уже слегка подыстилась. И когда он вернулся домой в Коннектикут, оставшихся гонококков ему хватило лишь на то, чтобы заразить свою жену.

Миссис Траск была женщина бледная и замкнутая. Самым жарким лучам солнца не дано было окрасить ее щеки румянцем, и, как бы весело ни смеялись вокруг, уголки ее рта никогда не ползли вверх. Религию она использовала в лечебных целях, врачую с ее помощью недуги мира и собственную душу; когда же характер ее страданий менялся, она вносила поправки и в религию. Теософская концепция, которую она разработала для воссоединения с покойным супругом, оказалась ненужной, и миссис Траск стала деловито подыскивать себе новое несчастье. Ее усердие было незамедлительно отмечено наградой в виде инфекции, которую Сайрус принес домой с поля брани. Обнаружив нарушения в своем организме, миссис Траск сейчас же сконструировала новую теологическую модель. Бога-воссоединителя она заменила богом-мстителем — по мнению миссис Траск, это божество наиболее удачно отвечало ее потребностям, — и, как вскоре выяснилось, он стал ее последним творением. Ей не стоило труда усмотреть прямую связь между своим недомоганием и теми определенными свойствами снами, что изредка посещали ее, пока Сайрус был на войне. Но болезнь была явно недостаточной карой за развратные ночные грезы. А ее новый бог знал толк в наказаниях. И он требовал от нее жертвы. Она долго прикидывала, чем бы ей пожертвовать, чтобы в полной мере испытать сладкую муку унижения, и почти обрадовалась, найдя ответ — в жертву она принесет себя. Сочинение последнего письма, включая окончательную редакцию и исправление орфографических ошибок, заняло у нее две недели. В этом письме она созналась в злодея-

ниях, которые никак не могла совершить, и повинилась в грехах, намного превосходивших ее возможности. Затем, одетая в сшитый тайком саван, вышла лунной ночью из дома и утопилась в пруду, таком мелком, что ей пришлось стать на четвереньки и долго держать голову под водой. Эта процедура потребовала величайшей силы воли. Наконец, ее сознание начало медленно растворяться в обволакивающей теплоте, и в этот миг миссис Траск с досадой подумала, что наутро, когда ее вытащат из пруда, весь перед белого батистового савана будет вымазан в грязи. Так и случилось.

Свою утрату Сайрус Траск оплакивал в обществе бочонка виски и трех друзей-однополчан, которые заглянули к нему по дороге домой в штат Мэн. Крошка Адам в начале скорбного ритуала громко кричал, потому что поминавшие не умели обращаться с детьми и забыли его покормить. Но Сайрус вскоре нашел выход. Макнув в бочонок тряпицу, он дал малышу пососать ее, и после тоекратного освежения соски юный Адам заснул. По ходу оплакивания он несколько раз просыпался, но, едва подавал голос, ему тут же совали смоченную в виски тряпочку, и дитя снова погружалось в сон. Младенец пропьянствовал два с половиной дня. Даже если этот запой как-то отразился на умственном развитии ребенка, он тем не менее благотворно повлиял на его обмен веществ: с той поры Адам всегда отличался железным здоровьем. По истечении трех дней, когда его отец наконец вышел из дома и купил козу, Адам с жадностью набросился на молоко: он досыта напился, потом его вырвало, потом он снова принялся пить, и его снова затошнило. Отец несколько не встревожился, потому что с ним в это время происходило то же самое.

Через месяц Сайрус Траск остановил свой выбор на семнадцатилетней девушке с соседней фермы. Ухаживание было коротким и деловым. Намерения Сайруса не вызывали сомнений. Они были благородны и разумны. Отец девушки поощрял этот роман. У него было еще две дочери помоложе, а Алисе уже стукнуло семнадцать. Предложение выйти замуж она получила впервые.

Сайрусу было нужно, чтобы кто-то нянчил Адама. Ему было нужно, чтобы кто-то поддерживал в доме порядок и стряпал, а прислуга стоила денег. Он был здоровый, сильный мужчина, и ему было нужно рядом женское тело,

а оно тоже стоило денег — если, конечно, ты на этом теле не женат. Вздыханья, свиданья, помолвка, венчанье — со всем этим Сайрус управился за две недели, и наутро после свадьбы Алиса была уже беременна. Соседи не сочли женитьбу вдовца поспешной. В те времена мужчины обычно успевали за свою жизнь угробить три, а то и четыре жены, и ничего необычного никто в этом не усматривал.

Алиса Траск обладала рядом замечательных качеств. Полы она отскребала добела, углы выметала дочиста. Красотой не блистала, так что караулить ее не требовалось. Глаза у нее были бесцветные, лицо желтое, зубы кривые, зато здоровья ей было не занимать, и во время беременности она ни на что не жаловалась. Любила ли она детей, неизвестно и поныне. Никто ее об этом не спрашивал, а сама она открывала рот, только когда к ней обращались с вопросом. С точки зрения Сайруса, это качество было, вероятно, ее величайшей добродетелью. Собственных суждений и мнений она не высказывала, а когда в ее присутствии говорил мужчина, придавала лицу внимательное выражение — мол, я слушаю, — но от домашних дел не отрывалась.

Юность, неопытность и бессловесность Алисы — все это, как выяснилось, сыграло Сайрусу на руку. Продолжая трудиться на своей ферме столько же, сколько трудились на таких же фермах его соседи, он открыл для себя новое поприще — поприще ветерана. И тот избыток энергии, который прежде находил выход в загулах, ныне привел в движение мыслительный аппарат Сайруса. Сведения о характере и продолжительности его службы под стягом сохранились разве что в Военном министерстве. Деревянная нога наглядно подтверждала боевое прошлое Сайруса и в то же время служила гарантией, что воевать его больше не пошлют. О своем участии в войне он рассказывал Алисе сперва довольно робко, но по мере того, как росло его мастерство рассказчика, росло и величие описываемых им баталий. И если в самом начале он твердо сознавал, что врет, то уже очень скоро с не меньшей твердостью верил, что все его выдумки — правда. До армии он не слишком интересовался военным делом; теперь же он покупал все посвященные войне книги, изучал все сводки, подписался на нью-йоркские газеты и сидел над картами. Прежде он довольно смутно разбирался в географии, а его познания в тактике и стратегии вообще равнялись нулю;

теперь он стал авторитетом в военной науке. Он мог не только перечислить все битвы, марши, походы, но и называть действовавшие в них соединения и части, вплоть до полков, о которых знал все, включая историю и место их формирования, а также имена командиров. И повествуя о боях, он проникался убеждением, что участвовал в них лично.

Процесс этот развивался постепенно, тем временем Адам и его младший сводный брат Карл успели подрасти. Мальчики хранили почтительное молчание, когда отец раскладывал по полочкам мысли каждого генерала, поясняя, как эти генералы составляли планы сражений, в чем были их ошибки и как следовало бы поступить правильно. Он рассказывал, что, углядев тактический просчет — а подобные оплошности он всегда замечал вовремя, — он каждый раз пытался растолковать Гранту и Макклеллану их заблуждения и умолял согласиться с его анализом боевой обстановки. Они же неизменно отклоняли его советы, и лишь потом исход событий подтверждал его правоту.

Но кое в чем Сайрус Траск все же ограничивал свою фантазию и, думается, поступал мудро. Ни в одном из рассказов он ни разу не повысил себя даже в капралы. От начала до конца своей военной карьеры рядовой Траск оставался рядовым. Если бы мы свели его рассказы воедино, то неизбежно пришли бы к выводу, что за всю историю войн на свете не было другого такого мобильного и вездесущего солдата. Исходя из его рассказов, он должен был находиться минимум в четырех местах одновременно. Но, вероятно, повинувшись инстинкту, он никогда не описывал разные битвы в одном и том же рассказе. У Алисы и у сыновей Сайруса сложилось о нем ясное и полное представление: простой солдат, рядовой, гордящийся своим званием; человек, который не только оказывался в гуще боя во всех наиболее ярких и значительных сражениях, но и запросто наведывался на совещания штабов, где порой соглашался, а порой расходился во мнениях с генералами.

Смерть Линкольна была для Сайруса будто удар под дых. Он часто вспоминал, какое горе охватило его, когда он впервые услышал скорбную весть. Стоило ему или кому-то другому упомянуть об этом событии, как у Сайруса наворачивались на глаза слезы. И у всех возникала непоколебимая уверенность, что он был одним из самых близ-

ких, горячо любимых и доверенных друзей Линкольна, хотя ничего подобного Сайрус не заявлял никогда. Если мистера Линкольна интересовало настроение в войсках — настроение истинных воинов, а не всех этих самодовольных болванов в золотых галунах,— он обращался только к рядовому Траску. Сайрус умудрился вселить это убеждение в окружающих, не подкрепив его ни единым словом, то был триумф хитроумного искусства недомолвок. Никто не посмел бы назвать его лжецом. По той простой причине, что ложь вошла в его плоть и кровь, и от этого даже правда, слетая с его уст, отдавала враньем.

Еще в сравнительно молодом возрасте он начал писать письма, а потом и статьи, комментируя недавнюю войну, и выводы его были разумны и убедительны. Сайрус действительно развил у себя мышление блестящего стратега. Критика, которой он подвергал как былые промахи полководцев, так и поныне сохранявшуюся в армии неразбериху, разила наповал. Его статьи появлялись в различных журналах и привлекали внимание. Его письма в Военное министерство, одновременно публиковавшиеся в газетах, стали активно влиять на решение армейских проблем. Возможно, не превратись Союз воинов республики¹ в осязательную и целенаправленную политическую силу, выступления Сайруса не вызывали бы в Вашингтоне такого громкого эха, но он выступал от имени блока, насчитывавшего почти миллион человек, и с этим обстоятельством приходилось считаться. Так голос Сайруса Траска приобрел вес в военных делах. Дошло до того, что с Сайрусом советовались о структуре армии, об отношениях внутри офицерства, по кадровым проблемам и вопросам вооружения. Любой, кто его слышал, сразу понимал, что он большой специалист. У него были необыкновенные способности к военной науке. Более того, он был одним из тех, благодаря кому СВР стал сплоченной мощной организацией, игравшей заметную роль в жизни страны. Сайрус несколько лет занимал в этой организации различные неоплачиваемые должности, но потом выбрал платный пост секретаря и оставался на нем до самой смерти. Он колесил по Америке из конца в конец, участвуя в съездах, сборах и слетах. Такова была его общественная жизнь.

¹ Союз воинов республики (СВР) — организация ветеранов вооруженных сил США, возникшая в 1866 г. и существовавшая до 1949 г.

Личная жизнь Сайруса также несла на себе глубокий отпечаток его новой профессии. Он был натура цельная. И в доме, и на ферме он ввел армейские порядки. Обстановка на хозяйственном фронте докладывалась ему, как он того требовал, в форме рапортов. Возможно, Алису это даже больше устраивало. Она не умела вести долгие разговоры. Коротко отрапортовать было для нее гораздо проще. Дни ее были заполнены заботами о подрастающих детях, уборкой дома, стиркой. К тому же, теперь она была вынуждена беречь себя, хотя ни в одном рапорте об этом не упоминала. Случалось, ни с того ни с сего на нее накатывала слабость, и тогда Алиса садилась куда-нибудь в уголок и ждала, пока вернутся силы. По ночам простыни у нее промокали от пота. Все это называлось чахоткой, и Алиса прекрасно знала, чем она больна; сухой, выматывающий кашель был лишь дополнительным подтверждением. Не знала она другого — сколько еще проживет. Некоторые угасали долго, годами. Никакого общего правила тут не было. Возможно, она просто боялась сказать мужу о своем недуге. Все болезни Сайрус лечил собственными методами, похожими скорее на экзекуцию. Если кто-то в семье жаловался, что у него болит живот, ему прочищали желудок, причем такой мощной дозой слабительного, что было даже странно, как человек после этого не умирал. Если бы Алиса проговорила, что больна, Сайрус вполне мог изобрести лечение, которое свело бы ее в могилу еще раньше, чем чахотка. А кроме того, с тех пор, как Сайрус приступил к военизации быта, его жена успешно овладела навыками, без которых солдату не уцелеть. Она старалась не попадаться на глаза, ни с кем не заговаривала первая, делала не больше того, что входило в ее обязанности, и не стремилась к повышению. Она превратилась в безликого рядового, в седьмые штаны в десятом ряду. Ей так было легче. Все дальше отодвигая себя на задний план, Алиса добилась того, что Сайрус вскоре вообще перестал ее замечать.

А вот сыновьям пришлось хлебнуть от него сполна. Сайрус считал, что хотя армия по-прежнему весьма не совершенна, ремесло военного — единственная достойная профессия для мужчины. Ему было горько сознавать, что из-за деревянной ноги он не может навсегда остаться солдатом, зато для своих сыновей он видел только один путь в жизни — армию. Настоящий военный, считал он, полу-

чится лишь из того, кто побывает в шкуре рядового, то есть пройдет ту же школу, что прошел он сам. Тогда человек узнает, почем фунт лиха, на собственном опыте, а не по учебникам и схемам. Его сыновья еще только начинали ходить, а он уже принялся учить их строевой подготовке с оружием. Ко времени поступления в начальную школу маршировать сомкнутым строем стало для них такой же естественной привычкой, как дышать, и муштра успела осточертеть хуже горькой редьки. На занятиях отец не давал им спуска и отбивал ритм деревянной ногой. Он отправлял их в многомильные походы и, чтобы плечи у них окрепли, заставлял тащить рюкзаки, набитые камнями. Постоянно работая над повышением меткости их стрельбы, он проводил с ними стрелковые учения в рощице за домом.

2

Когда ребенок впервые узнает цену взрослым — когда серьезный малыш впервые догадывается, что взрослые не наделены божественной проницательностью, что далеко не всегда суждения их мудры, мысли верны, а приговоры справедливы, — все в нем переворачивается от ужаса и отчаяния. Боги низвергаются с пьедесталов, и не остается уверенности ни в чем. Сверзиться с пьедестала — это вам не то же самое, что поскользнуться, и уж если боги падают, то летят вниз с грохотом, с треском и глубоко увязают в зеленой болотной жиже. Снова вытаскивать их оттуда и водружать на пьедестал — работа неблагодарная; к ним никогда не возвращается былая лучезарность. И мир, в котором живет ребенок, никогда уже не обретает вновь былую целостность. Взрослеть в таком мире мучительно.

Адам раскусил своего отца. И не потому, что отец его как-то изменился — просто в самом Адаме вдруг прорезалось нечто новое. Как любое нормальное живое существо, он ненавидел подчиняться, но дисциплина — штука справедливая, правильная, и от нее так же никуда не денешься, как от кори: ее не отвергнуть и не проклясть — ты можешь ее только ненавидеть. А потом вдруг Адам понял — случилось это в одно мгновение, точно в мозгу у него что-то щелкнуло, — что даже если другие думают иначе, методы Сайруса в действительности имеют значение лишь для самого Сайруса. Бесконечная муштра и военные занятия с сыновьями служили единственной цели — сделать Сайру-

са большим человеком, и сыновья были здесь ни при чем. Но все тот же щелчок в мозгу подсказал Адаму, что отец его отнюдь не большой человек, что на самом деле он просто очень волевой, очень целеустремленный, но все равно очень маленький человек, для важности напяливший на себя высокий гусарский кивер. Кто знает, что подталкивает детское сознание к низвержению богов — случайно перехваченный взгляд, всплывшая ложь, минутное замешательство?

Маленький Адам был послушным ребенком. Его душа чуралась жестокости, шумных ссор и молчаливой гнетущей злобы, способной разнести дом в щепки. Оберегая желанный его сердцу покой, он старался хотя бы сам не совершать жестоких поступков и не затевать ссор, а значит, поневоле должен был скрывать свои чувства, ибо в каждом человеке есть доля жестокости. Все, что происходило в его сознании, было, как крепость, обнесено стенами: глаза Адама, прорубленные в стенах окшски, смотрели на мир безмятежно, а в глубине крепости шла тем временем своя жизнь, полнокровная и насыщенная. Эти стены не защищали его от нападений извне, зато дарили ощущение непричастности.

Его сводный брат Карл — он был младше Адама всего на год с небольшим — пошел в отца и рос самоуверенным и напористым. Карл был словно создан для спорта: от природы проворный, с отличной координацией, он обладал бойцовой волей к победе, качеством, без которого в нашем мире не преуспеть.

Карл неизменно побеждал Адама в любых состязаниях, требовавших силы или ловкости или быстроты реакции, но эти победы доставались ему так легко, что он быстро утратил к ним интерес и начал искать себе соперников среди других детей. Оттого, наверно, и получилось, что вместо соперничества сыновей Сайруса связывало нечто более теплое, напоминавшее скорее отношения брата и сестры, чем дружбу двух братьев. Карл вступал в драку с любым мальчишкой, посмеявшимся обидеть или задеть Адама, и, как правило, выходил победителем. Не гнушаясь враньем, он защищал Адама от крутого нрава отца и порой даже брал вину на себя. Карл питал к брату нежность сродни той, что вызывает в нас все беззащитное и беспомощное, например, слепые щенята или новорожденные дети.

Огородив свои мысли стенами, Адам — сквозь глубокие окошки глаз — смотрел на людей, населявших его мир: вот отец; вначале отец был одноногим богом, грозной силой, законно возведенной на пьедестал, чтобы маленькие мальчики чувствовали себя еще меньше, а глупые мальчики понимали, как они глупы; но потом, после того как бог рухнул, Адам стал видеть в отце надзирателя, приставленного к нему с рождения, полицейского, которого можно обмануть или перехитрить, но спорить с которым запрещено. Сквозь глубокие окошки глаз Адам смотрел на своего сводного брата Карла и видел в нем удивительное существо особой породы, наделенное сильными мышцами, крепкими костями, быстротой движений и не дремлющим инстинктом, существо совершенно из другого измерения, созданное для того, чтобы им восхищались, как восхищаются ленивой коварной грацией лоснящегося черного леопарда, но ни в коем случае не сравнивали с собой. Адаму даже не приходило в голову рассказать брату о своих неутоленных желаниях, о смутных мечтах и планах, о тайных удовольствиях — словом, обо всем, что пряталось по ту сторону глаз-окошек, — это было бы столь же нелепо, как изливать душу красивому дереву или поднявшемуся на крыло фавану. То, что у него есть Карл, радовало Адама, как радует женщину кольцо с роскошным бриллиантом, и Адам чувствовал, что во многом зависит от брата, точно так же, как владелица кольца чувствует, что от игры бриллианта и от его цены зависит ее уверенность в себе; но отождествлять эту зависимость с любовью, дружбой или родством душ было немыслимо.

К Алисе Адам относился с тайным чувством стыдливой теплоты. Алиса Траск не была его матерью — он знал это, потому что об этом ему говорили не раз. А по тону, которым говорилось совсем о других вещах, он догадывался, что некогда у него была родная мать, и хотя ничего такого никто ему не рассказывал, он подозревал, что она совершила какой-то позорный проступок: может быть, забыла накормить кур или не попала в вывешенную в рощице мишень. За свою провинность она поплатилась тем, что здесь ее теперь не было. Иногда Адам думал, что, сумеет ли он выведать, в чем все-таки грех его матери, он, ей-богу, натворил бы то же самое — только бы не быть здесь.

Алиса обращалась с обоими мальчиками одинаково, обоих кормила, обоих обстирывала, а все прочее препоручала заботам их отца, который ясно и твердо дал ей понять, что физическое и умственное воспитание сыновей он берет на себя. Даже хвалить или бранить их было его единоличным правом. Алиса никогда не роптала, не ссорилась, не смеялась и не плакала. Свои губы она приучила всегда оставаться сомкнутыми, хотя ее молчание ничего не отрицало и ничего не утверждало. Но однажды, когда Адам был еще совсем маленький, он неслышно зашел на кухню. Алиса его не видела. Она штопала носки и... улыбалась. Адам тихонько попятился, выскользнул из дома в рожицу и спрятался там в своем любимом укромном месте за большим пнем. Он глубоко зарылся в ямку под надежную защиту корней. Адам был так потрясен, словно увидел Алису голой. Он часто и возбужденно дышал. Потому что и впрямь застал Алису в ее наготе — она ведь улыбалась. Как она осмелилась на такое озорство? — недоумевал он. И душа его, всколыхнувшись, потянулась к Алисе страстно и жарко. Он не понимал, что с ним: тоска ребенка, изголодавшегося по ласке, по прикосновениям материнских рук, обнимающих, поглаживающих, укачивающих; неутоленное желание прижаться губами к соску, посидеть на мягких коленях, услышать в родном голосе любовь и сострадание; неясное сладкое томление — все это слилось в объявшем его чувстве, но он этого не понимал, потому что как можно тосковать о том, чего ты не изведal и чего, может быть, не существует вовсе?

Конечно, у него мелькнула мысль, что он ошибся, что его попросту обманула шаловливая игра света. Тогда он снова взгляделся в яркую картинку, засевшую у него в голове, и увидел, что глаза Алисы тоже улыбаются. Никакая игра света не могла бы вызвать такой двойной обман зрения.

С тех пор он начал сторожить ее, как охотник сторожит дичь, как сам он прежде сторожил сурков, когда, замерев, будто проклюнувшийся из земли камушек, целыми днями лежал на холме, куда старые недоверчивые сурки приводили погреться на солнце свое потомство. Он следил за Алисой и прятался, и в открытую, краешком невинно отведенных глаз — да, он не ошибся. Изредка, когда Алиса оставалась одна и знала, что рядом никого нет, она отпускала свои мысли погулять и мечтательно улыбалась.

А до чего удивительно было наблюдать, с какой быстротой она загоняет улыбку назад, в себя, точно так же, как сурки загоняют в норку своих детенышей!

Такое открытие было настоящим сокровищем, и Адам надежно упрятал его за свои стены, подальше от окошек, но ему хотелось чем-нибудь расплатиться за эту радость. Алиса стала находить подарки — то в своей корзинке для рукоделия, то в старой, обтрепанной сумочке, то под подушкой — две розовые карамельки, голубое птичье дерышко, палочку зеленого сургуча, украденный носовой платок... Вначале Алиса пугалась, но постепенно испуг прошел, и когда она вновь находила неожиданный подарок, на лице ее, коротко блеснув, появлялась и тотчас исчезала мечтательная улыбка — так исчезает в воде форель, на миг блеснув под иглой солнечного луча. О подарках Алиса никому не рассказывала, и откуда они берутся, не спрашивала.

Особенно сильно кашель донимал ее по ночам, и кашляла она так долго и надоедливо, что Сайрусу в конце концов пришлось переселить ее в другую комнату, иначе он бы не выспался. Но он ее навещал, даже очень часто — босиком, на одной ноге он вприпрыжку добирался до ее комнаты, держась рукой за стенку. Мальчики не только слышали, но и ощущали, как сотрясается дом, когда отец запрыгивает на кровать к Алисе, а потом спрыгивает на пол.

Адам подрастал, и теперь только одно страшило его больше всего на свете. Он с ужасом думал о дне, когда за ним приедут и заберут в армию. А что такой день неизбежно наступит, ему не давал забыть отец. Он любил об этом говорить. Ведь именно Адаму, чтобы стать мужчиной, необходимо было пройти армию. Карлу армия, пожалуй, была не нужна. Карл и без того был мужчиной, он был по-настоящему взрослым и по-настоящему опасным человеком даже в свои пятнадцать лет, а Адаму как-никак уже исполнилось шестнадцать.

3

С годами привязанность между братьями росла. Возможно, Карл относился к Адаму с долей снисходительности, но то была снисходительность сильного, который опекает слабого. Случилось так, что однажды вечером братья играли во дворе в новую для них игру — «чижик». На землю клали маленький колышек и ударяли по нему би-

той, чтобы он взлетел вверх. А потом, пока «чижик» был еще в воздухе, надо было вторым ударом послать его как можно дальше.

Адам не отличался ловкостью в играх. Но тут, по какой-то случайности, глазомер и координация не подвели его, и он обыграл брата. Четыре раза подряд он забросил колышек дальше, чем Карл. Победа была для него таким новым ощущением, что, потеряв голову от восторга, он утратил привычную бдительность и не следил за настроем Карла. Когда он ударил битой в пятый раз, колышек, зажжужав, как пчела, улетел далеко в поле. Адам радостно повернулся к Карлу, и внезапно в груди у него захолодело от тревоги. На лице у Карла была такая ненависть, что Адаму стало жутко.

— Мне просто повезло, — виновато сказал он. — Больше так не получится.

Карл положил колышек на землю, подбросил его в воздух, замахнулся битой и — промазал. Тогда он не спеша двинулся к Адаму, холодно глядя на него пустыми глазами. Адам в ужасе отступил в сторону. Повернуться и убежать он не решился, потому что брату ничего не стоило догнать его. Он медленно пятился, в глазах его застыл страх, в горле пересохло. Карл приблизился к нему вплотную и ударил битой по лицу. Адам зажал руками разбитый нос, а Карл занес биту и так врезал ему под ребра, что чуть не вышиб из него дух, потом стукнул по голове, и Адам, оглушенный, повалился на землю. Карл несколько раз с силой пнул его ногой в живот и ушел, оставив брата лежать без сознания.

Через какое-то время Адам очнулся. Глубоко дышать он не мог, потому что в груди саднило. Он попытался сесть, но разорванные мышцы, дернувшись, обожгли живот болью, и он снова упал на спину. Он увидел, что из окна на него глядит Алиса, и в лице ее уловил нечто такое, чего раньше не наблюдал. Он не понял, что выражает ее взгляд, но в нем не было ни сострадания, ни жалости — возможно даже, в нем светилась злоба. Она заметила, что он на нее смотрит, задернула занавески и исчезла. Когда Адам наконец поднялся с земли и, скрючившись, доплелся до дома, в кухне для него уже был приготовлен таз с горячей водой и рядом лежало чистое полотенце. Ему было слышно, как мачеха кашляет у себя в комнате.

У Карла было одно прекрасное качество. Он никогда не считал себя виноватым, ни при каких обстоятельствах. Он ни разу потом не напомнил Адаму, что избил его, и, судя по всему, вообще не думал о случившемся. Зато Адам с этого дня поставил себе за правило никогда больше не побеждать Карла ни в чем. Он и прежде ощущал скрытую в Карле опасность, но теперь ясно понял, что одержать победу над Карлом может позволить себе только в том случае, если решится его убить. Карл не чувствовал себя виноватым. То, что он сделал, было для него самым простым способом облегчить душу.

Отцу Карл не сказал ни слова, Адам тоже молчал, а уж Алиса тем более, однако казалось, что Сайрус все знает. Он вдруг стал намного добрее к Адаму. В его голосе проскальзывали ласковые нотки. Он перестал его наказывать. Чуть ли не каждый вечер он вел с Адамом серьезные поучительные разговоры, но без прежней суровости. Такая неожиданная благожелательность пугала Адама больше, чем прежняя жестокость; ему чудилось, будто его готовят к роли жертвы и заботой окружили перед смертью, как бывает, когда избранников, предназначенных в дар богам, долго обхаживают и улещивают, чтобы потом жертва возлегла на каменный алтарь с радостью и не гневила богов своим несчастным видом.

Сайрус мягко объяснял Адаму, что такое быть солдатом. И хотя его познания основывались больше на книгах, чем на собственном опыте, он понимал, о чем говорит, и говорил толково. Он рассказывал сыну, какой горькой, но исполненной достоинства может быть солдатская участь; разъяснял, что в силу людского несовершенства солдаты необходимы человечеству — они воплощают собой возмездие за наши слабости. Возможно, изрекая эти истины, Сайрус и сам открывал их для себя впервые. Как бы то ни было, все это очень отличалось от ура-патриотической крикливой задиристости, свойственной ему в молодые годы. Солдата непрерывно унижают, заявлял Сайрус, но лишь для того, чтобы солдат не слишком противился тому великому унижению, что припасено для него напоследок — бессмысленной и подлой смерти. Эти беседы Сайрус вел с Адамом наедине и Карлу слушать не разрешал.

Однажды вечером Сайрус взял Адама с собой на прогулку, и мрачные выводы, накопленные отцом за годы

размышлений и научных изысканий, облекшись в слова, повергли Адама в пучину липкого ужаса.

— Ты обязан понять, что из всего рода человеческого солдаты самые святые люди,— говорил Сайрус,— ибо им ниспосылаются наитягчайшие испытания. Попробую тебе растолковать. Посуди сам: во все времена человека учили, что убивать себе подобных — зло, которому нет оправдания. Любой, кто убьет человека, должен быть уничтожен, потому что убийство великий грех, может быть, даже величайший. Но вот мы зовем солдата, наделяем его правом убивать и еще говорим: «Пользуйся этим правом сполна, пользуйся им в свое удовольствие». Мы ни в чем его не сдерживаем. Иди и убивай своих братьев такой-то разновидности, говорим мы, иди и убей их столько, сколько сумеешь. А мы тебя за это вознаградим, потому что своим поступком ты нарушишь заповедь, которую прежде был приучен почитать.

Адам облизнул пересохшие губы, хотел что-то спросить, но заговорить ему удалось только со второй попытки.

— А почему должно быть так? — спросил он. — Почему?

Сайрус был глубоко тронут этим вопросом и говорил теперь необычайно проникновенно.

— Не знаю,— сказал он.— Я изучал и, может быть, постиг, что как устроено, но не сумел даже приблизиться к разгадке, почему устроено так, а не иначе. Не стоит думать, будто люди понимают все, что они делают. Очень многое они совершают инстинктивно, точно так же, как пчела откладывает на зиму мед, а лиса мочит лапы в ручье, чтобы сбить собак со следа. Разве лиса может объяснить, почему она так делает, и где ты найдешь пчелу, которая помнила бы о прошлой зиме или ждала, что зима придет снова? Когда я понял, что тебе судьба идти в армию, то сначала решил: будь как будет, со временем ты сам разберешься что к чему, но потом подумал, что лучше все же поделиться с тобой тем немногим, что я знаю, и убережь тебя от неожиданностей. А в армию тебе теперь скоро, ты уже и годами вышел.

— Я не хочу в армию,— торопливо сказал Адам.

— Теперь тебе уже скоро,— не слушая, повторил отец.— И я хочу предупредить тебя кое о чем, чтобы потом ты не удивлялся. Перво-наперво тебя там разденут

догола, но на этом дело не кончится. Тебя лишат даже намека на самоуважение — ты потеряешь свое, как тебе кажется, естественное право жить, соблюдая определенные приличия, и жить своей жизнью. Тебя заставят жить, есть, спать и справлять нужду вместе со множеством других людей. А когда тебя снова оденут, ты не сможешь отличить себя от остальных. И тебе нельзя будет даже повесить себе на грудь какую-нибудь табличку или приколоть записку: «Это я! Я — и никто другой!»

— Я так не хочу,— сказал Адам.

— А еще через какое-то время,— продолжал Сайрус,— ты не сможешь даже думать иначе, чем остальные. И разговаривать иначе, чем они, тоже не сможешь. И ты будешь делать то же, что делают другие. В любом, самом малом отклонении от этой одинаковости ты будешь усматривать страшную опасность — опасность для всего этого стада одинаково мыслящих и одинаково действующих людей.

— А если я не захочу быть, как они? — спросил Адам.

— Что ж, такое случается,— кивнул Сайрус.— Да, изредка находится кто-нибудь, кто не желает подчиниться, и знаешь, что тогда бывает? Вся эта огромная машина принимается сосредоточенно и хладнокровно уничтожать разницу, выделяющую непокорного. Твой дух, твои чувства, твое тело, твой разум будут сечь железными прутьями, пока не выбьют из тебя опасное отличие от остальных. А если ты все равно не покоришься, армия исторгнет тебя, как блестящую: смердящей дрянью ты отлетишь в сторону и так там и останешься — уже не раб, но еще и не свободный. Потому лучше с ними не спорить. К таким способам они прибегают лишь для того, чтобы уберечь себя. Столь триумфально нелогичная и столь блистательно бессмысленная машина, как армия, не может допустить, чтобы ее мощь ослабляли сомнениями. И все же, если ты отбросишь ненужные сравнения и насмешки, то в устройстве этой машины обнаружишь — конечно, не сразу, а постепенно — и определенный смысл, и свою логику, и даже некую зловещую красоту. Тот, кто не способен принять армию такой, какая она есть, вовсе не обязательно плохой человек; бывает, он гораздо лучше многих. Слушай меня хорошенько, потому что я об этом долго думал. Есть люди, которые, погружаясь в унылую трясиину солдатской службы, капитулируют и теряют собственное лицо. Прав-

да, такие и до армии ничем не выделялись. Может быть, ты тоже такой. Но есть и другие: они вместе со всеми погружаются в общее болото, зато выходят оттуда еще более цельными, чем прежде, ибо... ибо они утрачивают мелочное себялюбие, а взамен приобретают все сокровища единой души роты и полка. Если ты сумеешь выдержать падение на дно, то потом вознесешься выше, чем мечтал, и познаешь святую радость, познаешь верную дружбу, сравнимую разве что с чистой дружбой ангелов на небесах. Тогда ты будешь понимать истинную суть любого человека, даже если тому не под силу выразить себя словами. Но достигнуть этого можно, лишь погрузившись сначала на самое дно.

Когда они возвращались домой, Сайрус повернул налево и они двинулись через рощицу; деревья были уже окутаны сумерками.

— Видите тот пенек, отец? — вдруг сказал Адам. — Я раньше часто за ним прятался, между корнями, вон там. Когда вы меня наказывали, я прибегал сюда и прятался, а иногда приходил и просто так, потому что мне бывало грустно.

— Давай пойдем посмотрим, — предложил отец.

Адам подвел его к пню, и Сайрус заглянул в похожее на нору углубление между корнями.

— Я про это место давно знаю, — сказал он. — Как-то раз ты надолго пропал, и я подумал, что, должно быть, у тебя есть такой вот тайник, и я его нашел, потому что догадывался, какое место ты выберешь. Видишь, как тут примята земля и оборвана трава? Пока ты здесь отсиживался, ты сдирал с веток полоски коры и рвал их на кусочки. Я, когда набрел на это место, сразу понял — здесь.

— Вы знали и никогда сюда за мной не приходили? — Адам глядел на отца с изумлением.

— Да, — кивнул Сайрус. — Зачем было приходить? Ведь человека можно довести бог знает до чего. Вот я и не приходил. Обреченному на смерть всегда нужно оставлять хотя бы один шанс. Ты это запомни! Я и сам, думаю, понимал, как я с тобой суров. И мне не хотелось толкать тебя на крайность.

Дальше они пошли через рощицу, не останавливаясь.

— Мне хочется столько всего тебе объяснить, — сказал Сайрус. — Я ведь потом забуду. Хотя солдат очень много-

го лишается, он получает кое-что взамен, ты должен это понять. Едва появившись на свет, ребенок учится оберегать свою жизнь, как требуют того существующие в природе законы и порядок. Он начинает свой путь, вооруженный могучим инстинктом самосохранения, и все вокруг лишь подтверждает, что этот инстинкт верен. А потом ребенок становится солдатом и должен научиться преступать законы, по которым жил раньше; он должен научиться подвергать свою жизнь смертельной опасности, но при этом не терять рассудка. Если ты этому научишься — а такое не каждому по плечу, — тебя ждет великая награда. Видишь ли, сынок, почти все люди испытывают страх, — Сайрус говорил очень искренне, — а что вызывает этот страх — призрачные тени, неразрешимые загадки, бесчисленные и неведомые опасности, трепет перед незримой смертью? — они и сами не знают. Но если тебе достанет храбрости заглянуть в глаза не призраку, а настоящей смерти, зримой и объяснимой, будь то смерть от пули или клинка, от стрелы или копья, ты навсегда забудешь страх, по крайней мере тот, что жил в тебе прежде. И вот тогда ты поистине станешь отличен от других, ты будешь спокоен, когда другие будут кричать от ужаса. Это и есть величайшая награда за все. Величайшая и, возможно, единственная. Возможно, это та наивысшая предельная чистота, которую не пятнает никакая грязь. Уже темнеет. Давай подумаем оба над тем, что я сейчас говорил, а завтра вечером вернемся к этому разговору.

Но Адам не мог ждать до завтра.

— Почему вы не говорите об этом с Карлом? — спросил он. — Пусть в армию идет Карл. У него там получится лучше, гораздо лучше, чем у меня.

— Карл в армию не пойдет, — сказал Сайрус. — Нет смысла.

— Но из него выйдет хороший солдат.

— Это будет одна видимость. Внутри он не изменится. Карл ничего не боится, поэтому храбрости он не научится. Он понимает только то, что в нем уже заложено, а другого, о чем я тебе толковал, ему не понять. Отдать Карла в армию значит раскрепостить в нем то, что необходимо подавлять и держать в узде. На такой риск я не решусь.

— Вы его никогда не наказываете, — в голосе Адама была обида, — все ему позволяете, только хвалите, ни за

что не ругаете, а теперь еще решили и в армию не отдавать.— Напуганный своими словами, он замолчал, ожидая, что в ответ отец обрушит на него гнев, или презрение, или побои.

Отец молчал. Они уже вышли из рожицы, голова у отца была низко опущена; переступая со здоровой ноги на деревянную, он кренился влево, потом выпрямлялся — каждый раз одним и тем же движением. Чтобы шагнуть деревянной ногой вперед, он сначала выкидывал ее вбок, и она описывала полукруг.

К тому времени совсем стемнело, и сквозь открытую дверь кухни лился золотой свет ламп. Алиса вышла на порог, вгляделась в темноту, услышала приближающиеся неровные шаги и вернулась в кухню.

Дойдя до крыльца, Сайрус остановился и поднял голову.

— Ты где? — спросил он.

— Здесь... прямо за вами...

— Ты задал мне вопрос. Наверно, я должен ответить. И я отвечу, хотя не знаю, на пользу тебе это пойдет или во вред. Ты не умен. Ты не знаешь, чего хочешь. В тебе нет необходимой злости. Ты позволяешь помыкать собой. Иногда мне кажется, ты просто слюняй и всю жизнь просидишь в дерьме. Я ответил на твой вопрос? А вот люблю я тебя больше, чем Карла. И всегда любил больше. Может быть, нехорошо, что я тебе это говорю, но это правда. Да, я люблю тебя больше. Иначе зачем бы я так старался причинить тебе боль? Нечего стоять разинув рот, иди ужинать. Поговорим завтра вечером. У меня нога болит.

4

Ужинали молча. Застывшую тишину нарушали только хлюпанье супа во рту и хруст жующих мясо челюстей, да еще отец иногда взмахивал рукой, отгоняя мотыльков от колпака керосиновой лампы. Адаму казалось, что брат тайком наблюдает за ним. Внезапно подняв глаза, он поймал на себе вдруг вспыхнувший и тотчас потухший взгляд Алисы. Доев, Адам встал из-за стола.

— Я, пожалуй, пойду, пройдуся, — сказал он.

Карл тоже поднялся.

— Я с тобой.

Алиса и Сайрус посмотрели им вслед, а потом, что бывало очень редко, Алиса решилась задать мужу вопрос.

— Что ты сделал? — с тревогой спросила она.

— Ничего.

— Так ты пошлешь его в армию?

— Да.

— Он об этом знает?

Сайрус мрачно глядел сквозь открытую дверь в темноту.

— Да, знает.

— Ему там будет плохо. Армия не для него.

— Неважно, — сказал Сайрус и громко повторил: — Неважно.

Произнес он это так, будто сказал: «Заткнись! Тебя не касается». Оба замолчали, потом он добавил почти виновато:

— Он же все-таки не твой сын.

Алиса не ответила.

Братья шагали в темноте по изрытой колесами дороге. Впереди, там, где был городок, светились редкие огни.

— Решил, что ли, в салун заглянуть? — спросил Карл.

— Да нет, не собирался, — ответил Адам.

— Тогда какого черта поперся из дома на ночь глядя?

— Тебя никто не заставлял со мной идти.

Карл, не сбавляя шага, подошел ближе к Адаму.

— О чем вы сегодня с ним говорили? Я видел, как вы вместе гуляли. Что он тебе говорил?

— Просто рассказывал про армию... как обычно.

— Что-то не похоже, — с недоверием сказал Карл. — Я же видел, как он к тебе наклонялся, чуть не к самому уху — он так со взрослыми мужиками разговаривает!

— Нет, он рассказывал, — терпеливо возразил Адам, и внутри у него шевельнулся страх. Чтобы отогнать этот страх, он глотнул воздуха и задержал дыхание.

— Ну и что же он тебе рассказывал? — допытывался Карл.

— Про армию, про то, как быть солдатом.

— Я тебе не верю, — заявил Карл. — Ты боишься сказать правду, потому и врешь, как последний трус. Ты чего задумал?

— Ничего.

— Твоя сумасшедшая мать утопилась, — грубо сказал

Карл. — Может оттого, что морду твою увидела. От такого хоть кто утопится.

Адам медленно выдохнул набранный в легкие воздух, стараясь подавить тоскливый страх. И ничего не сказал.

— Ты хочешь отнять его у меня! — крикнул Карл. — Уж и не знаю как, но хочешь! Сам-то понимаешь, что делаешь?

— А я ничего не делаю.

Карл выпрыгнул вперед, преградил ему дорогу, и Адаму пришлось остановиться: они стояли лицом к лицу, почти касаясь друг друга. Адам попятился, но осторожно, как пятаются от змей.

— Вот, к примеру, в его день рождения! — закричал Карл. — Я ему за шестьдесят центов ножик купил — немецкий, три лезвия и штопор, рукоятка из перламутра! Где этот ножик? Ты видел, чтобы он им чего резал или стругал? Может, он отдал его тебе? Он его даже не точил ни разу! Может, он сейчас у тебя в кармане, этот ножик-то? Я ему подарил, а он только: «Спасибо» — так это небрежно. И больше я этот ножик в глаза не видел, а все же немецкий, шестьдесят центов, и рукоятка перламутровая!

В голосе Карла была ярость, и Адам почувствовал, что цепенеет от страха; но он понимал, что время в запасе еще есть. У него уже был более чем достаточный опыт, и он знал, в какой последовательности действует этот стоящий перед ним разрушительный механизм, готовый в порошок стереть любое препятствие на своем пути. Сначала вспышка ярости, затем ярость сменяется холодным спокойствием, самообладанием: пустые глаза, удовлетворенная улыбка и никаких криков, только шепот. Вот тогда-то механизм нацелен на убийство, но убийство хладнокровное, умелое — кулаки будут работать с трезвым и тонким расчетом. В горле у Адама пересохло, он проглотил слюну. Что бы он сейчас ни сказал, брата ему уже не остановить, потому что, впав в ярость, Карл не только никого не слушал, но и ничего не слышал. Неподвижно застыв перед Адамом в темноте, Карл казался массивным, он словно стал ниже ростом, шире, плотнее, но еще не прыгнул, еще не изготавился ударить. В тусклом свете звезд губы его влажно поблескивали, но на них еще не играла улыбка, и в голосе по-прежнему звенел гнев.

— А ты в его день рождения что придумал?! По-твоему, я не видел? Ты не только шестьдесят, ты и шесть центов не потратил! Ты притащил из рожи какого-то бездомного щенка, дворнягу! И еще смеялся как дурак, говорил, из него хорошая охотничья собака выйдет. Так теперь этот пес у него в комнате спит. И он его гладит, когда книжки читает. И уже выучил разным штукам. А ножик мой где? «Спасибо» — и больше ничего. Только «спасибо» и сказал.— Карл уже перешел на шепот и, пригнувшись, подался вперед.

В последней, отчаянной попытке спастись Адам отпрыгнул назад и заслонил лицо руками. Карл двигался рассчитанно и уверенно. Вначале кулак только примерился, легко и осторожно, а уж потом пошла сосредоточенная, леденяще бесстрастная работа: сильный удар в живот — и Адам уронил руки; тотчас последовали четыре удара в лицо. Адам услышал, как хрустнул сломанный нос. Он снова прикрыл лицо, и Карл всадил кулак ему в грудь. Адам смотрел на брата отрешенно и потерянно, как приговоренные к казни смотрят на палача.

Вдруг, сам того не ожидая, Адам наугад выбросил руку вверх, и ни на что не нацеленная, вялая кисть описала в пустоте безобидную дугу. Карл поднырнул под занесенную руку: бессильно упав, она обвилась вокруг его шеи. Адам повис на брате и, всхлипывая, прижался к нему. Квадратные кулаки месили его живот, взбивая там подступавшую к горлу тошноту, но Адам висел на брате и рук не разжимал. Время для него остановилось. Он чувствовал, что брат повернулся боком и старается раздвинуть ему ноги. Колено Карла, протиснувшись между колен Адама, поползло вверх, грубо царапая пах, и — резкая боль белой молнией пропорола Адама насквозь, отдавшись во всем теле. Руки разжались. Он согнулся пополам, его рвало, а хладнокровное уничтожение продолжалось.

Удары врезались в виски, в скулы, в глаза. Он сознавал, что губа у него разорвана и болтается доскутами, но теперь на него словно надели плотный резиновый чехол, кожа его словно задубела под ударами. Он туго недоумевал, почему ноги у него до сих пор не подкосились, почему он не падает, почему не теряет сознания. Удары сыпались бескончаемо. Ему было слышно, как брат дышит, часто и отрывисто, точно молотобоец; в синюшном свете звезд,

сквозь потоки разбавленной слезами крови он видел его перед собой. Пустые невинные глаза, легкая улыбка на влажных губах. Он смотрел на брата, и вдруг — яркая вспышка, и все погасло.

Карл застыл над ним, судорожно глотая воздух, как запыхавшаяся собака. Потом, потирая на ходу разбитые костяшки пальцев, деловито зашагал назад, к дому.

Сознание к Адаму вернулось быстро, и в тот же миг ему стало жутко. В голове муторно перекачивался туман. Тело отяжелело, налитое болью. Но про боль он забыл почти сразу. По дороге приближались шаги. Его охватил инстинктивный, смешанный со злобой животный страх. Приподнявшись на колени, Адам дотащился до обочины, вдоль которой шла поросшая высокой травой канава. Вода покрывала дно примерно на фут. Очень осторожно, стараясь не выдать себя плеском, Адам сполз в воду.

Шаги были уже совсем рядом, потом они замедлились, потом отдалились, потом опять вернулись. Из своего убежища Адам видел лишь неясно проступавшее в темноте пятно. Чиркнула спичка, сера вспыхнула голубым огоньком, который, разгоревшись, осветил лицо брата — со дна канавы оно казалось пелено перекошенным. Карл поднял спичку повыше, внимательно огляделся по сторонам, и Адам увидел, что в правой руке брат держит топор.

Спичка догорела, и ночь стала чернее, чем прежде. Карл медленно отошел от обочины, снова зажег спичку, потом еще одну. Он осматривал дорогу и искал следы. Наконец ему это надоело. Размахнувшись, он забросил топор далеко в поле. И быстро пошел прочь, к мерцавшим вдали огням городка.

Адам еще долго лежал в прохладной воде. Что творится сейчас с братом, гадал он; что испытывает Карл в эти минуты, когда гнев его начал остывать — ужас, тоску, угрызения совести или, может быть, ничего? Все, что могло в этот миг терзать душу Карла, терзало душу Адама. Соединенная с братом невидимой нитью, душа Адама трудилась за Карла, взяв на себя его страдания, точно так же, как иногда Адам, беря на себя обязанности Карла, готовил за него уроки.

Он ползком выбрался из воды и встал. Тело его онемело от побоев, кровь на лице запеклась коркой. Он решил подождать возле дома, пока отец и Алиса лягут спать. Он

все равно не сумел бы ответить ни на какие вопросы, потому что и сам не знал ответов, а отыскать их его измученному разуму было не под силу. Голову заволакивала муть, перед глазами мелькали синие искры, и он понял, что скоро вновь потеряет сознание.

Широко расставляя ноги, Адам медленно побрел к дому. Возле крыльца кухни он остановился и посмотрел в окно. С потолка свисала на цепи лампа, в желтом круге света он увидел Алису: она сидела за столом, поставив перед собой корзинку для шитья. Отец сидел по другую сторону стола, покусывал деревянную ручку, макал ее в чернильницу и что-то записывал в черную конторскую книгу.

Подняв глаза, Алиса увидела окровавленное лицо Адама. Она испуганно поднесла руку ко рту и закусила палец зубами.

Волоча ноги, Адам взобрался на ступеньку, потом на вторую, вошел в кухню и оперся о дверной косяк. Только тогда поднял голову и Сайрус. Во взгляде его было холодное любопытство. До него не сразу дошло, кто этот изуродованный парень. Наконец он встал, озадаченный, теряясь в догадках. Вложил перо в чернильницу и вытер руки о штаны.

— За что он тебя так? — тихо спросил Сайрус.

Адам хотел ответить, но губы у него пересохли и слиплись. Он облизал их, из трещин опять потекла кровь.

— Не знаю, — сказал он.

Стуча деревянной ногой, Сайрус приблизился к нему и с такой силой схватил за плечо, что Адама персдернуло от боли, и он попробовал вырваться.

— Не ври мне! Почему он тебя избил? Вы поссорились?

— Нет.

Сайрус вывернул ему руку.

— А ну говори! Я должен знать. Выкладывай! Ты же все равно скажешь. Я тебя заставляю. Вечно ты его защищаешь, черт тебя побери! Думаешь, я не понимаю? Рассчитываешь меня обмануть? Сейчас же все рассказывай, а не то так и прстоишь до утра, клянусь!

Адам молчал, подыскивая ответ.

— Он думает, вы его не любите, — сказал он.

Сайрус отпустил его, прохромал назад к своему стулу и сел. Поболтал ручкой в чернильнице, невидящими глазами скользнул по записям в конторской книге.

— Алиса, уложи Адама,— приказал он.— Рубашку наверно придется разрезать, иначе не снимешь. Сделай все что нужно.

Снова встав, Сайрус проковылял в угол, где на гвоздях висели куртки, достал из-под них свой дробовик, разломил ватвор, убедился, что ружье заряжено, и, припадая на деревянную ногу, вышел из дома.

Алиса взмахнула рукой, будто хотела удержать мужа, накинув на него сплетенную из воздуха веревку. Но веревка лопнула, и лицо Алисы вновь стало непроницаемым.

— Иди к себе в комнату,— сказала она.— Я схожу, принесу таз с водой.

По пояс накрытый простыней, Адам лежал на кровати; Алиса, обмакнув льняной носовой платок в теплую воду, промывала ему ссадины и кровоподтеки. Вначале она долго молчала, потом повторила слова Адама, будто разговор между ними ни на минуту не прерывался:

— Он думает, отец его не любит. Но ты-то его любишь... и всегда любил.

Адам ничего не ответил.

— Он ведь чудной,— тихо продолжала она.— Его знать надо. Вроде как и грубый, и злой, но это только, пока его не знаешь.— Она перевела дыхание, откинувшись назад и закашлялась, а когда приступ прошел, на щеках у нее загорелись красные пятна, и было видно, что она ослабела.— Его знать надо,— повторила она.— Мне вот он подарки дарит, и уж давно... всякие красивые милые пустяки — и не подумаешь, что он такую красоту замечать может. Только он мне их не приносит: мол, на, это тебе. Он их прячет, чтобы я сама нашла — он знает, где прятать. И ты на него потом хоть целый день гляди, он и виду не подаст, что подарочек-то от него. Его знать надо.

Она улыбнулась Адаму, и он закрыл глаза.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

А Карл в это время был в салуне: опершись о стойку бара, он восторженно смеялся анекдотам, которые рассказывали застрявшие в городке коммивояжеры. Боясь, что их

красноречие иссякнет, он достал своей жидко пожелтевший серебром кисть и заказал выпивку. Он стоял, слушал, ухмылялся и потирал разбитые костяшки пальцев. Когда же коммивояжеры, приняв его угощение, подняли стаканы и сказали: «Твое здоровье», Карл возликовал от счастья. Он велел бармену поднести им еще, а потом вместе с новыми друзьями отправился развлекаться в местечко повеселее.

Выбравшись из дома, Сайрус ковылял в темноте, охваченный истовым гневом. Он поискал Карла на дороге, потом заглянул в салун, но сына там уже не было. Если бы Сайрус в ту ночь нашел его, то, возможно, убил бы. Великие деяния, несомненно, изменяют ход истории, но вполне вероятно, что вообще все поступки и происшествия, вплоть до самых пустяковых — скажем, ты переступил через лежащий на дороге камень, или затаил дыхание при виде красивой девушки, или, копаясь в огороде, зашиб ноготь — так или иначе воздействуют на исторический процесс.

Карлу, конечно же, быстро донесли, что отец охотится за ним с дробовиком. Две недели Карл прятался, а когда наконец вернулся домой, кровожадная ярость отца, остыв, перешла в обычную злость, и за свое преступление Карл заплатился лишь несколькими часами дополнительного труда и лицемерной покорностью.

Адам пролежал в постели четыре дня, у него так все болело, что при малейшем движении он стонал. На третий день отец убедительно доказал, что пользуется в военных кругах большим влиянием. Сайрусу хотелось потешить свое самолюбие, а заодно как-то вознаградить Адама за муки. В дом, в спальню Адама, вошли в парадных синих мундирах кавалерийский капитан и два сержанта. Оставленных во дворе лошадей держали под уздцы два солдата. Прямо в постели Адам был зачислен в армию и получил звание рядового кавалерии. Отец и Алиса смотрели, как он подписывает военный кодекс и принимает присягу. У отца блестели на глазах слезы. Когда военные уехали, отец еще долго сидел с Адамом.

— Я неспроста записал тебя в кавалерию, — сказал он. — Жизнь в казарме хороша до поры. А у кавалерии работы хватит. Я это точно знаю. Походы на индейцев тебе понравятся. Время будет горячее. Я не имею права говорить, откуда мне это известно. Но скоро ты будешь воевать.

— Да, отец, — сказал Адам.

Мне всегда казалось странным, что служить в армии обычно вынуждены именно такие, как Адам. Начать хотя бы с того, что ему вовсе не нравилось воевать, и в отличие от некоторых он не только не сумел полюбить солдатское ремесло, но напротив — чем дальше, тем больше преисполнялся отвращения к насилию. Поведение Адама не раз настораживало командиров, но обвинить его в пренебрежении воинским долгом они не могли. По числу внеочередных нарядов Адам за пять лет службы обогнал в эскадроне всех, а что до убитых им противников, то, если таковые и были, его пуля настигла их по чистой случайности или рикошетом. Отличный, меткий стрелок, он промахивался на удивление часто. Войны с индейцами тем временем превратились во что-то вроде опасных перегонов скота — индейцев подстрекали к мятежам, гнали с насиженных мест, большую часть истребляли, а затем остатки племен угрюмо оседали на голодных землях. И хотя работа эта была не из приятных, ее необходимость диктовалась направлением, в котором развивалась страна.

Но Адам был лишь орудием истории, и взору его представляли не будущие фермы, а лишь вспоротые животы здоровых красивых людей, и оттого эта важная работа казалась ему бессмысленной и гнусной. Каждый его сознательный выстрел мимо цели был изменой боевым товарищам, но Адама это не заботило. Крепнувший в нем протест против насилия постепенно перерос в обычный предрассудок и точно так же, как любой другой предрассудок, сковывал полет мысли. Не задумываясь над тем, кому и во имя какой цели причиняется боль, Адам отвергал насилие как таковое. Сантименты — а что это было как не сантименты? — переполняли его настолько, что он был уже не способен вникнуть в суть дела умом. Но при всем этом, как яствует из армейской характеристики Адама, никто не мог бы упрекнуть его в трусости. Более того, ему трижды объявляли благодарность, и за свою отвагу он был награжден медалью.

Чем больше он противился насилию, тем чаще подчинялся велению сердца и впадал в другую крайность. Не раз он рисковал жизнью, вынося раненых с поля боя. И даже изнемогая от усталости, в свободное время добро-

вольно помогал в полевых госпиталях. Соратники взирали на него со снисходительной улыбкой и с тем тайным страхом, который вызывают у людей чуждые им душевные порывы.

Карл писал брату часто — и про ферму, и про деревню; писал, что коровы болеют, что кобыла ожеребилась, что к их землям прибавились новые пастбища, что в сарай попала молния, что Алиса умерла от чахотки, что отец получил в СВР новую должность и переехал в Вашингтон. Карл был из тех, кто не умеет хорошо говорить, зато пишет толково и обстоятельно. Он переносил на бумагу свое одиночество, свои тревоги, а также многое другое, чего и сам в себе не подозревал.

За те годы, что братья не виделись, Адам узнал Карла гораздо лучше, чем до и после разлуки. Переписка породила между ними близость, о которой они и не мечтали.

Одно письмо Адам хранил дольше других, потому что все в нем было вроде бы понятно, но в то же время казалось, будто в строчках кроется еще и тайный смысл, разгадать который он не мог. «Дорогой брат Адам,— говорилось в этом письме,— я берусь за перо в надежде, что ты пребываешь в добром здравии». Карл всегда начинал свои письма с этой фразы, потому что так ему было легче настроить себя на нужный лад и дальше писалось просто. «Я еще не получил ответа на мое последнее письмо, но полагаю, дел у тебя и без того хватает (ха-ха!). Дожди прошли не ко времени и загубили яблоневый цвет. Так что теперь на зиму яблоками не запастись, но сколько смогу, постараюсь сберечь. Сегодня вечером вымыл полы, и сейчас в доме мокро и скользко, хотя чище, может, и не стало. Как это мать ухитрилась держать дом в чистоте, не знаешь? У меня так не выходит. К полу все время липнет какая-то дрянь. Что это, я не знаю, но никак не отмывается. Зато теперь я равномерно развез грязь по всем комнатам (ха-ха!). Отец писал тебе про свою поездку? Он махнул аж в Сан-Франциско, на слет СВР. Туда приедет министр обороны, и отец должен его представлять. Но отцу это теперь, что об забор сморкнуться. Он уже раз три-четыре встречался с президентом и даже был в Белом доме на обеде. Мне вот тоже охота поглядеть на Белый дом. Может, когда вернешься, съездим вместе. На пару деньков отец нас к себе пустит, да небось он и сам захо-

чет с тобой повидаться. Думаю, надо мне подыскать себе жену. Хозяйство у нас все же крепкое и, хотя сам я, может, не подарок, зато такую отличную ферму многие девки только во сне видят. Как ты думаешь? Ты не писал, вернешься ли после армии домой. Очень на это надеюсь. Я по тебе скучаю».

Здесь строка обрывалась. Страница в этом месте была процарапана и забрызгана кляксами, а дальше Карл писал карандашом, но писал уже совсем по-другому.

Вот что было написано карандашом: «Пишу позже. А там, где размазано, это у меня ручка отказала. Сломалось перо. Теперь придется покупать новое — правда, это и так насквозь проржавело».

Слова снова текли спокойно и гладко: «Наверно, лучше было подождать, пока куплю перо, зря я сейчас карандашом-то пишу. Но уж так получилось, что я остался сидеть на кухне, лампа все горела, и я вроде как задумался, а там и ночь незаметно подошла — должно быть, уже первый час был, не знаю, на часы я не глядел. Потом в курятнике раскукарекался Черный Джо. А тут еще матушкина качалка возьми да как скрипни на весь дом, будто мать в ней сидит. Ты же знаешь, я в эти глупости не верю, но тут вдруг начало мне вспоминаться всякое разное, знаешь, как бывает. Нет, я это письмо, наверно, все же порву, потому что незачем писать такую чепуху».

А дальше строчки неслись, наскакивая одна на другую, точно слова не успевали ложиться на бумагу. «Если я все равно его порву, так лучше уж сначала допишу,— говорилось в письме.— Весь дом вдруг ожил, и будто всюду у него глаза, и будто за дверью кто-то стоит и, только я отвернусь, сразу войдет. У меня даже вроде как мороз по коже... Я чего хочу сказать... Я хочу сказать... я про то, что... я ведь до сих пор не понимаю, почему отец тогда так поступил? То есть я хочу сказать... почему отцу не понравился ножик, ну тот, что я ему купил на день рождения? Почему? Ножик-то был хороший, а ему хороший ножик был нужен. Если бы он им чего постругал, или разок его поточил, или хотя бы вынимал иногда из кармана, просто так, поглядеть — вот и все, что от него требовалось. Если бы ему этот ножик понравился, я бы тебя не поколотил. А пришлось поколотить. Матушкина качалка вроде покачивается. Нет, это тень. Я в эти глупости не верю.

Вроде как я что-то не довел до конца. Что-то со мной такое, как бывает, когда сделаешь дело наполовину, а что дальше, не знаешь. Что-то не доведено до конца. Мое место не здесь. Я должен бродить по свету, а не сидеть на этой распрекрасной ферме и присматривать себе жену. Нет, какая-то тут ошибка, будто что-то не доделано, будто все произошло слишком быстро и что-то упущено. Это я должен быть там, где ты, а твое место — здесь. Раньше я ни о чем таком не задумывался. Может, это со мной оттого, что сейчас поздняя ночь... да уже и не ночь даже. Я вот глянул в окошко — светает. Нет, по-моему, я не спал. Как же это ночь так быстро пролетела? А теперь и спать-то не время. Да я бы и не заснул».

Письмо было без подписи. Наверно, Карл забыл, что хотел его порвать, взял и отправил. Адам хранил это письмо долго, и всякий раз, как его перечитывал, по спине у него полз холодок, а отчего, он не понимал.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Дети у Самюэла и Лизы подрастали, и, что ни год, на ранчо появлялся еще один маленький Гамильтон. Высокий и красивый Джордж был мальчик мягкий, ласковый, с самого начала отличавшийся благородством манер. Уже в раннем детстве он держал себя учтиво и был, как тогда говорили, «смирный ребенок». От отца он унаследовал чистоплотность, всегда был опрятен, аккуратно причесан, и даже в поношенных вещах казался хорошо одетым. С младенчества безгрешный, Джордж оставался безгрешен всю жизнь. Умышленных проступков за ним не знали, а его неумышленные проступки были не более чем оплошностью. Когда Джордж был в зрелом возрасте — медицина к тому времени уже начала кое в чем разбираться, — врачи установили, что он страдает злокачественным малокровием. Вполне вероятно, что благонравие Джорджа происходило от нехватки энергии.

Погодок Джорджа Уилл рос коренастым и крепким. Фантазии у него было маловато, зато энергии хоть отбав-

ляй. С раннего детства он был усерден в труде, и стоило только объяснить, что от него требуется, как он тут же брался за дело и работал не покладая рук. Уилл был консерватором, не только в политике, но и во всем остальном. Любые свежие идеи казались ему революционными, и он отгораживался от них стеной недоверия и неприязни. Уиллу хотелось жить так, чтобы никто к нему не придрался, и потому он волей-неволей вынужден был подгонять свою жизнь под общепринятый образец.

Может быть, неприязнь к переменам и нововведениям возникла у него отчасти из-за отца. Сознание Уилла формировалось в годы, когда его отец прожил в Долине еще недостаточно долго, чтобы считаться настоящим старожилом. Хуже того, он по-прежнему оставался здесь чужаком и ирландцем. А в те времена к ирландцам в Америке относились весьма презрительно, правда, в основном на востоке страны, но, должно быть, это презрение просочилось и на запад. Мало того, что Самюэл был нездешней породы, он еще вечно носился с разными идеями и придумывал всякие новшества. В небольших, отрезанных от внешнего мира колониях таким людям начинают доверять лишь после того, как они докажут, что бояться их нечего. Яркий человек вроде Самюэла всегда способен причинить кучу неприятностей. К примеру, он мог чрезмерно расположить к себе местных дам, чьи мужья и сами знали, что женам с ними скучно. Настораживало и то, что он был образован, начитан, покупал и одалживал книги, знал всякое разное, от чего, вроде, и пользы-то никакой — и не съешь, и на себя не наденешь, и в дом не поставишь, — а вдобавок интересовался поэзией и уважал хороший слог. Будь Гамильтоны богаты, будь у них такой же большой дом и такие же широкие ровные поля, как у Торнсов или Делмаров, Самюэл, ей-богу, зашел бы себе даже библиотеку.

У Делмаров библиотека была — одни книги в комнате, и больше ничего, а стены дубом отделаны. Самюэл частенько брал у них что-нибудь почитать и прочел из этой библиотеки больше книг, чем сами Делмары. В те годы богатым людям дозволялось быть образованными. Богатый человек мог, не опасаясь пересудов, отдать своих сыновей в колледж, мог по будним дням расхаживать с утра в сюртуке и белой рубашке с галстуком, мог носить перчатки и заботиться о чистоте ногтей. У богатых своя, осе-

бая жизнь, свои обычаи, и разве кто знает, что им пригодится, а что нет? Но когда человек беден, на кой ляд ему поэзия, или живопись, или такая музыка, под которую и не споешь, и не спляшешь? Вся эта ерунда не поможет ему собрать мало-мальски приличный урожай или прикупить детям одежду. А если он не желает этого понимать и никак не уймется, то, видать, что-то здесь нечисто.

Взять хотя бы Самюэла. Он, если собирался что-нибудь смастерить, то сперва всегда начертит на бумаге, а уж потом возьмется за железо или дерево. Оно, конечно, правильно, это понятно, и даже позавидовать можно. Но на полях чертежей он рисовал разные картинки: то деревья, то человеческие лица, то зверей, то жуков, а иногда и вообще не разбери чего. Люди глядели и только неловко посмеивались. Ну и потом, с Самюэлом никто наперед не знал, что он подумает, или скажет, или сделает — от него можно было ждать чего угодно.

Когда Самюэл поселился в Долине, первые несколько лет он вызывал у местных жителей смутные подозрения. И, может быть, Уилл еще совсем ребенком слышал как-нибудь разговор в лавке в Сан-Лукасе. Маленькие мальчики не любят, когда отцы у них не такие, как у других детей. Возможно, тогда-то консерватизм Уилла и пустил первые ростки. Позднее, когда у Гамильтонов уже родились и подрастали другие дети, Самюэл перестал быть в Салинас-Валли чужим, и Долина гордилась им, как иные гордятся, что завели павлина. Фермеры больше не опасались его, потому что он не соблазнял их жен и не смущал покой их уютной обывательской жизни. Долина полюбила Самюэла, но к тому времени Уилл был уже вполне сложившимся человеком.

Некоторые, иногда совершенно того не заслуживая, становятся воистину баловнями судьбы. Без всяких усилий с их стороны удача сама идет к ним в руки. Уилл Гамильтон был одним из таких счастливцев. Причем небеса посылали ему именно те дары, которые он действительно мог оценить по достоинству. Везение сопровождало его с юных лет. И если отец Уилла всю жизнь не умел делать деньги, то Уилл всю жизнь греб их лопатой. Когда Уилл Гамильтон развел кур и они начали нестись, цена на яйца немедленно подскочила. Он был еще совсем юнцом, когда два его приятеля, содержавшие скромный магазинчик, оказа-

лись на грани плачевного банкротства и попросили Уилла ссудить им немного денег, чтобы перекрутиться с квартальными счетами, а за это взяли его в долю третьим совладельцем — как они еще могли его отблагодарить? Он дал им сколько они просили. Через год магазинчик встал на ноги, через два года он вырос в большой магазин, через три — открыл несколько филиалов, а сейчас пошедшие от него новые поколения магазинов образовали обширную торговую сеть и главенствуют на значительной части Калифорнии.

В уплату за чей-то просроченный долг к Уиллу отошла мастерская по ремонту велосипедов. Вскоре несколько богачей Долины обзавелись автомобилями, и механик Уилла был нарасхват. На Уилла долго наседали один настырный романтик, мечтавший облечь свои грезы в латунь, чугун и резину. Звали этого мечтателя Генри Форд, и планы его были если не уголовщиной, то по меньшей мере бредом. Уилл скрепя сердце согласился представлять его фирму на всей южной половине Долины, и уже через пятнадцать лет «форды» забили Долину чуть не в два этажа, а Уилл разбогател и ездил на «мармоне».

Том, третий сын, пошел весь в отца. Родился он с громовым криком и жил, сверкая, как молния. В жизнь он ринулся очертя голову. Он не знал меры в радости и восторге. Мир и людей он не открывал, а создавал сам. Когда он читал книги, то знал, что читает их первым. Он жил в мире, сияющем свежестью и новизной, нетронутым, как Эдем на шестой день сотворения мира. Он стремительно несся по раздолью жизни, словно ошалевший от простора жеребенок, а когда позднее жизнь воздвигла перед ним изгородь, он промчался сквозь нее, разметав рейки и проволоку, а еще позже, когда вокруг бесповоротно сомкнулись стены, он пршиб их собой и вырвался на свободу. Ему была доступна великая радость, но столь же великой бывала и его скорбь; так, например, когда у него умерла собака, мир рухнул.

Изобретательности у Тома было не меньше, чем у отца, но он был более дерзок. Он брался за такое, перед чем отец бы спасовал. К тому же Тома непрестанно подстегивал жаркий зов плоти, а Самюэл в этом смысле был спокойнее. Возможно, из-за неумности своих плотских желаний Том и остался холостяком. Ведь родился он в семье

высоконравственной. Могло статься, что его ночные видения, тоска его тела и способы, которыми он эту тоску утолял, казались ему греховными, и порой он убегал в горы, воя от стыда, как зверь. Необузданность удивительно сочеталась в нем с добротой. Он свирепо изнурял себя работой, лишь бы погасить свои буйные порывы.

Ирландцам и вправду свойственно безудержное веселье, но в то же время за каждым из них будто следит унылый и мрачный призрак, которого они таскают на своем горбу всю жизнь и который подглядывает их мысли. Едва они засмеются слишком громко, он тотчас затыкает им глотку своим длинным пальцем. Ирландцы выносят себе приговор сами, не дожидаясь обвинения, и оттого всегда насторожены.

Когда Тому было девять лет, его стало тревожить, что у младшей сестренки, красавицы Молли, затруднена речь. Он попросил ее открыть рот пошире и увидел, что говорить ей мешает перепонка под языком. «Я это исправлю», — сказал Том. Он завел сестру в укромное место подальше от дома, наточил о камень свой перочинный нож и рассек преграду, нагло вставшую на пути у слова. Потом он убежал прочь и его вырвало.

Вместе с семейством Гамильтонов разрастался их дом. Он и задуман был как незаконченный, чтобы по мере надобности от него ответвлялись пристройки. Комната и кухня, поначалу составлявшие весь дом, быстро затерялись в хаосе этих пристроек.

Самюэл меж тем все не богател. У него завелась дурная привычка брать патенты, недуг, поражающий многих. Он придумал приставку, с которой молотилка работала лучше, дешевле и продуктивнее, чем все известные машины этого рода. Оплата услуг юриста-патентовщика сожрала весь небольшой доход Гамильтонов за целый год. Самюэл послал свои макеты одному промышленнику, который отверг чертежи, но не замедлил воспользоваться идеей. После этого Гамильтоны еще несколько лет сидели на голодном пайке, потому что Самюэл судился, и утечка из семейного бюджета прекратилась только когда Самюэл проиграл процесс. Впервые он так ясно понял непреложность истины, гласящей, что без денег против денег не воюют. Но Самюэл уже заразился патентной лихорадкой, и она год за годом выкачивала из него все деньги, которые он зарабатывал

молотьбой и в кузнице. Дети Гамильтонов ходили босые, в залатанных комбинезонах, в доме иногда нечего было есть — но как бы Самюэл иначе расплатился за хрустящие кальки светокопий с вычерченными на них шестеренками, плоскостями и проекциями?

Одни мыслят широко, другие — узко. Самюэл, Том и Джо мыслили широко, а Джордж и Уилл мыслили узко. Джозеф, или просто Джо, четвертый сын Самюэла, был сонно-мечтательным пареньком, и вся семья очень его любила и оберегала. Он весьма рано понял, что беспомощная улыбка — вернейшее средство оградить себя от работы. Его братья были усердные труженики, все до одного. Чем заставлять Джо, им было проще работать за него самим. Родители считали, что в семье растет поэт, потому что ни на что другое Джо явно не годился. И они так это ему втемяшили, что в подтверждение своего таланта Джо начал пописывать незатейливые стишки. Джо был ленив не только телом, но, вероятно, и умом. Он жил в мечтательной полудреме, но мать любила Джо больше всех детей, потому что он казался ей беспомощным. На самом деле Джо вовсе не был беспомощным, он всегда добивался, чего хотел, причем с минимумом усилий. Он был в семье общим любимцем.

В средние века юноше, плохо владевшему шпагой и копьем, была дорога в священники; в семье Гамильтонов неспособность Джо по-человечески работать на ферме и в кузнице открывала ему дорогу к высшему образованию. Он не был больным или хилым, но гантели валялись у него из рук; верхом он ездил скверно и терпеть не мог лошадей. Вся семья смеялась от умиления, вспоминая, как Джо пробовал пахать: кривая первая борозда виляла, как ручей по равнине, зато вторая борозда наезжала на первую только один раз — в том месте, где она пересекала ее и затем уползала неизвестно куда.

Постепенно Джо самоустранился от всякой работы на ферме. Мать объясняла, что у Джо мысли витают в облаках, будто это бог весть какое редкое достоинство.

Когда Джо осрамился во всех доступных фермеру видах деятельности, Самюэл с отчаяния поручил ему пасти овец, стадо из шестидесяти голов. Это был самый несложный труд, классический образец работы, не требующей никакого мастерства. Единственное, что требовалось, это быть рядом с овцами. Но Джо потерял стадо — потерял все

шестьдесят овец и не мог отыскать их на дне сухой ложины, где они, сгрудившись в кучу, укрывались от солнца. Как гласит предание, Самюэл созвал всю семью, всех своих сыновей и дочерей, и взял с них клятву, что после его смерти они будут заботиться о Джо, а иначе тот непременно погибнет от голода.

Вперемежку с сыновьями у Гамильтонов росли пять дочерей: старшая Уна, темноволосая вдумчивая девочка, прилежная в учении; Лиззи — нет, все-таки старшей была, наверно, Лиззи, раз ее называли в честь матери, но про Лиззи я знаю мало. Похоже, она с юных лет стыдилась своей семьи. Замуж она вышла рано и уехала, а потом ее видели только на похоронах. Лиззи, единственная из всех Гамильтонов, была злая и умела ненавидеть. Она родила сына, а когда сын вырос и женился на девушке, которая пришлась ей не по нраву, Лиззи не разговаривала с ним много лет.

Затем шла Десси, такая хохотушка, что любому было жаль расстаться с ней хоть на минуту, потому что ни с кем не было так весело, как с Десси.

Следующую сестру звали Оливия — это моя мать. И, наконец, была Молли, маленькая красавица, светлокудрая прелесть с глазами цвета фиалок.

Вот такие были эти молодые Гамильтоны, и прямо чудо, как Лиза, крохотная сухошавая малограмотная ирландка, умудрялась рожать их одного за другим и выкармливать, печь хлеб, общивать всю семью и при этом еще прививать детям хорошие манеры и вколачивать в них железные нравственные принципы.

Просто поразительно, как Лиза умела командовать детьми. Что творится в мире, она не ведала, ничего не читала и за исключением долгого переезда из Ирландии никогда не путешествовала. Она не была близка ни с одним мужчиной, кроме собственного мужа, да и с ним это занятие представлялось ей лишь утомительной, а подчас и мучительной обязанностью. Большая часть ее жизни была отдана вынашиванию и воспитанию детей. Пищу для ума она черпала только из Библии да еще, может быть, из бесед с Самюэлом и детьми, впрочем, что говорили дети, она не слушала. Библия была для Лизы ее единственным источником знаний, вмещавшим в себя все: историю и поэзию, сведения о природе людей и вещей, законы нравст-

венности, путь к спасению души. Эту книгу Лиза не анализировала и не штудировала, она ее просто читала. Встречающиеся там многочисленные противоречия не смущали Лизу ни в коей мере. И в конце концов она выучила Библию наизуток, так что могла читать ее, даже не вдумываясь.

Лиза пользовалась всеобщим уважением, потому что она была женщина достойная и вырастила достойных детей. Ей не за что было краснеть перед людьми. Муж, дети и внуки уважали ее. Лиза обладала твердокаменной волей, не шла ни на какие сделки с совестью и своей правотой сокрушала любую неправоту, чем вызывала к себе почтение, но отнюдь не любовь.

В своей ненависти к крепким напиткам Лиза была непоколебима. Принятие алкоголя в любом виде она считала преступлением против и без того разгневанного божества. Она не только не притрагивалась к спиртному сама, но и отказывала в этом удовольствии другим. В результате, естественно, и ее муж Самюэл, и все ее дети не упускали случая клюкнуть со вкусом стаканчик-другой.

Однажды, когда Самюэл сильно разболелся, он попросил ее:

— Лиза, может, дашь мне глоток виски, чтоб полегчало?

Лиза выпятила маленький жесткий подбородок.

— Ты что ж это, хочешь предстать перед престолом Господним, чтобы от тебя спиртным разило?! Ну уж нет! — сказала она.

Самюэл повернулся на бок и продолжал бороться с болезнью своими силами.

Когда Лизе было под семьдесят, у нее начался климакс, и врач велел ей принимать как лекарство по столовой ложке портвейна. Первую ложку она проглотила с усилием и скорчила гримасу, но оказалось, что это совсем не так противно. И с той минуты от нее до конца жизни пахло винцом. Пила его она всегда только по столовой ложке, только как лекарство, но вскоре стала выпивать за день больше кварты и чувствовала себя куда спокойнее и веселее, чем прежде.

Всех своих детей Самюэл и Лиза Гамильтон родили, воспитали и, что называется, довели до ума прежде, чем кончился прошлый и начался нынешний век. На ранчо к востоку от Кинг-Сити вырослел целый отряд Гамильто-

нов. И все эти дети, юноши и девушки были американцы. Самюэл не вернулся в Ирландию и постепенно забыл ее напрочь. Он был человек занятой. У него не было времени на постальгию. Долина одна заменяла собой весь мир. Съездить за шестьдесят миль на север, в город Салинас, было событием, которого вполне хватало на год, а бесконечная работа на ферме, заботы о здоровье многолюдного семейства, о пропитании и одежде для детей отнимали у Самюэла почти все его время — почти, но не все. Энергии у него было в достатке.

Его дочь Уна, темноволосая и серьезная, посвятила себя постижению сути предметов и явлений. Он гордился ее непокорным, пытливым умом. Оливия кончала краткосрочные курсы при Салинасской средней школе и готовилась к экзаменам на окружном конкурсе. Оливия собиралась стать учительницей, а иметь дочь-учительницу было в Америке так же почетно, как иметь сына-священника в Ирландии. Что касается Джо, то было решено послать его учиться в колледж, потому что ни на что другое он, черт его побери, не годился. Уилл был уже на полпути к уготованному ему волей случая богатству. Том обдирает кожу об острые углы жизни и зализывал раны. Десси училась на портниху, а Молли, хорошенькая Молли, судя по всему, должна была выйти замуж за какого-нибудь состоятельного человека.

О наследстве вопроса не возникало. Хотя ранчо в холмах раскинулось широко, оно было катастрофически бедным. Самюэл бурил в долине колодезь за колодезем, но найти воду на своей земле ему не удавалось. Будь здесь вода, все было бы иначе. С водой Гамильтоны могли бы относительно разбогатеть. Жалкая струйка, которую насос качал из глубокой скважины за домом, составляла все их водные ресурсы; иногда уровень воды в скважине опасно падал, а дважды она высыхала совсем. На водопой скот пригоняли с дальнего конца ранчо, а потом его надо было гнать обратно на пастбище.

В общем и целом Гамильтоны были семья хорошая, крепкая, устоявшаяся, и они прочно прижились в Долине, где были не беднее и не богаче многих. Эта семья гармонично объединяла в себе консерваторов и радикалов, мечтателей и реалистов. И догаден был Самюэл родом, что пошел от семени его.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

С тех пор, как Адам ушел в армию, а Сайрус переехал в Вашингтон, Карл жил на ферме один. Он хвастал, что присматривает себе жену, но почему-то не следовал принятой в таких случаях практике: не ходил на свидания, не водил девушек на танцы, не проверял, целомудренны они или нет, чтобы потом весь этот подготовительный период бесславно завершился женитьбой. А правда заключалась в том, что в присутствии девушек Карл безумно робел. И, как большинство робких мужчин, он удовлетворял нужды своего естества с помощью безликого племени проституток. Со шлюхой робкий мужчина чувствует себя неизмеримо увереннее. Он ей платит, причем платит вперед, и она становится для него вещью: с проституткой робкий мужчина может позволить себе быть веселым, а то и жестоким. Кроме того, с ней не сводит кишки от страха, что тебя отвергнут.

Дело было поставлено просто и не афишировалось. Хозяин салуна мистер Халем держал на втором этаже три комнаты для приезжих и сдавал их девицам ровно на две недели. По истечении этого срока приезжала новая смена девиц. Сам мистер Халем в предприятии не участвовал. Заяви он, что ничего не знает, он бы не слишком покривил душой. Просто за эти три комнаты он получал в пять раз больше обычного. А набирал, поставлял, доставлял, укрощал и обирал девиц некий сводник по фамилии Эдвардс, живший в Бостоне. Его подопечные совершали неторопливое турне по провинции, нигде не задерживаясь дольше двух недель. Такая система прекрасно себя оправдывала. Своим коротким пребыванием в каждой городке девицы не успевали вызвать недовольство местного общества или полиции. Большую часть времени они проводили у себя в номерах и на людях старались не появляться. Им было под страхом порки и мордобоя запрещено напиваться, скандалить и влюбляться. Завтраки, обеды и ужины подавали в номера, а всех клиентов тщательно проверяли. Пьяных не пускали наверх ни под каким видом. Раз в полгода каждая девица получала месячный отпуск, чтобы попойнствовать и подебоширить за

милую душу. Но посмей она нарушить установленные порядки на работе, мистер Эдвардс лично сдирает с нее платье, затыкает ей рот тряпкой и пороет кнутом до полусмерти. Если же она давала себе волю еще раз, то попадала в тюрьму по обвинению в бродяжничестве и проституции.

Двухнедельные гастролы имели и другие преимущества. Многие девицы были больны, но, как правило, уезжали прежде, чем их подарок окончательно вызревал в клиенте. И мужчине было не на кого лезть с кулаками. Мистер Халем знать ничего не знал, а мистер Эдвардс никогда не распространялся о своей профессии. Эти турне были для него весьма выгодное дело.

Девицы очень походили одна на другую — все они были здоровенные, крепкие, ленивые и глупые. Разницы между ними мужчина почти не ощущал. Карл Траск завел обыкновение наведываться в салун минимум два раза в месяц: он проскальзывал на второй этаж, быстро делал свое дело, потом возвращался в бар и слегка закладывал за воротник.

В доме Трасков и прежде было не больно-то весело, но когда в нем остался один Карл, дом, уныло поскрипывая, словно гнил на корню. Кружевные занавески посеребрились, полы, хотя Карл их подметал, вечно были липкие и от них несло затхлостью. Вся кухня — даже окна — от жира сковородок будто покрылась лаком. И первая, и вторая жена Сайруса в свое время отражали натиск грязи бесконечными уборками и раз в два года отскребали полы и стены ножом. А Карл в лучшем случае смахивал пыль. Простыни он себе больше не стелил и спал прямо на матрасе под голым одеялом. Какой смысл наводить чистоту, когда оценить ее некому? Да и сам он мылся и переодевался в чистое только в те вечера, когда ходил в салун.

Засевшее в нем непонятное беспокойство каждый день поднимало его на заре. Не находя выхода своему одиночеству, он работал на ферме как вол. Возвращаясь домой, что-нибудь жарил и, набив живот, тупо валился спать.

Его смуглое лицо было постоянно серьезным и ничего не выражало, как это свойственно людям, большую часть времени проводящим в одиночестве. По брату он тосковал больше, чем по матери и отцу. Свою жизнь до ухода Адама в армию он с большим отклонением от истины вспоминал как счастливую пору и мечтал, чтобы она возвратилась.

За эти годы он ничем не болел, если, конечно, не считать хронического несварения желудка, и в наши дни остающегося общим недугом всех холостяков, которые сами себе готовят и едят в одиночестве. От этой хвори он лечил себя мощным слабительным под названием «Эликсир батисшки Джорджа».

А единственный за все время несчастный случай приключился с ним на третий год его одинокой жизни. Он выкапывал из земли булыжники и перевозил их на тачке к огораживавшей поле каменной стене. Один большой валун ему было никак не сдвинуть. Карл поддевал его длинным железным ломом, но валун упрямо скатывался на то же место. У Карла вдруг лопнуло терпение. На губах его заиграла легкая улыбка, и в молчаливой ярости он набросился на камень, как на человека. Он подпихнул под него лом как можно дальше и, откинувшись назад, нажал всем своим весом. Лом выскользнул из-под валуна и верхним концом ударил Карла в лоб. Несколько минут Карл валялся без сознания, потом перевернулся на бок, встал и, ослепленный болью, шатаясь побрел к дому. Через весь лоб до самой переносицы у него вздулся длинный рваный рубец. С месяц рана под повязкой гноилась, но Карла это не тревожило. В те дни считали, что если идет гной, это хорошо, значит, все заживает как положено. Когда же рана действительно зажила, на лбу остался длинный морщинистый шрам, и, хотя со временем шрамы обычно светлеют, у Карла шрам был темно-коричневым. Возможно, ржавчина от лома въелась в кожу и получилось что-то вроде татуировки.

Рана не пугала Карла, а вот шрам не давал покоя. Он был будто след от пальца, который кто-то приложил ему ко лбу. Карл часто рассматривал его в маленькое зеркальце возле плиты. Чтобы по возможности скрыть шрам, он зачесывал волосы чуть ли не на глаза. Он стыдился своего шрама, он его ненавидел. Поймав на себе чей-нибудь взгляд, Карл начинал нервничать, а если его спрашивали, откуда у него такое, приходил в ярость. В письме брату он объяснил, какие чувства вызывает в нем этот шрам.

«Будто меня кто клеймом пометил, как корову,— писал он.— Этот чертов шрам все темнеет. Когда ты вернешься, он, может, будет уже черный. Не хватает еще второго

такого, поперек, и будет настоящий крест на лбу. Не знаю, чего я о нем все время думаю. У меня же и других шрамов полно. Но этот... меня им будто пометили. А когда в город хожу, например, в салун, так и того хуже — все на него пялятся. Когда думают, что я не слышу, только про него и говорят. Не понимаю, чего он им дался. Мне теперь и в город ходить неохота».

2

Адам закончил службу в 1885 году и двинулся домой. Внешне он изменился мало. В нем не было военной выправки. Кавалерия — это не пехота. В некоторых эскадронах солдаты даже гордились своей разболтанной походкой.

Адам был как во сне. Трудно расставаться с укоренившимся укладом жизни, даже если ты эту жизнь ненавидишь. Утром он просыпался в одно и то же время, секунда в секунду, и лежал, ожидая, когда протрубят «подъем». Его икры тосковали по плотно прилегающим крагам, а шея без тугого воротничка была будто голая. Он добрался до Чикаго, неизвестно зачем снял там на неделю меблированный номер, прожил два дня, поехал в Буффало, на полпути передумал и отправился на Ниагарский водопад. Домой ему не хотелось, и он, как мог, оттягивал возвращение. О доме он думал без радости. Прежние чувства умерли, и у него не было желания их воскрешать. Он часами глядел на водопад. Рокот воды гипнотизировал его, погружал в оцепенение.

Однажды вечером на него навалилась щемящая тоска по многолюдной тесноте казарм и палаток. Его потянуло отогреть душу среди людей, окунуться в толпу. По дороге ему попался маленький, переполненный и прокуренный бар. Войдя туда, он глубоко вздохнул от удовольствия и чуть ли не ввинтился в людскую толчею, как ввинчивается кошка в щель между дровами в поленнице. Он взял виски, тихо пил его, и ему было приятно и тепло. Он ни на кого не глядел, не слушал ничьих разговоров. Просто впитывал в себя близость людей.

Время подходило к ночи, бар пустел, и Адам со страхом думал о минуте, когда надо будет идти домой. Вскоре

остался только бармен: он протирает и протирает красное дерево стойки, всем своим видом намекая, что Адаму пора уходить.

— Налей-ка мне еще,— попросил Адам.

Бармен пододвинул бутылку. Адам только сейчас разглядел его. На лбу у бармена было малиновое пятно.

— Я нездешний,— сказал Адам.

— А у нас на водопаде местные почти и не бывают,— отозвался бармен.

— Я в армии служил. В кавалерии.

— А-а.

Адам вдруг почувствовал, что должен во что бы то ни стало удивить этого человека, прошибить его равнодушие.

— Я с индейцами воевал,— сказал он.— Чего только не навиделся!

Бармен молчал.

— У моего брата тоже на лбу отметина.

Бармен потер свое малиновое пятно.

— Это у меня от рождения,— сказал он.— С годами все больше делается. У твоего брата тоже от рождения?

— Нет, он поранился. В письме мне написал.

— А мое на кота похоже, ты заметил?

— Да, точно.

— У меня потому и кличка такая. Кот. С детства. Говорят, когда мать ходила тяжелая, ее кот напугал.

— А я вот домой возвращаюсь. Давненько там не был. Может, выпьешь со мной?

— Спасибо. Ты где остановился?

— В пансионе, у миссис Мей.

— Знаю ее, как же. Про нее говорят, будто она нарочно даст целую лоханку супа, чтобы потом меньше мяса ели.

— Наверно, в каждом ремесле есть свои хитрости,— сказал Адам.

— Что да, то да. В моем ремесле их тоже немало.

— Уж надо думать.

— Только вот одной хитрости, самой нужной, я не знаю. А жаль.

— И какая же это хитрость?

— А такая, чтобы, черт побери, выпроводить тебя домой и закрыть бар.

Адам уставился на него, смотрел не отрываясь и молчал.

— Я пошутил,— неловко выкрутился бармен.

— Пожалуй, утром домой и поеду,— сказал Адам.— В смысле, совсем домой, к себе.

— Тогда желаю удачи.

Адам брел через темный город и все убыстрял шаг, будто за ним, оскалившись, трусило одиночество. Когда он поднимался по ступенькам, осевшее крыльцо пансиона предостерегающе закрипело. Во мраке коридора желтой точкой светилась керосиновая лампа, у которой так прикрутили фитиль, что огонек дергался в предсмертных судорогах.

В дверях своей комнаты стояла хозяйка, и тень от ее носа тянулась до кончика подбородка. Холодные глаза неотступно, как с написанного анфас портрета, следили за Адамом, а нос вынюхивал запах виски.

— Доброй ночи,— сказал Адам.

Она не ответила.

На площадке между этажами он оглянулся. Хозяйка стояла, задрав голову, и теперь тень падала ей на шею, а глаза были будто без зрачков.

В его комнате пахло пылью — пылью, много раз сыревшей и потом высыхавшей. Он достал из кармана коробок и чиркнул спичкой. Зажег огрызок свечи в черном лаковом подсвечнике и окинул взглядом кровать: провисшая, как гамак, она была накрыта грязным стеганым одеялом, из которого торчали по краям клочья ваты.

Крыльцо снова жалобно закрипело, и Адам понял, что хозяйка сейчас снова встанет в дверях, готовая обдать входящего неприязнью.

Адам сел на жесткий стул, поставил локти на колени и подпер подбородок. В тишине ночи из дальней комнаты доносился чей-то упорный кашель.

И Адам понял, что не может вернуться домой. Он знал, что он сделает; он слышал, как о таком же рассказывали старые солдаты. «Я просто больше не мог. Податься мне было некуда. Знакомых никого. Пошатался, поездил, а потом перетрусил, как младенец, и, не успел опомниться, стою у казармы и упрашиваю сержанта взять меня обратно — будто он мне большее одолжение делает».

Возвратившись в Чикаго, Адам подписал армейский контракт еще на пять лет и попросился в прежний полк. Пока поезд вез его на запад, Адаму казалось, что в эскадроне его встретят самые близкие и родные люди.

Когда он ждал пересадки в Канзас-Сити, на перроне выкрикнули его фамилию, и посыльный сунул ему депешу — предписание явиться в Вашингтон, в канцелярию министра обороны. За пять лет службы Адам не столько приучился, сколько привык не удивляться никаким приказам. Боги, восседавшие на далеком вашингтонском Олимпе, в представлении рядовых солдат были сумасшедшими, и если ты хотел сохранить рассудок, лучше было поменьше думать обо всех этих генералах.

Прибыв в канцелярию, Адам назвал себя секретарю и пошел ждать в приемную. Там-то и нашел его отец. В первую минуту Адам не узнал Сайруса, и прошло еще несколько минут, прежде чем он оправился от изумления. Сайрус стал большим человеком. Одет он был соответственно — костюм из дорогого черного сукна, модная черная шляпа, пальто с бархатным воротником и трость эбенового дерева, которая в его руках казалась шпагой. Держался Сайрус тоже как большой человек. Речь у него была тихая, мягкая, размеренная и спокойная, в движениях появилась широта, а новые зубы придавали его улыбке сатанинское коварство.

Осознав, наконец, что видит перед собой отца, Адам все равно не мог избавиться от недоумения. Вдруг сообразив, он скользнул глазами вниз — кривой деревяшки не было. Прямая нога сгибалась в колене и была обута в начищенный лайковый сапожок. Отец прихрамывал, но не как раньше, когда он тяжело припадал на деревянную ногу. Сайрус перехватил его взгляд.

— Механическая, — сказал он. — На шарнире. С пружиной. Когда хочу, даже не хромаю. Я потом ее сниму, покажу тебе. Пойдем.

— Меня вызвали приказом, сэр, — сказал Адам. — Я обязан доложить полковнику Уэлсу.

— Я знаю, что тебя вызвали. Это я велел Уэлсу послать приказ. Пошли.

Адам замялся.

— Если позволите, сэр, я все же доложусь полковнику Уэлсу.

Отец круто сменил тактику.

— Я тебя проверял,— важно заявил он.— Хотел узнать, как нынче в армии с дисциплиной. Молодец. Я же говорил, что служба пойдет тебе на пользу. Ты, сын, теперь настоящий мужчина и воин.

— Меня вызвали приказом,— повторил Адам. Этот человек был для него чужой. В Адаме шевельнулась брезгливость. Он чувствовал какую-то фальшь. И это чувство не прошло, даже когда перед отцом мгновенно распахнулись двери кабинета и полковник Уэлс подобострастно сообщил: «Министр готов принять вас, сэр».

— Это мой сын, господин министр. Простой солдат — как и я в свое время,— рядовой армии Соединенных Штатов.

— Первый срок я закончил в звании капрала,— сказал Адам. Он не вслушивался в обмен приветствиями. Он думал. Это же министр обороны, думал Адам. Неужели он не видит, что мой отец на самом деле вовсе не такой? Он ведь играет, как актер в театре. Что с ним случилось? Странно, почему министр ничего не замечает.

В маленькую гостиницу, где жил отец, они пошли пешком, и по дороге Сайрус обстоятельно, как опытный лектор, знакомил Адама с вашингтонскими достопримечательностями, показывал исторические здания и места.

— Я живу в гостинице,— сказал он.— Подумывал купить дом, но я много езжу, только зря бы деньги потратил. Большую часть времени я в разъездах по стране.

Портье в гостинице тоже ничего не замечал. Он кланялся, называл Сайруса «сенатор» и дал понять, что непременно найдет для Адама комнату, даже если придется выкинуть кого-нибудь на улицу.

— Пришлите мне в номер бутылку виски.

— Если желаете, можем подать и лед.

— Лед?!—возмутился Сайрус.—Мой сын—солдат.— Он постучал тростью по ноге, и она отозвалась гулкой пустотой.— Я тоже был солдатом — рядовым. Зачем нам лед?

Номер Сайруса порастил Адама роскошью. Там была не только спальня, но и гостиная, и примыкавший прямо к спальне туалет.

Сайрус уселся в глубокое кресло и вздохнул. Потом подтянул штанину, и Адам увидел хитрое приспособление из железа, кожи и дерева. Сайрус расшнуровал кожаный

чехол, которым протез крепился к культе, и поднялся из кресла, похожий на карикатуру.

— Натирает, спасу нет,— сказал он.

Без ноги отец снова стал самим собой, стал таким, каким Адам его помнил. Только что Адам чуть ли не презирал его, но сейчас вернулись памятные с детства страх, уважение, враждебность, и оттого Адам чувствовал себя мальчишкой, который старается разгадать настроение отца, чтобы избежать опасности.

Сайрус устроился поудобнее, глотнул виски и расстегнул воротничок. Потом пристально взглянул на Адама:

— Итак?

— Что, отец?

— Почему ты завербовался на второй срок?

— Я... я не знаю. Просто так.

— Адам, тебе ведь не нравится в армии.

— Так точно.

— Почему же ты снова служишь?

— Я не хотел возвращаться домой.

Сайрус вздохнул и кончиками пальцев поскреб подлокотники кресла.

— Ты решил остаться в армии насовсем? — спросил он.

— Не знаю.

— Я могу послать тебя в Уэст-Пойнт¹. У меня есть связи. Я могу освободить тебя от службы, и ты поступишь в Уэст-Пойнт.

— Я туда не хочу.

— Ты не желаешь со мной считаться? — спокойно спросил Сайрус.

Адам долго молчал, и мысли его метались в поисках спасительного выхода.

— Так точно,— наконец ответил он.

— Налей-ка мне виски, сын,— сказал Сайрус и, когда Адам выполнил его просьбу, продолжил: — Думаю, тебе вряд ли известно, каким я пользуюсь влиянием. Одно мое слово, и СВР провалит на выборах любого кандидата. Сам президент интересуется моим мнением по вопросам государственной важности. Я могу выгнать в отставку любого сенатора, и мне ничего не стоит назначить на хоро-

¹ Уэст-Пойнт — старейшее и самое престижное офицерское училище США.

ший пост кого захочу. Я могу сделать человеку карьеру, но могу и поломать ему жизнь. Ты это понимаешь?

Адам понимал и кое-что другое. Он понимал, что этими угрозами Сайрус пытается себя защитить.

— Да, отец. Мне рассказывали.

— Я мог бы перевести тебя в Вашингтон... даже взять под свое начало... и многому научить.

— Я лучше вернусь в свой полк.

На лицо Сайруса легла тень досады.

— Вероятно, я дал промашку. Тупое солдатское упрямство из тебя уже не вышибить.— Сайрус вздохнул.— Я распоряжусь, чтобы тебя отправили назад в полк. Прозябай в казармах.

— Спасибо, отец.— Адам помолчал, потом спросил: — А почему вы не перевезете сюда Карла?

— Потому что я... Нет, Карлу лучше там, где он сейчас... ему лучше там.

Адам часто потом вспоминал тон, каким это было сказано, и лицо отца. Времени для воспоминаний ему хватало с лихвой, потому что он действительно прозябал в казармах. Он вспоминал, что у отца никого нет, что он одинок... и сам это понимает.

3

На пятый год Карл стал готовиться к возвращению Адама. Он покрасил дом и амбар, а когда подошло время, нанял одну старуху, чтобы навела в доме порядок, чтобы отдраила все до блеска.

Старуха была чистюля и вредная. Она поглядела на серые от пыли, истлевшие занавески, выбросила их и сшила новые. Она выгребла из плиты жирную грязь, которая копилась там с тех пор, как умерла мать Карла. Она щелоком свела со стен гляцевую коричневую гадость, налипшую от чада сковородок и керосиновых ламп. Она травила полы известью, замачивала одеяла в соде и все время брюзжала себе под нос: «Мужчины... скоты поганые. Свинья, и та чище. Ну прямо в дерьме живут. И чего бабы за них замуж выходят? А вонища-то, ну прямо протухнешь. А духовка — спокон веку не мытая».

Щелок, сода, нашатырь и карболовое мыло знаменовали собой чистоту, но от них щипало в носу, и, щадя свое обоняние, Карл переселился в сарай. Однако у него успе-

ло сложиться впечатление, что старуха не одобряет его манеру вести хозяйство. Когда дом засиял и засверкал, а старуха наконец убрюжжала восвояси, Карл остался жить в сарае. До приезда Адама ему хотелось продержатъ дом в чистоте. В сарае лежали разные необходимые на ферме орудия труда, а также необходимый для их починки инструмент. Карл обнаружил, что на кузнечном горне варить и жарить гораздо легче, чем на кухонной плите. Стоило качнуть мехи, как от углей шел обжигающий жар. Не надо было ждать, пока нагреется плита. Как он не сообразил это раньше?

Карл ждал Адама, но Адам не возвращался. Наверно, Адаму было стыдно писать брату. О том, что Адам вопреки отцовской воле завербовался на второй срок, сообщил в сердитом письме Сайрус. А еще Сайрус намекнул, что, вероятно, в недалеком будущем позовет Карла к себе в гости, в Вашингтон, но в следующих письмах приглашение не повторялось.

Карл снова переселился в дом и, с наслаждением круша порядок, наведенный трудами старой гримзы, жил в дикой грязи. Прошло больше года, прежде чем он получил письмо от Адама — взяв для храбрости разгон с мелких новишешек, тот лишь в конце смущенно признался: «Не знаю, зачем я опять завербовался. Будто кто меня попутал. Скорее напиши, как ты, и что у тебя слышно».

Карл ответил ему лишь после четвертого встревоженного письма, и ответил холодно. «Я тебя, между прочим, не очень-то ждал», — говорилось в письме, а дальше шел подробный отчет о делах на ферме и о здоровье скота.

Время сделало свое дело. Следующее письмо Карл написал Адаму только в Новый год, и от Адама получил письмо, написанное тоже в Новый год. Пути братьев так разошлись, что их теперь почти ничто не объединяло, и расспрашивать друг друга в письмах было не о чем.

Карл начал пускать в дом разных грязнух и менял их одну за другой. Когда очередная сожительница ему надоедала, он выгонял ее взашей, легко и просто, будто сбывал с рук свинью. Он этих женщин не любил, и ему было неинтересно, любят ли его они. От городка он постепенно отдалился. Его связь с внешним миром ограничивалась визитами в салун, да еще он изредка ходил за письмами на почту. В городке кое-кто, возможно, порицал такой не-

приглядный образ жизни, но у Карла имелся козырь, который перекрывал все и затыкал рот любому. Никогда прежде хозяйство на ферме не было налажено так хорошо. Карл расчистил поля, огородил их стенами, подправил старые и прорыл новые каналы, расширил ферму еще на сто акров. Более того, он теперь выращивал табак, и за домом поднялся внушительный длинный амбар для хранения табачного листа. Благодаря всему этому Карл продолжал пользоваться у соседей уважением. В глазах фермера человек не может быть таким уж скверным, если на ферме у него все хорошо. Карл вкладывал в ферму большую часть своих денег и всю свою энергию.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Следующие пять лет жизнь Адама была заполнена всем тем, что навьючивает на солдата армия, дабы солдат не свихнулся от скуки: он без устали наводил глянец на металл и кожу, маршировал на парадах и учениях, салютовал флагу под звуки фанфар — словом, был статистом в спектакле, придуманном, чтобы занять людей, которым нечего делать. В 1886 году вспыхнула крупная забастовка на консервных заводах Чикаго, и полк Адама погрузили в вагоны, но забастовка кончилась прежде, чем они туда прибыли. В 1888 году зашевелились так и не подписавшие мирного договора семинолы, и кавалерию опять погрузили на поезда, но семинолы ретировались в свои болота, а армия снова впадала в привычную спячку.

Ход времени воспринимается нашим сознанием странно и противоречиво. Если время состоит из однообразных будней или лишено событий, логично предположить, что оно тянется бесконечно долго. Так, да не так. Именно серые, лишённые событий дни пролетают совершенно незаметно. Другое дело, когда время пестрит происшествиями, когда оно искорежено трагедиями и пересыпано радостями — потом кажется, что все это длилось очень долго. И если вдуматься, тут есть логика. Пустоту веками не разметишь. Два пустых дня сливаются в один.

Адам не успел и оглянуться, как вторые пять лет

службы кончились. Поздней осенью 1890 года он в чине капрала демобилизовался в Сан-Франциско. Переписка между Карлом и Адамом почти загложла, но перед демобилизацией Адам все же написал брату. «На этот раз я вернусь домой», — написал он, и потом Карл не получал от него вестей больше трех лет.

Поднявшись по реке до Сакраменто, Адам переждал зиму, кочуя в долине Сан-Хоакина, а когда пришла весна, денег у него уже не было. Он завязал свои пожитки в одеяло и не спеша тронулся на восток: то шел пешком, то вместе со случайными попутчиками ехал, уцепившись за решетку, под вагонами неторопливых товарных поездов. Ночи он коротал с бродягами у костров на городских окраинах. Научился попрошайничать, но просил не деньги, а еду. И вскоре сам не заметил, как стал настоящим бродягой перекати-поле.

В наше время такие одинокие скитальцы редкость, а в девяностых годах их было много, и они не искали иной жизни. Одни скрывались от закона, другие порвали с обществом, считая, что оно к ним несправедливо. Иногда они работали, но недолго. Слегка подворовывали, правда, только жратву, да еще могли при нужде спереть с веревки штаны или рубашку. Среди бродяг попадались самые разные люди: грамотные и невежественные, опрятные и неряхи, но всех их единила неприкаянность. Их притягивало тепло, и они стороной обходили слишком холодные или слишком жаркие края. Вслед за весной они двигались на восток, а первые заморозки гнали их на запад и на юг. Они были сродни койотам — оставаясь дикими, койоты живут поблизости от людей и курятников; бродяги жили поблизости от городов, но не в самих городах. С себе подобными они могли сдружиться на день, а то и на неделю, но потом все равно разбредались кто куда.

У маленьких костров, пока на огне булькала затеянная в складчину похлебка, говорили о чем угодно, не принято было говорить только о личном. Из этих разговоров Адам впервые узнал об ИРМ¹ и о яростных протагонистах этого движения. Он слушал философские споры, рассуждения о потустороннем, о красоте, о превратностях бытия. Его

¹ ИРМ — Индустриальные рабочие мира — радикальная профсоюзная организация, окончательно сформировавшаяся в 1905 г. и просуществовавшая до начала тридцатых годов.

товарищами по ночлегу могли быть убийца, священник, отлученный от церкви или отлучивший себя от нее сам, профессор, расставшийся с уютным креслом из-за тупости факультетского начальства, одинокий гонимый человек, бегущий от воспоминаний, падший ангел или делающий первые шаги дьявол — и каждый из них вносил в эти беседы частицу своих знаний и наблюдений, точно так же, как все они вносили что-нибудь в общий котел: кто морковку, кто пару картофелин, кто луковицу, кто кусок мяса. Адам постиг искусство бриться осколком стекла и по виду дома определять, вынесет хозяин поесть или нет. Он научился не связываться с суровыми полицейскими и находить общий язык с теми из них, кто помягче; научился ценить женщин за доброе сердце.

Эта новая жизнь была Адаму в радость. Осень едва тронула верхушки деревьев, когда он уже добрался до Омахи, а оттуда, не ведая почему, не думая и не гадая, заспешил на юго-запад, перемахнул через горы и со вздохом облегчения ступил на землю Южной Калифорнии. Он продвигался вдоль берега, удаляясь на север от мексиканской границы, и добрал до Сан-Луис-Обиспо, а по дороге научился разорять оставленные приливом заводи, вытаскивая оттуда угрей, окуней и мидий, откапывать на отмелях съедобных моллюсков и ловить у дюн кроликов в силки из рыбацкой лески. А еще он лежал на теплом от солнца песке и считал набегавшие волны.

Весна позвала его снова на восток, только теперь он уже не так торопился. Лето в горах было приятно прохладным, а горцы, как многие, кто живет в глуши, были народ добрый. Адам подрядился работать на ранчо близ Денвера у одной вдовы и смиренно делил с ней стол и постель, пока холода не погнали его опять на юг. Минувя Альбукерке и Эль-Пасо, он пошел по Рио-Гранде через Биг-Бенд и Лоредо до Браунсвилла. Он узнал, какие слова означают по-испански еду и ласку, и еще узнал, что, когда люди очень бедны, у них все равно найдется, что тебе дать, и дают они охотно. Он полюбил бедняков: эта любовь зародилась в нем потому, что он сам прежде был бедняком. Теперь же бедняцкая униженная робость превратилась для него, опытного бродяги, в орудие ремесла. Он исхудал, почернел от солнца и уже научился низводить свое «я» до той степени обезличенности, которая не вызы-

вает гнева или зависти. Голос его стал тихим, а в его речи перемешалось столько говоров и диалектов, что его нигде не принимали за чужака. Такие качества надежно оберегали бродяг, служили им защитной оболочкой. На поездках он теперь ездил нечасто, потому что в стране росла враждебность к бродягам, шедшая от враждебного отношения к жестоким акциям ИРМ и усугублявшаяся суровостью карательных мер против «уоббли»¹. Как-то раз Адама арестовали за бродяжничество. Лютость скорых на расправу полицейских и соседей по камере напугала его и отбила охоту участвовать в сборищах бродяг. С тех пор он странствовал в одиночестве и не позволял себе ходить небритым и грязным.

С наступлением весны он двинулся на север. Он догадывался, что для него кончилась полоса безоблачного покоя. И он держал курс на север, где его ждали Карл и угасающие воспоминания детства.

Адам быстро пересек бескрайние просторы восточного Техаса, прошел через Луизиану, через подогнанные встык торцы Миссисипи и Алабамы, и оказался во Флориде. Чутье подсказывало ему, что задерживаться нигде нельзя. Негры во Флориде были бедны ровно настолько, чтобы быть добрыми, но они не доверяли белым, пусть даже нищим; а белая голытьба здесь боялась чужих.

Неподалеку от Теллахасси его арестовали, признали виновным в бродяжничестве и определили в кандалную команду на строительство дороги. В те годы дороги только так и строили. Адама приговорили к шести месяцам каторжных работ. Едва он отбыл свой срок, его снова арестовали и дали еще шесть месяцев. К тому времени он уже усвоил, что некоторые люди считают других зверьми, и чтобы тебе было с такими проще, ты действительно должен стать зверем. Чистое лицо, открытое лицо, прямой взгляд в глаза — вот тебя уже и заметили, а значит, накажут. Совершая подлость или жестокость, человек причиняет себе боль, размышлял Адам, и потому должен кого-нибудь за эту боль наказать. Во время работы тебя сторожили с оружием, на ночь приковывали за ногу к общей цепи, но это были просто меры предосторожности, а вот то, что малейшее проявление силы воли и даже ничтожный намек

¹ «У о б б л и» — так в США называли членов профсоюза Индустриальных рабочих мира.

на самоуважение или неподчинение свирепо подавлялись кнутом, доказывало, пожалуй, что охранники побаиваются каторжников, а страх, как понял Адам еще в армии, превращает человека в опасное животное. Но Адам, как и всякое живое существо, боялся того, что способен сделать кнут с его телом и духом. И потому он огородился стенами. Он стер со своего лица чувства, погасил в глазах свет и приказал себе молчать. Позже, оглядываясь назад, он удивлялся не столько пережитому, сколько тому, как он смог все это пережить, причем без особых страданий. Воспоминания об этом кошмаре были страшнее, чем сам кошмар. Необходимо высочайшее, героическое самообладание, чтобы глядеть, как людей порют кнутом, глядеть, как на спине у них проступают сквозь рубцы белесые поблескивающие полосы мышц, и ничем не выдавать своей жалости, гнева или любопытства. И Адам этому научился.

Видим человека мы лишь в первые несколько мгновений, а потом мы его уже скорее не видим, а ощущаем. Отбывая второй срок на каторжных работах во Флориде, Адам сумел низвести свое «я» до степени со знаком минус. От него не исходило никаких токов, никаких волн, еще немного, и он, наверно, превратился бы в невидимку. Охранники больше не ощущали его, а потому перестали и бояться. Они поручали ему легкую работу: он убирал в бараке, разливал по мискам баланду, носил воду.

Адам выжидал, пока приблизится конец его второго срока. В тот день, когда ему осталось отбыть на каторге всего трое суток, он сразу после обеда сходил за водой, вернулся и снова пошел на речку принести еще пару ведер. На берегу он наполнил ведра камнями и утопил, потом соскользнул в воду и поплыл по течению: он плыл, пока не устал, а отдохнув, поплыл дальше. Так он плыл весь день и лишь в сумерках приглядел местечко, где можно было укрыться в прибрежных кустах. Из воды он не вылез.

Среди ночи мимо него с лаем пробежали собаки, пущенные в погоню по обоим берегам реки. Чтобы они не учуяли запах человека, он заранее натер себе голову листьями. Оставив над водой только нос и глаза, он сполз на дно. Утром собаки равнодушно пробежали в обратную сторону, а у охранников уже не было сил прочесать берега как следует. Когда они скрылись, Адам выгреб из кармана расползшийся мокрый кусок жареной рыбы и съел его.

Торопливость он обуздал в себе, еще готовясь к побегу. Большинство беглецов попадалось из-за собственной поспешности. Короткий путь до Джорджии занял у Адама пять дней. Он не рисковал, свое нетерпение он подавлял с железным упорством. Он сам поражался такой силе воли.

Перебравшись из Флориды в Джорджию, он спрятался на окраине Валдосты и пролежал в кустах до поздней ночи, а потом, как тень, проник в город, подкрался к заднему окну дешевой лавчонки и, медленно нажимая на подъемную оконную раму, вытянул гвозди шпингалета из раскрошившейся от солнца древесины. Затем он воткнул шпингалет обратно, но окно оставил открытым. Дальше ему пришлось действовать в темноте при тусклом свете луны, сочившемся в грязные окна. Украл он пару дешевых брюк, белую рубашку, черные башмаки, черную шляпу и клеенчатый дождевик, причем все сначала примерил. Прежде чем вылезти через окно на улицу, он заставил себя проверить, не нарушил ли в лавчонке порядок. Из вещей, которые были там в малом количестве, он не взял ничего. В ящик кассы даже не заглянул. Осторожно опустил окно и заскользил в лунном свете от одного островка темноты к другому.

Днем он отлеживался в кустах, а на поиски еды выходил ночью и воровал только то, чего вряд ли хватятся — репу, три-четыре кукурузных початка из кормушек в конюшне, пару яблок-падалиц. Блеск новеньких башмаков он затер песком, а чтобы придать поношенный вид плащу, измесил клеенку, как тесто. Лишь через три дня наконец пошел дождь, который был ему так необходим (или просто казался необходимым из-за его крайней осторожности).

Дождь начался ближе к вечеру. Скрючившись в своем клеенчатом плаще, Адам дожидался темноты, а когда стемнело, двинулся сквозь сумрачную морось по Валдосте. Черную шляпу он нахлобучил на самые глаза, а желтый дождевик крепко стянул тесемкой у горла. Дошагав до станции, он всмотрелся в мутное от дождя стекло. Станционный распорядитель в зеленом целлулоидном козырьке и черных нарукавниках, высунувшись в окошко кассы, болтал с приятелем. Приятель ушел только минут через двадцать. Адам провожал его взглядом, пока он не спустился с платформы. Потом, стараясь унять волнение, сделал глубокий вдох и вошел в здание вокзала.

Карлу приходило мало писем. Бывало, он не заглядывал на почту неделями. Когда в феврале 1894 года из Вашингтона пришел толстый пакет от какой-то юридической фирмы, почтмейстер подумал, что, должно быть, письмо важное. Он прошел пешком до фермы Трасков, отыскал Карла, который в это время колол дрова, и вручил ему конверт. Ну и раз уж он взял на себя такие хлопоты, остался ждать, пока Карл расскажет, что там написано.

Карлу было плевать, что почтмейстер ждет. Очень медленно он прочел все пять страниц, потом перечитал их еще раз, проговаривая про себя каждое слово и шевеля губами. Потом сложил письмо, развернулся и зашагал к дому.

— Что-нибудь случилось, мистер Траск? — вдогонку ему поинтересовался почтмейстер.

— У меня отец умер, — ответил Карл, вошел в дом и закрыл за собой дверь.

«Переживал, — рассказывал потом почтмейстер. — Очень переживал. Но все в себе. Больше молчал».

Войдя в дом, Карл зажег лампу, хотя было еще светло. Положил письмо на стол, вымыл руки и только после этого уселся читать снова.

Послать ему телеграмму в Вашингтоне было некому. Юристы отыскиали его адрес в бумагах отца. Они выражали соболезнование — «Весьма прискорбное событие». А еще они были прямо-таки взволнованы от приятной неожиданности. Когда Траск поручил им составить его завешание, они, конечно, допускали, что он сколько-то подкопил для своих сыновей — скажем, долларов пятьсот — шестьсот. Им тогда казалось, что больше у него не наберется. Но теперь, когда они проверили его банковские книжки, обнаружилось, что на лицевом счете у него больше девяноста трех тысяч долларов и еще десять тысяч в ценных бумагах. Это обстоятельство существенно изменило их отношение к мистеру Траску. С такими деньгами человек богат. И беспокоиться ему не о чем. Таких денег достаточно, чтобы основать династию. Юристы искренне поздравляли Карла и его брата Адама. По условиям завешания, поясняли они, наследство делилось поровну. Далее прилагался перечень личных вещей покойного: пять именных сабель, которыми наградили Сайруса на различных

съездах СВР; выточенный из ветви оливы и украшенный золотой пластинкой молоток председателя собрания; масонский брелок в виде циркуля с головкой из бриллианта; золотые коронки с тех зубов, которые покойный был вынужден удалить, когда перешел на вставные челюсти; часы (серебряные); трость с золотым набалдашником и так далее.

Карл перечитал письмо еще два раза и застыл за столом, обхватив голову руками. Он думал об Адаме. Ему хотелось, чтобы Адам вернулся домой.

Карл чувствовал, что чего-то не понимает, и пребывал в унылом недоумении. Он развел огонь, поставил на плиту сковородку и, пока она грелась, резал и клал на нее толстые куски соленого окорока. Потом вернулся назад, опять уставился на письмо. И вдруг схватил его и сунул в ящик кухонного стола. Надо на время выкинуть все из головы, решил он.

Но, разумеется, ни о чем другом он думать уже не мог, и мысли его тупо ползли по кругу, возвращаясь все к тому же исходному вопросу: «Откуда у него взялось столько денег?»

Когда два события схожи по характеру, по времени или месту, мы спешим радостно ухватиться за это сходство и усмотреть в нем полное совпадение — отсюда и рождаются мифы, которые мы копим, чтобы потом рассказывать знакомым о чудесах. До того дня Карлу ни разу в жизни не приносили на ферму ни одного письма. А тут вдруг, спустя всего месяц, на ферму прибежал мальчишка с телеграммой. Карл потом всегда связывал в уме эти письмо и телеграмму, точно так же, как мы невольно связываем между собой две смерти и ждем третьей. С телеграммой в руке Карл поспешил в городок, на станцию.

— Ты послушай, чего я тебе прочту,— сказал он телеграфисту.

— Я уже читал.

— Как?

— К нам же по телеграфу приходит,— объяснил телеграфист.— Я сам и записал.

— Да?.. А, ну да, конечно. «Прошу срочно переведи телеграфом сто долларов. Еду домой. Адам».

— Пришло наложенным платежом,— сказал телеграфист.— С тебя шестьдесят центов.

— Валдоста, Джорджия... Я и не знал, что есть такой город.

— Я тоже не знал, но, стало быть, есть.

— Слушай, Торнтон, а как это перевести деньги телеграфом?

— Очень просто: принесешь сто два доллара шестьдесят центов, а я пошлю телеграмму в Валдосту, и тамошний телеграфист выдаст Адаму сто долларов. Но за тобой все равно еще шестьдесят центов.

— Я заплачу... Слушай, а как я узнаю, что это Адам? Вдруг вместо него кто-нибудь другой получит?

Телеграфист снисходительно улыбнулся с видом умудренного жизнью человека:

— Мы сделаем так: ты придумаешь вопрос, чтобы ответ на него знал только Адам и больше никто. Я пошлю туда и вопрос, и ответ. А там человеку зададут этот вопрос, и если он не знает ответа, денег ему не видать.

— Ловко. Тогда я придумаю вопрос позаконьяристей.

— Ты лучше неси скорее сто долларов, пока старина Брин не закрыл кассу.

Карл был в восторге от этой игры. Он вернулся, зажав деньги в кулаке.

— Придумал,— объявил он.

— Надеюсь, это не девичья фамилия вашей матери. Такие вещи многие забывают.

— Нет, совсем другое. Вопрос такой: «Какой подарок ты подарил отцу на день рождения в тот год, когда ты ушел в армию?»

— Вопрос хороший, только уж больно ты его развез. Покороче не можешь, чтобы слов десять?

— Ты, что ли, платить будешь? А ответ — «Щенок».

— Да уж, поди догадайся.— Торнтон хмыкнул.— Дело хозяйское, платить не мне, а тебе.

— Во будет потеха, если он забыл,— сказал Карл.— Ни в жизнь до дому не доберется.

3

Со станции Адам дошел до фермы пешком. Рубашка на нем была грязная, и весь его ворованный гардероб выглядел несвежим и мятым, потому что он целую неделю спал не раздеваясь. Зайдя за дом, он остановился и прислушался, пытаясь понять, где сейчас Карл, и почти тотчас услышал, как тот стучит молотком в большом новом амбаре.

— Эй, Карл! — крикнул Адам.

Стук прекратился, наступила тишина. У Адама было ощущение, что брат внимательно разглядывает его сквозь щели амбара. Но вот Карл торопливо вышел, подбежал к Адаму, и они пожали руки.

— Ну, как ты?

— Прекрасно, — сказал Адам.

— А похудел-то, господи!

— Наверно. И вдобавок постарел.

Карл окинул его взглядом.

— Ты, похоже, не разбогател.

— Угадал.

— А где твой чемодан?

— У меня его нет.

— Ну ты силен! Где же ты был столько времени?

— То там, то здесь, на месте не сидел.

— Бродяжил, что ли?

— Можно и так сказать.

Хотя миновало столько лет, хотя на загрубевшем лице Карла уже пролегли морщины, а его темные глаза стали отливать красным, Адам по прошлому опыту догадывался, что брат чем-то обеспокоен и, что расспрашивая его, Карл в то же время думает о чем-то другом.

— Почему ты не возвращался домой?

— Да просто уже привык бродяжить. Не мог остановиться. Бродячая жизнь засасывает. Шрам-то у тебя какой страшный.

— Тот самый, я тебе про него писал. И все не проходит, только еще больше темнеет. А чего ты мне не писал? Есть хочешь? — Карл то нервно совал руки в карманы, то вынимал их, чесал подбородок, скреб в затылке.

— Может, еще пройдет. Я как-то раз видел одного с такой же отметиной — он бармен был, — только у него она была похожа на кота. Родимое пятно. Все его так и звали — Кот.

— Есть хочешь?

— Можно и поесть.

— Так как ты решил — останешься теперь на ферме?

— Да наверно... Что, пойдем в дом?

— Да наверно, — как эхо откликнулся Карл. — Отец-то наш умер.

— Знаю.

— Откуда?

— Мне на станции телеграфист сказал. А давно он умер?

— С месяц.

— От чего?

— Воспаление легких.

— Где похоронили — здесь?

— Нет. В Вашингтоне. Мне потом пришло письмо и газеты. Его везли на лафете и сверху флагом накрыли. Там даже вице-президент был, а президент послал венок. В газетах написано. И фотографии есть... Я тебе покажу. Я все это сохранил.

Адам внимательно изучал лицо брата, и Карл, не выдержав, отвернулся.

— Ты что, злишься, что ли? — спросил Адам.

— Чего мне злиться?

— Мне показалось, что...

— Ничего я не злюсь. Пошли, я тебя чем-нибудь накормлю.

— Пойдем. А он долго болел?

— Нет. Болезнь была скоротечная. Сгорел сразу.

Карл что-то утаивал. Ему явно хотелось о чем-то рассказать, но он не знал, как подступиться. И говорил о чем угодно, кроме главного. Адам замолчал. Может, и правильнее сейчас помолчать, чтобы Карл пообвыкся, притерся и выложил наконец свой секрет.

— В послания с того света я не очень-то верю, — говорил Карл. — Хотя кто знает? Некоторые уверяют, им были видения... Вот, например, эта старуха, Сара Уитберн. Клянется, что не врет. Но тебе-то никакого видения не было, да? Слушай, чего ты будто воды в рот набрал?

— Просто так. Я думаю, — сказал Адам. И он действительно сейчас думал. «Я ведь больше не боюсь его, — с удивлением думал он. — Раньше боялся до смерти, а теперь не боюсь совсем. Интересно, почему так? Может, это после армии? Или после каторги? А может, потому что отец умер? Да, может быть, но все равно непонятно». От страха не осталось и следа, и Адам чувствовал, что может теперь говорить все, что хочет, а ведь раньше он тщательно выбирал слова, чтобы не навлечь на себя беду. Это было приятное чувство, как будто он воскрес из мертвых.

Они вошли в кухню: Адам все здесь помнил, но в то

же время, будто видел в первый раз. Кухня, казалось, стала меньше и грязнее.

— Знаешь, Карл,— весело произнес Адам,— я вот сейчас тебя слушаю... Ты же хочешь мне что-то сказать, но все ходишь вокруг да около, все чего-то юлишь. Уж лучше скажи сразу, и дело с концом.

В глазах Карла сверкнула злоба. Он поднял голову. Его власть над братом кончилась. Нет, мне его уже не побить, уныло подумал он. Не смогу.

Адам хохотнул.

— Может, конечно, грех веселиться, когда у нас только что умер отец, но знаешь, Карл, мне еще ни разу в жизни не было так хорошо. И так легко. Ну, давай, Карл, выкладывай. Не мучайся.

— Ты любил отца? — спросил Карл.

— Объясни, к чему ты клонишь, тогда скажу.

— И все-таки: любил или нет?

— А тебе-то что?

— Сначала ответь.

Ощущение полной раскованности, полной свободы пьянило Адама.

— Хорошо, отвечу. Нет, не любил. Иногда я боялся его. Иногда... да, бывало, он меня даже восхищал, но чаще я его просто ненавидел. Почему ты меня об этом спросил?

Карл, опустив голову, смотрел себе на руки.

— Не понимаю,— сказал он.— Чего-то никак до меня не доходит. Он ведь любил тебя больше всех на свете.

— Вот уж не верю.

— Не хочешь — не верь. Он радовался любому твоему подарку. А меня он не любил. И подарки мои ему не нравились. Помнишь, как я подарил ему тот ножик? Чтобы его купить, я наколот и продал целую кучу дров. А он этот ножик даже не взял с собой в Вашингтон. Так и лежит здесь, в его письменном столе. А ты подарил ему щенка. Он тебе ни цента не стоил. Я покажу тебе этого пса, на фотографии. На отцовских похоронах. Его держал на руках какой-то полковник — пес уже совсем ослеп и даже ходить не мог. После похорон его пристрелили.

В голосе Карла было столько ярости, что Адам растерялся.

— Зачем ты? — сказал он.— Не понимаю, зачем ты об этом.

— Я же любил его.— И впервые за все годы, что Адам его помнил, Карл заплакал. Уронил голову на руки, сидел и плакал.

Адам хотел было подойти к брату, но в душе его всколыхнулся прежний страх. Нет, подумал он, если я до него дотронусь, он кинется на меня и убьет. Адам подошел к открытой двери и встал в проеме спиной к Карлу, а тот все шмыгал носом.

Та часть фермы, где стоял дом, не радовала глаз — здесь и прежде всегда было неуютно. Всюду мусор, неужожено, запущено, сараи построены где попало; ни одного цветочка, на земле валяются обрывки бумаги, щепки. И сам дом тоже не отличался красотой. Обычная крепкая изба, где люди ночуют и готовят пищу. Угрюмое жильё, никем не любимое, никого не любящее. Просто жильё, но уж никак не отчий кров, не дом родной, по которому скучаешь и куда стремишься вернуться. Адам вдруг подумал о своей мачехе — как и эта изба, она не знала любви, соответствовала своему назначению, была по-своему опрятна, но назвать ее женой, хранительницей семейного очага, было так же невозможно, как назвать это жильё домом.

Брат перестал всхлипывать. Адам обернулся. Карл смотрел перед собой пустыми глазами.

— Расскажи мне про мать,— сказал Адам.

— Она умерла. Я тебе писал.

— Расскажи.

— Чего рассказывать-то? Умерла. Уж давно, как умерла. Она же не была твоей матерью.

Улыбка, которую Адам однажды подсмотрел на ее лице, вспыхнула в его памяти. Ее лицо выступило перед ним из темноты.

Голос Карла ворвался в воспоминание и разнес его вдребезги:

— Ответь мне на один вопрос... только не спеши... сначала подумай, и если не захочешь говорить правду, то лучше уж не отвечай.

Карл молча зашевелил губами, проговаривая про себя то, что готовился спросить.

— Как ты думаешь, наш отец мог быть... бесчестным человеком?

— В каком смысле?

— Тебе не понятно? Я ведь ясно сказал. У слова «бесчестный» только один смысл.

— Не знаю,— Адам замялся.— Право, не знаю. Никто о нем так не отзывался. Сам посуди, чего он достиг. Ночевал в Белом доме. На его похоронах был вице-президент. Почему же вдруг бесчестный?.. Ну сколько можно, Карл! — взмолился он.— Я ведь сразу понял, что ты хочешь мне что-то сказать — так говори же, не тани!

Карл облизнул губы. Он сидел мертвенно-белый, словно из него выпустили кровь, словно вместе с кровью он лишился всех сил, всей своей ярости.

— Отец оставил завещание. Наследство он разделил поровну между мной и тобой,— без всякого выражения проговорил он.

Адам рассмеялся.

— Что ж, вот и будем жить на ферме. Думаю, с голоду не помрем.

— После него осталось больше ста тысяч долларов,— продолжал все тот же бесцветный, скучный голос.

— Ты спятил. Сто долларов — это еще можно поверить. Откуда бы у него взялось столько денег?

— Я не оговорился. Жалованье в СВР у него было сто тридцать пять долларов в месяц. За жилье и еду он платил сам. Когда он разъезжал, ему выдавали на дорожные расходы по пять центов за милю пути и еще отдельно на гостиницу.

— Может быть, эти деньги были у него с самого начала, а мы просто не знали.

— Нет. Когда он начинал, у него не было ничего.

— Тогда что нам мешает написать в СВР и спросить? Там кто-нибудь да знает.

— Я бы не стал рисковать.

— погоди! Не пори горячку. В конце концов он мог играть на бирже. Так очень многие богатеют. У него были большие связи. Может быть, ему повезло. Вспомни, как было во время золотой лихорадки — тогда многие вернулись из Калифорнии богачами.

На лице у Карла была скорбь. Он перешел почти на шепот, и Адаму пришлось перегнуться через стол. Без всякого выражения, словно читая сводку, Карл говорил:

— В армию отец ушел в июне 1862 года. Три месяца проходил подготовку, здесь же, в нашем штате. Это, счи-

тай, сентябрь. Потом его часть послали на юг. Двенадцатого октября он был ранен в ногу и отправлен в госпиталь. Домой вернулся в январе.

— Не понимаю, при чем здесь это?

— Он не сражался в Чанселорвилле, — падали с губ Карла вялые, тусклые слова. — И не воевал он ни в Геттисберге, ни в Уилдернессе, ни в Ричмонде, ни в Аппоматоксе.

— Откуда ты знаешь?

— Из его послужного списка. Мне его переслали вместе с остальными документами.

Адам глубоко вздохнул. Сердце его колотилось от радости, бушевавшей в груди, как море. Он покачал головой, будто не мог поверить.

— Как ему удалось всех обмануть? Как, черт возьми, ему это удалось? — говорил Карл. — И ведь все верили, никто не сомневался. Ты разве сомневался? Или я? Или моя мать? Нет, все верили. И даже в Вашингтоне.

Адам встал из-за стола.

— Поест в доме найдется? Я разогрею.

— Вчера я зарезал курицу. Если подождешь, я зажарю.

— А чего попроще, чтоб по-быстрому?

— Есть окорок, есть яйца.

— Годится, — сказал Адам.

Оставшийся без ответа вопрос мешал им, они обходили его стороной, они через него перешагивали. Их слова безучастно скользили мимо него, но их мысли были прикованы к нему неотрывно. Братьям хотелось поговорить о том, что их мучило, но они не могли. Карл, поставив разогреваться кастрюлю с бобами, жарил свинину и яичницу.

— Я распахал луг, — сказал он. — Занял его под рожь.

— Как там земля?

— Теперь неплохая, когда от камней очистил. Эту пакость, — он провел пальцем по лбу, — как раз тогда и заработал: никак не мог один камень сдвинуть.

— Да, ты мне писал, — сказал Адам. — Я не помню, говорил ли тебе, но твои письма мне очень помогали.

— Ты почему-то мало писал мне про свою службу, — заметил Карл.

— Да как-то не хотелось обо всем этом думать. Уж больно паскудно было, почти все время.

— Я читал в газетах про те кампании. Ты ведь тоже там воевал?

— Да. Мне тогда не хотелось про это думать. И сейчас не хочется.

— Индейцев-то убивал?

— Да, мы убивали индейцев.

— Вот уж, наверно, дрянной народ.

— Наверно.

— Не хочешь — можешь не рассказывать.

— Да, я не хочу об этом говорить.

Они ужинали под свисавшей с потолка керосиновой лампой.

— Никак руки не дойдут колпак на лампе вымыть, а то было бы светлее.

— Я вымою, — сказал Адам. — Все ведь в голове не удержишь, понятно.

— Ты вот вернулся, вдвоем теперь полегче будет. Хочешь, сходим после ужина в салун?

— Посмотрим. Пока, думаю, немного дома посижу.

— Я тебе в письмах-то не писал, но в салуне у нас... там женщины. Не знаю, как ты насчет этого, а то могли бы с тобой сходить. Их там каждые две недели меняют. Я не знаю, как ты вообще... но, может, тебе охота?

— Женщины?

— Да, наверху, в номерах. Очень даже удобно. Я вот думаю, ты вроде как давно дома не был, так что если...

— Сегодня нет. Может, в другой раз. А сколько они за это берут?

— Один доллар. И вроде все хорошенькие.

— Может, в другой раз, — повторил Адам. — Как же их туда пускают? Удивительно.

— Я тоже поначалу удивлялся. Но у них там все продумано.

— Сам-то часто ходишь?

— Раза два в месяц. А то скучно. Когда мужик один живет — тоска.

— Помню, ты писал, что подумываешь жениться.

— Да, собирался. Подходящей невесты не нашел.

И так, и сяк крутились братья вокруг главной темы. Только, казалось, подойдут к ней вплотную, как тут же поспешно отступят и опять примутся толковать об урожаях, о местных новостях, о политике, о здоровье. Они по-

нимали, что рано или поздно вернутся к самому важному. Карлу больше, чем Адаму, не терпелось взять быка за рога, но и времени подумать у Карла было больше, а Адам еще не успел все осознать и прочувствовать. Он предпочел бы отложить этот разговор на завтра, но понимал, что брат не допустит.

Он даже позволил себе открыто сказать:

— Давай насчет того, другого, поговорим утром.

— Пожалуйста,— ответил Карл.— Как хочешь.

Постепенно разговор себя исчерпал. Уже обсудили всех общих знакомых, все события в городке и на ферме. Беседа топталась на месте, а время шло.

— Пойдем спать? — спросил Адам.

— Посидим еще немного.

Они молчали, а ночь расползалась по дому и все по-
нукала их, все подзуживала.

— Эх, жалко, не увидел я, как его хоронили! — сказал Карл.

— Небось богатые были похороны.

— Хочешь, покажу вырезки из газет? Они у меня все в одном конверте, в моей комнате лежат.

— Нет. Сегодня не стоит.

Карл круто повернулся вместе со стулом и поставил локти на стол.

— Мы должны разобраться,— сказал он, волнуясь.— Можем тянуть сколько угодно, но надо же что-то решать.

— Понимаю,— кивнул Адам.— Просто у меня еще не было времени как следует подумать.

— А что толку думать? У меня вот время было, полно было времени, и ни до чего я не додумался. Я даже старался вообще про это забыть, и все равно возвращался к одному и тому же. Думаешь, время тебе поможет?

— Наверно, нет. Ты прав. Уж если так, давай поговорим. С чего ты хочешь начать разговор? Мы ведь и правда ни о чем другом сейчас думать не можем.

— Начнем с денег,— сказал Карл.— Их больше ста тысяч, это не пустяки.

— А что деньги-то?

— Откуда они взялись?

— Почему я знаю? Может, он на бирже играл, я ведь уже говорил. Может, кто-нибудь в Вашингтоне навел его на стоящее дело.

— Ты и вправду так считаешь?

— Я никак не считаю. Что я могу считать, если я ничего не знаю?

— Это огромные деньги. У нас целое состояние. Можем хоть всю жизнь на них жить и ничего не делать, а можем добавить к нашей земле еще кусок и окупить их с лихвой. До тебя, наверно, еще не дошло, но мы теперь богаты. В наших краях мы богаче всех.

Адам засмеялся.

— Ты это так сказал, будто приговор зачитал.

— Откуда они взялись, эти деньги?

— Какая тебе разница? Может, лучше не ломать голову и жить в свое удовольствие.

— Но он не сражался при Геттисберге. Он за всю войну не побывал ни в одном бою. Его ранило в обычной перестрелке. Все, что он рассказывал, вранье.

— К чему ты ведешь? — спросил Адам.

— Я думаю, он эти деньги украл, — подавленно прошептал Карл. — Ты спрашиваешь, что я думаю, вот я тебе и сказал.

— А где, у кого он их украл, ты знаешь?

— Нет.

— Почему же ты думаешь, что он украл?

— Но он же врал про войну.

— При чем здесь это?

— При том. Если он мог врать про войну... он и украсть мог.

— Но каким образом?

— Он занимал в СВР разные посты... крупные посты. Может быть, сумел влезть в казну, подделал какие-нибудь счета...

Адам вздохнул.

— Если ты так думаешь, чего же ты им не напишешь, не объяснишь? Пусть проверят всю отчетность. Если окажется, что ты прав, мы вернем им эти деньги.

Лицо у Карла страдальчески перекосилось, шрам, на лбу потемнел еще больше.

— На его похороны приезжал вице-президент. Президент прислал венок. За гробом ехал хвост карет чуть не в полмили, шли сотни людей. А в почетном карауле кто стоял, знаешь?

— Ну и что с того?

— К примеру, мы с тобой докажем, что он вор. А потом всплывет, что он не сражался при Геттисберге и вообще нигде не воевал. И все тогда узнают, что он не только вор, но и обманщик и что про свою жизнь он все наврал. А раз так, никто уже не поверит, что он хотя бы изредка говорил правду.

Адам сидел не шевелясь. Глаза его смотрели безмятежно, но он был начеку.

— Я думал, ты его любишь,—спокойно сказал он. На душе у него было легко, он словно вырвался из плена.

— Да, я его любил. И сейчас люблю. Потому мне и жутко думать об этом... о том, что вся его жизнь... что все... насмарку. А могила?.. Они ведь могут даже раскопать могилу и выбросить его оттуда.— В голосе Карла звенела боль.— Неужели ты совсем его не любил?

— До этой минуты я сам не знал точно. Никак не мог в себе разобраться. А теперь знаю. Да, я его не любил.

— И потому тебя не волнует, что вся его жизнь будет перечеркнута, и что его несчастное тело вышвырнут из могилы, и ... господи, ужас-то какой, господи!

Мысли Адама заметались в поисках слов, способных верно выразить то, что он чувствовал.

— А меня это и не должно волновать.

— Конечно,—горько сказал Карл.—Если ты не любил его, то конечно. Теперь еще начнешь вместе с другими поливать его грязью.

Адам понял, что брат для него больше не опасен. Прежняя ревность исчезла, и Карлу не от чего было впадать в бешенство. Грехи отца легли на него тяжким бременем, зато отец принадлежал теперь только ему, и отнять его у Карла не мог никто.

— Приятно тебе будет ходить по городу, когда все узнают? —не отступал Карл.—Как ты будешь смотреть людям в глаза?

— Я же сказал, меня это не волнует. И не должно волновать, потому что я не верю.

— Чему не веришь?

— Тому, что он украл какие-то там деньги. Я верю, что про войну он говорил правду, и верю, что он сражался во всех тех битвах, про которые рассказывал.

— А где у тебя доказательства?.. И как тогда понимать его послужной список?

— Но ведь и у тебя нет доказательств, что он вор. Ты же это придумал, потому что не знаешь, откуда взялись деньги.

— Да, но его армейские документы...

— Возможно, там ошибка,—сказал Адам.— Я думаю, что там ошибка. В своем отце я не сомневаюсь.

— Вот уж не понимаю.

— Попытаюсь объяснить... Существуют очень убедительные доказательства, что Бога нет, однако многие все равно верят, что он есть, и их вера сильнее любых доказательств.

— Ты же сказал, что не любил отца. Как же ты можешь быть так в нем уверен?

— В том-то, наверно, и дело.— Адам говорил медленно, осторожно.— Может быть, если бы я любил его, я бы ревновал. Как ты. Может быть... может быть, именно любовь заставляет человека сомневаться и не верить. Говорят, когда любишь женщину, все время в ней сомневаешься, потому что сомневаешься в себе. Теперь я это прекрасно понимаю. Я понимаю, как сильно ты его любил, и понимаю, что творила с тобой эта любовь. А я его не любил. Хотя он-то, может быть, любил меня. Он меня испытывал, он меня и обижал, и наказывал, и в конце концов даже отдал в армию, будто в жертву принес, чтобы какую-то вину искупить. А вот тебя он не любил, и потому был в тебе уверен. Возможно... да, возможно, тут все как бы наоборот.

Карл уставился на него широко открытыми глазами.

— Не понимаю.

— Я и сам еще не до конца разобрался. Для меня это открытие. Мне сейчас очень хорошо. Наверное, еще никогда в жизни так хорошо не было. Я словно от чего-то избавился. Может быть, потом со мной будет то же, что с тобой сейчас, но пока я ничего не чувствую.

— Не понимаю,— снова сказал Карл.

— Но тебе понятно, что я не считаю нашего отца вором? И что он был обманщик, я тоже не верю.

— А как же документы?..

— Я на них и смотреть не буду. Моя вера в отца для меня убедительнее любых документов.

— Так, думаешь, эти деньги надо взять? — тяжело дыша, спросил Карл.

— Конечно.

— Даже если он их украл?

— Он их не украл. Не мог он их украсть.

— Ничего не понимаю.

— Не понимаешь? А ведь как раз в этом, может быть, весь секрет... Я тебе никогда об этом не напоминал, но скажи, ты помнишь, как ты меня поколотил перед тем, как я ушел в армию?

— Помню.

— А что было потом, помнишь? Ты же вернулся с топором, чтобы меня убить.

— Я все это плохо помню. Я тогда, верно, ума лишился.

— В то время я не понимал, а сейчас понимаю — ты дрался за свою любовь.

— За любовь?

— Да, за любовь, — сказал Адам. — А деньги эти мы употребим с толком. Можст, останемся жить здесь. А может, уедем... скажем, в Калифорнию. У нас еще будет время решить. Ну и, конечно, мы должны поставить отцу памятник — большой, настоящий.

— Никуда я отсюда не поеду, — сказал Карл.

— погоди, время покажет. Никто нас не торопит. Поживем, увидим.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Я верю, что у вполне обыкновенных людей может родиться чудовище, монстр. Вам доводилось видеть таких уродов — нелепые страшные создания с огромной головой или с крохотным туловищем; бывает, дети рождаются без рук, без ног, или с тремя руками, или с хвостом, или рот у них в самом неожиданном месте. Все это прихоть случая, и никто тут не виноват, хотя раньше полагали иначе. Когда-то детей-уродов считали наглядной карой за тайные грехи родителей.

Но если природа допускает уродство телесное, почему бы ей не создавать и уродов умственных или психических?

Внешний облик может остаться без изъянов, но если игра генов или деформация яйцеклетки приводят к рождению ущербных телом, то разве не может в результате тех же процессов родиться ущербный душой?

Уроды — это просто разной степени отклонения от признанной нормы. И если один ребенок может появиться на свет без руки, другой может точно так же родиться без зачатков доброты или совести. Когда человек лишается рук, попав в катастрофу, он вынужден вести долгую борьбу, чтобы свыкнуться со своей потерей, но тот, кто родился без рук, страдает лишь от того, что люди видят в нем существо странное. Если у человека никогда не было рук, он не может ощущать их отсутствие. В детстве мы нередко пробуем вообразить, что бы мы чувствовали, будь у нас крылья, но наивно предполагать, что при этом мы испытываем те же чувства, что птицы. И понятно, что уродам именно норма должна представляться уродством, потому что каждый человек считает себя нормальным. А для монстров, чье уродство никак не выражено внешне, норма — категория еще более смутная, потому что по виду такой монстр ничем не отличается от других людей и сравнить себя с ними не может. Родившемуся без совести должен быть смешон человек с чуткой душой. По понятиям преступника, честность — идиотизм. Но не забывайте, что урод — это всего лишь отклонение, и в глазах урода как раз норма — уродство.

Я убежден, что Кэти Эймс от рождения была наделена (или обделена) склонностями, которые направляли и подчиняли себе весь ход ее жизни от начала до конца. Возможно, у нее было не отбалансировано какое-то колесико или не встал на место какой-то рычажок. Она была не такая, как другие, причем с самого рождения. Калека, научившись умело пользоваться своим увечьем, порой добивается в какой-нибудь ограниченной сфере деятельности больших результатов, чем полноценные люди. Кэти, умело пользуясь своей непохожестью на других, вносила в окружающий ее мир мучительное и необъяснимое смятение.

В былые времена такую, как Кэти, объявили бы одержимой дьяволом. Из нее принялись бы изгонять нечистую силу, а если бы многократно повторенные ритуалы не подействовали, то ради спокойствия деревни или городка ее бы сожгли на костре. Ведь если что и не прощается ведь-

ме, так это ее способность вселять в людей тревогу, сомнения, неловкость и даже зависть.

Словно намеренно маскируя коварный подвох, природа одарила Кэти внешностью ангела. У нее были чудесные золотые волосы и широко расставленные светло-карие глаза; чуть приспущенные веки придавали ее облику загадочную томность. Носик у нее был тонкий и нежный, высокие широкие скулы книзу сужались, и лицо по форме напоминало сердечко. Рот был четко очерченный, с пухлыми губами, но неестественно маленький — бутончиком, как тогда говорили. Крошечные, без мочек, плоские уши не выделялись, даже когда Кэти зачесывала волосы наверх — просто тонкие лоскутки кожи, приклеенные к голове.

Всю жизнь, даже во взрослые годы, Кэти была сложена, как ребенок: хрупкие узкие плечи и руки — не руки, а крошечные ручки. Грудь у нее так толком и не развилась. До того как Кэти превратилась в девушку, соски у нее были втянуты внутрь. Когда ей было десять лет, грудь у нее начала болеть, и матери пришлось вытягивать ей соски наружу. Фигурой Кэти походила на мальчика: узкие бедра, ровные прямые ноги, но щиколотки тонкие, высокие, хотя и не слишком изящные. Ступни у нее были маленькие, округлые, короткопалые и мясистые в подъеме, будто копытца. Кэти была прехорошеньким ребенком и выросла в прехорошенькую женщину. Голос ее, мягкий, хриловатый, звучал порой неотразимо сладко. Но, вероятно, голосовые связки у Кэти были все же с примесью стали, потому что, когда Кэти того желала, ее голос мог резануть как пилой.

Даже в детстве Кэти обладала свойством, заставлявшим людей сначала пристально глядеть на нее, потом отворачиваться и тотчас снова оглядываться в непонятной тревоге. Сквозь ее глаза на тебя смотрел кто-то еще, кто-то чужой, бесследно исчезающий, как только ты пытался увидеть его снова. Движения у Кэти были плавные, говорила она мало, но стоило ей войти в комнату, как все глаза мгновенно устремлялись к ней.

Она приводила людей в смущение, но не настолько, чтобы ее сторонились. Не понимая, почему любое ее появление рождает смутное беспокойство, и мужчины, и женщины старались разглядеть Кэти получше, подойти к ней поближе. И поскольку так было всегда, Кэти не находила в этом ничего странного.

Кэти отличалась от других детей во многом, но одна черта отличала ее особенно. Дети, как правило, ненавидят чем-то выделяться. Им хочется выглядеть, говорить, одеваться и вести себя в точности, как все остальные. Если в детской среде моден какой-нибудь несусветно глупый наряд, ребенок, у которого нет этой глупости, безутешен. Если бы у детей было принято носить ожерелья из свиных отбивных, ребенок, лишенный такого украшения, ходил бы мрачнее тучи. И подобное рабское подражание большинству в своей группе обычно распространяется у детей на все сферы их жизни, будь то игры, спорт, дом, школа. Для детей это своего рода защитная окраска.

Кэти же не подражала никому. Она никогда не подлаживалась под остальных ни в одежде, ни в поведении. Несила только то, что хотела. И в результате ей частенько подражали другие.

Когда она выросла, ее группа, ее стая — а любое объединение детей это всегда стая — начала чувствовать в Кэти нечто необычное, чужеродное, другими словами, именно то, что еще раньше почувствовали в ней взрослые. Вскоре с Кэти стали общаться только поодиночке. Мальчики и девочки, дружившие компаниями, избегали ее, будто она несла с собой неведомую опасность.

Кэти была лгунья, но лгала она не так, как другие дети. Обычно дети не столько врут, сколько фантазируют, но чтобы придать своим выдумкам убедительность, пересказывают их как правду. В своих рассказах они просто слегка отходят от реальности. Мне кажется, разница между выдумкой и ложью в том, что внешнее правдоподобие выдуманных историй и вкрапленные в них достоверные подробности нужны рассказчику, чтобы увлечь слушателя, а заодно и себя самого. От таких выдуманных историй никто не выигрывает и никто не проигрывает. А ложь есть средство наживы или способ спасти свою шкуру. Если твердо придерживаться этого определения, то, думаю, лжецом можно считать и писателя — при условии, что тот неплохо зарабатывает.

Ложь, которую пускала в ход Кэти, была далека от невинных фантазий. Кэти врала, чтобы избежать наказания, отвертеться от работы или ответственности, и ее вранье было корыстным. Чаще всего лжеца разоблачает либо его собственная забывчивость, либо неопровержи-

мость внезапно всплывшей правды. Но Кэти, во-первых, никогда ничего не забывала, а во-вторых, разработала очень надежный метод. Она следила за тем, чтобы ее вранье было максимально приближено к правде и сомнения слушателей не перерастали в уверенность. Кроме того, она пользовалась и двумя другими приемами: иногда она перемежала ложь с правдой или рассказывала совершенно правдивые истории так, что они казались ложью. Если человека обвиняют во лжи, а потом выясняется, что он говорил правду, у него появляется прикрытие, позволяющее долгое время врать без опаски.

Кэти росла в семье единственным ребенком, и у ее матери не было под рукой материала для сравнения. Поэтому она думала, что ее чадо такое же, как все другие дети. Ну а поскольку все матери паникерши, мать Кэти была уверена, что тревожится по тем же поводам, что и ее приятельницы.

Отец Кэти не разделял такой уверенности. Он держал кожевенную мастерскую в небольшом городке в штате Массачусетс и, чтобы обеспечить семье скромный достаток, должен был работать не жалея сил. Мистер Эймс имел опыт общения с другими детьми и догадывался, что Кэти на них не похожа. Он это скорее чувствовал, чем понимал. Когда он думал о своей дочери, ему становилось беспокойно, хотя он не мог бы объяснить отчего.

Почти каждый человек прячет в себе какие-нибудь неумные желания и влечения, страсти и чувства, готовые прорваться в любой миг; спокойная поверхность нередко скрывает под собой рифы эгоизма, алчности и похоти. Большинство из нас либо держат свою природу в узде, либо дают ей волю тайком. Кэти не только умела видеть людей насквозь, но еще и знала, как использовать их низменные наклонности к своей выгоде. Вполне возможно, Кэти просто не верила, что бывают наклонности иного толка, потому что, несмотря на свое сверхъестественное, провидческое чутье, в чем-то была слепа, как крот.

Кэти была еще весьма юным созданием, когда поняла, что секс — со всеми сопутствующими ему томлениями и страданиями, ревностью и запретами — волнует и бередит человека сильнее, чем все другие страсти. А в те времена секс бередил людей даже мучительнее, чем сейчас, потому что сама эта тема не подлежала обсуждению, ее

старательно обходили молчанием. Каждый скрывал полыхавший в нем огонь и на людях делал вид, что ничего такого нет и быть не может, но едва пламя из твоего маленького ада вырывалось наружу, ты оказывался перед ним беспомощен. Кэти поняла, что, правильно управляя этой стороной человеческой натуры, можно прочно и надолго подчинить себе почти любого. Секс был и мощным оружием, и средством шантажа. Устоять против такой силы мало кто мог. Ну а так как сама Кэти, похоже, ни разу не побывала в роли беспомощной, ослепленной страстью жертвы, допустимо предположить, что лично ее секс волновал весьма мало, и более того: она презирала тех, в чьей жизни он занимал важное место. Кстати, с определенной точки зрения она была права.

Какую свободу обрели бы мужчины и женщины, не попадаясь они ежеминутно в сети и ловушки секса, обрекающего их на рабство и муки! Единственный недостаток подобной свободы в том, что без сексуального влечения человек не был бы человеком. Он был бы монстром.

В десять лет Кэти уже кое-что знала о великом могуществе секса и хладнокровно приступила к экспериментам. Она всегда хладнокровно планировала все, за что бралась, заранее предвидя возможные трудности и придумывая, как их устранить.

Эротические игры были и остаются неотъемлемой частью детства. Думаю, все нормальные мальчишки забираются с девочками в кусты потемнее, или на солому в хлев, или под ветви плакучей ивы, или в проложенную под дорогой трубу — по крайней мере мечтает об этом каждый. Рано или поздно почти все родители сталкиваются с этой проблемой, и ребенку повезло, если его отец и мать помнят собственное детство. Однако детство Кэти проходило в годы, когда нравы были много строже. Родители, яростно отрицавшие свой интерес к сексу, приходили в ужас, обнаружив, что секс интересует их детей.

2

Однажды, весенним утром, когда усыпанная росой трава распрямлялась навстречу солнцу, когда тепло, заползая в землю, подталкивало вверх желтые одуванчики, мать Кэти развешивала на веревке белье. Эймсы жили на самом

краю городка, и позади их дома, возле огорода и обнесенного изгородью выгона для двух лошадей, стояли амбар и каретный сарай.

Закончив вешать белье, миссис Эймс вспомнила, что Кэти прошла мимо нее в сторону амбара. Но, позвав дочь и не получив ответа, подумала, что ей это, наверно, показалось. И уже собралась войти в дом, когда из сарая раздался приглушенный смешок. «Кэти!» — снова крикнула она. Ответа не последовало. Миссис Эймс стало не по себе. Мысленно она снова услышала этот смешок. И вдруг поняла, что хихикал кто-то чужой. У Кэти был совсем другой голос. И Кэти не была смешлива.

Природа и причины тревоги, внезапно накатывающей на родителей, необъяснимы. Конечно, во многих случаях дурные предчувствия не имеют под собой никаких оснований. Наиболее часто паническим настроениям подвержены те, у кого всего один ребенок, — страх потерять его затмевает рассудок.

Миссис Эймс остановилась посреди двора и наострила уши. Услышав таинственно перешептывающиеся голоса, она осторожно двинулась к каретному сараю. Двустворчатые двери были закрыты. Изнутри доносилось какое-то шушуканье, но различить голос Кэти она не могла. Резко шагнув вперед, миссис Эймс распахнула двери, и в сарай ворвалось солнце. Миссис Эймс разинула рот и оцепенела, потрясенная увиденным. Кэти лежала на полу, юбка ее была задрана. Девочка была раздета по пояс, а рядом, нагнувшись над ней, стояли на коленях два мальчика лет четырнадцати. Они тоже оцепенели от света, неожиданно прорезавшего полумрак сарая. Глаза у Кэти были черными от ужаса. Миссис Эймс знала этих мальчиков, знала их родителей.

Вдруг один из подростков сорвался с места, пронесся мимо миссис Эймс и скрылся за углом дома. Второй боком, беспомощно попятился в сторону и с криком метнулся к выходу. Миссис Эймс вцепилась в него, но курточка выскользнула из ее пальцев, и мальчишка дал деру. Она слышала, как он промчался через огород.

— Вставай! — с трудом выдавила миссис Эймс каркающим шепотом.

Кэти тупо уставилась на нее и даже не шелохнулась. Миссис Эймс увидела, что руки у дочери связаны толстой

веревкой. Она завизжала, бросилась на пол и дрожащими пальцами затеребила узлы. Потом отнесла Кэти в дом и уложила в постель.

Семейный доктор, осмотрев Кэти, никаких признаков насилия не обнаружил.

— Благодарите бога, что вы подросли вовремя, — снова и снова успокаивал он миссис Эймс.

Несколько дней Кэти не произносила ни звука. Как выразился доктор, она была в состоянии шока. А выйдя из этого состояния, она наотрез отказалась говорить о случившемся. Когда ее начинали расспрашивать, глаза у нее до того расширялись, что, казалось, оставались одни белки, она переставала дышать, каменела, и лицо ее от задержки дыхания делалось багровым.

При разговоре с родителями мальчиков присутствовал доктор Уильямс. Отец Кэти в основном молчал. Он принес с собой веревку, которой была связана Кэти. В глазах у мистера Эймса сквозило недоумение. Что-то в этой истории его озадачивало, но своими сомнениями он не делился.

Миссис Эймс бушевала в неукротимой истерике. Она же сама там была! Она же видела! Уж кому судить, так только ей! Но сквозь эту истерику просвечивал изощренный садизм. Она жаждала крови. Требуя покарать виновных, она испытывала своеобразное наслаждение. Если это не пресечь, что будет с нашим городом, со всей страной?! Таков был ее отправной аргумент. Да, слава богу, она подросла вовремя. Ну а если в следующий раз опоздает; и каково теперь другим матерям? Кэти-то, между прочим, всего десять лет!

Наказания в те годы были более жестокими, чем в наше время. Тогда искренне верили, что кнут прокладывает дорогу добродетели. Мальчиков выпороли сначала по отдельности, а потом обоих вместе, исполосовали до крови.

Их проступок был и так большим грехом, но ложь, которую они придумали, была столь чудовищна, что очистить их от скверны не мог даже кнут. Оправдания мальчиков были смехотворны. Они утверждали, что Кэти затеяла все сама и что они дали ей каждый по пять центов. Руки они ей не связывали. Веревку они узнали и вспомнили, что Кэти с ней играла.

Первой возмутилась миссис Эймс, и весь город тотчас подхватил ее возмущение: «Они что же, намекают,

что она сама себя связала? И это про десятилетнего ребенка?!»

Признайся мальчики в содеянном, наказание, возможно, ограничилось бы поркой. Однако они заупрямились, чем привели в лютую ярость не только своих отцов — а кнутом их пороли именно отцы, — но и весь город. Обоих с одобрения родителей отправили в исправительный дом.

— Она вся прямо извелась, — рассказывала миссис Эймс соседкам. — Если бы она могла об этом говорить, я думаю, ей было бы легче. Но как ее про это спрошу, сразу заново все переживает, и опять с ней шок приключается.

Эймсы больше никогда не говорили с дочерью о случившемся. Эта тема была запретной. Мистер Эймс очень скоро забыл о мучивших его сомнениях. Ведь тяжело думать, что два мальчика попали в исправительный дом не по своей вине.

После того, как Кэти полностью оправилась от шока, дети вначале завороженно наблюдали за ней издали, а потом стали подходить и ближе. В двенадцать-тринадцать лет девочки очень влюбчивы, но в отличие от своих сверстниц Кэти ни по кому не сохла. Мальчики, боясь насмешек приятелей, не решались провожать ее из школы домой. Но ее воздействие и на мальчиков, и на девочек было огромным. И если мальчик оказывался рядом с Кэти один на один, он чувствовал, как его влечет к ней какая-то сила, которую он не мог ни объяснить, ни преодолеть.

Тоненькая, изящная, она была сама прелесть, и у нее был такой нежный голосок. Она любила подолгу гулять в одиночестве, и почти на каждой такой прогулке с ней вдруг случайно сталкивался какой-нибудь паренек. И хотя слухи ползли разные, доподлинно узнать, чем занималась Кэти, было невозможно. Если что и случалось, то разговоры потом не шли дальше расплывчатых намеков, и уже одно это было странно — в таком возрасте у детей множество секретов, но выбалтывают они их через пять минут.

Улыбка у Кэти была неуловимой — легкое движение губ, не более. Ее манера, искоса стрельнув глазами, тотчас опускать их вниз сулила тоскующим мальчикам приобщение к тайнству.

А у отца Кэти зрел в уме новый вопрос, но он усердно гнал его прочь и даже винил себя в непорядочности за

то, что вообще мог такбе вообразить. Кэти удивительно везло, она все время что-нибудь находила: то золотой брелок, то деньги, то шелковую сумочку, то серебряный крестик с красными камешками — как говорили, с рубинами. Она находила много разных вещей, но когда ее отец дал в «Курьере» объявление о найденном крестике, никто не отозвался.

Мистер Уильям Эймс, отец Кэти, был человек замкнутый. Он редко высказывал то, о чем думал. И он не отважился бы вынести свои мысли на суд соседей. Он ни с кем не делился подозрениями, тускло тлевшими в его душе. Ничего не знать было лучше, безопаснее, мудрее и куда спокойнее. Что до матери Кэти, то паутина, которую дочь ткала из прозрачной, похожей на правду лжи, из переиначенной правды, из намеков и недомолвок, так ее опутала и так застлала ей глаза, что миссис Эймс не разглядела бы истину, даже ткнись в нее носом.

3

Кэти хорошела день ото дня. Нежная кожа, цветущее личико, золотые волосы, широко поставленные, кроткие и в то же время призывно поблескивающие глаза, очаровательный ротик — все приковывало к себе взгляды. Восемь классов средней школы она окончила с такими хорошими отметками, что родители определили ее в небольшой частный колледж, хотя в те годы девушки обычно ограничивались средним образованием. Желание Кэти стать учительницей привело родителей в восторг, потому что учительская профессия была единственным достойным поприщем, открытым для девушки из приличной, но малообеспеченной семьи. Дочерью-учительницей гордились.

Когда Кэти поступила в колледж, ей было четырнадцать лет. Родители и прежде молились на свое чадо, но теперь посвящение в тайны алгебры и латыни вознесло Кэти в заоблачные выси, куда родителям дорога была заказана. Они потеряли дочь. Они понимали, что их дитя перешло в разряд высших существ.

Латынь в колледже преподавал бледный нервный молодой человек, отчисленный с богословского факультета, однако располагавший достаточным образованием, чтобы учить других всенепременному набору из латинской грамматики и отрывков речей Цезаря и Цицерона. Он был

юноша тихий и свою судьбу неудачника принимал смиренно. В глубине души он считал, что Господь отверг его, и отверг справедливо.

И вдруг, как заметили многие, Джеймс Гру словно ожил: в нем запылал огонь, глаза его засверкали, излучая силу. В обществе Кэти его ни разу не видели, и никому не приходило в голову, что между ними могут быть какие-то отношения.

Джеймс Гру стал мужчиной. Он летал, а не ходил, и даже что-то напевал себе под нос. Он писал на богословский факультет столь убедительные письма, что тамошнее начальство было склонно принять его обратно.

Но потом вдруг огонь в нем погас. Плечи, недавно столь гордо распрямившиеся, удрученно поникли. В глазах появился лихорадочный блеск, руки стали подергиваться. Вечерами его видели в церкви: он стоял на коленях, и губы его шевелились, шепча молитвы. Он начал пропускать занятия и прислал записку, что болен, хотя было известно, что он целыми днями одиноко бродит в окрестных холмах.

Однажды ночью он постучался в дом Эймсов. Мистер Эймс ворча вылез из постели, зажег свечку, накинул поверх ночной рубашки пальто и открыл дверь. Его взору предстал встрепанный и, похоже, потерявший рассудок Джеймс Гру — глаза его горели, он весь трясся.

— Я должен с вами поговорить, — прохрипел он.

— Уже давно за полночь, — сурово сказал мистер Эймс.

— Я должен поговорить с вами с глазу на глаз. Оденьтесь и выйдите на улицу. Я должен с вами поговорить.

— Вы, молодой человек, либо пьяны, либо нездоровы. Отправляйтесь домой и ложитесь спать. Ночь на дворе.

— Но я не могу ждать. Мне необходимо с вами поговорить.

— Приходите завтра утром ко мне в мастерскую. — С этими словами мистер Эймс решительно закрыл дверь перед еле стоящим на ногах визитером, а сам замер у порога. Голос за дверью проскулил: «Я не могу ждать! Не могу!», потом неверные шаги медленно прошаркали вниз по ступенькам крыльца.

Загородив свечу ладонью, чтобы огонь не слепил глаза, мистер Эймс побрел назад. На миг ему показалось,

будто дверь, ведущая в комнату Кэти, осторожно закрылась, но, вероятно, его обманула прыгавшая по стенам тень от свечи, потому что портьера в коридоре тоже вроде бы колыхнулась.

— Что там такое? — недовольно спросила жена, когда он сел на край кровати.

Мистер Эймс и сам не понял, почему утаил правду, но, возможно, ему просто не хотелось разговаривать.

— Какой-то пьяный, — ответил он. — Ошибся домом.

— Это же надо до такого дойти! — посетовала миссис Эймс.

Он лежал в темноте, свечу он давно потушил, но зеленый ореол ее пламени продолжал пульсировать в его мозгу, и из этой вихрящейся рамки на него смотрели глаза Джеймса Гру, безумные и умоляющие. Заснул мистер Эймс не скоро.

Утром, обрастая на ходу подробностями, по городу понесли слухи и кривотолки, но ближе к вечеру картина прояснилась. Распростертое перед алтарем тело обнаружил церковный сторож. У Джеймса Гру была снесена вся верхняя половина черепа. Рядом с трупом лежал дробовик, а рядом с дробовиком валялась палочка, которой самоубийца нажал на курок. Чуть поодаль на полу стоял снятый с алтаря подсвечник. Из трех свечей была зажжена только одна, и она еще горела. Кроме того, на полу лежали одна на другой две книги — псалтырь и молитвенник. Как объяснял сторож, Джеймс Гру, вероятно, подложил книги под ствол ружья, чтобы дуло пришлось вровень с виском. Отдача от выстрела сбросила ружье с книг.

Несколько человек вспомнили, что рано утром, еще до рассвета, слышали, как что-то грохнуло. Записки Джеймс Гру не оставил. Почему он покончил с собой, не понимал никто.

Первым побуждением мистера Эймса было пойти в полицию и рассказать о ночном визите. Но потом он подумал: «А какой смысл? Если бы я что-то знал, тогда другое дело. Но я же ничего не знаю». Ему стало мутно. Он снова и снова твердил себе, что он тут ни при чем. «Разве я сумел бы его остановить? Я ведь даже не знаю, чего он хотел». Он чувствовал себя виноватым и несчастным.

За ужином жена только и говорила, что об этом самоубийстве, и мистер Эймс потерял всякий аппетит. Кэти сидела молча, но она всегда была молчалива. Ела она

изящно, откусывала маленькие кусочки и часто прикладывала к губам салфетку.

Миссис Эймс, не скупясь на детали, пересказывала все, что ей было известно про труп и про ружье.

— Кстати, я хотела тебя спросить,— вдруг сказала она.— Тот пьяный, что стучался к нам ночью... это случаем был не Джеймс Гру?

— Нет,— быстро ответил мистер Эймс.

— Ты уверен? Может быть, ты в темноте не разглядел?

— Я вышел со свечкой,— резко возразил мистер Эймс.— Он был даже не похож на Гру; у него была длинная борода.

— Пожалуйста, не огрызайся,— обиделась жена.— Нельзя уж и спросить.

Кэти вытерла рот, положила салфетку на колени и сидела улыбаясь.

Миссис Эймс повернулась к дочери:

— Кэти, ты ведь его видела в колледже каждый день. Тебе не показалось, что последнее время он ходил какой-то грустный? Ты не замечала за ним чего-нибудь такого, что могло бы?..

Кэти опустила глаза в тарелку, потом снова их подняла.

— Мне казалось, он заболел,— сказала она.— Да, вид у него был и впрямь скверный. У нас сегодня все как раз об этом говорили. А кто-то — не помню, кто — сказал еще, что у мистера Гру были какие-то неприятности в Бостоне. Мы все очень любили мистера Гру.— И она изящно промокнула губы салфеткой.

В этом и заключался метод Кэти. Уже на следующий день весь город знал, что у Джеймса Гру были неприятности в Бостоне, а о том, что эту версию подбросила Кэти, никто и не догадывался. Даже миссис Эймс, и та позабыла, кто первым упомянул про Бостон.

4

Вскоре после того, как Кэти исполнилось шестнадцать лет, ее словно подменили. Однажды утром она не поднялась в обычное время, хотя должна была идти в колледж. Мать вошла в ее комнату и увидела, что Кэти лежит в постели и смотрит в потолок.

— Вставай скорее, а то опоздаешь. Уже почти девять.

— Я никуда не пойду.—Голос ее звучал равнодушно.

— Ты что, заболела?

— Нет.

— Тогда быстрее вставай.

— Я никуда не пойду.

— Значит, все-таки заболела. Ты ведь никогда не пропускаешь уроки.

— В колледж я не пойду,— спокойно сказала Кэти.— Я вообще туда ходить не собираюсь.

От изумления миссис Эймс разинула рот.

— Это как же понимать?

— Я туда никогда больше не пойду.— Кэти продолжала смотреть в потолок.

— Еще поглядим, что на это скажет отец! Столько трудов вложили, столько денег... через два года уже диплом должна получить!..— Тут миссис Эймс подошла ближе и тихо спросила: — Может, ты замуж собралась?

— Нет.

— А что за книгу ты прячешь?

— Я не прячу. На, смотри!

— «Алиса в стране чудес». Вот так раз! Ты ведь уже большая.

— Зато я могу стать такой маленькой, что ты меня даже не увидишь,— сказала Кэти.

— Господь с тобой, о чем ты?

— И никто меня не найдет.

Мать рассердилась:

— Что за глупые фантазии! О чем ты думаешь, не понимаю! А что, позвольте спросить, ваше величество намерено делать дальше?

— Еще не знаю,— сказала Кэти.— Наверно, куда-нибудь уеду.

— Ишь ты, размечталась! Лежи-ка лучше и помалкивай. Вот вернется отец, он найдет, что тебе сказать.

Кэти медленно, очень медленно, повернула голову и посмотрела на мать. Взгляд ее был пустой и холодный. Миссис Эймс вдруг стало страшно. Она осторожно вышла из комнаты и закрыла дверь. В кухне она опустилась на стул, сложила руки на коленях и уставилась в окно на ветшающий сарай.

Дочь стала ей чужой. Миссис Эймс, как рано или поздно случается почти со всеми родителями, чувствовала, что теряет власть, что поводя, вложенные ей в руки, дабы направлять и сдерживать Кэти, выскальзывают из пальцев. Она не знала, что у нее никогда не было власти над Кэти. Она была для дочери лишь орудием, которое та использовала в своих интересах. Немного подумав, миссис Эймс надела шляпку и пошла в кожаную мастерскую. Ей не хотелось говорить с мужем дома.

Далеко за полдень Кэти наконец неохотно поднялась с постели и уселась перед зеркалом.

В тот вечер мистер Эймс скрепя сердце прочел дочери долгую нотацию. Он говорил о дочернем долге, о ее обязанностях, о том, что она должна любить родителей. Он уже завершал свою речь, когда понял, что дочь не слушает. Это его рассердило, и он пустил в ход угрозы. Он заявил, что, пока она ребенок, право распоряжаться ее судьбой предоставлено ему Богом, а государство закрепило это естественное родительское право соответствующими законами. Теперь она слушала внимательно. Она смотрела на него не отрываясь. На губах у нее играла легкая улыбка, но глаза, казалось, не моргали. Наконец, не выдержав, он отвел взгляд и оттого разъярился еще больше. Он вслеп ей прекратить глупости. И туманно пригрозил выпороть, если она его ослушается.

Но закончил робко:

— Дай слово, что утром пойдешь в колледж и перестанешь сумасбродничать.

Лицо ее ничего не выражало. Маленький ротик был неподвижен.

— Хорошо,— сказала она.

В тот же вечер, когда они ложились спать, мистер Эймс с напускной убежденностью сказал жене:

— Вот видишь, оказывается, с ней надо быть построже. Мы, наверно, слишком ей потакали. Но она ведь всегда так хорошо себя вела. Просто, думаю, на минутку забыла, кто в доме хозяин. Немного строгости еще никому не вредило.— Он сам был бы рад верить в то, о чем говорил с такой уверенностью.

А наутро Кэти пропала. Ее соломенная дорожная корзинка и ее лучшие платья исчезли. Кровать стояла аккуратно застеленная. Комната Кэти была безликой — ничто

не наводило на мысль, что в этих стенах много лет жила девочка. Ни картинок, ни милых памятных пустяков — ничего из того обычного хлама, что сопровождает жизнь любого ребенка. В куклы она не играла никогда. Личность Кэти не оставила отпечатка на ее комнате.

Мистер Эймс был по-своему далеко не глуп. Он нахлобучил фетровый котелок и поспешил на станцию. Да, начальник станции был уверен, что не ошибается. Кэти уехала первым утренним поездом. Билет купила до Бостона. Он помог мистеру Эймсу составить телеграмму в бостонскую полицию. Мистер Эймс купил билет туда и обратно и успел на поезд, отходивший в Бостон в 9.50. В критические минуты он вел себя как мужчина.

Тот вечер миссис Эймс просидела на кухне, закрыв дверь в коридор. Она была бледна как полотно и, чтобы справиться с колотившей ее дрожью, крепко держалась обеими руками за стол. Но и сквозь закрытую дверь ей было слышно все: сначала доносились только звуки ударов, а потом раздались и крики.

С кнутом мистер Эймс управлялся неумело, потому что еще ни разу никого не порол. Он хлестнул Кэти по ногам, но она не шелохнулась и продолжала молча смотреть на него спокойными холодными глазами — тогда он обозлился. Первые удары были осторожными, несмелыми, она даже не заплакала, и тогда он начал всю охаживать ее по бокам и по плечам. Кнут лизал и кусал ее тело. От ярости мистер Эймс часто промахивался, а иногда подступал к Кэти слишком близко, и кнут сворачивался вокруг нее в кольцо.

Соображала Кэти быстро. Зная своего отца, она раскусила его состояние и, как только поняла, что от нее требуется, принялась визжать, извиваться, плакать, умолять и тотчас с удовлетворением почувствовала, как удары слабеют.

Картина творимых им страданий и крики Кэти напугали мистера Эймса. Он опустил кнут. Кэти, всхлипывая, повалилась на кровать. Если бы мистер Эймс хорошенько пригляделся, то не увидел бы в глазах дочери ни слезинки, более того, он заметил бы, что шея у нее напряжена, а на скулах, высоко, у самых висков, набухли и закамселили желваки.

— Ну что, будешь еще из дома убегать? — сказал он.

— Нет! Не буду. Простите меня! — Кэти перевернулась на живот, чтобы отец не видел, каков у нее ледяное лицо.

— Не забывай, ты здесь никто и ничто! И как тебе жить, решаю я. Запомнила?

У Кэти перехватило голос:

— Да, запомнила.— И не проронив ни слезы, она издала сдавленный стон.

В кухне миссис Эймс ломала руки. Муж легонько коснулся ее плеча.

— У меня ведь тоже сердце кровью обливалось,— сказал он.— Но иначе было нельзя. Ей, думаю, только на пользу. По-моему, она уже исправилась. Видать, слишком мы ее избаловали. Вот и выросла упрямой. Видать, наша в том вина.

Хотя жена сама потребовала выпороть Кэти, хотя она сама вынудила его взять кнут, он понимал, что теперь она его за это ненавидит. И душой его овладело отчаяние.

5

Все, казалось бы, подтверждало, что порка и впрямь пошла Кэти на пользу. Как выразился мистер Эймс, ее это вроде бы образумило. Кэти и прежде слушалась родителей, но теперь она стала не только послушной, но и заботливой дочерью. Она помогала матери на кухне и без конца предлагала свои услуги, даже когда в том не было нужды. Она начала вязать для матери шерстяной платок, такой широкий и затейливый, что работа должна была занять несколько месяцев.

— У нее удивительно тонкий вкус,— рассказывала миссис Эймс соседкам.— И ведь какие цвета подобрала — красновато-коричневый с желтым! Уже первые три клетки вывязала.

Для отца у Кэти всегда была наготове улыбка. Когда он возвращался с работы, она вешала его шляпу на крючок и пододвигала кресло ближе к лампе, чтобы отцу было удобнее читать.

Даже в колледже Кэти нынче стала другая. Она всегда была примерной ученицей и теперь всерьез продумывала свое будущее. В разговоре с директором она спросила, нельзя ли ей сдать выпускные экзамены на год раньше. Ди-

ректор ознакомился с результатами ее контрольных и пришел к выводу, что у Кэти есть шанс получить учительский диплом досрочно. Он лично посетил мистера Эймса в мастерской, чтобы обсудить с ним намерения его дочери.

— Нам она ничего об этом не говорила, — с гордостью заметил мистер Эймс.

— Вероятно, мне тоже не следовало ставить вас в известность. Но, надеюсь, я не испортил вам приятный сюрприз.

У четы Эймсов было ощущение, будто они неожиданно-негаданно открыли некое волшебное средство, мигом устранившее все их трудности. А к этому открытию, как они полагали, их подвела та подсознательная мудрость, что достается в удел лишь родителям.

— В жизни не видел, чтобы человек сразу так переменялся, — однажды сказал мистер Эймс.

— Но она всегда была чудесным ребенком, — возразила жена. — А ты заметил, что она хорошеет прямо на глазах? Можно сказать, красавицей стала. Щечки-то какие румяные — заглядение!

— С такой внешностью она, думаю, не застрянет в учительницах надолго, — заключил мистер Эймс.

А Кэти и вправду цвела и сияла. Все то время, что она готовилась к исполнению задуманного, с ее губ не сходила легкая детская улыбка. Времени же у нее было предостаточно. Она вычистила погреб и заткнула там бумагой все щели, чтобы ниоткуда не дуло. Заметив, что дверь в кухне скрипит, Кэти смазала петли, а потом и туго открывавшийся замок, ну и раз уж ходила по дому с масленкой, смазала попутно петли парадной двери. Она взяла на себя обязанность следить за тем, чтобы все лампы в доме были всегда заправлены и колпаки на них не чернели от копоти. Она сама придумала способ счищать нагар с колпаков, ополаскивая их в большой жестянке с керосином, которую держала в подвале.

— Смотрю и глазам своим не верю, — говорил ее отец.

Свой новообретенный интерес к жизни Кэти не ограничивала домашними делами. Стойко перенося запах дубильного раствора, она заглядывала к отцу в мастерскую. Кэти шел лишь семнадцатый год; отец, конечно же, считал ее ребенком. И его поражало, как серьезно она расспрашивает его о работе мастерской.

— Она поумнее иных мужчин,— говорил он своему старшему мастеру.— Глядишь, придет время, станет здесь хозяйкой.

Ее интересовали не только способы обработки кож, но и административно-финансовая сторона дела. Отец объяснял ей, как брать у банка кредиты и погашать их, как вести бухгалтерию и расплачиваться с рабочими. Он показывал ей, как открывается сейф, и был доволен, когда она с первого раза запомнила последовательность, в которой набирался код замка.

— Я на это смотрю так,— объяснял мистер Эймс жене.— В каждом из нас есть чуток от лукавого. И меня бы только огорчало, если бы мой ребенок не озоровал. А всякое озорство, как я думаю, просто способ дать выход энергии. Если же эту энергию распознать и держать в узде, то, ей-богу, ее можно направить в нужное русло.

Кэти тем временем приводила в порядок свои вещи: что нужно — заштопала, что нужно — починила.

Однажды в мае она вернулась из школы и сразу у села за вязанье. Мать готовилась выйти из дома и была уже одета.

— Мне надо на собрание церковного фонда,— сказала миссис Эймс.— На следующей неделе мы проводим аукцион пирогов. Я за него отвечаю. Отец должен завтра платить рабочим, так что, если пойдешь гулять и будешь проходить мимо банка, он просил, чтобы ты взяла там деньги и занесла в мастерскую. Я ему говорила про наше собрание, он знает, что сама я в банк зайти не смогу.

— Я с удовольствием схожу,— кивнула Кэти.

— Деньги они там уже приготовили, дадут их тебе в мешочке,— на ходу добавила миссис Эймс, торопливо спускаясь с крыльца.

Действовала Кэти быстро, но без суеты. Поверх платья она надела старый передник. Нашла в погребе банку изпод варенья с завинчивающейся крышкой и отнесла ее в каретный сарай, где хранились инструменты. Поймала во дворе молоденькую курицу, положила ее на стоявший в сарае деревянный чурбан, отрубила ей голову, а судорожно дергавшуюся шею нагнула над банкой и держала, пока банка не наполнилась кровью. Потом отнесла еще трепыхавшуюся курицу на навозную кучу и глубоко закопала. Вернувшись в кухню, вымыла руки, внимательно ос-

мотрела свои чулки и туфли, увидела на носке правой туфли темное пятнышко и стерла его. Потом взглянула на себя в зеркало. Щеки ее горели румянцем, глаза сияли, губы были чуть изогнуты в светлой детской улыбке. Выйдя из дома, она спрятала банку с кровью под нижней ступенькой кухонного крыльца. На все это ей после ухода матери потребовалось меньше десяти минут.

Легкой, танцующей походкой Кэти обогнула дом и вышла на улицу. На деревьях уже начали распускаться листья, в палисадниках кое-где желтели первые, еще редкие одуванчики. Кэти весело шагала к центру города, туда, где находился банк. И такая она была хорошенькая, столько в ней было юной свежести, что люди оборачивались и глядели ей вслед.

6

Пожар случился около трех часов ночи. Огненный столб взметнулся ввысь, запылал, загудел, рухнул и рассыпался—все произошло так быстро, что никто и опомниться не успел. Когда, разматывая на ходу шланг, примчалась добровольная пожарная команда, ничего уже нельзя было сделать, и пожарники лишь поливали крыши соседних домов, чтобы огонь не перекинулся дальше.

Дом Эймсов взорвался, как петарда. Пожарники и горожане, из тех, что сбегаются поглазеть на пожар, вглядывались в озаренные огнем лица, отыскивая супругов Эймс и их дочь. И вдруг все одновременно поняли, что никого из Эймсов здесь нет. Люди смотрели на огромную, рдеющую в темноте клумбу, представляли себе, что под этими углями погребены они сами и их дети—сердце у них сжималось, к горлу подступал комок. Пожарники принялись качать воду и направлять струю на угасающее пламя, словно было еще не поздно, словно они еще надеялись кого-то спасти. Страшный слух о том, что вся семья Эймсов сгорела, облетал улицу за улицей.

На рассвете вокруг дымящейся черной кучи столпился весь город. Стоящие впереди заслонялись руками от пышущего в лицо жара. Пожарники продолжали качать воду, чтобы охладить обуглившиеся обломки. К полудню смогли наконец настелить на землю несколько мокрых досок, и следовательно начал ковырять ломом запекшиеся, слипшиеся в

месиво угли. По обнаруженным останкам мистера и миссис Эймс он безошибочно определил, что сгорело два человека. Соседи Эймсов показали, где приблизительно была комната Кэти, но хотя следователь и помогавшие ему добровольцы прочесали это место граблями, отыскать там ничего не удалось — ни косточки, ни даже зуба.

Командир пожарников между тем нашел ручки и замок кухонной двери. Он поглядел на почерневший металл, и что-то его озадачило, хотя он и сам не понял, что именно. Одолжив у следователя грабли, он рьяно взялся за работу. Прошел к тому месту, где прежде было парадное крыльцо, и разгребал там угли до тех пор, пока не наткнулся на замок от входной двери, покореженный и наполовину расплавившийся. К тому времени вокруг него уже собралась отдельная толпа и сыпались вопросы:

— Что ты тут ищешь, Джордж?.. Джордж, что ты нашел?

В конце концов подошел и следователь.

— Джордж, в чем дело?

— В замках нет ключей, — запинаясь ответил тот.

— Наверно, выпали.

— Каким образом?

— Тогда, наверно, расплавились.

— Но замки же не расплавились.

— Может быть, Билл Эймс сам вынул ключи из замков.

— Как, изнутри? — Он поднял свои трофеи повыше. Язычки обоих замков были выдвинуты наружу.

В связи с тем, что у хозяина сгорел дом, да и сам хозяин, по всей видимости, сгорел тоже, рабочие кожевенной мастерской в знак уважения к покойному на работу не вышли. Преисполненные деловитости, они слонялись по пожарищу, предлагали всем свою помощь — одним словом, путались под ногами.

Лишь во второй половине дня старший дубильщик Джоуэл Робинсон наведлся в мастерскую. Он увидел, что сейф открыт и бумаги раскиданы по полу. Разбитое окно объясняло, как грабитель проник в контору.

И тогда вся картина предстала в ином свете. Выходит, пожар не случайность! Любопытство и жалость сменились страхом, а за страхом в души людей закрался и его спутник — гнев. Толпа разбрелась на поиски улики.

Далеко ходить не пришлось. В каретном сарае были обнаружены, как принято говорить, «следы борьбы»; в данном случае ими оказались поломанный ящик, разбитая подвесная лампа, полосы, процарапанные в пыли, и клочья соломы. Возможно, все это и не сочли бы «следами борьбы», но на полу была кровь.

Командование взял на себя полицейский сержант — такие дела входили в его компетенцию. Он начал выпихивать и выталкивать людей из сарая.

— Хотите следы затереть?! — кричал он. — А ну-ка все за дверь, сейчас же!

Потом он обыскал сарай, что-то подобрал с пола, а в углу нагнулся еще раз. Выйдя на порог, он показал толпе свои находки — забрызганную кровью голубую ленту для волос и крестик с красными камешками.

— Кто-нибудь узнаёт эти вещи? — строго спросил он.

В маленьком городке, где знаешь всех и каждого, трудно поверить, что один из твоих знакомых убил другого. Оттого-то, если улики не складываются в цепочку, ведущую в определенном направлении, немедленно возникает версия о таинственном незнакомце, об убийце, забредшем из внешнего мира, где подобные злодеяния не редкость. И тогда начинаются налеты на лагеря бродяг, праздношатающихся волокут в участок, а в гостиницах изучают списки приезжих. Все неизвестные автоматически попадают под подозрение. А дело было, как вы помните, в мае, и бродячий люд, взбодренный приближением теплой поры, когда одеяло можно расстелить возле любого ручья, только-только выполз на дороги. Появились и цыгане — по соседству от города расположился целый табор. Ох и погнажи же этих бедных цыган!

В радиусе нескольких миль вокруг города искали свежевскопанную землю и, в надежде найти тело Кэти, шарили по дну сомнительного вида прудов. «Она была такая хорошенькая», — повторяли все, подразумевая, что и сами понимают, почему ее могли похитить. Через несколько дней откуда-то притащили на допрос волосатого, несвязно бормочущего дурачка. Он вполне годился на виселицу: мало того, что у него не было никакого алиби, он вообще не мог припомнить ни одного события из всей своей жизни. Скудный умишко подсказывал ему, что эти люди с их расспросами чего-то от него добиваются, и, от природы

дружелюбный, он старался им помочь. Когда ему задавали коварные наводящие вопросы, он радостно давал поймать себя на крючок и был доволен, видя удовлетворенное лицо сержанта. Он бесстрашно стремился угодить этим сверхмудрым существам. В нем было что-то очень к себе располагающее. Одна беда — признавался он слишком во многом, и его признания были слишком путаные. Приходилось постоянно напоминать ему о преступлении, в котором его подозревали. Представ перед судом суровых и напуганных присяжных, он искренне обрадовался. Он почувствовал, что впервые в жизни сумел чего-то достичь.

Во все времена — и прежде, и в наши дни — встречаются судьи, чье преклонение перед законом и его назначением нести справедливость сравнимо лишь с преклонением перед любимой женщиной. Как раз такой человек председательствовал на том суде — душа его была столь чистой и прекрасной, что за свою жизнь он пресек немало зла. Без подсказок, к которым подсудимый уже привык, признание выглядело полной чепухой. Судья допросил его и понял, что, хотя обвиняемый старается делать все, как ему велено, он попросту не способен вспомнить ни что он совершил, ни кого убил, ни как, ни почему. Устало вздохнув, судья показал, чтобы подсудимого увели из зала, и пальцем поманил к себе сержанта.

— Вот что, Майк, — сказал он, — зря ты это затеял. Будь этот бедолага малость поумнее, он бы с твоей легкой руки угодил на виселицу.

— Но он же сам признался! — Сержант был обижен, потому что к своим обязанностям всегда относился добросовестно.

— Он бы точно так же признался, что залез по золотой лестнице на небеса и шаром из кегельбана перерезал горло Святому Петру, — сказал судья. — Так что, Майк, будь поосмотрительнее. Закон создан, чтобы спасать людей, а не губить.

Когда случаются такие, местного масштаба трагедии, время действует, как мокрая кисть, размывающая акварель. Четкие контуры расплываются, теряют резкость, цвета перемешиваются, и множество разных линий сливается в единое серое пятно. Через месяц уже не ощущалось особой необходимости кого-нибудь повесить, а через два месяца почти всем стало ясно, что найденные улики на самом деле

никого не изобличают. И если бы не убийство Кэти, то ограбление сейфа и пожар можно было бы считать случайным совпадением. А потом многие сообразили, что раз труп Кэти не обнаружен, то вообще ничего не доказать, даже если все уверены, что девушки нет в живых. В памяти города Кэти оставила о себе хоть и слабый, но нежный след.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Мистер Эдвардс в том, что касалось его амплуа поставщика проституток, был деловит и не позволял себе никаких эмоций. Для своей жены и двух безупречно воспитанных детей он приобрел хороший дом в одном из респектабельных районов Бостона. Дети — два сына — были с младенчества внесены в списки будущих курсантов военного училища в Гротоне.

Миссис Эдвардс следила за тем, чтобы в доме не было ни пылинок, и руководила прислугой. Понятно, что мистеру Эдвардсу по долгу службы нередко приходилось уезжать, тем не менее он умудрился прекрасно наладить свою домашнюю жизнь и проводил вечера в кругу семьи куда чаще, чем вы могли бы подумать. Дела своего предприятия он вел с педантичной тщательностью бухгалтера. Когда ему перевалило за сорок, он, мужчина крупный и мощный, слегка растолстел, но по-прежнему оставался в удивительно хорошей форме для возраста, в котором мужчины обзаводятся брюшком хотя бы из желания доказать, что преуспели в жизни.

Турне по маленьким городкам, короткие гастроли каждой девицы, принцип распределения прибылей — все это он придумал сам. Действовал он осмотрительно и ошибки допускал редко. В крупные города он своих девиц не направлял. Он играючи справлялся с полуголодными блюстителями порядка в провинции, но опытные и ненасытные полицейские больших городов внушали ему почтение. Он считал, что лучше всего работать в глухих городишках, где имеется лишь одна, заложенная и перезаложенная гостиница, где нет никаких развлечений и где конкуренцию

его девицам могут составить только супруги горожан, да еще разве что случайная шлюха-дилетантка. Ко времени, о котором идет речь, у мистера Эдвардса было десять бордельных бригад. А когда в возрасте шестидесяти семи лет мистер Эдвардс скончался, подавившись куриной костью, его бригады, состоявшие каждая из четырех девиц, одновременно гастролировали по тридцати четырем мелким городам Новой Англии. Он был не просто хорошо обеспечен — он был богат; смерть от застрявшей в горле куриной косточки тоже в своем роде символ благополучия и процветания.

В наши дни институт публичных домов, похоже, отмирает. Ученые объясняют это различными причинами. Одни говорят, что смертельный удар борделям нанесло падение нравов среди девушек. Другие, вероятно, большие идеалисты, утверждают, что постепенное исчезновение борделей обусловлено усилившимся надзором полиции. В конце прошлого и начале нынешнего века публичные дома были субъективной реальностью, хотя открыто этот факт не обсуждался. Полагали, что существование борделей оберегает честь порядочных женщин. Холостые мужчины, дабы умерить свою сексуальную озабоченность, посещали публичные дома, что не мешало им в соответствии с общепринятыми нормами почитать в женщинах целомудрие и очарование. Как одно увязывалось с другим — загадка, но в нашем общественном мышлении загадок и без того достаточно.

Публичные дома были разного пошиба — от утопающих в позолоте и бархате дворцов до неописуемо убогих хибар, где воняло так, что затошнило бы и свинью. Время от времени начинали ходить рассказы о том, как воротилы бордельного бизнеса похищают и отдают в рабство юных девушек — возможно, многие из этих историй соответствовали действительности. И все же подавляющее большинство проституток приобщалось к древнейшей профессии из-за собственной лени и тупости. В борделях они жили не зная забот. Их кормили, одевали, опекали, но едва они начинали стариться, их вышвыривали на улицу. Однако такое завершение пути их не страшило. Молодые уверены, что уж они-то не состарятся никогда.

Случалось, что ремесло проститутки избирали девушки умные, и у них судьба обычно складывалась благоприятно. Одни открывали собственные заведения, другие успешно за-

рабатывали шантажом, третьи выходили замуж за богатых. Для таких, смысленных и ловких, существовало даже особое название. Их именовали роскошным словом «куртизанка».

Мистеру Эдвардсу не составляло больших хлопот вербовать и усмирять девиц. Если проститутка оказывалась недостаточно тупой, он ее выгонял. Слишком смазливые ему тоже не годились. В хорошенькую шлюху мог влюбиться какой-нибудь провинциальный молокосос, и тогда расходов не оберешься. Если девицы мистера Эдвардса беременели, он предоставлял им выбор: либо проваливай, либо соглашайся на аборт, причем аборт им делали так грубо, что многие умирали. И тем не менее девицы, как правило, предпочитали аборт.

Дела у мистера Эдвардса не всегда шли так уж гладко. Бывали и сбои. Как раз в то время, о котором я рассказываю, на него посыпались неприятности. Две бригады, по четыре девицы в каждой, погибли в железнодорожной катастрофе. А еще одной четверки он лишился по вине некоего провинциального священника, когда тот, внезапно воспламенившись, начал своими проповедями зажигать обитателей захолустного городка. Церковь не вмещала разбухающую толпу, и, покинув стены храма, прихожане устремились в поля. Затем, как это часто случается, проповедник шлепнул на стол свой главный козырь, свою беспрюграммную карту. Он предсказал точную дату конца света. Тут уж к нему стекся блеющим стадом весь округ. Прибыв в городок, мистер Эдвардс достал из чемодана толстую плетку и выпорол девиц самым нещадным образом; но те отказывались разделить его трезвые взгляды и умоляли пороть их еще и еще, желая очиститься от воображаемых грехов. Мистер Эдвардс в сердцах плюнул, собрал весь их гардероб и поехал назад в Бостон. Девицы же, вознамерившись покаяться публично, двинулись в чем мать родила на сборище праведников и снискали среди них немалую популярность. Так и случилось, что мистер Эдвардс теперь срочно набирал новеньких оптом вместо того, чтобы, как обычно, вербовать их по одной то здесь, то там. Он должен был заново комплектовать целые три бригады.

Мне неизвестно, откуда Кэти Эймс прослышала о мистере Эдвардсе. Возможно, ей рассказал какой-нибудь извозчик. Если девушка всерьез интересовалась такой работой, слух разносился быстро. В то утро, когда она вошла

в контору мистера Эдвардса, он пребывал не в лучшем расположении духа. Мучившие его боли в животе он приписывал действию густого жирного супа из палтуса, который жена подала ему вчера на ужин. Ночь он провел без сна. Палтус рвался из его организма сразу в двух направлениях — у мистера Эдвардса до сих пор сводило кишки, и он ощущал слабость.

По этой причине он не сумел с первого взгляда разобраться, что представляет собой девушка, назвавшаяся Кэтрин Эймсбери. Для работы в его фирме она явно была излишне миловидна. Голос у нее был тихий, грудной, фигурка тоненькая, почти хрупкая, кожа нежная. Короче говоря, совершенно не то, что требовалось. Не будь мистеру Эдвардсу так худо, он отказал бы ей незамедлительно. Задавая свои обычные вопросы — во избежание скандальных последствий он расспрашивал девушек главным образом об их родне, — он не особенно в нее вглядывался, но вдруг почувствовал, что его плоть откликается на ее присутствие. Мистер Эдвардс не был сластолюбцем и, кроме того, всегда четко разграничивал сферы своей деловой и интимной жизни. И такая реакция его огорошила. Подняв глаза, он посмотрел на девушку с недоумением — веки ее мягко и таинственно дрогнули, а слегка подложенные бедра чуть заметно колыхнулись. В улыбке, приоткрывшей крохотный ротик, было что-то кошачье. Тяжело задышав, мистер Эдвардс подался вперед. Ему стало ясно, что эту милашку он готов приберечь для себя.

— Не понимаю, почему такая девушка, как ты... — начал он и в тот же миг пал жертвой древнейшего заблуждения, аксиомы, гласящей, что девушка, в которую ты влюблен, не может быть непорядочной или лживой.

— У меня умер отец, — застенчиво сказала Кэтрин. — Перед смертью он развалил все хозяйство. Мы и не знали, что он взял в банке деньги под закладную. Я не могу допустить, чтобы у нас отняли ферму. Маменька этого не переживет. — Глаза Кэтрин заволоклись слезами. — Ну я и подумала, что, может, сумею зарабатывать хотя бы на уплату процентов.

Вот когда мистер Эдвардс еще мог бы образумиться. И, между прочим, в голове у него действительно прозвенел тревожный звоночек, но, видимо, прозвенел слишком тихо. Примерно три четверти всех обращавшихся к нему деву-

шек нуждались в деньгах именно для выплаты закладной. Мистер Эдвардс взял за непреложное правило ни при каких обстоятельствах не верить ни единому слову своих девиц, потому что они могли наврать, даже когда их спрашивали, что они ели на завтрак. И вот вам нате — большой, толстый, умудренный мастер бордельного бизнеса, он сидел, навалившись животом на стол; лицо его от возбуждения наливалось кровью, а по ногам все выше карабкались щекочущие кожу мурашки.

— Что ж, милая, давай все хорошенько обсудим, — услышал мистер Эдвардс свой голос. — Глядишь, придумаем, как тебе заработать на эти проценты. — Так любезно, и кому?! Какой-то девке, которая всего лишь попросила взять ее шлюхой в бордель... кстати, попросила или не попросила?

2

Религиозные воззрения миссис Эдвардс отличались не столько глубиной, сколько твердостью. Значительную часть своего времени она посвящала прикладной деятельности на благо церкви, и потому ей некогда было осмыслить предпосылки, равно как и результаты воздействия религии на человека. В ее глазах мистер Эдвардс был коммерсантом и занимался торговлей импортом, но, стань ей известно, чем он занимается на самом деле — а полагаю, ей это было известно, — миссис Эдвардс все равно бы не поверила. Так что вот вам еще одна загадка. Как муж мистер Эдвардс был по отношению к ней холодно-заботлив и не слишком утруждал себя исполнением супружеских обязанностей. Она никогда не видела от него ласки, но не могла упрекнуть и в жестокости. Все ее переживания и волнения были связаны только с воспитанием сыновей, с делами приходского совета и с кухней. Миссис Эдвардс была довольна своей жизнью и благословляла судьбу. Когда ее муж внезапно потерял обычную уравновешенность, стал беспокойным, раздражительным, и то сидел, уставившись в пустоту, то нервно срывался с места и в гневе выбегал из дома, она вначале приписывала его состояние желудочным расстройствам, а потом решила, что у него не ладится на работе. Но однажды, случайно застав его в уборной, когда он сидел на унитазе и тихо плакал, она поняла, что ее муж серьезно болен. Мистер Эдвардс поспешно загородил свои красные опухшие глаза от ее изу-

чающего взгляда. Ни травяные отвары, ни слабительные его не исцеляли, и у миссис Эдвардс опустились руки.

Если бы еще совсем недавно мистер Эдвардс услышал, что человек его профессии вляпался в такую историю, он бы просто расхохотался. Но факт остается фактом: мистер Эдвардс, хладнокровию которого позавидовали бы бордельеры всех времен и народов, безнадежно, самым жалким образом влюбился в Кэтрин Эймсбери. Он снял для нее прелестный кирпичный домик, а затем передал его Кэтрин в полное владение. Он купил ей всевозможных дорогих вещей, обставил дом с немыслимой роскошью и даже топил его немыслимо жарко. Ковры были чересчур толстые и пушистые, на стенах теснилось множество картин в тяжелых рамах.

За всю свою жизнь мистер Эдвардс не испытывал таких унижительных страданий. В силу своей профессии он настолько изучил женщин, что ни одной из них не верил ни на грош. Но Кэтрин он любил великой любовью, а любовь требует доверия, и его трепещущее сердце разрывалось на части. Сомневаться в ней он не имел права, но он сомневался. Он надеялся купить ее верность деньгами и подарками. В разлуке с ней его мучили подозрения, что в кирпичный домик тайком наведываются другие мужчины. Он теперь с огромной неохотой выезжал из Бостона проверять работу бригад, потому что Кэтрин в это время оставалась без присмотра. Он даже слегка запустил дела. Такая любовь посетила его впервые и чуть не стоила ему жизни.

Но мистер Эдвардс не знал одного — и не мог знать, потому что Кэтрин никогда бы этого не допустила, — он не знал, что Кэтрин действительно хранит ему верность в том смысле, что не принимает и не посещает других мужчин. Для Кэтрин связь с мистером Эдвардсом была коммерческой сделкой, и относилась она к нему так же холодно и безразлично, как он к своим бригадам. И так же, как у него, у Кэтрин имелись свои приемы и методы. Прибрав его к рукам — а ей это удалось очень быстро, — она тотчас повела себя так, будто ее что-то не устраивает. Она старалась создать впечатление, что все время как на иголках, и мистеру Эдвардсу казалось, будто она в любую минуту может сбежать. Когда она знала, что он к ней придет, то нарочно заранее уходила из дома, а потом влетала сияющая и покрасневшая, словно после невероятного

любовного приключения. Она часто жаловалась, что на улице ей не дают проходу, что, не в силах совладать с собой, мужчины так к ней и липнут — то норовят дотронуться, то прямо раздевают глазами. Несколько раз она ебегала в дом задыхаясь от ужаса, потому что еле спаслась от какого-то погнавшегося за ней развратника. Бывало, мистер Эдвардс ждет ее, а она, вернувшись лишь под вечер, объясняет: «Господи, да я просто ходила по магазинам! Должна же я иногда что-то себе покупать». И говорила она это таким тоном, будто врала.

Что до их постельных отношений, то она внушала ему, что полного наслаждения с ним не испытывает, у него маловато мужской силы, иначе он бы доводил ее до экстаза. Ее метод заключался в том, чтобы постоянно держать его в неуверенности. И она с удовлетворением отмечала, что у него сдают нервы и начали дрожать руки, что он похудел и глаза его часто стекленеют, как у безумного. А когда чутье подсказывало ей, что он вот-вот взбесится и обрушит на нее свою ярость, она забиралась к нему на колени, успокаивала и заставляла на мгновение поверить, что безгрешна. Убедить его она могла в чем угодно.

Кэтрин нужны были только деньги, и к своей цели она шла кратчайшим и самым легким для себя путем. Успешно скрутив мистера Эдвардса в бараний рог — а Кэтрин точно определила, когда он стал как шелковый, — она начала его обкрадывать. Она шарила у него по карманам и вытаскивала оттуда крупные купюры. Боясь, что она его бросит, он не отваживался уличить ее в воровстве. Драгоценности, которые он ей дарил, бесследно исчезали, и, хотя она говорила, что, мол, потеряла, он понимал, что она их продает. Отчитываясь в расходах, она приписывала нули к счетам из бакалейной лавки и завышала цены купленных нарядов. Пресечь это он был не в силах. Дом она не продала, но заложила, выцугав у банка сколько могла.

Однажды вечером он не смог отпереть замок входной двери. Он долго стучался, прежде чем она ему открыла. Да, замки она сменила, потому что потеряла свой ключ. И, понятное дело, перепугалась — как-никак она живет в доме одна. Мало ли кто может войти. Она закажет еще один ключ, для него... Но ключа ему она так и не дала. С тех пор он должен был каждый раз звонить, и, случалось, она не открывала очень долго, порой же не открыва-

ла вообще. А определить, дома она или нет, он не мог. Мистер Эдвардс нанял сыщиков — она и не подозревала, как часто за ней следят.

Мистер Эдвардс был в целом натура не сложная, но даже в простой душе есть свои закоулки, темные и запутанные. Кэтрин была умна, но и умной женщине не угледеть всех развилок в лабиринте мыслей и чувств мужчины.

Она совершила всего одну грубую ошибку, но как раз ту, которой старалась избежать. Как и полагалось, мистер Эдвардс держал в их уютном гнездышке запас шампанского. Но Кэтрин с самого начала отказалась от вина наотрез.

— Мне будет плохо, — объяснила она. — Я пробовала и знаю: мне пить нельзя.

— Чепуха, — сказал он. — Всего один бокал. Тебе это нисколько не повредит.

— Нет, спасибо. Нет-нет, ни за что.

В ее нежелании пить мистер Эдвардс усмотрел присущую благородным дамам утонченную женственность. И с тех пор больше не настаивал, но однажды вечером вдруг сообразил, что он ведь ничего о ней не знает. Вино может развязать ей язык. Чем чаще он возвращался к этой мысли, тем больше она ему нравилась.

— Ну зачем ты меня обижаешь, почему не хочешь со мной выпить?

— Мне будет нехорошо, поверь.

— Вздор.

— Говорю тебе, мне нельзя.

— Глупости, — сказал он. — Хочешь, чтобы я рассердился?

— Нет.

— Тогда выпей хотя бы бокал.

— Не хочу.

— Выпей. — Он протянул ей шампанское, но она отодвинулась.

— Ты не понимаешь. На меня это плохо действует.

— Пей.

Она взяла бокал, выпила его до дна, замерла на месте, потом задрожала и долго стояла так, словно к чему-то прислушивалась. Щеки ее покраснелись. Она налила себе еще, потом еще. Глаза ее застыли, от них веяло холодом. Мистеру Эдвардсу стало страшно. С ней происходило что-то такое, над чем ни он, ни она были не властны.

— Я ведь не хотела. Забыл? — спокойно сказала она.

— Тогда, может быть, больше не надо.

Она рассмеялась и налила себе снова.

— Теперь уже все равно. Чуть больше, чуть меньше — не имеет значения.

— Иногда приятно выпить бокальчик-другой, — неловко пробормотал он.

Когда она заговорила, голос ее звучал мягко.

— Червяк ты толстопузый, — сказала она. — Что ты про меня знаешь? Да я тебя насквозь вижу, все твои мыслишки вонючие. Хочешь, скажу, о чем ты думаешь? Ты ведь все пытаешься понять, откуда я, такая паинька, всем этим штучкам-дрючкам выучилась. Могу рассказать. Я этому делу в притонах обучалась — слышишь? — в притонах! В таких местах работала, о которых ты и слыхом не слыхивал. Матросы мне из Порт-Саида подарочки возили. Я ведь в тебе каждую жилку наизусть знаю, квашня ты несчастная, и могу из тебя веревки вить.

— Кэтрин! Ты сама не понимаешь, что говоришь! — ужаснулся он.

— Я же сразу догадалась. Ждал, что проболтаюсь. Вот и дождался.

Она медленно приближалась к нему, и мистер Эдвардс с трудом подавил в себе желание сдвинуться вбок. Он боялся ее, но продолжал неподвижно сидеть. Остановившись прямо перед ним, она допила остатки шампанского, изящным движением разбила бокал о край стола и вдавила оставшийся у нее в руке зазубренный осколок в щеку мистера Эдвардсу.

Тут уж он кинулся бежать без оглядки, а вслед ему из дома несся ее смех.

3

Таких, как мистер Эдвардс, любовь калечит. Это чувство отняло у него способность судить здраво, перечеркнуло накопленный опыт, ослабило волю. Он твердил себе, что с Кэтрин всего лишь приключилась истерика, и старался в это поверить, а Кэтрин всячески старалась ему помочь. Она пришла в ужас от своего срыва и теперь прилагала разнообразные усилия, чтобы мистер Эдвардс восстановил прежнее лестное мнение о ней.

Когда мужчина так безумно влюблен, он способен ис-

терзать себя до невозможности. Мистер Эдвардс всем сердцем жаждал уверовать в добродетель Кэтрин, но сомнения, которые разжигал засевший в его душе бес, равно как и недавняя выходка Кэтрин, не давали ему покоя. Почти неосознанно он доискивался правды, но не верил тому, что узнавал. Так, к примеру, чутье подсказывало ему, что она не станет держать деньги в банке. И действительно, с помощью хитроумной системы зеркал один из нанятых им сыщиков установил, что деньги Кэтрин хранит в потайном месте в подвале своего кирпичного дома.

Однажды из сыскного агентства мистеру Эдвардсу прислали газетную вырезку. Это была старая заметка из провинциальной газеты о пожаре в маленьком городке. Мистер Эдвардс внимательно ее прочел. Его бросило в жар, он обмяк, перед глазами поплыли красные круги. Любовь смешалась в нем с неподдельным страхом, а при такой соединительной реакции в осадок выпадает жестокость. Шатаясь, он добрал до стоявшего в кабинете дивана, лег и прижался лбом к прохладной черной коже. На мгновение он словно повис в пустоте и перестал дышать. Постепенно разум его прояснился. Во рту был соленый привкус, от гнева больно сводило плечи. Но мистер Эдвардс уже успокоился, и его мысли, словно острый луч прожектора, прорубили дорогу сквозь время, оставшееся до выполнения намеченного. Неторопливо, как перед обычным инспекционным выездом, он проверил, все ли уложил — свежие сорочки и белье, ночная рубашка и шлепанцы, толстая плетка, змеей свернувшаяся на дне чемодана.

Тяжело ступая, он прошел через палисадник перед кирпичным домиком и позвонил в дверь.

Кэтрин тотчас открыла. Она была в пальто и шляпке.

— Ой! Какая досада! Мне надо ненадолго отлучиться.

Мистер Эдвардс опустил чемодан на пол.

— Нет,— сказал он.

Она изучающе поглядела на него. Что-то было не так. Он протиснулся мимо нее в дом и начал спускаться в подвал.

— Ты куда? — пронзительно взвизгнула она.

Он не ответил. Через минуту поднялся обратно, в руках у него была дубовая шкатулка. Он положил ее к себе в чемодан.

— Это мое,— мягко сказала она.

— Знаю.

— Что ты затеял?

— Решил взять тебя с собой в небольшую поездку.

— Куда? Я сейчас ехать не могу.

— В один городок в Коннектикуте. У меня там дела. Ты когда-то говорила, что хочешь работать. Вот и будешь работать.

— Раньше хотела, а теперь не хочу. Ты меня не заставишь. Да я полицию позову!

Он улыбнулся такой зловещей улыбкой, что Кэтрин попятилась. В висках у нее гулко стучало.

— Может, тебе больше хочется съездить в твой родной город? — сказал он. — Несколько лет назад там был большой пожар. Помнишь?

Она пытливо всматривалась в него, стараясь нащупать слабое место, но взгляд его был тверд и ничего не выражал.

— Что я должна сделать? — спокойно спросила она.

— Просто поехать со мной в небольшую поездку. Ты ведь говорила, что хочешь работать.

Она поняла, что выбора нет. Придется ехать с ним и ждать удобного случая. Не может же он все время быть начеку. Сейчас перечить ему опасно, лучше смириться и выжидать. Этот метод всегда себя оправдывал. По крайней мере до сих пор. И тем не менее Кэтрин испугалась не на шутку.

Когда поезд довез их до того городка, уже смеркалось; они дошли до конца единственной улицы и углубились в поля. Кэтрин устала и держалась настороженно. Ей так и не удалось вывести его планы. В сумочке у нее лежал острый как бритва нож.

Мистеру Эдвардсу казалось, что он все продумал. Он собирался выпороть ее, потом поместить в один из номеров при здешнем салуне, потом снова выпороть, перевезти в другой городок и так далее. А когда от нее не будет никакого проку, он вышвырнет ее на улицу. Местная полиция проследит, чтобы она не сбежала. То, что у нее нож, мистера Эдвардса не волновало. Про нож он знал.

Когда они остановились в укромном месте между каменной стеной и опушкой кедровой рощи, он первым делом вырвал у нее сумочку и перекинул через стену. Итак, с ножом он разобрался. Но, увы, он не разобрался в себе, потому что прежде никогда не любил ни одну женщину.

Он-то думал, что хочет ее просто наказать. Однако, хлестнув раза два, почувствовал, что не удовольствуется обычной поркой. Отбросив плетку, он пустил в ход кулаки. Из груди его рвался визгливый, прерывистый вой.

Кэтрин изо всех сил старалась не впасть в панику. Она уворачивалась от сокрушительных ударов, загоразивалась, но в конце концов страх взял свое, и она побежала. Он прыжком нагнал ее, повалил, но теперь ему было мало и кулаков. Рука его судорожно нащупала на земле камень, и ярость клокочущей багровой волной хлынула на волю.

Опомнившись, он посмотрел на ее изуродованное лицо. Взял ее за руку, пытаясь понять, бьется ли у нее сердце, но его собственное сердце стучало так громко, что сквозь этот стук ничего не было слышно. В голове пронеслись сразу две совершенно разные мысли, словно два ясных голоса позвали его в разные стороны. Один голос сказал: «Надо ее похоронить, надо вырыть яму и бросить ее туда». А другой голос жалобно, по-детски проскулил: «Я этого не вынесу. Я не смогу к ней притронуться». Затем, как бывает после вспышки ярости, на него накатила дурнота. Он бросился бежать, забыв и про чемодан, и про плетку, и про дубовую шкатулку с деньгами. Спотыкаясь в темноте, он бежал прочь от этого места и думал лишь о том, что необходимо где-то спрятаться и переждать, пока дурнота отступит.

Никто его ни о чем не расспрашивал. Какое-то время он болел, и супруга нежно за ним ухаживала, а поправившись, он снова занялся делами и больше никогда не позволял себе терять голову от любви. Жизнь ничему не учит только дураков, говорил он. До конца своих дней он относился к себе с опасливым уважением. Ведь раньше он и не подозревал, что способен убить.

В живых Кэтрин осталась случайно. Каждым своим ударом он хотел убить ее. Она долго не приходила в себя, а потом долго была как в тумане. Она чувствовала, что у нее сломана рука, и понимала, что, если хочет выжить, должна найти кого-нибудь, чтобы ей помогли. Жить ей хотелось, и она поползла по темной дороге на поиски людей. Свернула в какие-то ворота и уже карабкалась на крыльцо дома, когда снова потеряла сознание. В курятнике кукарекали петухи, на востоке проступал серый ободок рассвета.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Когда двое мужчин живут вместе, они быстро начинают раздражать друг друга и оттого обычно поддерживают в доме видимость чистоты и порядка. Двое одиноких мужчин, живя вместе, готовы в любую минуту подражаться и сами об этом знают. Адам Траск вернулся домой не так давно, но его отношения с Карлом уже накалялись. Братья слишком много времени проводили вдвоем и слишком мало виделись с другими людьми.

Первые два-три месяца они занимались получением наследства: оформили завещанные деньги на себя и сняли со счета Сайруса всю сумму, плюс набежавшие проценты. Они съездили в Вашингтон поглядеть на могилу — солидный каменный обелиск, украшенный сверху железной звездой с отверстием, куда 30 мая полагалось вставлять флажок¹. Братья долго стояли у могилы, потом молча пошли прочь, не сказав об отце ни слова.

Если Сайрус и был мошенником, то дела свои он сбтывал чисто. Никто не задавал братьям никаких вопросов. Но Карл по-прежнему ломал голову, откуда у отца взялось столько денег.

Когда они вернулись на ферму, Адам спросил его:

— Почему ты не купишь себе хотя бы новый костюм? Ты же богатый человек, а ведешь себя так, будто пять центов боишься потратить.

— Я и вправду боюсь, — сказал Карл.

— Почему?

— Может, мне придется эти деньги вернуть.

— Все та же старая песня? Если бы что-то было не так, думаешь, нам бы уже не намекнули?

— Не знаю. Давай лучше не будем об этом говорить.

Но в тот же вечер Карл сам вернулся к этой теме.

— Я все-таки одного не понимаю... — начал он.

— Ты про деньги?

— Да. Когда всрочаешь такими деньгами, обязательно остаются концы.

— Какие концы?

— Ну, разные там документы, квитанции, купчие,

¹ 30 мая в США ежегодно отмечается День памяти погибших в войнах.

записи, расчеты... Мы ведь все отцовские вещи разобрали, а ничего такого не нашли.

— Может, он все это сжег.

— Да, может быть.

Жили братья, придерживаясь заведенного Карлом распорядка, который он никогда не менял. Просыпался Карл ровно в половине пятого, с боем часов, как будто медный маятник толкал его в бок. Вообще-то он просыпался даже на секунду раньше. Вот и в этот день глаза его уже были открыты и успели один раз моргнуть, прежде чем часы раскатисто пробили половину. Он еще немного лежал, глядя в темноту и почесывая живот. Потом потянулся к столику у кровати и привычным движением безошибочно опустил руку на коробок спичек. Его пальцы вытянули одну спичку, и он чиркнул ею о коробок. Серная головка догорела до конца, и только тогда синий огонек перекинулся на деревянную палочку. Карл зажег свечу. Откинул одеяло и встал с кровати. На нем были длинные серые кальсоны, мешками провисавшие на коленях и свободно болтавшиеся у щиколоток. Зевая, он подошел к двери, открыл ее и крикнул:

— Адам, полпятого! Пора вставать. Просыпайся.

— Хоть бы раз дал выспаться! — донесся в ответ приглушенный голос Адама.

— Пора вставать.— Карл сунул ноги в штанины и начал натягивать брюки.— Тебе-то, конечно, подыматься не обязательно,— сказал он.— Ты человек богатый. Можешь целый день в постели валяться.

— Ты тоже можешь. И все равно мы оба встаем ни свет ни заря.

— Тебе подыматься не обязательно,— повторил Карл.— Правда, если обзавелся землей, желательно на ней работать.

— Чтобы потом прикупить еще земли и работать еще больше,— уныло отозвался Адам.

— Хватит! Можешь спать, если тебе так хочется.

— А ты вот, даже если останешься лежать, все равно уже не заснешь, готов поспорить,— сказал Адам.— И еще знаешь что? Еще я готов поспорить, что ты так рано встаешь только потому, что тебе это нравится, а значит, гордиться тут нечем — никто же не станет гордиться, что он от рождения шестипалый!

Карл прошел в кухню и зажег лампу.

— С кровати хозяйство на ферме не ведут,— огрызнулся он, постучал кочергой по решетке плиты, стряхивая золу, потом нарвал побольше бумаги, высыпал клочки на тлевшие угли и долго дул, пока не разгорелся огонь.

Адам наблюдал за ним сквозь приоткрытую дверь.

— Спички-то жалеешь,— заметил он.

Карл сердито обернулся:

— Занимайся своим делом и не лезь ко мне. Хватит цепляться!

— Ладно,— кивнул Адам.— Буду заниматься своим делом. Только, может, торчать здесь вовсе и не мое дело.

— Это уж как знаешь. Можешь уходить отсюда, когда пожелаешь — скатертью дорога.

Ссора была дурацкая, но Адам уже не мог остановиться. Помимо его воли с губ срывались злые, обидные слова.

— А вот это правильно — уйду, когда сам того пожелаю,— сказал он.— Я на ферме такой же хозяин, как и ты.

— Тогда почему бы тебе слегка не поработать?

— О господи,— вздохнул Адам.— Из-за чего мы собачимся? Давай не будем.

— Мне тут скандалы не нужны.— Карл вывалил чуть теплую кашу в две миски и шваркнул их на стол.

Братья сели завтракать. Карл намазал маслом ломоть хлеба, ножом подцепил из банки повидла и размазал его поверх масла, потом снова полез ножом в масленку, чтобы сделать себе второй бутерброд, и по куску масла расползлась клякса повидла.

— Ты что, черт возьми, не можешь нож вытереть?! Посмотри, на что масло похоже!

Карл положил нож и хлеб перед собой и оперся обеими руками о стол.

— А ну проваливай!

Адам встал из-за стола.

— Уж лучше жить со свиньями в свинарнике,— сказал он и ушел из дома.

2

Вновь Карл увидел его лишь через восемь месяцев. Он вернулся с работы и застал Адама во дворе: нагнувшись над кухонным ведром, Адам шумно плескал воду себе в лицо и на волосы.

— Здравствуй,— сказал Карл.— Ну, как ты?

- Хорошо.
- Где был?
- В Бостоне.
- И больше нигде?
- Нигде. Просто гулял, город смотрел.

Жизнь братьев снова вошла в прежнюю колею, но теперь оба тщательно следили за собой, чтобы не дать волю злобе. Каждый из них, заботясь о другом, в какой-то мере оберегал и собственный покой. Карл, всегда встававший спозаранку, готовил завтрак и только потом будил Адама. А Адам поддерживал в доме чистоту и вел на ферме весь учет. Взаимная сдержанность помогла братьям прожить в мире два года, но потом копившееся раздражение опять прорвалось наружу.

Как-то раз, зимним вечером, Адам оторвался от приходно-расходной книги и поднял глаза на брата.

— Где хорошо, так это в Калифорнии,— сказал он.— Там и зимой хорошо. И выращивать можно что угодно.

— Вырастить, конечно, можно. Только, когда соберешь урожай, чего с ним делать будешь?

— Ну, а, к примеру, пшеница? В Калифорнии очень даже много пшеницы выращивают.

— Всю твою пшеницу ржа поест,— сказал Карл.

— Это почему же? Знаешь, Карл, говорят, в Калифорнии все растет так быстро, что, как только посеял, сразу отходи в сторону, а не то с ног собьет.

— Тогда какого черта ты туда не едешь? Только скажи — я твою половину фермы хоть сейчас откуплю.

Адам промолчал, но на следующее утро, причесываясь перед маленьким зеркальцем, снова вернулся к этому разговору.

— В Калифорнии не бывает зимы,— начал он.— Там круглый год, как весной.

— А я зиму люблю,— сказал Карл.

Адам подошел к плите.

— Не злись.

— Тогда не приставай. Тебе сколько яиц жарить?

— Четыре.

Карл положил семь яиц на край гревшейся плиты и, аккуратно накрыв угли мелкими щепками, развел сильный огонь. Потом поставил на огонь сковородку. Пока он жарил бекон, настроение у него исправилось.

— Не знаю, Адам, ты, может, не замечаешь, но у тебя эта Калифорния с языка не сходит. Ты что, всерьез хочешь туда ехать?

Адам хмыкнул.

— Я и сам пытаюсь понять, чего хочу,— сказал он.— Даже не знаю. Это как с утра, когда проснешься. Вставать не хочется, но и в постели лежать неохота.

— Мне бы твои заботы,— буркнул Карл.

— В армии меня каждый день будил этот чертов горн,— продолжал Адам.— И я поклялся, что если когда-нибудь стану вольным человеком, буду каждое утро дрыхнуть до полудня. А здесь, на ферме, встаю даже на полчаса раньше, чем в армии. Объясни, Карл, за каким чертом мы столько работаем?

— С кровати хозяйство на ферме не ведут.— Карл помешал вилкой шипящие кусочки бекона.

— Ты сам подумай,— серьезно сказал Адам.— Ни у тебя, ни у меня нет ни детей, ни девушки — о жене уж и не говорю. И если дальше пойдет так же, то никогда не будет. У нас и времени-то нет жен себе подыскать. А мы, понимаешь, затеяли прирезать к своей земле еще и участок Кларка, если в цене сойдемся. Чего ради?

— У Кларка участок каких мало. Добавить его к нашей земле, и у нас будет одна из лучших ферм во всей округе. Постой-ка! Ты никак жениться надумал?

— Нет. Я тебе о том и толкую. Пройдет еще пять—десять лет, будет у нас самая лучшая ферма в округе. А мы, два одиноких старых пердуна, будем все так же надирать пуп. Потом один из нас помрет, и эта прекрасная ферма останется уже не двум, а всего одному старому пердуну, а потом помрет и он...

— Ты это к чему? — грозно спросил Карл.— С тобой ни минуты покоя. Всю душу мне вымотал. Что тебе неймется? А ну говори начистоту.

— От такой жизни мне никакой радости. По крайней мере меньше, чем хотелось бы. Работаю как вол, непонятно для чего, хотя мог бы не работать совсем.

— Не нравится, чего ж тогда не бросишь? — закричал Карл.— Чего же тогда здесь сидишь?! Никто тебя силой не держит. Желаешь — отправляйся хоть в Африку и спи себе там целый день в гамаке!

— Не злись,— спокойно попросил Адам.— Я ведь ска-

зал, это как с утра... И вставать не хочется, и лежать неохота. Я не хочу застревать здесь, но и уезжать тоже не хочу.

— Всю душу вымотал,— повторил Карл.

— Ты, Карл, лучше подумай хорошенько. Тебе здесь нравится?

— Нравится.

— И ты хочешь жить здесь всю жизнь?

— Да.

— Господи, до чего просто, мне бы так. Как ты считаешь, что это со мной?

— Дурью маешься, тебе баба нужна. Сходи сегодня в салун, мигом вылечишься.

— Может, и правда. Но от шлюх я большого удовольствия не получаю.

— Бабы, они все одинаковые. А глаза закроешь, так и вовсе разницы не чувствуешь.

— У нас в полку многие заводили себе постоянных женщин, из индианок. У меня одно время тоже была.

Карл повернулся и поглядел на него с интересом.

— Если бы отец узнал, что ты с индианкой путался, он бы в гробу перевернулся. Ну, и как тебе с ней было?

— Очень неплохо. Она мне стирала, штопала, даже готовила иногда.

— Я не про то. Как тебе с ней было... ну, сам знаешь?

— Хорошо. Очень хорошо. Она была такая... нежная, что ли, мягкая. Ну, вроде как ласковая... и нежная.

— Это тебе повезло, а то ведь могла бы и прирезать, пока ты спал.

— Она? Нет. Она ласковая была.

— А чего это у тебя глаза такие стали? Сдается мне, у тебя с той индианкой серьезно было.

— Да, наверно.

— И куда же она потом подевалась?

— От оспы умерла.

— А другую ты себе не завел?

Во взгляде Адама была боль.

— Мы их сложили друг на друга, как дрова... Их там больше двухсот человек было, руки-ноги во все стороны торчали. А сверху набросали хворосту и полили керосином.

— Я слышал, они оспе не переносят.

— Оспа для них — смерть,— сказал Адам.— У тебя сейчас бекон сгорит.

Карл быстро повернулся к плите.

— Просто будет поджаристый,— сказал он.— Я люблю, когда поджаристый.— Он выгреб бекон на тарелку, разбил яйца и вылил их в горячий жир: подпрыгнув, они растеклись по сковородке, потом застыли в коричневых кружевных обводах и зашкворчали.

— У нас тут была одна учительница,— сказал Карл.— Хорошенькая, ножки крохотные. Все платья в Нью-Йорке себе покупала. Рыженькая... а ножки — ты таких крохотных в жизни не видал! А еще она в хоре церковном пела. Все сразу стали в церковь ходить. Прямо валом туда валили. Правда, давно это было.

— Ты не тогда ли писал, что жениться собрался?

Карл усмехнулся.

— Вроде тогда. У нас в округе все парни тогда с ума посходили, всем, вишь, сразу жениться приспичило.

— И куда же делась эта учительница?

— Да знаешь, как бывает. Здешние женщины из-за нее просто покой потеряли. Объединились между собой. И быстренько ее отсюда выперли. Я слышал, она даже белье шелковое носила. Очень была такая вся благородная. Школьный совет турнул ее еще до конца учебного года. А ножки-то вот такусенькие. Она любила их показывать — высунет из-под юбки, по щиколотку, будто случайно... Да, она частенько их показывала.

— Ты с ней хоть познакомился? — спросил Адам.

— Нет, я только в церковь ходил. Еле протискивался. Такой красивой девушке в маленький городок нельзя. Только людей смущает. И разговоры всякие идут.

— А помнишь ту девушку, дочку Сэмюэлсов? Вот ведь была красавица! С ней что?

— Та же история. Разговоры пошли нехорошие. Она и уехала. Я слышал, в Филадельфии живет. Портнихой стала. Говорят, у нее одно платье сшить десять долларов стоит.

— Все-таки надо бы нам отсюда уехать,— сказал Адам.

— Опять про Калифорнию думаешь?

— Угу.

Карл вдруг взорвался:

— Давай уходи отсюда! — закричал он.— Не нужен ты мне здесь! Я твою долю у тебя откуплю, или продам, или не знаю чего! Убирайся, сукин ты сын!..— Он осек-

ся.— Насчет сукина сына, это я, пожалуй, хватил. Но вообще ты меня уже довел, черт тебя побери!

— Я уйду,— сказал Адам.

3

Через три месяца Карл получил цветную открытку с видом гавани Рио-де-Жанейро, а на обороте Адам нацарапал: «У вас там зима, а здесь лето. Почему бы тебе сюда не приехать?»

Еще через полгода он получил другую открытку, из Буэнос-Айреса. «Дорогой Карл! Ну и огромный же это город! Тут говорят и по-французски, и по-испански. Высылаю тебе книгу».

Но никакой книги не пришло. Карл ждал всю следующую зиму и половину весны. Вместо книги на ферму прибыл Адам. Он загорел и был одет по-иностранному.

— Ну, как ты? — спросил Карл.

— Отлично. Ты книгу получил?

— Нет.

— Куда же она, интересно, запропастилась? Там картинки были хорошие.

— На ферме-то думаешь оставаться?

— Пожалуй, да. Я расскажу тебе, в каких был краях.

— И слушать не стану,— сказал Карл.

— Господи, до чего ж ты злущий,— вздохнул Адам.

— Просто я наперед знаю, как все будет. Год-другой ты поживешь здесь, потом на тебя опять лихоманка найдет, а из-за тебя и я покой потеряю. Сперва будем друг на друга злиться, потом начнем сдерживаться, будем эдак вежливо разговаривать, только это еще хуже. А потом оба опять на стенку полезем, и ты снова уедешь, потом опять вернешься — и все по новой.

— Но ты хочешь, чтобы я остался? — спросил Адам.

— Конечно, хочу. Когда ты уезжаешь, я по тебе скучаю. Но ведь опять все будет, как раньше.

Так оно и случилось. Сперва они какое-то время предавались воспоминаниям детства, потом рассказывали друг другу о том, что с ними было, пока они не виделись, и, наконец, стали все чаще неловко замолкать, целыми днями работали, не проронив ни слова, а потом начали то и дело выплескивать свое раздражение. Время текло, не отмечен-

ное событиями, и потому казалось, что оно тянется бесконечно долго.

Как-то вечером Адам сказал:

— Знаешь, мне скоро будет тридцать семь. Полжизни прожито.

— Ну вот, понеслось,— проворчал Карл.— Сейчас скажешь, что попусту тратишь лучшие годы. Послушай, Адам, может, не будем в этот раз ругаться?

— Не понимаю.

— Если пойдет, как повелось, мы сперва будем три-четыре недели ссориться, а потом ты уедешь. Если тебе не сидится на месте, давай лучше уезжай прямо сейчас, и обойдемся без скандалов.

Адам засмеялся, и обстановка в комнате разрядилась.

— У меня, оказывается, совсем не глупый брат,— сказал он.— Ты дело говоришь. Когда засвербит так, что не вмоготу, я сразу уеду, чтобы мы не успели разругаться вдрызг. Точно, мне эта мысль нравится... А ты все богатеешь, Карл, верно?

— Богатею не богатею, а дела идут неплохо.

— Может, это не ты купил в городе четыре дома и салун?

— Может, и не я.

— Я же знаю, что ты. Карл, ты из этой фермы сделал конфетку, второй такой нет ни у кого. Почему бы нам не построить себе новый дом — с ванной, водопроводом и с уборной? Мы же давно не бедняки. Да что там не бедняки! Говорят, ты чуть ли не самый богатый фермер в округе!

— Новый дом нам ни к чему,— резко сказал Карл.— Катись ты со своими фантазиями!

— Разве плохо иметь уборную в доме и не бегать во двор?

— Меня твои фантазии не интересуют.

Адам развеселился.

— А может, я сам построю себе красивый домик прямо возле рощи. Что скажешь? Уж тогда-то мы не будем друг другу нервы портить.

— Мне на моей земле второй дом не нужен.

— Но земля-то наполовину моя.

— Я твою половину откуплю.

— А кто сказал, что я ее продам?

У Карла сверкнули глаза.

— Только построй себе дом — я его сожгу!

— А ведь и правда сожжешь.— Адам внезапно посерьезнел.— Да, ты можешь. Что ты на меня так смотришь?

— Я давно, знаешь ли, думаю,— медленно сказал Карл.— И давно хочу с тобой поговорить. Ты, как я понимаю, уже и не помнишь.

— О чем?

— Небось забыл, как телеграмму послал и попросил сто долларов?

— Еще как помню. Ты мне тогда, можно сказать, жизнь спас. А что такое?

— Ты эти деньги так мне и не вернул.

— Мне кажется, вернул.

— Нет.

Адам поглядел на старый стол, за которым когда-то сидел Сайрус и постукивал палкой по деревянной ноге. Поглядел на висевшую над столом старую керосиновую лампу, из круглого раструба которой сеялся зыбкий желтый свет.

— Завтра утром я тебе их верну,— медленно сказал он.

— Долго же ты раскачивался.

— Да, Карл, верно. Я должен был бы сам вспомнить.— Он помолчал, но потом решил, что все скажет.— Ты ведь не знаешь, зачем мне были нужны эти деньги.

— Я тебя об этом не спрашивал.

— А сам я не говорил. Наверно, стыдно было. Я, понимаешь ли, в тюрьме сидел. И слинял... в смысле, сбежал оттуда.

У Карла от удивления открылся рот.

— Ты что это такое говоришь?

— Сейчас объясню. Я бродяжил, меня за бродяжничество арестовали и отправили строить дорогу, в кандальную команду — вечером нам всем надевали на ноги кандалы. Через шесть месяцев я вышел на волю и меня тут же забрали снова. Они так всегда делают, иначе кто им будет дороги строить? А когда до конца второго срока оставалось три дня, я сбежал. Перебрался в Джорджию, украл в одном магазинчике одежду и послал тебе телеграмму.

— Я тебе не верю,— сказал Карл.— А впрочем, верю. Ты врать не привык. Да, я тебе верю. Что же ты мне раньше не рассказал?

— Может, потому что стыдно было. Но мне еще больше стыдно, что долг тебе не вернул.

— Да ну, черт с ними, с деньгами! Я и сам не знаю, чего я о них вспомнил.

— Нет-нет, что ты! Завтра же утром все тебе верну.

— Это же кому сказать! Мой брат — беглый каторжник! — восхитился Карл.

— Чего ты так обрадовался?

— Наверно, это глупо, но я как будто даже горжусь. Мой брат — беглый каторжник! Слушай, Адам, ты мне только одно объясни: почему ты ждал почти до конца срока и сбежал, когда тебе всего три дня осталось?

Адам улыбнулся.

— Тут несколько причин, — сказал он. — Во-первых, я боялся, что, если отбуду срок целиком, меня потом опять заберут. И еще я прикинул, что, если подожду, пока срок подойдет к концу, никто не подумает, что я бежать собрался.

— Толково, — согласился Карл. — Но ты сказал: несколько причин. Какая же еще?

— Да, была еще одна причина, и верно самая важная, но это объяснить труднее всего. Я считал, что должен отработать на государство шесть месяцев. Раз уж вынесли такой приговор. И мне казалось, что жульничать нехорошо. Поэтому я обманул государство всего на три дня.

Карл покатился со смеху.

— Да у тебя ж мозги набекрень, шалопай ты этакый, — добродушно и ласково сказал он. — Говоришь, ты еще ограбил какую-то лавку?

— Я потом выслал владельцу деньги, возместил убыток, плюс еще десять процентов приплатил.

Карл перегнулся через стол поближе к брату.

— Адам, расскажи мне про кандальную команду.

— Обязательно, Карл. Обязательно расскажу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Узнав, что Адам побывал в тюрьме, Карл зауважал его. Он теперь относился к брату с тем теплым чувством, какое мы испытываем лишь к людям, далеким от совер-

шенства и, следовательно, не заслуживающим нашей ненависти. Адам отчасти пользовался этим обстоятельством. И продолжал искушать Карла.

— Карл, а тебе не приходило в голову, что при таких деньгах мы можем позволить себе все, что хотим?

— Ну и что же мы хотим?

— Мы можем съездить в Европу, погулять по Парижу.

— Что это?

— Что?

— Вроде кто-то на крыльце шебуршится.

— Кошки, наверно.

— Да, похоже. Они у меня дождутся, скоро открою на них охоту.

— А еще, Карл, мы можем поехать в Египет, поглядеть на Сфинкса.

— А еще можем никуда не ездить, жить, где живем, и тратить деньги с пользой. И заодно можем не трепать сейчас языком, а идти наконец работать, чтобы день зря не пропал. Ох, эти кошки, будь они неладны! — Карл подскочил к двери и распахнул ее настежь. — Брысь!

Увидев, что брат замер и молча глядит на крыльцо, Адам подошел и встал рядом с Карлом.

Бесформенное грязное существо в рваных, вымазанных глиной тряпках, извиваясь, пыталось вползти в дом. Тонкая голая рука неуверенно цеплялась за ступеньки. Другая рука беспомощно висела. Лицо — корка запекшейся крови, губы разбиты, глаза еле видны из-под распухших почерневших век. Лоб был рассечен открытой раной, черная кровь струйками затекала под спутанные волосы.

Адам сбежал с крыльца и, опустившись на колени, склонился над девушкой.

— Помоги-ка, — сказал он. — Скорее, давай внесем ее в дом. Подымай... осторожно, за эту руку не бери. Кажется, сломана.

Когда они внесли ее в кухню, она потеряла сознание.

— Уложи ее в мою постель! — распорядился Адам. — И поезжай за доктором.

— А может, запрежем телегу и отвезем ее?

— Отвезем? Ее нельзя никуда везти. Ты что, сумасшедший?

— Не знаю, кто из нас больше сумасшедший. Лучше бы сначала головой подумал.

— Да чего тут еще думать, господи?

— Двое мужчин... живут одни... и вдруг у них в доме такое.

Адам оторопел.

— Ты это серьезно?

— Вполне серьезно. По-моему, лучше ее отсюда увезти. Через два часа разговоры пойдут по всему округу. Ты разве знаешь, кто она? И как сюда попала? И что с ней случилось? Слишком большой риск, Адам.

— Если ты сейчас же не поедешь за доктором, я поеду сам, а ты останешься дома,— холодно сказал Адам.

— По-моему, ты делаешь глупость. Я, конечно, поеду, но предупреждаю, мы еще страдаем.

— Страдания я беру на себя,— сказал Адам.— А ты поезжай.

Когда Карл уехал, Адам взял на кухне чайник и перелил горячую воду в таз. Потом отнес таз в спальню, намочил носовой платок и стал обмывать девушке лицо. Она пришла в сознание, и голубые глаза¹, блеснув, взглянули на Адама. Он мысленно перенесся в прошлое: да, та же комната, та же кровать. Мачеха держала в руке мокрую тряпочку, и он чувствовал, как боль жалит его скользкими укусами, когда вода просачивается под запекшуюся на лице корку. А мачеха все время что-то повторяла. Он явственно слышал ее голос, но не мог вспомнить, что же она такое говорила.

— Все будет хорошо,— сказал он девушке.— Мы послали за доктором. Он сейчас приедет.

Ее губы слабо шевельнулись.

— Не надо разговаривать. Лежи спокойно.— Он осторожно протирал ей лицо платком и чувствовал, как в душе его поднимается теплая волна нежности.— Ты сможешь здесь остаться. Оставайся, сколько захочешь. Я буду за тобой ухаживать.— Он выжал платок, промокнул им сбившиеся волосы и откинул их назад с рассеченного лба.

Он слышал свой голос будто со стороны, будто говорил кто-то другой.

— Вот так... не больно? Глазоньки, бедные... ничего, я компресс поставлю. Все будет хорошо. А на лбу-то какая рана... Боюсь, шрам останется. Можешь сказать, как тебя

¹ Так у автора.— *Ред.*

зовут? Нет, не надо, не старайся говорить. Времени у нас много. Успеется. Слышишь, колеса скрипят? Доктор приехал. Быстро, правда? — Он подошел к двери и крикнул: — Сюда, доктор. Она здесь.

2

Покалечена она была сильно. Если бы в те времена существовал рентген, доктор, вероятно, нашел бы у нее еще больше повреждений. Но и без рентгена он обнаружил их достаточно. Левая рука и три ребра были сломаны, в нижней челюсти трещина. В черепе тоже была трещина, во рту с левой стороны выбито несколько зубов. Кожа на голове была в разрывах и ссадинах, а лоб рассечен до кости. Вот все, что доктор смог установить с точностью. Он наложил на руку лубок, туго забинтовал ребра и зашил раны на голове. Нагрел над спиртовкой стеклянную трубочку, согнул ее с помощью пинцета под углом и вставил в щель, оставшуюся на месте выбитого зуба, чтобы девушка могла пить и глотать жидкую пищу. Потом вколол большой дозу морфия, оставил на тумбочке пузырек пилюль с опиумом и надел сюртук. Когда он выходил из комнаты, девушка уже спала.

Пройдя в кухню, доктор сел за стол, и Карл поставил перед ним чашку горячего кофе.

— Так все же, что с ней случилось? — отхлебнув кофе, спросил доктор.

— А мы почему знаем? — враждебно сказал Карл. — Мы ее нашли на крыльце. Хотите, можете сходить на дорогу и посмотреть — там следы остались, где она ползла.

— Кто она такая, знаешь?

— Нет, конечно.

— Ты бываешь в салуне, наверху... Она не из тех?

— Я там давно не был. Да и сейчас все равно бы ее не узнал.

Доктор повернулся к Адаму:

— Ты ее раньше не видел?

Адам медленно покачал головой.

— Слушайте, а чего это вы вынюхиваете? — грубо спросил Карл.

— Раз тебе так интересно, могу сказать. Если ты думаешь, что по ней борона проехала, то ошибаешься, хотя на вид похоже. Ее кто-то изувечил, кто-то, кому она очень не нравилась. Если хочешь знать правду, ее пытались убить.

— А почему вы у нее самой не спросите?

— Она еще долго не сможет говорить. Кроме того, у нее трещина в черепе, и один Господь знает, чем это для нее кончится. А расспрашиваю я потому, что хочу понять, нужно ли сообщать шерифу.

— Нет! — Адам заявил это так решительно, что и доктор, и Карл уставились на него с удивлением. — Оставьте ее в покое. Пусть отлежится. Дайте ей прийти в себя.

— А кто будет за ней ухаживать?

— Я.

— погоди, не спеши... — начал Карл.

— Тебя это не касается!

— Но я здесь такой же хозяин, как ты.

— Хочешь, чтобы я отсюда ушел?

— Я же не про то.

— Так вот, если ты ее выставишь, я тоже уйду.

— Успокойся, — сказал доктор. — С чего ты вдруг так разволновался?

— Я бы и покалеченную собаку на улицу не выбросил.

— Да, но и не стал бы так беситься. Ты что-то скрываешь? Ты этой ночью ходил куда-нибудь? Твоих рук дело?

— Он всю ночь был здесь, — сказал Карл. — Храпел как паровоз.

— Чего вы к ней привязались? — спросил Адам. — Дайте ей спокойно поправиться.

Доктор встал и потер руки.

— Адам, твой отец был моим старинным другом, — сказал он. — Я знаю тебя и всю вашу семью. Ты ведь не дурак. Не понимаю, почему ты отмахиваешься от очевидных фактов. Ты же не ребенок, чтобы все тебе объяснять. На эту девушку напали. Мне кажется, кто-то хотел ее убить. Если я не скажу об этом шерифу, я нарушу закон. Да, признаюсь, иногда я нарушаю законы, но не те, что касаются убийства.

— Хорошо, сообщите ему. Но пока она не поправится, не разрешайте ее беспокоить.

— Не бойся, это не в моих правилах. Так ты действительно хочешь оставить ее здесь?

— Да.

— Дело хозяйское. Завтра я к вам загляну. Она будет

много спать. Если захочет, дашь ей через трубочку воды и теплого супа.— Доктор с достоинством вышел из дома.

Карл накинулся на брата:

— Адам, Бога ради, что это значит?

— Не приставай ко мне!

— Что на тебя нашло?

— Не приставай, я сказал! Оставь меня в покое.

— Тьфу ты! — Карл плюнул на пол и сердито, с тяжелым сердцем ушел работать в поле.

Адам был рад, что остался один. Он принялся убирать на кухне, вымыл посуду, подмел пол. Наведя в кухне порядок, он вошел в спальню и подвинул стул к кровати. Морфий погрузил девушку в глубокий сон, она тяжело сопела. Лицо ее уже разглаживалось, только веки оставались по-прежнему распухшими и черными от кровоподтеков. Адам глядел на нее, замерев. Неподвижно закрепленная лубком, левая рука покоилась на животе под одеялом, а правая лежала сверху, и приоткрытая кисть напоминала гнездышко. Рука была по-детски маленькая, совсем как у ребенка. Адам прикоснулся к ее запястью, и пальцы девушки слабо дрогнули в ответ. Рука у нее была теплая. С опаской, словно боясь, что кто-нибудь увидит, Адам разжал ее ладошку и погладил пухлые кончики пальцев. Пальцы у нее были мягкие и розовые, а с тыльной стороны руки кожа словно светилась изнутри, как жемчуг. Адам хмыкнул от восторга. Дыхание ее прервалось, и он мгновенно насторожился, но вот в горле у нее что-то булькнуло, и она снова мерно засопела. Адам заботливо уложил ее руку под одеяло и на цыпочках вышел из комнаты.

Пережитое потрясение и опийные пилюли несколько дней обволакивали сознание Кэти густым туманом. Тело ее было словно налито свинцом, и от боли она лежала почти не шевелясь. Постепенно туман в голове и перед глазами рассеялся. К ней заходили двое молодых мужчин: один появлялся лишь изредка, а второй очень часто. Еще один мужчина, как она догадалась, был доктор, но больше всех ее интересовал некто другой, худой и высокий, интерес к нему был рожден страхом. Возможно, сквозь тяжелый опийный сон она уловила что-то такое, что отложилось в ее мозгу.

Медленно, очень медленно память воскрешала и выстраивала по порядку недавние события. Кэти видела перед

собой мистера Эдвардса, видела, как его лицо теряет спокойное самодовольное выражение и превращается в лицо убийцы. Так напугана она была впервые в жизни, зато отныне страх перестал быть для нее загадкой. И в поисках спасения ее мысли сторожко замирали, как приноживающиеся крысы. Мистер Эдвардс знал про пожар. Может быть, знал не только он? А как он узнал? Когда она об этом думала, ее охватывал слепой тошнотворный ужас.

По обрывкам доносившегося разговора она поняла, что тот высокий, худой — шериф, и он хочет ее допросить, а молодой, которого зовут Адам, старается уберечь ее от допроса. Может быть, шерифу известно про пожар?

Голоса за дверью звучали громко, и то, что она услышала, подсказало ей, как действовать.

Шериф говорил:

— Должно же у нее быть имя. И кто-нибудь наверняка ее знает.

— Но как она будет отвечать на вопросы? У нее сломана челюсть, — возразил голос Адама.

— Если она не левша, то сможет написать ответы. Послушай, Адам, если кто-то хотел ее убить, я, пока не поздно, должен поймать этого человека. Дай-ка лучше карандаш, я пойду, поговорю с ней.

— Вы же слышали, доктор сказал, что у нее трещина черепа. Почему вы так уверены, что она все помнит?

— Ладно, давай бумагу и карандаш, а там посмотрим.

— Я не хочу, чтобы вы ее беспокоили.

— Мне плевать на то, что ты хочешь! Дай бумагу и карандаш, сколько можно повторять?

Потом раздался голос второго молодого мужчины:

— Да что с тобой? Ведешь себя так, будто это ты ее изувечил. Дай же ему карандаш.

Когда все трое тихо вошли к ней, она лежала с закрытыми глазами.

— Спит, — шепотом сказал Адам.

Она открыла глаза и посмотрела на мужчин.

Высокий подсел к кровати.

— Простите, что я вас беспокою, мисс. Я — шериф. Знаю, вам нельзя разговаривать, но, может быть, вы сумеете написать вот здесь несколько слов?

Она попробовала кивнуть, и лицо ее исказилось от боли. Тогда она заморгала, показывая, что согласна.

— Вот и умница,— сказал шериф.— Видите? Она сама хочет.— Он положил блокнот поближе к ней на край кровати и вставил ей в руку карандаш.— Ну, все готово. Итак, как вас зовут?

Трое мужчин следили за ее лицом. Губы ее сжались, она сощурилась. Потом закрыла глаза, и карандаш пополз по бумаге. «Не знаю»,—коряво вывела она большими буквами.

— Сейчас я подложу чистый листок... Что вы помните?

«Черная пустота. Не помню ничего»,— написал карандаш и соскользнул с блокнота.

— Неужели даже не помните, кто вы и откуда? Подумайте.

Казалось, она сделала над собой огромное усилие, но потом отказалась от борьбы, и лицо ее трагически застыло. «Нет. Все смешалось. Помогите мне».

— Бедняжка,— сказал шериф.— Но спасибо, что хоть попытались. Когда вам станет лучше, попробуем еще раз. Нет, больше ничего писать не надо.

Карандаш нацарапал: «Спасибо» — и выпал из разжавшихся пальцев.

Шерифа она склонила на свою сторону. Теперь он был заодно с Адамом. Только Карл по-прежнему был против нее. Когда в комнату заходили оба брата — чтобы подложить судно, не причиняя ей боли, надо было поднимать ее вдвоем,— она внимательно изучала этого угрюмого молчаливого мужчину. В чертах его лица было что-то знакомое, что-то ее смущавшее. Она заметила, что он часто трогает шрам на лбу, трет его, водит по нему пальцами. Однажды он перехватил ее взгляд. Тотчас отняв руку ото лба, Карл виновато посмотрел себе на пальцы. Потом злобно сказал:

— Не волнуйся. У тебя будет такой же, а может, и еще лучше.

Она улыбнулась ему, и он отвернулся. Когда Адам вошел в комнату, чтобы покормить ее супом, Карл сказал:

— Пойду в город. Пива хочется.

3

Адам не помнил, чтобы когда-нибудь был так счастлив. Его не беспокоило, что он не знает ни ее имени, ни фамилии. Она сказала, чтобы он называл ее Кэти, и ему этого было достаточно. Он стряпал для Кэти, листая тетрадку с рецептами, которыми пользовалась еще его мать, а потом мачеха.

Кэти была живуча на удивление. Поправлялась она очень быстро. С лица сошла болезненная припухлость, и возвращавшееся здоровье придавало ее чертам свежесть и очарование. Довольно скоро она уже могла с помощью Адама садиться в постели. Рот она открывала и закрывала крайне осторожно и постепенно начала есть мягкую пищу, которую не требовалось долго жевать. Лоб у нее все еще был забинтован, других заметных следов на лице не осталось, разве что слегка запала щека в том месте, где были выбиты зубы.

Мысли Кэти метались в поисках выхода из настигшей ее беды. Хотя речь уже не вызывала у нее особых затруднений, говорила она мало.

Однажды среди дня она услышала, что по кухне кто-то ходит.

— Адам... ты? — громко спросила она.

— Нет, — ответил голос Карла. — Это я.

— Будь добр, зайди на минутку.

Он открыл дверь и встал на пороге. Взгляд у него был мрачный.

— Ты редко ко мне заходишь, — сказала она.

— Правильно.

— Я тебе не нравлюсь.

— Что ж, тоже правильно.

— Может быть, объяснишь, почему?

Ответ дался ему с трудом.

— Я тебе не верю.

— Почему?

— Сам не знаю. Я не верю, что ты потеряла память.

— Но зачем мне кого-то обманывать?

— Не знаю. Оттого и не верю. В тебе есть что-то такое... что-то знакомое.

— Ты ведь никогда меня прежде не видел.

— Может, и не видел. Но все равно что-то меня тревожит... и я должен понять, что. А откуда ты знаешь, что я тебя прежде не видел?

Она молчала, и он собрался уйти.

— Постой, — сказала она. — И что же ты решил?

— Насчет чего?

— Насчет меня.

Он посмотрел на нее с неожиданным интересом.

— Хочешь знать правду?

— Зачем бы я иначе спрашивала?

— А мало ли зачем. Но я скажу. При первой возможности я тебя отсюда выгоню. Мой брат совсем сдурел, но я его вразумлю, а надо будет, и поколочу.

— Так уж и поколотишь? Он ведь сильный.

— Ничего, справлюсь.

Она пристально поглядела на него.

— Где сейчас Адам?

— В город поехал, тебе за лекарствами — мало он их накупил, дряни разной!

— Ты скверный человек.

— Хочешь знать, что я думаю? Ты с этим твоим смазливym личиком не то что не лучше, а еще и в десять раз хуже меня. Ты — сам дьявол, вот что я думаю.

Она тихо рассмеялась.

— Значит, мы с тобой два сапога пара. Карл, сколько мне осталось?

— До чего?

— До того, как ты меня выгонишь. Скажи честно.

— Пожалуйста, могу сказать. Неделя, может быть, дней десять. Как только начнешь ходить, так сразу и выставляю.

— А если я не уйду?

Он поглядел на нее с хитрецей, будто предвкушал поединок.

— Так и быть, скажу. Когда ты наглоталась всех этих пилюль, ты много болтала, вроде как во сне.

— Неправда.

Он засмеялся, потому что увидел, как, спохватившись, она быстро сжала губы.

— Не хочешь — не верь. Если выкатишься быстро и без шума, буду молчать. Ну, а если нет, пеняй на себя, да и шерифу я кое-что расскажу.

— Я не верю, что говорила что-то плохое. Что я такого могла сказать?

— Спорить я не собираюсь. Да и некогда, у меня полно работы. Ты меня спросила — я тебе ответил.

Он вышел из дома. Зайдя за курятник, согнулся пополам от смеха и хлопнул себя по ляжке. «Я-то думал; она умнее», — повторял он про себя. И впервые за много дней на душе у него полегчало.

Карл основательно напугал ее. Он учуял в ней что-то знакомое, но точно так же и она признала в нем родственную душу. Впервые она столкнулась с человеком, который действовал ее же методами. Ход его мыслей был ей ясен, но это нисколько не успокаивало. Она понимала, что с ним ее уловки не пройдут, а ей сейчас были необходимы покой и надежная поддержка. Она осталась без денег. И должна была найти какое-то прибежище, причем, судя по всему, надолго. Она устала, она была больна, но продолжала перебирать в уме вариант за вариантом.

Адам вернулся из города со склянкой микстуры. Он налил ей столовую ложку.

— На вкус гадость,— предупредил он,— но лекарство отменное.

Она проглотила микстуру без возражений и лишь слегка поморщилась.

— Ты ко мне очень внимателен,— сказала она.— Не понимаю даже, почему? Со мной тебе одни хлопоты.

— Напротив. С тобой в доме будто светлей стало. Тебе вон как тяжело, а ты не жалуешься, не хнычешь.

— Ты такой хороший, такой добрый.

— Хотелось бы верить.

— А тебе очень нужно сейчас идти? Не можешь остаться со мной и поговорить?

— Могу, конечно. Никаких особо важных дел у меня нет.

— Придвинь стул поближе и садись.

Когда он сел, она протянула к нему правую руку, и он спрятал ее пальцы в своих ладонях.

— Ты такой хороший и добрый,— повторила она.— Адам, ты ведь всегда держишь слово, правда?

— Стараюсь. Почему ты спросила?

— Я совсем одна, и мне страшно,— она всхлипнула.— Я боюсь.

— Могу я тебе чем-то помочь?

— Нет, мне уже, наверно, никто не поможет.

— Расскажи, а там посмотрим.

— В том-то и беда. Я даже рассказать об этом не могу.

— Но почему? Если это секрет, я никому не скажу,

— Это секрет, но не мой. Неужели ты не понимаешь?

— Нет.

Она крепко сжала его руку.

— Адам, я память не теряла, я все помню.

— Зачем же ты сказала, что...

— Именно это я и пытаюсь тебе объяснить. Адам, ты любил своего отца?

— Пожалуй, больше почитал, чем любил.

— Если бы человек, которого ты почитаешь, попал в беду, разве ты не пошел бы на что угодно, только бы спасти его от гибели?

— Да, конечно. Как же иначе!

— Вот и я такая же.

— Но как случилось, что на тебя напали?

— Одно связано с другим. Поэтому я и не могу рассказать.

— Тебя избил твой отец?

— Нет, что ты. Но все это связано между собой.

— Другими словами, если ты скажешь, кто на тебя напал, твоему отцу не поздоровится?

Она вздохнула. Дальше пусть домысливает сам.

— Адам, ты сможешь верить мне и ни о чем не спрашивать?

— Конечно.

— Ужасно, что я тебя об этом прошу.

— Ничего ужасного — ведь ты хочешь спасти своего отца.

— Пойми, открыть этот секрет я не вправе. Иначе я бы тебе уже давно рассказала.

— Да, конечно, понимаю. Я бы поступил точно так же.

— Ах, Адам, ты все понимаешь. — Глаза ее наполнились слезами. Он нагнулся к ней, и она поцеловала его в щеку.

— Не волнуйся, — сказал он. — Я уберегу тебя от беды.

Она откинулась на подушку.

— Нет, вряд ли ты сможешь.

— На что ты намекаешь?

— Видишь ли, твой брат меня невзлюбил. Он хочет, чтобы я скорее ушла из вашего дома.

— Это он сам тебе сказал?

— Нет, нет. Просто я чувствую. Он не такой, как ты, он не понимает.

— Он человек неплохой.

— Я знаю, но ему недостает твоей доброты. И когда мне придется уйти... шериф обязательно станет меня расспрашивать, а я буду одна-одинешенька.

Адам неподвижно смотрел перед собой.

— Брат не заставит тебя уйти. Половина этой фермы моя. И свои деньги у меня тоже есть.

— Если он захочет, чтобы я ушла, я уйду. Я не могу портить тебе жизнь.

Адам встал и вышел из комнаты. Пройдя в кухню, он открыл дверь во двор и окунулся в день. Вдали, в конце поля, брат снимал с тележки булыжники и укладывал их на каменную стену. Адам посмотрел на небо. С востока, колыхаясь, ползло одеяло серебристых облаков. Он глубоко вздохнул, и в груди защеботало от будоражащего предчувствия. У него вдруг словно вынули из ушей вату: он ясно слышал, как кудахчут куры и гудит над землей восточный ветер. Слышал доносившееся с дороги шлепанье копыт, слышал, как вдали стучит молотком сосед, настилая дранку на крышу сарая. Сливаясь, эти звуки преображались в музыку. И видел он сейчас тоже необыкновенно ясно. Заборы, стены, сараи грузно проступали сквозь желтизну послеполуденного воздуха, но и они преобразились. Все вокруг стало другим. Стайка воробьев сыпалась в пыль, закопошилась там в поисках крошек, а потом взлетела вверх, будто серый змеящийся шарф. Адам снова перевел взгляд на брата. Он потерял ощущение времени и не знал, сколько уже так стоит.

Время, оказывается, не сдвинулось с места. Карл еще возился все с тем же большим камнем. А сам Адам еще даже не успел выдохнуть тот глубокий вдох, который он задержал в груди, когда время остановилось.

Внезапно он понял, что радость и грусть — части единого целого. Храбрость и страх — тоже неразрывны. Он поймал себя на том, что мурлычет какую-то незамысловатую мелодию. Повернувшись, прошел через кухню, остановился на пороге спальни и поглядел на Кэти. Она слабо улыбнулась. «Да ведь она ребенок, — подумал он. — Беззащитное дитя!» — И его переполнила любовь.

— Пойдешь за меня замуж?

Лицо ее напряженно застыло, пальцы судорожно сжались.

— Я не прошу ответа сию минуту, — сказал он. — Про-

сто хочу, чтобы ты подумала. Но если согласишься, я сумею тебя защитить. И никто тебя больше не обидит.

Кэти мгновенно пришла в себя.

— Подойди ко мне, Адам. Сядь, пожалуйста. И дай руку. Вот так, хорошо.— Она взяла его руку и прижала к своей щеке.— Милый ты мой,— сказала она прерывающимся голосом.— Радость моя. Ах, ты веришь мне! Обещай, что выполнишь одну мою просьбу. Обещай, что ничего не скажешь брату.

— О чем? О том, что я сделал тебе предложение? Но что тут скрывать?

— Не в том дело. Я должна подумать, хотя бы до утра. А может, и несколько дней. Ты позволишь мне не спешить с ответом? — Она поднесла руку ко лбу.— Понимаешь, мне трудно сосредоточиться. А я хочу, чтобы была полная ясность.

— Но как тебе кажется... ты могла бы за меня пойти?

— Адам, милый, не торопи меня. Дай мне в себе разобраться. Умоляю тебя, дорогой.

Он с усилием улыбнулся.

— Только не очень тяни. А то, знаешь, как с кошками бывает: забсрут на дерево, на самый верх, а вниз уже не слезть — со мной сейчас примерно то же самое.

— Просто дай мне подумать. И... ты очень хороший, Адам.

Он вышел из дома и зашагал в конец поля, туда, где брат ворочал камни.

Когда он ушел, Кэти встала с кровати и, пошатываясь, добрела до комода. Нагнувшись к зеркалу, она вгляделась в свое отражение. Лоб у нее был все еще забинтован. Она чуть приподняла повязку и увидела край воспаленного багрового рубца. Она уже знала, что выйдет замуж за Адама; она решила это еще до того, как он сделал ей предложение. Она жила в страхе. Ей были нужны деньги и поддержка. Адам даст ей и то и другое. И она сумеет прибрать его к рукам, в этом она не сомневалась. Выходить замуж она не хотела, но замужество на время обеспечит ей безопасность. Настораживало только одно. Адам относился к ней с теплотой, которая была ей непонятна, потому что сама она не чувствовала к нему ничего, как, впрочем, и ко всем остальным, с кем сводила ее жизнь. А мистер Эдвардс по-настоящему поверг ее в ужас. По-

тому что то был единственный раз, когда она утратила власть над происходящим. И она твердо дала себе слово, что такое с ней не повторится никогда. Представив, что будет говорить Карл, она мысленно усмехнулась. Их с Карлом роднило многое, она это чувствовала. Пусть себе подозревает, что хочет, — ей все равно.

5

Когда Адам подошел ближе, Карл разогнулся и потер поясницу, разгоняя боль в уставшей спине.

— Черт, сколько же тут камней! — сказал он.

— В армии один парень мне рассказывал, что в Калифорнии есть такие долины — на сотни миль тянутся, — где не то что валуна, даже маленького камешка не найдешь.

— Не камни, так что-нибудь другое, — сказал Карл. — Не бывает, чтобы все как по маслу. На Среднем Западе — саранча, еще где-то — ураганы. А тут десяток камней, эка важность.

— Наверно, ты прав. Я подумал, может, тебе пособить надо, вот и пришел.

— Спасибо. Я уж решил, ты так и будешь всю жизнь сидеть с этой кралей, за ручки держаться. Долго еще она собирается у нас гостить?

Адам уже готов был признаться, что сделал Кэти предложение, но что-то в голосе Карла остановило его.

— Да, кстати, — сказал Карл. — Тут недавно проходил Алекс Платт. С ним такая история вышла, не поверишь. Он нашел целое состояние.

— Как это?

— Знаешь то место на его участке, где кедровая роща? Возле самой дороги, знаешь?

— Знаю. Ну и что?

— Алекс как раз шел через эту рощу вдоль своего забора. На кроликов охотился. И нашел чемодан — мужские вещи, все очень аккуратно сложено. Правда, от дождя они насквозь промокли. Видно, давно там валялись. А еще нашел деревянную шкатулку, она была на замок заперта. Он ее взломал, а в ней без малого четыре тысячи долларов. И еще нашел сумочку. Но пустую.

— И что, нигде никакой фамилии?

— Это-то и самое странное. Ни одной метки — ни на белье, ни на костюмах. Похоже, тот человек не хотел, чтобы его выследили.

— Алекс решил оставить деньги себе?

— Он их отнес шерифу, тот даст объявление, и, если никто не откликнется, все достанется Алексу.

— Владелец наверняка отыщется.

— Я тоже так думаю. Алексу я, правда, не сказал. Он на седьмом небе от счастья. Но странно, что никаких меток — и не то чтобы срезаны, а даже нашиты не были.

— Это очень большие деньги, — сказал Адам. — Кто-нибудь обязательно за ними придет.

— Алекс тут долго со мной калякал. Ты ведь знаешь, его жена любит по гостям ходить... — Карл замолчал. — Адам, — наконец сказал он, — мы должны поговорить. И так уже весь округ судачит.

— О чем? Ты про что?

— Да все про то же, черт побери! Про нее. Нехорошо это, когда в доме у двух холостых мужчин девушка поселилась. Алекс говорит, женщины в городе уже чешут языками почем зря. Адам, нам так нельзя. Мы все-таки здесь живем. Негоже нам себя позорить.

— Ты что же, хочешь, чтобы я больного человека на улицу выгнал?

— Я хочу, чтобы ты от нее отделался... хочу, чтобы ее не было в нашем доме. Не нравится мне она.

— Ты ее с первого дня невлюбил.

— Да, правильно. Я ей не верю. В ней есть что-то такое... что-то... даже не знаю, что именно, но мне это не нравится.

— Сделаем так, — медленно сказал Адам. — Потерпи еще неделю, а через неделю я решу, как с ней быть.

— Обещаешь?

— Да, обещаю.

— Что ж, хотя бы так. Я через Алекса передам его жене, а уж она разнесет по всему городу. Господи, до чего же хорошо будет, когда мы снова останемся вдвоем! А память к ней небось так и не вернулась?

— Нет.

Пять дней спустя, когда Карл уехал закупать корм для телят, Адам подогнал бричку к крыльцу кухни. Он помог Кэти усесться, укутал ей ноги одеялом и еще одно одеяло набросил ей на плечи. Приехав в окружной центр, они пошли к мировому судье, и тот их поженил.

Карл к их возвращению был уже дома. Когда они вошли в кухню, взгляд его помрачнел.

— Я думал, ты отвез ее на станцию и посадил в поезд.

— Мы поженились,— просто сказал Адам.

— Поженились?!

— А почему бы нет? Я что, не могу жениться?

Кэти быстро прошла в спальню и закрыла за собой дверь.

А Карл уже бушевал:

— Она же дрянь, говорю тебе! Она — шлюха!

— Карл!

— Я тебе говорю, она дешевая шлюха! Да я бы ее на милую к себе не подпустил... сука она, тварь последняя!

— Замолчи! Замолчи сейчас же, слышишь? Не смей распускать свой поганый язык, она — моя жена!

— Жена?! Кошка она подзаборная, а не жена!

— Сдается мне, ты ревнуешь, Карл,— тихо сказал Адам.— Ты, по-моему, и сам бы не прочь на ней жениться.

— Ну ты и дурак! Чтоб я еще ревновал?! Да я с ней под одной крышей жить не желаю!

— Тебе и не придется,— размеренно сказал Адам.— Я уезжаю. Если хочешь, можешь откупить мою долю. Забирай себе всю ферму. Ты же этого хотел. Вот и живи здесь, в своем дерьме, пока не сдохнешь!

Карл понизил голос:

— Но почему ты не можешь от нее избавиться? Адам, прошу тебя! Выгони ее к чертовой матери! Она же тебе всю жизнь искурочит! Она погубит тебя, Адам, погубит, помяни мое слово!

— Откуда ты про нее столько знаешь?

У Карла потухли глаза.

— Ниоткуда.— И он замолчал.

Адам не спрашивал, выйдет ли Кэти ужинать. Отнес две тарелки в спальню и сел рядом с ней на кровать.

— Мы с тобой уедем отсюда,— сказал он.

— Давай лучше я одна уеду. Отпусти меня, я тебя прошу. Я не хочу, чтобы ты из-за меня возненавидел брата. Но почему он меня так не любит?

— Мне кажется, он ревнует.

Глаза ее сузились.

— Ревнует?

— Да, так мне кажется. Но ты не волнуйся. Мы уезжаем. Поедем в Калифорнию.

— Я не хочу в Калифорнию,— бесстрастно сказала она.

— Чепуха! Там чудесно, круглый год солнце и очень красиво.

— В Калифорнию я не поеду.

— Ты — моя жена,— сказал он мягко.— И я хочу, чтобы ты поехала со мной.

Она замолчала и больше к этому разговору не возвращалась.

Они услышали, как Карл хлопнул дверью.

— Это хорошо, что он в город пошел,— сказал Адам.— Пропустит пару стаканов, ему и полегчает.

— Адам,— Кэти потупила глаза,— пока я не поправлюсь, я не смогу быть тебе женой.

— Понимаю,— кивнул он.— Ничего, я подожду.

— Но я хочу, чтобы ты был рядом. Я боюсь Карла. Он так меня ненавидит.

— Я перенесу сюда мою раскладушку. Если тебе вдруг станет страшно, ты мне скажешь. Протянешь руку и разбудишь.

— До чего же ты хороший... Может, сделаешь чаю?

— С удовольствием. Я и сам с тобой попью.

Он принес из кухни две чашки с дымящимся чаем и пошел за сахарницей. Потом сел на стул возле кровати.

— Я заварил покрепче. Тебе не слишком крепко?

— Нет, я люблю крепкий чай.

Он допил свою чашку.

— Какой-то странный вкус. Тебе не показалось?

Кэти растерянно прижала руку ко рту:

— Ой, дай-ка я попробую.— И выпила остатки чая из

его чашки.— Адам! — воскликнула она.— Ты взял не ту чашку — это же моя! Я положила в нее лекарство.

Он облизал губы.

— Наверно, ничего страшного.

— Нет, конечно.— Она тихо засмеялась.— Хорошо бы, не пришлось тебя сегодня будить.

— А что?

— Просто ты выпил мое снотворное. Думаю, тебе не так-то легко будет проснуться.

Опиум уже начал действовать, и, как Адам ни боролся с собой, веки его тяжелели.

— Доктор велел принимать сразу так много? — спросил он заплетающимся языком.

— Это у тебя просто с непривычки.

Карл вернулся в одиннадцать часов. Кэти слышала, как, пьяно пошатываясь, он поднимается на крыльцо. Пройдя в свою комнату, он разделся, побросал вещи на пол и плюхнулся на кровать. Устраиваясь поудобнее, он долго кряхтел и ворочался, потом вдруг открыл глаза. Возле кровати стояла Кэти.

— Чего тебе?

— Не догадываешься? Ну-ка подвинься.

— А где Адам?

— Он по ошибке выпил мое снотворное. Подвинься же. Он засопел.

— Я сегодня уже был с одной шлюхой.

— Ничего, ты парень сильный. Подвинься чуть-чуть.

— У тебя же рука сломана.

— Это уж моя забота. Не беспокойся.

Неожиданно Карл расхохотался.

— Ну и не повезло же ему, бедняге! — И откинув одеяло, Карл пустил ее к себе в постель.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Как видите, мы с вами страница за страницей добрались потихоньку до великого рубежа, именуемого 1900 год. Жернова истории перемололи и стерли в порошок очередную сотню лет, но поди пойми, каким он был, этот минувший век, если каждый видел в нем то, что ему хотелось, и чем глубже заглядывали люди в прошлое, тем содержательнее и значительнее казались им ушедшие годы. По воспоминаниям многих, то была эпоха, краше которой мир не знал: ах, чудесное, веселое время, ах, старое доброе время, как легко и спокойно тогда жилось! Старики, не уверенные, достанет ли им сил перешагнуть через межу веков, взирали на будущее с неприязнью. Потому что мир менялся, из него ушло очарование, ушла добродетель. В разъедаемый ржавчиной мир заползала тревога, ну и, конечно, что пропало, то пропало. Где нынче хорошие манеры, где непринужденность и красота? Благородные дамы — нет больше благородных дам, и кто теперь положится на слово джентльмена?

Ну и времечко, все, как один, с застегнутой ширинкой ходят. И никакой свободы скоро не останется. Даже у детей теперь не та жизнь — что в их детстве приятного? Раньше у ребенка всех забот было найти камешек получше, такой, знаете ли, не совсем круглый, но обязательно гладкий и плоский, чтобы легко вкладывался в лоскуток кожи, отрезанный от старого башмака, и летел из рогатки прямо в цель. Куда подевались все хорошие камешки, куда подевалась бесхитростная простота?

И в голове у людей нет прежней ясности — как иначе объяснишь, почему не вспомнить ощущения, которые ты некогда испытывал, радуясь или страдая, или задыхаясь от страсти? Помнишь только, что действительно чего-то

там ощущал. Нет, конечно, пожилые мужчины смутно припоминают, как они с медицинской деликатностью щупали девочек, но пожилые мужчины забыли — да и не хотят вспоминать — то неукротимое, пронзительное и жгучее, из-за чего, потеряв покой, мальчишка в отчаянии зарывается лицом в зеленые побеги овса, молотит кулаками по земле, всхлипывает и скулит: «Господи! Господи!» Увидев такую картину, пожилой человек вполне может сказать (а часто и говорит): «Какого дьявола этот сопляк валяется в траве? Он же простудится».

Увы, клубника раньше была слаще, и женщины уже не обнимают так, что не вырвешься!

И, придя к этому выводу, многие опускались на смертный одр с облегчением, как наседка на яйца.

Миллионы историков с трудолюбием пчел лепили соты истории. Отбросим прочь этот искореженный век, говорили некоторые, мы обязаны выбраться из этой страшной эпохи надувательства, мятежей и таинственных смертей, из эпохи драк за общественные земли, когда их, черт возьми, успешно выцарапывали, не гнушаясь никакими средствами!

Оглянитесь назад, вспомните, как наш юный народ бороздил океаны, увязая в сложностях, которые были ему еще не по зубам. А едва мы окрепли, на нас опять напали англичане. Да, мы их разбили, но много ли дала нам эта победа? Сгоревший Белый дом и пенсии из государственного бюджета для десяти тысяч вдов.

А потом мы отправились воевать в Мексику — этаким пренеприятнейшим пикничком. Кто объяснит, зачем тащиться на пикник и терпеть неудобства, когда можно без хлопот и с удовольствием поесть дома? И все же польза от Мексиканской войны была. Во-первых, мы отхватили на Западе огромный кусок земель и, прямо скажем, почти удвоили свою территорию, а во-вторых, генералы набрались там опыта, так что, когда страну окутал мрак братоубийственной резни, наши предводители, уже владея необходимыми навыками, сумели придать этому кошмару должный размах.

Ну а потом разгорелись споры:

... Имеет ли человек право владеть рабами?

... Если вы приобретаете их законным путем, то почему бы нет?

Так, знаете, скоро начнут говорить, что, мол, и лошадей купить нельзя. Кто это тут позарился на мое?

И вот, пожалуйста: как человек, сам расцарапавший себе лицо, мы залились кровью.

Но ничего, пережили и это; враскорячку поднялись с окровавленной земли и двинулись осваивать Запад.

Экономический бум, за ним — спад, крах, депрессия.

И тогда же великие мошенники с громкими именами принялись обчищать карманы всех, у кого еще было что туда положить.

Пошел он к черту, этот прогнивший век! Выгнать в шею и захлопнуть дверь! С ним нужно, как с книгой — перевернули страницу, читаем дальше! Новая глава — новая жизнь. Вывалим эту тухлятину в мусорное ведро, закроем крышку поплотнее, и у нас снова будут чистые руки. Дашь время честное и светлое! Следующие сто лет — новенькие, свеженькие, незалапанные. Колода еще не перетасована, и пусть только какой-нибудь мерзавец попробует передернуть — да мы его, скотину, за ноги, за руки, и головой в нужник!

Но, увы, клубника безвозвратно утратила былую сладость, и женщины уже не обнимают так, что не вырвешься!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

Порой на человека нисходит некое озарение. Случается это чуть ли не с каждым. Ты физически чувствуешь, как этот миг вызревает, как он неуклонно приближается, словно огонек, бегущий по бикфордову шнуру к шашке динамита. Под ложечкой замирает, все в тебе восторженно трепещет, плечи и руки покалывает. Кожа впитывает воздух, и каждый глубокий вдох дарит радость. Первое ощущение — блаженство, как бывает, когда потянешься и сладко зевнешь: в мозгу что-то вспыхивает, и мир предстает перед тобой осиянный светом. Возможно, вся твоя жизнь была прежде серой, ты жил в мрачном унылом краю, среди мрачных унылых деревьев. Возможно, все со-

бытия, даже самые важные, проходили мимо тебя, сливаясь в безликую, бесцветную вереницу. Но вдруг — озарение; и вот уже песня сверчка пленяет твой слух; земля, гудя травами, посылает тебе свои запахи; рябь солнца, просеянная сквозь листву, ласкает взгляд. И тогда все накопленное в сознании и душе выплескивается наружу, изливается потоком, но от этого тебя нисколько не убывает. Я думаю, значимость человека в этом мире измеряется числом и природой посетивших его озарений. И хотя в миг озарения человек одинок, именно озарения единят нас с миром. Озарение есть начало всякого творчества, оно наделяет человека индивидуальностью.

Не знаю, останется ли так и дальше. В мире происходят чудовищные изменения, и нам неведомо, какие черты обретет будущее под нажимом создающих его сил. Среди этих сил, как нам кажется, есть и силы зла, хотя, может быть, зло не в них самих, а в их стремлении уничтожить то, чуждое им, что мы почитаем за благо. Да, действительно, вдвоем можно поднять камень, который одному не сдвинуть. Группа людей построит автомобиль быстрее и лучше, чем один человек, а хлеб, выпекаемый огромным заводом, стоит дешевле и не так разнится по форме и вкусу. Но коль скоро и наша пища, и наша одежда, и наше жилье становятся продуктом сложного массового производства, тот же массовый метод должен неизбежно вторгнуться и в наше мышление, уничтожив возможность мыслить нестандартно. Массовый, или, как его еще называют, коллективный, метод уже вошел в экономику, в политику и даже религию, отчего иные народы подменяют понятие Бог понятием Коллектив. Этим-то и страшно время, в которое я живу. Небывалая напряженность, нарастая, подводит мир к критической точке, людям беспокойно, они растеряны.

И я думаю, в такое время уместно и полезно спросить себя: «Во что же я верю? За что я должен бороться и против чего?»

Мы — единственный на земле биологический вид, наделенный даром творить, и наше единственное орудие творчества — разум индивидуума, душа отдельной личности. Нет изобретений или идей, рожденных двумя людьми. Сотворчество никогда не достигает подлинных вершин ни в одной области, будь то музыка, или живопись, или

математика, или философия. Когда чудо уже свершилось, когда идея рождена, группа может взять ее за основу, может что-то добавить или расширить, но *изобрести* группе не дано. Потому-то и бесценен разум личности.

Но силы, сплотившиеся вокруг теории о превосходстве группы, вознамерились уничтожить это сокровище, объявили ему жестокую войну. Чтобы подавить, сковать, притупить и одурманить независимый мятежный разум, его унижают, морят голодом, преследуют, насилуют, истязают беспощадными запретами и ограничениями.

Итак, во что же я верю? Я верю, что вольный, пылкий разум индивидуума есть величайшая ценность на свете. За что я готов идти в бой? За право разума прокладывать себе дорогу в любом удобном ему направлении, свободно и самостоятельно. Против чего я должен бороться? Против любых идей, религий и правительств, ограничивающих или разрушающих в человеке личность. Таковы мои убеждения, и в этом я весь. Я понимаю, почему система, построенная по шаблону, стремится сокрушить свободный разум — потому что только он способен сокрушить такую систему, постигнув ее суть. Да, конечно, я это понимаю, понимаю и ненавижу, и буду бороться против посягательств на свободу человеческого разума, чтобы сбереечь то единственное, что отличает нас от лишенных творческого дара животных. Если в нас погасят искру, рождающую озарение, мы пропали.

2

Адам Траск вырос в сером мире, жизнь его была словно занавешена пыльной паутиной, дни монотонно тянулись, заполненные лишь огорчениями и кислым недовольством, но вот появилась Кэти, и с ней пришло озарение.

Неважно, что Кэти была, как я это называю, монстр. Вероятно, нам Кэти не понять, хотя, с другой стороны, от любого из нас можно ждать чего угодно, мы способны как на поступки удивительно благородные, так и удивительно низкие. Да и найдется ли человек, втайне не помышлявший вкусить запретного?

Возможно, каждый скрывает в себе некую темную заводь, где плодится зло и прочая гнусь. Но заводь эта огорожена, и, пытаясь выбраться наружу, ее обитатели ска-

тываются по скользкой стенке обратно. И все же разве не может так случиться, чтобы у какого-нибудь человека колония в заводи, окрепнув, перебралась через стенку и выползла на волю? Не такой ли человек становится, по нашему определению, монстром и не сродни ли он нам всем, с нашими скрытыми заводами? Было бы нелепо, если бы мы понимали только ангелов: ведь дьяволов придумали тоже мы.

Кем бы ни была Кэти, ангелом или дьяволом, но она всколыхнула жизнь Адама, и он познал озарение. Душа его обрела крылья и воспарила, вырвав Адама из плена страха, тоски и горьких воспоминаний. Озарение заливает мир светом и преображает его, как вспышка ракеты преображает поле боя. Может быть, Адам видел перед собой вовсе не Кэти, так ослепителен был ореол, в котором она предстала его взору. В сознании Адама сиял образ, исполненный прелести и красоты; воплощение нежности и доброты, создание чистое и любящее, дороже которого нет ничего на свете — такой была Кэти в его глазах, и что бы она ни сказала, что бы ни сделала, та Кэти, которую видел Адам, все равно бы не померкла.

Она говорила, что не хочет в Калифорнию, но он не слушал, потому что его Кэти уже взяла его под руку и двинулась в путь. Озарение было столь ярким, что он не замечал, как подавлен и страдает его брат, как недобро поблескивают его глаза. Он по дешевке продал Карлу свою долю в ферме, прибавил эти деньги к тем, что получил в наследство, и чувствовал себя свободным и богатым.

Братья теперь были друг другу чужими. На станции они пожали руки, поезд тронулся, и, провожая его взглядом, Карл долго тер шрам на лбу. Затем пошел в салун, выпил подряд четыре стопки и, пошатываясь, поднялся на второй этаж. Как положено, заплатил девице вперед, но потом ничего не смог. И плакал у нее в объятиях, пока она его не выгнала. Свою ярость он обрушил на ферму: он выжимал из земли все соки, он прикупал новые участки, он бурил колодцы, он содержал хозяйство в идеальном порядке и расширял границы своих владений. Он не знал ни покоя, ни отдыха, он богател, но богатство не приносило ему радости, и, хотя его уважали, друзей у него не было.

Чтобы приодеть себя и Кэти, Адам задержался в Нью-Йорке, но едва все покупки были сделаны, молодожены

сели в поезд, и он повез их на другой конец континента. Как они оказались в Салинас-Валли, понять нетрудно.

В те годы железнодорожные компании — набравшие силу, дравшиеся между собой, стремившиеся обскákat друг друга и подмять конкурентов — шли на все, лишь бы увеличить приток пассажиров. Не довольствуясь обычной рекламой в газетах, они выпускали еще и брошюры, а также плакаты, наглядно изображавшие красоту и изобилие американского Запада. Чего только не сулили рекламы, но богатства того края действительно были безграничны! Компания «Южная Тихоокеанская Дорога» (ЮТД) благодаря неукротимой энергии своего президента Лиленда Станфорда начинала главенствовать на Тихоокеанском побережье не только в сфере транспорта, но и в политике. Ее рельсы подползали и к долинам. Возникали новые города, осваивались и заселялись новые районы, потому что для роста перевозок компания должна была обеспечить себя пассажирами.

Не осталась без внимания и вытянувшаяся меж гор долина Салинас-Валли. Если верить красочному плакату, который Адам долго и внимательно изучал, рай был лишь жалким подобием этой долины. Ну, а после ознакомления с соответствующей литературой, обосноваться там не захотел бы разве что сумасшедший.

Приобретать участок Адам не спешил. Он купил бричку и, разъезжая по Долине, беседовал с теми, кто жил тут давно, интересовался, какая здесь земля и вода, расспрашивал о климате, об урожаях, о ценах. Любопытство его не было праздным. Ведь он приехал сюда, чтобы пустить корни, чтобы жить здесь со своей семьей и, может быть, основать династию.

Полный радостных надежд Адам объезжал ферму за фермой, мям в руках комочки земли, вел обстоятельные разговоры, строил планы и мечтал. Жителям Долины он понравился, они были довольны, что он здесь поселится, потому что сразу распознали в нем человека солидного.

Если что и печалило Адама, то только состояние Кэти. Она чувствовала себя неважно. Вместе с Адамом она колесила по Долине, но ничто ее не трогало и не радовало. Однажды утром Кэти пожаловалась, что нездорова, и осталась в Кинг-Сити, а Адам поехал осматривать фермы один. В гостиницу он вернулся только под вечер, когда Кэти уже

почти умирала от потери крови. По счастью, доктор Тилсон в этот день ужинал дома, и, не дав ему доестъ рост-биф, Адам вытащил его из-за стола. Быстро осмотрев Кэти, доктор повернулся к Адаму:

— Вы бы подождали внизу.

— Но она поправится?

— Да-да, я вас скоро позову.

Адам потрепал Кэти по плечу, и она в ответ улыбнулась.

Закрыв за Адамом дверь, доктор Тилсон вернулся к кровати. Лицо его пылало гневом.

— Почему вы это сделали?

Кэти сжала губы в узкую полоску.

— Ваш муж знает, что вы беременны?

Она медленно покачала головой.

— Чем вы это сделали?

Глаза ее застыли.

Доктор оглядел комнату. Шагнул к низкому комоду, протянул руку и, повернувшись к Кэти, потряс у нее перед лицом вязальной спицей.

— Как же, как же... эта старая негодяйка давно нам знакома,— сказал он.— Дура вы, и больше никто. Чуть себя в могилу не свели, а ребенка не скинули. И небось еще всякую дрянь глотали, камфорой травились, керосином, красным перцем... Боже мой! До чего вы, женщины, иногда доходите!

Взгляд ее был холоден, как стекло.

Доктор придвинул стул ближе к кровати и сел.

— Почему вы не хотите ребенка? — тихо спросил он.— У вас хороший муж. Разве вы его не любите? Что, так и будете молчать? Объясните мне, черт возьми! Упрямитесь глупо.

Губы ее не шевелились, глаза смотрели не мигая.

— Голубушка моя, неужели вы не понимаете? Человеческую жизнь губить нельзя. Уж если что меня и бесит, то именно такие дела! Бог свидетель, случается, больные умирают, потому что я не знаю, чем им помочь. Но я хотя бы стараюсь их спасти... стараюсь всегда! А тут на моих глазах — умышленное убийство! — Он говорил все быстрее. Его пугало тягостное молчание, заполнявшее паузы. Эта женщина вызывала у него недоумение. В ней было что-то нечеловеческое.— Вы еще не знакомы с миссис Лорел? Бедняжка слезами обливается, вся извелась, так

хочет ребенка. Все на свете отдала бы, чтобы родить, а вы... вы своего ребенка решили спицей проткнуть!.. Вот, значит, как! — Он сорвался на крик. — Не хотите говорить — никто вас не заставляет! Только я сам кое-что вам скажу. Не погиб ваш ребенок, жив он. Прوماхнулись. И еще скажу: придется вам его родить! В нашем штате за аборт знаете, что полагается? Можете не отвечать, но выслушать вам придется! Если вы не образумитесь, если вы скинете, а я пойму, что дело нечисто, я сообщу в полицию, я все расскажу и позабочусь, чтобы вас наказали. Надеюсь, у вас хватит ума понять, что я не шучу.

Кэти облизала губы острым маленьким язычком. Холод в ее глазах сменился грустью.

— Простите меня, — сказала она. — Я виновата. Но вы не понимаете.

— Почему же вы не хотите объяснить? — Его гнев тотчас растаял. — Расскажите мне, голубушка.

— Мне трудно об этом говорить. Адам такой хороший, такой сильный, а я... одним словом, плохая наследственность. Эпилепсия.

— У вас?!

— У меня-то нет, но и у деда была, и у отца... и у брата. — Она закрыла лицо руками. — А сказать об этом мужу я не решилась.

— Бедная девочка. — Он вздохнул. — Несчастливая вы моя. Но это же необязательно передается. Вероятнее всего, ребенок у вас родится нормальный, здоровый. И не делайте больше никаких глупостей — обещаете?

— Да.

— Вот и хорошо. Тогда я вашему мужу ничего не скажу. А сейчас дайте-ка посмотрю, остановилось ли кровотечение.

Через несколько минут он закрыл саквояж и сунул спицу в карман.

— Завтра утром я к вам загляну.

Едва он спустился по узкой лестнице в холл, Адам накинулся на него с расспросами:

— Как она? Все в порядке? Отчего это случилось? Можно мне к ней подняться?

— Да подождите вы, подождите, — отмахнулся доктор Тилсон. И, верный своей старой традиции, привычно пошутил: — Вашей жене плохо, но...

— Доктор...

— ...но это очень хорошо.

— Доктор...

— Ваша жена ждет ребенка.— И он выскользнул за дверь мимо остолебневшего Адама.

Трое сидевших у печки мужчин ухмыльнулись. Один из них как бы вскользь заметил:

— Лично я бы по такому случаю пригласил кого-нибудь выпить... скажем, человек трех.— Но его намек пропал даром. Адам уже вихрем мчался по лестнице наверх.

Ранчо мистера Бордони, расположенное в нескольких милях к югу от Кинг-Сити, а вернее, на полпути между Кинг-Сити и Сан-Лукасом, все больше привлекало внимание Адама.

У Бордони было девятьсот акров земли — все, что осталось от поместья в десять тысяч акров, пожалованного прапрадеду миссис Бордони испанской короной. Сам Бордони переселился сюда из Швейцарии, но миссис Бордони была прямой наследницей Санчесов, испанцев, осевших в Долине еще в давние времена. Как случилось с большинством старых семей, Санчесы растеряли свои земли. Сколько-то проиграли в карты, сколько-то было съедено налогами, а кроме того, от поместья часто отстригали, как купоны, изрядные куски в уплату за разные роскошества — за лошадей, за бриллианты, за любовь хорошеньких женщин... Оставшиеся девятьсот акров лежали в самом сердце изначального имения Санчесов, и это были их лучшие земли. Раскинувшееся по обоим берегам реки ранчо утыкалось боками в холмы предгорий, потому что Салинас-Валли в этом месте сужается, а дальше опять расширяется. Глинобитный дом, построенный еще при Санчесах, до сих пор годился для жилья. Он стоял в ложбине между холмами, в миниатюрной долине, по которой катил воду драгоценный, никогда не пересыхающий ручей. Конечно же, именно поэтому первый Санчес поставил свой дом здесь. Мощные виргинские дубы укрывали крохотную долину от солнца, и земля здесь была жирная, с густой травой, что совершенно необычно для этого района Салинас-Валли. Стены приземистого дома в толщину достигали четырех футов, бревенчатые стропила и балки были связаны ремнями из сыромятной кожи, предварительно намочен-

ными водой. Высохнув, кожа прочно стянула бревна, а сами ремни стали твердыми, как железо, и время почти не оставляло на них следов. Такой метод строительства имеет только один недостаток. Если в доме заведутся крысы, они могут сгрызть кожаные крепления.

Дом Санчесов, казалось, рос прямо из земли, и в этом была своя прелесть. Бордони приспособили старый дом под коровник. Эмигрант, швейцарец, мистер Бордони сохранил присущую его нации страсть к чистоте. Толстые глинобитные стены не внушали ему доверия, и он построил неподалеку обычный каркасный дом, а из глубоких оконных проемов старинного дома Санчесов выглядывали коровы.

Детей у четы Бордони не было, и когда миссис Бордони в расцвете лет скончалась, ее мужа охватила тоска по родным Альпам. Он мечтал поскорее продать землю и вернуться в Швейцарию. Торопиться с покупкой Адам не желал, а Бордони к тому же запрашивал большую цену и, действуя испытанным способом, притворялся, будто ему наплевать, продаст он свое ранчо или нет. Бордони намного раньше Адама понял, что тот купит его землю.

Адаму не хотелось, чтобы он сам и его будущие дети кочевали. Он боялся, что купит какую-нибудь ферму, а потом ему приглянется другая, лучше, и все же его неотступно притягивала земля Санчесов. С появлением Кэти он уверовал, что впереди у него долгая и счастливая жизнь. Тем не менее он тщательно взвешивал все до последней мелочи. На бричке, верхом и на своих двоих он обследовал каждый фут ранчо Бордони. Он сверлил коловоротом дыры, чтобы проверить, пощупать и понюхать землю под верхним слоем почвы. Он узнавал, что мог, о свойствах диких растений, встречавшихся ему в полях, у реки и в холмах. В местах посуше он опускался на колени в грязь и изучал следы животных: вот пума, а вот олень, вот койоты и дикие кошки, скунсы и еноты, куницы и кролики, а поверх всех этих следов — узор, оставленный лапками куропаток. Он бродил меж ив и платанов, продирался сквозь заросли ежевики, гладил стволы виргинских и карликовых дубов, земляничных деревьев и лавра.

Бордони, прищурившись, наблюдал за ним и знай подливал в стаканы красное вино из урожаев своего маленького виноградника, разбитого у подножия гор. Не было дня, чтобы Бордони отказал себе в удовольствии слегка

накачаться после обеда. И Адам, никогда прежде не пивший вина, стал находить в нем вкус.

Снова и снова допытывался он у Кэти, что она думает об этом ранчо. Ей оно нравится? Ей будет приятно там жить? Ее уклончивые ответы он не слушал. Он верил, что она разделяет его восторг. В холле гостиницы он толковал с мужчинами, приходившими посидеть у печки и почитать газеты, которые пересылались в Кинг-Сити из Сан-Франциско.

— Меня беспокоит только вода,— сказал он в один из вечеров.— Ведь нужен колодец, а глубоко ли там до воды, не знаю.

Его собеседник, фермер в грубых рабочих штанах, закинул ногу на ногу.

— Вам бы съездить, поговорить с Сэмом Гамильтоном,— посоветовал он.— Сэм у нас в этом деле лучше всех понимает. Он и воду находит, и колодцы бурит. Все вам разъяснит. Половина колодцев в наших краях — его работа.

Приятель фермера хохотнул.

— Еще бы Гамильтону про воду не знать. У самого-то земля — сплошной камень.

— А как мне его найти? — спросил Адам.

— Я вам вот что предлагаю. Мне угольники железные нужны, и, стало быть, я все равно к нему поеду. Так что, если хотите, возьму вас с собой. Мистер Гамильтон вам понравится. Хороший человек.

— А уж пошутить — мастер, каких мало,— добавил его приятель.

3

На ранчо Гамильтонов Адам Траск и Луис Липпо отправились в повозке Луиса. За спиной у них громыхали в дощатом кузове железные обрезки, а по обрезкам перекачивалась оленья нога, обернутая мокрой мешковиной, чтобы мясо не испортилось на солнце. В те годы, собираясь кого-нибудь навестить, обычно прихватывали с собой что-либо из съестного, да побольше, потому что тебя непременно оставляли обедать, и ты не смел обидеть хозяев отказом. Но наезды гостей основательно истощали недельный запас продовольствия, и твой долг был восполнить причиненный ущерб. Привезешь четверть свиной туши или

говяжий огузок — и всех делов. Оленину вез Луис, а Адам прикупил бутылку виски.

— Я вас должен предупредить,— сказал Луис,— мистер Гамильтон, понятно, будет доволен, а вот миссис Гамильтон, та спиртное на дух не терпит. Вы лучше бутылку под сиденье спрячьте, а как свернем за дом, до кузницы доедем, тогда и достанете. Мы завсегда так.

— Что же она и выпить мужу не дает?

— Сама махонькая, с воробушка, но наитвердейших убеждений. Так что вы уж бутылку под сиденье положите.

Они съехали с дороги и углубились в облезлые бугристые холмы, двигаясь по размытой зимними дождями колее. Лошади с усилием напирали на оглобли, повозка раскачивалась и кренилась. Весна обошла холмы своей благодатью, и уже сейчас, в июне, почва здесь пересохла, сквозь короткую выгоревшую траву проступали камни. Дикий овес, еле набрав в высоту шесть дюймов, пошел в колос, словно понимал, что, если не поспешит, может не отколоситься вовсе.

— Не больно-то приветливые места,— заметил Адам.

— Приветливые?! Ну вы и скажете, мистер Траск! Здешняя земля из кого хочешь душу вымотает да еще и в гроб вгонит. А вы говорите! У мистера Гамильтона земли изрядно, только он тут чуть с голоду не помирает со всей своей оравой. Такую семью на этих камнях не прокормишь. Оттого и берется за любую работу, да и сыновья его начали понемногу в дом приносить. Хорошие они люди, Гамильтоны.

Адам смотрел вдаль, на верхушки мескитовых деревьев, узкой полосой тянувшихся по дну лощины.

— Что же это его бес попутал поселиться в таком месте?

Луис Липпо, как, впрочем, и все мужчины, любил порассуждать, особенно если вопросы задавал приезжий и рядом не было никого из местных, кто мог бы встрять и возразить.

— Объясню,— сказал он.— Возьмите, к примеру, меня. Отец мой был итальянец. Сюда перебрался уже после известных событий, однако сколько-то денег с собой привез. Ранчо у меня не очень большое, но я им доволен. Участок отец за наличные купил. И еще выбирал. Или, например, вы. Не знаю, как у вас с деньгами, и спраши-

вать не буду, но, слышал, вы думаете купить старую землю Санчесов. А Бордони, тот свою выгоду понимает. Стало быть, капитал у вас немалый, иначе бы и не приценивались.

— Да, средствами я располагаю,— скромно признал Адам.

— Я это к тому, чтоб вам дальше понятнее было. Так вот, когда мистер и миссис Гамильтон сюда приехали, у них, как говорится, нечем было задницу подтереть. Ну и пришлось им брать, что осталось — государственную землю, ту, что никому задаром не нужна. Там паси корову хоть на двадцати пяти акрах, она и в хороший год с голодухи околет, а уж если засуха, то, говорят, оттуда даже койоты бегут. Многие по сию пору не понимают, как Гамильтоны тогда не перемерли. А чего тут понимать — мистер Гамильтон с первого дня работать начал, вот и не перемерли. На чужих фермах спину гнул, пока молотилку не построил.

— Должно быть, он потом немало преуспел. Я о нем со всех сторон слышу.

— Можно сказать, и преуспел. Девять детей воспитал. А что ни гроша не скопил, это я голову наотрез даю. Да и как ему скопить?

Повозка резко накренилась набок, перевалила через большой круглый камень и снова выровнялась. Лошади потемнели от пота, на боках и под хомутом пузырилась пена.

— Рад буду с ним познакомиться,— сказал Адам.

— Как бы там ни было, сэр, а кое-что ему удалось на славу, дети у него растут хорошие, воспитал он их прекрасно. Все работающие, толковые... один только Джо подкачал. Джо — это его младший, они даже, слышал, собираются его в колледж послать. Но остальные все с головой. Мистер Гамильтон вполне может ими гордиться. Их дом вон там, за следующим холмом. Не забудьте, что я вам сказал,— виски раньше времени не вынимайте, а то миссис Гамильтон и говорить с вами не станет.

Сухая земля потрескивала на солнце, со всех сторон скрипели сверчки.

— Вот уж поистине Богом забытый край,— покачал головой Луис.

— Мне даже как-то стыдно,— сказал Адам.

— Это почему же?

— Ну, потому что я не беден и меня в такое место не загонишь.

— Я тоже не беден, только мне совсем не стыдно, а наоборот — я очень доволен.

Песовозка вскарабкалась на холм, и Адам увидел внизу кучу строений, составлявших усадьбу Гамильтонов: дом с множеством пристроек, коровник, кузницу и каретный сарай. Все высохшее, обглоданное солнцем, ни одного высокого дерева, огород — клочок земли, который поливали вручную.

Луис повернулся к Адаму, и в его голосе зазвучали враждебные нотки:

— Я, мистер Траск, хочу, чтобы вы кое-что поняли. Некоторые, когда видят Самюэла Гамильтона в первый раз, думают, у него не все дома. Он разговаривает не так, как другие. Он ирландец. И на выдумки всякие горазд — что ни день, у него новая затея. И помечтать любит, хлебом не корми! На такой земле жить, тут, ей-богу, о чем хочешь размышляешься! Но вы лучше сразу зарубите себе на носу: он истинный труженик, отличный кузнец, и, бывает, его затеи пользу приносят. Много, о чем он говорил, сбывалось, я сам тому свидетель.

В тоне Луиса слышалась скрытая угроза, и Адам насторожился.

— Я не привык судить о людях плохо, — сказал он и почувствовал, что Луис почему-то видит в нем сейчас чужака и недруга.

— Я просто хочу, чтоб уж все начистоту. А то приезжают некоторые и думают, что если человек не купается в деньгах, так он и слова доброго не стоит.

— Я бы никогда не позволил себе...

— Да, может быть, у мистера Гамильтона за душой ни гроша, но он здесь свой человек, и не хуже других. И семья у него прекрасная, такую еще поискать. Запомните это раз и навсегда.

Адам чуть было не начал оправдываться, но потом сказал:

— Запомню. Спасибо, что объяснили.

Луис снова повернулся лицом к усадьбе.

— Вон он — видите, стоит у кузницы? Должно быть, слышал, что мы едем.

— У него что, борода? — спросил Адам, вглядываясь.

— Да, борода у него красивая. Скоро совсем белая будет, он седеть начал.

Они проехали мимо дома, заметили в окне глядящую на них миссис Гамильтон и подкатили к кузнице, где их уже поджидал Самюэл.

Адам увидел перед собой высокого крепкого мужчину с бородой патриарха; ветер шевелил его легкие, как пух, волосы. Солнце опалило ирландскую белизну его лица и окрасило щеки румянцем. На нем была чистая синяя рубашка, комбинезон и кожаный фартук. Рукава рубашки были закатаны, но на мускулистых руках Адам не углядел и пятнышка грязи. Только пальцы и ладони были черные от копоти. Окинув Самюэла коротким взглядом, Адам снова посмотрел на его глаза, голубые, по-молодому веселые. В лучиках морщин от частого смеха.

— Это ты, Луис,— сказал Самюэл,— рад тебя видеть. Наш райский уголок всегда готов принять друзей.

Он улыбнулся Адаму, и Луис тотчас сказал:

— Это мистер Адам Траск. Я привез его познакомиться. Он с Восточного побережья приехал и хочет здесь осесть.

— Очень приятно,— кивнул Самюэл.— Руки пожмем в другой раз. Не хочу вас пачкать моими ржавыми хватками.

— Я, мистер Гамильтон, привез с собой железных обрезков. Не сделаете мне пару угольничков? А то у меня на жатке рама к черту развалилась.

— Конечно, Луис, все сделаю. Ну выгружайтесь, выгружайтесь. Лошадей мы отведем в тень.

— Там сверху кусок оленины, а мистер Траск привез кое-что повеселее.

Самюэл покосился на дом.

— «Кое-что повеселее», я думаю, мы отведаем позже, когда поставим повозку за сарай.

Хотя Самюэл вроде бы правильно произносил слова, Адам уловил в его речи необычную приятную певучесть.

— Луис, может, разневолишь своих лошадок сам? Я пока отнесу оленину. Лиза будет довольна. Она любит оленье жаркое.

— Из молодых ваших кто-нибудь дома?

— Нет, никого нет. На выходные приехали Джордж и Уилл, но вчера вечером все упорхнули в каньон Уайлд-

Хорс, в Пичтри, там в школе бал — танцы. Как стемнеет, думаю, начнут потихоньку слетаться в гнездо. У нас из-за этих танцев диван пропал. Я вам потом расскажу... Ох и задаст им Лиза!.. Это все проказы Тома. Я вам потом расскажу.— Он засмеялся и, подхватив завернутую в мешковину оленью ногу, зашагал к дому.— Если хотите, отнесите «кое-что повеселее» в кузницу, чтобы на солнце не отсвечивало.

Они услышали, как, дойдя до дома, он закричал: «Лиза, угадай, что я несу! Луис Липпо привез такую оленью ногу, что тебя рядом с ней не видно будет!»

Луис загнал повозку за сарай. Адам помог ему выпрячь лошадей и привязать их в тени.

— Это он так намекнул, что на солнце бутылка заблестеть может,— сказал Луис.

— Грозная, видать, у него жена.

— Ростом с воробушка, но кремень, а не женщина.

— Разневолить,— задумчиво повторил Адам.— Помоему, я это слово где-то слышал или читал.

Самюэл вскоре вернулся в кузницу.

— Лиза будет очень рада, если вы с нами отобедаете,— объявил он.

— Но она ведь нас не ждала,— попробовал отказаться Адам.

— Что за вздор! Лизе это просто — кинет в похлебку еще десяток клецек, и вся недолга. Мы вам только рады. Давай сюда свои железки, Луис, и объясни, какие тебе нужны угольники.

Он поджег в горне кучку деревянных стружек, качнул мехи и стал щепоть за щепотью подсыпать мокрый кокс, пока черный квадратный зев горна не порозовел.

— Давай, Луис, махни крылышком над моим огоньком,— сказал он.— Только не дергай мехи, качай медленно и ровно.— Он положил железо на рдеющий кокс.— Да, мистер Траск, было время, моя Лиза готовила на целую ораву вечно голодных детей. И потому давно уже все на свете принимает спокойно.— Он передвинул щипцами железо ближе к потоку горячего воздуха и засмеялся.— Впрочем, последнее — святая ложь, так что беру свои слова обратно. Как раз сейчас Лиза мечет громы и молнии. И предупреждаю вас обоих: ни в коем случае не произносите при ней слово «диван». Ибо слово это будит в Лизе гнев и печаль.

— Да-да, вы что-то говорили про диван,— заметил Адам.

— Если бы вы знали моего Тома, мистер Траск, вам было бы понятнее. Вот Луис, тот Тома знает.

— Как же, знаю, конечно,— подтвердил Луис.

— Том у меня шалый парень. Синица в руках — этого ему мало. Тому подавай журавля в небе. Во всем безудержен — и в радости, и в горе. Есть такие люди. Лиза считает, я тоже такой. Не знаю, что ждет Тома. Может быть, слава, а может быть, виселица... что ж, в роду Гамильтонов и прежде на эшафот поднимались. Я вам когда-нибудь расскажу.

— Вы начали про диван,— вежливо напомнил Адам.

— Ваша правда. Верно Лиза говорит: мысли у меня, что непослушные овцы — так и норовят во все стороны разбежаться. Одним словом, услышали мои сыновья про танцы в Пичтри, и все как один собрались туда ехать — и Джордж, и Том, и Уилл, и Джо. Понятное дело, девушек пригласили. Джордж, Уилл и Джо — они у меня скромные, простые — пригласили каждый по одной даме, а Том... он же не может не перегнуть палку. Он пригласил сразу обеих сестер Уильямс — Дженни и Беллу. Тебе сколько дырок для болтов делать, Луис?

— Пять.

— Хорошо. А надобно вам сказать, мистер Траск, Том, как любой мальчишка, мнящий себя некрасивым, очень тщеславен и любит свою персону до невозможности. В обычные дни он о своей внешности не слишком заботится, но уж если праздник — украшает себя, как рождественскую елку, и расцветает, словно майская роза. Ну и, разумеется, на это преображение у него уходит немалое время. Вы заметили, что в каретном сарае у нас пусто? Джордж, Уилл и Джо выехали пораньше и в отличие от Тома красоту не наводили. Джордж взял телегу, Уилл — бричку, а Джо — маленькую двуколку. — Голубые глаза Самюэла блестели от удовольствия. — Итак, выходит во двор Том, красой лучезарному Цезарю равный, и видит, что ехать ему не на чем, остались только конные грабли, а на них не то что двух, даже одну даму не увезешь. К счастью или к несчастью, Лиза в это время прилегла вздремнуть. Том сел на крыльцо и задумался. Потом вижу, пошел в сарай, запряг пару лошадей и снял грабли с колес.

Вытащил из дома диван и цепью привязал его за ножки к козлам — отличный диван, с набивкой из конского волоса, гнутый, Лиза души в нем не чает. Я его подарил ей незадолго перед рождением Джорджа, чтобы, как устанет, могла с удобством отдохнуть. Не успел я оглянуться, как Том возлег на диван и поскакал на нем за сестрицами Уильямс. Когда он вернется, от дивана одни клочья останутся — на здешних-то ухабах, боже праведный! — Самюэл отложил щипцы, упер руки в боки и захохотал от души. — Вот Лиза и полыхает, как геенна огненная. Бедняга Том!

— Может, попробуете «кое-что повеселее»? — улыбаясь спросил Адам.

— Всенепременно. — Самюэл глотнул из горлышка и вернул бутылку Адаму. — Уискибау — так по-ирландски называют виски... «живая вода». Вполне соответствует названию. — Он положил раскаленные полоски железа на наковальню, пробуравил в них отверстия и стал отбивать заготовки — искры дугой брызнули из-под молота. Потом окунул шипящее железо в бочку с темной водой. — Готово. — Самюэл бросил угольники на землю.

— Спасибо, — сказал Луис. — Сколько я вам обязан?

— Нисколько. Приятная компания — лучшая награда.

— Вот так всегда, — беспомощно сказал Луис.

— Ничего подобного. Когда я бурил тебе колодец, взял сколько положено.

— Кстати, о колодце... Мистер Траск думает купить ранчо Бордони... старое имение Санчесов... Вы ведь помните это место?

— Помню прекрасно, — кивнул Самюэл. — Место отличное.

— Он расспрашивал, как там с водой, и я сказал, что в наших краях вы знаете про воду больше всех.

Адам протянул бутылку, Самюэл скромно отхлебнул и аккуратно, следя, чтобы не перепачкать себя сажей, вытер рот тыльной стороной руки.

— Я еще не решил, куплю или не куплю, — сказал Адам. — Потому и расспрашиваю знающих людей, что да как.

— Э-э, друг мой, вы играете с огнем. Не зря говорят, ирландца лучше не спрашивай, а то начнет отвечать. Надеюсь, вы понимаете, на что себя обречете, если дадите мне

разговориться. Как считают одни, умен тот, кто молчит; другие же утверждают, что у кого со словами туга, у того и мыслей небогато. Я, естественно, разделяю вторую точку зрения, и, как заявляет Лиза, в этом моя большая ошибка. Что же вас интересует?

— Если взять, к примеру, ранчо Бордони. Глубоко ли придется там бурить, чтобы дойти до воды?

— Я должен сначала посмотреть, где вы хотите бурить: бывает, до воды всего тридцать футов, бывает — сто пятьдесят, а иногда надо бурить чуть не до центра земного шара.

— Но вы все равно находите воду?

— Почти всюду. Только на своем ранчо не нашел.

— Да, я слышал, у вас воды не хватает.

— Слышали? Еще бы! Господь Бог на небесах и тот, наверно, услышал — я об этом во все горло кричу.

— Примерно половина ранчо Бордони — четыреста акров — возле самой реки. Как вы думаете, должна там быть вода?

— Надо посмотреть. Салинас-Валли, на мой взгляд, долина не совсем обычная. Если наберетесь терпения, я, может быть, сумею вам кое-что объяснить, я ведь тут все облазил и общупал, и, что касается воды, то на этом деле я собаку съел. Верно говорят: голодному во сне победать — и то счастье.

— Мистер Траск родом из Новой Англии, — сказал Луис Липпо. — Он думает осесть в наших местах. Вообще-то он уже бывал на Западе, когда служил в армии. Он воевал с индейцами.

— Да что вы? В таком случае рассказывать должны вы, а мое дело — слушать.

— Мне не хочется об этом рассказывать.

— Почему? У моей семьи и у всех соседей давно бы уши завяли, если бы я воевал с индейцами.

— Я вовсе не хотел с ними воевать, сэр. — Слово «сэр» вырвалось у Адама непроизвольно.

— Понимаю. Должно быть, трудно убивать людей, которых не знаешь и против которых ничего не имеешь.

— А может, наоборот, легко, — сказал Луис.

— Что ж, тоже не лишено смысла. Видишь ли, Луис, есть люди, искренне любящие этот мир, но есть и другие, те, что ненавидят себя и распространяют свою нена-

висть на всех остальных — их злоба расползается во все стороны, как масло по горячему хлебу.

— Может, лучше расскажете мне про здешние земли, — неловко сказал Адам, гоня прочь жуткую картину сложенных в штабеля трупов.

— А который час?

Луис выглянул за порог и посмотрел на солнце.

— Еще десяти нету.

— Если уж я начну рассказывать, меня не остановишь. Мой сын Уилл шутит, что, когда у меня нет других слушателей, я с деревьями разговариваю. — Он вздохнул и сел на бочонок с геоздями. — Как я сказал, эта долина — место странное, хотя, может быть, мне так кажется, потому что сам-то я родился в зеленом краю. Ты, Луис, не находишь, что наша долина странное место?

— Нет. Я ведь нигде больше не был.

— Я здесь конал много и глубоко, — сказал Самюэл. — Тут, в недрах, происходили, а может, и сейчас происходят интересные явления. Когда-то здесь было дно океана, а под ним — свой неизведанный мир. Впрочем, фермеров это не должно беспокоить. Что до верхнего слоя почвы, то он плодороден, особенно на равнинных местах. На юге Долины почва в основном светлая, песчаная, но сдобренная перегноем, который зимой приносят с холмов дожди. В северной части Долина расширяется, почва становится темнее, плотнее и, судя по всему, богаче. Я убежден, что когда-то там были болота, и корни растений веками перегнивали в этой земле, отчего она делалась все чернее и плодороднее. Если же перевернуть верхний пласт, то видно, что снизу к нему примешивается и как бы склеивает его тонкий слой жирной глины. Такая земля, например, в Гонзалесе к северу от устья реки. А в районах близ Салинаса, Бланко, Кастровилла и Мосс-Лендинга болота остались и по сей день. Когда-нибудь, когда их осушат, там будут самые богатые земли в этих краях.

— Он любит рассказывать про то, что будет невесть когда, — вставил Луис.

— Человеку дано заглядывать в будущее. Мысли — не ноги, их на месте не удержишь.

— Если я решу здесь поселиться, мне нужно знать, какая судьба ждет эту землю, — сказал Адам. — Ведь моим будущим детям тоже здесь жить.

Скользнув глазами поверх своих собеседников, Самюэл поглядел из темноты кузницы на залитый желтым светом двор.

— Надобно вам сказать, что на большей части Долины под пахотным слоем — в некоторых местах глубоко, а в некоторых совсем близко к поверхности — лежит порода, которую геологи называют «твердый поднос». Это глина, очень плотная и на ощупь маслянистая. Толщина ее где всего фут, а где больше. И этот «поднос» не пропускает воду. Если бы его не было, вода зимой просачивалась бы вглубь и увлажняла землю, а летом вновь поднималась бы наверх и поила корни. Но когда почва над «подносом» пропитывается насквозь, избыток воды либо возвращается наверх в виде ручьев, либо остается на «подносе», и корни начинают гнить. В этом-то и беда Долины.

— И все-таки жить здесь совсем неплохо, верно?

— Да, конечно, но когда знаешь, что землю можно сделать богаче, трудно довольствоваться тем, что есть. Мне как-то раз пришло в голову, что, если пробурить в «подносе» тысячи скважин и открыть путь воде, то, возможно, вода растворит этот заслон. Я даже провел один опыт. Пробурил в «подносе» дыру, заложил несколько шашек динамита и взорвал. Кусок «подноса» раскололся, и вода в том месте прошла внутрь. Но сколько же нужно динамита, чтобы разрушить весь «поднос»? Я читал, что один швед — тот самый, который изобрел динамит — придумал новую взрывчатку, мощнее и надежнее. Может быть, это и есть искомое решение.

— Ему бы только что-нибудь переделать да изменить, — насмешливо и в то же время с восхищением сказал Луис. — Вроде, и так все хорошо, а его, вишь, не устраивает.

Самюэл улыбнулся.

— Говорят, было время, когда люди жили на деревьях. И если бы кому-то из них не разонравилось скакать по веткам, ты Луис, не ходил бы сейчас на двух ногах. — Тут Самюэл опять расхохотался. — Хорош я, наверно, со стороны: сижу здесь, в пыли, и занимаюсь сотворением мира — ну чисто Господь Бог. Правда, Бог увидел то, что создал, а мне свое творение увидеть не доведется, разве что в мечтах. А мечтаю я, что Долина будет краем великого изобилия. Она сможет прокормить целый мир, да,

наверно, и прокормит. И жить здесь будут счастливые люди, тысячи счастливых людей.— Глаза его вдруг погасли, лицо стало грустным, он замолчал.

— Выходит, я не пожалею, что надумал здесь обосноваться,— сказал Адам.— Если у Долины такое будущее, где же еще растить детей, как не здесь?

— И все же кое-что мне непонятно,— продолжал Самюэл.— В Долине таится какое-то зло. Что за зло, не знаю, но я его чувствую. Иногда, в ясный солнечный день, я чувствую, как что-то мрачное надвигается на солнце и высасывает из него свет, будто пиявка.— Голос его зазвучал громче.— На Долине словно лежит черное страшное заклятье. Словно следит за ней из-под земли, из мертвого океана, древний призрак и сеет в воздухе предвестие беды. Здесь кроется некая тайна, что-то неразгаданное и темное. Не знаю, в чем тут причина, но я вижу и чувствую это в здешних людях.

Адам вздрогнул.

— Чуть не забыл: я обещал вернуться пораньше. Кэти, моя жена, ждет ребенка.

— Но у Лизы уже скоро обед будет готов.

— Вы ей все объясните, и она не обидится. Жена у меня неважно себя чувствует. И спасибо, что растолковали мне про воду.

— Я своей болтовней, наверно, испортил вам настроение?

— Нет-нет, что вы, несколько. У Кэти это первый ребенок, и она очень волнуется.

Всю ночь Адам мучился сомнениями, а наутро поехал к Бордони, ударил с ним по рукам и стал хозяином земли Санчесов.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

Об американском Западе тех лет можно рассказать так много, что даже не знаешь, с чего начать. Любая история тянет за собой десятки других. Главное — решить, о чем рассказывать в первую очередь.

Если помните, Самюэл Гамильтон сказал, что его дети поехали в Пичтри на вечер танцев, устроенный в тамошней школе. В те времена школы были в провинции центрами культуры. Протестантство было завезено в Америку недавно, и протестантские церкви в мелких городках еще боролись за право существования. Католическая церковь, проникшая сюда первой и прочно пустившая корни, уютно подремывала, замкнувшись в своих традициях, и старинные миссии постепенно приходили в запустение: ветхие крыши обваливались, разграбленные алтари превращались в насест для голубей. Библиотеку миссии Сан-Антонио (сотни томов на латыни и испанском) свалили в амбар, где крысы обглодали кожаные переплеты. Школа — вот что было в провинции подлинным очагом науки и искусства, и огонь в этом очаге поддерживала учительница, чей долг был нести людям мудрое и прекрасное. В школу приходили послушать музыку или поспорить. В школу шли голосовать во время выборов. И важнейшие события общественной жизни, будь то коронация королевы красоты, траурное собрание в связи с кончиной президента или танцы на всю ночь, происходили непременно в стенах школы. Школьная учительница была не только светочем разума, не только общественным деятелем, но и завиднейшей партией для любого жениха в округе. Родители преисполнялись законной гордостью, если их сын женился на учительнице. Считалось, что ее дети должны быть намного умнее всех остальных: как в силу хорошей наследственности, так и благодаря правильному воспитанию.

Скорбен удел изнуренной трудом жены фермера, но дочерям Самюэла Гамильтона была уготована иная судьба. Они были хороши собой, и в их облике сквозило благородство: как-никак Гамильтоны происходили от ирландских королей. Врожденная гордость возвышала их над нищетой, в которой они росли. Никому и в голову не приходило их жалеть. Самюэлу определенно удалось вывести улучшенную породу. Его дочери были гораздо начитаннее и воспитаннее большинства своих современниц. Самюэл передал им свою тягу к знаниям, и в ту эпоху тщеславного невежества его дочери резко выделялись на общем фоне. Оливия Гамильтон стала учительницей. В возрасте пятнадцати лет она покинула отчий кров и переехала в Салинас, чтобы окончить там среднюю школу. Когда ей было

семнадцать, сдала экзамены на окружном конкурсе по полной программе естественных и гуманитарных наук, и в восемнадцать лет уже учительствовала в Пичтри.

Некоторые из учеников Оливии были выше ее ростом и старше. Работа учительницы требовала величайшего такта. Попробуй наведи дисциплину, когда тебя окружают здоровенные хулиганистые парни, а под рукой ни кнута, ни пистолета — это дело трудное и опасное. В одном горном районе был случай, когда ученики изнасиловали учительницу.

Оливия должна была не только вести все предметы, но и обучать учеников всех возрастов. В те годы редко кто доучивался до восьмого класса, и у многих учеба растягивалась на четырнадцать, а то и на пятнадцать лет — на ферме никто за тебя твою работу не сделает. Кроме того, Оливии приходилось выполнять и обязанности фельдшера, потому что с ее учениками то и дело что-нибудь приключалось. После драк в школьном дворе она зашивала ножевые раны. А когда босого первоклашку ужалила гремучая змея, кто как не Оливия должен был высосать яд у него из ноги?

Она преподавала чтение в первом классе и алгебру — в восьмом. Руководила школьным хором, выступала в роли литературного критика, писала заметки о местных событиях, каждую неделю публиковавшиеся в «Салинасской утренней газете». Кроме того, в ее ведении была организация всей общественной жизни округа: не только выпускные торжества, но и вечера танцев, собрания, дискуссии, концерты, рождественские и весенние праздники, патристические словопрения в День памяти погибших в войнах и в День независимости. Она была членом избирательной комиссии, она возглавляла и направляла всю благотворительную деятельность. Работа у Оливии была далеко не из легких и налагала на нее невероятное число обязанностей. Права на личную жизнь учительница не имела. Десятки глаз ревностно следили за ней, выискивая скрытые слабости. Чтобы не разжигать людскую зависть, учительница ни в одном доме не жила дольше одного семестра: семья, сдававшая ей комнату, приобретала вес в обществе. И если у хозяев дома сын был еще холост, предложение руки и сердца следовало автоматически; если же претендентов было два или больше, случались жестокие драки. Трое братьев Агита чуть не перерезали друг

друга из-за Оливии. Молодые девушки редко задерживались в учительницах надолго. Работа была слишком тяжелая, а женихи одолевали слишком настойчиво, и учительницы выходили замуж быстро.

Именно такой судьбы была твердо намерена избежать Оливия Гамильтон. Она не питала присущей ее отцу любви к интеллектуальным изысканиям, но за короткое время, что прожила в Салинасе, укрепила в своем решении: она не пойдет замуж ради того, чтобы потом прозябать на ранчо! Ей хотелось жить в городе, может быть, не в таком большом, как Салинас, но по крайней мере не в глуши. В Салинасе Оливия вкусила прелестей городской жизни, ее покорили и церковный хор, и орган, и строгие ризы, и традиционные благотворительные базары для прихожан англиканской церкви. Она приобщилась к искусству: гастрольные труппы привозили в Салинас пьесы, а иногда и оперы, чаровавшие волшебным ароматом заманчивого незнакомого мира. Она ходила в гости, играла в шарады, декламировала на конкурсах стихи, записалась в хоровое общество. Салинас соблазнил ее. Там можно было пойти на вечеринку нарядно одетой и вернуться домой в том же платье, не надо было переодеваться, укладывать юбки в седельный вьюк, а потом, проскакав на лошади десять миль, вынимать их и гладить снова.

Работа в школе поглощала все ее время, но Оливия не переставала тосковать по городской жизни, и когда некий молодой человек, построивший в Кинг-Сити собственную мельницу, должным образом испросил ее руки, Оливия ответила согласием, настояв, чтобы их помолвка долгое время оставалась в тайне. Конспирация была необходима: если бы в Пичтри узнали о помолвке, местные парни подняли бы бунт.

Оливия не унаследовала от отца его искристого юмора, но шутки понимала, и любовь к веселью сочеталась в ней с доставшейся от матери негибимой волей. Ученики могли крутить носом сколько угодно, но Оливия все равно впихивала в них знания ложку за ложкой.

Образованность принимали в штыки. Умеет парнишка читать, умеет считать — и ладно. А то позабывают головы науками, и сразу им все не нравится, сразу подавай им неизвестно что. Уж сколько раз так бывало: выучатся и бросают ферму, в город уезжают, думают, умнее отца родно-

го стали. Немного арифметики, чтобы умел мерить землю и доски, подсчитывать приход-расход; немного правописания, чтобы мог заказать товар и написать письмо родственникам; немного чтения, чтобы без труда читал газеты, альманахи и сельские журналы; немного музыки, чтобы правильно пел псалмы и государственный гимн; а все остальное — ни к чему, только с панталыку сбивает. Считалось, что образование нужно лишь докторам, адвокатам и учителям, потому что те — народ особый и с обычными людьми ничего общего не имеют. Конечно, и среди фермеров попадались чудаки вроде Самюэла Гамильтона. Что ж, к нему относились снисходительно, даже любили, но одному Богу известно, что бы думали о семье Гамильтонов, не умеи Самюэл бурить колодцы, подковывать лошадей и управляться с молотилкой.

Итак, Оливия все же вышла замуж и переехала сначала в Пасо-Роблес, потом в Кинг-Сити и наконец — в Салинас. Оливия была наделена удивительной, почти кошачьей интуицией. В своих поступках она руководствовалась скорее чувствами, нежели рассудком. От матери ей достались решительный подбородок и носик пуговкой, а от отца — красивые глаза. Из всех Гамильтонов, если не считать Лизу, Оливия отличалась наибольшей цельностью натуры. Ее религиозные воззрения представляли собой причудливую смесь: феи из ирландских сказок соседствовали в ее теологической системе с ветхозаветным Иеговой, которого она в более поздние годы путала со своим отцом. Рай в представлении Оливии был уютным домом, который населяли ее покойные родственники. Все огорчительное в окружавшей ее действительности Оливия попросту отменяла, наотрез отказываясь верить, что такое существует, и когда ее пытались переубедить, гневалась не на шутку. Как рассказывают, она однажды горько плакала, когда поняла, что не сможет одновременно плясать на двух балах. Один бал устраивали в Гринфилде, а другой, в ту же субботу, — за двадцать миль от Гринфилда, в Сан-Лукасе. Чтобы потанцевать и там, и там, а потом вернуться домой, ей пришлось бы отскакать верхом шестьдесят миль. Она не желала верить, что такое невозможно, но была не в силах сокрушить этот огорчительный факт, а потому, рыдая от досады, не поехала ни в Гринфилд, ни в Сан-Лукас.

В более зрелом возрасте Оливия разработала для борьбы с неприятностями метод массированного наступления. Когда мне, ее единственному сыну, было шестнадцать лет, я заболел двусторонним воспалением легких, болезнью, в то время считавшейся смертельной. Я слабел, я угасал, и ангелы уже шелестели надо мной крылами. Оливия развернула против моего недуга массированное наступление, и ее метод себя оправдал. Вместе со мной о моем здравии молился священник англиканской церкви, настоятельница и монахини соседнего монастыря дважды в день поднимали меня на руках ближе к небу с просьбой ниспослать мне облегчение, один наш дальний родственник, последователь «христианской науки», также не забывал меня в своих устремленных к Всевышнему думах. Были пущены в ход все известные заклинания, ворожба, настойки из трав и корней, а кроме того, Оливия наняла двух опытных сиделок и пригласила лучших врачей города. Ее метод сработал. Я выздоровел. Оливия была любящей и строгой матерью; своих детей — трех моих сестер и меня — она приучала к работе по дому, заставляла мыть посуду, стирать белье и не забывать о хороших манерах. А в гневе могла одним лишь взглядом содрать с провинившегося ребенка шкуру — легко и просто, будто чулок с ноги.

Когда я оправился от воспаления легких, мне пришлось заново учиться ходить. Больше двух месяцев я лежал не вставая, мышцы у меня потеряли упругость, и по мере того как болезнь отступала, мною завладевала лень. Когда меня приподняли, во мне заныла каждая жилка и нещадно заболел бок, проколотый докторами, чтобы откачивать гной. Я упал на подушки и застонал:

— Не могу! Мне не встать!

Оливия прошила меня гневным взглядом.

— Встань сейчас же! — приказала она. — Твой отец работает целыми днями, ночей не спит. Он из-за тебя в долги влез. А ну вставай!

И я встал.

«Долги» — само это слово и то, что за ним стоит, вызывало у Оливии отвращение. Счет, не оплаченный до пятнадцатого числа, превращался в долг. Слово «долги» ассоциировалось с чем-то грязным, с распушенностью, с бесчестием. Оливия искренне считала, что ее семья лучшая в мире, и из чувства снобизма не могла допустить,

чтобы такую семью пятнали долги. Она настолько прочно привила своим детям смертельную боязнь наделать долгов, что даже сейчас, когда экономический уклад изменился и долги стали неотъемлемой частью жизни, я каждый раз начинаю нервничать, если какой-нибудь счет просрочен у меня на пару дней. Оливия была решительно против покупок в кредит, даже когда система кредитов стала очень популярной. Купленное в кредит еще не твоя собственность, а раз так, то это те же долги. Оливия сначала копила деньги, а уж потом покупала то, что хотела, оттого-то новые вещи появлялись у нас года на два позже, чем у наших соседей.

2

Оливия обладала великой отвагой. Вероятно, чтобы растить детей, это качество необходимо. И еще я просто обязан рассказать вам, как Оливия разделалась с первой мировой войной. Мышлению Оливии были чужды категории международного масштаба. Слово «граница» увязывалось в ее представлении прежде всего с пространством, на котором жила ее семья, затем — с ее городом, то есть с Салинасом, ну и, наконец, существовала некая размытая пунктирная линия, обозначающая пределы округа. Поэтому Оливия не очень-то поверила, что началась война, и продолжала не верить, даже когда салинасский эскадрон добровольческой кавалерии, попав под призыв, погрузил лошадей в вагоны и отбыл в неизвестном направлении.

Мартин Хопс жил рядом с нами, за углом. Широкоплечий, коренастый, рыжий. У него был большой рот, а глаза всегда казались красными. В Салинасе трудно было найти более застенчивого парня. Сказать «доброе утро» и то было для него самоистязанием. В кавалеристы он записался потому, что у эскадрона была своя баскетбольная площадка в здании учебного манежа.

Знай немцы Оливию и будь они поумнее, они бы из кожи вон вылезли, только бы ее не прогневить. Но они ее не знали, а может, были дураки. Убив Мартина Хопса, они проиграли войну, потому что моя мать пришла в бешенство и взялась за них, засучив рукава. Она любила Мартина Хопса. Он за свою жизнь и мухи не обидел. Когда немцы его убили, Оливия объявила Германской империи войну.

Она долго подыскивала смертоносное оружие. Вязать шерстяные шлемы и носки было, по ее мнению, недостаточно свирепой расправой. Некоторое время она носила форму медсестры Красного Креста и вместе с другими аналогично одетыми дамами ходила в учебный манеж, где они шипали корпию и чесали языки. Это было неплохо, но все же не могло нанести удар кайзеру в самое сердце. У Мартина Хопса отняли жизнь, и Оливия жаждала крови. Искомым оружием для нее стали облигации военного займа «Свобода». И хотя Оливия никогда прежде не занималась торговлей — разве что изредка выставляла свои торты с воздушным кремом на благотворительных аукционах в подвале англиканской церкви, — она вскоре начала продавать облигации пачками. Работала она как зверь, яростно и неукротимо. Мне думается, она нагоняла на людей такой страх, что мало кто осмеливался ей отказать. Ну а уж те, кто у нее покупал, чувствовали себя настоящими бойцами, облигации были для них штыком, который они вонзали в брюхо Германии.

Когда ежемесячная выручка Оливии подскочила до рекордной цифры и продолжала удерживаться на том же уровне, министерство финансов обратило внимание на новоявленную амазонку. Поначалу ей посылали стандартные благодарности, распечатанные на ротаприфте, но потом Оливия стала получать и настоящие письма, подписанные министром финансов, — там действительно стояла его личная подпись, а не факсимиле, оттиснутое резиновой печатью. Мы гордились матерью, но наша гордость возросла стократ, когда посыпались премии и подарки: немецкая каска (ни на одного из нас она не налезала), штык, искореженный осколок шрапнели на красивой черной подставке. Мы еще не достигли призывного возраста, нам позволялось лишь маршировать с деревянными винтовками, и потому война, которую вела Оливия, в какой-то степени оправдывала наше собственное неучастие в вооруженном конфликте. А потом наша мать превзошла самое себя да и вообще всех, кто распространял облигации в этом районе Америки. Она в четыре раза превысила свой прежний и без того сказочный рекорд и была удостоена небывалой награды — ее решили покатать на военном самолете.

Как же мы раздулись от гордости! Даже косвенная причастность к столь великому событию была для нас не-

вообразимой честью. А бедняжка Оливия... надобно вам сказать, что уж если моя мать не верила в существование каких-то предметов или явлений, даже самые неопровержимые доказательства не могли поколебать ее неверия. Так, во-первых, она не верила, что человек, носящий фамилию Гамильтон, может быть плохим, а во-вторых, не верила, что существуют самолеты. То, что она не раз видела их собственными глазами, не играло ни малейшей роли — она все равно не верила.

Вспоминая, на что она решилась, я пытаюсь представить себе, какие она при этом испытывала чувства. Душа ее, вероятно, цепенела от ужаса, потому что разве можно полететь на чем-то, чего не существует? Если бы самолетную прогулку ей уготовили в виде наказания, это было бы жестоко и несколько необычно, но в данном случае полет предлагался ей как награда, как премия и почесть. Заглядывая в наши сияющие глаза, мать, должно быть, видела там восторженное благоговение и понимала, что попала в ловушку. Не полететь значило обмануть ожидания семьи. Ее загнали в тупик, единственным достойным выходом из которого была смерть. Раз уж она решилась подняться к небу в несуществующем предмете, то, видимо, даже не помышляла остаться в живых.

Оливия составила завещание — потратила на это немало времени и, чтобы ее последняя воля имела законную силу, заверила документ у нотариуса. Затем она открыла свою шкатулку красного дерева, где хранила письма мужа, начиная с самых первых, написанных еще до помолвки. Оказывается, он писал ей стихи, а мы и не подозревали. Разведя в плите огонь, она сожгла эти письма, все до единого. Они были написаны ей, и она не желала, чтобы их прочел кто-то еще. К дню полета она купила себе новое нижнее белье. Мысль о том, что, найдя ее труп, люди увидят заштопанную или, хуже того, дырявую комбинацию, наполняла ее ужасом. Возможно, все это время ей казалось, будто Мартин Хопс, кривя широкий рот, глядит на нее своими застенчивыми глазами, и у Оливии было ощущение, что она вроде как возмещает ему ущерб, причиненный утратой жизни. С нами она в эти дни была очень ласковой и не замечала на кухонном полотенце жирных пятен от плохо вымытых тарелок.

Триумфальное событие намечалось провести на Сали-

насском ипподроме. Нас туда повезли на армейском автомобиле, мы ликовали от сознания своей исключительности и, наверно, на самых пышных похоронах держались бы менее торжественно. Наш отец работал на сахарном заводе «Спреклз» в пяти милях от города и не смог отпроситься, а может быть, сам не захотел ехать, боясь, что не вынесет нервного напряжения. Но Оливия, пригрозив, что вообще не сядет в самолет, заранее договорилась, чтобы сначала летчик попытался долететь до сахарного завода, а уж потом, пожалуйста, они могут разбиться.

Теперь-то я понимаю, что сотни людей, собравшихся на ипподроме, пришли просто поглазеть на самолет, но тогда мы были уверены, что они явились воздать почести нашей матери. Оливия была невысокого роста и с возрастом располнела. Нам пришлось помогать ей, когда она вылезала из машины. Вероятно, сердце ее заходило от страха, но маленький подбородок был решительно вздернут.

Самолет стоял посреди ипподрома. Он был крошечный и на вид ужасающе хрупкий — биплан с открытой кабиной и с деревянными шасси, обмотанными проволокой. Крылья были обтянуты парусиной. Оливия оторопела. К самолету она пошла, как агнец на заклание. Поверх платья — она была уверена, что это платье станет ее погребальным саваном, — два сержанта напялили на нее шинель, затем ватник, затем форменную кожанку, и по мере того, как Оливию одевали, она округлялась на глазах. Потом на нее надели кожаный шлем и большие авиационные очки; в сочетании с ее носиком-пуговкой и румяными щеками эффект получился сногшибательный. Она была похожа на мяч в очках. Совместными усилиями сержанты подняли ее в кабину и втиснули в кресло. Она заполнила собой пассажирский отсек до отказа. Когда ее привязали к креслу, она внезапно ожила и отчаянно замахала руками. Кто-то из солдат взобрался на крыло, выслушал просьбу Оливии, затем подошел к моей сестре Мэри и повел ее к самолету. Оливия судорожно стягивала с себя толстые стеганые летные перчатки. Высвободив руки, она сняла колечко с бриллиантом, которое муж подарил ей в день помолвки, и отдала его Мэри. Затем покрепче накрутила на палец свое золотое обручальное кольцо, снова натянула перчатки и уставилась в пустоту. Пилот взобрался в передний отсек кабины, и один из сержантов налег всем телом на

деревянный пропеллер. Самолетик отбуксировали к краю поля, он развернулся, с ревом промчался через ипподром и, дрыгаясь, поднялся в воздух, а Оливия все это время глядела перед собой, и глаза ее скорее всего были закрыты.

Мы следили, как самолет набирает высоту и удаляется от ипподрома, оставляя после себя тоскливую тишину. Ни члены комитета по распространению облигаций, ни друзья, ни родственники, ни даже рядовые зрители не думали расходиться. Превратившись в крошечную точку, самолет взял курс на сахарный завод и вскоре исчез. Вновь мы увидели его лишь через пятнадцать минут: он безмятежно плыл по небу на очень большой высоте. Вдруг мы с ужасом заметили, как он споткнулся и, кажется, начал падать. Это падение длилось целую вечность, потом самолет выровнялся, вновь пополз вверх и описал петлю. Сержант рядом с нами рассмеялся. Несколько секунд самолет летел спокойно, но вдруг будто взбесился. Он делал «бочки», крутил «иммельманы», выписывал восьмерки, потом перевернулся и пролетел над ипподромом вверх ногами. Мы даже увидели шлем Оливии — маленький черный кругляш.

— По-моему, пилот спятил, — тихо сказал какой-то солдат. — Она все-таки женщина немолодая.

Самолет довольно плавно приземлился и подкатил к толпе. Рев мотора стих. Озадаченно мотая головой, пилот выбрался из кабины.

— Ну, тетка, сильна! — сказал он. — Первый раз такую вижу. — Привстав на цыпочки, он пожал безжизненную руку Оливии и торопливо ушел.

Чтобы вытащить Оливию из самолета, понадобилось много времени и четверо человек. Ее не могли ни согнуть, ни разогнуть, так она одеревенела от страха. Мы отвезли ее домой, уложили в постель, и она не вставала два дня.

Картина случившегося прояснялась постепенно. Кое-что рассказал пилот, кое-что — Оливия, и только сложив их рассказы в один, мы все поняли. Стартовав с ипподрома, они, как было условлено, пролетели над сахарным заводом — сделали над ним три круга, чтобы наш отец наверняка увидел самолет, а потом пилоту вздумалось пошутить. Его намерения были совершенно безобидны. Он что-то прокричал, и лицо его, как показалось Оливии, перекошилось. Сквозь шум мотора она не расслышала, что он кри-

чит. А пилот, сбавив газ, прокричал: «Ну что, покувыркаемся малость?» Это он так шутил. Оливия увидела его закрытое очками лицо, воздушный поток сдул в сторону и искажил выкрикнутые пилотом слова. До Оливии донесся только конец фразы, и вместо «малость» она услышала «сломалось».

Ну конечно, подумала Оливия, так я и знала. Вот и смерть пришла. Мысленно она проверила, не забыла ли чего: завещание составлено, письма сожжены, нижнее белье новое, еда в доме — на ужин хватит вполне. А свет в чулане она погасила? Все это пронеслось у нее в голове за долю секунды. Потом она подумала: а вдруг еще есть какой-то шанс уцелеть? Молодой летчик явно напуган, и страх может только помешать ему найти выход из положения. Если она не сумеет скрыть охватившего ее ужаса и запаникует, летчик испугается еще больше. Оливия решила подбодрить его. Весело улыбнувшись, она кивнула ему, чтобы он не робел, и в тот же миг под ней разверзлась бездна. Выведя самолет из петли, пилот снова повернулся к Оливии и прокричал: «Еще?»

Оливия уже вообще ничего не слышала, но сидела задрав подбородок и была твердо намерена поддерживать пилота, чтобы он окончательно не потерял голову, прежде чем они врежутся в землю. Она улыbnулась и снова кивнула. После каждой фигуры он оглядывался на Оливию, и она всякий раз снова его ободряла. Позднее, рассказывая об этом, он не уставал повторять: «Ну, сильна тетка! Первый раз такую видел. Я уже все инструкции к чертям нарушил, а она только — еще и еще! Вот бы из кого летчик вышел, это да!»

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

Став хозяином ранчо, Адам блаженствовал, как сытый довольный кот. Из маленькой лощины под гигантским дубом, корнями дотягивавшимся до грунтовых вод, открывался вид на земли Адама: десятки акров по обе стороны реки, аллювиальное плато, на западе плавно переходящее в округлые холмы. Здесь было прекрасно даже летом,

когда солнце стегало землю колючими лучами. Посредине ранчо, словно скрепляя обе его половины, тянулась полоса речных ив и платанов, а на западе холмы рыжели пышной травой. В Салинас-Валли слой почвы на западных горах почему-то толще, чем на склонах восточной гряды, и трава там растет обильнее. Может быть, высокие пики накапливают влагу про запас и распределяют ее равномернее, а может быть, оттого, что леса там гуще, западные горы сильнее притягивают к себе дожди.

В поместье Санчесов (теперь ранчо Траска) возделывалась лишь очень малая часть земли. Но мысленно Адам уже видел поля высокой пшеницы и зеленые квадраты люцерны возле реки. За спиной у него стучали молотками плотники, которых он привез сюда из Салинаса перестраивать старый дом Санчесов. Адам решил, что жить будет в старом доме. Лучшего места для основания династии было не найти. Из дома вычистили навоз, сняли старые полы, выломали обслюнявленные коровами оконные рамы. Все мастерили заново, из свежего дерева: из остро пахнущей смолой сосны, из бархатистой калифорнийской секвойи; настелили новую крышу, обшив ее длинными тонкими досками. Старые толстые стены слой за слоем впитывали в себя белила из извести, замешенной на соленой воде, и, высыхая, словно светились изнутри.

Адам задумал свить здесь гнездо навсегда. Садовник подстриг древние розы, посадил герань, перенес рассаду овощей в открытый грунт, направил резвый ручей в канавки, прокопанные по всему саду. Адам предвкушал, каким комфортом будут окружены он сам и его потомки. В сарае лежала под брезентом нераспакованная массивная мебель, которую он заказал в Сан-Франциско и перевез сюда из Кинг-Сити на телегах.

И быт в доме тоже будет налажен. Его повар Ли, китаец с косичкой, специально съездил в Пахаро и закупил там кастрюли, чайники, сковородки, кадушки, банки, медную и стеклянную посуду — словом, все, что нужно для кухни. На большом расстоянии от дома, с подветренной стороны строился новый свинарник, а неподалеку от него — птичник с выгонами для кур и уток и еще псарня, чтобы собаки не подпускали койотов. Замысел Адама был слишком солиден и требовал времени, на скорую руку все не построишь. Нанятые им мастера работали основательно

и неторопливо. Это было долгое предприятие. И Адам хотел завершить его на совесть. Он проверял каждый стык, каждый паз и, отойдя в сторону, внимательно вглядывался в образцы краски на фанерных дощечках. В углу его комнаты висилась стопка каталогов — каталоги сельскохозяйственного инвентаря, отделочных материалов, семян, фруктовых деревьев. Теперь-то Адам радовался, что благодаря отцовскому наследству разбогател. Воспоминания о Коннектикуте постепенно заволакивались темнотой. Возможно, яркий, резкий свет американского Запада вытравлял из его памяти образ родного края. Когда он возвращался мыслями в дом своего отца, на их ферму, в городок, пытался припомнить лицо брата — он видел только сплошную черноту. И Адам старался скорее прогнать воспоминания.

Кэти он временно поселил в чистом побеленном доме Бордони, чтобы она дожидалась там конца строительства и рождения ребенка. Было ясно, что ребенок родится раньше, чем будет готов дом. Но Адам все равно не спешил.

— Я хочу, чтобы дом стоял крепко, — снова и снова повторял он рабочим. — Мне надо, чтоб на долгие годы... Только медные гвозди и только прочные доски... чтобы ничего не ржавело и не гнило.

Планы на будущее строил не он один. Вся Долина, весь американский Запад были заняты тем же. То была эпоха, когда прошлое утратило свою притягательность, свой аромат. Вернуть «золотое времечко» мечтал разве что какой-нибудь глубокий старик, да такого надо было еще и поискать. Похоронив прошлое, люди уверенно вписались в настоящее, и, несмотря на всю его суровость и неотзывчивость, оно их устраивало, правда, лишь как преддверие сказочно-прекрасного будущего. И чуть ли не в любом разговоре — например, встретятся на улице два приятеля, или прислонятся к стойке бара три фермера, или рассядутся вокруг костра десять-двенадцать охотников и вонзят зубы в жесткую оленину — речь непременно заходила о будущем Долины: оно ошеломляло своим великолепием, и говорили о нем не предположительно, а с уверенностью.

— Все это будет... кто знает, может, еще при нашей жизни, — говорили люди.

И каждый рисовал себе картину счастливого будущего по-своему, в зависимости от того, чего был лишен в насто-

ящем. Скажем, едет фермер с семьей в город, спускаются они со своего горного ранчо в санях-волокушах — такая здоровенная коробка на дубовых полозьях, — и швыряет их по камням с ухаба на ухаб. Жена сидит на охапке соломы и прижимает к себе детей, чтобы от этой тряски не остались без зубов и язык ненароком не откусили. А отец семейства упирается пятками, натягивает вожжи и мечтает: «Вот построят дороги, тогда заживем! Еще бы, на собственной пролетке, чин чинарем, красиво, приятно, и до Кинг-Сити всего три часа — что еще нужно человеку?»

Или, скажем, обходит фермер свою дубовую рощу, а дубы там один к одному, древесина крепкая, как уголь, а горит даже жарче, и в кармане у него, к примеру, газета, а в ней объявление: «За один корд¹ дубовых дров в Лос-Анджелесе вам заплатят 10 долларов». Ха, думает он, вот подведут сюда железную дорогу, выложу я свои дрова возле шпал, напиленные, сухонькие, и заплачу посреднику по полтора доллара за корд. Ну хорошо, пусть даже сдерут с меня по три с половиной доллара за перевозку. Все равно с каждого корда выручу пять долларов, а у меня в моей рошце три тысячи кордов, как пить дать. Итого, чистой прибыли пятнадцать тысяч».

Были и такие, что, сияя нимбами, пророчествовали о времени, когда по всей Долине протянутся оросительные каналы — кто знает, может, еще при нашей жизни, — или что пробурят глубокие скважины, и паровые насосы будут подавать воду наверх из недр земли. Представляете, какие пойдут урожаи, когда воды будет хоть залейся? Да здесь же будет цветущий сад, ей-богу!

А еще один, правда, он был сумасшедший, кричал, что скоро можно будет возить отсюда персики аж в Филадельфию — то ли в ящиках со льдом, то ли как-то еще, — и, мол, ничего с ними не сделается, будут такие же сочные, как этот, что у меня в руке!

В маленьких городках поговаривали, что, дескать, должны со временем провести канализацию и уборные будут прямо в доме — а у некоторых так уже и было, — и что на уличных перекрестках поставят фонари с дуговым светом — в Салинасе уже стояли — и телефоны. Будущее сулило безграничные, беспредельные возможности. Счастья

¹ К о р д — мера объема дров, равная 3,624 м³.

у людей будет ну прямо полные штаны! Изобилие хлынет в Долину бурным потоком, как река Салинас в мартовские дни богатого дождями года.

Люди глядели на плоскую, сухую, пыльную землю, на выросшие откуда ни возьмись неказистые городишки и видели то прекрасное, что будет... кто знает, может, еще при нашей жизни. Потому-то, кстати, не стоило особенно смеяться над фантазиями Самюэла Гамильтона. А он фантазировал с таким смаком, что за ним было не угнаться, но когда люди слышали о переменах, происходящих, к примеру, в Сан-Хосе, его идеи не казались совсем уж бредовыми. И, пожалуй, в одном только у Самюэла слегка заходил ум за разум: он, видите ли, сомневался, будут ли люди счастливы, когда это замечательное время наконец настанет.

Будем ли мы счастливы? И вправду спятил. Ты нам только дай все это заполучить, и сам увидишь!

А Самюэл в ответ рассказывал про своего двоюродного дядьку — давняя история, Самюэл се еще в Ирландии слышал, — что тот, мол, был знатен, богат, красив, но вдруг взял и застрелился на шелковом диване прямо посреди разговора с красивейшей женщиной на свете, которая к тому же его любила.

— Аппетит меры не знает, — говорил Самюэл. — Дашь человеку сладкого пирога, наестся он так, что у него этот пирог из носа лезет, а ему подавай еще.

Адам Траск связывал с будущим много счастливых надежд, но уже и сейчас жизнь дарила ему немало приятного. Сердце радостно екало у него в груди, когда он глядел на Кэти, молча сидевшую на солнце, видел, как подрастает дитя в ее чреве, любовался белизной ее кожи, нежной, словно у ангелов на картинках, развешенных в воскресной школе. Стоило ветру шевельнуть ее светлые волосы, стоило ей невзначай поднять глаза, и Адама распирало от восторга, того пронзительного восторга, что сродни скорби.

Да, Адам блаженствовал на своем ранчо, точно сытый холеный кот, но, если на то пошло, в Кэти тоже было что-то кошачье. Ей была присуща свойственная зверям способность легко отказываться от недоступного, и в то же время, если намеченное было ей по силам, она могла затаиться и терпеливо выжидать. Два эти качества были для Кэти отличным подспорьем. Беременность неожиданно спутала

ей карты. Когда аборт не удался и доктор припугнул ее, Кэти отказалась от выбранного пути. Но это вовсе не значило, что она смирилась. К своей беременности она относилась как к болезни, которую надо перетерпеть. Точно так же отнеслась она и к браку с Адамом. Она попала в западню и потому выбрала наилучший возможный выход. Ехать в Калифорнию она тоже не хотела, но пришлось, она временно пожертвовала другими планами. Еще ребенком она научилась добиваться своего, побеждая противника его же руками. Если противостоять силе невозможно, гораздо проще направить ее в нужное тебе русло. Очень немногие догадались бы, что Кэти живет сейчас не там, где хотела бы, и не так, как задумала. Она пока дала себе передышку и спокойно ждала, твердо зная, что рано или поздно положение изменится. Кэти обладала важнейшим качеством, необходимым великому удачливому преступнику: она никому не доверяла и ни с кем не делилась своими намерениями. Она существовала сама по себе, как остров в океане. Возможно, Кэти даже не глядела на купленную Адамом землю, не замечала, что строится дом, и не вникала в грандиозные замыслы Адама, потому что она не собиралась оставаться здесь, когда ее болезнь пройдет и западня распахнется. Тем не менее на все вопросы Адама она отвечала, как нужно: вести себя иначе означало бы лишь понапрасну напрягаться и тратить силы впустую, а умным кошкам такое чуждо.

— Заметь, моя радость, как удачно стоит дом — окна выходят прямо на Долину.

— Да, чудесно.

— Знаешь, это, наверно, глупо, но я часто ставлю себя на место Санчеса и пытаюсь разгадать, что он думал столет назад. Какой была тогда эта земля? Ведь он, как мне кажется, учел все. У него здесь был даже водопровод, можешь себе представить? Трубы он сделал из стволов секвойи: то ли выдолбил, то ли прожег в них отверстия, и вода из ручья подавалась в дом. Мы откопали остатки этих труб.

— Удивительно. Должно быть, он был очень умный.

— Мне хочется узнать про него побольше. По-моему, он очень тонко чувствовал красоту. Посмотри, как расположен дом, какая у него архитектура, какие пропорции, как посажены деревья!

— Он ведь был испанец? Я слышала, испанцы — очень одаренный народ. Помню, в школе мы проходили про одного художника... нет, тот был грек.

— Все время думаю, как бы разузнать про Санчеса подробнее.

— Пспрашивай людей. Кто-нибудь да знает.

— Он вложил в этот дом столько труда, так все продумал, а Бордони держал там коров. И знаешь, что занимает меня больше всего?

— Что, дорогой?

— Мне интересно, была ли у Санчеса своя Кэти. И если да, то какая она была?

Она улыбнулась, потупила глаза и отвела взгляд в сторону.

— Ах, Адам, ну что ты такое говоришь!

— Я уверен, что была! Была непременно! Ведь до встречи с тобой я не чувствовал себя сильным, у меня не было цели в жизни... не было даже особой охоты жить.

— Адам, не смущай меня. Ой, осторожнее! Не тискай так, мне больно.

— Прости. Я ведь неуклюжий, как медведь.

— Нет, несколько. Просто ты забываешь. Может, мне пора что-нибудь шить или вязать, как ты думаешь? Хотя ужасно приятно сидеть просто так и ничего не делать.

— Все, что понадобится, мы купим. А ты сиди и ни о чем не думай. Вынашивать ребенка это ведь тоже в определенном смысле работа, и ты здесь, можно сказать, трудишься больше всех. Зато награда за этот труд... есть ли что дороже!

— Адам, я боюсь, шрам на лбу так у меня и останется.

— Доктор сказал, со временем он побледнеет.

— Иногда он вроде бы светлеет, а потом все опять, как было. Вот и сегодня он, по-моему, снова потемнел, да?

— Нет, мне не кажется.

Но шрам действительно потемнел. Он был очень похож на отпечаток, оставленный огромным пальцем: казалось даже, что морщинки складываются в затейливый рисунок. Адам притронулся к шраму, и Кэти дернула головой.

— Не надо. Там очень нежная кожа. Если надавить, сразу покраснеет.

— Он у тебя обязательно пройдет. Нужно только время.

Она улыбнулась ему, но когда он повернулся и ушел, глаза ее стали пустыми, а взгляд рассеянным. Она заерзала в кресле. Ребенок в утробе беспокойно ворочался. Кэти глубоко вздохнула, и мышцы ее расслабились. Она застыла в ожидании.

— Мисси хочет чай?

— Нет... впрочем, принеси.

Она изучающе глядела на китайца, но его темно-карие глаза оставались непроницаемы. В его присутствии она всегда чувствовала себя беспокойно. Кэти умела пробиться сквозь оболочку любого человека и докапывалась до самых затаенных помыслов и желаний. Но оболочка, скрывавшая сущность Ли, была упругой и неподатливой, как резина. Его худое приятное лицо с высоким открытым лбом свидетельствовало об уме, с губ не сходила вежливая улыбка. Длинная черная поблескивающая коса, перевязанная внизу тонкой ленточкой из черного шелка, была перекинута через плечо на грудь и покачивалась в такт шагам. Когда Ли занимался работой, требующей резких движений, он обматывал косу вокруг головы. Ходил он в узких сатиновых брюках, в черных шлепанцах и обшитой тесьмой китайской блузе. Как было принято в те годы среди большинства китайцев, Ли чуть что прятал руки в рукава, словно боялся, что ему отрежут пальцы.

— Моя плиноси маленькая столика.— Он коротко поклонился и засеменил прочь.

Кэти посмотрела ему вслед и нахмурилась.

Она не боялась Ли и все же чувствовала себя рядом с ним неуверенно. А вообще он был хороший и почтительный слуга — лучше не найти. Да и что плохого мог он ей сделать?

2

Лето набирало силу, и река Салинас уползала в песок, под высокими берегами оставались лишь зеленые лужи стоячей воды. Коровы и овцы целыми днями сонно лежали в тени ив и только к вечеру брели на пастбища. Трава побурела. Налетавший после полудня ветер гнал по Долине пыль, и она желтым туманом поднималась в небо, высоко-высоко, чуть ли не к вершинам. В тех местах, где сдуло почву, корни дикого овса торчали жесткими пучками. Сухие

ветки и клочья соломы носились по отполированной ветром земле, пока их не прибывало к кустам или деревьям; мелкие камни зигзагами перекатывались из стороны в сторону.

Теперь Адам еще яснее понял, почему старый Санчес поставил дом в лощине: ветер и пыль не проникали сюда, а ручей, хоть и слегка обмелел, по-прежнему бодро нес поток чистой прохладной воды. Но, глядя на свою высохшую, покрытую слоем пыли землю, Адам, как любой переселенец, живущий в Калифорнии первый год, впадал в панику. В Коннектикуте, если дождя нет две недели, считается, что лето выдалось сухое, а если без дождя проходит месяц, это уже засуха. Если холмы и равнины не зеленеют, значит, земля умирает. Но в Калифорнии с конца мая до начала ноября дождей обычно не бывает совсем. И у выходца с Восточного побережья, сколько бы его ни успокаивали, возникает ощущение, что в эти сухие месяцы земля тяжело больна.

Адам написал записку и отправил Ли на ферму Гамильтонов передать, что просит Самюэла заглянуть к нему и обсудить закладку колодцев.

Когда Ли въехал на бричке во двор, Самюэл сидел в тени и наблюдал, как его сын Том мастерит капкан собственной, принципиально новой конструкции для ловли енотов. Ли спрятал руки в рукава и молча ждал, пока Самюэл прочтет записку.

— Том,— сказал Самюэл,— сумеешь позаботиться, чтобы наше имение не пришло в упадок, пока я съезжу в Долину поговорить с одним страдальцем, у которого без воды во рту пересохло?

— Давай я поеду с тобой. Может, тебе помощь понадобится.

— Помощь в чем? В разговоре? Сегодня я и сам управляюсь. Насколько я могу судить, до рытья колодцев еще далеко. А вот когда начнем рыть, тогда уж точно, от разговоров язык устанет — на каждую лопату земли, думаю, по пятьсот — шестьсот слов придется.

— Мне охота поехать с тобой... ты же к мистеру Траску едешь? Я с ним до сих пор не знаком.

— Познакомишься, когда рыть начнем. Я старше тебя, и за мной право первого разговора. Между прочим, Том, енот просунет вон туда свою лапку и выберется на свободу. Ты же знаешь, какие еноты умные.

— А я, видишь, что здесь придумал? Завинчивается и опускается вниз. Ты бы и сам оттуда не выбрался.

— Я же не такой умный, как енот. Но, пожалуй, ты действительно все предусмотрел. Будь другом, сынок, сходи на конюшню, снаряди мне Акафиста, а я пока предупрежу мать, что уезжаю.

— Моя на бличке приехала,— сказал Ли.

— Но мне же надо будет и домой как-то вернуться.

— Моя отвезет.

— Вздор,— возразил Самюэл.— Я привяжу Акафиста к бричке, а назад вернусь верхом.

Самюэл уселся на козлы рядом с Ли, и лошадь Самюэла, неуклюже перебирая сбитыми ногами, поплелась за бричкой.

— Как тебя зовут? — дружелюбно спросил Самюэл.

— Ли. Есть и другая имя, много. Ли — это моя папа имя. Вся семья Ли зовут.

— Я о Китае немало читал. Ты в Китае родился?

— Нет. Здесь.

Самюэл надолго замолчал; бричка, кренясь, ползла по колее, спускавшейся в пыльную долину.

— Ли,— наконец нарушил он молчание,— я и в мыслях не держу тебя обидеть, но мне все же непонятно, почему вы, китайцы, до сих пор говорите на какой-то тарабарщине, тогда как даже неграмотный пень из черных ирландских болот, деревенщина, у которого башка забита гэльским¹, а язык, как лопата, и тот, прожив десяток лет в Америке, более-менее сносно говорит по-английски.

Ли усмехнулся.

— Моя говори, как китайца.

— Что ж, наверно, у тебя есть на то причины. Да не мое это дело. Только ты уж извини, я тебе не верю.

Китаец хмыкнул, посмотрел на него, карие глаза под полукружьями век словно открылись шире, утратили чужеземную отстраненность, в них появилось тепло и понимание.

— Во-первых, нам так удобнее,— сказал он.— Во-вторых, это своего рода самозащита. Но дело не в этом. Мы вынуждены говорить так главным образом потому, что иначе нас не поймут вообще.

¹ Г э л ь с к и й — язык из группы кельтских, распространенный в Ирландии и Шотландии.

Самюэл и виду не подал, что заметил происшедшую с Ли перемену.

— Два первых объяснения я могу понять,— кивнул он.— Но третье до меня как-то не доходит.

— Я знаю, вам трудно поверить, но и со мной, и с моими друзьями подобное случалось так часто, что мы уже привыкли. Если бы мне понадобилось, например, что-то спросить и я бы подошел к людям и заговорил так, как сейчас, они бы меня не поняли.

— Господи, да почему?

— Потому что они уверены, что я буду лопотать «твоя-моя», и ухо у них уже настроено на эту тарабарщину. А заговори я на нормальном английском, их слух его не воспримет, и они меня не поймут.

— Неужели правда? А как же я тебя понимаю?

— Поэтому я с вами и разговариваю. Вы из тех редких людей, чье восприятие не замутнено предвзятостью. Вы видите то, что есть, а большинство видит то, что хочет увидеть.

— Мне это не приходило в голову. На себе я ничего такого не испытывал, но в твоих словах есть зерно истины. Я рад, что мы с тобой разговорились. У меня к тебе множество вопросов.

— Отвечу с удовольствием.

— Даже не знаю, с чего начать... Вот, например, ты носишь косу. Я слышал, коса у китайцев — символ рабства, навязанный им маньчжурами после завоевания Южного Китая.

— Да, правильно.

— Тогда скажи на милость, зачем ты носишь косу здесь — ведь в Америке маньчжурам до тебя не добраться.

— Моя по-китайски говоли. Моя — китайца, а китайца должна с косой ходи, понимай?

Самюэл расхохотался.

— Твой маскарад и впрямь надежное удобство. Жаль, у меня нет прикрытия вроде твоего.

— Не знаю, сумею ли вам объяснить,— сказал Ли.— Кто не познал это на собственном опыте, тому трудно в такое поверить. Вы, как я понимаю, родились не в Америке.

— Я родился в Ирландии.

— И тем не менее через несколько лет в вас перестали видеть иностранца; а мне, хоть я и родился здесь,

в Грасс-Валли, ходил в местную школу, а потом несколько лет учился в Калифорнийском университете — мне никогда не слиться с окружением.

— А если ты отрежешь косу и начнешь одеваться и разговаривать как все?

— Это ничего не даст. Я пробовал. Для так называемых белых я все равно оставался китайцем, только уже не внушающим доверия; а мои китайские друзья начали меня избегать. Пришлось отказаться от этой затеи.

Ли натянул вожжи, остановил бричку под деревом, вылез и распряг лошадь.

— Пора перекусить, — сказал он. — Я кое-что захватил. Поедите со мной?

— Охотно, только сначала сяду в тень. Странно, но порой я забываю про еду, хотя вообще-то есть хочу всегда. Мне очень интересно тебя слушать. Внимать умудренному жизнью приятно. Я вот сейчас подумал, а не вернуться ли тебе в Китай?

Ли саркастически улыбнулся.

— Немного терпения, и вы поймете: в поисках своего места в жизни я перепробовал все. Я ведь ездил в Китай. Мой отец располагал солидными средствами. Но и в Китае меня не признали своим. У тебя чужеземное обличье, говорили мне там, и речь у тебя чужеземная. Я делал ошибки в этикете, я нарушал правила хорошего тона, потому что со времени отъезда моего отца они усложнились. Меня не хотели принять обратно. Вы не поверите, но здесь я не так остро ощущаю себя иностранцем, как в Китае.

— Все, что ты говоришь, разумно, и я не могу тебе не верить. Но пишу для ума ты дал мне надолго, этак до конца февраля. Скажи, я не докучаю тебе расспросами?

— Нет, несколько. Когда все время говоришь на этой нашей тарабарщине, то и думать на ней привыкаешь. Чтобы не забыть нормальный английский, я много пишу. Слушать и читать — это одно, а говорить и писать — совсем другое.

— А с тобой не случается казусов? Не бывает, что ты вдруг переходишь на обычный английский язык?

— Нет, такого не случается. Я думаю, все дело в том, чего от тебя ждут. Посмотришь человеку в глаза и видишь: он ждет, что ты будешь пищать «твоя-моя», семенить и кланяться — ну и пищешь, кланяешься, семенишь.

— Пожалуй, это верно,— согласился Самюэл.— Я ведь тоже сыплю шутками, потому что люди приезжают ко мне посмеяться. Ради них стараюсь быть веселым, даже когда на сердце тоска.

— Но я слышал, ирландцы народ жизнерадостный и любят пошутить.

— Это такой же маскарад, как твоя тарабарщина и твоя коса. Ирландцы вовсе не такие уж весельчаки. Они люди угрюмые и умеют обречь себя на страдания, которых не заслужили. Это ведь про них говорят, что они бы сами себя порешили, да благо есть виски, а с ним и мир краше, и на душе легче. И балагурят они лишь потому, что именно этого от них ждут.

Ли достал из свертка небольшую бутылку.

— Хотите попробовать? Китайский напиток «уцзяпи».

— А что это такое?

— Китайская бленди. Клепкая стуцка... Это действительно бренди с добавкой полыни. Очень крепкий напиток. И на душе от него легче.

Самюэл отпил из бутылки.

— По вкусу немного похоже на гнилые яблоки.

— Да, на яблоки, которые подгнили, но все же хороши. Вы не глотайте сразу, а попробуйте ощутить вкус гортанью.

Самюэл приложился к бутылке основательнее, потом откинул голову назад.

— Да, теперь понимаю. И впрямь, отменно.

— Если хотите, вот сэндвичи, пикули, а в этой бутылке — пахта.

— Какой ты, однако, хозяйственный.

— Да, стараюсь предусмотреть все.

Самюэл надкусил сэндвич.

— У меня к тебе с полсотни вопросов, не меньше, и я только что думал, какой из них задать следующим, а ты сам подсказал главный. Спрошу, не возражаешь?

— Пожалуйста. Единственное, о чем я вас прошу: не разговаривайте со мной так в присутствии других людей. Они страшно удивятся и не поверят своим ушам.

— Постараюсь. Но если случайно забуду, не волнуйся: все же знают, что я мастер шутить. Когда человек открылся тебе в двух ипостасях, трудно потом воспринимать его только в одной.

— Мне кажется, я догадываюсь, что вы хотите у меня спросить.

— Что?

— Почему я довольствуюсь положением слуги?

— Как ты прочел мои мысли?

— По-моему, этот вопрос логичен.

— Но он тебе неприятен?

— Нисколько, потому что меня спрашиваете вы. Неприятны лишь те вопросы, которые задают снисходительным тоном. Не понимаю, почему профессию слуги считают недостойной. Для философа она убежище от мирской суеты, для ленивого — легкий хлеб; толковый слуга может добиться большой власти и даже любви. Удивляюсь, почему до сих пор так мало умных людей избирают это поприще — в совершенстве овладев ремеслом слуги, они пожинали бы прекрасные плоды. Хороший слуга всегда уверен в завтрашнем дне, и не потому, что хозяин добр к нему, а потому что люди — рабы привычек и склонны к праздности. Нелегко отказаться от вкусных блюд или привыкнуть самому за собой убирать. Чем менять свою натуру, проще держать слугу, пусть даже плохого. Что до хорошего слуги — а я слуга превосходный — то он может командовать своим хозяином во всем: может диктовать ему, о чем думать и как поступать, на ком жениться и когда развестись; он может наказывать своего хозяина, превращая его жизнь в кошмар, а может и дарить радость, и в результате попадает в число упомянутых в завещании. Если бы я захотел, я мог бы обобрать любого, у кого работал, снять с него последнюю рубашку, наплевать ему в лицо, и на прощание мне бы еще сказали «спасибо». Ну и, наконец, в силу причин, о которых мы говорили, я человек беззащитный. Хозяин же всегда за меня вступится, убережет от нападок. Вам вот приходится много работать, и у вас много тревог. Я же и работаю меньше и меньше тревожусь. При этом я хороший слуга. А плохой слуга и не работает и ни о чем не тревожится, но все равно сыт, одет и огражден от опасностей. Не знаю, в какой другой сфере деятельности вы насчитаете столь великое множество бездарей и так редко встретите подлинного мастера своего дела.

Самюэл сидел подавшись вперед и внимательно его слушал.

— Пожалуй, я вздохну с облегчением, когда снова перейду на «твоя-моя, хочет-не хочет», — заметил Ли.

— Отсюда до поместья Санчеса рукой подать. Почему ты решил сделать здесь привал? — спросил Самюэл.

— Все влемея только говоли-говоли. Моя, китайский слуга, свое дело знай отлицно. Твоя готова ехать?

— Что? А да, конечно. Но жить так, должно быть, очень одиноко.

— Да, это единственный недостаток, — кивнул Ли. — Я давно собираюсь уехать в Сан-Франциско и открыть там свое небольшое дело.

— Что-нибудь вроде прачечной? Или ресторанчик?

— Нет. Китайских прачечных и ресторанов и так развелось слишком много. Может быть, книжную лавку. Книжки мне по вкусу, да и конкурентов было бы не так много. Но боюсь, дальше слов у меня не пойдет. Когда работаешь слугой, теряешь предприимчивость.

3

После полудня Самюэл и Адам проехали по участку. Как бывало каждый день, к этому времени поднялся ветер и в небо летела желтая пыль.

— Прекрасное ранчо! — воскликнул Самюэл. — Вам досталась на редкость хорошая земля.

— Боюсь, ее скоро всю сдует, — заметил Адам.

— Нет, она просто передвигается. Часть ее уходит от вас на ранчо Джеймсов, а взамен вам перепадает кое-что с участка Сауди.

— И все же этот ветер мне не нравится. От него как-то не по себе.

— Да, ветер быстро всем надоедает. Он и на скот действует, животные покой теряют. Не знаю, обратили вы внимание или нет, но в северной части Долины начали для защиты от ветра сажать эвкалипты. Их из Австралии завезли. Говорят, за год вырастают на десять футов. Почему бы и вам не посадить для пробы несколько рядов? Со временем полоса станет смягчать натиск ветра, а кроме того, эвкалиптовые дрова — отличное топливо.

— Хорошая мысль. Но что мне действительно нужно, — это вода. При таком ветре насосы с приводом от ветряных мельниц накачают воды сколько угодно. Я и подумал: ес-

ли пресбурить несколько скважин и наладить поливкое орошение, землю никуда уже не сдует. Можно заодно для укрепления почвы посеять бобы.

— Если хотите, я помогу вам найти воду,— жмурясь от ветра, предложил Самюэл.— К тому же я смастерил небольшой насос, он качает довольно быстро. Мое собственное изобретение. А ветряки — штука дорогая. Но, может быть, я сумею построить их для вас сам, тогда обойдется дешевле.

— Замечательно. Если ветер будет работать на меня, то бог с ним, пусть дует. А если будет вода, я, возможно, начну сеять люцерну.

— На люцерне больших денег не заработать.

— Дело не в деньгах. С месяц назад я объезжал окрестности Гринфилда и Гонзалеса. В тех местах поселилось несколько швейцарцев. У них по десять — двадцать хороших дойных коров, и в год они собирают четыре урожая люцерны.

— Да, я слышал. Коров они вывезли из Швейцарии. Глаза у Адама восторженно блестели.

— Вот и я хочу заняться тем же. Масло и сыр буду продавать, а молоком отпаивать поросят.

— Чувствую, Долина будет вами гордиться,— сказал Самюэл.— Такие люди украсят наше будущее.

— Была бы только вода.

— Если она тут есть, я ее вам добуду. Отыщу обязательно. Я прихватил с собой мою волшебную палочку.— Он похлопал по сухой рогатой лозе, притороченной к седлу.

Адам показал рукой налево, туда, где широко раскинулся ровный пустырь, поросший чахлой полынью.

— Вот,— сказал он,— тридцать шесть акров, земля ровная, как пол. Толщину почвы я проверял. Пахотный слой под песком — в среднем три с половиной дюйма, лемех будет доходить до суглинка. Найдете здесь воду, как вы думаете?

— Не знаю. Увидим.

Самюэл спешился, передал поводья Адаму и отвязал от седла лозу. Взял ее обеими руками за расходящиеся концы и не спеша побрел вперед: локти у него были разведены в стороны, хвостик У-образной рогульки смотрел вверх. Внезапно Самюэл нахмурился, вернулся на несколько шагов назад, но потом покачал головой и пошел дальше.

Адам медленно ехал следом и вел за собой на поводу лошадь Самюэла.

Глаза Адама не отрывались от лозы. Он увидел, как она задрожала и мотнулась вниз, в точности как удочка, когда клюет рыба. Лицо у Самюэла сосредоточенно застыло. Он продолжал идти вперед, пока лозу не потянуло вниз с такой силой, словно она пыталась вырваться из его напряженных рук. Самюэл медленно описал круг, вырвал кустик полыни и бросил его на землю. Потом отошел подалее в сторону, опять выставил перед собой рогульку, повернулся и зашагал к отмеченному месту. Едва он к нему приблизился, лозу снова дернуло вниз. Самюэл облегченно вздохнул и опустил свою волшебную палочку в траву.

— Вода здесь есть,— сказал он.— И даже не очень глубоко. Тянуло сильно, а значит, воды много.

— Отлично,— кивнул Адам.— Я хочу показать вам еще два места.

Самюэл выбрал стебель полыни потолще, обстругал его и воткнул в землю. Чтобы опознавательный знак был заметнее, он расщепил ножом верхушку стебля и вставил туда поперечину. Потом для верности притоптал вокруг сухую полынь.

Когда он проверял второе показанное Адамом место, лоза чуть не вылетела у него из рук.

— А вот тут воды целый океан,— заметил он.

В третьем выбранном Адамом месте поиск ничего не дал. За полчаса лоза дернулась всего один раз да и то совсем слабо.

Мужчины повернули лошадей и неторопливо двинулись к дому Траска. Воздух был словно соткан из золота: желтая пыль, летя ввысь, золотила свет, лившийся с неба. Как обычно, ветер на исходе дня начал утихать, впрочем, бывали вечера, когда пыль держалась в воздухе долго и оседала только за полночь.

— Я знал, что здесь хорошая земля,— сказал Самюэл.— Это любому видно. Но я не подозревал, что она настолько хороша. Должно быть, с гор сюда идет мощный отток грунтовых вод. Вы умеете выбирать землю, мистер Траск.

Адам улыбнулся.

— У нас была ферма в Коннектикуте. Шесть поколений Трасков очищали ее от камней. Одно из моих первых дет-

ских воспоминаний — груженная камнями волокуша, которую тащат к стене на краю поля. Я думал, земля всюду такая. А здесь... мне это странно, и даже такое чувство, словно жить на этой земле — грех. Тут, пока найдешь хотя бы один камень, все ноги оттопчешь.

— Любопытная это штука, чувство греховности, — заметил Самюэл. — Если бы человеку пришлось отказаться от всего, что у него есть, остаться нагим и босым, вытряхнуть и карманы, и душу, он, думаю, и тогда бы умудрился припрятать где-нибудь пяток мелких грешков ради собственного беспокойства. Уж если мы за что и цепляемся из последних сил, так это за наши грехи.

— Может быть, сознание нашей греховности помогает нам проникнуться бóльшим смирением. И вселяет в нас страх перед гневом Господним.

— Да, наверно. Я думаю, ощущение собственной ничтожности дано нам тоже не без доброго умысла, потому что едва ли найдешь человека, лишённого этого ощущения напрочь; но что касается смирения, то его ценность понять трудно, хотя, наверно, логично допустить, что муки, принимаемые со смирением, сладостны и прекрасны. Что есть страдание?.. Не уверен, что его природу мы понимаем правильно.

— Расскажите мне про вашу лозу, — попросил Адам. — В чем ее секрет?

Самюэл погладил сухую рогульку, привязанную к седлу.

— В ней самой, я думаю, никакого секрета нет, она лишь орудие. — Он улыбнулся Адаму. — Может быть, тут другое. Может быть, это я знаю, где вода, как говорится, нутром чую. Есть же люди, наделенные необычными способностями. Предположим, что некая особенность моей натуры... назовем это, к примеру, сознанием собственной ничтожности или глубоким неверием в себя, заставляет меня творить чудеса и выявлять то, что скрыто от других. Вам понятно, о чем я?

— Я должен поразмыслить.

Лошади шагали, сами выбирая дорогу; головы их были низко опущены, поводья свободно свисали полукружьями.

— Останетесь у нас ночевать? — спросил Адам.

— Вообще-то мог бы, но, думаю, не стоит. Я не предупредил Лизу, что уеду с ночевкой. Не хочу, чтобы она волновалась.

— Но она же знает, где вы.

— Знает, конечно. И все-таки я вернусь домой. Пусть попозже, это не суть важно. А вот поужинаю у вас с удовольствием. Да, кстати, когда вы хотите, чтобы я взялся за колодцы?

— Сейчас... то есть, как только сможете.

— Вода, знаете ли, удовольствие не из дешевых. Я буду брать с вас по пятьдесят центов за фут, а возможно, и больше, если упрямся в известняк или камень. Так что работа встанет вам в приличную сумму.

— Деньги у меня есть. Мне нужны колодцы. Понимаете, мистер Гамильтон...

— Зовите меня Самюэл, так будет проще.

— Понимаете, Самюэл, я решил превратить эту землю в сад. Ведь меня зовут Адам, не забывайте. Но мой рай, мой Эдем, еще даже не создан, так что об изгнании думать рано.

— Превратить свою землю в сад, чтобы почувствовать себя в раю — лучше, пожалуй, и не сказать! — воскликнул Самюэл. Потом усмехнулся: — Ну и где же будут расти плоды познания?

— Яблони я сажать не буду. Зачем искушать судьбу?

— А что по этому поводу говорит Ева? У нее ведь есть и собственное мнение, вы же помните. Все Евы страсть как любят яблоки.

— Все, кроме моей.— Глаза у Адама сияли.— Таковую Еву вы еще не видели. Она с радостью одобрит любое мое решение. Никто и представить себе не может, какая это чистая душа!

— Вам досталось редкое сокровище. Даже не знаю, что сравнить с таким щедрым подарком небес.

Они подъезжали к входу в лощину, где стоял дом Санчеса. Вдали уже виднелись круглые кроны могучих виргинских дубов.

— Подарок небес,— тихо повторил Адам.— Вам не понять. Этого никто не поймет. Вся моя жизнь была серой и унылой, мистер Гамильтон... Самюэл. Не то, чтобы я жил хуже других, но моя жизнь была... никакой. Даже не знаю, почему я вам это рассказываю.

— Может быть, потому что мне интересно.

— Моя мать... она умерла, когда я был младенцем, я ее не помню. Мачеха у меня была женщина хорошая, но

издерганная и больная. Отец был суровый, правильный..., возможно, он был даже великий человек.

— Но любви к нему вы не питали?

— Он вызывал у меня чувство, схожее с тем, что испытываешь в церкви, своего рода благоговение, смешанное с изрядной долей страха.

Самюэл кивнул.

— Понимаю. Некоторые любят, когда к ним так относятся.— Он грустно улыбнулся.— А вот меня такое никогда не привлекало.— Лиза говорит, в этом моя слабость.

— Отец отдал меня в армию. Я воевал на западе, с индейцами.

— Да, вы говорили. Но склад ума у вас не военный.

— Я был плохим солдатом. Ох, кажется, я вам все про себя выложу!

— Значит, вам это сейчас нужно. Без причины не бывает.

— Необходимо, чтобы солдат сам хотел делать все то, к чему нас принуждали на войне... необходимо по меньшей мере испытывать удовлетворение от того, что ты делаешь. Я же не мог объяснить себе, почему я обязан убивать людей, и я не мог понять те объяснения, которые нам предлагали.

Несколько минут они ехали молча. Потом Адам снова заговорил:

— Когда я расстался с армией, мне казалось, будто я выполз из трясины, будто я весь в грязи. И я долго бродяжил, прежде чем вернулся домой, в то место, которое я помнил, но не любил.

— А ваш отец?

— Он к тому времени умер, дом был для меня лишь пристанищем, где можно коротать время или работать в ожидании смерти, тоскливом, как ожидание безрадостной встречи.

— Вы в семье один?

— Нет, у меня есть брат.

— А он где?.. Дождется «встречи»?

— Да... да, вот именно. А потом появилась Кэти. Но об этом, наверно, в другой раз, когда у меня будет настроение рассказывать, а у вас — охота слушать.

— Слушать мне всегда охота,— сказал Самюэл.— Меня хлебом не корми, только бы послушать какую-нибудь историю.

— От нее будто исходил свет. И все вокруг расцвело. Мир открылся мне навстречу. Каждое утро прочило славный день. И все стало возможно, доступно. И люди вокруг стали добрые и красивые. И у меня пропал страх.

— Мне это состояние знакомо,— кивнул Самюэл.— Я давно с ним в дружбе. Посетив человека раз, оно уже не умирает, но иногда куда-то уходит, или, может быть, ты сам от него уходишь. Да, узнаю... знакома каждая черта.

— И все это принесла с собой маленькая изувеченная девушка.

— А может, то раскрылась ваша собственная душа?

— Нет-нет. Если бы это во мне было заложено, оно бы проявилось раньше. Нет, чудо принесла с собой Кэти, без нее не было бы ничего. Теперь вы понимаете, зачем мне колодцы. Я должен чем-то отплатить за этот бесценный дар. И потому я создам здесь прекраснейший, великолепный сад, достойный стать ее домом, чтобы здесь сиял ее свет.

Самюэл с трудом проглотил подступивший к горлу ком, и, когда заговорил, голос его звучал хрипло.

— Я понимаю, этого требует мой долг,— сказал он.— Да, если я честный человек, если я друг вам, я обязан выполнить свой долг.

— О чем вы?

— Мой долг,— саркастически продолжал Самюэл,— растоптать вашу светлую мечту, вывалить ее в грязи, чтобы опасный свет не пробивался сквозь налипшую мерзость.— Он говорил с нарастающей страстью, все громче и громче.— Мой долг ткнуть вас носом в эту мерзость, чтобы вы поняли, сколь порочно и страшно то, что вы замыслили. Мне следует призвать вас взглядеться в вашу мечту и увидеть, что на самом деле она непотребна. Мне следует принудить вас задуматься о непостоянстве чувств и привести примеры. Подкинуть вам платок Отелло. Да, я знаю, к чему меня обязывает долг. Мне следует прояснить сумбур, царящий у вас в голове, доказать, что ваш порыв убог и свежести в нем не больше, чем в дохлой корове. Если я исполню свой долг добросовестно, мне удастся вернуть вам вашу прежнюю дрянную жизнь, и я буду доволен, а вас радостно примут в свое общество заплесневевшие неудачники.

— Это что, шутка? Вероятно, я зря вам рассказывал...

— Таков долг друга. Когда-то у меня был друг, который исполнил свой долг и наставил меня на путь истинный. Но я плохой друг. И я не снисху за это похвалы среди себе подобных. Ваша мечта прекрасна, так берегите же ее, пусть она озарит вашу жизнь. А я — я выкопаю для вас колодцы: надо будет, дойду до самого чрева земли. И выжму оттуда воду, как сок из апельсина.

Они проехали под высокими дубами и повернули к дому.

— Вон она, сидит на лужайке, — сказал Адам. И громко крикнул: — Кэти, он говорит, здесь есть вода... много! — Повернувшись к Самюэлу, он взволнованно прошептал: — Она ждет ребенка, я вам не говорил?

— Даже издали видно, какая она красивая, — сказал Самюэл.

4

Жара не спадала весь день, и Ли накрыл стол на воздухе, под дубом; солнце приближалось к западным горам. Ли все быстрее сновал между кухней и столом, вынося приготовленные к ужину холодное мясо, пикули, картофельный салат, кокосовый торт и пирог с персиками. В центре стола стоял огромный глиняный кувшин с молоком.

Адам и Самюэл вышли из бани, на лице и волосах у них поблескивали капли воды, борода у Самюэла распушилась. Мужчины встали у стола, дожидаясь, пока подойдет Кэти.

Она шла медленно и смотрела под ноги, словно боялась упасть. пышная юбка и передник отчасти скрывали ее беременность. В безмятежном лице было что-то детское, руки она держала перед грудью, сцепив их в замочек. Лишь дойдя до стола, она подняла глаза, взглянула на Самюэла, потом посмотрела на Адама.

Адам подвинул ей стул.

— Это мистер Гамильтон, дорогая. Познакомься.

Она подала Самюэлу руку:

— Здравствуйте.

Самюэл внимательно разглядывал Кэти.

— Да вы красавица,— сказал он.— Рад знакомству. Вы, надеюсь, чувствуете себя хорошо.

— Спасибо. Грех жаловаться.

Мужчины сели за стол.

— Она всегда так чинно держится, иначе просто не умеет,— заметил Адам.— С ней самый обычный ужин превращается в целое событие.

— Ну зачем ты так говоришь? — возразила она.— Это неправда.

— Самюэл, разве у вас нет ощущения, что вы на званом приеме?

— Да, есть, и могу вам сказать, что я великий охотник ходить по гостям. А мои дети, они и того хуже. Том, например, очень к вам напрашивался. Ему только бы не сидеть на ранчо.

Внезапно Самюэл понял, что нарочно говорит так долго, потому что иначе за столом воцарится молчание. Он закрыл рот, и наступила полная тишина. Кэти смотрела себе в тарелку на кусочек жареной баранины. Вонзив в мясо острые мелкие зубы, она подняла взгляд. Ее широко посаженные глаза не выражали ничего. Самюэл поежился.

— Вам что, холодно? — спросил Адам.

— Холодно? Нет. Просто вдруг мурашки по коже побежали.

— Понимаю, со мной тоже иногда бывает.

И снова повисла тишина. Самюэл ожидал, что завяжется какой-нибудь разговор, но понимал, что надеется напрасно.

— Наша Долина вам нравится, миссис Траск?

— Что? А, да, конечно.

— Уж не сочтите за дерзость, но когда вы ждете маленького?

— Месяца через полтора,— ответил Адам.— Кэти у меня из тех образцовых жен, которые больше молчат, чем говорят.

— Иногда молчание красноречивей слов,— сказал Самюэл.

Кэти вновь подняла и тотчас опустила глаза, и Самюэлу показалось, будто шрам у нее на лбу потемнел. Что-то заставило ее насторожиться — так настораживается лошадь, стоит щелкнуть кнутом. Самюэл не мог припомнить, что он сказал такого, отчего она внутренне вздрогнула.

Он почувствовал, что цепенест, почти так же, как недавно, когда понял, что лозу вот-вот потянет вниз; он словно ощущал рядом с собой присутствие чего-то постороннего, напряженно затаившегося. Самюэл посмотрел на Адама и увидел, что тот глядит на жену с восхищением. Если во всем этом и было что-то странное, Адаму так не казалось. Он светился счастьем.

Кэти ела мясо, жевала его передними зубами. Самюэл впервые видел, чтобы человек так жевал. Но вот она проглотила, и маленький язычок, быстро пробежав по губам, юркнул обратно. «Что-то не так... не так... но что?.. не могу понять... что-то не так», — повторял про себя Самюэл, а над столом висела тишина.

За спиной у него зашлепали шаги. Он обернулся. Ли поставил на стол чайник и засеменял прочь.

Чтобы отогнать тишину, Самюэл начал говорить. Он рассказывал, как впервые приехал в Долину, только что из Ирландии... но уже через минуту он заметил, что его никто не слушает. Тогда он пустил в ход свою давнюю уловку, которой пользовался, проверяя, слушают ли его дети, когда они просили почитать им вслух и все время требовали: «Дальше! Дальше!» Он вставил в свой рассказ две совершенно бессмысленные фразы. Ни Кэти, ни Адам и бровью не повели. Он сдался.

Наспех проглотил ужин, запил его обжигающе горячим чаем и сложил салфетку.

— Если позволите, сударыня, я откланяюсь и поеду домой. Спасибо за гостеприимство.

— Всего доброго, — сказала она.

Адам вскочил на ноги. Его словно пробудили от грез.

— Не уезжайте. Я надеялся, что уговорю вас переночевать.

— Спасибо, но никак не могу. Мне ведь недалеко ехать. И думаю — вернее, знаю — ночь будет лунная.

— Когда вы приметесь за колодцы?

— Сначала надо собрать буровой станок, кое-что подточить, да и порядок в доме навести. Через несколько дней я пошлю к вам Тома с инструментами.

Сонная вялость постепенно оставляла Адама.

— Постарайтесь поскорее. Мне хочется, чтобы вы начали как можно скорей. Кэти, у нас здесь будет рай земной. Второго такого уголка не сыщешь!

Самюэл перевел взгляд на Кэти. Лицо ее по-прежнему ничего не выражало. Глаза были пустые, на губах застыла вырезанная из камня улыбка.

— Что ж, будет очень мило,— сказала она.

На миг Самюэла захлестнуло желание сказать или сделать что-нибудь такое, что ее ошарашит и пробьет стену, которой она себя огородила. Он снова поежился.

— Опять мурашки? — спросил Адам.

— Они самые.— Сумерки опускались быстро, деревья уже превратились в черные тени.— Спокойной ночи.

— Я вас провожу.

— Нет, нет, посидите с женой. Вы же еще не кончили ужинать.

— Но я...

— Сидите, друг мой. Свою лошадь я и сам как-нибудь отыщу, а нет — украду одну из ваших.— Самюэл мягко надавил Адаму на плечи и посадил его обратно на стул.— Всего доброго. Спокойной ночи. Спокойной ночи, сударыня.— Он торопливо пошел к сараю.

Покачиваясь на старых узловатых ногах, Акафист церемонно жевал сено большими, плоскими, как камбала, губами. Цепочка недоуздка, звякая, ударялась о деревянную кормушку. Самюэл снял с гвоздя седло, подвешенное за деревянное стремя, и накинул его на широкую спину лошади. Он уже затягивал подпругу, когда услышал за спиной шорох и обернулся. В последнем свете угасающих сумерек проступал темный силуэт Ли.

— Когда вы снова приедете? — тихо спросил китаец.

— Не знаю. Дней через пять, может, через неделю. Ли, в чем все-таки дело?

— Вы про что?

— Меня прямо жуть взяла, ей-богу! Что тут, какая-то тайна?

— Не понимаю, о чем вы.

— Ты прекрасно знаешь, о чем.

— Китайца только работай... моя не слусай, не лазговаливай.

— Понял. Наверно, ты прав. Да, конечно, прав. Извини, что спросил. Веду себя, как невежа.— Он повернулся к Акафисту, мягко вложил ему в зубы мундштук и заправил большие обвисшие уши в оголовье уздечки. Присобрал поводья и бросил их в кормушку.— Всего доброго, Ли.

- Мистер Гамильтон...
- Что?
- Вам повар не нужен?
- Держать повара мне не по карману.
- С вас я брал бы недорого.
- Лиза тебя в порошок сотрет. А что... ты хочешь отсюда уйти?
- Я просто так спросил. Всего доброго.

5

Адам и Кэти сидели под деревом в сгущавшейся темноте.

— Хороший человек,— сказал Адам.— Очень мне понравился. Неплохо бы уговорить его перебраться к нам и вести все хозяйство... чтобы был вроде управляющего.

— У него есть собственная ферма, и он человек семейный,— сказала Кэти.

— Я знаю. Но земля у него хуже некуда, ты такой не видела. У меня бы он на одном жалованье и то больше зарабатывал. Я его попрошу... Да, чтобы привыкнуть к новым местам, нужно время. Это все равно что заново родиться и опять учиться всему сначала. В Коннектикуте я знал даже, с какой стороны ждать дождя. А здесь все иначе. Раньше я чутьем угадывал, поднимется ли ветер и когда похолодает. Ничего, научусь и здесь. Просто нужно время. Тебе удобно так сидеть, Кэти?

— Да.

— В один прекрасный день — и он не так уж далек — ты выглянешь в окно нашего просторного красивого дома и увидишь вокруг зеленые поля люцерны. Я посажу эвкалипты, выпишу разные семена, рассаду — у меня будет что-то вроде опытной фермы. Может, завезу из Китая деревья «личжи». Не знаю, правда, приживутся ли они здесь. Но почему бы не попробовать? Думаю, и Ли что-нибудь посоветует. А когда родится малыш, ты пообедаешь со мной все ранчо. Ведь ты его толком не видела. Я тебе говорил, что мистер Гамильтон построит нам ветряные мельницы? Отсюда будет видно, как они крутятся.— Он поудобнее вытянул ноги под столом.— Ли мог бы уже и свечи принести. Не понимаю, где он застрял.

— Адам, я не хотела сюда ехать,— спокойно сказала

Кэти.— И я здесь не останусь. Как только смогу, сразу же уеду.

— Что за чепуха! — Он засмеялся.— Ты как ребенок; будто в первый раз оказалась вдали от родного дома. Подожди, родится малыш, ты привыкнешь, и эти края тебе полюбятся. Знаешь, я когда попал в армию, вначале до того тосковал по дому, что думал — умру. Но потом прошло. И у всех проходит. Так что это глупости.

— Я говорю серьезно.

— Не будем об этом, моя радость. Родится малыш, и все переменится. Вот увидишь. Я знаю.

Сцепив руки на затылке, он уставился на звезды, тускло поблескивавшие сквозь ветви.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1

Самюэл Гамильтон возвращался домой. Луна затопила ночь безбрежным светом, и холмы стояли окутанные белой лунной пылью. Деревья и земля застыли, иссушенные лунным сиянием, безмолвные и мертвые. Тени были сплошь черные, без полутонов, открытые места — сплошь белые, без примеси других красок. То здесь, то там Самюэл угадывал скрытое движение: в поисках пропитания бродили выкормыши луны — олени, что в ясную лунную ночь пасутся до зари, а днем отсыпаются в чаще; кролики, мыши-полевки и прочая мелюзга — все те, что служат поживой крупному зверью и храбреют лишь под покровом лунного света, — крались, прыгали, ползали вокруг и, стесало им почуть намерок на опасность, замирали как вкопанные, выдавая себя за камень или кустик. Промышляли и хищники: блестящими коричневыми струйками мелькали куницы; крепкотелые дикие кошки припадали к земле, превращаясь в невидимок, разве что изредка сверкнут на свету желтые глаза; поводили острым вздернутым носом лисы, вынюхивая теплокровный ужин; еноты, охотясь за лягушками, неслышно подбирались к застывшей воде. По склонам холмов рыскали койоты и в приступе то ли печали, то ли радости изливали своей богине-луне обуревавшие их чувства в громком вое, похожем и на плач и на

смех. А над всем этим парили черными пятнами совки, бросая на землю расплывчатые, вселяющие страх тени. Гудевший днём ветер стих, и воздух лишь тихонько вздыхал, колыгаемый теплом, что волнами подымалось от сухих нагретых холмов.

Акафист выбивал копытами громкую сбивчивую дробь, и ночной народец примолкал, дожидаясь, пока лошадь пройдет мимо. В темноте борода Самюэла отсвечивала белым, его седые волосы вздымались над головой, как венец. Свою черную шляпу он повесил на штырь седла. В груди у него ныло от дурного предчувствия, от чего-то неясного, навещающего жуть. Он испытывал то, что немцы называют *Weltschmerz*, то есть «мировая скорбь» — чувство, которое расползается по душе, как газ, и несет с собой такую тоску, что ты принимаешься искать породившую ее причину, но ответа найти не можешь.

Самюэл мысленно перенесся назад, на чудесное ранчо, вспомнил, как нашел там воду — нет, ничто не давало повода для скорби, если только он не затаил в сердце подспудной зависти. Он покопался в себе, но никакой зависти не обнаружил. Тогда он задумался о мечте Адама создать сад, подобный Эдему, припомнил, с каким обожанием Адам глядел на Кэти. Нет, все не то — разве что он втайне горюет о собственной утрате. Но ведь это было так давно, рана затянулась много лет назад, он уже забыл ту боль. Теперь, когда все было далеко позади, воспоминания лишь уютно согревали его мягким теплом. Его тело, его чресла забыли прежний голод.

Он ехал сквозь череду света и тьмы и все думал, думал, думал. Когда, в какую минуту, тревога впервые царапнула его душу? И вдруг он понял — Кэти... хорошенькая, хрупкая, нежная Кэти. Но почему? Она все время молчала — ну и что, многие женщины молчаливы. Тогда в чем причина? Откуда возникло это странное чувство? Он вспомнил ощущение тяжелой неизбежности, сродни тому, что накатило на него, когда он держал лозу. Вспомнил, как по спине побегали мурашки. И вот тут все встало на свои места. Да, жуть впервые подкралась к нему за ужином, и вселила ее Кэти.

Он восстановил в памяти ее лицо: широко посаженные глаза, точеные ноздри, рот, слишком маленький, не в его вкусе, но все равно прелестный; твердый бугорок подбор-

родка — и снова мысленно перевел взгляд на ее глаза. Холодные? Может, все дело в глазах? Постепенно он подбирался к правильному ответу. Глаза у Кэти ничего не выражали, ни о чем не говорили. В них не таилось ничего узнаваемого, привычного. У людей не бывает таких глаз. Ее глаза что-то ему напомнили — но что? — нечто забытое, какую-то картинку из прошлого. Он рылся в памяти, и вдруг все вспомнилось само собой.

Этот день всплыл из глубины лет во всей полноте составлявших его красок, звуков и ощущений. Он увидел себя: мальчик вставал на цыпочки, чтобы ухватить отца за руку, до того он был еще мал. Его ноги ступали по булыжникам Лондондерри, а вокруг кипела веселая сутолока большого города, первого большого города в его жизни. Была ярмарка: балаганы кукольников, лотки с овощами и фруктами, выгороженные прямо посреди улиц загоны, где продавали, обменивали и выставляли на аукцион лошадей и овец, и еще множество ларьков с яркими разноцветными манящими игрушками, которые он считал уже своими, потому что отец у него был человек веселый.

А потом толпа всколыхнулась мощной рекой, их с отцом понесло по узкой улице, как подхваченную приливом щепку: сзади и спереди на него давили, он еле поспевал перебирать ногами. За узкой улицей открылась большая площадь, где возле серой стены высилось сооружение из бревен и с перекладины свисала веревка с петлей на конце.

Сзади напирали, людской поток подталкивал их, и Самюэл с отцом неуклонно продвигались к центру площади, все ближе и ближе. Память донесла до его слуха голос отца: «Ребенку смотреть на такое негоже. Никому негоже, а уж ребенку тем более». Отец пытался повернуться, пробить дорогу назад сквозь захлестнувшую площадь толпу. «Пропустите нас. Прошу вас, дайте нам уйти. У меня тут ребенок».

Но толпа безликой волной равнодушно подталкивала их вперед. Самюэл поднял голову, ему хотелось разглядеть странное сооружение. Несколько людей в темной одежде и в темных шляпах взобрались на высокий помост. Среди них стоял человек с золотыми волосами, на нем были темные штаны и голубая рубашка с расстегнутым воротом. Самюэл с отцом стояли так близко, что

мальчику пришлось задрать голову очень высоко, иначе он ничего бы не увидел.

У золотого человека, казалось, не было рук. Он смотрел вдаль, поверх толпы, а потом взглянул вниз, взглянул прямо на Самюэла. Эта картинка запечатлелась в памяти необыкновенно отчетливо и ясно. Глаза у золотого человека были какие-то плоские, лишенные глубины — Самюэл ни у кого не видел таких глаз, в них было что-то нечеловеческое.

Внезапно на помосте произошло движение, и отец обеими руками обхватил Самюэла за голову, ладонями накрыл ему уши и крепко сжал пальцы у него на затылке. Руки с силой пригнули Самюэла и уткнули его лицом в черное сукно парадного отцовского сюртука. Как он ни сопротивлялся, ему было даже не двинуть головой. Он видел только узкую полоску света сбоку, до ушей его сквозь отцовские руки доносился лишь приглушенный разноголосый рев. А еще он слышал, как у отца стучит сердце. Потом он почувствовал, что локти и плечи отца напряглись, что он часто задышал, потом глубоко вдохнул воздух, задержал дыхание и у него затряслись руки.

Но на этом воспоминание еще не кончалось — Самюэл извлек из памяти последнюю картинку, и она повисла перед ним в темноте над головой Акафиста: старый, обшарпанный стол в пивной, громкие разговоры, смех. Перед отцом стояла оловянная кружка, а перед Самюэлом — чашка горячего молока с сахаром, сладко пахнущего корицей. Губы у отца были почему-то синие, а в глазах блестели слезы.

— Знал бы, никогда бы не повел тебя туда. На такое нельзя смотреть никому, а уж маленькому мальчику тем паче.

— Я ничего не видел, — пропищал Самюэл. — Ты же пригнул мне голову.

— Вот и хорошо, что не видел.

— А что там делали?

— Ладно, придется тебе растолковать. Там убивали скверного человека.

— Кто был скверный человек? Тот, золотой?

— Да, он. И горевать о нем ты не должен. Убить его было необходимо. Он сотворил много, очень много зла — только изверг мог додуматься до таких ужасов. И печаль-

но мне не оттого, что его повесили, а оттого, что люди превращают в праздник дело, которое следует свершать тайно и во мраке.

— А я золотого человека видел. Он посмотрел прямо на меня.

— Тем больше моя благодарность Господу, избавившему нас от этого злодея.

— А что же он сделал?

— Это так чудовищно, что я не стану тебе говорить.

— У него были очень странные глаза, у этого золотого человека. Как у козы.

— Пей-ка лучше свое сладкое молоко, а потом я куплю тебе палочку с лентами и блестящую свистульку.

— А коробочку с картинкой?

— И коробочку тоже, так что допивай молоко, и хватит кланчить.

Вот и все воспоминание — все, что он раскопал в пыльных недрах прошлого.

Спотыкаясь о камни, Акафист тяжело взбирался на холм, последней преградой отделявший их от лощины, в которой лежало родное ранчо.

Да, конечно, все дело в глазах, думал Самюэл. Лишь два раза в жизни я видел такие глаза — непохожие на человеческие. А еще он думал: нет, это виноваты ночь и луна. Ну, скажите на милость, какая может быть связь между золотым человеком, повешенным столько лет назад, и очаровательной хрупкой женщиной, ждущей ребенка? Лиза сто раз права — за мои глупые фантазии гореть мне в аду. Всю эту чепуху я должен выкинуть из головы, а иначе, того и гляди, заподозрю это беззащитное создание в сговоре с нечистой силой. Как легко мы попадаемся в сети собственных домыслов! А теперь напоследок подумай хорошенько и забудь все, что тебе померещилось. Просто что-то необычное в разрезе или в цвете глаз. И все же нет, дело не в этом. Ее взгляд — вот причина. Тебя встревожил ее взгляд, а разрез и цвет глаз тут ни при чем. Хорошо, но что же в этом взгляде зловещего? Разве не может порой такой же взгляд озарить лицо ангела? Все, хватит фантазировать, и никогда, никогда больше не смей бередить себя этими глупостями, слышишь? Он поежился. Надо будет смастерить силки для мурашек, подумал он.

И дабы искупить свою тайную вину за черные мысли, Самюэл Гамильтон дал себе слово, что всеми силами поможет создать в Салинас-Валли новый Эдем.

2

Когда Самюэл вошел утром в кухню, Лиза расхаживала перед плитой, как загнанный в клетку леопард, и ее щеки-яблочки горели сердитым румянцем. Вьюшка была выдвинута, над дубовыми дровами гудел огонь, прогревая духовку, подготовленную для выпечки хлеба, который белой массой подходил на противнях, стоявших рядом. Лиза поднялась до зари. Она всегда вставала так рано. По ее понятиям, лежать в постели, когда рассвело, было так же грешно, как разгуливать вечером, когда солнце уже село. Лишь одному человеку на свете Лиза позволяла безнаказанно просыпаться и зарю и восход — своему младшенькому, своему последышу Джо, который, не боясь прослыть преступником, нежился на хрустящих отглаженных простынях до позднего утра. Из молодых Гамильтонов на ранчо сейчас жили только Том и Джо. Том, большой, рыжий, уже успевший отрастить красивые пышные усы, сидел за кухонным столом, и рукава его рубашки, как того требовало хорошее воспитание, были не закатаны, а спущены. Лиза лила из ковшика тесто на сковородку. Оладьи вздувались подушечками, на тесте вспучивались и извергались крошечные вулканы, потом Лиза их переворачивала. Оладьи были аппетитного медового цвета с коричневыми разводами. Их вкусный сладкий запах наполнял кухню.

Самюэл вошел со двора. Он только что умылся, на лице и бороде у него поблескивала вода; переступив порог кухни, он тотчас опустил вниз закатанные рукава синей рубашки. В доме миссис Гамильтон было не принято садиться за стол с закатанными рукавами. Позволить себе такое мог только невежа или человек, пренебрегающий хорошими манерами.

— Припозднился я, матушка, — сказал Самюэл.

Она даже не обернулась к нему. Деревянная лопаточка металась по сковороде, как нападающая на обидчика змея, и оладьи шлепались белыми боками в шипящее масло.

— И когда ж это ты вчера домой вернулся? — спросила она.

— Да уж поздно было... поздно. Должно быть, около одиннадцати. Я на часы не смотрел, боялся тебя разбудить.

— Ничего, не разбудил,— сурово сказала Лиза.— Ты-то, может, и впрямь думаешь, что шастать по дорогам среди ночи занятие достойное, да только Господь Бог сам с тобой разберется, как сочтет нужным.— Было хорошо известно, что Лиза Гамильтон и Господь Бог почти по всем вопросам придерживались одинаковых взглядов. Она повернулась к столу, и перед Томом опустилась тарелка с хрустящими горячими оладьями.— Ну и что там слышно, в поместье Санчеса?

Самюэл подошел к жене, нагнулся и поцеловал ее в пухлую румяную щечку.

— Доброе утро, матушка. Благослови меня, грешного.

— Господь благословит,— машинально ответила Лиза.

Самюэл сел за стол.

— Благослови Господь и тебя, Том,— сказал он.— Да, мистер Траск задумал на ранчо большие перемены. Перестраивает старый дом, решил приспособить его для жилья.

Лиза тотчас оторвалась от плиты.

— Тот, в котором столько лет держали коров и свиней?

— Да, но он перестелил полы и выломал старые оконные рамы. Все обновил, покрасил.

— Там все равно будет свиньями пахнуть,— решительно сказала Лиза.— Свинья после себя такой дух оставляет, что его ничем не вывести.

— Ну, почему же, матушка? Я туда заглянул, по комнатам походил — пахнет только краской.

— Когда краска высохнет, сразу опять свинячим духом понесет.

— Он разбил огород, пустил через него ручей и даже для цветов место отвел: у него там и розы будут, и все прочее... кое-что он даже из Бостона выписывает.

— И куда только Господь Бог смотрит! — мрачно сказала она.— Я и сама, конечно, розы люблю, но так швырять деньги на ветер...

— Если розы приживутся, он обещал поделиться со мной черенками.

Том доел оладьи и помешивал ложкой кофе.

— Отец, а что он за человек, этот мистер Траск?

— Мне сдается, человек он хороший... и речь у него приятная, и мысли светлые. Пожалуй, немного любит помечтать...

— Чья бы корова мычала,— перебила его Лиза.

— Знаю, матушка, знаю. Но тебе не приходило в голову, что мне мечты заменяют многое такое, чего у меня нет и быть не может? А мистер Траск мечтает о вещах вполне практических, и у него есть звонкая монета, то бишь есть чем свои мечты подкрепить. Он хочет превратить свою землю в сад, и ведь превратит, я уверен.

— А как тебе его жена? — спросила Лиза.

— Ну что... она очень молодая и очень хорошенькая. Тихая, все больше молчит, но оно и понятно: ей скоро рожать, в первый раз.

— Это я слышала,— кивнула Лиза.— Как была ее девичья фамилия?

— Не знаю.

— Ну а хоть откуда она родом?

— Не знаю.

Она поставила перед ним тарелку с оладьями, налила ему кофе и заново наполнила кружку Тома.

— Ничего-то ты не разузнал. Как она одевается?

— Очень хорошо, красиво... На ней было синее платье и розовая жакетка, коротенькая, но в обтяжку.

— Уж на это-то у тебя глаз наметан. И как, по-твоему, эти наряды у нее из магазина, или сама шила?

— Я думаю, из магазина.

— А вот в этом ты ничего не понимаешь,— заявила Лиза.— Десси перед отъездом в Сан-Диего сшила себе дорожный костюм, так ты тоже думал, что он покупной.

— Ах, она ж умница, наша Десси! — сказал Самюэл.— Золотые руки у девочки.

— Десси подумывает открыть в Салинасе швейную мастерскую,— заметил Том.

— Да, она говорила,— кивнул Самюэл.— Ее платья пойдут нарасхват, не сомневаюсь.

— В Салинасе? — Лиза уперла руки в боки.— Десси мне ничего не говорила.

— Вот, Том, мы и оказали нашей любимице медвежьей услугу,— покачал головой Самюэл.— Она-то хотела сама порадовать маму, сюрприз ей сделать, а мы два болтуна, прорвало нас, как худой мешок с зерном.

— Уж мне-то она могла бы и сказать,— нахмурилась Лиза.— Я сюрпризы не люблю. Ладно, рассказывай дальше. Что она делала?

— Кто?

— Как это кто? Миссис Траск, конечно.

— Что делала? Ничего. Просто сидела в кресле под дубом. У нее ведь уже скоро срок подходит.

— Ну а руки-то, Самюэл, руки у нее чем были заняты?

Самюэл покопался в памяти.

— По-моему, ничем. Руки у нее, помнится, маленькие... они у нее на коленях лежали.

Лиза недоверчиво фыркнула.

— И не шила, не штопала, не вязала?

— Вроде нет, матушка.

— Не к добру надумал ты к ним ездить, ох, не к добру. Богатством да праздностью дьявол человека в искуссводит, а ты соблазнам не больно-то противишься.

Самюэл поднял глаза на жену и весело засмеялся. Порой Лиза восхищала его до глубины души, но он даже не мог бы объяснить ей почему.

— Я, Лиза, буду туда ездить только за богатством. Как раз думал потолковать с тобой об этом после завтрака, чтобы ты спокойно села и выслушала. Мистер Траск просит меня пробурить ему несколько колодцев и, может быть, построить заодно ветряные мельницы и крытые резервуары для воды.

— Небось одни разговоры. Что еще за мельницы такие? Может, их вода крутить будет? А заплатить-то он заплатит? Или опять потом будешь оправдываться. «Заплатит, когда урожай соберет»,— передразнила она.— «Заплатит, когда умрет его богатый дядюшка». Я-то давно знаю, да и тебе, Самюэл, пора наконец понять: кто сразу не заплатил, потом не заплатит никогда. Уж столько тебе сулили да обещали, что на те обещания мы могли бы и в Долине ферму купить!

— Адам Траск заплатит обязательно,— сказал Самюэл.— Он человек со средствами. Отец большое наследство ему оставил. Так что, матушка, работой я на всю зиму обеспечен. Подкопим денег, а уж на Рождество укатим пир на весь мир. Насчет колодцев мы договорились, что он будет платить по пятьдесят центов за фут,

а за мельницы — отдельно. И все, кроме обшивок, я могу изготовить сам, прямо здесь. Но мальчикам придется мне помогать. Я хочу взять с собой и Тома, и Джо.

— Джо никуда не поедет, — сказала она. — Ты же знаешь, он хрупкого здоровья.

— Я и подумал, что неплохо бы эту хрупкость слегка из него вытравить. А то когда-нибудь с голоду помрет.

— Джо я не пушу, — отрезала она. — Кто будет вести хозяйство на ранчо, когда вы с Томом уедете?

— Хочу попросить вернуться Джорджа. Он хотя и в Кинг-Сити живет, но работа клерка ему не очень нравится.

— Нравится или не нравится, а за восемь долларов в неделю может и потерпеть.

— Матушка! — воскликнул Самюэл. — В кои-то веки нам улыбнулась судьба и, глядишь, мы нацарапаем нашу фамилию на скрижалях банковской книжки. Не воздвигай же своими речами преграду между нашей семьей и богатством! Смилуйся, матушка!

Все утро, занимаясь домашними делами, Лиза недовольно ворчала, а Том и Самюэл тем временем проверяли буровой станок, подтачивали резцы, рисовали наброски ветряков новой конструкции, вымеряли доски и бревна. Ближе к полудню Джо наконец вышел во двор, и то, что он увидел, так его увлекло, что он попросил Самюэла взять его с собой работать у Траска.

Самюэл отрицательно покачал головой:

— Скажу сразу, Джо, я против. Ты должен остаться здесь, с матерью.

— Но, отец, мне очень хочется. Не забывай, мне на будущий год в колледж, в Пало-Альто. Так что я все равно отсюда уеду. Ну разреши, пожалуйста. Я обещаю работать хорошо.

— Если бы ты с нами поехал, то, конечно, работал бы хорошо, не сомневаюсь. Но я против. И буду очень тебе признателен, если в разговоре с матерью ты как бы случайно об этом упомянешь. Скажешь, что я против, можешь даже намекнуть, что я тебе отказал наотрез.

Джо улыбнулся, а Том громко захохотал.

— А потом ты позволишь ей тебя переубедить? — отсмеявшись, спросил Том.

Самюэл бросил на сыновей грозный взгляд.

— Я человек железных принципов,— заявил он.— Уж если что решу, то стою на своем как скала. Я все взвесил, все обдумал, и вот мое последнее слово — Джо с нами не поедет. Вы же не хотите, чтобы ваш отец отказывался от собственных слов.

— Прямо сейчас пойду и поговорю с ней,— сказал Джо.

— Только не перегибай палку, сынок,— вдогонку ему посоветовал Самюэл.— Действуй с умом. Веди себя так, чтобы мать сама все решила. А пока я напущу на себя непреклонный вид.

Два дня спустя с ранчо Гамильтонов выехал большой фургон, груженный досками и инструментами. Том правил четверкой лошадей, а рядом с ним, болтая ногами, сидели Самюэл и Джо.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

1

Когда я сказал, что Кэти была монстр, я действительно так думал. Но сейчас, когда я, фигурально говоря, вчитываюсь в нее, как в книгу, сквозь лупу разбираю набранное петитом и заново изучаю сноски, меня одолевают сомнения. Загвоздка в том, что мы не знаем, чего Кэти хотела, и, следовательно, нам не понять, добилась она своего или нет. И если ее жизнь была не столько продвижением к намеченной цели, сколько бегством от некой опасности, мы все равно не поймем, удалось ли ей спастись. Кто знает, может быть, Кэти не раз пыталась объяснить людям, что она собой представляет, но ей мешало отсутствие общего языка. Возможно, она выражала себя через свои поступки, которые и были ее языком, лаконичным, емким, не поддающимся расшифровке. Сказать, что Кэти была плохая, легче всего, но это мало что дает, если мы не знаем, почему она была такой.

Женщина, спокойно поджидающая конца беременности, а до тех пор живущая на нелюбимой ферме с нелюбимым человеком,— вот та Кэти, которую рисует мне мое воображение.

Целыми днями она сидела под дубом в кресле, и ее сложенные замочком руки, казалось, любовно оберегали одна другую. Она очень растолстела, ее тучность была ненормальной даже по меркам тех лет, когда женщины почитали за великое счастье рожать крупных детей и гордились каждым фунтом, набранным за время беременности. Тугой, тяжелый, надутый живот обезобразил ее фигуру; стоять Кэти могла, лишь опираясь обо что-нибудь руками. Но, если не считать этого огромного, торчащего вперед бугра, в остальном Кэти не изменилась. Ее плечи, шея, руки, лицо не расплылись и были по-прежнему тонкими, как у девочки. Грудь не увеличилась, соски не потемнели. Молочные железы даже не набухли — организм вовсе не готовился вскармливать новорожденного. Когда Кэти сидела за столом, вы бы не догадались, что она беременна.

В те годы при беременности не измеряли ширину и объем таза, не делали анализов крови и не прописывали кальций. Женщины теряли зубы, каждый ребенок обходился в один зуб. Это уж был закон. А еще беременные часто бывали необычайно капризны в еде, их, как злословили некоторые, тянуло на дерьмо; считалось, что подобные причуды — расплата женщин за не прощенный Еве первородный грех.

В сравнении с иными дамами у Кэти были простые прихоти. Плотники, чинившие старый дом, жаловались, что у них постоянно пропадает мел, которым они пользовались для разметки. Ноздреватые белые бруски исчезали один за другим. Кэти воровала их и дробила на части. Набивала этими кусочками карман передника и, когда рядом никого не было, крошила мел зубами в мягкую известковую кашу. Говорила Кэти очень мало. Взгляд у нее был отстраненный. Казалось, она перенеслась куда-то далеко, а вместо себя, чтобы скрыть свое отсутствие, оставила механическую куклу.

А вокруг Кэти кипела бурная деятельность. Адам, полный замыслов, радостно созидал свой Эдем. Самюэл с сыновьями, пробуравив сорок футов, дошли до воды и установили в колодце новомодную и дорогую обсадную трубу, потому что Адам признавал все только самое лучшее.

Перенеся буровой станок на новое место, Гамильтоны начали бурить следующую скважину. Спали они в палатке, еду готовили на костре. Но каждый день один из них

непрерывно ездил домой — то за инструментами, то что-нибудь передать Лизе.

Адам бестолково суетился, как пчела, ошалевшая от роскоши цветника. Он присаживался рядом с Кэти и захлебываясь рассказывал про корешки ревеня, которые только что пришли по почте. Он рисовал ей эскиз крыла, придуманного Самюэлом для ветряной мельницы. Эта конструкция позволяла менять угол наклона крыла и была неслыханным новшеством. Он мчался верхом на буровую площадку и своими вопросами отвлекал Гамильтонов от работы. И вполне понятно, что если с Кэти он обсуждал строительство колодцев, то разговоры, которые он вел, заглядывая в колодец, в основном касались родов и ухода за детьми. Для Адама то было прекрасное время, он о таком и не мечтал. Жизнь раскинулась перед ним во всю ширь, и он царил над этим простором. А лето переходило в жаркую благоуханную осень.

2

На буровой площадке Гамильтоны только что перекусили бутербродами из выпеченного Лизой хлеба с дешевым сыром и запили этот нехитрый обед горьким, как яд, кофе, который сварили в жестянке на костре. Глаза у Джо слипались, и он прикидывал, как бы улизнуть в кусты и слегка вздремнуть.

Самюэл, опустившись на колени в кучу песка, рассматривал поломанные и развороченные лопасти бура. Как раз, когда Гамильтоны собирались сделать перерыв и пообедать, они наткнулись на глубине тридцати футов на что-то непонятное, искромсавшее бур, словно он был не из стали, а из свинца. Самюэл поскоблил обломанный резец перочинным ножом и вгляделся в крошки, упавшие ему на ладонь. Глаза его засияли детским восторгом. Он пересыпал крошки в руку Тома.

— Посмотри, сынок. Как по-твоему, что это?

Джо лениво поднялся со своего места возле палатки и тоже подошел посмотреть. Том внимательно изучал кусочки породы, лежащие у него на ладони.

— Не знаю, но что-то очень твердое, — сказал он. — Алмаз... вряд ли — алмазы такие большие не бывают. Скорее похоже на металл. Может, там паровоз закопан?

Самюэл засмеялся.

— И ведь на какой глубине! — с восхищением воскликнул он. — Тридцать футов!

— Похоже на инструментальную сталь, — заметил Том. — У нас даже нечем поцарапать, чтобы проверить. — Только тут он увидел мечтательный восторг в глазах отца, и от радостного предвкушения его пронизала дрожь. Дети Самюэла любили, когда отец давал разгуляться воображению. В такие минуты им открывался мир, полный чудес.

— Говоришь, металл, — сказал Самюэл. — Думаешь, сталь. Том, я сейчас попробую угадать, а потом отправим в лабораторию и тогда посмотрим, прав я или нет. Итак, моя гипотеза — слушай и запоминай. Я думаю, в состав этого вещества входит никель и, может быть, серебро, а также углерод и марганец. Как бы я хотел вытащить эту штуку наверх. Она лежит в морском песке. Ведь в скважине как раз пошел слой морского песка.

— Постой, — озадаченно сказал Том. — И никель, и серебро... Тогда что там, по-твоему?

— Произошло это, должно быть, много тысяч лет тому назад, — начал Самюэл, и сыновья поняли, что отец мысленно видит то, о чем рассказывает. — Возможно, кругом была вода... возможно, здесь было море и над ним с криками носились птицы. И если это событие случилось ночью, то зрелище, наверно, было удивительно красивое. Сначала блеснула короткая вспышка, потом она вытянулась в длинный луч, луч превратился в сноп ослепительного света и длинной дугой прочертил небеса. Потом вода взметнулась фонтаном, а над ним выросло, как гриб, огромное облако пара. В тот миг, когда море взорвалось, с неба на землю обрушился пронзительный оглушительный рев. А вслед за тем опять наступила ночь, и после того ослепительного света она казалась еще чернее. Постепенно стало видно, как из глубины вод всплывает, отливая серебром, мертвая рыба, и птицы с криками слетаются на пир. Только представьте себе, до чего грустная и прекрасная картина... Верно?

Как всегда, он сумел рассказать так, что они словно увидели все воочию.

— Значит, ты думаешь, это метеорит? — тихо спросил Том.

— Да, и анализ должен это подтвердить.

— Тогда давайте его выкопаем! — возбужденно предложил Джо.

— Ты и выкопай, Джо, а мы будем бурить колодец.

Лицо у Тома стало серьезным.

— Если анализ покажет достаточное содержание никеля и серебра, может, стоит заняться разработкой?

— Ты, сынок, весь в меня, — улыбнулся Самюэл. — Мы же не знаем размеров метеорита. Может, он величиной с дом, а может, уместится в шапке.

— Но мы могли бы сделать пробные замеры.

— Могли бы, но только тайком и при условии, что все наши предположения мы пока оставим при себе.

— Почему? Что тут такого?

— Ты что же, Том, совсем не думаешь о матери? Ей, сынок, и так с нами несладко приходится. Она мне очень ясно дала понять, что если я потрачу на патенты еще хоть доллар, нам с вами небо с овчинку покажется. Пожалей ее! Подумай, какой для нее будет позор, когда ее спросят, чем мы занимаемся. Она ведь лгать не умеет. И должна будет сказать правду. Они выкапывают из земли звезду, скажет она. — Самюэл весело рассмеялся. — Такого стыда ей не пережить. И уж она задаст нам перцу. На три месяца без пирогов оставит.

— Бур сквозь метеорит не пройдет, — сказал Том. — Надо переносить колодец в другое место.

— Я заложу туда взрывчатку, — объяснил Самюэл. — а уж если его и динамит не возьмет, тогда начнем бурить по новой. — Он поднялся на ноги. — Придется мне домой съездить: надо взрывчатку забрать и подточить бур. Давайте-ка, мальчики, поезжайте и вы со мной, устроим маме сюрприз — весь вечер будет готовить и ворчать, чтобы мы не догадались, как она рада нас видеть.

— Смотрите, кто-то сюда едет, — сказал Джо. — И очень спешит.

Действительно, к ним двигался какой-то всадник: мчался он во весь опор, но посадка у него была странная — он мотался на лошади из стороны в сторону, трепыхаясь, будто связанная за ноги курица. Когда он подъехал ближе, они увидели, что это Ли: он взмахивал локтями, как крыльями, коса змеей извивалась в воздухе. Было непонятно, каким чудом он держится в седле, да



«НА ВОСТОК ОТ ЭДЕМА». Часть первая



«НА ВОСТОК ОТ ЭДЕМА». Часть первая

еще и скачет галопом. Тяжело дыша, он натянул поводья и остановился.

— Мистел Адам говори, твоя плiezзай! Мисси Кэти болей плохо — твоя плiezзай быстло! Хозяина оцень клицать, оцень вопить...

— Подожди, Ли,— перебил его Самюэл.— Когда это началось?

— Моя думай, после завтлака.

— Ладно. Успокойся. А как держится Адам?

— Мистел Адам с ума сходи. Плакай... смейся... блевай.

— Ну еще бы,— усмехнулся Самюэл.— Молодые отцы все одинаковы. Я когда-то тоже так трясся. Том, снаряди-ка мне лошадь, будь добр.

Джо спросил:

— А что случилось?

— Как что? У миссис Траск роды начались. Я обещал Адаму, что помогу ей.

— Ты? — удивился Джо.

Самюэл спокойно посмотрел на младшего сына.

— Я помог появиться на свет вам обоим,— сказал он.— И по-моему, вы не считаете, что этим я как-то подвел человечество. Том, собери инструменты. И поезжай на ранчо, заточи бур. Заодно привези сюда ящик со взрывчаткой — он на полке в сарае,— только вези осторожно, если тебе жизнь дорога. А ты, Джо, останешься здесь присматривать за палаткой.

— Я с тоски помру,— жалобно протянул Джо.— Чего мне тут одному делать?

Самюэл помолчал. Потом спросил:

— Джо, ты меня любишь?

— Конечно. А что?

— Если бы ты узнал, что я совершил страшное преступление, ты бы выдал меня полиции?

— Ты о чем это?

— Отвечай: выдал бы или нет?

— Нет.

— Что ж, хорошо. Заглянешь в мою корзину, там под одеждой лежат две книги — новые, так что ты с ними поаккуратнее. Это трактат в двух томах, и его автору есть о чем поведать миру. Если хочешь, почитай, тебе будет полезно, для общего развития. Называется «Принципы психологии», а написал один ученый, Уильям Джеймс.

К знаменитому грабителю Джесси Джеймсу он не имеет никакого отношения. И запомни, Джо, если ты проболтаешься про книги, я тебя из дома выгоню. Потому что, если твоя мать узнает, сколько я за этот трактат заплатил, из дому придется уйти мне.

Том подвел к нему оседланную лошадь.

— Отец, а можно после Джо я тоже почитаю?

— Можно.— Самюэл легко вскочил в седло.— Поехали, Ли.

Китаец хотел пустить лошадь в галоп, но Самюэл удержал его.

— Не волнуйся, Ли. Как правило, роды длятся гораздо дольше, чем ты думаешь.

Сначала они ехали молча, потом Ли сказал:

— Жалко, вы потратились на книги. У меня этот трактат есть: сокращенный вариант в одном томе, издан как учебник. Я мог бы дать его вам почитать.

— У тебя он правда есть? А вообще у тебя много книг?

— Здесь не очень много, десятка три-четыре. Если вы что-нибудь не читали, берите, не стесняйтесь.

— Спасибо, Ли. Будь уверен, при первой возможности я на них взгляну. Между прочим, с моими сыновьями ты можешь разговаривать так же, как со мной. Джо, правда, немного легкомысленный, зато Том у меня толковый парень, и поговорить с тобой ему будет только полезно.

— Когда я мало знаю людей, мистер Гамильтон, мне очень трудно преодолеть барьер. Я робею. Но раз вы советуете, я попробую.

Подстегнув лошадей, они направили их к лещине, где стоял дом Трасков.

— Скажи, как ведет себя роженица? — спросил Самюэл.

— Вам лучше самому посмотреть и сделать собственные выводы. Знаете, когда человек одинок, как я, ему порой лезут в голову нелепые мысли, и все только потому, что он мало общается с другими людьми.

— Понимаю. Я, правда, общаюсь с людьми много, но в мыслях у меня сейчас тоже разброд. Хотя, может быть, несколько иного толка.

— Так вы думаете, это не просто мои фантазии?

— Не знаю, о чем ты, но если тебе от этого будет

легче, могу сказать, что миссис Траск вызывает у меня какое-то очень странное ощущение.

— Да, у меня тоже, и в этом, наверно, все дело.— Ли помолчал, потом улыбнулся.— Сказать вам, куда завело меня мое воображение? С тех пор как я начал здесь работать, я все чаще вспоминаю китайские сказки, которые рассказывал мне отец. У нас, китайцев, в сказках действует множество разных духов и оборотней.

— Ты думаешь, она оборотень?

— Нет, конечно. Я все же, надеюсь, не так глуп, чтобы верить в подобную чепуху. Но что-то мне непонятно. Знаете, мистер Гамильтон, у слуги развивается особое чутье, и он очень остро ощущает обстановку и настроение в доме. А в этом доме что-то явно не так. Может, поэтому я и вспомнил про оборотней из отцовских сказок.

— А твой отец верил в оборотней?

— Нет, что вы. Просто он считал, что я обязан знать наш фольклор. В вашей западной цивилизации культура тоже вобрала в себя немало мифов.

— Объясни мне, что же тебя так встревожило? Я о сегодняшнем.

— Если бы вы со мной не поехали, я, наверно, попытался бы объяснить,— сказал Ли.— А так, лучше не буду. Может, я просто с ума схожу. Сами все увидите. Но у мистера Адама нервы, конечно, натянуты, как струна: того и гляди, сорвется.

— Хотя бы намекни, в чем дело. Это поможет мне быстрее разобраться. Что она такого сделала?

— Ничего. То-то и оно, что ничего. Я, мистер Гамильтон, присутствовал при родах и раньше, много раз, но такое вижу впервые.

— В каком смысле?

— Понимаете... в общем... у меня напрашивается только одно сравнение. Это гораздо больше похоже на отчаянный смертельный бой, чем на роды.

Они уже въехали в лощину и двигались в тени дубов.

— Что-то у меня на душе беспокойно,— сказал Самюэл.— Хочется думать, наш разговор тут ни при чем. День сегодня какой-то необычный, даже не знаю почему.

— Это оттого, что нет ветра,— объяснил Ли.— За весь месяц первый день нет ветра.

— Да, действительно. Знаешь, меня сегодня занимало

столько всего разного, что я и не заметил. Сначала мы нашли звезду, сокрытую в лоне земли, а сейчас готовимся принять из материнского лона свежее испеченного человека.— Он поглядел сквозь ветви дубов на залитые желтым светом холмы.— Как чудесно родиться в такой день! Если светила и впрямь держат нити человеческих судеб, то сегодня в мир грянет человек с прекрасной судьбой. Кстати, Ли, если волнение Адама не притворство, он будет мне только мешать. Будь рядом, ладно? Вдруг мне что-нибудь понадобится. Смотри-ка, плотники почему-то сидят под деревом и ничего не делают.

— Мистер Адам запретил им работать. Он боится, как бы стук молотков не потревожил его жену.

— Да, пожалуй, не отходи от меня далеко. Я думаю, Адам не притворяется. Он не понимает, что его жена сейчас в таком состоянии, что не услышит ни звука, даже если Господь Бог начнет отбивать на небе чечетку.

Сидевшие под деревом рабочие помахали Самюэлу:

— Здравствуйте, мистер Гамильтон. Как семья, детки?

— Спасибо, все хорошо. Э-э, да никак это Кролик Холман? Где ты пропадал, Кролик?

— Ходил искать золото, мистер Гамильтон.

— Нашел что-нибудь?

— Да какое там, мистер Гамильтон! Мало того, что ничего не нашел, так еще и мула своего потерял.

Они подъезжали к дому.

— Если у вас выдастся свободная минута,— торопливо сказал Ли,— я хочу вам кое-что показать.

— Что именно, Ли?

— Я пытаюсь перевести на английский кое-что из древней китайской поэзии. Не уверен, возможно ли это вообще. Вы посмотрите?

— С удовольствием, Ли. Для меня это будет настоящий праздник.

3

Белый каркасный дом Бордони застыл в глубокой, почти скорбной тишине, шторы на окнах были опущены. Самюэл спешил к крыльцу, отвязал туго набитую переметную суму и передал поводья Ли. Потом постучался и, когда никто не ответил, вошел в дом. После заливавшего двор яркого света гостиная казалась погруженной

в сумерки. Он заглянул в кухню, отдраенную китайцем до блеска. Высокий серый керамический кофейник посасывал на заднем бортике плиты. Самюэл легонько побарабанил пальцами в дверь спальни и переступил порог.

В комнату еле пробивался свет: поверх опущенных штор на окнах висели еще плотно подоткнутые по углам одеяла. Кэти лежала под пологом на широкой кровати, Адам сидел рядом с женой, зарывшись лицом в покрывало. Услышав шаги, он поднял голову и посмотрел перед собой невидящими глазами.

— Почему вы сидите в темноте? — мягко спросил Самюэл.

— Она так хочет, — хрипло ответил Адам. — От света у нее глаза болят.

Самюэл двинулся в глубь комнаты, и каждый шаг словно придавал ему уверенности.

— Без света нельзя, — сказал он. — А глаза она может закрыть. Если хочет, я завяжу ей глаза черным платком. — Он подошел к окну, взялся за конец одеяла, но еще не успел потянуть, как Адам бросился на него и схватил сзади за плечи.

— Не трогайте, — зло прохрипел он. — Ей от света плохо.

— Успокойтесь, Адам, я понимаю ваше состояние. Я обещал помочь и помогу: все встанет на свои места. Только не вынуждайте меня ставить на место еще и вас. — Он сдернул с окна одеяло, поднял штору, и в комнату хлынул золотой предвечерний свет.

С кровати раздалось что-то похожее на мяуканье, Адам тотчас подошел к Кэти.

— Закрой глаза, дорогая. Я положу тебе сверху платок.

Самюэл бросил свою суму в кресло и встал возле кровати.

— Адам, — твердо сказал он. — Я прошу вас выйти из спальни и больше сюда не заходить.

— Но я не могу так. Зачем мне выходить?

— Затем, чтобы вы не мешали. По традиции вам следовало бы напиться — самое милое дело.

— Я не могу.

— Меня трудно разозлить, Адам, а вызвать у меня презрение еще труднее, но боюсь, вам это удастся. Вы

сейчас же выйдете из комнаты и перестанете мне мешать, иначе я уеду и вы не оберетесь хлопот.

Наконец Адам вышел, и Самюэл, высунувшись в коридор, предупредил:

— Не смейте сюда врываться, даже если услышите крики. Подождите, пока я сам к вам выйду.— Он закрыл дверь и, увидев в замке ключ, повернул его.— Издергался, весь кипит,— сказал он.— Ваш муж любит вас.

Только сейчас он посмотрел на нее внимательно. И увидел в ее взгляде самую настоящую ненависть, беспощадную, лютую ненависть.

— Потерпите, милая, теперь недолго осталось. Скажите, воды у вас уже отошли?

Обращенные к нему глаза злобно сверкнули, она тихо зарычала и оскалила мелкие зубы.

Он глядел на нее в упор.

— Я пришел к вам не по своему желанию, и пришел как друг,— сказал он.— Мне, сударыня, все это не доставляет ни малейшего удовольствия. Я не знаю, в чем ваша беда, и, честно говоря, с каждой минутой меня это волнует все меньше и меньше. Но, может быть, я сумею хоть как-то облегчить ваши страдания — кто знает? Я задам вам еще всего один вопрос. Если вы не ответите, если будете глядеть на меня волком, я немедленно уйду, и вы останетесь валяться здесь одна.

Его слова пробуравили ее сознание, как буравят воду свинцовые дробинки. Она сделала над собой огромное усилие. И Самюэла пробрала дрожь, когда он увидел, как лицо ее меняется, как уходит из глаз стальной блеск, как вытянутые в узкую полоску губы складываются в пухлый бантик и уголки рта ползут вверх. Он заметил, как дрогнули и разжались ее кулаки, превратившись в пальцы с повернутыми кверху розовыми подушечками. Лицо ее стало юным, невинным, на нем проступила мужественно сдерживаемая боль. Это преображение было как смена картинок в волшебном фонаре.

— Воды у меня отошли на рассвете,— тихо сказала она.

— Так-то лучше. Уже были сильные схватки?

— Да.

— С каким промежутком?

— Не знаю.

- А за это время? Я здесь уже пятнадцать минут.
- Были два раза, но слабые... при вас сильных не было.
- Прекрасно. Где у вас чистое белье?
- Вон там, в корзине.
- Все будет хорошо, не волнуйтесь,— мягко сказал он.

Сткрыв суму, он вынул оттуда толстую, обшитую синим бархатом веревку с петлями на концах. Бархат был расшит узором из множества розовых цветочков.

— Лиза прислала вам свою туженицу,— сказал он.— Она ее сделала, когда мы ждали нашего первенца. И не пересчитать, скольких эта веревка вытянула на свет божий — и нашим детям родиться помогла, и детям наших друзей.— Он накинул петли на два столбика в изножье кровати.

Внезапно глаза у Кэти остекленели, спина пружинисто выгнулась дугой, к щекам прилила кровь. Он ждал, что она застонет или закричит, и настороженно косился на запертую дверь. Но Кэти не кричала, лишь визгливо поскуливала. Через несколько секунд тело ее обмякло, и в глазах опять вспыхнула ненависть.

Почти тотчас ее выгнуло снова.

— Вот и умница,— ободряюще сказал он.— Это вас один раз скрутило или два? Я не разобрался. Чем чаще принимаешь роды, тем яснее понимаешь, что у всех по-разному. Пожалуй, пора мне вымыть руки.

Голова ее металась по подушке.

— Так, так, милая,— ласково успокаивал он.— Теперь, думаю, совсем недолго.— Он положил руку ей на лоб, на темный, налившийся кровью шрам.— Где же вы так поранились?

Она резко вздернула голову, и острые зубы впились ему в край ладони, рядом с мизинцем. Он вскрикнул от боли и попытался вырваться, но Кэти, крепко сомкнув зубы, вгрызалась ему в руку все сильнее и мотала головой, как фокстерьер, треплющий старый мешок. Он дал ей пощечину, но это не подействовало. Инстинкт заставил его обойтись с ней, как с разъяренной собакой. Свободной рукой он крепко сдавил ей горло. Она сопротивлялась и дергалась, но, наконец, разжала зубы. Рука у него была разодрана, вся в крови. Он отступил на шаг от кровати и взглянул на искусанную ладонь. Потом со страхом поднял глаза на Кэти. Но лицо у нее было вновь спокойное, юное и невинное.

— Простите,— быстро проговорила она.— Прошу вас, простите.

Самюэла передернуло.

— Это я от боли,— сказала она.

Самюэл коротко рассмеялся.

— Видно, придется надеть на вас намордник. Однажды я принимал роды у колли, так та сучка тоже мне чуть полруки не отхватила.

В глазах у нее опять мелькнула ненависть.

— У вас есть йод или что-нибудь вроде того? Люди — существа более ядовитые, чем змеи.

— Не знаю.

— Может, у вас хотя бы виски найдется?

— В комоде, во втором ящике.

Он плеснул виски на окровавленную руку и потер ее, чтобы не так жгло. Желудок ему сводили спазмы, дурнота заволакивала глаза мутью. Чтобы успокоиться, он глотнул из бутылки. Ему было страшно снова повернуться к кровати.

— Можно считать, на время остался без руки,— пробормотал он.

Впоследствии Самюэл рассказывал Адаму: «Она, должно быть, из железа сделана. Я и моргнуть не успел, как она уже родила. Ребенок из нее прямо вылетел. Я еще и воду не приготовил, чтобы его обмыть. И ведь даже не тужилась, даже за веревку не хваталась. Право слово, железная».

Рванув дверь, Самюэл крикнул Ли, чтобы тот принес теплой воды. В комнату вломился Адам.

— Мальчик! — объявил Самюэл. — У вас родился сын... Успокойтесь,— добавил он, заметив, как позеленело лицо Адама, когда тот увидел кровь на постели.— Пришлите ко мне Ли. А вы, Адам, если вы еще на что-то способны, идите на кухню и сделайте мне кофе. Заодно проверьте, все ли лампы заправлены, а колпаки вычищены.

Тупо глядя перед собой, белый, как мертвец, Адам повернулся и вышел. Через минуту в комнату заглянул Ли. Самюэл показал на бельевую корзину, где шевелился завернутый в пеленку младенец.

— Оботрешь его теплой водой, Ли. И смотри, чтобы малыша сквозняком не продуло. Господи! Жалко, нет здесь Лизы. Не могу я один углядеть за всем сразу.

Он повернулся к кровати.

— Сейчас я вас обмою, милая, и наведу чистоту.

Кэти, снова выгнувшись дугой, рычала от боли.

— Еще немножко, и все будет позади,— сказал он.— Надо чуть-чуть потерпеть, пока выйдет послед. Экая вы, оказывается, быстрая. Вам даже не понадобилась Лизина веревка.— Вдруг он что-то заметил, глаза его округлились, и он нагнулся над кроватью.— Боже праведный, еще один!

Он действовал расторопно; так же, как и в первый раз, роды прошли невероятно быстро. И Самюэл вновь перевязал пуповину. Ли принял у него из рук второго младенца, обтер его, запеленал и положил в корзину.

Самюэл обмыл роженицу и осторожно передвинул ее, чтобы сменить белье. Он поймал себя на том, что не хочет видеть ее лицо. Укушенная рука начинала неметь, и он спешил, как только мог. Накрыв Кэти чистой белой простыней, он приподнял ей голову, чтобы поменять подушку. Наконец, все было сделано, и ему пришлось взглянуть на нее.

Золотистые волосы Кэти намокли от пота, но боль уже ушла с ее лица. Оно застыло, как каменное, и ничего не выражало. Было видно, как на шее у нее пульсирует жилка.

— У вас двойня,— сообщил Самюэл.— Два чудесных мальчика. Но между собой они не похожи. Родились каждый в своей, отдельной рубашке.

Ее глаза смотрели на него холодно, без интереса.

— Сейчас я вам их покажу,— сказал Самюэл.

— Не надо,— бесстрастно ответила она.

— Но как же, милая, разве вам не хочется взглянуть на ваших деток?

— Нет. Они мне не нужны.

— Ну, это у вас пройдет. Вы сейчас устали, но скоро все наладится. Должен вам сказать, я никогда не видел таких легких и быстрых родов.

Она отвела глаза в сторону:

— Эти дети мне не нужны. Занавесьте окна, я хочу, чтобы было темно.

— Это в вас усталость говорит. Через несколько дней станете совсем другой и забудете то, что сейчас сказали.

— Не забуду. Уходите. Заберите их из комнаты. Пришлите сюда Адама.

Самюэла поразил ее тон. В голосе у нее не было ни слабости, ни усталости, ни мягкости. И то, что сказал Самюэл, вырвалось у него невольно.

— Вы мне неприятны,— сказал он и тотчас пожалел, что не может проглотить эти слова, загнать их обратно, в свое сознание. Но Кэти будто и не слышала.

— Пришлите сюда Адама,— повторила она.

В маленькой гостиной Адам мельком взглянул на сыновей, потом быстро прошел в спальню и захлопнул дверь. Через мгновение раздался стук молотка. Адам снова прибывал над окнами одеяла.

Ли принес Самюэлу кофе.

— Рука-то у вас сильно повреждена, нехорошо это.

— Да, знаю. Боюсь, еще намучаюсь.

— Почему она вас укусила?

— Не знаю. Она — странная.

— Давайте-ка, мистер Гамильтон, я вас полечу. А то без руки останетесь.

Самюэл сидел подавленный.

— Делай что хочешь, Ли. До чего же мне тяжело на душе, тяжело и тревожно! Жаль, я не ребенок, а то бы заплакал. И нельзя мне от страха терять голову, я для этого слишком стар. Но такой тоски не знал я с тех пор, как в руках у меня умерла птица: помню, сидел я тогда у ручья и горевал — ох, как же давно это было!

Ли вышел из комнаты и вскоре вернулся с маленькой шкатулкой из эбенового дерева, на которой были вырезаны изогнувшиеся драконы. Сев рядом с Самюэлом, Ли достал из шкатулки треугольную китайскую бритву.

— Будет больно,— мягко предупредил он.

— Постараюсь вытерпеть.

Кусая губы, сам чувствуя, какую он причиняет боль, китаец вдавил бритву в руку Самюэлу, вспорол следы укусов, срезал лохмотья кожи и долго скоблил ладонь с обеих сторон, пока из ранок не потекла здоровая, алая кровь. Встряхнув бутылочку с этикеткой «Бальзам Холла», он полил изрезанную ладонь желтой мазью. Потом пропитал бальзамом носовой платок, наложил его на руку и туго завязал. Лицо у Самюэла перекосилось, он ухватился левой рукой за подлокотник кресла.

— Это в общем-то просто карболовая кислота,— сказал Ли.— Чувствуете по запаху?

— Спасибо, Ли. Извини, что я так скрючился — веду себя, как дитя малое.

— Вы даже не вскрикнули ни разу. Я бы наверняка так не смог. Сейчас принесу вам еще кофе.

Из кухни он вернулся с двумя чашками и сел рядом с Самюэлом.

— Пожалуй, уйду я отсюда,— сказал он.— Нет у меня желания смотреть, как губят жизнь.

— Ты о чем, Ли? — вздрогнув, спросил Самюэл.

— Не знаю. Случайно вырвалось.

Самюэл поежился.

— Люди — глупцы, Ли. И хотя раньше я сомневался, теперь вижу, что китайцы ничуть не умнее других.

— А почему вы в этом сомневались?

— Нам кажется, будто чужеземцы всегда сильнее и умнее нас.

— Что вы хотите этим сказать?

— Возможно, глупость даже необходима человеку: все эти поединки с демонами, бахвальство, малодушная храбрость, с которой мы неустанно стремимся развенчать Бога, детская трусливость, что дает о себе знать в сумерках на пустынной дороге, когда в любом высохшем дереве нам мерещится привидение... Может быть, это прекрасно и необходимо, но...

— Что вы хотите этим сказать? — терпеливо повторил Ли.

— Я ведь думал, только в моей глупой голове такая сумятица. А сейчас, по твоему голосу, я понял, что тот же ветер разворошил и твои мысли. Я чувствую, как Зло распростерло крылья над этим домом. Я чувствую, как надвигается что-то ужасное.

— Я тоже это чувствую.

— Знаю. Потому-то и не дарит мне привычного покоя сознание собственной глупости. Эти роды были слишком быстрые, слишком легкие — она разродилась, как кошка. И мне страшно за котят. Чудовищные подозрения бередают мой разум.

— Что вы хотите этим сказать? — в третий раз повторил Ли.

— Я хочу, чтобы рядом со мной была моя жена! — выкрикнул Самюэл.— Чтобы исчезли видения, призраки, нелепые мысли. Я хочу, чтобы она была здесь. Говорят,

горняки, чтобы проверить воздух в шахте, берут туда с собой канареек. Поверь, Ли, если уж Лиза увидит оборотня, значит, это и вправду оборотень, а не плод воображения. И если Лиза почует приближение беды, мы наглухо запрем все двери.

Ли встал, подошел к корзине и посмотрел на новорожденных. Ему пришлось нагнуться, чтобы разглядеть их лучше — за окном быстро сгущались сумерки.

— Спят,— сказал он.

— Это ненадолго. Скоро распищатся. Ли, запряги бричку и поезжай за Лизой, ладно? Скажи, что я прошу ее приехать. Если Том еще на ранчо, скажи, пусть останется там за хозяина. А если его нет, я отправлю его туда завтра утром. Если Лиза не захочет ехать, скажи, что здесь нужны женские руки и трезвый женский ум. Она поймет.

— Все передам,— кивнул Ли.— А может, мы с вами попросту страшаем друг друга, как дети в темноте?

— Я уже об этом думал. И вот еще что, Ли, скажешь, что руку я поранил у колодца. Бога ради, не проговорись.

— Я только зажгу лампы и сразу же двинусь,— сказал Ли.— Чувствую, мы вздохнем с облегчением, когда приедет ваша жена.

— Это уж точно, Ли. Это точно. Лиза рассеет весь этот мрак.

Когда бричка Ли скрылась в темноте, Самюэл неловко, левой рукой, взял со стола лампу и встал. Подойдя к спальне, он вынужден был поставить лампу на пол, иначе не смог бы повернуть ручку двери. В комнате была кромешная тьма, и направленный вверх желтый свет лампы не доходил до кровати.

— Закройте дверь. Свет здесь ни к чему,— раздался громкий и резкий голос Кэти.— Адам, уйди отсюда. Я лежу в темноте... одна.

— Но мне хочется посидеть с тобой,— хрипло пробормотал Адам.

— Ты мне не нужен.

— Я не уйду.

— Что ж, оставайся. Только молчи. А вы, пожалуйста, закройте дверь и уберите лампу.

Самюэл вернулся в гостиную. Поставил лампу на стол рядом с корзиной и взглянул на личики спящих малышей.

Глаза у них были крепко зажмурены, но свет беспокоил близнецов, и они недовольно засопели. Самюэл опустил в корзину палец и погладил маленькие горячие лобки. Один из близнецов открыл рот, широко зевнул и снова погрузился в сон. Самюэл отодвинул лампу, прошел к входной двери, открыл ее и шагнул на крыльцо. Венера сияла так ярко, что казалась искрящимся, дрожащим огоньком, который медленно плыл по небу, опускаясь к западным хребтам. Воздух был неподвижен, в нем висел запах пропитанной солнцем полыни. Ночь была очень темная. И когда из черноты раздался голос, Самюэл вздрогнул.

— Как она там?

— Кто это? — спросил Самюэл.

— Я. Кролик. — От темноты отделилась тень, и падавший с крыльца свет очертил силуэт говорившего.

— Ты про роженицу, Кролик? У нее все прекрасно.

— Ли сказал, близнецы.

— Да, верно... два мальчика. О таком счастье иные только мечтают. Думаю, мистер Траск теперь выкорчует из реки весь сахарный тростник. Пустит его на сладости для своих сыновей.

Неожиданно для себя Самюэл сменил тему:

— Кролик, а знаешь, во что у нас сегодня уткнулся бур? В метеорит.

— А что это такое, мистер Гамильтон?

— Звезда, которая упала на землю миллион лет тому назад.

— Правда? Ну и чудеса! А как вас угораздило руку поранить?

— Чуть было не сказал: «Ободрал о звезду», — засмеялся Самюэл. — Увы, все было совсем не так романтично. Прищемил тросом.

— Сильно?

— Нет, не очень.

— Два мальчика, — задумчиво повторил Кролик. — Моя жена позавидует.

— Может, зайдешь в дом, Кролик? Посидим, поговорим.

— Нет-нет, спасибо, мистер Гамильтон. Я уже спать собрался. Похоже, чем дольше живу, тем все раньше светает.

— Верно, Кролик, так оно и есть. Ладно, спокойной тебе ночи.

Лиза приехала в пятом часу утра. Самюэл спал, сидя в кресле: ему снилось, что он держит и никак не может отпустить раскаленный брусок железа. Лиза разбудила мужа, прежде всего осмотрела его руку и лишь потом подошла к новорожденным. Делая сто дел одновременно,— куда до нее Самюэлу с его мужской неповоротливостью! — она собирала его в дорогу и давала наставления. Во-первых, ему надо, не теряя ни минуты, седлать Акафиста и ехать прямо в Кинг-Сити. И неважно, который час,— пусть разбудит этого бездельника доктора, и пусть тот немедленно займется его рукой. Если окажется, что ничего страшного, он может ехать домой и дожидаться ее там. И как же это он, изверг такой, мог бросить своего младшего сына одного: тот ведь и сам еще дитя, сидит сейчас возле какой-то ямы, и даже посмотреть за ним некому! Ох, как бы не пришлось за такой проступок отвечать перед Господом Богом!

Да, Самюэл получил то, чего так жаждал — Лиза воплощала собой здоровый и деятельный подход к жизни. Она отправила его в дорогу еще до рассвета. К одиннадцати утра рука у него была уже перевязана, а к пяти часам он, больной, с пылающим лбом и воспаленными глазами, уже сидел за столом у себя на ранчо, а Том варил курицу, чтобы приготовить ему бульон.

Три дня Самюэл пролежал в бреду, сражаясь с призраками и что-то выкрикивая, пока его могучий организм не одолел наконец прилепившуюся заразу и она, визгливо мяукая, отлетела прочь.

Придя в себя, Самюэл взглянул на Тома прояснившимися глазами, сказал: «Хватит мне валяться», — и попробовал встать, но ноги не держали его, он снова сел на кровать и смешливо фыркнул — любую свою неудачу он всегда встречал таким фырканием. У него была на этот счет своя теория: даже проиграв бой, можно изловчиться и одержать скромную победу, посмеявшись над собственным поражением. А вскоре он был уже готов убить Тома, так усердно тот кормил его бульоном. Миф о целебности бульона на удивление живуч, и даже в наше время вы встретите немало людей, которые верят, что бульон излечивает все хвори и весьма полезен даже покойникам.

Лиза пробыла у Трасков неделю. Она отскоблила их дом сверху донизу, от чердака до деревянных полов. Она вымыла все, что влезало в корыто хотя бы боком, а то, что не влезало никак, протерла мокрой тряпкой. Для новорожденных она установила строгий режим и с удовлетворением отметила, что орут они на редкость громко и начали набирать вес. На Ли она вваливала самую грубую работу, потому что не очень-то ему доверяла. Адама же предпочитала не замечать вообще, потому что не могла поручить ему ничего. Один раз, правда, заставила его вымыть окна, но потом сама перемыла их заново.

С молодой матерью Лиза сидела недолго, но успела прийти к выводу, что Кэти — женщина толковая, не из разговорчивых, и учить старших уму-разуму не пытается. Попутно Лиза осмотрела ее и убедилась, что Кэти совершенно здорова, что роды не причинили ей никаких повреждений и что молока у нее нет и не будет. «Оно и к лучшему, — сказала Лиза. — Вы вон какая махонькая, эти два здоровяка сожрали бы вас живьем». Ей и в голову не пришло, что сама она еще меньше, чем Кэти, но выкормила грудью всех своих девяти детей.

В субботу после обеда Лиза проверила результаты своих трудов, составила длиннющий список указаний на случай всевозможных напастей, начиная от колик в животе и кончая вторжением гигантских муравьев, сложила вещи и велела Ли везти ее домой.

В своем доме она застала чудовищную грязь и немедленно принялась за уборку с энергией и брезгливостью Геракла, вычищающего авгиевы конюшни. Она сновала по дому, на лету отвсчая Самюэлу, донимавшему ее расспросами.

— Как там новорожденные?

— Хорошо. Растут.

— Как Адам?

— Все только ходит-бредит, а больше ничего, как неживой. Велика мудрость Господня: не дай Он богатства таким чудным людям, они, верно, с голоду бы померли.

— А как тебе показалась миссис Траск?

— Спокойная, вся в себе, одним словом, настоящая нью-йоркская богачка (Лиза в жизни не видела ни одной

нью-йоркской богачки), но, с другой стороны, понятливая, не нахалка. И странное дело,— заметила Лиза,— вроде бы нет в ней ничего плохого... ну, разве что малость ленива... а все равно чем-то она мне не нравится. Может, из-за шрама. Откуда он у нее?

— Не знаю.

Лиза наставила на него указательный палец, словно целилась ему между глаз из пистолета:

— И еще тебе скажу. Она того не ведает, но мужа своего она околдовала. Ни на шаг от нее не отходит и ничего вокруг не видит, ровно ума лишился. Думаю, и сыновей-то своих еще толком не разглядел.

Самюэл дождался, когда Лиза вновь оказалась рядом.

— Если она лентяйка, а он ума лишился, кто ж тогда их деток нянчить будет? — спросил он. — Близнецы, к тому же мальчики, — тут глаз да глаз нужен.

Чуть было не пролетев мимо, Лиза резко остановилась, взяла стул, под села к Самюэлу и сложила руки на коленях.

— Если ты мне сейчас не поверишь, помни одно: лгать не в моих правилах, — заявила она.

— Да ты, родная, при всем желании солгать не сможешь, — сказал он, и Лиза, расценив это как комплимент, улыбнулась.

— Хорошо, что ты понимаешь, а то такое сейчас тебе скажу, что ты мог бы во мне и усомниться.

— Ну, говори же.

— Самюэл, ты знаешь их китайца... ну, этот... глаза, как щелки, коса, и лопочет не пойми чего... знаешь?

— Ли? Знаю, конечно.

— Вот спросили бы тебя, ты бы сразу сказал, что он язычник, верно?

— Не знаю.

— Перестань, Самюэл. Сказал бы обязательно. И любой бы так сказал. Но ведь он-то вовсе даже не язычник. — Она выпрямилась на стуле.

— А кто?

Ее твердый, как железо, палец ткнулся ему в плечо.

— Пресвитерианин, — сказала она. — И очень смывленный... если, конечно, разобратся в его тарабарщине. Ну, что ты на это скажешь?

— Не может быть! — Самюэл давился от смеха, и голос у него дрожал. — Чепуха!

— А я говорю: не чепуха! Кто, думаешь, ухаживает за близняшками? Язычника я бы к детям на милую не подпустила... но пресвитерианин... я ему все объяснила, и он все понял.

— Тогда неудивительно, что малыши прибавляют в весе,— заметил Самюэл.

— За такую милость должно восславить Господа, помолиться Господу должно.

— Что ж, не преминем,— сказал Самюэл.— И восславим, и помолимся.

5

Еще неделю Кэти отдыхала и набиралась сил. В субботу 13 октября она не выходила из спальни все утро. Адам подергал дверь и убедился, что она заперта.

— Мне не до тебя,— раздался голос Кэти, и Адам отошел от двери.

Приводит в порядок комод, решил он: ему было слышно, как она выдвигает и задвигает ящики.

Было уже далеко за полдень, когда Ли подошел к Адаму, сидевшему на приступке крыльца.

— Мисси говори, мой поезжай Кинг-Сити, покупай для детей соска,— неуверенно сказал он.

— Раз говорит, значит, поезжай. Она твоя хозяйка.

— Мисси говори, моя не возвращается до понедельника. Она говори...

— У него давно не было выходного,— спокойно сказала Кэти, выглянув на крыльцо.— Ему полезно отдохнуть.

— Разумеется,— кивнул Адам.— Я об этом не подумал. Счастливо погулять, Ли. Если мне что понадобится, позову кого-нибудь из плотников.

— Лабоциие домой уходи, завтра воскресенье.

— Тогда позову Индейца. Лопес всегда поможет.

Ли почувствовал на себе взгляд Кэти.

— Лопес — пьяная. Бутылка виски пил.

Адам потерял терпение.

— Уж как-нибудь не пропаду, Ли. Хватит препираться.

Ли посмотрел на стоявшую в дверях Кэти. И опустил глаза.

— Мозет быть, моя велится сегодня, только поздно.— Из-под приспущенных век он глянул на Кэти: две темные черточки прорезали ее переносицу и тотчас исчезли, но, возможно, ему показалось. Он отвернулся.— До свидания.

Кэти ушла назад к себе в комнату; близился вечер. В полвосьмого Адам к ней постучался:

— Я приготовил тебе ужин, дорогая. Совсем легкий.

Дверь тут же открылась, будто Кэти давно его ждала. Она стояла на пороге, одетая в элегантный дорожный костюм: серая юбка и жакет, обшитый черной тесьмой, с черными бархатными отворотами и большими блестящими черными пуговицами. На голове у нее была широкая соломенная шляпа с крохотной тульей, приколотая к прическе длинными булавками с блестящей черной бусинкой на конце. Адам изумленно разинул рот.

— Я уйду отсюда,— сказала она, не дав ему произнести ни слова.

— Кэти, что это значит?

— Я тебя предупреждала.

— О чем? Ты ничего не говорила.

— Говорила, но ты не слушал. Теперь уже все равно.

— Я не верю.

Голос у нее был деревянный, бесстрастный:

— Мне плевать, веришь ты или не веришь. Я уйду.

— А дети?

— Брось их в свой колодец.

— Кэти, ты с ума сошла! — в ужасе закричал он.— Оставить меня?! Уйти от меня?! Нет, ты так не можешь.

— С тобой я могу сделать все, что захочу. Как, впрочем, и любая другая женщина. Потому что ты дурак.

Это последнее слово, расколов туман, прорвалось в сознание Адама. Не проронив ни звука, он схватил ее за плечи и с силой толкнул. Шатаясь, она отлетела в глубь комнаты, а он тем временем вынул из замка вставленный изнутри ключ, захлопнул дверь и запер ее снаружи.

Тяжело дыша, он стоял, повернувшись ухом к двери, и по телу его разливалась ядом муторная слабость, наступающая после истерики. Ему было слышно, как Кэти тихо ходит по комнате. Потом скрипнул выдвигаемый ящик — она остается, мгновенно родилось у него в голове. Затем последовал какой-то непонятный слабый щелчок. Почти касаясь ухом двери, Адам замер.

Голос ее раздался так близко, что он отдернул голову. Теперь этот голос звучал по-другому: он был сочным, живым.

— Дорогой,— мягко сказала она.— Я не думала, что ты примешь так близко к сердцу. Прости меня, Адам.

Из груди у него вырвался хриплый вздох. Дрожащей рукой он стал поворачивать ключ, и, когда ему это удалось, ключ вывалился из замка на пол. Адам распахнул дверь. Кэти стояла в трех футах от него. В руке она держала его «кольт» сорок четвертого калибра, черный зев револьвера был нацелен ему в грудь. Адам шагнул вперед и увидел, что курок взведен.

Кэти выстрелила. Пуля ударила его в плечо, сплюснулась и, пройдя насквозь, вырвала кусок лопатки. Вспышка и грохот выстрела ошеломили его; пошатнувшись, он упал на спину. Медленно и осторожно, словно перед ней лежал раненый зверь, Кэти подошла к нему вплотную. Он поднял на нее глаза и увидел в ее взгляде лишь холодное любопытство. Она бросила револьвер рядом с ним и вышла из комнаты.

Он слышал, как она спустилась с крыльца, слышал, как зашуршали жесткие и сухие дубовые листья, когда она шла по тропинке, а потом шаги ее растаяли. И в тишине еще яснее проступило монотонное поскуливание — это, требуя ужина, плакали близнецы. Он забыл их покормить.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

1

На должность помощника шерифа Горацій Куин был назначен недавно, чтобы приглядывать за порядком в окрестностях Кинг-Сити. Он жаловался, что новая работа не оставляет ему времени заниматься собственным хозяйством. Жена его жаловалась еще больше, но если говорить правду, за время пребывания Горация на этом посту никаких значительных преступлений пока не произошло. Горацій рассчитывал стать в округе известным человеком

и затем баллотироваться в шерифы. Шериф — начальство важное. Суетится он меньше, чем окружной прокурор, а положение у него почти такое же прочное и солидное, как у старшего судьи. Горацию отнюдь не хотелось просидеть всю жизнь на ферме, а жена его мечтала переехать в Салинас, где у нее были родственники.

Когда через Индейца и плотников дошел слух, что Адам Траск ранен, Гораций немедленно оседлал коня и велел жене самостоятельно разделать тушу свиньи, которую он заколол утром.

Чуть севернее большого платана, как раз в том месте, где дорога на Хестер сворачивает влево, Гораций встретил Джулиуса Юскади. Джулиус никак не мог решить, то ли ему ехать охотиться на куропаток, то ли двинуться в Кинг-Сити и успеть на поезд, чтобы слегка встряхнуться в Салинасе. Юскади, состоятельные люди приятной наружности, по происхождению были баски.

— Вот если бы ты тоже со мной поехал, я бы махнул в Салинас,— сказал Джулиус.— Мне говорили, в двух шагах от Луговинки, прямо под боком у Дженни, открылось новое заведение. Хозяйку зовут Фей. Я слышал, у нее там очень приятно, все на манер Сан-Франциско. Даже тапер есть.

Гораций упер локоть в выступ седла и плеткой согнал слепня, впившегося лошади в лопатку.

— В другой раз,— сказал он.— У меня тут одно дело есть, разобраться надо.

— Ты никак на ранчо Траска собрался. Я угадал?

— Угадал. Слышал что-нибудь про эту историю?

— Слышал, только ни черта не понял. Говорят, мистер Траск прострелил себе плечо, а потом уволил всех рабочих. Как это можно стрельнуть самому себе в плечо да еще сорок четвертым калибром, а, Гораций?

— Не знаю. Эти с Восточного побережья все большие умники. Я потому и решил: дай, думаю, съезжу, проверю. У него ведь жена только что родила, да?

— И, как я слышал, близнецов. Может, это они в него стреляли?

— Ну да, один держал револьвер, а другой спускал курок. А еще что-нибудь слышал?

— Всякую болтовню. Хочешь, поеду с тобой?

— На должность я тебя все равно не возьму, Джу-

лиус. Шериф говорит, окружное начальство и так уже кричит, что слишком много нас развелось и все на жалованье. В Алисале, например, Хорнби привел к присяге и зачислил в отряд свою двоюродную бабу, и она получала деньги три недели, до самой Пасхи.

— Ладно врать-то!

— Ничего я не вру. И на звезду¹ ты не целься.

— Очень надо! Я и сам не хочу. Просто думал съездить с тобой за компанию. Вся эта история мне любопытна.

— Мне тоже. Ладно, Джулиус, поехали, вдвоем веселее. Но если увижу, что дело пахнет керосином, ты у меня от присяги не отвертишься. Так как, говоришь, зовут эту новую мадам?

— Фей. Она из Сакраменто.

— Да, в Сакраменто девочки кое-что умеют.— И пока они ехали, Гораций обстоятельно рассказал, что именно умеют девочки в Сакраменто.

В такой день ехать верхом было приятно. Повернув к долине Санчеса, они оживленно обсуждали, как измельчала нынче охота: вот раньше были времена, а сейчас что — тьфу! Урожай, рыбалка и охота — три вечных повода для недовольства (в сравнении с прошлым, естественно).

— Зло берет, ей-богу,— говорил Джулиус.— Медведей гризли так вообще уже всех перебили. В восьмидесятом году мой дед пристрелил одного под Плейто, в нем тысяча восемьсот фунтов было.

Въехав в тень дубов, они замолчали, и тишина надвинулась на них со всех сторон. Нигде ни звука, ни шороха.

— Интересно, он уже привел в порядок старый дом? — нарушил молчание Гораций.

— Да нет, куда там. Кролик Холман тоже ведь у него работал, так он мне сказал, что Траск созвал их всех и уволил. И больше, говорит, не приходите.

— Я слышал, у этого Траска денег куры не клюют.

— Да, с деньгами у него вроде бы благополучно,— согласился Джулиус.— Сэм Гамильтон колодцы ему бурит, целых четыре. Если, конечно, он его тоже не уволил.

¹ Металлическую звезду — нагрудный знак шерифа — носят и его помощники, часто добровольцы.

— А кстати, как там мистер Гамильтон? Давненько я к нему не заглядывал.

— Он молодцом. Все такой же неумный.

— Обязательно на днях к нему заеду.

Ли вышел на крыльцо и спустился им навстречу.

— Здравствуй, китаеза,— кивнул ему Горацій.— Хозяин дома?

— Хозяина больная.

— Я хочу с ним поговорить.

— Нет говоли. Он больная.

— Ты давай знай свое место,— сказал Горацій.— Иди и доложи, что приехал мистер Куин, помощник шерифа, и желает с ним побеседовать.

Ли исчез за дверью и почти тотчас вышел снова.

— Твоя плоходи,— сказал он.— Лосади моя сама уводи.

Адам лежал на кровати под пологом, на той самой кровати, где родились близнецы. Под голову ему были положены высокие подушки, левую часть груди и плечо закрывала толстая полотняная повязка. В комнате едко пахло «Бальзамом Холла».

«Ну чисто мертвец,— рассказывал потом Горацій жене.— Разве что дышит, а так покойник покойником».

Щеки у Адама запали, кожа туго обтягивала скулы, нос заострился. Казалось, от него остались одни глаза; они выпирали из глазниц и воспаленно блестели, напряженные, близоруко вглядывающиеся в вошедших. Исхудавшие пальцы здоровой руки комкали край одеяла.

— Здравсьте, мистер Траск,— сказал Горацій.— Слышал, вы ранены.— Он помолчал, ожидая ответа. Затем продолжил: — Вот я и подумал: надо заехать, проведать. Как же это с вами приключилось?

На лице у Адама проступило нетерпение. Он заворочался.

— Если вам больно говорить громко, можете шепотом,— доброжелательно посоветовал Горацій.

— Больно, только когда глубоко дышу,— тихо сказал Адам.— Я чистил револьвер, и он выстрелил.

Горацій искоса поглядел на Джулиуса. Адам перехватил этот взгляд, и щеки его порозовели от смущения.

— Что ж, бывает,— кивнул Горацій.— А где ваше оружие?

— Ли его, по-моему, куда-то убрал.

Гораций подошел к двери:

— Эй ты, китаёза, неси сюда револьвер.

Через минуту Ли просунул в дверь кольт, рукояткой вперед. Гораций оглядел револьвер, вывернул барабан, выковырил из него патроны и понюхал пустую медную гильзу.

— Выходит, эти штуки лучше стреляют не когда из них целишься, а когда их чистишь. Я, мистер Траск, обязан доложить в округ. Много времени я у вас не займу. Значит, вы чистили револьвер — чистили, вероятно, шомпол, — он выстрелил, и пуля попала вам в плечо, да?

— Все верно, сэр, — быстро сказал Адам.

— Вы чистили его со вставленным барабаном?

— Да.

— Вы воткнули в дуло шомпол и толкали его туда-сюда, а револьвер в это время был направлен на вас и курок был взведен, так что ли?

Адам хрипло глотнул воздух.

Гораций продолжал:

— В таком случае шомпол должен был пробить вас насквозь, а заодно вам отстрелило бы и левую кисть. — Белесые, выцветшие от солнца глаза Горация не отрываясь следили за лицом Адама. Помолчав, он мягко спросил: — Как все-таки было дело, мистер Траск? Расскажите правду.

— Это несчастный случай, я вам правду говорю, сэр.

— Вот вы сейчас меня слушали, и неужели вы думаете, что в докладе шерифу я напишу такую же чепуху? Он решит, что я спятил. Как все было на самом деле?

— Видите ли, я не очень умею обращаться с револьвером. Может, было не совсем так, как я рассказал, но я действительно его чистил, и он вдруг выстрелил.

В носу у Горация что-то засвистело. Ему пришлось дышать ртом. Медленно подойдя к изголовью кровати, он взглянул в настороженные глаза Адама.

— Вы ведь перебрались к нам недавно, мистер Траск? С Восточного побережья, как я понимаю?

— Да, правильно. Из Коннектикута.

— И там, наверное, уже редко пользуются револьверами?

— Да, нечасто.

— Но на охоту там все же ходят?

— Иногда.

— Стало быть, вы больше привыкли к дробовику?

— Совершенно верно. Хотя сам я охотился мало.

— Насколько я понимаю, револьвером вы едва ли пользовались, так что обращаться с ним не умеете.

— Все правильно,— нетерпеливо сказал Адам.— Там почти ни у кого нет кольтов.

— И значит, когда вы переехали к нам, вы купили этот револьвер, потому что здесь такой есть у каждого, и вы хотели набить руку.

— В общем, да. Я думал, неплохо будет научиться.

Джулиус Юскади стоял застыв, весь внимание, и не произносил ни звука, только слушал.

Вздохнув, Гораций отвернулся от Адама. Скользнув глазами по лицу Джулиуса, перевел взгляд куда-то в глубь комнаты, потом вновь посмотрел себе на руки, на револьвер. Положил его на низкий комод, рядом аккуратно выложил патроны.

— Знаете, я служу помощником шерифа совсем недавно,— сказал он.— Я думал, эта работа мне понравится и, может, через пару лет попробую пройти в шерифы. Но, видно, у меня кишка тонка. И работа эта мне совсем не нравится.

Адам следил за ним с беспокойством.

— Раньше, мне кажется, никто меня не боялся... злились, да, но чтоб бояться — такого не было. Неприятно, когда тебя боятся, противно мне это.

— Хватит тебе! — раздраженно сказал Юскади.— Все равно ты не можешь уйти в отставку сию минуту.

— Что значит не могу?! Захочу и уйду. Ладно, все! Мистер Траск, вы служили в кавалерии. На вооружении у кавалерии карабины и револьверы. Вы... — Он замолчал и проглотил слюну.— Что здесь произошло, мистер Траск?

Глаза у Адама, казалось, стали еще больше; они повлажнели, веки налились краснотой.

— Это был несчастный случай,— прошептал он.

— Кто-нибудь видел, как это произошло? Ваша жена при этом присутствовала?

Адам не отвечал, и Гораций увидел, что глаза у него закрыты.

— Мистер Траск, вам сейчас плохо, я понимаю. И я, как могу, стараюсь вас не утомлять. Может, я пока пого-

ворю с вашей женой, а вы отдохнете? — Он подождал ответа, потом повернулся к двери, где у порога по-прежнему стоял Ли.— Китаёза, передай своей мисси, что я буду счастлив поговорить с ней.

Ли молчал.

— Моя жена уехала в гости,— не открывая глаз, сказал Адам.

— Так ее не было здесь, когда это случилось? — Гораций взглянул на Джулиуса и увидел, что у того какое-то странное выражение лица. Губы у Джулиуса слегка кривились в иронической улыбке. А ведь этот соображает лучше меня, пронеслось в голове у Горация. Вот из кого бы вышел дельный шериф.— Так, так,— сказал он вслух.— Это уже интересно. Всего две недели назад ваша жена родила, причем двойню, а сейчас вдруг уехала в гости. Детей она тоже с собой взяла? Мне показалось, я слышал, как они тут где-то пищат.— Нагнувшись над кроватью, Гораций тронул Адама за стиснутый кулак.— Мне самому все это очень неприятно, но разобраться я обязан. Траск! — рявкнул он.— Я требую, чтобы вы рассказали правду. И это не праздное любопытство. Я здесь представляю закон. Откройте глаза, черт возьми, и говорите, иначе, клянусь, я отвезу вас к шерифу, и плевал я, что вы ранены!

Адам открыл глаза: взгляд у него был отсутствующий, как у лунатика. И когда он заговорил, голос его звучал на одной ноте — ровно, тускло и мертво. Казалось, он тщательно и правильно произносит слова на языке, которого не понимает.

— Жена ушла от меня,— сказал он.

— Куда?

— Не знаю.

— Как вас понимать?

— Я не знаю, куда она ушла.

Тут впервые за все время в разговор вмешался Джулиус:

— Почему она ушла?

— Не знаю.

Гораций рассердился:

— Траск, не хитрите! Вы играете с огнем, и все это мне очень не нравится. Вы не можете не знать, почему она ушла.

— Я действительно не знаю.

— Может быть, она заболела? Вы не замечали за ней никаких странностей?

— Нет.

Гораций повернулся к Ли:

— Китаёза, ты что-нибудь знаешь?

— В суббота моя уезжай Кинг-Сити. Назад плиезжай поздно, в двенадцать ноци. Находи мистел Тласк на полу.

— Значит, когда это случилось, тебя здесь не было?

— Нет.

— Что ж, Траск, придется снова говорить с вами. Китаёза, приподними-ка штору, а то ничего не видно. Вот так, теперь другое дело. Хорошо, попробуем по-вашему, пока мне не надоест. Итак, жена от вас ушла. А кто в вас стрелял? Она?

— Это был несчастный случай.

— Ладно, пусть несчастный случай, но револьвер держала она?

— Это несчастный случай.

— С вами далеко не уедешь. Давайте так: предположим, что она ушла, а мы должны ее найти — понимаете? — как в детской игре. Вы меня сами к этому вынуждаете. Давно вы на ней женаты?

— Около года.

— Как ее звали до замужества?

Адам долго молчал.

— Я не скажу, — тихо выговорил он наконец. — Я обещал.

— Ох, вы допрыгаетесь. Откуда она родом?

— Не знаю.

— Мистер Траск, вы сами себя упечете в окружную тюрьму. Ладно, опишите вашу жену. Какого она роста?

Глаза у Адама блеснули.

— Она невысокая... маленькая, хрупкая.

— Хорошо. Цвет волос? Цвет глаз?

— Она была красивая.

— Была?

— Она красивая.

— Особые приметы, шрамы?

— Нет, что вы!.. Хотя да... шрам на лбу,

— Итак, вы не знаете, как ее звали, не знаете, откуда она, не знаете, куда она ушла, и не можете ее описать. И к тому же принимаете меня за круглого дурака.

— У нее была какая-то тайна,— пробормотал Адам.— Я обещал, что не буду ее расспрашивать. Она кого-то боялась.— И внезапно Адам заплакал. Его всего трясло, дыхание вырывалось у него из груди с визгливым хрипом. В этом плаче было безысходное отчаяние.

Гораций почувствовал, как его захлестывает волна жалости.

— Пойдем в другую комнату, Джулиус,— сказал он и первым прошел в гостиную.— Ну, Джулиус, что ты думаешь? Он сумасшедший?

— Не знаю.

— Он убил ее?

— Это первое, что пришло мне в голову.

— Мне тоже... Тьфу, черт! — Гораций побежал в спальню и вернулся оттуда с револьвером и патронами.— Совсем забыл,— виновато признался он.— Долго я на этой работе не продержусь.

— Так что ты решил? — спросил Джулиус.

— Одному мне это дело, похоже, не по плечу. На жалованье я тебя не возьму, я предупреждал, но все равно давай-ка поднимай правую руку.

— Ну тебя к дьяволу, Гораций! Не хочу я принимать никакую присягу. Я в Салинас собрался.

— У тебя нет выбора, Джулиус. Либо сейчас же поднимешь руку, либо я тебя к чертовой матери арестую!

Джулиус нехотя поднял руку и с отвращением повторил за Горацием слова присяги.

— Это мне вместо спасибо за то, что я с тобой поехал,— проворчал он.— Отец с меня шкуру спустит. Ладно, чего дальше делать будем?

— Я поеду за умом-разумом. Мне надо с шерифом поговорить. Я бы и Траска с собой прихватил, но не хочу его пока поднимать с постели. Так что ты останешься с ним, Джулиус. Уж извини. Оружие у тебя есть?

— Нет, конечно.

— Тогда возьми этот револьвер, и звезду мою тоже возьми.— Он отколол с рубашки звезду и протянул ее Джулиусу.

— Думаешь, скоро вернешься?

— Сразу, как только управлюсь. Джулиус, а ты когда-нибудь видел миссис Траск?

— Нет.

— И я нет. Стало быть, я доложу шерифу, что Траск не знает, ни как ее зовут, ни вообще ничего. И что она небольшого роста и красивая. Точнее не опишешь, язви его в корень! Пожалуй, подам-ка я в отставку еще до разговора с шерифом, а то после такого доклада он меня, как пить дать, в шею выгонит. Так все же думаешь, он ее убил?

— Откуда я знаю?!

— Не кипятись.

Джулиус взял кольт, вставил патроны обратно в барабан и взвесил револьвер на ладони.

— Хочешь, подкину мыслишку, Горацій?

— Будто не видишь, что своих мне уже не хватает.

— Так вот: ее знал Сэм Гамильтон, он у нее роды принимал, я от Кролика слышал. А миссис Гамильтон потом за ней ухаживала. Может, тебе по дороге заехать к ним, и пусть они опишут ее как следует.

— Ты, пожалуй, оставь себе эту звезду насовсем,— сказал Горацій.— Отлично скумекал. Ну все, мне надо ехать.

— Дом мне без тебя осмотреть?

— Ты, главное, смотри, чтобы он не сбежал... и ничего с собой не сделал. Ясно? И сам поосторожнее.

2

Около полуночи Горацій выехал из Кинг-Сити на товарняке. До рассвета он продремал в кабине машиниста, а ранним утром был уже в Салинасе. Административный центр округа, Салинас рос быстро. Его население должно было вот-вот перевалить за две тысячи. Он был самым большим городом на всем промежутке от Сан-Хосе до Сан-Луис-Обиспо, и все предвидели, что его ждет блестящее будущее.

Прямо со станции Горацій зашел позавтракать в «Мясные деликатесы Сан-Франциско». Он не хотел поднимать шерифа с постели так рано и без надобности портить ему настроение. В «Деликатесах» он наткнулся на молодого Уилла Гамильтона — в деловом костюме цвета перца с солью тот выглядел преуспевающим бизнесменом.

Горацій подсел к нему за столик.

— Как жизнь, Уилл?

— Все отлично.

— Ты в Салинасе по делу?

— В общем, да. У меня тут кое-что наклевывается.

— Мог бы и меня разок в долю взять.—Горацию было немного странно вести подобный разговор с еще молодым парнем, но в Уилле Гамильтоне сразу угадывался везучий делец. Никто не сомневался, что со временем Уилл приобретет в округе большой вес. Есть люди, чье будущее — удачное или неудачное — написано у них на лбу.

— Обязательно, Гораций, не премину. Я думал, ферма отнимает у тебя все время.

— Ради стоящего дела я рискнул бы и в аренду ее сдать.

Уилл перегнулся через стол.

— Знаешь, Гораций, нашу часть Долины в округе явно обходят вниманием. У тебя не было мысли баллотироваться?

— Ты о чем?

— Ну, ты сейчас помощник шерифа... тебе не приходило в голову на следующих выборах предложить себя в шерифы?

— Да нет, я об этом как-то не думал.

— А ты подумай. Языком не трепли, но все обмозгуй. Через недельки две-три я к тебе загляну и мы еще потолкуем. А пока никому не говори.

— Будь спокоен, Уилл. Но у нас и так отличный шериф.

— Знаю. Это здесь ни при чем. В Кинг-Сити нет ни одного представителя окружных властей... понял, к чему я веду?

— Понял. Я подумаю. Да, кстати, я вчера по дороге заглянул к вам на ранчо, видел твоих родителей.

Уилл посветлел лицом.

— Правда? Как они там?

— Да все хорошо. А отец у тебя и вправду шутить мастер, знаешь?

Уилл хмыкнул.

— В детстве, помню, мы от его шуток со смеху дохли.

— И к тому же он очень башковитый. Он мне показал свою новую модель ветряка, Уилл. Такая толковая штука, ты в жизни ничего подобного не видел!

— О господи! — вздохнул Уилл.— Опять патентовщику платить.

— Но идея замечательная.

— Они у него все замечательные. А богатеют на них только юристы-патентовщики. Моя мать скоро с ума сойдет.

— Тут, наверно, ты прав.

— Есть только один способ делать деньги,— изрек Уилл.— Продавать то, что производят другие.

— Тут, думаю, ты тоже прав, Уилл, но ветряк он изобрел все равно сногсшибательный.

— Вижу, отец и тебе голову задурил.

— Пожалуй. Но уж такой он человек, да ты небось и сам бы не захотел, чтобы он был другим, верно?

— Это уж точно.— Уилл помолчал.— Ты все же подумай, о чем я тебе говорил.

— Хорошо.

— И языком пока не трепли,— добавил Уилл.

В те времена работа шерифа была не из легких, и если в лотерее всеобщих выборов округу доставался хороший шериф, считай, народу повезло. Этот пост таил в себе много сложностей. Наиболее очевидные обязанности шерифа — следить за соблюдением законов и оберегать мир и покой — были далеко не самыми важными. Да, действительно, шериф представлял в округе силу, подкрепленную оружием, но в краях, где что ни человек, то личность, грубый или тупой шериф долго не удерживался. Право на пользование водными источниками, межевые споры, разного рода безосновательные притязания, внутрисемейные отношения, установление отцовства — все эти вопросы требовалось решать без применения оружия. И к арестам хороший шериф прибегал лишь в том случае, если от всех прочих мер не было толку. Идеальным шерифом был не шериф-воин, а шериф-дипломат. По этим меркам в округе Монтерей был хороший шериф. Он обладал изумительным качеством — никогда не совал нос куда не надо.

Было уже начало десятого, когда Горацій вошел в кабинет шерифа в старой окружной тюрьме. Они пожали руки и, пока Горацій готовился перейти к делу, долго обсуждали погоду и виды на урожай.

— Без вашего совета мне не обойтись, сэр,— наконец отважился Горацій. И начал подробно рассказывать: и кто что говорил, и кто как посмотрел, и в котором часу что было — ну, в общем, все, до последней мелочи.

Через минуту-другую шериф закрыл глаза и, опустив

руки на колени, переплел пальцы. Изредка, показывая, что слушает, он открывал глаза, глядел на Горадия, но не произносил ни слова.

— Вот так я и сел в лужу, сэр,— заключил Горадий.— Разобраться, что случилось, не смог. Не смог даже выяснить, как эта женщина выглядит. Заехать потом к Сэму Гамильтону меня ведь Джулиус Юскади надоумил.

Шериф стряхнул с себя оцепенение, вытянул ноги, скрестил их и посмотрел, хорошо ли у него это получилось.

— Значит, ты думаешь, он ее убил?

— Это я сначала так думал. Но мистер Гамильтон меня вроде как разубедил. Он говорит, Траск убить не способен.

— Убить способен любой,— заметил шериф.— Человек, что пистолет, надо только знать, где нажать.

— А про нее мистер Гамильтон занятные вещи рассказывает. Оказывается, когда он у нее роды принимал, она его за руку укусила. И вы бы видели, как! Будто волк разодрал!

— Сэм описал тебе ее приметы?

— Да, и он, и его жена.— Горадий вынул из кармана бумажку и зачитал подробный словесный портрет Кэти. Чета Гамильтонов располагала в совокупности более чем достаточными сведениями как о внешности Кэти, так и о ее строении.

Когда Горадий кончил читать, шериф вздохнул.

— Они оба подтвердили, что у нее на лбу шрам?

— Да. И оба отметили, что иногда он темнеет.

Шериф снова закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Потом вдруг выпрямился, поднял крышку бюро и достал бутылку виски.

— На-ка выпей.

— Не возражаю. Ваше здоровье.— Вытерев рот ладонью, Горадий протянул бутылку назад.— Есть у вас какая-нибудь версия?

Прежде чем ответить, шериф приложился к бутылке, сделал три солидных глотка, заткнул горлышко пробкой и спрятал бутылку обратно.

— У нас в округе дело поставлено очень даже недурно,— сказал он.— С полицейскими я не ссорюсь; если что, выручаю их, и они, когда надо, тоже меня выручают. Возьми, к примеру, Салинас: город растет, полно пришло

люда, приезжают, уезжают — ослабь мы внимание, и хлопот не оберешься. С местным населением мои парни ладят прекрасно. — Он пристально посмотрел на Горация. — Ты не беспокойся. Долго говорить я не собираюсь. Просто хочу, чтобы ты понял. Мы здесь людей к ногтю не прижимаем. Нам с ними жить.

— Я что-нибудь не так сделал?

— Нет, Гораций, я не к тому. Сделал ты все правильно. А вот если бы ты ко мне не приехал или если бы арестовал Траска, тогда бы мы с тобой влипли в дерьмо по уши. Подожди, молчи. Я тебе все объясню.

— Я слушаю, — вставил Гораций.

— По ту сторону железной дороги, возле Китайского квартала, стоят публичные дома...

— Знаю.

— Это все знают. Если мы их прикроем, они просто переедут в другое место. Городу эти бордели нужны. Мы, понятно, за ними приглядываем, так что особых неприятностей не бывает. Да и хозяйки борделей сами держат с нами связь. По их подсказке я уже не одного бандита отловил, из особо опасных, за которых премию платят.

— Джулиус мне говорил, что...

— погоди, не перебивай. Дай досказать, чтобы мы к этому не возвращались. Примерно три месяца назад пришла ко мне одна приличного вида женщина. Сказала, хочу, мол, открыть у вас заведение и чтобы с самого начала все было как положено. Она из Сакраменто приехала. Держала там бордель. Показала мне рекомендательные письма от очень влиятельных людей... репутация у нее безупречная, никогда никуда не тягали. Одним словом, особа вполне достойная и порядочная, комар носу не подточит.

— Джулиус мне говорил. Ее Фей зовут.

— Правильно. Стало быть, заведение она открыла и очень пристойное: все тихо, скромно, порядок. Открыть его было самое время, а то старая Дженни и Негра без конкуренции совсем бы завшивели. Они, конечно, развопились, но я им сказал то же, что тебе сейчас. Самое время, говорю, встряхнуть вас конкуренцией.

— У нее и свой тапер есть.

— Да, есть. И очень хорошо играет... слепой. Слушай, ты дашь мне досказать или нет?

— Виноват, — извинился Гораций.



«НА ВОСТОК ОТ ЭДЕМА». Часть первая



«НА ВОСТОК ОТ ЭДЕМА». Часть первая

— Ладно уж. Знаю, я рассказываю долго, но с толком. Так вот, Фей, как я и думал, оказалась женщина достойная и порядочная. Знаешь, чего больше всего на свете боятся хозяйки тихих приличных борделей? К примеру, сбежит взбалмошная шалая бабенка от мужа и наймется в заведение. А муженек отыщет ее и затеет громкий скандал. В эту заварушку сует нос церковь, потом начинают визжать добродетельные дамы, и очень скоро этот бордель уже костерят на всех углах, и нам приходится его закрыть. Понимаешь?

— Все понял,— тихо сказал Гораций.

— Нет, ты вперед меня не забегай. Противно рассказывать, если человек уже сам догадался. Короче говоря, в воскресенье вечером Фей прислала мне записку. Что, мол, появилась у нее новая девочка, и она никак не может ее раскусить. Фей смущало, что девица эта вроде бы похожа на беглянку, но клиентов обслуживает, как опытная шлюха высшего разряда. Все знает, все умеет. Ну, я сходил, поглядел на эту птичку. Она, как водится, наплела мне с три короба разной ерунды, но придраться ни к чему не могу. Совершеннолетняя, жалоб и заявлений насчет нее ко мне не поступало.— Он развел руками.— Вот так. Что будем делать?

— А вы уверены, что это миссис Траск?

— Широко посаженные глаза, блондинка, шрам на лбу, к Фей пришла в воскресенье вечером.

Перед Горацием всплыло залитое слезами лицо Адама.

— Боже мой! Шериф, пусть ему кто-нибудь другой сообщает. Я не могу, лучше подам в отставку.

Шериф уставился в пустоту.

— Ты говоришь, он не знал ни ее настоящего имени, ни откуда она. Ловко же она его околпачила, стерва!

— Ох он, бедолага! — вздохнул Гораций.— Он ведь ее любит, несчастный. Нет, сй-богу, я ему сказать не смогу — пусть кто-нибудь другой.

Шериф встал из кресла.

— Пойдем в «Деликатесы», выпьем по чашке кофе.

Они шли по улице и молчали.

— Гораций,— наконец заговорил шериф,— я знаю много такого, что, если рассказать, весь этот чертов округ дерьмом захлебнется.

— Не сомневаюсь.

— Говоришь, у нее двойня родилась?

— Да. Два мальчика.

— Ну так слушай меня, Гораций. Про нее знают только три человека на свете — она сама, ты и я. С ней я поговорю и предупрежу, что, если она проболтается, я вышибу ее из округа в ту же минуту и дам такого пенделя, что у нее из задницы дым пойдет. И вот что, Гораций, если у тебя вдруг зачешется язык, ты прежде, чем сказать хоть слово кому угодно, даже собственной жене, хорошенько подумай, каково будет этим малышам, когда они узнают, что их мать — шлюха.

3

Адам сидел в кресле под большим дубом. Левая рука у него была умело закреплена повязкой, чтобы он не двигал плечом. С крыльца спустился с бельевой корзиной Ли. Поставил корзину возле Адама и ушел в дом.

Близнецы не спали, глаза их сосредоточенно и непонимающе смотрели вверх, туда, где ветер шевелил листья. Сухой дубовый лист слетел с ветки и, кружась, упал в корзину. Адам нагнулся и вынул его оттуда.

Он не слышал стука копыт и Самюэла увидел, только когда тот остановил лошадь прямо перед ним, но Ли заметил Самюэла еще издали. Он вынес ему стул, взял Акафиста под уздцы и повел к сараю.

Самюэл тихо сел; чтобы не беспокоить Адама, он не глядел в его сторону слишком часто, но и не отворачивался. Ветер, колыхавший верхушки дубов, посвежел и, задев крылом Самюэла, разворошил ему волосы.

— Я подумал, пора мне снова приниматься за ваши колодцы, — негромко сказал Самюэл.

— Не надо. — Адам отвык разговаривать, и голос у него скрипел. — Колодцы мне не нужны. Я заплачу вам сколько должен.

Самюэл нагнулся над корзиной, положил палец на ладонку одному из близнецов, и крохотные пальчики цепко сомкнулись.

— Давать советы у нас в крови, мы, думаю, никогда не избавимся от этой привычки, — сказал он.

— Я никаких советов не прошу.

— Их никто не просит. Совет — это подарок советчика. Вам надо войти в роль, Адам.

— Какая еще роль?

— Притворяйтесь, что вы живой, играйте, как актер в театре. Со временем, хотя и очень нескоро, вы действительно оживете.

— Зачем это мне?

Самюэл глядел на близнецов.

— Что бы вы ни делали, и даже если ничего не будете делать, вы все равно что-то после себя оставите, передадите дальше. Вы можете забыть о себе, уподобиться заброшенной земле, но и на этом пустыре что-нибудь да вырастет — хотя бы репей или полынь. Что-то вырастет обязательно.

Адам не отвечал, и Самюэл поднялся.

— Я еще приеду, — сказал он. — Я буду приезжать к вам часто. Входите в роль, Адам.

За сараем его ждал Ли. Он придержал Акафиста, пока Самюэл влезал в седло.

— Вот и уплыла твоя книжная лавка, Ли.

— Ну и ладно, — сказал китаец. — Может, я и сам не очень-то хотел.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

1

Освоение нового края осуществляется по своего рода шаблону. Первыми приходят открыватели — сильные, отважные и по-детски простоватые. Борьба с глушью и дичью им по плечу, а вот в борьбе житейской они наивны и беспомощны; потому, возможно, и уходили они с насиженных мест на Запад. Когда край уже пообжит, являются дельцы и юристы, чтоб упорядочить землевладение, что достигается у них обычно устранением соблазнов — себе в карман. И, наконец, приходит культура, то есть развлечение, отдых, передышка от горестей и болей жизни. А культура эта может быть — и бывает — самых различных уровней.

Церковь и бордель пришли на Дальний Запад одновременно; и обоих ужаснула бы та мысль, что они лишь разные грани одного явления. Ведь нацелены они на одно

и то же: песнопенья, набожное речение, поэзия церковей позволяют на время забыть унылость быта; и для того же назначены публичные дома. Церковные секты и вероучения являлись петушась — самоуверенно, размахисто и шумно. Знать не желая законов займа и уплаты, они возводили храмы, за которые и во сто лет не расплатиться. Они сражались со злом — не отрицая, — однако и друг с другом они сражались весьма рьяно. За каждую букву доктрины шла драка. И каждое из этих учений радостно верило, что все остальные прямоком ведут в геенну. И в основе каждого, несмотря на весь их шум и спесь, лежало все то же Писание, на котором зиждется наша нравственность, наше искусство, поэзия, наши взаимоотношения. Мудрец был тот, кто разбирался, в чем разница между этими сектами, но общее видел каждый. И они несли с собою музыку, пусть и не первосортную, но все же знакомили с ее формой и пробуждали чувство музыки. И с совестью знакомили — вернее, будили дремлющую совесть. Чистота в них содержалась лишь потенциально, как в заношенной белой рубашке. Но каждый мог в сердце своем отмыть ту рубашку добела. Пусть его преподобие проповедник Биллинг на поверку оказался вором, прелюбодеем, развратником и скотоложцем; но все же он преподавал кое-что хорошее множеству восприимчивых людей, и от этого никуда не денешься. Биллинг сел в тюрьму, но добро, им посеянное, сажать под арест не пришлось. И не так уж важно, что мотивы Биллинга не были чисты. Семена он сеял добрые, и не все они погибли. Биллинга я взял в качестве крайнего примера. У честных проповедников были энергия и рвение. Они сражались с дьяволом свирепо, с применением всех приемов, вплоть до пинания каблуками и выдавливания глаз. Допустим, что они вопили об истине и красоте немного на манер того, как морской лев в цирке исполняет государственный гимн, поочередно сдавливая челюстями резиновые груши рожков, расположенных в ряд. Но что-то от истины и красоты все же оставалось, и мотив гимна можно было разбрать. И, сверх того, секты создали в долине Салинас-Валли структуру людского общения. Церковный пикник — это ездь дедушка загородных клубов, точно так же как чтения стихов по четвергам в подвальном помещении под ризницей породили любительский театр.

Церковь, несущая душе аромат благочестия, въезжала на сцену, точно лошадь с пивоварни, что везет бочки с весенним темным пивом, горделиво выступая и потрубливая задом; а в это время брат ее, несущий радость и облегчение телу, втирался втихомолку, нагнув голову, пряча лицо.

В кино вам, верно, приходилось видеть роскошные дворцы греха и знойных танцев — на мишурном Западе фильмов, — и, возможно, где-нибудь такие дворцы и существовали, но только не в долине Салинас-Валли. У нас бордели были тихие, приличные, чинные. Если бы, послушав экстатические вопли новообращенных грешниц-климактеричек под буханье мелодеона, вы потом постояли под окном борделя, внимая благопристойным и негромким голосам, то, пожалуй, перепутали бы, где чему происходит служение. Бордель, допущенный, но не признанный, был скромнен.

Я расскажу вам о храмах любви в городе Салинасе. Они и в других городках были сходного пошиба, но именно салинасский Ряд причастен к нашему повествованию.

По Главной улице направимся на запад до поворота — до пересечения с Кастровилльской улицей. Ее теперь именуют Рыночной, бог знает почему. Раньше улицу называли по тому поселку или городу, куда она направлена. Так, Кастровилльская через девять миль приводила в Кастровилль, Алисальская вела в Алисаль — и так далее.

Дойдя до Кастровилльской, поворачиваем по ней направо. Двумя кварталами ниже ее косо, с севера на юг, пересекает линия Южной Тихоокеанской железной дороги, а с востока на запад — улица, названия которой, хоть убей, не помню. Если повернуть по этой улице налево, за линию, то окажемся в Китайском квартале. А повернем направо — и перед нами Ряд.

Глина улицы черна, из такой делают кирпич-сырец; зимой здесь грязь стояла глубокая, поблескивающая, а летом глина коленстой дороги твердела, как железо. Весной на обочинах росла высокая трава — овсюг, просвирник вперемежку с дикой горчицей. Ранними утрами на дороге шумели воробьи над конским навозом.

Помните воробьиный галдеж, старики? И помните, как восточный ветерок нес из Китайского квартала запах жареной свинины, гнильцы, черного табака и опиума? А помните удар большого гонга в китайской кумирне и как этот густо-блещущий звук долго-долго держался в воздухе?

А дома Ряда помните — неремонтированные, некрашенные? Они казались развалишками, как бы стремились спрятаться за внешней обветшалостью, укрыться от улицы за одичало заросшим палисадником. Помните, как шторы были вечно спущены и лишь полосы желтого света пробивались по краям? И слышен был оттуда только глухой, легкий шум. Вот открылась передняя дверь, впустила деревенского парнягу, послышался смех и, скажем, тихий грустно-сладкий звук раскрытого рояля, где поперек струн лежит цепка от туалетного бачка, — и дверь захлопнулась, и опять все заглохло.

Послышатся потом конские копыта на дороге, подъедет Пет Булийн, местный извозчик, и высадит четверых-пятерых осанистых мужчин — богачей или видных чиновников — из правления банка или из суда. Пет завернет за угол — дожидаться на козлах своих седоков. А спугнутые им коты струйчато скользнут через дорогу в высокую траву.

И еще — помните? — раздастся гудок паровоза, луч пробуравит мглу, и товарный поезд из Кинг-Сити прогромыхает мимо Кастровилльской улицы и дальше в город, и слышно, как будет отпыхиваться, вздыхать на станции. Помните?

В каждом городе есть свои знаменитые хозяйки борделей, увековеченные в сентиментальных преданиях. Есть что-то притягательное для мужчин в такой мадам. Она сочетает в себе сметку дельца, крепость боксера-профессионала, чуткость товарища, юмор трагедийного актера. Вокруг нее образуются легенды, но — как ни странно — легенды не сладострастные. Воспоминания о ней касаются всего, но только не постели. Старые клиенты помнят и живописуют ее как человеколюбицу, умелую лекарку и классную вышибалу, как поэтессу чувственных страстей, но отстраняющуюся от их телесности.

В Салинасе немало лет находили пристанище две такие драгоценные женщины: Дженни, именуемая иногда Пердуньей Дженни, и Негра, владевшая и правившая Луговинкой. Дженни была баба свойская, умела хранить тайны, у нее можно было и деньги тайно призанять. О Дженни существует в Салинасе множество рассказов.

Негра же была красивая, строгая негритянка со снежно-белыми волосами и устрашающим темным достоинством.

вом. Ее сумрачные карие глаза, глубоко сидящие в орбитах, смотрели с философской скорбью на мир, полный безобразий. Она вела свой дом, точно собор, где служат грустному, но тем не менее напрягшему свой лук Приапу. Если вам желалось смеха и веселого тычка под ребра, вы шли к Джени и получали все это сполна; но если неизбежное ваше одиночество исходило вселенской слезной тоской, вы направлялись в Луговнику. И, выйдя оттуда, вы чувствовали, что пережили нечто суровое и важное. Это вам не в сене вдвоем поваляться. Не день и не два потом мерещились вам темные прекрасные глаза Негры.

Когда Фей, переселясь из Сакраменто, открыла здесь заведение, обе эти старожилки враждебно всполошились, тревожась за своих прихожан. Они объединились было, чтобы выжить Фей, но обнаружили, что она хлеб у них не отбивает.

Фей была пышногрудая, широкобедрая, от нее веяло материнским теплом. На груди у нее можно было поплакать, она погладит по голове и утешит. Суровый секс Негры, развеселый кабац Дженни имели своих приверженцев, и Фей их не переманила. Ее дом стал прибежищем для половозрелых сопляков, скулящих над утраченной непорочностью и жаждущих потратиться еще. У Фей обретали себе ободрение горе-мужья, получали компенсацию те, кому достались холодные жены. Тут вы как бы входили в бабушкину кухню, уютно пахнущую корицей. И грех, приключавшийся с вами у Фей, был простителен. У нее в доме салинаские юнцы вступали на тернистый путь секса самой гладенькой, нежноцветной дорожкой. Фей была славная женщина, не очень умная, по-своему высоко нравственная и ничего скандального не допускавшая. Все ей доверяли, и она всем доверяла. Узнаешь Фей поближе — и не захочешь ей вредить. Ее заведение не соперничало с двумя другими. Оно их дополняло.

Каков хозяин в лавке или на ферме, таковы и работники; точно так же и в борделе девушки бывают весьма схожи с хозяйкой — отчасти потому, что она подбирает подобных себе, отчасти же потому, что у хорошей хозяйки все дело, весь дом носят ее отпечаток. У Фей редко можно было услышать скверное или сальное слово. Отлучка в спальни, оплата происходили так тихо, неподчеркнуто, словно бы по случайности. В общем и целом дом у нее

был отменнейший, и это знали шериф и начальник полиции. Фей делала щедрые взносы во все благотворительные фонды. С омерзением относясь к венерическим болезням, она оплачивала регулярный медосмотр своих девушек. Риск заразиться у Фей был столь же мал, как от учительницы из воскресной школы. В скором времени Фей стала солидной и вполне приемлемой гражданкой растущего города Салинаса.

2

Новенькая — Кейт — озадачила хозяйку: такая молодая и красивая, такой дамой держится, такая образованная. Фей пригласила ее в свою недоступную для клиентов спальню и расспросила гораздо подробнее, чем любую другую желающую. А желающих работать в борделе всегда достаточно, и Фей, как правило, умела раскусить их тут же. И мысленно распределяла по разрядам — ленивая, мстительная, похотливая, неудовлетворенная, жадная до денег или до известности. Но Кейт не подходила ни под один такой разряд.

— Вы, надеюсь, не обидитесь на мои вопросы. Так странно, что вы пришли сюда. Да вам стоит пальцем шевельнуть, и у вас будет муж, и экипаж, и особняк здесь в городе,— говорила Фей, вертя широкое обручальное кольцо на толстеньком мизинце.

Кейт смиренно улыбнулась.

— Мне так трудно говорить об этом. Пршу вас, не настаивайте на объяснении. От моего молчания зависит счастье очень близкого и дорогого мне человека. Пожалуйста, не надо.

Фей кивнула понимающе-серьезно.

— Я уже сталкивалась с подобным. У меня одна девушка работала для своего ребеночка, и долгс-долго никто об этом не знал. Теперь у этой девушки красивый дом и муж в... Ну вот, чуть не выболтала адрес. А я скорее язык себе откушу. У вас ребенок, душенька?

Кейт потупила глаза, как бы скрывая блеснувшие слезы. Казалось, ей сжало горло; наконец она прошептала:

— Простите меня, не могу об этом.

— Ну что ж. Успокойтесь. Торопить вас не буду.

Фей звезд с неба не хватала, но была далеко не глупа.

Чтобы чего не вышло, она сходила к шерифу. Рисковать в таких делах не стоит. Фей чувствовала — что-то у Кейт нечисто; но если заведению вреда не будет, то, в сущности, Фей это не касается.

Кейт могла оказаться мошенницей, но нет, не оказалась. Она сразу же вошла в работу. И если клиенты возвращаются снова и снова и спрашивают именно ее, то, значит, она кой-чего стоит. Смазливый личик тут недостаточен. Фей стало ясно, что Кейт в деле не новичок.

О новенькой всегда полезно выяснить, во-первых, работник ли она и, во-вторых, поладит ли она с другими девушками. Если сварливая, со вздорным характером — для дома ничего нет хуже.

Но и насчет этого Фей вскоре успокоилась. Кейт из кожи вон лезла, чтобы всем понравиться. Помогает девушкам прибирать их комнатки. Ходит за ними, когда захорают. Участиливо советует в житейских затруднениях, любовных бедах. А обзавелась деньгами — и деньги всегда готова одолжить. Не девушка, а прелесть. Лучшей подружкой всем стала.

Ни от какого тяжкого и нудного труда не бежит, забот и хлопот не жалеет и вдобавок увеличила число клиентов. При ней вскоре образовался постоянный контингент. А какая внимательная! Все дни рождения помнит, и непременно у нее готов подарок и торт со свечками. Фей поняла, что Кейт для нее — клад.

Люди несведущие думают, что быть хозяйкой заведения просто — сиди себе в кресле, пей пиво и клади в карман половину всего заработанного девушками. Но в действительности это отнюдь не так. Девушек надо кормить, а значит, закупать продукты, держать повара. И с прачечной, с бельем хлопот куда больше, чем в любой гостинице. И надо следить, чтобы девушки были здоровы и веселы, а ведь иные и злобиться умеют. Число самоубийств надо сводить до самого-самого минимума: проститутки, особенно стареющие, склонны хвататься за бритву, а от самоубийц дому худая слава.

Не так-то легко заботиться обо всем этом, и если еще не блюсти экономию, то можно влезть и в убытки. Так что Фей обрадовалась, когда Кейт предложила помогать в закупках, в составлении меню; непонятно лишь, как ухитрится Кейт находить время. Но ухитрилась, — и в первый

же месяц хозяйствования Кейт не только питание в доме улучшилось, а и по лавочным счетам расходы снизились на треть. И счета прачечной — Фей не знает, что такое Кейт сказала там приемщику, но подсшевелило вдруг на двадцать пять процентов. Теперь уж Фей не представляла, как могла прежде обходиться без Кейт.

Перед вечером — перед началом работы — они теперь сидели у Фей вдвоем и пили чай. Кейт покрасила в комнате деревянные панели, повесила кружевные гардины, и стало гораздо уютней. Девушки начали уже понимать, что у них не одна, а две хозяйки, — и девушки были рады, потому что ладить с Кейт просто. Она, правда, велела им взести в обслуживание клиентов дополнительные штучки, но не повредному велела. Девушкам самим было забавно и потешно.

Прошел год, и теперь Фей с Кейт было водой не разлить. «Вот увидите — когда-нибудь дом перейдет к ней», — говорили девушки.

А она оказалась и усердной рукодельницей — занималась вышиванием тончайших батистовых платочков. У нее прелестно получались вензеля. Почти у каждой девушки был носовой платок работы Кейт, и девушка им дорожила.

В конце концов случилось то, что и должно было случиться, — Фей, в ком было очень сильно материнское начало, стала смотреть на Кейт как на родную дочь. В сердце Фей возникла нежность, и взяла свое врожденная порядочность: «Не хочу, чтобы моя дочь была проституткой». Нежелание весьма естественное и резонное.

Фей задумалась, как завести об этом речь. Ведь целая проблема. Напрямик заговорить было не в характере Фей. Не могла она брякнуть: «Хочу, чтобы ты перестала быть шлюхой».

Фей начала так:

— Я все хочу тебя спросить, если только это не секрет. Что шериф тебе сказал тогда — о боже! уже год прошел с тех пор. Как быстро идет время. И чем ближе к старости, тем, видимо, быстрее. Он у тебя почти час пробыл. Разве он — но нет, конечно, нет. Он человек семейный. Он к Дженни ходит. Но если секрет, тогда не говори.

— Да никакого секрета, — отвечала Кейт. — Спроси ты меня, и я тогда же рассказала бы. Он велел мне уехать домой. Но был не груб. Я объяснила, что не могу, и он все понял, был так мил.

— Ему-то ты открыла, почему не можешь? — спросила Фей ревниво.

— Конечно, нет. Тебе не открываю, а ему неужели открыла бы? Не глупи, родненькая. Какая ты смешная.

Фей улыбнулась успокоенно, уютней устроилась в кресле.

Храня безмятежное выражение на лице, Кейт мысленно вспомнила тот разговор с шерифом слово за словом. Шериф ей, правду сказать, даже понравился — своей прямотой.

3

Затворив дверь, он окинул комнату цепким взглядом хорошего полицейского и не увидел ничего личного, приметного — ни фотоснимка, ничего, кроме одежды и туфель.

Он сел в ее камышовое креслице-качалку, и зад его, не уместясь на сиденье, выпятился с боков. Потом шериф сплел пальцы, и они зашсбелелись, засовсцались меж собой, точно муравьи. Он заговорил бесстрастным тоном, как будто его не слишком занимали собственные слова. И, может, этим-то и произвел впечатление на Кейт.

Сперва она приняла свой смиренный, слегка глуповатый вид, но, послушав шерифа минуту-другую, сбросила эту личину и впиалась в него взглядом, стараясь прочесть его мысли. Он не то чтобы глядел ей в глаза и не то чтобы не глядел. Но она чувствовала, что и он изучает ее. Она ощутила, как взгляд его скользнул по ее лбу, по шраму — точно пальцами прошелся.

— Я не хочу заводить на вас папку, — сказал он негромко. — Я уже давно на должности. Еще один срок — и, пожалуй, с меня хватит. А лет пятнадцать назад я бы, знаете ли, покопался в вашем прошлом, проверил и, думаю, обнаружил бы у вас там, мадмуазель, что-нибудь препакастное. — Он помолчал, давая ей возможность возразить, но возражения не услышал и медленно кивнул головой. — Дознаваться не хочу, — сказал он. — А хочу, чтобы в моем округе было тихо-мирно. Во всех смыслах — чтобы люди могли спокойно спать ночью. Я с вашим мужем не знаком, — продолжал он, и Кейт поняла, что он заметил, как она вся слегка напряглась. — Но слышал, что человек он хороший. И что досталось ему крепко. — Он кратко гля-

нул ей в глаза.— Вам ведь интересно узнать, легко вы его ранили или же насмерть?

— Да,— сказала Кейт.

— Что ж, он поправится — плечо разбито, но он встанет. За ним этот китаец здорово ухаживает. Конечно, он нескоро сможет поднять что-нибудь левой рукой. Сорок четвертый калибр дырявит человека основательно. Если бы не вернулся китаёза, он бы истек кровью и вы бы сейчас были у меня в тюрьме.

Кейт не дышала — слушала, старалась по словам, по тону угадать, что будет дальше,— и не могла.

— Мне так жалко,— сказала она тихо.

Глаза шерифа ожили.

— А вот это уж вы оплошку допускаете,— сказал он.— Жалко вам, как же. Я знал одного вашей породы — вздернул его двенадцать лет назад на площади перед окружной тюрьмой. У нас тогда вешали.

Комнатка с кроватью темного красного дерева, с умывальником (мраморная раковина, таз, кувшин и дворца, где ночной горшок), а по стенам бесчисленно повторенные розочки обосс — комната была бездыханно тиха.

Шериф поглядел на репродукцию, изображающую трех лишенных туловища ангелочков, три головки, кудрявые и ясноглазые, а там, где положено быть шес,— крылышки вроде голубиных.

Шериф нахмурился.

— Странная картинка для бардака,— сказал он.

— До меня еще висела,— сказала Кейт, чувствуя, что сейчас он перейдет к делу.

Шериф выпрямился в креслице, разнял пальцы, сжал ими подлокотники. Даже ягодицы его несколько поджались.

— Вы двоих младенцев бросили,— сказал он.— Сыновей своих. Но не бойтесь. Я вас возвращать домой не стану. Я бы даже приложил немалые усилия, чтоб не дать вам возвратиться. Знаю вашу породу. Я могу выгнать вас за черту округа, а соседний шериф погонит вас дальше — и так, пока не плюхнется в Атлантический океан. Но не стану этого делать. Блядь есть блядь. Живите себе. Только не доставляйте мне хлопот.

Кейт спокойно спросила:

— Как я должна себя вести?

— Вот так-то лучше,— сказал шериф.— Сейчас объясню. Вы здесь, я слышу, изменили имя, взяли другую фамилию. Ее и держитесь. Придумали, наверно, и место, откуда родом. Вот и будем считать, что прибыли вы в Салинас прямиком оттуда. А болтнуть захочется в пьяном виде, по какой причине прибыли,— так пусть причина ваша держится подальше от Кинг-Сити.

Кейт улыбнулась, и улыбочка была не напускной. Шериф ей уже начал нравиться; она ощутила к нему доверие.

— Еще об одном я подумал,— сказал он.— У вас много знакомых в Кинг-Сити?

— Нет.

— Я слышал насчет той вязальной спицы,— заметил шериф как бы вскользь.— Так вот, сюда может зайти кто-нибудь из знакомых. Волосы у вас не крашеные?

— Нет.

— Покрасьте в черный цвет, брюнеткой побудьте. А схожие лица сплошь и рядом встречаются.

— А это? — Она коснулась шрама тонким пальцем.

— Ну, это у нас будет просто... как его... Забыл слово, черт его дери. С утра еще помнил.

— Совпадение?

— Вот именно, случайное совпадение.

На этом шериф, очевидно, кончил. Он достал табак, курительную бумагу и свернул корявую, неровную сигарету. Отломил спичку от блока, чиркнул ею, подождал, пока едко-серный синеватый огонек не пожелтснет. Сигарета закурилась косо, одним боком.

— Вы мне грозите чем-то? — спросила Кейт.— То есть вы что-то сделаете, если я...

— Нет, не грожу. Хотя если придется, то смогу, пожалуй, прижать крепенько. Нет, я не хочу, чтобы из-за вас, из-за ваших поступков и слов вышел вред мистеру Траску или его малышам. Считайте, что миссис Траск умерла, а живет другая женщина — и у нас с вами не будет ссор.

Он встал, пошел к дверям. Обернулся.

— У меня есть сын — ему двадцать исполняется. Рослый, довольно красивый, со сломанным носом. Его все любят. Я не хочу, чтоб он сюда ходил. Я Фей скажу тоже.

Пускай к Дженни ходит. Если придет сюда, отправьте его к Дженни.

И закрыл за собой дверь. Кейт усмехнулась, глядя себе на руки, на пальцы.

4

Фей повернулась в кресле, взяла ломтик ореховой паночи. И, набив рот сладким, заговорила снова:

— Мне и теперь не нравится. Тогда тебе сказала и повторю сейчас. Твои светлые волосы шли тебе больше. Не знаю, с какой стати ты покрасилась. У тебя такая светлая кожа.

«Что она — мысли читает?» — Кейт невольно поехжилась, вспоминая как раз о совете шерифа. Ногтями указательного и большого пальцев зацепила волосок, слегка потянула. Отменно умна Кейт. И в ответ сказала ложь, лучше которой нет, — сказала правду.

— Я не хотела говорить тебе. Я покрасилась, чтобы меня не узнали, чтобы не вышел вред моим близким.

Фей встала с кресла, подшла, поцеловала Кейт.

— Какая ты славная, детка. Какая заботливая.

— Давай попьем чаю, — сказала Кейт. — Я принесу.

Вышла и в коридоре, по пути на кухню, кончиками пальцев стерла со щеки поцелуй.

Фей села, взяла еще один коричневый ломтик — с цельным орехом. Положила в рот, куснула и наткнулась на кусочек скорлупы. Острый этот клинышек угодил в дупло больного зуба, на самый нерв. Нестерпимо-голубым огнем вспыхнула боль. Лоб взмок от пота. Когда Кейт вернулась с чайником и чашками на подносе, Фей мычала в муке, скрюченным пальцем копаясь во рту.

— Что с тобой? — вскричала Кейт.

— Зуб... скорлупка попала...

— Дай взгляну. Открой, покажи — где.

Поглядев в раскрытый рот, Кейт подошла к столу с бахромчатой скатертью, взяла из вазы с грецкими орехами острую стальную ковырялку. В мгновение ока вынула кусочек скорлупы из зуба и, положив на ладонь, показала:

— Вот он.

Освобожденный нерв утих, боль из нестерпимой перешла в тупую.

— Такой крохотный? А казалось, кол вонзился. Дюшенька, выдвинь второй ящик сверху, где мои лекарства.

Возьми камфарную настойку опия и вату. Вложи, пожалуйста, мне ватку в зуб.

Кейт принесла спий и, макнув, вложила ватку в дупло все той же палочкой для выковыривания орехов.

— Его вырвать надо.

— Я знаю. Я вырву.

— У меня целых трех нет с этой стороны.

— А вовсе и не видно... Я даже ослабла вся. Дай, пожалуйста, микстуру Пинкем.

Фей отлила из бутылки с микстурой, выпила.

— Что за чудесное лекарство,— произнесла со вздохом облегчения.— Эта Лидия Пинкем была прямо целительница божья.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

1

День был ясный, вечерело. В окне виднелась гора Фримонт-Пик, залитая розовым закатом. Издали, с Кастровильской улицы, донесся мелодичный звон колоколов — восьмерка лошадей, везущая зерно, спускалась в долину. В кухне сражался с кастрюлями повар. Что-то прошуршало вдоль стены, раздался тихий стук в дверь.

— Входи, слепенький,— отозвалась Фей.

Дверь открылась, щуплый и сгорбленный слепой тапер встал на пороге, ожидая звука, чтобы определить, где она.

— Чего тебе? — спросила Фей. Он повернулся к ней.

— Приболел я, мисс Фей. Мне бы лечь и не садиться сегодня за рояль.

— Ты уже два вечера лежал на прошлой неделе. Ты недоволен службой?

— Приболел я.

— Что ж, ложись. Но надо лечиться.

— Ты бы, слепенький, недели на две бросил опиум,— негромко сказала Кейт.

— А, мисс Кейт. Я не знал, что вы здесь. Я нынче не курил.

— Курил,— сказала Кейт.

— Да, курил, мисс Кейт. Я брошу, брошу. Нездоров я через это.

Он затворил дверь, и слышно было, как он ведет рукою вдоль стены коридора.

— А мне сказал, что бросил,— проговорила Фей.

— Не бросил он.

— Бедняжка,— вздохнула Фей.— В жизни у него так мало радостей.

Кейт подошла, встала перед ней.

— Ты такая милая,— сказала Кейт.— Всем веришь. За ними нужен глаз — твой или хотя бы мой,— а то дождешься, что у тебя крышу с дома украдут.

— Кто у меня захочет воровать? — спросила Фей.

Кейт положила руку на ее пухлое плечо.

— Не все такие хорошие, как ты.

В глазах у Фей блеснули слезы. Она взяла с кресла платочек, вытерла глаза, слегка коснулась носа.

— Ты заботишься обо мне, Кейт, как родная дочь.

— Мне кажется, я тебе и вправду дочь. Я матери не знала. Она умерла, когда я была совсем маленькая.

Фей глубоко вздохнула и, набравшись духу, приступила:

— Кейт, мне не хочется, чтобы ты работала с клиентами.

— Не хочется? Почему?

Фей покачала головой, нахмурилась, подыскивая слова.

— Я не стыжусь. У меня дом хороший. А другая на моем месте могла бы превратить его в плохой. Я никому вреда не причиняю. Я не стыжусь.

— Да чего тут стыдиться? — удивилась Кейт.

— Но я не хочу, чтоб ты обслуживала клиентов. Не хочу, и все. Ты мне как дочь. И не хочу, чтобы моя дочь обслуживала клиентов.

— Не будь глупышкой, родненькая,— сказала Кейт.— Я должна работать — не здесь, так в другом доме. Я ведь тебе говорила. Мне обязательно нужны эти деньги.

— Нет, не обязательно эти.

— А какие же? Где еще я могу их заработать?

— Ты будешь моей дочерью. Будешь управлять домом. Смотреть за всем, а не работать в спальне. Ты ведь знаешь, я иногда прихварываю.

— Знаю, моя бедненькая. Но мне нужны деньги.

— Денег нам обеим хватит, Кейт. Ты у меня будешь получать столько же, сколько сейчас, даже больше. Ты стоишь этого.

Кейт грустно покачала головой.

— Я так тебя люблю,— произнесла она.— И так бы хотела сделать по-твоему. Но то немногое, что ты скопила, тебе надо беречь. И вдруг с тобою что-нибудь случится — что тогда я?.. Нет, нельзя мне бросать работу. Знаешь, родненькая, я ведь сегодня приму пять постоянных клиентов.

Фей вскинулась, как от толчка.

— Не хочу, чтоб ты работала.

— Нельзя иначе, мама.

И это «мама» довершило дело. Фей разрыдалась. Кейт присела к ней на подлокотник, глядя ей щеку, вытирая ручьи слез. Вспливы утихли.

В долине сгущались сумерки. Лицо Кейт лучезарно светлело под черной прической.

— Ну вот и успокоилась. Я пойду гляну, как там на кухне, и переоденусь.

— Кейт, а ты не можешь сказать своим клиентам, что заболела?

— Конечно, нет, мама.

— Кейт, сегодня среда. Работа, вероятно, к часу ночи кончится.

— Лесовики¹ сегодня празднуют.

— Ах, да. Но ведь среда — лесовики позже двух не пробудут.

— Ты к чему это?

— Кейт, когда кончишь, постучись ко мне. У меня будет для тебя небольшой сюрприз.

— Какой сюрприз?

— Это секрет! На кухне скажи, пожалуйста, повару, пусть зайдет ко мне.

— Торт будет! Угадала?

— Не допытывайся, душенька. Это секрет.

— Что ты за дорогулечка, мама,— сказала Кейт, целуя ее.

Вышла в коридор, закрыла дверь. Минуту постояла, пальцами поглаживая остренький подбородок. Глаза ее были спокойны. Закинув руки за голову, Кейт потянулась всем телом, сладостно зевнула. Опустила ладони к груди, медленно протрала по бокам вниз до бедер. Чуть приподняла уголки рта в улыбочке и пошла на кухню.

¹ «Лесовики Всего Мира» — общество взаимопомощи, основанное в 1890 г.

Побывали и ушли постоянные клиенты, наведались два заезжих коммивояжера, а лесовики все не показывались. До двух ночи сидели девушки в гостиной, ожидая и позевывая.

Лесовикам помешало прибыть печальное и непредвиденное происшествие. Еще до ужина, среди заключительного ритуала, с Кларенсом Монтитом случился сердечный приступ. Его положили на ковер в ожидании врача, прикладывали ко лбу мокрые салфетки. За ужин садиться никому не захотелось. Явился доктор Уайльд, осмотрел Кларенса; потом соорудили носилки, просунув два древка в рукава двух пальто. По дороге домой Кларенс умер, и опять пришлось посылать за доктором Уайльдом. Потом условливались о похоронах, писали некролог в местную газету, и желание посетить бордель угасло окончательно.

Назавтра, узнав об этом происшествии, девушки вспомнили, что без десяти два Этель сказала:

— Господи! Никогда так тихо у нас не было. Рояль не играет, Кейт язык проглотила. Точно покойник в доме.

И сама Этель потом удивлялась этим своим вещим словам.

— А в самом деле — почему ты молчишь, Кейт? — подхватила Грейс. — Приболела, что ли? А, Кейт? Приболела?

— Что? — встрепенулась Кейт. — Нет, я просто задумалась.

— А мне вот ни о чем не думается, — сказала Грейс. — Спать хочется. Давайте кончать. Спросим Фей, не пора ли запирасть. Даже ни один китаец нынче уж не заявится. Пойду спрошу Фей.

— Не надо беспокоить Фей, — остановил ее голос Кейт. — Фей нездорова. В два часа закроем.

— Эти часы врут, — сказала Этель. — А что с Фей?

— Об этом я и задумалась. Фей болеет. Я ужасно тревожусь. Она крепится, виду не показывает.

— Выглядит она ничего, — сказала Грейс.

И опять вещунья Этель каркнула:

— А мне ее вид не нравится. Румянец вроде нездоровый. Я заметила.

— Только, девочки, пусть это останется между нами,

не проболтайтесь ей,— вполголоса сказала Кейт.— Фей не хочет, чтоб вы из-за нее тревожились. Какая она милая!

— Лучший бардак из всех, где я давалкой работала,— сказала Грейс.

— Вот услыжала бы тебя Фей,— сказала Алиса.

— Ни хрена,— сказала Грейс.— Она и не такие слова знает.

— Но не любит, чтобы мы их говорили.

— Я хочу вам рассказать, что случилось,— терпеливо продолжала Кейт.— Мы сегодня вечером пили у нее чай, и с ней вдруг обмерок. Ей непременно надо доктора.

— Я заметила у ней этот румянец,— повторила Этель.— А часы врут; только не помню, отстают или спешат.

— Идите все спать,— сказала Кейт.— Я запру.

Девушки ушли, а Кейт переоделась у себя в красивенькое новое ситцевое платье, в котором она казалась совсем девочкой. Расчесала волосы, заплела в толстую косу, повязала белый бантик на конце, закинула за спину. Надушила щетки туалетной флоридской водой. Чуть поколебавшись, достала из комода, из верхнего ящика, золотые часики-медальон с булавкой в виде геральдической лилии. И вышла, завернув их в один из своих батистовых платочков.

В коридоре была темень, но из-под двери Фей пробивался свет полоской. Кейт тихо постучалась.

— Кто там? — произнесла Фей.

— Это я, Кейт.

— Не входи еще. Побудь за дверью. Я скажу, когда войти.

Кейт слышен был какой-то шорох, шарканье. Но вот Фей позвала:

— Теперь можно. Входи.

Комната разукрашена. По углам с бамбуковых жердей свисают японские фонарики со свечками, и красная жатая бумага пущена фестончато от центра потолка к углам комнаты, обращая ее как бы в шатер. На столе, в окружении подсвечников, большой белый торт и коробка с шоколадными конфетами, а рядом двухлитровая бутылка шампанского выглядывает из колотого льда. На Фей ее лучшее кружевное платье, и глаза блестят от душевного волнения.

— О боже! — воскликнула Кейт. Закрыла дверь.— Здесь у тебя прямо праздник.

— Да, праздник. В честь моей дорогой дочери.

— Но у меня же не день рождения.

— А может быть, в каком-то смысле и день рождения,— сказала Фей.

— Не понимаю. А я тебе подарок принесла.— И положила свернутый платок на колени Фей.— Разверни, но осторожно.

Фей подняла часики за цепочку.

— Ах, моя детка, моя душенька! Но ты с ума сошла. Я не могу их принять.

Фей полюбовалась циферблатом, открыв крышечку, затем ногтем отколупнула заднюю, прочла выгравированную надпись: «Горячо любимой К. от А.».

— Это часики моей покойной матери,— сказала тихо Кейт.— Я дарю их моей новой маме.

— Деточка моя! Деточка моя!

— Моя мама порадовалась бы.

— Но праздник-то сегодня твой. И подарок принимать надо тебе — дорогой моей дочке. Только я его преподнесу торжественно. Ну-ка, откупори бутылку и налей фужеры, а я нарежу торт. Пусть будет по-праздничному.

И вот уже все готово, Фей села за стол. Подняла фужер.

— За новообетенную мою дочь — долгой и счастливой тебе жизни!

Выпили, и Кейт провозгласила:

— За тебя, мою маму!

— Ах, не доводи меня до слез — я сейчас заплачу. Там, на комод, доченька... Принеси шкатулку. Да, вот эту. Поставь на стол. Теперь открой.

В полированной, красного дерева шкатулке лежал свернутый в трубку лист белой бумаги, он был перевязан красной лентой.

— Это что такое? — спросила Кейт.

— Мой дар тебе. Разверни.

Кейт осторожно развязала ленту, развернула бумагу. Изящно оттененными буквами там было написано — и аккуратно подписано Фей и засвидетельствовано поваром:

«Всю мою собственность без всякого изъятия завещаю Кейт Олби, ибо считаю ее своей дочерью».

Просто и без околичностей — и никакому крючкотвору не придаться. Кейт трижды перечла, поглядела на дату,

всмотрелась в подлисы повара. Фей наблюдала, от волнения приоткрыв рот. Губы читающей Кейт шевелились, и у Фей шевелились тоже.

Кейт свернула бумагу, перевязала опять лентой, вложила в шкатулку, закрыла. Посидела молча.

Наконец Фей спросила:

— Ты рада?

Буравя взглядом Фей, точно желая проникнуть ей в глаза и глубже — в мозг, — Кейт сказала негромко:

— Я стараюсь не заплакать, мама. Я не знала, что на свете есть такая доброта. Стоит мне не удержать порыв, сказать, что чувствую, прильнуть к тебе — и разревусь до истерики.

Фей даже не предполагала, что получится так волнующе, так насыщенно тихим электричеством. Она проговорила:

— Смешной подарок, правда?

— Смешной? Почему же смешной?

— Ну как же — завещание. Но это не просто завещание. Теперь ты мне дочь по-настоящему, и я скажу тебе все. У меня — у нас с тобой — есть деньги и ценные бумаги на шестьдесят с лишним тысяч долларов. В моем столе записаны банковские сейфы и счета. Заведение в Сакраменто я продала за очень хорошую цену. Что же ты молчишь, детка? Тебя что-то огорчает?

— Завещание — звучит траурно. Точно смертью повеяло.

— Но каждому положено сделать завещание.

— Я знаю, мама, — грустно улыбнулась Кейт. — Мне подумалось — вся твоя родня примчится в гнев, чтобы сделать его недействительным. Нельзя тебе писать такое завещание.

— Так вот что тебя удручает, бедная моя девочка? У меня нет родни. Я не знаю ни о каких родственниках. А если бы где-то и существовали, то как они узнают? Ты думаешь, только у тебя одной есть тайны? Думаешь, я живу здесь под своим настоящим именем?

Кейт слушала, не отрывая от Фей ровного и пристального взгляда.

— Кейт! — воскликнула та. — У нас же праздник! А ты сидишь как на поминках. Не грусти!

Кейт встала, отодвинула в сторону стол, села на пол. Прилегла щекою на колени к Фей и стала водить тонки-

ми пальцами по золотой нити, плетущей сложный узор из листьев на подоле кружевного платья. И Фей гладила ей лицо, волосы, странные ушки, лоб, доходя осторожно пальцами до самой кромки шрама.

— Никогда еще, мне кажется, я не была так счастлива,— произнесла Кейт.

— Доченька моя. И я, глядя на тебя, тоже счастлива. Как никогда. Теперь я уже не одинока. Теперь мне ничего не страшно.

Кейт ноготками нежно теребила золотую нить. Долго сидели они так в тепле близости; наконец Фей шевельнулась.

— Кейт,— сказала она,— мы совсем забыли. Надо праздновать. Мы забыли про вино. Налей, доченька. Надо же отметить.

— Зачем нам вино, мама,— поежилась Кейт.

— Но почему ж. Вино хорошее. Я люблю немного выпить. Ополоснуть душу от дряни. Разве ты не любишь шампанское, Кейт?

— Да я вообще мало пью. Мне плохо от вина.

— Вздор. Налей, милая.

Кейт встала, налила шампанское в фужеры.

— А теперь пей до дна,— сказала Фей.— Я слежу. Я, старуха, не желаю пить одна, без тебя.

— Ты не старуха, мама.

— Без разговоров — пей. Пока не допьешь, я пить не стану.

И лишь когда фужер Кейт опустел, Фей залпом выпила свой.

— Хорошо-то как,— сказала Фей.— Налей еще. И не отставай, дочурка, опрокидывай. Два-три бокала — и горести уйдут.

Все нутро в Кейт кричало: «Не пей!» Она помнила, чем уже кончилось однажды, и ей было страшно.

— Ну-ка, до дна, доченька — вот так. Хорошо ведь? Наливай, наливай!

И после второго бокала Кейт сразу же преобразилась. Страх улетучился, все стало трын-трава. Вот этого она и опасалась, но теперь уже было поздно. Вино смыло все так тщательно устроенные ею защитные прикрытия, обманы и уловки — все стало ничем. Прощай притворство

и самоконтроль. В голосе зазвучал холод, рот обратился в узкую щелку. Сощурились и широко расставленные глаза и стали впиваться в Фей колюче-насмешливое.

— А теперь пей ты, мама, а я буду смотреть,— сказала она.— Будь м-милочкой. Спорим, два подряд не выпьешь.

— Не спорь, Кейт. Проспоришь. Я могу выпить шесть подряд.

— Ну-ка, поглядим.

— А если выпью, то и ты выпьешь?

— Конечно.

Состязание началось, и на столе образовалась лужица пролитого вина, а в бутылке стало быстро убавляться.

— Когда я девушкой была...— сказала Фей, хохотнув.— Но рассказать, ты и не поверишь.

— А я такое могу рассказать, что никто не поверит,— сказала Кейт.

— Ты? Глупенькая. Ты еще дитя.

— Такого дитяти ты в жизни не видала,— засмеялась Кейт.— Хорошо дитя — ага, дитя! — захохотала она тонко и визгливо.

Этот звук сквозь винные пары пробился к мозгу Фей. Она с трудом сосредоточила взгляд на Кейт.

— Какой странный у тебя вид,— сказала Фей.— Это от лампы, наверно. Ты словно бы совсем другая.

— Да, я другая.

— Зови же меня мамой, милая.

— Мама — милая.

— Кейт, мы так славно будем жить.

— Еще бы. Ты даже и не знаешь. Не представляешь.

— Я всегда хотела поехать в Европу. Поплывем туда на корабле, нашьем там платьев — красивых, парижских.

— Может, и поедem, но не сейчас.

— А почему, Кейт? У меня много денег.

— Нам надо куда больше поработать.

— Давай сейчас поедem,— принялась упрашивать Фей.— Продадим заведение. Дело идет бойко — мы тысячу за него получим.

— Нет.

— То есть как нет? Это мой дом. Хочу и продам.

— А забыла, что я твоя дочка?

— Мне твой тон не нравится. Что с тобой, Кейт? Еще вино есть?

— Есть немного. Гляди, вон оно в бутылке. Дуй из горла. Вот так, мама, проливай на грудь. Под корсет, мамаша, на жирный животик.

— Кейт, что за грубости! — ахнула Фей. — Нам же так славно было. Зачем ты все портишь!

— Дай сюда! — Кейт вырвала у нее из рук бутылку. Запрокинув голову, выпила до дна, уронила бутылку на пол. Лицо у Кейт теперь хищное, глаза поблескивают. Маленький рот приоткрыт, и видны острые зубки, длинные хищные клычки.

— Мама, милая мама, — с тихим смешком сказала Кейт. — Я покажу тебе, как надо вести бордель. Мы прижмем это вахлачье, что приходит к нам сюда опорожняться за доллар. Мы им дадим удовольствие, мама милая.

— Кейт, ты пьяна, — сказала Фей резко. — Не понимаю, что ты мслсшь.

— Не понимаешь, мама милая? Хочешь, чтобы растолковала?

— Я хочу, чтоб ты была славная. Такая, как раньше.

— Теперь поздно. Я не хотела пить вино. Но ты меня заставила, жирная ты гусеница. Я же твоя дорогая дочурка — ты забыла? А я помню, как ты удивилась, что у меня постоянные клиенты. И думаешь, я так и брошу их? Думаешь, они несчастный доллар платят мне мелкими монетками? Нет, они десять долларов платят, и цена все растет. А к другой пойти они уже не могут. Никакая другая их теперь не удовлетворит.

Фей заплакала по-детски.

— Не говори так, Кейт. Ты не такая. Ты совсем не такая.

— Милая мама, жирненькая мама, стяни-ка подштанники с любого моего постоянного клиента. Погляди на синяки от каблучков в паху — полюбуйся. И на царапинки-порезы, что кровоточат себе тихонько. У меня в футляре такой миленький набор бритв — острых-преострых.

Фей было привстала со своего кресла, но Кейт толчком усадила ее снова.

— И знаешь, милая мама, весь дом этим займется. Двадцать долларов будет цена, и подонки эти будут ванну у нас после принимать. Мы шелковыми белыми платочками будем им кровь утирать, мама милая, кровь от уластных платочек.

Фей хрипло закричала в своем кресле. Кейт быстро зажала ей рот жесткой рукой.

— Не шуми. Будь милочкой. Мажь дочкину руку соплями, но не шуми.

Отняла руку — крик не возобновился; вытерла пальцы о подол платья Фей.

— Уходи из моего дома, — пршептала Фей. — Уходи. У меня хороший дом, без гадостей. Уходи.

— Не могу, мама. Не могу покинуть тебя, бедненькую. — В голосе Кейт ощутился ледок. — Тошно мне от тебя. Тошно.

Взяв фужер со стола, она пошла к комоду, достала настойку опия, налила полфужера.

— Вот, мама, пей. Тебе станет легче.

— Не хочу.

— Будь милочкой. Выпей. — И она ласково влила настойку в рот Фей. — Ну, еще глоток — только один.

Невнятно побормотав, Фей обмякла в кресле и уснула, густо захрапела.

3

А на Кейт нашел ужас, заполнил закоулки ее мозга и породил панику. Она вспомнила, чем кончилось в тот раз, с Эдвардсом, и ее затошнило от страха. Она сцепила, сжала руки; паника росла. Кейт зажгла свечу от лампы, сквозь мрак коридора неверной походкой направилась на кухню. Насыпала в стакан сухой горчицы, подлила туда воды и, размешав, выпила. Горло, пищевод, желудок обожгло; она держалась за края раковины. Ее бурно вырвало. От мучительных рвотных потуг колотилось сердце, она ослабла, но все-таки победила вино, рассудок прояснился.

Кейт повторила в памяти весь ход вечера, — как зверек, принюхиваясь к эпизоду за эпизодом. Умыла лицо, вымыла раковину, поставила горчицу на полку. Потом вернулась в спальню Фей.

Светало, Фримонт-Пик чернел на фоне зари. Фей по-прежнему храпела в кресле. Кейт вгляделась в нее, раскрыла постель Фей. С трудом, с натугою приподняла, перетаскивала туда эту безжизненно-вялую тяжесть. Раздела Фей, обмыла ей лицо, убрала платье.

Становилось все светлей. Кейт сидела у кровати, глядя

на спокойное теперь лицо. Рот у Фей был открыт, она шумно дышала.

Вот Фей дернулась, пробурчала что-то сухими губами и со вздохом захрапела снова.

В глазах у Кейт блеснула мысль. Выдвинув ящик комода, она порылась в домовой аптечке. Настойка опия, «Болеутолитель», микстура Пинкем, укрепляющий раствор железа, мазь Холла, горькая соль, касторка, нашатырный спирт... Взяла бутылочку с нашатырем, подошла к постели, намочила носовой платок и, отклонясь подальше, приложила платок ко рту и носу Фей.

Удушающе-резкий запах спер дыхание Фей — и, хрипя, барахтаясь, Фей вырвалась из черной паутины забытья. Широко раскрыла глаза — в них был ужас.

— Успокойся, мама,— сказала Кейт.— Успокойся. Это был дурной сон. Тебе приснилось.

— Да, приснилось.— И опять она откинулась, уснула, но — после нашатырной встряски — уже беспокойней, не так глубоко. Кейт поставила бутылочку в комод. Убрала на столе, вытерла винную лужицу, отнесла посуду на кухню.

В доме было сумрачно, рассвет вползал под спущенные шторы. Повар возился, одеваясь, в своей комнатке-пристройке за кухней, стучал тяжелыми башмаками.

Бесшумно двигаясь, Кейт выпила два стакана воды и, наполнив стакан снова, принесла его в спальню. Затворила дверь. Подойдя к Фей, подняла ей правое веко; глаз глянул ухарски-скошенно, но был на месте, не ушел под лоб. Кейт действовала не спеша и аккуратно. Взяла платок, понюхала. Нашатырь частично улетучился, но дух был еще резок. Тихонько накинула спящей на лицо, и, когда та судорожно заворочалась, почти проснулась, Кейт сняла платок, возвращая ее в сон. Проделав так три раза, убрала платок и с комода, с мраморного верха принесла костяной вязальный крючок. Откинув покрывало, она прижала крючок тупым концом к рыхлой груди Фей, налегая все сильнее, пока спящая не застонала, дернувшись. Затем Кейт перебрала таким же образом другие чувствительные места: подмышки, пах, ухо, клитор, убирая крючок как раз вовремя, чтобы Фей не проснулась полностью.

А та почти уже пробудилась. Постанывала, сопела, металась на постели. Кейт погладила ей лоб, своими гладки-

ми пальцами провела по руке до подмышки, заговорила тихо:

— Родненькая. Тебе снится дурной сон. Очнись от этого кошмара, мама.

Фей задышала ровней. Глубоко вздохнула, повернулась на бок и, успокоенно помыкивая, погрузилась в сон.

Кейт поднялась с постели, и в голову ей волной ударила слабость. Поборов головокружение, она подошла к дверям, прислушалась, выскользнула в коридор, осторожно прошла к себе в комнату. Быстро разделась, накинула рубашку, халатик, обула туфли-шлепанцы. Расплела косу и, причесав, убрала волосы под ночной чепец, обтерла лицо туалетной водой. Тихонько вернулась в спальню к Фей.

Та все еще спала спокойно на боку. Кейт отворила дверь настежь. Поднеся стакан с водой к постели, влила холодную воду Фей в ухо.

Фей истошно закричала. Испуганно выглянув из своей комнаты, Этель увидела, что в коридоре, у дверей в спальню Фей стоит Кейт в халатике и шлепанцах, а позади нее — повар и удерживает рукой, не пускает в спальню.

— Не входите туда, мисс Кейт. Кто знает, что там сейчас творится.

— Вздор, я должна прийти Фей на помощь.

Кейт ворвалась в спальню, подбежала к постели.

Фей глядела диким взглядом, плакала, стонала.

— Что с тобой? Что с тобой, родная?

Повар стоял посреди спальни, в дверях — три заспанные девушки.

— Скажи же, что с тобой? — воскликнула Кейт.

— О милая, сны, страшные сны. Я не могу их вынести.

Кейт повернулась к девушкам.

— Ей приснился кошмар — она сейчас успокоится. Идите досыпайте. Я побуду с ней. Алекс, принеси чаю.

Кейт хлопотала без устали. Девушки и удивлялись, и восхищались ею. Она прикладывала влажные холодные полотенца к больной голове Фей, поила ее чаем, обняв за плечи. Ухаживала, нянчилась, как с маленькой, но из глаз Фей не уходил ужас. В десять утра Алекс принес банку пива, молча поставил на конторку. Кейт поднесла стакан к губам Фей.

— Выпей, родненькая. Легче станет.

— Ни за что, никогда больше не буду пить.

— Вздор! Выпей как лекарство. Ну вот, умница. А теперь приляг и усни.

— Я боюсь спать.

— Такие страшные сны тебе снились?

— Ужасные, мерзкие!

— Расскажи мне, мама. Может, станет легче?

Фей испуганно отстранилась.

— Ни за что, никому не расскажу эти сны. Как могли они мне присниться? Мне такие не снятся!

— Бедная мамочка! Как я люблю тебя,— сказала Кейт.— Поспи. Я буду отгонять кошмары.

И постепенно, незаметно Фей забылась сном. Кейт сидела у постели, глядела изучающе.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

1

В делах опасных и деликатных конечному успеху очень мешает торопливость. Как часто людей подводит спешка. Кто хочет свершить как следует трудное и тонкое предприятие, тот должен сперва подвергнуть рассмотрению конечную цель, а затем, приняв эту цель как желанную, полностью забыть о ней и сосредоточиться единственно на средствах. При таком подходе ни спешка, ни волнение, ни страх не толкнут человека на неверное действие. Но очень мало кто усваивает эту истину.

А Кейт либо усвоила, либо же родилась с этим знанием, и потому-то ей всегда сопутствовал успех. Кейт никогда не торопилась. Если возникало препятствие, Кейт терпеливо ждала, пока оно исчезнет. В промежутках бездействия она была способна давать себе полнейший отдых. А также была мастером той победоносной борцовской техники, что состоит в умении дать противнику выложиться и обессилиться, в умении направить силу противника к его же поражению.

Кейт не спешила. Она быстро определила, выверила цель и перестала о ней думать. А начала методически действовать. Построив план какого-либо действия, она мыс-

ленно проверяла свое построение и, если оно оказывалось хоть сколько-нибудь шатким, тут же рушила его и намечала новое. Этими наметками она занималась лишь когда была наедине с собой — скажем, глубокой ночью, — чтобы никто не заметил в ней перемену поведения, необычную сосредоточенность. В ее построения входили люди, предметы, знания, время. Люди и время в ее распоряжении были, предметы и знания она добывала, по пути сцепляя и пуская в ход неприметные пружинки, маятники — пусть себе набирают силу и размах.

Началось с того, что повар разболтал о завещании. А кто же, если не повар? Он, во всяком случае, и сам поверил, что разболтал. Кейт услышала об этом от Этель и, придя на кухню, подступила к повару. Тот месил хлеб — волосатые ручищи по локоть в муке, пальцы обесцвечены закваской.

— Ну разве хорошо ты сделал — рассказал, что был свидетелем? — укорила она мягко. — Зачем же огорчать мисс Фей?

— Но я не... — захлопал глазами повар.

— Что «не» — не рассказал или не думал, что огорчишь мисс Фей?

— По-моему, я не...

— Не рассказывал? Знали только мы трое. Выходит, разболтала я? Или мисс Фей, по-твоему?

По глазам она увидела, что повар сбит с толку и сам не знает, а вдруг и в самом деле сболтнул ненароком. Еще минута — и он поверит, что виноват...

Потом три любопытные девушки пришли спросить у Кейт о завещании, — явились втроем, чтобы увереннее себя чувствовать.

— Вряд ли Фей хочет, чтобы я об этом говорила, — ответила им Кейт. — Алекс напрасно выболтал.

Девушки несколько сникли, а Кейт продолжала:

— А вы у Фей спросите.

— Нет, нет, нам неловко!

— А за спиной у нее выпрашивать вам ловко? Идемте сейчас к ней, войдем вместе и спросите ее.

— Нет, Кейт, как можно!

— Мне ведь придется сказать ей, что вы расспрашивали. По-моему, лучше уж при вас. Ей будет приятней, если вы спросите напрямик, а не будете выведывать за спиной.

— Да мы...

— Мне было бы приятней. Я люблю людей прямых.

И, не давая девушкам отступить, подталкивая, напирая полегоньку, привела их в комнату Фей.

— Они меня спрашивают — ты знаешь, о чем, — сказала Кейт. — Алекс признался, что выболтал секрет.

— Разве это такой уж секрет, душенька? — сказала Фей слегка недоуменно.

— Я рада, если так. Но не могла же я никому сказать, пока ты сама молчала.

— А по-твоему, Кейт, говорить об этом не стоит?

— Нет, почему же. Я рада, но просто мне казалось, что раз ты молчишь, то и мне надо, иначе нарушу доверие.

— Какая ты милая, Кейт. А вреда я тут не вижу. Понимаете, девушки, я на свете одна, и Кейт мне теперь будет дочерью. Она так обо мне заботится. Принеси шкапу, Кейт.

И каждая из трех любопытных подержала в руках заветное, внимательно его прочла. Написано оно было так просто, что они смогли дословно повторить его всем другим девушкам.

И девушки стали посматривать, какая в Кейт произойдет перемена, не начнет ли она их тиранить; но Кейт сделалась только еще ласковее.

Спустя неделю Кейт приболела, но продолжала вести дом, и никто бы не узнал о болезни, если бы не наткнулись однажды на Кейт — застыла, стоит в коридоре с лицом, перекошенным от боли. Кейт стала просить девушек, чтобы не говорили Фей, но те и слушать не захотели, и сама Фей, уложив ее в постель, вызвала доктора Уайльда.

Человек он был славный и врач неплохой. Поглядел на язык, проверил пульс, задал несколько вопросов интимного свойства, потеревил себе пальцем нижнюю губу.

— Вот здесь? — спросил, слегка подавив Кейт поясницу. — Нет? А здесь? Болит? Так. Ну, думаю, у вас просто почки подзасорились.

Он оставил желтые, зеленые и красные таблетки, велел принимать в этом порядке. Таблетки помогли.

Случился, правда, у Кейт легкий возврат болей.

— Схожу к доктору, — сказала она Фей.

— Я его сюда вызову.

— Чтобы опять принес пилюли? Чепуха. Утром схожу.

Доктор Уайльд был человек хороший и честный. О врачевании он говорил, что уверен только в одном — что чесотку можно излечить серой. Но относился к своему делу серьезно. Подобно многим провинциальным докторам, он был для горожан одновременно врачом, священником и психиатром. Ему ведомы были почти все тайны, слабости и сильные черты салинасцев. Легко относиться к смертям он так и не научился. Смерть пациента наполняла его ощущением краха и собственного беспросветного невежества. Он не отличался профессиональной смелостью и к хирургии прибегал как к последнему и грозному средству. В крае появились уже аптеки в помощь врачам, но доктор Уайльд был один из тех немногих, кто держал еще запас медикаментов и сам приготавливал лекарства, которые прописывал больному. От многолетних перегрузок и недосыпа он стал слегка забывчив и рассеян.

В среду утром, в половине девятого, Ксайт подошла к зданию Монтерейского окружного банка на Главной улице и, поднявшись наверх, нашла в глубине коридора дверь, на которой значилось: «Др. Уайльд. Часы приема от 11 до 2».

В половине десятого доктор Уайльд поставил свою коляску в платную конюшню, усталю взял с сиденья черный чемоданчик. Он ездил в Алисаль, присутствовал при агонии и смерти престарелой госпожи Джерман. Она была не способна расстаться с жизнью без напрасного и неприглядного цеплянья. Даже сейчас доктор Уайльд не вполне был уверен, что жизнь уже совершенно вырвалась из ее сухого, жилистого, жесткого тела. Ей было девяносто семь, и умирать она никак не собиралась. Она поправляла пастора, напутствовавшего ее, — не так, мол, причащает. И сейчас доктор Уайльд был угнетен загадкой смерти. Она часто ставила его в тупик. Вот вчера Аллен Дей — тридцатисемилетний, рослый, дюжий, как бык, хозяин четырехсот акров и глава большой семьи, — пустяково простудившись и трое суток пролежав в жару, кротко, без борьбы сдал жизнь воспалению легких. Загадка, да и только. Глаза у доктора Уайльда слипались. Надо будет обтереться губкой и глотнуть виски, пока не явились в кабинет первые страждущие.

Он поднялся по лестнице, вставил истертый ключ в дверной замок. Ключ не поворачивался. Доктор опустил свой чемоданчик на пол, нажал сильнее. Никакого толку. Уайльд схватил круглую дверную ручку, потянул, дергая ключом. Дверь отворилась. Перед ним стояла Кейт.

— А, доброе утро. Замок заело. Вы-то как вошли?

— Было незаперто. Я пришла рано и решила подождать в приемной.

— Незаперто? — Он повернул ключ в обратную сторону — действительно, язычок замка легко скользнул наружу.

— Старею, как видно, — сказал доктор. — Рассеянность одолевает, — вздохнул он. — Собственно, незачем и запирасть. Этот замок можно открыть куском проволоки. Да и что там воровать?.. Прием у меня с одиннадцати, — сказал он, видимо, не узнавая Кейт.

— У меня ваши таблетки кончились, а прийти позже я не могу.

— Таблетки? Ах, да. Вы у Фей служите?

— Да, у Фей.

— Чувствуете себя лучше?

— Да, таблетки помогают.

— Не вредят, во всяком случае, — сказал он. — Я и аптечную дверь не запер?

— Какую аптечную?

— Вон ту. Там моя аптека.

— Да вроде она не заперта.

— Старею. Как Фей поживает?

— Меня беспокоит ее здоровье. Не так давно она очень расхворалась. Рези в животе, даже бредила немного.

— У нее уже бывали эти рези, — сказал доктор Уайльд. — При таком образе жизни, принимая пищу когда придется, здоровья не убережешь. И я вот свое убереечь не могу. Мы все сваливаем на желудок. А причина в том, что переедаем и не спим по ночам. Да, так вам таблетки. Цвет какой, не помните?

— Было три сорта — желтые, красные и зеленые.

— Да, да. Вспомнил.

Он отсыпал таблеток в круглую картонную коробочку; Кейт стояла на пороге аптечной комнаты.

— Сколько здесь лекарств!

— Да, и чем старше я становлюсь, тем меньше их прописываю, — сказал доктор Уайльд. — Некоторые так и сто-

ят все эти годы. Обзавелся ими, когда начинал практиковать. Обычный ассортимент начинающего. Экспериментировать хотел — алхимиком стать этаким.

— Кем?

— А, неважно. Вот, возьмите. А Фей передайте, пусть высыпается и овощи ест. Я сегодня всю ночь не спал. Я уж вас не провожаю.

Нетвердой походкой он ушел в кабинет. Посмотрев ему вслед, Кейт быстрым взглядом окинула ряды бутылок и коробок. Закрывает аптечную дверь, огляделась в приемной. На полке одна книга выдалась вперед. Толчком Кейт выровняла книжный ряд. Взяла с кожаного дивана свою большую сумочку и ушла.

У себя в спальне Кейт вынула из сумки пять бутылочек, исписанную бумажку. Вложила это все в чулок, свернула и, спрятав в резиновый ботик, поставила его в глубь стенового шкафа, рядом с другим ботиком.

3

Дом Фей стал постепенно меняться. Раньше были девушки неряшливы, обидчивы. Только укажи им, что надо опрятнее держать себя и комнату, — и готова страшная обида, и весь дом дышал бы недовольством. Но Кейт повела дело иначе.

Как-то вечером, за ужином она сказала, что заглянула к Этель и там так чистенько и хорошо, что просто нельзя было не купить Этель подарок. Тут же за столом Этель развернула сверток; внутри оказался большой флакон одеколона, — надолго хватит. «Хорошо, что Кейт не заметила грязное белье под кроватью», — подумала обрадованная Этель. И сразу после ужина убрала белье, смела паутину из углов, помыла пол.

Вскоре потом Кейт объявила, что сегодня Грейс особенно красива, и, сняв с себя брошь в виде бабочки с фальшивым брильянтом, подарила ей. Пришлось Грейс побежать к себе наверх и надеть чистую блузку ради такой броши.

Повар Алекс, которого обычно ругательски ругали за стряпню, впервые услышал, что никто не печет таких вкусных печений, как он, и что кулинарному искусству обучить-

ся нельзя, а надо родиться с талантом и чутьем, как у него.

Слепой тапер услышал, что его все любят. И его заезженно-тупая игра заметно улучшилась.

— Начинаешь вспоминать, и странное звучит из прошлого,— как-то сказал он Кейт.

— Что именно? — спросила она.

— Да вот хотя бы.— И сыграл ей.

— Прелестно,— сказала она.— Что это?

— Не помню. Кажется, Шопен. Эх, если б я мог видеть ноты!

Он рассказал ей печальную историю о том, как лишился зрения, а никому прежде не рассказывал. И в тот субботний вечер, убрав цепку со струн, он сыграл вещь, которую вспомнил и подрепетировал утром,— «лунное» что-то, кажется, Бетховена.

— И в самом деле лунное,— сказала Этель.— А слова знаешь?

— Оно без слов,— сказал Слепенький.

— А надо бы слова. Мотив красивый,— сказал Оскар Трип, субботний гость из Гонзалеса.

А в один из вечеров Кейт вручила каждой девушке подарок — ведь во всем округе нет лучше, чище и милее дома, чем у Фей, и кого же благодарить за это, как не девушек! А такую приправу к рагу вы где-нибудь еще пробовали?

Алекс ушел в кухню, украдкой вытер глаза тыльной стороной руки. Ух, какой он им приготовит пудинг с черносливом — пальчики оближут!

Джорджия стала вставать не позже десяти утра и брать у Слепенького уроки игры на рояле, и ногти у нее теперь были чистые, ухоженные.

— А я уж совсем было решила бросить ремесло и выйти замуж. Представляешь? — сказала Грейс, возвращаясь после утренней воскресной мессы.

— У нас и правда стало славно,— ответила Трикси.— Девушки из дома Дженни, когда приходили к Фей на именинный торт, глазам своим не поверили. Теперь у них только об этом и говорят. Дженни очень рассердилась.

— А утром сегодня видела цифру на доске?

— Конечно,— восемьдесят семь за одну неделю. И ведь не праздники сейчас! Ну-ка, пусть Дженни или Негра с нами потягаются!

— Какие там праздники! Сейчас великий пост! У Дженни небось ни клиента.

После той болезни и кошмаров Фей была тиха, подавлена. Кейт чувствовала на себе наблюдающие взгляды Фей, но тут уж ничего не поделаешь. А что свернутый трубкой документ по-прежнему в шкатулке, Кейт удостоверилась, и девушки все его видели или слышали о нем.

Как-то днем Кейт постучалась к Фей, вошла; Фей подняла глаза от пасьянса.

— Как себя чувствуешь, мамочка?

— Прекрасно, чудесно.— Убрать из глаз настороженность Фей не смогла, не настолько она была ловка.— Знаешь, Кейт, мне хочется в Европу.

— Вот и чудесно. Эту поездку ты заслужила и можешь себе позволить.

— Я не хочу одна ехать. Хочу, чтобы и ты поехала со мной.

— Я? Ты хочешь взять меня? — Кейт взглянула удивленно.

— А как же. Конечно.

— Ах, милая мамочка! Когда же мы поедем?

— А ты хочешь?

— Я всегда мечтала. Когда же мы поедем? Давай не будем откладывать.

Из взгляда Фей ушло недоверие, лицо разгладилось.

— Может быть, будущим летом,— сказала она.— Будем готовить поездку на лето. Кейт!

— Да, мама?

— Ты... ты больше не обслуживаешь клиентов?

— Да зачем же? Ты ведь так обо мне позаботилась.

Фей не спеша собрала карты в колоду, обровняла, убрала в ящик столика. Кейт пододвинула стул, села, сказала:

— Хочу с тобой посоветоваться.

— О чем?

— Я стараюсь помочь по хозяйству, ты знаешь.

— Я без тебя как без рук, душенька.

— Больше всего мы тратим на питание, особенно зимой.

— Верно.

— Ну так вот: сейчас фрукты и всякие овощи можно купить за гроши. А зимой, сама знаешь, сколько приходится платить за консервированные персики и молодую стручковую фасоль.

— Неужели ты хочешь заняться консервированием?

— А почему бы нам не заняться?

— И Алекс согласен возиться?

— Хочешь верь, мама, хочешь не верь, но Алекс сам предложил. Спроси его.

— Не может быть!

— Клянусь тебе, сам предложил.

— Чудеса, черт меня дернул... Ах, прости, душенька. Сорвалось с языка...

И кухня обратилась в консервный завод; все девушки помогали. Алекс и вправду поверил, что это его идея. Ведь он получил за нее серебряные часы с выгравированной дарственной надписью, когда уладились со всеми банками.

Обычно Фей и Кейт ужинали за общим длинным столом, но по воскресеньям, когда Алекс не готовил и девушки обходились многослойными бутербродами, Кейт сервировала ужин для двоих в комнате у Фей. Это были приятные, по-дамски элегантные ужины. Всегда был какой-нибудь деликатес — гусиная печенка, особенный салат, пирожные из булочной Ланга, что на Главной улице. И на столе у Фей постлана была не белая клеенка, как в столовой, а камчатная белая скатерть, и салфетки были не бумажные, а льняные. Кейт сервировала стол по-праздничному, со свечами и — что редкость для Салинаса — с цветами в вазе. Кейт умела составлять прелестные букеты из полевых цветов, которые сама и собирала.

— Что за умница, — восторгалась Фей. — Все она умеет, из ничего сделает чудо. Мы с ней в Европу поедem. Вы и не знаете, а она и по-французски говорит. Честное слово. Вот на досуге попросите ее сказать что-нибудь по-французски. Она и меня учит. Знаете, как по-французски хлеб?

Фей наслаждалась предвкушением поездки. Она оживленно готовилась, планировала — и все благодаря Кейт.

4

В субботу четырнадцатого октября над Салинасом пролетели первые дикие утки. Фей видела в окно — летели на юг большим клином. Как всегда перед ужином заглянула Кейт.

— Летят утки,— сказала Фей.— Зима уж на подходе. Сказать Алексу — пусть печи приготовит.

— Подать тебе твоё укрепляющее, мамочка?

— Да. Ты меня совсем разбаловала своими заботами.

— Я люблю о тебе заботиться,— сказала Кейт. Достала из комода бутылку с микстурой Пинкем, подняла её на свет.— Тут на донышке. Надо новую.

— Кажется, у меня там в шкафу остались ещё три из купленной дюжины.

Кейт взяла стакан.

— Мушка попала,— сказала она.— Пойду вымою.

На кухне Кейт ополоснула стакан. Извлекла из кармана пипетку, заполненную прозрачной жидкостью — настояйкой чилибухи — и воткнувшую в кусочек картофелины, как затыкают нос керосинового бидона. Аккуратно выдавила в стакан несколько капель.

Вернувшись к Фей, налила три столовые ложки микстуры, размешала в стакане. Фей выпила, облизала губы.

— Горькое на вкус,— сказала она.

— Горькое, мамочка? Дай попробую.

Кейт налила из бутылки в ложку, глотнула, поморщилась.

— И в самом деле,— сказала она.— Должно быть, слишком давно стоит. Надо выбросить. Ужасно горькое. Я принесу сейчас воды, запьёшь.

За ужином Фей сидела вся покрасневшая. Вот положила вилку, как бы прислушиваясь к себе.

— Что с тобой? — спросила Кейт.— Что с тобой, мама?

Фей очнулась.

— Сама не пойму. Наверное, небольшой сердечный спазм. Ни с того ни с сего стало страшно, и сердце застучало.

— Может, в спальню тебя проводить?

— Нет, милая, уже все прошло.

— Ой, у тебя такой густой румянец, Фей,— сказала Грейс, кладя вилку.

— Мне это не нравится,— сказала Кейт.— Надо позвать доктора Уайльда.

— Не надо, все уже прошло.

— Ты меня напугала,— сказала Кейт.— У тебя так и раньше случалось?

— Одышка иногда бывает. Видно, я слишком растолстела.

Весь тот субботний вечер Фей чувствовала себя несважно и по настоянию Кейт в десять часов легла спать. Кейт несколько раз заглядывала, пока не убедилась, что Фей спит.

Назавтра Фей вполне оправилась.

— Это, видимо, просто одышка,— сказала она.

— Поддержим мамочку на диете,— сказала Кейт.— Я сварила на ужин куриный бульон, и фасолевый салатик у нас будет — по-французски, как ты любишь, с прованским маслом и уксусом. И стакан чаю.

— Но, ей-богу, Кейт, я отлично себя чувствую.

— Чутьочку диеты нам обеим не повредит. Ты меня напугала вчера вечером. У меня тетя скончалась от сердечного приступа. А такое не забывается.

— У меня никогда ничего с сердцем не было. Только легкая одышка, когда поднимаюсь по лестнице.

В кухне Кейт приготовила два подноса. Сдобрив уксусом масло, полила фасолевый салат. Поставила на поднос любимую чашку Фей, а бульон — на плиту разогреть. После чего достала из кармана пипетку, капнула на салат две капли кротонового масла, тщательно размешала. Пошла к себе в комнату, выпила стакан слабительного «Каскара Саграда» и не мешкая вернулась в кухню. Разлила горячий бульон по чашкам, налила кипятку в чайник и понесла оба подноса к Фей.

— Я вроде и не голодна,— сказала Фей.— Но бульон так аппетитно пахнет.

— Я приправила салат по старинному особому рецепту,— сказала Кейт.— Розмарином и тимьяном. Интересно, как тебе понравится.

— Да он вкуснющий,— сказала Фей.— Все-то на свете ты умеешь.

Кейт схватило первую. На лбу выступил каплями пот, она согнулась, крича от боли. Глаза у нее выпучились, изо рта потекла слюна. Фей выбежала в коридор, зовя на помощь. В комнату сбежались девушки, пять-шесть воскресных клиентов. Кейт корчилась на полу. Два постоянных клиента положили ее на кровать Фей, хотели выпрямить ей ноги, но она опять со стоном скрючилась, вся обливаясь потом.

Фей стала полотенцем вытирать ей лоб, но тут и Фей скрутило.

Только через час разыскали доктора Уайльда — он играл в юкер у приятеля. С истерическими причитаньями две шлюхи потащили его к заболевшим. Фей и Кейт уже ослабели от рвоты и поноса; время от времени их снова схватывали корчи.

— Что вы ели? — спросил доктор Уайльд. И, поглядев на подносы: — Эту фасоль вы дома консервировали?

— Ага, — сказала Грейс. — Мы сами.

— И кто-нибудь из вас тоже ел салат?

— Нет. Дело в том, что...

— Сейчас же разбейте все банки, — сказал доктор Уайльд. — Будь проклята эта фасоль!

И вынул из чемоданчика желудочный зонд.

Во вторник, сидя у постелей, где лежали две слабые, бледные женщины (кровать Кейт перенесли сюда же), доктор Уайльд сказал:

— Теперь уже могу признаться. Я не думал, что вы останетесь в живых. Вам чертовски повезло. И не консервируйте больше фасоль. Покупайте в магазине.

— А что это у нас? — спросила Кейт.

— Ботулизм. Мы мало знаем о его природе, но выживают единицы. Вы молоды, а у Фей крепкий организм, и это вас спасло. Кишечник все еще кровоточит? — спросил он Фей.

— Да, немного.

— Так. Вот вам таблетки морфия. У них крепительное действие. Вероятно, где-нибудь внутри надрыв от потуг. Но недаром говорят, что шлюхи — двужильный народ. Полежите-ка обе в постели.

Это было семнадцатого октября.

Фей уже не суждено было поправиться. Ей делалось немного лучше, потом становилось совсем плохо. Третьего декабря — вновь ухудшение, и оправлялась от него Фей еще медленнее. Двенадцатого февраля резко усилилось кровотечение, и, видимо, это привело к сердечной слабости. Доктор Уайльд долго слушал ей сердце своим стетоскопом.

Кейт изнемогла в заботе; и без того худощавая, она стала кожа да кости. Девушки пытались подменить ее у постели Фей, но Кейт не уступала места никому.

— Она уже бог знает сколько суток не смыкает глаз, —

сказала Грейс.— Она не переживет смерти Фей, сама зачахнет.

— Или застрелится,— сказала Этель.

Уведя Кейт в зашторенную гостиную, доктор Уайльд опустил там на стул свой черный чемоданчик.

— Пожалуй, скрывать от вас незачем,— сказал он.— Увы, сердцу ее уже просто не выдержать. Весь кишечник в язвах. Проклятый ботулизм. Хуже укуса гремучей змеи.— Он отвел глаза от изможденного лица Кейт.— Я подумал, лучше будет вас предупредить, чтобы вы были готовы,— сказал он, заминаясь, положив руку на ее исхудалое плечо.— Редко встречаешь такую преданность. Попробуйте дать ей глотнуть теплого молока.

Кейт подняла таз с теплой водой на прикроватный столик. Трикси заглянула в комнату — Кейт обтирала Фей тонкими льняными салфетками. Расчесала ее светлые, давно не завитые волосы, заплела.

Кожа у Фей ссохлась, обтянула челюсти и череп, глаза были огромные и отрешенные. Она хотела произнести что-то, но Кейт сказала:

— Тсс! Береги силы. Береги силы.

Кейт принесла из кухни стакан теплого молока, поставила на столик. Вынула из кармана две бутылочки и набрала в пипетку понемножку из обеих.

— Открой ротик, мама. Это новое лекарство. Потерпи, родная. Оно невкусное.

Кейт выдавила из пипетки на язык Фей, на самый корень, и приподняла Фей голову, чтобы дать ей запить молоком, прогнать вкус.

— Теперь отдохни, я скоренько вернусь.

И тихо выскользнула из комнаты. В кухне было темно. Она открыла дверь наружу и, крадучись, направилась в глубь двора, на зады, в бурьян. Земля от весенних дождей была влажная. Острой палкой Кейт вырыла ямку. Бросила туда несколько бутылочек и пипетку. Палкой разбила, растолкла тонкое стекло и сверху нагребла земли. Когда возвращалась в дом, начинал падать дождь.

Пришлось связать Кейт, чтобы она не наложила на себя руки в первом взрыве горя. Она рвалась, металась, потом застыла в мрачном оцепенении. Не скоро вернулось к ней здоровье. А о завещании она совершенно забыла. Вспомнила о нем — в конце концов — не она, а Трикси.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

1

Адам Траск наглухо ушел в себя. Незавершенный дом Санчеса был открыт ветру и дождю, и полы, заново настланные, покособились от сырости. Низина, отведенная под огороды, буйно заросла бурьяном.

Адам жил как бы в чем-то вязком, замедлявшем его движения, пригнетавшем мысль. Он видел мир словно сквозь серую воду. Иногда сознание выныривало, прорывалось к свету, но свет приносил только тошную боль, и снова Адам погружался во мглу. Он ощущал присутствие близнецов — слышал их плач и смех, — но чувствовал одну лишь слабую неприязнь. Для Адама они были символом его утраты. К нему в усадьбу наезжали соседи, и каждый из них понял бы горе или гнев Адама и, поняв, помог бы ему. Но против этой вязкой мути они были бессильны. Адам не противился им, нет. Он их попросту не видел, и вскоре соседи перестали заворачивать в лощину, затененную дубами.

Поначалу Ли пытался пробудить Адама, но Ли был очень занят. Он стряпал, стирал, купал близнецов и кормил их. Постоянно и усердно возясь с ними, он полюбил этих двух малышей. Он говорил с ними на кантонском диалекте — и первые слова, которые они поняли и пролепетали, были китайские слова.

Самюэл Гамильтон дважды приезжал к Адаму, пытался вырвать, вызволить Адама из этой шоковой окоченелости. Затем Лиза не выдержала.

— Больше туда не езди, я не хочу, — сказала она. — Ты приезжаешь домой сам не свой. Не ты его меняешь, Самюэл, а он тебя. У тебя у самого лицо становится окоченелое.

— А ты подумала, Лиза, о двух его младенцах? — спросил Самюэл.

— Я подумала о твоей собственной семье, — отрезала она. — Ты привозишь нам оттуда траур чуть не на неделю.

— Что ж, ладно, матушка, — сказал он, но опечалился, ибо Самюэл не мог отгородиться от чужих страданий. Нелегко ему было покинуть безутешного Адама.

Адам заплатил ему за работу, даже за приспособления к ветрякам, но от ветряков отказался. Самюэл оборудование продал, деньги отослал Адаму. Ответа не дождался.

Он начинал уже сердиться на Адама Траска. Ему начинало казаться, что Адам упивается своим горем. Но особенно размышлять над этим было некогда. Джо учился теперь в том колледже, что Лиланд Станфорд воздвиг на своей ферме близ Пало-Альто. А Том беспокоил отца, ибо слишком углубился в книги. Работу на ранчо Том выполнял исправно, однако Самюэл чувствовал, что Тому не хватает радости.

Уилл и Джордж преуспевали в своих делах, а Джо присылал из Станфордского университета письма в стихах, где лихо, но не слишком нападал на все общепринятые истины.

В ответ Самюэл писал ему: «Я был бы разочарован, если б ты не сделался атеистом, и рад видеть, что, вступивши в возраст и умудрившись, ты вкусил агностицизм, как вкушают сладкий пряник после сытного обеда. Но, понимая все это, сердечно прошу тебя — не пробуй обращать маму в свое безверие. Твое последнее письмо ее убедило единственно в том, что ты нездоров. Почти все недуги, считает она, можно вылечить крепким бульоном. Твои храбрые нападки на устройство нашей цивилизации она сгодит к несварению желудка. И потому тревожится о тебе. Ее вера величиной с гору, а у тебя, сынок, в руках еще и лопатки нет».

Лиза старела, Самюэл видел это по выражению ее лица. В себе он не ощущал старости, хотя и был седобород. А Лиза как бы пятилась в прошлое, и это ли не признак старости?

Раньше, бывало, она слушала его пророчества и планы снисходительно, как шалый шум ребенка. Теперь же считает, что взрослому человеку это не к лицу. Они остались на ранчо втроем — Лиза, Том и Самюэл. Уна вышла за чужака и уехала с ним. Десси шьет дамские платья в Салинасе. Оливия замужем за своим нареченным, а Молли — верьте, не верьте — живет с мужем в Сан-Франциско, в богатой квартире. У камина в спальне постлана белая медвежья шкура и пахнет духами, а после обеда, за кофе, Молли покуривает сигарету с золотым ободком, марки «Вайолет Майло».

Однажды, поднимая прессованное сено, Самюэл надсадил спину; сильней боли была обида — что ж это за жизнь для Сэма Гамильтона, если тюк сенца нельзя поднять? Уличив свою спину в слабости, он оскорбился этим почти так же, как если бы родную дочь уличил во лжи.

В Кинг-Сити доктор Тилсон осмотрел, ощупал его. От тягот своей профессии доктор с возрастом стал раздражителем.

— Вы спину надсадили.

— Именно так, — подтвердил Самюэл.

— И вы приехали из вашей дали в Кинг-Сити только для того, чтобы услышать это от меня и заплатить два доллара?

— Вот они, два доллара.

— И хотите услышать, что делать со спиной?

— Конечно, хочу.

— Не надсаживать больше. И уберите ваши деньги. Вы же человек неглупый, Самюэл, и, надеюсь, еще не впадали в детство.

— Но спина-то болит.

— Конечно, болит. А то как бы вы узнали, что перетрудили ее?

Самюэл рассмеялся.

— Вы мне помогли, — сказал он. — Больше, чем на два доллара. Так что возьмите их.

Доктор взгляделся в него.

— Вы, кажется, не врите, Самюэл. Ладно, возьму.

Самюэл зашел к Уиллу в его красивый новый магазин. Он едва узнал сына — процветающий Уилл раздобыл, под пиджаком жилетка, на мизинце золотой перстень.

— Я тут для мамы велел завернуть, — сказал Уилл. — Баночки из Франции. Грибы, паштет, сардинки величиной с ноготь.

— Она их просто перешлет Джо, — сказал Самюэл.

— А ты убеди ее не слать, пусть сама полакомится.

— Нет, — сказал отец. — Ей лакомее будет, если Джо съест.

В магазин вошел Ли; глаза его радостно блеснули.

— Здравасте, мистел.

— Здравствуй, Ли. Как малыши?

— Холосо.

— Я тут рядом пивка хочу выпить,— сказал Самюэл.— Буду рад, если посидишь со мною, Ли.

Они сели в баре за круглый столик.

— Давно хотел поведать вас с Адамом, да вряд ли будет от этого польза,— сказал Самюэл, рисуя пальцем влажные узоры на скобленной столешнице.

— Но и вреда не будет. Мне казалось, Адам перебо-рет себя. А он все бродит привидением.

— Ведь больше года прошло? — спросил Самюэл.

— Год и три месяца.

— Ну и чем я тут, по-твоему, помогу?

— Не знаю,— сказал Ли.— Может, за шиворот его возьмете, встряску дадите. Другое ничего не помогает.

— Не умею я брать за шиворот. Себе только встряску задам. А кстати, какие он имена дал близнецам?

— Никаких не дал.

— Ты шутишь, Ли.

— Какие уж тут шутки.

— А как же он их называет?

— «Они».

— Но когда обращается к ним?

— «Ты», если к одному; а к обоим — «вы».

— Чушь какая,— рассердился Самюэл.— Что он, совсем сдурел?

— Я собирался к вам приехать, рассказать. Если вы его не приведете в чувство, он — мертвый человек.

— Я приеду,— сказал Самюэл.— И захвачу плеть. Детей без имени оставить! Будь я проклят, если не приеду.

— Когда?

— Завтра же.

— Я курицу зарезу,— сказал Ли.— Вы полюбите близнецов, мистер Гамильтон. Прекрасные малыши. А мистеру Траску не скажу, что едете.

2

Самюэл с робостью сообщил жене, что хочет навестить Траска. Он ожидал, что Лиза воздвигнет крепостную стену возражений, и решил не уступать ей ни за что, а такое непослушание случилось в его жизни крайне редко, и у него тоскливо ныло под ложечкой. Он принялся объяснять ей свое намерение, почти как на исповеди. Лиза, слу-

шая, зловеще подбоченилась, и сердце в нем упало. Он кончил — она продолжала глядеть на него, как ему показалось, холодно. Наконец промолвила:

— Самюэл, и ты думаешь, что сможешь сдвинуть этого закаменевшего человека?

— Не знаю, матушка, — ответил не ожидавший таких слов Самюэл. — Не знаю.

— А ты вправду считаешь, что так уж важно дать младенцам имена безотлагательно?

— Так мне думается, — промямлил он.

— А как по-твоему, Самюэл, почему ты туда хочешь ехать? Не из простого ли любопытства? Не оттого ли, что по природе своей обязательно должен совать нос в чужие дела?

— Эх, Лиза, я достаточно знаю свои недостатки. Но думаю, причина все же глубже.

— Нельзя ей не быть глубже, — сказала Лиза. — Ведь этот человек до сих пор не признал, что у него есть живые сыновья. Как бы оставил их между небом и землей.

— И мне так думается, Лиза.

— А если он тебе скажет: «Не лезь не в свое дело», — что тогда?

— Не знаю.

Она решительно сжала зубы, даже прищелкнула ими.

— Если не заставишь его дать имена сыновьям, то лучше домой не являйся. Не смей возвращаться ко мне, хныча, что он, мол, не хотел, не стал слушать. Иначе я сама поеду.

— Я его силком заставляю, — сказал Самюэл.

— Не заставишь ты. На крутые действия тебя не хватит, Самюэл. Я тебя знаю. Ты его сладкими словами будешь убеждать и притащишься домой ни с чем, желая только одного: чтобы я забыла о твоей попытке.

— Да я ему череп разможжу, — рявкнул Самюэл.

Ушел в спальню, и Лиза улыбнулась, глядя на захлопнутую в сердцах дверь.

Вскоре он вернулся в своем черном костюме, в рубашке, крахмаленной до блеска, с жестким воротничком. Наклонился к Лизе, и она повязала ему черный узенький галстук. Его седая борода была расчесана и блестела.

— Ты бы ботинки наваксил, — сказала Лиза.

Нагнувшись и черня ваксой свои поношенные башмаки, он искоса, снизу взглянул на жену.

— А Библию можно захвачу с собой? Лучших имен, чем из Библии, ниоткуда не взять.

— Не люблю я выносить ее из дому,— недовольно сказала Лиза.— И если ты поздно вернешься, что я буду вечером читать? И все наши дети там записаны.

Видя его огорченное лицо, Лиза принесла из спальни небольшую истрепанную Библию, подклеенную по корешку плотной бумагой.

— Возьми вот эту,— сказала она.

— Но это же Библия твоей матери.

— Она не возражала бы. И у всех записанных тут имен, кроме одного, стоят уже две даты.

— Я заверну ее, сохраню в целости,— сказал Самюэл.

— А возражала бы она против того, против чего возражаю и я,— сказала Лиза резко.— Почему ты никак не желаешь оставить в покое Святое писание? Вечно придираешься и сомневаешься. Так и сяк переворачиваешь, возишься, как енот с мокрым камушком. И это меня злит.

— Я просто стараюсь понять его, матушка.

— Нечего там понимать. Просто читай. Там все обозначено черным по белому. Кто требует, чтобы ты понимал? Если бы Господь Бог хотел от тебя понимания, он дал бы тебе это понимание или заповедал бы нам по-другому.

— Но...

— Самюэл, ты спорщик, какого мир не видел.

— Ты права, матушка.

— И не соглашайся все время со мной. Это отдает неискренностью. Твердо говори, что думаешь.

Он сел в тележку, тронул лошадь. Глядя ему вслед, Лиза сказала вслух:

— Славный он муж, но любит спорить.

А Самюэл мысленно удивлялся: «Ну и ну. А я-то думал, что знаю ее».

3

На последней полумиле, повернув с речной долины под большие дубы, на подъездную неразровненную дорогу, Самюэл старался вызвать в себе гнев, чтобы заглушить им неловкость от незваного приезда. Он подбодрял себя высокими словами.

С их последней встречи Адам стал еще костлявей. Глаза тусклые, точно он глядит, не видя. Не сразу осоз-

нал, что перед ним Самюэл, а узнав, недовольно поморщился.

— Гостю незваному присуща робость,— сказал Самюэл.

— Что вам надо? Разве вам не уплачено?—сказал Адам.

— Уплачено? Еще бы. Разумеется, уплачено. И притом с лихвою и сверх моих заслуг.

— Что? Это как понимать?

Гнев в Самюэле начал разрастаться, распускаться зелено.

— Человек всею жизнью своею взыскует оплаты. И если весь труд моей жизни к тому устремлен, чтоб отыскалась мне настоящая цена, то можете ли вы, убогий человек, определить ее беглой пометкой в гроссбухе?

— Я уплачу,— воскликнул Адам.— Уплачу, говорят вам. Сколько? Я уплачу.

— Уплатить вы должны, но не мне.

— Тогда зачем приехали? Уезжайте.

— Бывало, вы звали меня.

— Теперь не зову.

Самюэл упер руки в бока, подался к Адаму всем корпусом.

— Я объясню вам сейчас тихо-мирно. Вчера вечером — горьким, хмурым вечером — пришла ко мне добрая мысль и усладила мрак ночи. И мысль эта владела мною от зари вечерней до утренней, зачерпнутой звездным ковшом, о котором есть в сказаньях наших пращуров. И потому я сам себя призвал сюда.

— Но вас не звали.

— Мне ведомо, что по особой милости господней из чресл ваших произошли близнецы,— сказал Самюэл.

— А вам какое дело?

Что-то вроде радости зажглось в глазах Самюэла при этой грубой отповеди. А из дома — он заметил — украдкой выглядывает Ли.

— Ради Господа Бога, не понуждайте меня к насилию. Я хочу, чтоб обо мне осталась на земле мирная память.

— Не понимаю, о чем вы.

— Где уж понять Адаму Траску — волку с парой волченят, замызганному петуху-папаше, что потоптал и вся забота. Комку глины бесчувственному!

Щеки Адама побурели, взгляд наконец пробудился. А в Самюэле радостно и горячо цвел гнев.

— Дружище, отойди подальше от меня! — вскричал он.— Прощу тебя и умоляю! — Углы его губ омочила слюна.— Прощу! — повторил он.— Ради всего, что тебе еще свято, отодвинься подальше. Ведь руки чешутся пришить тебя.

— Уезжайте. Вон с моей земли,— сказал Адам.— Вы не в своем уме. Уезжайте прочь. Это моя земля. Она мной куплена.

— Глаза и нос тоже тобою куплены,— с насмешкой сказал Самюэл.— Двуногость куплена, и ноготь вместо когтя. Ты слушай, пока я тебя не убил. Что, естество твое тобою куплено? Из каких таких наследных средств? Вдумайся, человеке: заслужил ли ты своих детей?

— Заслужил? Они и так здесь. При чем тут заслуги?

— Благослови меня, Лиза! — возопил Самюэл.— Да как ты можешь, Адам! Слушай меня, пока не сдавил тебе горло. Пока еще обуздываю руки и мирно говорю. Драгоценная двойня твоя сиротеет незамеченно, непризнанно и неприкаянно — сиротеет безотцовщиной.

— Вон с моей земли,— прохрипел Адам.— Ли, принеси ружье! Это буйнопомешанный. Ли!

И тут Самюэл схватил его за горло, надавил большими пальцами, и в висках Адама застучало, глаза налились кровью.

— Руки по швам, хиляк! — рыкнул Самюэл.— Ты этих близнецов не купил, не украл и не выменял. Ты получил их по редкостному и благому Божьему соизволению.

Внезапно он отнял от горла свои жесткие пальцы. Тяжело дыша, Адам ощупал горло,— тверда у кузнеца хватка.

— Что вы от меня хотите?

— В тебе любви нет.

— Хватило, чтоб себя под пулю подвести.

— Любви никогда не хватает. За каменной оградой счастья нет.

— Не лезьте ко мне. Я в силах дать отпор. Я не беззащитен, не думайте.

— У тебя две защиты, и обе не названы именем.

— Я крепко дам сдачи. Ведь вы старик.

— Не представляю такого тупицу, чтобы нашел утром на земле камень и не нарек его к вечеру именем — не обозначил, допустим, Петром. А ты — ты год прожил с иссыхающим сердцем и хоть бы пронумеровал своих сынов.

— Не ваше дело, как я поступаю,— сказал Адам.

Тяжким от работы кулаком ответил Самюэл, и Адам распластался в пыли. «Встань»,— сказал Самюэл и снова уложил его ударом, и на этот раз Адам не встал. Лежал, каменно глядя на грозного старика.

Ярость угасла в глазах Самюэла.

— Твои сыновья сиротеют без имени,— тихо сказал он.

— Их оставила, осиротила мать,— сказал Адам.

— А ты их без отца оставил. Неужели не чувствуешь, как зябко ночью сироте-ребенку? Не для него тепло и птичье пенье, и чего ему ждать от рассвета? Неужели ты совсем забыл детство, Адам?

— Не моя в этом деле вина,— сказал Адам.

— Но надо же беду поправить. У твоих сынов нет имени.

Самюэл нагнулся и, приобняв за плечи, помог Адаму встать.

— Мы дадим имена,— сказал Самюэл.— Обдумаем, и подберем, и оденем их хорошим именем.

Он обеими руками стал стряхивать пыль с Адамовой рубашки.

Взгляд Адама был далек, но не рассеян, а сосредоточен, точно Адам прислушивался к какой-то музыке, несомой ветром,— и глаза уже не были мертвенно-тусклы.

— Никогда бы не поверил, что буду благодарен за оскорбления и нещадную трепку,— сказал он.— И однако благодарен. Спасибо, хоть и кулаком выколочено из меня это спасибо.

Самюэл улыбнулся, от глаз пошли морщинки-лучики.

— Ну и как у меня получилось — без натяжки? Нагнал страху как следует? — спросил он.

— То есть?

— То есть я обещал жене так сделать. Она не верила, что меня на это станет. Я ведь не из драчунов. Последний раз я дрался еще школьником из-за учебника и красной носой девочки — в ирландском графстве Дерри.

Адам смотрел на Самюэла, но мысленно видел перед собой Карла, ощущал его темную, убийственную злобу, потом увидел Кэти, ее пустые глаза над дулом пистолета.

— Ты нагонял не страх,— сказал Адам.— В тебе скорее усталость чувствовалась.

— Видно, недостаточно я рассерчал.

— Самюэл, я только один раз задам этот вопрос. Слышал ты что-нибудь о ней? Есть ли хоть какис-нибудь вести?

— Ничего я не слышал.

— Что ж, так, пожалуй, даже лучше,— сказал Адам.

— Ты ее ненавидишь?

— Нет. Только мутная тоска на сердце. Может, потом она определится в ненависть. Понимаешь, прелесть так сразу обернулась в ней мерзким и жутким. Все у меня смешалось, спуталось.

— Когда-нибудь мы сядем и разложим это на столе четким пасьянсом,— сказал Самюэл.— Но теперь — теперь у тебя же нет всех карт.

Из-за сарая донесся истошный крик возмущенной курицы — и потом тупой удар.

— Что-то там в курятнике,— сказал Адам.

Снова послышался куриный крик — и оборвался.

— Это Ли орудует,— сказал Самюэл.— Знаешь, если бы у кур было свое правление, церковь, историческая наука, то радости людского рода трактовались бы в ней хмуро и кисло. Стоит людям озариться радостью, надеждой — и тут же тащат вопящего курчонка на плаху.

И оба примолкли, обмениваясь лишь скупыми пустовежливыми вопросами о здоровье, о погоде и не слушая ответов. И в конце концов оба насупились бы снова, если бы не Ли.

Он вынес стол, два стула, поставил их к столу друг против друга. Сходил за виски, расположил на столе два стакана. Потом вынес близнецов, держа одного правой, другого левой рукой, посадил на землю у стола и дал каждому палочку — махать и развлекаться игрой тени.

Оба мальчика сидели серьезные, таращились на бороду Самюэла, искали глазами Ли. Странная на них была одежда: длинные штанцы, китайские расшитые и отороченные черным курточки — на одном бирюзово-голубая, на другом бледно-розовая. А на головах круглые черные шелковые шапсчки с ярко-красной шишечкой на плоском верху.

— Где ты раздобыл эти одежки, Ли? — спросил Самюэл.

— Я не раздобывал,— сердито сказал Ли.— У меня хранились. Всю прочую одежду я сшил им из холстины.

А в день, когда мальчику дают имя, он должен быть одет красиво.

— Ты, я слышу, распростился со своей ломаной речью?

— И, надеюсь, навсегда,— ответил Ли.— Но, конечно, пользуюсь ею, когда приезжаю в Кинг-Сити.

Он молвил что-то близнецам краткосложно и певуче, и те улыбнулись ему с земли и замахали палочками.

— Я налью вам,— сказал Ли.— У нас тут стояла бутылка.

— Купил ее небось вчера в Кинг-Сити,— сказал Самюэл.

Теперь, когда Самюэл и Адам сидели вместе за столом и преграды вражды рухнули, Самюэлом овладело стеснение. Кулаками вразумить он смог, а как теперь вести речь, затруднялся. «Отвага и упорство дрябнут в человеке, если их не упражнять»,— подумал он и усмехнулся мысленно сам над собой.

Посидели, полюбовались на близнецов в их странном цветном одеянии. «Иногда противоборец может помочь лучше друга»,— и с этой мыслью Самюэл поднял взгляд на Адама.

— Не заговаривается что-то,— сказал он.— Это как не написанное вовремя письмо, которое с каждой проходящей минутой все труднее писать. Может, подсобишь мне?

Адам глянул на него и опять опустил глаза на близнецов.

— У меня в голове гул,— сказал он.— Как под воду звуки доносятся. Надо мне еще пробиться сквозь толщу целого года.

— Может, расскажешь, как все было, и беседа с места стронется.

Адам выпил, плеснул себе еще, поводил-покатал по столу наклоненным стаканом. Янтарное виски, косо поднявшись к краешку стекла и согреваясь, пахлопряно, фруктово.

— Трудно вспоминать,— сказал он.— Не острая боль, а тупая муть. Но нет, и как иглами тоже, бывало, заколет. Ты сказал, в моей колоде не все карты. Я и сам так думаю. Возможно, всех у меня никогда и не будет.

— Это память о ней тебя мучит и наружу просится? Когда человек говорит, что не хочет о чем-то вспоминать, это обычно значит, что он только о том одном и думает.

— Может, и так. Она вся с мутью перемешана, я ничего почти не помню, кроме последнего — как огнем выжженного.

— Это она в тебя выстрелила — так ведь, Адам? Губы Адама сжались, глаза потемнели.

— Не желаешь — не отвечай, — сказал Самюэл.

— Почему ж, отвечу, — сказал Адам. — Да, она.

— Хотела тебя убить?

— Над этим я думаю больше всего. Нет, пожалуй, не хотела. Не сподобила меня такой чести. В ней вовсе не было ненависти или хотя бы горячности. Я научился в армии распознавать. Если хотят убить, то целят в голову, в сердце, в живот. Нет, она знала, куда метила. Я помню, как повела стволом. Мне бы, наверно, не так горько было, если бы она хотела убить. Тут было бы что-то от любви. Но я был ей просто помеха, а не враг.

— Немало ты об этом думал, — сказал Самюэл.

— Времени было достаточно. Я вот о чем хочу тебя спросить. Та мерзость заглушила в памяти все предыдущее... Она была очень красивая?

— Для тебя — да. Потому что ты сам создал ее образ. Ты вряд ли хоть раз видел ее настоящую — только этот образ.

— Знать бы, кто она, что она, — задумчиво проговорил Адам. — Раньше мне и любопытно не было — и так было хорошо.

— А теперь любопытно?

Адам опустил глаза.

— Тут не любопытство. Хочется знать, какая в моих сыновьях кровь. Вот вырастут, и я же буду ждать от них чего-то дурного.

— Будешь. Но имей в виду: не кровь их, а твое подозрение может взрастить в них зло. Они будут такими, какими ты их ожидаешь увидеть.

— Но кровь, которая в них...

— Я не слишком верю в кровь, — сказал Самюэл. — По-моему, когда обнаруживаешь в своих детях зло или добро, все оно самим тобою же посеяно в них уже после рождения на свет.

— Нельзя из свиньи сделать скаковую лошадь.

— Нельзя, — сказал Самюэл. — Но можно сделать очень быстроногую свинью.

— Никто из здешних с тобой не согласится. Даже миссис Гамильтон.

— Это верно. Жена-то рьяней всех оспорит; я ей такого и говорить не стану, чтоб не обрушить на себя гром ее несогласия. Она подминает меня во всех спорах, и возражать ей — значит оскорблять ее. Славная она женщина, но обхождение с ней — целая наука. Вернемся-ка лучше к мальчикам.

— Налить тебе еще?

— Налей, спасибо. Имена — это тайна великая. Я так и не пойму, то ли имя приноравливается к ребенку, то ли само меняет этого ребенка. Но в одном можешь быть уверен — если человеку дают кличку, значит, имя выбрали ему не то. Как ты смотришь на обычные имена — Джон, Джеймс — или, скажем, Карл?

Взгляд Адама был обращен на сыновей, и при слове «Карл» показалось ему, что из глаз одного близнеца глянул на него брат. Адам нагнулся ближе к малышам.

— Ты чего? — спросил Самюэл.

— Да ведь они несхожи! Они совсем разные! — воскликнул Адам.

— Конечно, разные. Разнойцевые близнецы.

— Вот этот на моего брата похож. Я только сейчас заметил. А другой — похож он на меня?

— Оба на тебя по-разному похожи. В лице с самого начала заложен весь будущий вид.

— Теперь уж не так бьет в глаза, — сказал Адам. — Но на минуту точно брат привиделся.

— Может, вот так и являются призраки, — заметил Самюэл.

Ли принес на стол обеденную посуду.

— А у китайцев призраки бывают? — спросил Самюэл.

— Миллионы, — сказал Ли. — Их у нас больше, чем живых. В Китае, по-моему, ничто не умирает. Теснота великая. Так мне по крайней мере показалось в мой проезд туда.

— Садись, Ли, — сказал Самюэл. — Мы имена подбираем.

— У меня куры жарятся. Скоро будут готовы, — сказал Ли.

Адам поднял на него взгляд — потеплевший, смягченный.

— Выпей с нами, Ли.

— Я на кухне свою уцзяпи потягиваю.— И с этими словами Ли ушел в дом.

Самюэл наклонился, посадил одного близнеца себе на колени.

— А ты возьми другого,— сказал он Адаму.— Надо их рассмотреть — может, сами нам подскажут имя.

Адам неумело поднял второго малыша.

— Сходство в них вроде бы есть, пока не вглядишься поближе,— сказал он.— У этого глаза круглей.

— И голова круглей, и уши больше,— прибавил Самюэл.— А этот, что у меня, он... он нацеленней как бы. Пойдет дальше, хоть, может, и не так высоко поднимется. И темнее будет волосом и кожей. Хитер будет, по-моему, а хитрость — ограничение уму. Хитрость уводит человека от прямых поступков. Гляди, как он прочно сидит. Он скороспелый, развитей того. Даже странно, какие они разные, когда вглядишься!

Лицо Адама раскрывалось и светлело, точно наконец он выплыл на поверхность. А малыш потянулся к поднятому отцовскому пальцу и, промахнувшись, чуть не упал с колена.

— Тпру! — сказал Адам.— Полегче. Падать не годится.

— Будет ошибкой назвать их по тем свойствам, что мы в них, как нам кажется, приметили,— сказал Самюэл.— Можно и ошибиться, крепко ошибиться. Пожалуй, лучше дать им имя как высокую цель жизни — имя, которое им надо оправдать. Сам я назван в честь человека, кого позвал по имени сам Господь Бог, и я всю жизнь жду зова. И раза два слышалось мне, будто кличут, но смутно, неясно слышалось.

Придерживая сына за плечико, Адам дотянулся до бутылки, налил в оба стакана.

— Спасибо тебе, Самюэл, что приехал,— сказал он.— И даже за ученье кулаком, хоть и непривычно за это благодарить.

— А мне было непривычно учить таким путем. Лиза ни за что не поверит, и я ей не скажу. Непризнанная правда способна человеку повредить хуже всякой лжи. Нужна большая храбрость, чтобы отстаивать правду, какую время наше не приемлет. За это карают, и карой обычно бывает распятие. А я не настолько храбр.

— Я не раз удивлялся, что человек твоих познаний ко-
пается на тощей пустоши.

— А потому что нету во мне храбрости,— ответил Самюэл.— Никогда я не решался брать всю великую ответственность. Пусть Господь не воззвал ко мне, но я сам мог бы воззвать к Нему, а не решился. Вот в этом разница между величием и заурядностью. Немоощь моя обычна средь людей. И человеку заурядному приятно знать, что ничего, пожалуй, нет на свете сиротливей величия.

— Наверно, разные бывают степени величия,— проговорил Адам.

— Не думаю. Маленького величия не бывает. Нет уж. По-моему, перед лицом жизненной ответственности ты один наедине с этой громадой и выбор у тебя таков: либо тепло и дружество и ласковое пониманье, либо же холод и одинокость величия. Вот и выбираешь. Я рад, что выбрал заурядность, но откуда мне знать, какую награду принесло бы величие? И никому из моих детей оно не грозит, разве только Тому. Он как раз теперь мучается над выбором. Мне больно на него смотреть. И где-то во мне есть желанис, чтобы он сказал «да». Не странно ли? Отец — и хочет, чтобы сын был обречен величию. Какой себялюбивый отец!

— А давать имя, оказывается, непросто,— сказал Адам со смешком.

— А ты думал, просто?

— Я не думал, что это будет так приятно,— сказал Адам.

Ли принес из кухни поднос с жареной курятиной на блюде, с дымящейся картошкой в миске, с маринованной свеклой в глубокой тарелке.

— Не знаю, вкусно ль получилось,— сказал Ли.— Куры староваты. А молоденьких у нас в этом году нет. Цыплят ласки поели.

— Садись же,— сказал Самюэл.

— Сейчас, принесу мою уцзяпи.

Ли ушел; Адам сказал:

— Странно—раньше у него другой был говор, ломаный.

— Теперь он тебе начал доверять,— сказал Самюэл.— У него природный дар жертвенной верности, не ожидающей себе награды. Возможно, оба мы ему как человеку в подметки не годимся.

Вернулся Ли, сел с краю.

— Вы бы опустили мальчиков на землю,— сказал он.

Снятые с колен, те было захныкали. Ли сказал им что-то строго по-китайски, и они притихли.

Ели молча, как едят сельчане. Неожиданно Ли встал и скорым шагом ушел в дом. Воротился с кувшином красного вина.

— Я и забыл о нем,— сказал Ли.— Наткнулся на этот кувшин в доме.

Адам засмеялся.

— Помню, я пил здесь вино перед покупкой усадьбы,— сказал он.— Из-за этого вина, может, и купил. А курятина вкусная, Ли. Давно уже не чувствовал я вкуса еды.

— Опять обретаешь здоровье,— сказал Самюэл.— Есть больные, что выздоровление считают оскорблением для своей благородной болезни. Но время — такой целитель, которому чихать на это благородство. Надо только терпеливо ждать — и выздоровеешь.

4

Ли убрал со стола, дал малышам по куриному бедрышку, очищенному от мяса. Важно держа этот свой скользкий жезл, они то оглядывали его, то совали себе в рот. Вино и стаканы Ли оставил на столе.

— Не будем мешкать с выбором имен,— сказал Самюэл.— Я уже чувствую, как Лиза подергивает вожжи, тянет меня домой.

— Ума не приложу, как их назвать,— сказал Адам.

— Нет у тебя на примете семейных имен — скажем, поймать богатого родича, чтобы заботился о тезке, или воскресить того, кем гордитесь?

— Да хотелось бы дать им свежее имя, насколько возможно.

Самюэл стукнул себя по лбу костяшками пальцев.

— Какая жалость,— сказал он.— Как жаль, что нельзя их назвать именами, которые как раз больше всего и подходят.

— Какими это?

— Вот ты сказал — свежее имя. Мне вчера вечером пришло в голову...— Он помолчал.— Ты в свое собственное имя вдумывался?

— В мое собственное?

— Ты ведь Адам. А первенцы Адамовы были Каин и Авель.

— Ну нет,— сказал Адам.— Так назвать нельзя.

— Знаю, что нельзя. Это значило бы дразнить нечто, именуемое судьбой. Но разве не чудно, что Каин — самое, возможно, известное имя на свете, а насколько знаю, носил его лишь один-единственный человек?

— Может, потому оно и сохранило всю свою изначальную значимость,— произнес Ли.

— Ты произнес его — меня дернуло ознобом,— сказал Адам, глядя на густо-красное вино в стакане.

— Два предания не дают нам покоя неотступно с начала времен,— сказал Самюэл.— Влекутся за нами невидимым хвостом — повесть о первородном грехе и повесть о Каине и Авеле. А не понимаю я ни первой, ни второй. Умом не понимаю, однако сердцем чувствую. Лиза сердится. Говорит, что нечего мне и пытаться понять их. Божью истину, мол, уяснять незачем. Может, она и права — может быть, и права. Она считает тебя, Ли, христианином, пресвитерианином. Тебе-то понятны сад Эдемский и Каин с Авелем?

— Она считает, меня надо отнести к какому-либо вероисповеданию, а я когда-то ходил в пресвитерианскую воскресную школу в Сан-Франциско. Люди любят размещать всех по полочкам, особенно класть на свою.

— Он спросил, понятно ли тебе,— сказал Адам.

— Мне кажется, грехопадение я понимаю. Я в себе самом могу это ощутить, пожалуй. Но братоубийство — нет, не понимаю. Возможно, я призабыл подробности.

— Большинство не вдумывается в подробности. А они-то меня и поражают. У Авеля не было детей! — сказал Самюэл и поглядел на небо.— Господи, как быстро день проходит. Как наша жизнь — летит, когда не замечаем, и нестерпимо медленно тащится, когда следим за ее ходом... Нет, я жизни радуюсь. И обещал себе, что радость жизни никогда не сочту грехом. Мне радостно уяснять мир. Ни разу не прошел я мимо камня, не поглядев, что там под ним. И черная досада для меня, что так и не увижу обратную сторону Луны.

— У меня нет Библии,— сказал Адам.— Наша фамильная осталась в Коннектикуте.

— У меня есть,— сказал Ли.— Пойду принесу.

— Не надо,— сказал Самюэл.— Лиза дала мне Библию своей матери.— Он вынул ее из кармана, освободил от бумажной обертки.— Истрепана, измуслена. Немало, видно, горестей и мук людских приняла в себя. Дайте мне подержанную Библию, и я, пожалуй, смогу определить, что за человек ее владелец, по тем местам, которые замуслены ищущими пальцами. А Лиза стирает Библию всю равномерно. Ну, вот и древнейшая повесть — о Каине. До сих пор она тревожит нас — и, значит, в нас самих гнездо этой тревоги.

— Я ее в детстве слышал, а с тех пор ни разу,— сказал Адам.

— В детстве она длинной кажется, а она очень коротка,— сказал Самюэл.— Я прочту всю, потом вернемся к началу. Налей вина, в горле пересохло. Вот она — так коротка, и так глубоко ранит.— Самюэл опустил взгляд на близнецов.— Смотри-ка. Уснули на земле, в пыли.

— Я накрою их,— сказал Ли, вставая.

— Пыль теплая,— сказал Самюэл.— А повествуется так: «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа».

Адам встрепнулся, и Самюэл взглянул на него, но Адам только молча прикрыл глаза рукой. Самюэл продолжал читать:

— «И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец; а Каин был земледелец. Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не призрел».

— Погодите,— сказал Ли.— Или нет, читайте, читайте. Вернемся к этому потом.

— «Каин сильно огорчился, и поникло лице его»,— читал дальше Самюэл.— «И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты будешь господствовать над ним».

«И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он

сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? И сказал Господь: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно. Вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. И сказал ему Господь: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня; и поселился в земле Нод, на восток от Эдема».

— Ну вот,—сказал Самюэл слегка устало, закрыв полуоторванную обложку.— Всего-навсего шестнадцать стихов. И, боже мой, я и забыл, как она страшна — ни единой нотки ободрения. Может, и права Лиза. Ничего тут не понять.

— Да, неутешительный рассказ,—тяжело вздохнул Адам.

Ли налил себе стакан темной жидкости из округлой глиняной бутылки, отхлебнул и приоткрыл рот, чтобы и зёвом, и корнем языка ощутить вкус.

— Повесть имет силу и долговечность,—прсмолвил Ли,—только если мы чувствуем в ней правду — и правду о нас самих. Как велико бремя общечеловеческой вины!

— А ты всю ее пытался принять на себя,—сказал Самюэл Адаму.

— Так и я, так пытается каждый,—продолжал Ли.— Мы гребем к себе вину обеими руками, словно это что-то драгоценное. Видно, тяга в нас такая.

— Но мне от этой повести не горше, а легче,—произнес Адам.

— В каком смысле? — спросил Самюэл.

— Да ведь каждый мальчуган думает, что сам изобрел грех. Добру-то нас учат, и мы думаем, что обучаемся ему. А грех вроде бы собственного нашего изобретения.

— Понимаю. Но почему же тебе легче от повести о Каине?

— Потому,—ответил Адам возбужденно,— что мы его

потомки. Он наш праотец. И часть нашей вины — от наших предков. Нам не дали выбора. Мы дети своего отца. И не первые, значит, грешим. В этом — оправдание, а оправданий на свете нехватка.

— Убедительных и вовсе нехватка, — сказал Ли. — Иначе бы мы давно уж отмылись от нашей вины и мир не был бы полон удрученных, ущербных людей.

— Взгляните, однако, с иной точки, — сказал Самюэл. — Оправдание оправданием, но от наследья не уйдешь. От вины-то не уйдешь.

— Я помню, возмутил меня Господь немного, — сказал Адам. — Каин и Авель оба дали, что имели, а Бог дар Авеля принял, Каина же отверг. Никогда я не считал это справедливым. Никогда не понимал. А вы?

— Возможно, тут надо учесть обстановку, — сказал Ли. — Мне помнится, эта повесть писана пастухами и для народа пастухов, а не крестьян-землеробов. Разве пастушьему Богу жирный ягненок не ценнее, чем сноп ячменя? Жертву требуется приносить от самого лучшего, наиценнейшего.

— Так. Понимаю тебя, Ли, — сказал Самюэл. — Но предостерегаю — не дай Бог тебе пуститься в свои восточные рассуждения при Лизе.

— Да, но почему Бог осудил Каина? — спросил Адам, волнуясь. — Это же несправедливо.

— А ты вслушайся в слова. Бог вовсе не осуждал Каина. Но ведь даже Бог может отдавать чему-то предпочтение? Допустим, Богу баранина была милее овощей. Мне самому она милее. А Каин принес, скажем, пучок моркови. И Бог сказал: «Не нравится мне это. Приди снова. Принеси то, что мне по вкусу, и поставлю тебя рядом с братом». Но Каин огорчился. Разобиделся. А человек обиженный ищет, на чем сорвать досаду, — и Каин сорвал гнев на Авеле.

— В Послании к евреям святой Павел говорит, что Авель был угоден Богу верой, — сказал Ли.

— В Книге Бытия об этом не упоминается, — сказал Самюэл. — Ни о вере, ни о безверии. Только о горячем нраве Каина.

— Как миссис Гамильтон относится к парадоксам Библии? — спросил Ли.

— Да никак: она не признает, что там есть парадоксы.

— Но...

— Молчи, друг. Пойди к ней самой с этим вопросом. Вернешься постарев, но дела не прояснишь.

— Оба вы над этим думали,— сказал Адам.— Я же лишь мальчиком слушал вполуха. Значит, Каина изгнали за убийство?

— Да. За убийство.

— И Бог поставил на нем клеймо?

— Ты вникни в сказанное. Знамение, печать Каинова была на нем поставлена не для гибели его, а чтоб спасти. И проклятье — удел каждого, кто Каина убьет. Это была ему охранная печать.

— А все же, думаю я, круто поступили с Каином,— сказал Адам.

— Может, и так,— сказал Самюэл.— Но Каин не погиб, имел детей, Авель же только в сказании этом живет. Мы — Каиновы дети. И не странно ли, что трое взрослых людей через столько тысяч лет обсуждают это преступление, точно всего лишь вчера оно совершилось в Кинг-Сити и суд еще не состоялся?

Один из близнецов проснулся, зевнул, посмотрел на Ли, уснул снова.

— Помните, мистер Гамильтон, я говорил вам, что пробую перевести на английский несколько старых китайских поэтов,— сказал Ли.— Нет, не пугайтесь. Я не буду их читать. Но переводя, я обнаружил, что эта старина порою свежа и ясна, как утро нынешнего дня. И задумался — почему это так? А людям, конечно, интересно только то, что в них самих. Если повесть не о нем, то никто не станет слушать. И вот я вывел правило: повесть великая и долговечная должна быть повестью о каждом человеке, иначе век ее недолог. Далекое, чужое не интересно людям — интересно только глубоко свое, родное.

— А как приложишь это к повести о Каине и Авеле? — спросил Самюэл.

— Я брата своего не убивал... — промолвил Адам и запнулся, уносясь памятью в дальнее прошлое.

— Думаю, приложить можно,— ответил Самюэлу Ли.— Думаю, она потому известнее всех повестей на свете, что она — о каждом из людей. По-моему, это повесть-символ, повесть о человеческой душе. Мысль моя идет сейчас ошупью, так что не взыщите, если выражусь неясно. Для

ребенка ужасней всего чувство, что его не любят, страх, что он отвергнут,— это для ребенка ад. А думаю, каждый на свете в большей или меньшей степени чувствовал, что его отвергли. Отверженность влечет за собой гнев, а гнев толкает к преступлению в отместку за отверженность, преступление же рождает вину — и вот вся история человечества. Думаю, если бы устранить отверженность, человек стал бы совсем другим. Может, меньше было бы свихнувшихся. Я в душе уверен — почти не стало бы тогда на свете тюрем. В этой повести — весь корень, все начало беды. Ребенок, тянувшийся за любовью и отвергнутый, дает пинка кошке и прячет в сердце свою тайную вину; а другой крадет, чтобы деньгами добыть любовь; а третий завоевывает мир — и во всех случаях вина, и мщение, и новая вина. Человек — единственное на земле животное, отягощенное виной. И — погодите, погодите! — следовательно, эта древняя и грозная повесть важна потому, что дает разгадку души — скрытной, отвергнутой и виноватой. Мистер Траск, вот вы сказали: «Я брата своего не убивал», — и тут же что-то вспомнили. Что именно, не хочу допытываться, но так ли уж это удалено от Каина и Авеля?.. А как вам моя восточно-ломаная речь, мистер Гамильтон? Если хотите знать, я не «восточней» вас.

Самюэл облокотился на стол, ушел лицом в ладони.

— Вдуматься надо, — проговорил он. — Вдуматься хочу, черт бы тебя драл. Надо увезти это с собой, чтобы в одиночестве разобрать по косточкам и понять. Ты, может, весь мой мир порушил. А что взамен построить, я не знаю.

— А разве нельзя построить мир на воспринятой истине? — тихо сказал Ли. — Разве знание причин не позволит нам избавиться хотя бы от малой толики боли и неразумия?

— Не знаю, черт тебя дери. Ты порушил мою ладную и складную вселенную. Ты взял красивую игру-загадку и сокрушил ее разгадкой. Оставь меня в покое — дай мне вдуматься! Твоя сука-мысль родила уже щенят в моем мозгу. А занятно, как откликнется на это мой Том! Уж как он будет с этой мыслью нянчиться. Обмозговывать, повертывать и так и сяк, точно свиное ребрышко на огне. Адам, очнись. Довольно тебе бродить памятью в прошлом.

Адам вздрогнул. Глубоко вздохнул.

— А не слишком ли просто получается? — спросил он. — Я всегда опасаюсь простого.

— Да совсем оно не просто, — сказал Ли. — Сложно и темно до крайности. Но в конце там брезжит день.

— День скоро погаснет, — сказал Самюэл. — Мы уже досиделись до вечера. Я приехал пособить в выборе имен, а близнецы так еще и не названы. Просыпалось время песком между пальцев. Ли, ты со своими сложностями держись подальше от машины наших церковных установлений, а то как бы не повис китаец на гвоздях, вколоченных в руки и ноги. Церквям нашим любезны сложности, но собственной выпечки. А мне пора ехать домой.

— Назови же какие-нибудь имена, — сказал Адам с отчаянием в голосе.

— Из Библии?

— Откуда хочешь.

— Ладно. Из всех, ушедших из Египта, только двое дошли до земли обетованной. Хочешь взять их имена как символ?

— Кто они?

— Кейлеб и Джошуа¹.

— Джошуа был военачальник — генерал. Не люблю военщины.

— Кейлеб тоже начальствовал.

— Но был не генерал. Кейлеб вроде бы неплохо — Кейлеб Траск.

Один из близнецов проснулся и без промедленья заревел.

— Откликнулся на свое имя, — сказал Самюэл. — Джошуа тебе не по душе, но Кейлеб именован. Это тот, что хитер и смугл. Вот и второй проснулся. А как тебе имя Аарон? Оно мне всегда нравилось, но Аарон не достиг земли обетованной.

Второй близнец заплакал почти радостно.

— Годится, — сказал Адам.

Самюэл вдруг рассмеялся.

— За две минуты разделались, — сказал он. — А перед тем такие туры на колесах разводили. Кейлеб и Аарон, ныне вы приняты в братство людей и вправе теперь нести общелюдское проклятье.

¹ Так звучат по-английски библейские имена Халев и Иисус (Навин).

Ли поднял близнецов с земли.

— Запомнили, кто как назван? — спросил он.

— Конечно, — сказал Адам. — Вот этот — Кейлеб, а ты — Аарон.

Прижав ревуших малышей к себе — одного правой рукой, другого левой, — Ли понес их в дом сквозь сумерки.

— Еще вчера я их не различал, — сказал Адам. — Аарон и Кейлеб.

— Благодарю же Бога, что наша терпеливая мысль разродилась, — сказал Самюэл. — Лиза предпочла бы Джошуа. Ей любы рушащиеся стены Иерихона. Но и Аарон ей по сердцу, так что все, кажется, в порядке. Пойду запрягать.

Адам проводил его в конюшню.

— Я рад, что ты приехал, — сказал он. — Снял с моей души тяжесть.

Самюэл взнуздал Акафиста, воротившего морду прочь, поправил оголовье, застегнул подшеек.

— Может, надумаешь теперь обратить приречную землю в сад, — сказал он. — Я твои замыслы помню.

Адам ответил не сразу.

— Пожалуй, этот жар во мне погас, — сказал он наконец. — Охота пропала. Денег на жизнь мне хватит. Я не для себя мечтал о райском саде. Не для кого красоваться теперь саду.

Самюэл круто обернулся к нему; в глазах у Самюэла были слезы.

— Нет, не умрет твоя тоска по раю, — воскликнул он. — И не надейся. Чем ты лучше других людей? Говорю тебе, тоска эта умрет только вместе с тобою.

Постоял, тяжело дыша, потом поднялся в тележку, хлестнул лошадь и уехал, ссутулив плечи и не простясь.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

1

Гамильтоны были люди своеобразные, душа в них была тонкая, а где чересчур тонко, там, как известно, и рвется.

Из всех дочерей Уна была Самюэлу наибольшей отрадой. Еще девочкой она тянулась к знанию, как другие дети тянутся к пирожному за вечерним чаем. Она была с отцом в секретном книжном сговоре — в дом приносились книги и читались тайно, и книжные тайны познания обсуждались вдвоем.

По натуре своей Уна была неулыбчивее прочих детей Самюэла. И замуж она вышла за вечно сосредоточенного темноволосого человека, чьи пальцы были окрашены химикалиями — главным образом нитратом серебра. Он был из тех, кто живет в бедности, чтобы иметь время для изысканий. Исследования его касались фотографии. Он был убежден, что окружающий мир можно запечатлеть на бумаге — не в призрачных оттенках черно-белого, а во всех красках, воспринимаемых человеческим глазом.

Звали его Андерсон, и был он малоразговорчив. Как большинство людей техники, он относился к полету мысли с боязнью и презрением. К индуктивному скачку он был неспособен. Подобно альпинисту на предвершинном склоне, он вырубал ступеньку, подтягивался на шажок. Гамильтонов он яро презирал, ибо страшился их, почти что верующих в свою крылатость — и порою крепко расшибавшихся.

Андерсон никогда не падал, не сползал книзу, оскolzнувшись, не взлетал окрыленно. Медленно-медленно подвигался он вверх и, говорят, в конце концов достиг своего — изобрел цветную пленку. На Уне он женился, возможно, потому, что в ней было мало юмора, и это его успокаивало. А поскольку Гамильтоны его пугали и сму-

щали, он увез Уну на север — в глухие, темные места где-то на краю Орегона. И жил он там, должно быть, преубого среди своих колб и фотобумаг.

Уна присылала тусклые письма, лишенные радости, но на жизнь не жаловалась. Она здорова и надеется, что и дома все здоровы. Муж ее уже близок к своей цели.

А потом она умерла, и тело ее перевезли домой.

Я Уны не знал. Она умерла, когда я был еще малышом, и я ее не помню, но много лет спустя мне рассказал о ней Джордж Гамильтон сиплым от печали голосом, со слезами на глазах.

— Уна не была красавицей, как Моали,— говорил он.— Но таких красивых рук и ног я ни у кого не видел. Ноги стройные, легкие, как травы, и шла она как бы скользя, точно ветер по траве. Пальцы длинные, ногти узкие, миндалевидные. И кожа у нее была нежная, словно прозрачная, даже светящаяся.

Уна не любила играть и смеяться, как все остальные в нашей семье. Было в Уне что-то замкнутое. Она всегда как бы вслушивалась во что-то. Когда читала, лицо у нее было, точно она слушает музыку. А, бывало, спросишь ее о чем-нибудь известном ей — ответит не как прочие, а без острословья, без цветистости, без неопределенностей. Чувствовалась в Уне простота и чистота.

— И вот доставили ее домой,— продолжал Джордж.— Ногти ее стерты и обломаны, пальцы огрубели, в трещинах. А ноги, бедные ее ноги...— Джорджу сдавило горло, и, пересиливши себя, он с гневом продолжал: — Ноги все оббиты, оцарапаны о камни, о колючки. Давно уже Уна ходила босая. И кожа задубела, ошершавела.

— Ее смерть была, мы думаем, несчастная случайность,— сказал Джордж под конец.— Столько кругом всяких химикатов. Случайность, мы думаем.

Но Самюэл скорбно думал, что не случайность виною, а боль и отчаяние.

Смерть Уны обрушилась на Самюэла, как беззвучное землетрясение. Он не нашел в себе мужественных, ободряющих слов, лишь одиноко сидел и покачивался. Он винил себя — забросил дочь, довел до гибели.

И естество его, так жизнерадостно сражавшееся с временем, шатнулось и подалось. Моложавая кожа постарела, ясные глаза поблекли, плечищи посутулели слегка. Лиза,

та покорно и стойко принимала все трагедии; она своих надежд на мир земной не опирала. Но Самюэл отгораживался от законов жизни веселым смехом, и смерть Уны пробила брешь в ограде. Он превратился в старика.

Другие его дети преуспевали. Джордж был занят страховым бизнесом. Уилл богател. Джо уехал на восток и помогал там создавать новый вид деятельности, именуемый рекламой. На этом поприще изъяны Джо обратились в достоинства. Он обнаружил, что свои бездельные мечты и вожеления может излагать убедительными словами, а в этом-то и есть вся суть рекламы. Джо стал большим человеком на новом рекламном поприще.

Дочери повыходили замуж — все, кроме Десси, преуспевающей портнихи в Салинасе. Одному лишь Тому никак не удавалось преуспеть.

Самюэл говорил Адаму Траску, что Том стоит перед выбором: величие или заурядность. И, наблюдая за Томом, отец видел, как сын то шагнет вперед, то отступит, — чувствовал, что в нем борются тяга и страх, ибо в себе самом чувствовал то же.

Не было у Тома ни отцовской задушевной мягкости, ни его веселой красоты лица. Но, находясь рядом с Томом, вы ощущали силу и тепло и безупречную честность. А подо всем этим таилась застенчивость — робкая застенчивость. Иногда он бывал весел, как отец, но вдруг веселье лопалось, точно струна у скрипки, и Том на ваших глазах низвергался в угрюмость.

Он был темно-красен лицом — от загара и от природы, словно жила в Томе кровь викингов или, быть может, вандалов. Волосы, борода, усы были темно-рыжие, и глаза ярко синели из всей этой рыжины. Он был мощного сложения, плечист, с сильными руками и узкими бедрами. В беге, в подъеме тяжестей, в ходьбе, в езде он не уступал никому, но в нем начисто отсутствовал соревновательный задор. Уилл и Джордж были по природе своей игроки и часто старались вовлечь брата в радости и печали азарта.

— Я пробовал, — говорил Том, — и ничего, кроме скуки, не чувствовал. И, думается, потому, что, когда выигрываю, я не способен ликовать, а проиграв, не горюю. Без этого игра теряет смысл. Хлеб она дает ненадежный, как нам известно, и раз она не возносит тебя в жизнь и не

швыряет как бы в смерть, не дарит радости и горести, то, по крайней мере для меня, она... она ни то ни се — не ощущаема. Я бы играл, если бы хоть что-то ощущал — приятность или боль.

Уилл этого понять не мог. Жизнь его была сплошным состязанием, сплошной азартной деловой игрой. Любя Тома, он пытался привадить его к тому, в чем сам находил удовольствие. Вводил Тома в свой бизнес, пробовал заразить азартом купли-продажи, манил радостями, кроющимися в искусстве перехитрить соперников, раскусить, обскакать.

И всегда Том возвращался домой на ранчо, не то чтобы критикуя, осуждая брата, но озадаченно чувствуя, что где-то на полпути сбился со следа, потерял всякий интерес. Он понимал, что ему положено бы наслаждаться мужскими радостями состязания, но не мог притворяться перед собой, будто испытал наслаждение.

Самюэл как-то сказал, что Том вечно накладывает себе на тарелку слишком много — все равно, касается ли дело бобов или женщин. И Самюэл был мудр; но, думаю, он знал Тома не до конца. Возможно, перед детьми Том раскрывался чуть больше. Я расскажу о нем здесь то, что помню и знаю наверняка — и что домыслил, опираясь на память и верные сведения. Кто знает, получится ли в итоге истина?

Мы жили в Салинасе; Том, по-моему, всегда приезжал к нам ночью, и мы, просыпаясь, уже знали, что он приехал, потому что под подушкой у нас — и у меня, и у Мэри — обнаруживалась пачка жевательной резинки. А в те годы она представляла собой ценность; пять центов на дороге тогда не валялись. Он мог не приезжать месяцами, но, проснувшись, мы каждое утро совали руку под подушку — проверяли. Я и до сих пор так проверяю, хотя уже много лет не нахожу под подушкой ничего.

Моя сестра Мэри не хотела быть девочкой. Никак не могла привыкнуть к своему, как она считала, несчастью. Она была сильна и легконога, отлично играла в шарики, в лапту, и юбочки-ленточки ее стесняли. Все это было, разумеется, задолго до поры, когда к ней пришло понимание, что и у девочек есть свои преимущества.

Мы с ней знали, что у нас есть такая кнопка — скорее всего, где-то под мышкой — и если ее нажать должным образом, то можно летать над землей; и точно так же Мэри

придумала себе волшебный способ обращения в мальчика. Если уснуть, свернувшись по-волшебному в калачик, подтянув коленки в точности как надо и сплестя, скрестив как надо пальцы, то наутро проснешься мальчишкой-заводилой. Каждый вечер она искала это свое «как надо», но все не находила. Я, бывало, помогал ей сплести пальцы взакрой. Она уже отчаялась в успехе, но тут однажды утром у нас под подушками явилась жевательная резинка. Развернув по плиточке, мы усердно зажевали эту «Биманову мятную» — таких вкусных теперь уже не делают.

Натягивая свои длинные черные чулки, Мэри вдруг воскликнула с радостным облегчением:

— Ну конечно!

— Что «конечно»? — спросил я.

— Дядя Том, — ответила она и звучно зажевала-защелкала резинкой.

— Что «дядя Том»?

— Он знает, как стать мальчиком.

И правда! Странно, что мне самому не пришла в голову эта простая мысль.

Мама была в кухне — наставляла нашу новую прислугу, юную датчанку. У нас перебывало несколько таких служанок. Недавно поселившиеся в крае фермеры-датчане отдавали своих дочек служить в американские семьи, и девушки овладевали секретами английской и американской кухни и сервировки стола, выучивались застольным манерам и тонкостям светской салинасской жизни. Года через два такой службы (на двенадцати долларах в месяц) они обращались в самых желанных невест для наших парней. Приобретя американские ухватки, они вдобавок не утрачивали своей воловьей способности работать в поле. Некоторые из лучших семейств в нынешнем Салинасе числят их своими бабками.

В кухне, стало быть, обреталась льняноволосая Матильда, а над ней кудахтала наседкой наша мама. Мы ворвались туда.

— Он уже встал?

— Тс! — сказала мама. — Он приехал очень поздно. Дайте ему выспаться.

Но в задней спальне шумела в умывальнике вода — значит, он встал. Мы по-кошачьи притаились у дверей в ожидании Тома.

В первые минуты встречи с ним всегда ощущалась легкая неловкость. По-моему, Том стеснялся не меньше нас. Мне кажется, ему хотелось выбежать к нам, обхватить, подбросить в воздух; но вместо этого мы церемонничали.

— Спасибо за резинку, дядя Том.

— Рад, что она вам понравилась.

— А вечером, раз вы приехали, у нас будет «устричный» каравай?

— Если мама вам разрешит, я принесу.

Мы перешли в гостиную, сели. Из кухни донесся мамин голос:

— Дети, не мешайте дяде Тому.

— Они не мешают, Олли,— откликнулся Том.

Мы сидели треугольником в гостиной. Лицо у Тома было темно-кирпичное, глаза синие-синие. Костюм на нем был хороший, но как-то не смотрелся. А вот отцу его шла всякая одежда. Рыжие усы Тома вечно косматились, волосы топорщились, руки были жестки от работы.

Мэри проговорила:

— Дядя Том, а как сделаться мальчиком?

— Как сделаться? Но, Мэри, мальчиком просто рождаются.

— Да нет. Как мне сделаться мальчиком?

Том серьезно взгляделся в нее.

— Тебе? — переспросил он, и слова у Мэри хлынули потоком.

— Дядя Том, я не хочу быть девочкой. Хочу быть мальчиком. У девочек все куколки да поцелуйчики. Не хочу быть девочкой. Не хочу.— В глазах у Мэри вскипели сердитые слезы.

Том опустил взгляд на свои ладони, сломанным ногтем поддел ороговелую кожу мозоли. Видно, ему хотелось сказать что-то хорошее, красивое. Он искал слов, подобных отцовым — слов милых и крылатых, голубино-нежных, — и не находил.

— Мне бы не хотелось, чтобы ты стала мальчиком,— произнес он.

— Да почему?

— Ты нравишься мне девочкой.

— Да разве девочки тебе нравятся?

— Очень нравятся.

В Мэрином храме грянулся оземь кумир, разбиваясь. Мэри поморщилась. Если так, значит, Том глуп.

— Пусть нравятся,— сказала Мэри самым своим брезгливо-деловым тоном.— А все же как мне сделаться мальчиком?

У Тома слух был чуткий. Том уловил, что падает, рушится в глазах Мэри, а он хотел, чтобы она любила его и восхищалась им. Но в то же время в его душе была стальная нить правдивости, и ложь, наткнувшись на нее с налету, ссекала себе голову. Он поглядел на волосы Мэри, белые, как лен, и туго заплетенные, чтоб не мешали, а конец у косы грязноватый, потому что Мэри обтирает об нее руку, прежде чем уцелить дальний шарик. Поглядел Том в ее холодные, враждебные глаза.

— Нет, не можешь ты этого хотеть всерьез, Мэри.

— Я — хочу — всерьез.

Том ошибался — у нее это было донельзя всерьез.

— Но стать мальчиком нельзя,— сказал Том.— И когда-нибудь ты будешь рада, что ты девочка.

— Не буду я рада,— отрезала Мэри и, повернувшись ко мне, сказала с ледяным презрением:— Он попросту не знает!

Том дернул плечом неуютно, а меня пробрал озноб от этого грозного приговора. Мэри была отважна и безжалостна. Недаром она обыгрывала в шарики всю салинасскую ребятню.

— Если мама позволит, я с утра закажу каравай и вечером принесу,— смущенно проговорил Том.

— Не люблю эти караваи,— сказала Мэри и гордо ушла в нашу спальню, хлопнув дверью.

Том горько поглядел ей вслед.

— Девочка, да еще на все сто процентов,— сказал он.

Теперь, оставшись с ним вдвоем, я почувствовал, что должен загладить нанесенную ему обиду.

— А я люблю «устричные» караваи,— сказал я.

— Кто ж их не любит. И Мэри любит.

— Дядя Том, а ей и правда никак нельзя стать мальчиком?

— Никак,— ответил он печально.— А то бы я скавал ей.

— У нас на Западной стороне она лучше всех подает, когда в лапту играем.

Том вздохнул и снова опустил взгляд на свои руки,

как бы признав, что бессилен,— и мне стало жаль его, до жути жаль. Я вынул из кармана большую пробку, в которой выдолбил дупло и зарешетил вход булавками.

— Дядя Том, хочешь мою мушиную клетку?

— А тебе не жалко с ней расставаться? (О, Том был джентльмен!)

— Нисколько. Надо вот так вынуть булавку, впустить туда муху, и она сидит там и жужжит.

— С удовольствием беру. Спасибо, Джон.

Весь тот день Том возился с деревянной чурочкой, работал крохотным и острым перочинным ножом, и когда мы пришли из школы, он уже кончил вырезать человеческое лицо. Глаза, уши, губы лица двигались; к ним присоединялись рычажки-поперечины внутри полой головы. А снизу шея затыкалась. Я был в восторге. Поймай только муху,пусти ее внутрь, заткни шею — и вдруг голова оживает. Вертит глазами, шевелит губами, ушами — это муха там ползает, бьется о поперечины. Даже Мэри слегка смягчилась, однако Том так и не вернул себе ее доверия; потом она поняла, что хорошо быть девочкой, но было уже поздно. Том подарил эту голову не одному мне, а нам обоим. Она у нас хранится еще где-то и до сих пор действует.

Иногда Том брал меня на рыбную ловлю. Мы отправлялись до рассвета, ехали в пролетке напрямую к Фримонт-Пику, и, когда подъезжали к горам, звезды бледнели и гасли, и горы чернели на фоне зари. Я помню, как сидел в пролетке, прижимаясь ухом и щекой к Тому, к его куртке. И помню — обняв за плечи, он иногда похлопывал меня по руке. И вот мы останавливались под дубом, выводили коня из оглобель и, напоив у ручья, привязывали к задку пролетки.

Том, кажется мне, все молчал. Собственно, я вообще теперь не помню звука его голоса, не помню, какие слова он произносил. Вот голос и слова дедушки Самюэла помню, а от Тома осталось в памяти лишь ощущение теплоты и безмолвия. Может, он вообще на рыбалке молчал. Рыболовная снасть у Тома была чудесная, блёсны он сам делал. Но ему, пожалуй, было все равно, наловим мы форелей или нет. Ему не требовалось побеждать животных.

Ручей тек круто, и под маленькими водопадами, помню, рос папоротник, и его зеленые перья вздрагивали от ка-

пель. И помню запахи холмов — дикую азалию, и дальний-дальний душок скунса, и сладко-приторный люпин, и конский пот на упряжи. Помню в высоком небе вольный, размашистый, красивый танец сарычей; подолгу любовался ими Том, но, кажется мне, всегда молча. Помню, как Том вбивал колышки, сплескивал лесу, а я держал ее, помогая. Помню запах папоротника, устлавшего корзину, и тонкий аромат свежепойманной и мокрой радужной форели, так прелестно легшей на зеленое ложе. И помню даже, как, подойдя к пролетке, сыпал плющенный ячмень в кожаную торбу и навешивал ее на морду лошади. Но не звучат, не воскресают в моих ушах слова и голос Тома; он в моей памяти — нечто безмолвное, огромно-теплое, темное.

Том чувствовал в себе эту темноту. Отец его был светло красив, умен, мать была крошечного роста и нерушимой, как таблица умножения, уверенности в себе. У братьев и сестер была пригожесть, или природный дар, или удача. Том всех их беззаветно любил, а в себе ощущал тяжкую пригнетенность к земле. Он то карабкался на вершины экстатических восторгов, то копошился в каменистой тьме ущелий. Порывы мужества перемежались приступами робости.

Том мучился над выбором, как сказал Самюэл, решаясь и не решаясь принять величие и холод ответственности. Самюэл знал своего сына, знал, что в нем таится необузданность, и она пугала его, ибо сам он не был буен — даже когда он сбил Адама Траска наземь кулаком, в нем не было злобы. И отношение к книгам, проникавшим в дом, было у них разное: Самюэл плыл по книге легко, балансируя весело среди идей, как байдарочник скользит по белопенной быстрине. А Том погружался в книгу с головой, вгрызался в ее мысли, кротовыми ходами прорывал ее всю от корки до корки, и, даже вынырнув из ее мира, он долго потом продолжал жить в нем.

Буйство и робость... Чресла Тома требовали женщин, и в то же время он считал, что недостойн женщины. Он подолгу кис в кромешно-неприкаянном воздержании, потом, сев на поезд, ехал в Сан-Франциско и кидался там в разгул, а затем тихонько возвращался на ранчо, ощущая себя слабым, неудовлетворенным, недостойным, — и наказывал себя трудом, вспахивал, засеивал неплодородные

участки, рубил коряжистый дубняк, покуда не сводило спину ломотой и руки не обвисали тряпками.

Вероятно, на Тома падала тень Самюэла — отец застил сыну солнце. Том тайком писал стихи; в те времена разумный человек только и мог писать их тайно. Поэтов считали жалкими кастратами и на Западе их презирали. Стихотворство было признаком хилости, вырождения, упадка. Читая стихи вслух значило напрашиваться на издевки. Писать их значило записываться в отщепенцы, в подозрительные личности. Поэзия была тайным пороком, и скрывали его неспроста. Неизвестно, хороши ли были стихи Тома, потому что он показал их одному-единственному человеку, а перед смертью все сжег. Судя по пеплу, он написал их немало.

Никого так не любил Том из родни, как свою сестру Десси. Веселье было в ней ключом. В доме у Десси царил смех.

Ее швейное заведение было достопримечательностью Салинаса. Здесь был особый женский мир. Здесь теряли силу все незыблемые правила поведения; весь страх, породивший их, исчезал. Мужчинам вход был воспрещен. В этом своем прибежище женщины могли быть такими, какие они есть, — пахучими, шальными, суеверными, тщеславными, правдивыми и любопытными. У Десси сбрасывались прочь корсеты на китовом усе — священные корсеты, уродливо и туго формовавшие из женщины богиню. У Десси женщины обретали свободу — они объедались, ходили в туалет, почесывались и попукивали. И освобождение порождало смех — взрывы и раскаты хохота.

Сквозь затворенную дверь к мужчинам доносился этот хохот, и они оробело догадывались, что смеются-то над ними, и догадка была небезосновательной.

Я вижу Десси как живую — золотое пенсне чуть держится на невысоком переносье, из глаз текут развеселые слезы, и всю Десси гнут и сотрясают конвульсии хохота. Волосы выбились из высокой прически, упали на глаза, а вот и пенсне слетело с потного носа и болтается на черной ленточке...

Платье у Десси заказывалось за несколько месяцев вперед, и делалось не меньше двадцати визитов, чтобы выбрать ткань и фасон. У Десси была настоящая женская здравница, небывалая до тех пор в Салинасе. У мужчин

имелись клубы, ложи, бордели, а у женщин до Десси — ничего, кроме «Алтарной лиги» с кокетливым сюсюканьем священника.

И вдруг Десси влюбилась. Не знаю никаких подробностей — ни кто он был, ни что привело к разрыву, разность ли вероисповеданий или обнаружившаяся жена, недуг или эгоизм. Мама-то моя наверняка знала, но такие вещи наглухо упрятавались в семейный тайник. А если и другие салинасцы знали, то из городской солидарности держали язык за зубами. Знаю только, что от любви этой веяло безнадежностью, тоскливым ужасом. Она продлилась год — и вся радость иссякла в Десси, ее смех умолк.

Том раненой пумой метался по холмам. Однажды среди ночи он вдруг оседлал коня и поскакал в Салинас, не дожидаясь утреннего поезда. Самюэл кинулся следом, из Кинг-Сити дал телеграмму шерифу.

И когда утром, почернев лицом и шпоря изнуренного коня, Том въехал в Салинас, там его уже ждал шериф. Он отнял у Тома пистолет, посадил в камеру и отпаивал черным кофе и бренди, пока Самюэл не приехал за сыном.

Самюэл не стал читать Тому наставлений. Увез его домой и потом ни разу не упомянул об этом происшествии. И на ранчо опустилась тишина.

2

В ноябре 1911 года, в День благодарения¹, все семейство собралось на ранчо — все дети Самюэла, кроме Джо, который жил в Нью-Йорке, и Лиззи, вышедшей замуж и прилепившейся к новой родне, и умершей Уны. Гости навезли подарков и столько съестного, что даже жизнерадостному клану Гамильтонов было не под силу все это потребить. У всех, кроме Десси и Тома, были уже свои семьи. Детвора наполнила усадьбу шумом и гамом, какого здесь еще не слыхивали. Дом заходил ходуном — крик, писк, потасовки... Мужчины то и дело удалялись в кухню и возвращались, конфузливо утирая усы.

Круглое личико Лизы разрумнянилось все сильнее. Она распоряжалась и повелевала. Огонь в плите не уга-

¹ Праздник в память первых колонистов Новой Англии, отмечаемый в четвертый четверг ноября.

сал. Все кровати были заняты, и детей уложили спать на полу, на подушках, укрыв стегаными одеялами.

Самюэл растормошил в себе былую веселость. Его сардонический ум пламенел, речь обрела былой поющий ритм. Он неугомонно говорил, пел, вспоминал — и вдруг, еще до полуночи, утомился. Усталость овладела им, и он озадаченно лег в постель, где уже два часа спала Лиза. Озадачило Самюэла не то, что пришлось лечь, а то, что лечь захотелось.

Когда и мать и отец легли, Уилл принес виски из кухни, пошли в ход баночки из-под джема, и в кухне началось совещание клана. Матери на цыпочках сходили в спальню поглядеть, не сбросили ли одеяло дети, и тихонько возвратились. Все говорили вполголоса, чтобы не разбудить детвору и стариков. Здесь были Том и Десси, Джордж и его миловидная Мейми (урожденная Демпси), Молли и ее муж, Уильям Дж. Мартин, Оливия с Эрнестом Стейнбеком, Уилл со своей Дилой.

У всех на языке было одно и то же — у всех десяти-рых. Самюэл обратился в старика. Точно они вдруг узрели привидение — так поразило их это превращенье. Им до сих пор не верилось, что такое возможно. Они пили из баночек, тихо обсуждая свое открытие.

— Вы заметили, как он сгорбился? И походка стала тяжелая.

— Пришаркивает на ходу подошвами, но не это главное,— главное, глаза померкли. Стали стариковскими.

— Он никогда прежде не уходил до конца застолья.

— А заметили, как среди рассказа он забыл, на чем остановился?

— Я увидел его кожу и сразу понял. Морщинками пошла и как бы прозрачной стала на тыльной стороне руки.

— Правой ногой ступать стал осторожно.

— Но ему же эту ногу лошадь копытом сломала.

— Знаю, но раньше он ступал нормально.

Все это говорилось взволнованно и возмущенно. Нет, не может того быть. Не может отец состариться. Самюэл молод, как утренняя заря—как вечный, нескончаемый рассвет. И уж, во всяком случае, не старей полдня. О Боже милостивый, неужто может настать вечер, ночь?.. Нет, о Господи, нет!

Толкнувшись мыслями о смерти и, естественно, отпрянув, они умолкли, но в мозгу билось: «Без Самюэла мир существовать не может».

«Как можно подумать о чем-то — и не знать, что отец об этом думает?»

«Какая без него весна, дождь, Рождество? Без него не может быть Рождества».

Устрашенные грядущим, они стали искать, на ком выместить свою боль. И накинулись на Тома.

— Ты же был тут. Ты все время с ним.

— Как это случилось? Когда оно случилось?

— Кто его до этого довел?

— А не ты ли со своим сумасбродством?

И Том стал отвечать, ибо давно уже горевал, видя все.

— Это из-за Уны,— сказал он хрипло.— Он не снес ее смерти. Он все толковал мне, что мужчина, настоящий мужчина, не имеет права поддаваться губящему горю. Повторял и повторял мне: «Верь, время излечит рану». Так часто повторял, что я понял: не излечится отец.

— Почему же ты нам не сообщил? Мы бы, может, как-то помогли.

Том вскочил, вместе и оправдываясь, и бунтуя.

— Будь оно проклято. О чем же было сообщать? Что он умирает от горя? Что тает мозг его костей? О чем сообщать? Вас-то не было здесь. Вы-то не видели, как меркнут его глаза, а мне пришлось видеть, будь оно проклято.

И Том убежал во двор, тяжело стуча башмаками по кремнистой земле.

Им стало стыдно. Уилл Мартин сказал:

— Пойду верну его.

— Не ходи,— поспешил сказать Джордж, и братья-сестры тоже замотали головами.— Не ходи. Дай ему остыть. Мы его нутро знаем — оно же нам родное.

И вскоре Том воротился со двора.

— Я должен извиниться,— сказал он.— Прошу простить. Наверно, я немного пьян. Когда я такой, отец говорит: «Ты навеселе». Я однажды ночью вернулся на лошади,— продолжал он, не щадя себя,— пошел шатаясь через двор, упал, смял розовый куст, на четвереньках вполз по лестнице к себе и наблевал на пол у постели. Утром стал перед отцом извиняться, а он мне угадайте что? «Да ну, Том, ты был просто навеселе». Если я все же явился

домой, тогда это у него «просто навеселе». Пьяный, мол, домой не дотащится.

Джордж остановил самобичевание Тома.

— Это мы у тебя просим прощения,— сказал он.— Получилось так, будто мы виним тебя. А мы вовсе не винили. А может, и винили. Уж прости нас.

— Тут на ранчо жизнь чересчур суровая,— рассудительно сказал Уилл Мартин.— Давайте убедим отца продать землю и переехать в город. В городе он сможет жить еще долго и счастливо. Молли и я с радостью примем их к себе.

— Вряд ли он согласится,— сказал Уилл Гамильтон.— Он упрям, как мул, и горд, как породистая лошадь. Гордость его не переломишь.

— Попытаться поговорить можно,— сказал муж Оливии, Эрнест.— Мы будем рады принять его, то есть их обоих.

И опять помолчали, ибо мысль, что не будет у всех у них этого ранчо, этой сухой пустыни — изнуряюще-каменистых склонов и тощих ложбин,— мысль эта с непривычки огорошивала.

Благодаря чутью и деловому навыку Уилл Гамильтон неплохо разбирался в тех людских побуждениях, которые не слишком глубоки.

— Если мы прямо предложим ему уйти на покой,— сказал он,— то для него это прозвучит, как уйти из жизни, и он откажется.

— Ты прав, Уилл,— согласился Джордж.— Для него это будет равносильно сдаче. Трусливой сдаче. Нет, землю он не продаст, а если продаст, не проживет и недели.

— Есть другой способ,— сказал Уилл.— Пригласим приехать в гости — может, не откажется. На хозяйстве останется Том. Пора уже отцу и матери повидать свет. Вокруг столько всяких событий. Проездит, освежится, а после сможет вернуться к труду. А может, потом и сам не захочет возвращаться. Сам же он говорит, что время сильнее динамита.

— Неужели вы серьезно думаете, что он так глуп и не поймет вашу хитрость? — сказала Десси, отмахнув волосы со лба.

— Иногда человек сам желает быть глупым, если ум не дает ему поступить так, как требуется,— сказал много-

опытный Уилл.— Во всяком случае, попытаться можно. А вы все как думаете?

Сидящие за столом закивали, соглашаясь, один только Том был хмур и недвижим.

— Тебе, Том, трудно будет взять ранчо на себя? — спросил Джордж.

— Да это пустяки, — ответил Том. — Вести здешнее хозяйство нетрудно, потому что настоящего хозяйства здесь нет и не было.

— Тогда почему же ты не согласен?

— Неохота обижать отца, — сказал Том. — Он нас раскусит.

— Но какая ж тут обида — в гости пригласить?

Том потер себе уши с такой силой, что они на миг побелели.

— Вам я не запрещаю, — сказал он. — Но сам не могу.

— Можно в письме пригласить — вперемежку с шуточками, — сказал Джордж. — А надоест у одного из нас гостить, переедет к другому. Пока у всех перегостит, целые годы пройдут.

На том и порешили.

3

Том привез из Кинг-Сити, с почты, письмо от Оливии; он знал, что в этом письме, и не стал вручать его при матери, а, повременив, отнес в кузницу. Самюэл работал там у горна, руки все в саже. Он взял конверт за самый уголок, положил на наковальню, потом оттер, отмыл руки в бочонке с черной водой, куда опускал раскаленное железо. Острым подковным гвоздем вскрыл конверт и вышел на солнышко прочесть. Тем временем Том снял с тележки колеса и принялся смазывать оси колесной мазью, краешком глаза следя за отцом.

Кончив читать, Самюэл сложил письмо, сунул обратно в конверт. Посидел на скамье перед кузницей, глядя в пространство. Снова развернул письмо, перечел, сложил опять, вложил в карман синей рубахи. Встал и неспешно начал подниматься на восточный холм, ногой сшибая с дороги встречные камни.

После недавнего скудного дождя проклюнулась жидкая травка. На полпути Самюэл присел на корточки, набрал

пригоршню жесткого грунта и пальцем разровнял его на ладони — гравий, кусочки кремня, поблескивающей слюды, чахлый корешок травы, камешек с прожилками. Ссыпал на землю, вытер ладони. Сорвал травинку, закусил ее зубами, поглядел на небо. Серая растрепанная туча неслась на восток, ища, где бы пролиться дождем на дубравы.

Самюэл выпрямился во весь рост, неторопливо зашагал с холма. Заглянул под навес для плугов, похлопал рукой по квадратным стоякам. Остановясь близ Тома, крутнул колеса, легко вертящиеся после смазки, и оглядел сына, точно впервые увидел.

— А ты совсем уже взрослый, — промолвил Самюэл.

— Только сейчас заметил?

— Да вроде бы и раньше замечал, — сказал Самюэл и пошел дальше прогулочным шагом. На лице его играла насмешливая улыбка, столь знакомая домашним, и насмехался он — шутил и внутренне смеялся — над самим собой. Он прошелся мимо убогого садика-огородика, обошел кругом дома, давно уже не нового. Даже пристроенные позже спаленки уже успели посереть, постареть от ветров и солнца, и усохшая замазка отстала от оконных стекол. Прежде чем войти в дом, с крыльца он окинул взглядом всю усадьбу.

Лиза раскатывала на доске тесто для пирога. Она действовала скалкой так сноровисто, что лист теста казался живым — уплощался и слегка толстел опять, упруго подбираясь. Подняв этот бледный лист, Лиза положила его на один из противней, ножом обровняла края. В миске ждали приготовленные ягоды, утопая в алом соку.

Самюэл сел на кухонный стул, положил ногу на ногу, стал глядеть на Лизу. Глаза его улыбались.

— День в разгаре, а ты не можешь найти себе работу? — спросила она.

— Могу, матушка, могу, надо лишь захотеть.

— Так не сиди тут, не действуй мне на нервы. Если решил лодырничать, газета в той комнате.

— Прочел я уже газету.

— Всю?

— Все, что мне интересно.

— Что это с тобой, Самюэл? Ты что-то затеваешь. Я по лицу вижу. Скажи, в чем дело, и не мешай с пирогами упоряться.

Он покачал ногой, поулыбался.

— Такая крохотная женушка,— сказал он.— В кармане уместится.

— Прекрати, Самюэл. Можно иногда пошутить вечером, но пока еще до вечера далеко. Ступай отсюда.

— Лиза, ведомо ли тебе слово «отпуск»?

— Что-то ты расшутился с утра.

— Ведомо ли тебе, что значит это слово?

— Конечно. Что я — дурочка?

— Ну так скажи.

— И скажу — отдых, поездка на взморье. А теперь хватит, Самюэл. Убирайся со своими шутками.

— А любопытно, откуда ты знаешь это слово?

— Да к чему ты это? Отчего же мне его не знать?

— А был ли у тебя, Лиза, хоть один отпуск в жизни?

— Ну как же...— Она запнулась.

— За полсотни лет был ли у тебя хотя бы один отпуск, глупенькая ты моя, махонькая женушка?

— Самюэл, добром прошу: убирайся из моей кухни,— сказала Лиза тревожно.

Самюэл достал письмо из кармана, развернул.

— Это от Олли,— сказал он.— Приглашает нас в гости к себе в Салинас. Приготовила для нас верхние комнаты. Хочет, чтобы мы внучат узнали ближе. Взяла нам билеты на шатокуанские¹ проповеди. В этом сезоне Билли Сандей с дьяволом схлестнется, а Брайан будет речь держать о Золотом кресте. Я бы не прочь послушать. Не великого ума старик, но, говорят, слезу у слушающих вышибает.

Лиза потерла себе нос, выпачкав его при этом в муке.

— А дорого такой билет стоит? — спросила она опасливо.

— Дорого? Да ведь Олли за свои купила. Нам в подарок.

— Нельзя нам ехать,— сказала Лиза.— Нельзя бросать ранчо.

¹ Так называемые шатокуанские циклы образовательных лекций и концертов учреждены в 1874 г. и первоначально проводились на религиозные темы. У и л ь я м Э ш л и С а н д е й — американский проповедник (1863—1935). У и л ь я м Д ж е н н и н г с Б р а й а н — американский политический деятель, религиозный писатель (1860—1925).

— Том управится — невелико здесь зимой хозяйство.
— Тому одному будет скучно.
— Возможно, Джордж навестит его — приедет поохотиться на перепелок. Смотри, Лиза, что к письму приложено.

— Что это?

— Два билета на поезд в Салинас. Олли шлет, чтобы мы не смогли отвертеться.

— Ты можешь сдать их в кассу и отослать ей деньги.

— Нет, не могу я. Да что это ты, Лиза... Матушка, не надо... Вот... На вот платок.

— Это полотенце для посуды,— проговорила Лиза.

— Посиди, матушка. Ошарашил тебя, вижу, этим отпуском... Возьми. Не беда, что для посуды. Говорят, Билли Сандей прямо сатанеет в схватке с сатаной.

— Это богохульство,— бормотнула Лиза.

— Но я бы не прочь поглядеть. И ты ведь тоже? Что-что? Подыми-ка голову. Я не расслышал. Что ты сказала?

— Я сказала — я тоже.

Том что-то вычерчивал, когда Самюэл вошел к нему в кузницу. Том искоса глянул на отца — подействовало ли письмо Оливии?

Самюэл посмотрел на чертеж:

— Что там у тебя?

— Придумываю приспособление для ворот, чтобы можно было открывать их, не сходя с повозки. Вот это тяга для засова.

— А чем двигать будешь?

— Хочу приладить сильную пружину.

— А запирать? — допытывался Самюэл, изучая чертеж.

— Вот стержень — будет под напором скользить в обратном направлении, на пружину.

— Понятно,— сказал Самюэл.— И пожалуй, твой открыватель даже будет работать, если ворота навешены без перекосов. Но изготовление и уход за этой штукой займет больше времени, чем сходить с тележки и открывать ворота рукой.

— Но, бывает, лошадь норовистая...— запротестовал Том.

— Знаю,— сказал отец.— Однако главная причина в том, что это тебе забава.

— Попал в точку,— кивнул Том, улыбаясь.

— Том, как ты думаешь — справишься один на ранчо, если мы с матерью уедем погостить?

— Конечно,— сказал Том.— А куда хотите ехать?

— Олли приглашает в Салинас.

— Что ж, отлично,— сказал Том.— А мать не возражает?

— Нет, если не затрагивать тему расходов.

— Отлично,— сказал Том.— А долго думаете прогостить?

Самюэл молча подержал Тома под насмешливым взором своих сапфирных глаз. Наконец Том спросил:

— Что так смотришь, отец?

— Да оттеночек один я расслышал в твоём вопросе — еле-еле, но все же уловил. Том, сынок, если ты в сговоре с братьями и сестрами, то это ничего. Это неплохо.

— Не знаю, о чем ты,— сказал Том.

— Благодарю же Бога, Том, что тебя в актеры не потянуло,— пренеоганный бы из тебя вышел актер. Вы сговорились в День благодарения, должно быть, когда все съехались сюда. И у вас идет как по маслу. Чувствуется рука Уилла. Но если не желаешь, то не признавайся.

— Я был против,— сказал Том.

— Да, тобой здесь не пахнет,— сказал отец.— Ты бы правду не скрывал, а сунул бы мне под нос ее распластанную. Не говори остальным, что я вас понял.

Он пошел прочь — и вернулся, положил руку на плечо Тому.

— Спасибо, сын, что уважил меня правдой. Пусть не хитроумна правда, но зато прочна.

— Я рад, что ты едешь.

Самюэл остановился в дверях кузницы, оглядел свою скудную землю.

— Недаром говорится — чем дитя уродливей, тем оно матери дороже,— сказал он и тряхнул головой.— Уважу и я тебя правдой, Том, а ты храни ее, пожалуйста, у себя на самом дне души, братьям и сестрам ни гугу. Я сознаю, почему еду, и сознаю, Том, куда держу путь,— и согласен на это.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Почему жестокая реальность жизни и смерти ранит одних сильнее, а других легче? Смерть Уны вышибла почву из-под ног у Самюэла, пробила ограду его твердыни и впустила старость. А вот Лизу, любившую своих детей никак не меньше, чем Самюэл, это несчастье не убило, не искалечило. Жизнь Лизы продолжала идти ровно. Погоревав, она пересилила горе.

По-моему, дело в том, что Лиза принимала мир так же, как Библию,— со всеми парадоксами и превратностями. Смерть была ей немила, но Лиза знала, что смерть существует, и приход ее не потряс Лизу.

Самюэл же мог играючи размышлять и философствовать о смерти, но по-настоящему он в нее не верил. В его мире не было места смерти. Все окружающее вместе с ним было бессмертно. Так что реальная смерть грянула как кощунственное оскорбление, как отрицание бессмертия, в которое он верил всем нутром,— и от первой же этой трещины в стене обрушилась вся его крепость. По-моему, он всегда думал, что сможет переспорить смерть. Она мысллась ему как личный враг, которого он может победить.

Для Лизы смерть была просто смерть, заранее обещанная ижданная. Лиза горевала, но и горюя ставила тушить фасоль, испекла шесть пирогов и в точности рассчитала, сколько чего понадобится для достойной трапезы после похорон. И могла, горюя, присмотреть за тем, чтобы на Самюэле была свежая белая рубашка и чтобы его черный тонкого сукна костюм был чист, без пятен, и башмаки начищены. Быть может, для семейной жизни требуется именно такая разница характеров, скрепляющая брак двойной и тройной скрепой.

Принять правду жизни Самюэл, пожалуй, был способен даже глубже Лизы, но сам процесс принятия увечил ему душу. После того как решено было ехать гостить в Салинас, Лиза не спускала с него глаз. Своим заботливо-материнским чутьем она знала: Самюэл что-то задумал, хоть и не ведала, что именно. Но она была реалистка и потому радовалась случаю навестить детей, поглядеть на них и на

внучат. У Лизы не было привязанности к месту, к дому. Дом — это лишь промежуточная остановка по пути на Небеса. Труд сам по себе был ей малопривлекателен, но она трудилась, ибо иначе нельзя. И утомилась Лиза. С каждым утром ей все тяжелее становилось вставать с постели, одолевая ломоту и онемелость, хотя она их неизменно одолевала.

И Небеса вставали перед ней желанной пристанью, где одежда не грязнится, где не надо готовить еду и мыть посуду. По секрету говоря, она не все небесное одобряла без оговорок. Слишком много там пения, и непонятно, как Избранные — при всей их праведности — могут долго выдерживать райское обетованное безделье. Нет, она и на небе найдет себе работу. Там непременно сыщется чем занять руки — прохудившееся облачко заштопать, усталое крыло растереть лекарственным бальзамом. Время от времени придется, может, перевертывать у небесных хламид воротники — и, положив руку на сердце, не верится, чтобы даже и на Небесах не завелось где-нибудь в углу паутины, которую надо снять тряпкой, навернутой на швабру.

Предстоящая поездка в Салинас радовала ее настолько, что она даже пугалась: нет ли в этой радости чего-либо греховного? Не окажутся ли кощунственными шатокуанские проповеди? Но ведь ходить на них не обязательно, и она вряд ли пойдет. Самюэл раскачается на воле — за ним нужен будет глаз. «Молодо-зелено, за руку надо водить» — так думала она о нем когда-то, так думала и до сих пор. И хорошо, что ей было невдомек, какая мысль владеет душой Самюэла и — через душу — к чему приуготовляет тело.

Для Самюэла дом и место значили очень много. Со своим ранчо он сроднился и теперь, уезжая, точно нож вонзал в родное существо. Но расстаться решено — и Самюэл расставался по всей форме. Он нанес визиты всем соседям — старинным друзьям, помнившим былое, от которого мало что осталось. И когда прощался с ними, то чувствовалось — прощается он навсегда. Самюэл глядел теперь на горы и деревья и даже на лица, словно запоминая их навек.

К Адаму Траску он заехал под самый конец. Много месяцев уже он не был здесь. Адам стал немолод. Мальчишкам исполнилось одиннадцать, а Ли — ну, он-то не слиш-

ком изменился. Ли шагал рядом с тележкой Самюэла, подъезжающей к конюшне.

— Давно хотелось с вами побеседовать,— говорил Ли.— Но столько всякой работы. И стараюсь хоть раз в месяц бывать в Сан-Франциско.

— Так уж оно у нас,— вздохнул Самюэл.— Друга навестить не торопимся — никуда, мол, не уйдет. А вот когда уходит, тогда каемся-кручинимся.

— До меня дошла весть о вашей дочери. Скорблю вместе с вами.

— Я получил твое письмо, Ли. Я храню его. Ты нашел хорошие слова.

— Это китайские слова,— сказал Ли.— С годами я все больше становлюсь китайцем.

— Какая-то в твоей внешности перемена, Ли. А какая, не пойму.

— Коса исчезла, мистер Гамильтон. Я косу отрезал.

— Вон оно что.

— Все китайцы поотрезали себе косы. Вы разве не слышали? Вдовствующей императрицы уже нет. Китай свободен. Маньчжуры больше не правят нами, и мы не носим кос. Отменены указом нового правительства. В Китае не осталось ни единой косы.

— А какая разница, Ли?

— Разница небольшая. Голове легче. Но от этой легкости как-то неуютно. Трудно привыкнуть к новому удобству.

— Как поживает Адам?

— Да ничего. Но переменился мало. Разве он таким был в свои светлые времена?

— И мне эта мысль приходила на ум. Короткое цветенье было у Адама. А мальчики, должно быть, уже большие?

— Большие. Я рад, что остался при них. Я многое постиг, наблюдая, как они растут, и слегка помогая их росту.

— Китайскому их научил?

— Нет. Мистер Траск не захотел. И пожалуй он прав. Зачем зря усложнять им жизнь. Но я с мальчуганами в дружбе — да, мы друзья. Отца они чтут, а меня, думается, любят. И они очень разные. Вы не представляете, какие разные.

— В каком смысле разные, Ли?

— Вот придут из школы, и сами увидите. Они как две стороны медали. Кейл хитер, зорек, смуглолиц, а брат его — такие нравятся с первого взгляда, и чем больше их узнаешь, тем больше нравятся.

— А Кейл тебе не нравится?

— Я ловлю себя на том, что мысленно защищаю его от своих же собственных упреков. Он непрестанно борется за место под солнцем, а брату и бороться не надо.

— И в моем выводке такое наблюдается, — сказал Самюэл. — Непонятно, почему. Воспитание одно, и кровь одна, и вроде бы должны быть схожи, а на самом деле нет, все разные.

Позже Самюэл с Адамом прошли под дубами к началу подъездной аллеи, где открывался вид на долину.

— Оставайся обедать, — сказал Адам.

— Не хочу снова быть виновником убийства кур, — сказал Самюэл.

— Ли натушил говядины.

— Ну, тогда другое дело...

Адам так и остался косоплеч после той пули. Лицо жесткое и словно занавешенное, а взгляд обобщенно-беглый, не вбирающий деталей. Остановившись, оба поглядели на салинасскую долину, зеленую от ранних дождей.

— А совесть не мучает, что земля лежит втуне? — тихо проговорил Самюэл.

— Незачем мне ее возделывать, — сказал Адам. — Мы уже толковали об этом. Ты думал, я переменюсь. А я не переменился.

— Гордишься своим горем? — спросил Самюэл. — Чувствуешь себя трагическим героем?

— Не знаю.

— А ты поразмышляй над этим. Возможно, ты играешь роль на высокой сцене перед единственным зрителем — самим собою.

— Ты приехал наставлять меня? — В голосе Адама послышалась злая нотка. — Я рад тебе. Но зачем ты лезешь мне в душу?

— Хочу рассердить тебя, растормошить немного. Я ведь люблю совать нос всюду. А тут вся эта земля пропадает зря, и человек рядом со мной зря пропадает. Транжирство получается. А транжирства я себе никогда

не мог позволить, и мне неприятно глядеть. Разве это хорошо, чтобы жизнь проходила втуне?

— А что мне остается?

— Заново начни.

— Боюсь я, Самюэл,— сказал Адам, обратясь к нему лицом.— Пусть уж лучше так и будет. Видно, нет во мне энергии, или храбрости нет.

— А сыновья твои — любишь их?

— Да... Люблю.

— Одного сильней, другого меньше?

— Почему ты это спросил?

— Не знаю. Что-то уловил такое в твоем тоне.

— Пошли-ка в дом,— сказал Адам. Они повернули назад, в тень деревьев. Неожиданно Адам спросил: — До тебя не доходил слух, будто Кэти в Салинасе? Ничего такого не слышал?

— А ты?

— Слышал, но не верю. Не могу поверить.

Самюэл молча шагал по песчанистой колее дороги. А мысленно вошел в колею души Адама — вошел неохотно, устало; он думал, что у Адама уже покончено с Кэти.

— Ты никак не можешь ее позабыть,— проговорил он наконец.

— Видно, не могу. Но пулю я уже забыл. Об этом я больше не думаю.

— Я не в силах научить тебя жить,— сказал Самюэл,— хотя сейчас силюсь именно учить. Знаю, что лучше бы тебе не грезить о несбывшемся, а вырваться на вольные ветры земли. Я говорю это тебе, а сам перебираю в памяти бывшее — вот как выгребают из-под салуна мусор и перебивают в поисках золотых песчинок, просыпавшихся в щели пола. Этакое золотоискательство по мелочишке, для старичишки. А ты не старик еще, Адам, тебе рано жить воспоминаниями. Тебе надо накопить новых воспоминаний, чтобы в старости золотодобыча была обильнее.

Адам слушал потупясь, шевеля желваками на скулах.

— Так, так,— сказал Самюэл, глянув на него.— Сжимай упрямо зубы. Как мы цепляемся за свою неправоту! Хочешь, опишу тебе твои грезы, чтобы ты не думал, что первый этим мучишься. Вот лег ты, задул лампу — и она встает в дверях, очертясь среди полумрака, слегка колыхается подол ее ночной сорочки. И подходит, улыбаясь,

к твоей постели, и ты, затаив дыхание, откидываешь одеяло, чтобы принять ее, и подвигаешь на подушке голову, чтоб ее голова легла рядом. Вдыхаешь аромат ее кожи, единственный на свете...

— Перестань! — крикнул Адам. — Перестань, будь ты проклят! Не суй носа в мою жизнь! Не обнюхивай, точно койот дохлаю корову.

— Я потому это знаю, — тихо сказал Самюэл, — что и ко мне приходила вот так ночами гостя — месяц за месяцем, год за годом — и сейчас приходит. И надо бы мне запереть от нее мозг и сердце семью замками, а я не запер. И все эти годы я обманывал Лизу, давал ей неправду, подделку, а свое лучшее хранил для тех тайных грез. И, наверное, мне легче было бы, если бы и у Лизы оказался такой тайный гость. Но уж этого я никогда не узнаю. Только, думаю, она бы заперла от него свое сердце и зашвырнула ключ в тартарары.

Адам слушал, сжав пальцы в кулаки, так что костяшки побелели.

— Ты меня в сомнение вгоняешь, — произнес он яростно. — Всякий раз. Я тебя боюсь. Что же мне делать, Самюэл? Скажи ты мне! Не понимаю, как ты смог все разглядеть так ясно. Какое нужно мне лекарство?

— Лекарства я знаю, Адам, хотя сам не употребляю их. А знать я знаю. Тебе надо найти какую-нибудь новую Кэти. Чтобы новая убила прежнюю, тобой придуманную. Пусть обе решат дело смертной схваткой. А ты будь при сем и отдай душу победительнице. Но это лекарство не самое лучшее. Лучше всего бы тебе найти свежую, совсем иную красоту, чтобы напрочь вытеснила старую.

— Боюсь начинать заново, — сказал Адам.

— Это я уже от тебя слышал... А теперь упомяну о себе, грешном. Я уезжаю, Адам. Приехал проститься.

— Это как понимать?

— Дочка моя Оливия пригласила нас с Лизой к себе в Салинас погостить, и мы едем — послезавтра.

— Но вы же вернетесь.

— Погостим у нее месяц-два, — продолжал Самюэл, — а там придет письмо от Джорджа. Он, мол, разобидится, если не приедем к нему в гости в Пасо-Роблес. А там Молли пригласит в Сан-Франциско, а потом Уилл, а после, может, даже Джо позовет на Восток, если доживем до той поры.

— А разве ты не рад? Ты это заслужил. Достаточно уже потрудился на своей пыльной и тощей земле.

— Я люблю эту тощую землю,— сказал Самюэл.— Как сука любит чахлого кутенка. Люблю каждый кремешок, каждую каменную голизну, на которой ломается лемех, бесплодный грунт люблю, безводное нутро ее люблю. Где-то в этой тощей земле кроется богатство.

— Ты заработал отдых.

— Да что твердить об этом? Надо смириться, и я смирился. Ты говоришь: «заработал отдых», а для меня это значит: «жизнь кончена».

— И ты веришь, что кончена?

— Я это приемлю.

— Не принимай! — сказал Адам, волнуясь.— Если примешь, то не сможешь жить!

— Знаю,— сказал Самюэл.

— Так не принимай же!

— Почему?

— Потому что мне это больно.

— Я старик любопытный, всюду нос сую. И печаль в том, Адам, что это мое любопытство уже гаснет. Наверно, потому и чувствую, что пора навестить детей. Мне теперь часто приходится изображать любопытство, которого нет.

— По мне, уж лучше бы ты продолжал надрываться на своем пыльном ранчо.

Самюэл улыбнулся.

— Приятно мне это слышать. Спасибо. Хорошо человеку, когда его полюбят, пусть даже под самый конец.

Адам вдруг круто повернулся, остановив Самюэла.

— Я знаю, чем я тебе обязан,— сказал Адам.— И отплатить не могу ничем. Но могу попросить еще об одном. Выполнишь мою просьбу — и, может, возродишь мою жизнь.

— Выполню, если смогу.

— Вот эта земля там.— Адам взмахнул рукой на запад, описал широкую дугу.— Помоги обратить ее в сад, о котором мы с тобой толковали. Чтобы колодцы были, и ветряки, и поля люцерны. Мы бы растили цветы на семена. Это дело денежное. Представляешь — целые акры душистого горошка, золотые клинья ноготков. Акров десять, скажем, роз для садов Калифорнии. Какой аромат понесет от них западный ветер!

— Ты меня так до слез можешь довести,— сказал Самюэл,— а старику не годится плакать.— Глаза его и в самом деле увлажнились.— Спасибо, Адам. Твоя просьба мне сладка, как запах роз, несомый западным ветром.

— Так исполнишь ее?

— Нет, не исполню. Но вообразу твой райский сад, когда в Салинасе буду слушать Уильяма Дженнингса Брайдана. И, может, даже начну верить, что он осуществился на земле.

— Но я же и хочу его осуществить.

— Съезди на ранчо, поговори с Томом. Он тебе поможет. Он рад бы усадить розами весь мир, мой бедный Том.

— Но ты обдумал, Самюэл, свое решение?

— Обдумал я крепко, так что наполовину уже как бы выполнил.

— Упрямый же ты человек!

— Я спорщик,— сказал Самюэл.— Меня Лиза спорщиком зовет, а теперь я уловлен в сеть, что сплели мои дети,— и нравится мне быть уловленным.

2

На стол накрыли в доме.

— Мне бы приятней вас потчевать под деревом, как прежде,— сказал Ли.— Но на дворе холодно.

— Холодно, Ли,— отозвался Самюэл.

Тихо вошли близнецы и стеснительно остановились, глядя на гостя.

— Давно не видал вас, мальчики. А назвали мы вас хорошо. Ты — Кейлеб. Верно?

— Я — Кейл.

— Ладно, пусть Кейл.— И обратясь к другому: — А ты тоже нашел способ окургузить свое имя?

— Что, сэр?..

— Тебя звать Аарон?

— Да, сэр.

— Он произносит: Арон,— сказал Ли со смешком.— Двойное «а» кажется его друзьям вычурным.

— У меня тридцать пять бельгийских кроликов, сэр,— сказал Арон.— Хотите поглядеть, сэр? Клетка стоит у родника. Восемьро совсем маленькие — вчера только родились.

— Поглядеть я не прочь, Арон.— Губы Самюэла тронула усмешка.— А ты, Кейл, больше огородничаешь? Угадал я?

Ли живо обернулся к Самюэлу, посмотрел на него с опаской, сказал:

— Пожалуйста, не надо.

— На будущий год отец даст мне целый акр в низине,— сообщил Кейл.

— А у меня есть кролик — пятнадцать фунтов весу. Я его подарю отцу в день рождения.

В глубине дома Адам стукнул дверью, выходя из спальни.

— Не говорите ему,— сказал торопливо Арон.— Это секрет.

— Вечно вы вносите непокой в мою голову, мистер Гамильтон,— сказал Ли, раскраивая мясо ножом.— Садитесь, мальчики.

Вошел Адам, опуская засученные рукава, и занял свое место во главе стола.

— Добрый вечер, мальчики,— сказал он, и они хором ответили:

— Добрый вечер, отец.

И тут же Арон прошептал:

— Не говорите.

— Не скажу,— заверил его Самюэл.

— О чем не говорить? — спросил Адам.

— Это наш секрет с Ароном,— сказал Самюэл.— А секреты надо уважать.

— Я тоже скажу вам секрет,— вмешался Кейл.— Сразу после обеда.

— Рад буду выслушать,— сказал Самюэл.— И, кажется, заранее угадываю, в чем он.

Нож замер в руке Ли. Он поднял голову, укоризненно глянул на Самюэла. Стал раскладывать мясо по тарелкам.

Мальчики ели молча и проворно.

— Нам уже можно, отец? — спросил Арон, опустошив тарелку.

Адам кивнул, оба близнеца встали и тут же ушли.

— Они кажутся старше своих одиннадцати лет,— сказал Самюэл, глядя вслед мальчикам.— Мне помнится, в их возрасте мои чада вопили, визжали, куролесили. А эти держатся как взрослые.

— Разве? — сказал Адам.

— Мне кажется, я могу это объяснить,— сказал Ли.— В доме нет женщины, некому ценить младенчество. Мужчин, мне кажется, младенцы мало привлекают, и нашим мальчикам не было смысла сохранять в себе младенчество. Выгоды в том не было. Не знаю, хорошо это или худо.

Самюэл сказал, собрав кусочком хлеба подливку:

— Знаешь ли ты, Адам, кого ты приобрел в Ли? Мыслителя, умеющего стряпать, или же повара, умеющего мыслить? Он многому научил меня. Да и тебя, надо полагать.

— Жаль, я мало вслушивался в его речи,— сказал Адам.— Да и скуп он на поучения.

— Почему ты не захотел, Адам, чтобы мальцы учились китайскому?

Адам помолчал, подумал.

— Сейчас не время лукавить,— сказал он наконец.— Наверно, попросту из ревности не захотел. Я называл это по-другому, но, пожалуй, просто не хотел, чтобы дети так легко ушли от меня туда, где мне их не догнать.

— Резонно и очень по-человечески,— сказал Самюэл.— А то, что ты это осознал,— большой скачок вперед. Мне самому такое осознание вряд ли когда удавалось.

Вернулся Ли, принес серый эмалированный кофейник, разлил кофе по чашкам, сел за стол. Приложил ладонь к округлому боку чашки, грея руку. И произнес со смешком:

— Большой непокой внесли вы в мою голову, мистер Гамильтон, и притом возмутили безмятежность Китая.

— Чем же именно, Ли?

— Мне почти кажется, что я уже поведал вам эту историю,— сказал Ли.— Но, возможно, я только приготовил ее в уме, скомпоновал, чтобы рассказать вам. Как бы то ни было, история забавная.

— Послушаем,— сказал Самюэл и глянул на Адама.— Послушаем, Адам? Или ты хочешь унырнуть в свои грезы?

— Да, загрезился немного,— сказал Адам.— Странно, как все это взбудоражило мысли.

— И хорошо,— сказал Самюэл.— Взбудораженность мысли — быть может, лучшее состояние человека. Начинай свою историю, Ли.

Китаец тронул рукой у себя за ухом, улыбнулся.

— Никак не привыкну без этой косицы,— сказал он.—

Видно, то и дело хватался за нее и сам того не замечал. Да, так слушайте мою историю. Я уже говорил вам, мистер Гамильтон, что с годами все больше становлюсь китайцем. А вы не становитесь все больше ирландцем?

— На меня ирландское находит полосами,— сказал Самюэл.

— Помните, вы прочли нам шестнадцать стихов из четвертой главы «Бытия», и мы обсуждали их вместе?

— Как же, помню. Давненько это было.

— Почти десять лет назад,— сказал Ли.— Повесть эта врезалась мне в душу, и я стал вдумываться в нее, слово за словом. И чем больше вдумывался, тем глубже делался ее смысл. Тогда я сравнил разные переводы — они оказались довольно близки. Только на одном месте я споткнулся — там, где Иегова спрашивает Каина, почему тот огорчился. Согласно английской Библии, изданной при короле Иакове, Бог говорит: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты будешь господствовать над ним». Меня остановило «будешь господствовать», ибо это — обещание Каину, что он победит грех.

Самюэл кивнул.

— А его детям так и не удалось полностью его победить,— сказал он.

— Затем я раскрыл американскую Стандартную Библию, совсем недавно вышедшую,— продолжал Ли, отпив кофе из чашки.— И она переводит иначе: «Но ты господствуй над ним». Это ведь совсем иное дело. Тут не обещание, а приказ. И забрало меня за живое. Что ж, думаю, за слово стоит в оригинале, в подлиннике Библии, допускающее такие разные переводы?

Опершись ладонями о стол, Самюэл подался всем телом вперед; в глазах его зажегся прежний, молодой огонь.

— Ли,— промолвил он,— да неужели ты сел за древне-еврейский?

— А вот послушайте,— ответил Ли.— Это довольно длинная история. Хотите чуточку моей уцзяпи?

— Это которая приятно отдает гнилыми яблоками?

— Да. Мне с ней лучше будет рассказывать.

— А мне — слушать,— сказал Самюэл.

Ли ушел на кухню. Самюэл спросил Адама:

— Он тебе это рассказывал?

— Нет,— сказал Адам.— Не рассказывал. А может, и рассказывал, да я не слушал.

Ли вернулся со своей глиняной бутылкой и тремя фарфоровыми чашечками, просвечивающими насквозь — до того были тонки.

— Плосú пить китайски,— произнес Ли ломано, наливая в чашечки почти черный напиток.— Она полынью изрядно сдобрена. Если выпить достаточную порцию, действием не уступает абсенту.

Самюэл пригубил.

— Но почему же тебя так заинтересовало это место? — спросил он.

— Мне казалось, что человек, способный сложить ту великую повесть, в точности знал, что́ хочет сказать,— и слова его не допускают разнотолков.

— Ты говоришь «человек». Значит, не думаешь, что это книга божественная, писанная перстами Бога?

— Я думаю, что ум, создавший эту повесть, был умом божественным. У нас в Китае было несколько таких умов.

— Любопытно,— сказал Самюэл.— Значит, ты все-таки не пресвитерианин.

— Говорю же я вам, что становлюсь все больше и больше китайцем. Ну, так вот. Поехал я в Сан-Франциско, в штаб-квартиру, так сказать, нашего родового объединения. Слыхали о таких? У наших больших старинных родов есть центры, где каждый член рода может получить или оказать помощь. Род Ли очень многочислен. Он заботится о своих членах.

— Доводилось слышать,— сказал Самюэл.

— О наших тонгах¹? Головолезы-китаёзы воевать из-за лабынь?

— Вроде того.

— Это немножко другое,— сказал Ли.— Я поехал потому, что в нашем роду есть несколько почтенных, ученейших старцев-мыслителей, пытающихся добратся до самой сути. Подобный старец может много лет продумать над одной-единственной фразой мудреца, которого у вас зовут Конфуций. Я решил, что именно такие специалисты-толкователи могут мне помочь. Они славные старики. Выкурят под вечер свои две трубочки опиума для успокоения и обострения мысли — и сидят всю ночь, и разум работает чу-

¹ Тонг — тайная организация, часто преступная.

десно. Мне кажется, никакой другой народ не умеет употреблять опиум во благо.

Ли чуточку отпил и продолжал:

— Я почтительно изложил свою проблему одному из мудрых старцев — прочел ему эту повесть, сказал, что понял, чего не понял. На следующую ночь сошлись уже четверо старцев и призвали меня. Мы всю ночь прообсуждали, — сказал Ли со смехом.

— Забавно ведь. Не каждому расскажешь об этом ученом разыскании. Вообразите себе четырех таких старцев, из которых младшему уже за девяносто, — и вот они углубляются в древнееврейский. Нанимают ученого раввина. Садятся за ученье, как школьники. Упражнения, грамматика, словарь, простые предложения. Представьте себе древнееврейские речения, писанные китайской тушью — кисточкой! Вас бы затруднило то, что писать нужно справа налево, но старцев ничуть — ведь мы, китайцы, пишем сверху вниз. О, наши старцы народ дотошный! Они углубились до самых корней.

— А ты? — спросил Самюэл.

— Я продвигался рядом, любуясь красотой их гордого и чистого ума. Я начал любить свою расу, мне впервые захотелось быть китайцем. Дважды в месяц я встречался с ними, а здесь, у себя в комнате, списывал тетради письменами. Купил все древнееврейские словари, какие только есть. Но старцы неизменно меня опережали. А вскоре и раввина опередили; пришлось ему призвать на помощь коллегу. Вот бы вам, мистер Гамильтон, просидеть с нами одну из тех ночей за обсуждениями и спорами. Бесконечные вопросы, поиски ответа — о, какая красота, какая прелесть мысли!

Через два года мы почувствовали, что можем приступить к вашим шестнадцати стихам из четвертой главы «Бытия». Старцы также признали стих седьмой очень важным. «Будешь господствовать»? «Господствуй»? И вот какое золото намыли мы долгими трудами: «*Можешь господствовать*». «Ты можешь господствовать над грехом». И улыбнулись старцы, закивали головами, чувствуя, что не даром потрачены два года. И благодаря этому труду вышли они из своей китайской обособленности — и сейчас изучают древнегреческий.

— История фантастическая, — сказал Самюэл. —

Я слушал тебя пристально, однако, может, чего-то не уловил. Почему это место так важно?

Дрожащей от волнения рукой Ли вновь наполнил изящные чашечки. Выпил свою одним глотком.

— Разве не ясно? — воскликнул он. — Американская Стандартная приказывает людям господствовать над грехом, как господствуют над невежеством. Английская королевская сулит людям неприменную победу над грехом, ибо «будешь господствовать» — это ведь обещание. Но древнееврейское слово «тимшел» — «можешь господствовать» — дает человеку выбор. Быть может, это самое важное слово на свете. Оно говорит человеку, что путь открыт — решать предоставляется ему самому. Ибо если «ты можешь господствовать», то верно и обратное: «а можешь и не господствовать». Разве не понятно?

— Нет, понятно. Понимаю. Но ты ведь не веришь, что это закон, установленный Богом. Почему же считаешь, что это так важно?

— А вот слушайте! — ответил Ли. — Я давно хотел это высказать. Предвидел даже ваши вопросы и как следует подготовился. Важен всякий завет, повлиявший на мышление, на жизнь бесчисленных людей. Многие миллионы ваших верующих слышат эти слова как приказ: «Господствуй» — и делают весь свой упор на повиновение. А другие миллионы слышат: «Будешь господствовать» — как предопределение свыше. Что бы они ни сделали, все равно будет то, что предопределено заранее. Но «можешь господствовать»! — ведь это облакает человека величием, ставит его вровень с богами, и в слабости своей, в грязи и в скверне братоубийства он все же сохраняет великую возможность выбора. — Голос Ли зазвучал торжествующей песнью. — Он может выбрать путь, пробиться и победить.

— Ты веришь в это, Ли? — спросил Адам.

— Да, верю. Верю. Ведь так легко — по своей лености и слабости отдаться на милость божества, твердя: «Я ничего не мог сделать: так было предопределено». Но подумайте, сколь возвеличивает нас выбор! Он делает людей людьми. У кошки нет выбора, пчеле предписано производить мед. У них нет богоравности... И знаете, эти почтенные старцы, прежде тихо подвигавшиеся к смерти, теперь не хотят умирать — им стало интересно жить.

— То есть эти старые китайцы поверили в Ветхий Завет? — спросил Адам.

— Эти старцы способны распознать повесть, в которой содержится истина, и они верят такой повести. Они знатоки правды. Они знают, что в этих шестнадцати стихах заключена человеческая история всех времен, культур и рас. И они не верят, что человек, написавший истину в шестнадцати без малого стихах, в последней этой малости, в одном глаголе, мог солгать. Конфуций учит людей жить успешно и хорошо. Но эта повесть — лестница, возводящая нас к звездам. — Глаза у Ли блеснули. — Это остается с тобой навсегда. Оно отсекает корни у слабости, трусливости и лени.

— Не понимаю, как ты смог во все это вникнуть, стряпая, растя мальчиков и заботясь обо мне, — сказал Адам.

— Я и сам не понимаю, — сказал Ли. — Но выкурю под вечер две трубочки по примеру старцев — только две — и чувствую себя человеком. И чувствую, что человек — это что-то очень значительное, быть может, даже более значительное, чем звезда. Это у меня не теология. Во мне нет тяги к богам. Но я воспылал любовью к блистающему чуду — человеческой душе. Она прекрасна, единственна во Вселенной. Она вечноранима, но неистребима, ибо «ты можешь господствовать».

3

Провожая гостя, Ли и Адам шли с Самюэлом к конюшне. Ли нес жестяной фонарь и освещал дорогу — была одна из тех ясных зимних ночей, когда в небе роятся звезды, а земля от этих звезд кажется еще темней. На холмах лежала тишь. Нигде ни шевеленья, не слышать ни хищников, ни травоядных, и в полном безветрии темные сучья и листья виргинских дубов недвижно очерчены на фоне Млечного Пути. Все трое шли молча. Фонарь покачивался, поскрипывал дужкой.

— Когда думаешь вернуться из поездки? — спросил Адам.

Самюэл не ответил.

Акафист понуро дожидался в стойле, опустив голову, уставя мутно-млечный взгляд в солому под копытами.

— У тебя этот коняга с незапамятных пор, — сказал Адам.

— Ему тридцать три года,— сказал Самюэл.— Зубы съедены. Приходится кормить его с рук теплой мешанкой. И кошмары ему снятся. Вздрагивает, всхлипывает иногда во сне.

— В жизни не видал клячи уродливей,— сказал Адам.

— Это так. Потому я, должно быть, и купил его жеребчиком. Два доллара отдал за него тридцать три года назад. Все у него не так — копыта оладьями, бабки такие толстые, короткие, прямые, будто и сустава вовсе нет. Голова скуластейшая, спина седловатая. Грудь щуплая, круп широченный. Донельзя тугоузд и по сей день отбрыкивается от подхвостника. А под седлом у него такой ход, точно едешь на санях по крупной гальке. Рысать не может, в шаг спотыклив. За все тридцать три года я в нем не нашел ни единого достоинства. И даже характер паршивый. Вредный, вздорный, нечестный, непослушный. До сих пор остерегаюсь идти позади него — непременно лягнет. Кормлю его — норовит укусить руку. И однако я люблю его.

— И назвали Акафистом,— сказал Ли.

— Именно так,— сказал Самюэл.— Я подумал: создание, настолько обделенное во всем, должно хоть имя носить благозвучное. Недолго уж ему его носить...

— Может, стоило бы избавить его от мучений? — сказал Адам.

— От каких таких мучений? — спросил Самюэл.— Он один из немногих счастливых и цельных существ, кого я встретил в жизни.

— Ему, должно быть, тошно от ломотья и колотья, от всяких болей.

— Ну нет, Акафисту не тошно. Он себя и по сей день считает конем первый сорт. А ты бы пристрелил его, Адам?

— Да, пожалуй. Пристрелил бы.

— Взял бы на душу ответственность?

— Думаю, взял бы. Ему тридцать три года. Лошадиный век давно прожит.

Ли поставил фонарь на землю. Самюэл присел рядом на корточки и бессознательно протянул руки к теплу, к желтой бабочке фонарного огня.

— Встревожил ты меня, Адам,— сказал он.

— Чем?

— Ты и вправду пристрелил бы моего коня, потому что считаешь, что смерть может быть приятнее жизни?

— Ну, я в том смысле...

— Тебе-то самому жизнь приятна? — в упор спросил Самюэл.

— Конечно, нет.

— А если бы у меня было лекарство, что тебя либо вылечит, либо убьет, должен был бы я дать его тебе? Всмотрись в свою душу, человеке.

— Какое лекарство?

— Нет уж, — сказал Самюэл. — Раз говорю, значит верь, что оно и убить может.

— Осторожно, мистер Гамильтон, — сказал Ли. — Осторожно.

— Вы о чем? — произнес Адам. — Что у вас на уме? Говорите.

— А что, если разок не осторожничать? — тихо сказал Самюэл. — Если я не прав — слышишь, Ли? — если делаю ошибку, то готов за нее ответить, беру всю вину на себя.

— Но вы уверены, что правы? — спросил Ли неуспокоенно.

— Конечно, нет. Адам, дать тебе мое лекарство?

— Дай. Не знаю, что это за лекарство, но все равно дай.

— Адам, Кэти в Салинасе. Она владелица борделя, самого развратного и грязного во всем крае. В продаже там зло, извращение, склизкая мерзость — худшее, что могут придумать люди. Туда идут насладиться уроды телесные и духовные. Но хуже всего вот что. Кэти — сейчас она зовется Кейт — растлевают молодежь, навек калечит душу свежим, красивым юнцам... Вот тебе лекарство. Посмотрим, как оно подействует.

— Ты лжешь, — сказал Адам.

— Нет, Адам. Изъянов у меня куча, но я не лжец.

Адам рывком повернулся к Ли.

— Это правда?

— У меня нет противоядия, — сказал Ли. — Да. Это правда.

Адам стоял, пошатываясь, в свете фонаря; потом крутнулся, бросился куда-то прочь. Слышен был его тяжкий бег. Спотыкается, упал, ломая ветви кустов; продира-

ется дальше по склону. Вот уж он наверху, за гребнем холма — и только тогда шум утих.

— Ваше лекарство действует, как яд,— сказал Ли.

— Ответственность на мне,— сказал Самюэл.— Я давным-давно усвоил одну истину. Если твоего пса отравили стрихнином и он лежит подыхает, возьми топор и неси пса к чурбаку, на котором рубишь дрова. Дождись нового приступа судорог и тут-то отруби псу хвост. И, если стрихнин не слишком успел внедриться в кровь, пес может выздороветь. Потрясением боли возможно перебороть яд. А без этого подохнет непременно.

— Но откуда вы знаете, что это сходный случай?

— А я и не знаю. Но без этого он бы непременно умер.

— Вы смелый человек,— сказал Ли.

— Нет, я старый человек. И если вина ляжет мне камнем на сердце, то уж ненадолго.

— Как вы думаете, что он теперь сделает? — спросил Ли.

— Не знаю,— сказал Самюэл.— Но по крайней мере перестанет хохлиться, сидеть сычом. Посвети мне, пожалуйста.

При желтом свете фонаря Самюэл взнуздал Акафиста, вложил удила, чуть не напрочь стертые лошадиными зубами. Мартингалом¹ Самюэл давно уже не пользовался, и старый коняга волен был ронять понуро голову в оглоблях или, остановясь, щипать придорожную траву. Самюэлу это не мешало. Он ласково надел коню подхвостник, и Кафи, избочась, попытался лягнуть хозяина.

Когда тот кончил запрягать, Ли сказал:

— Не возражаете, если я сяду рядом, немного провожу вас? Назад вернусь пешком.

— Садись,— сказал Самюэл, как бы не замечая, что Ли поддерживает его под локоть, помогает подняться в тележку.

Ночь была темным-темна, и Кафи выражал свое недовольствие ночной ездой — то и дело спотыкался.

— Давай же, Ли. Говори, что хотел сказать,— произнес Самюэл.

Ли не удивился его догадливости.

¹ Мартингал — ремень для удержания головы лошади в нужном положении.

— Я, наверно, тоже люблю всюду совать нос,— сказал он.— И вот сейчас недоумеваю. Я вроде бы могу оценивать вероятность людских поступков, но вы меня просто ошарашили. Я бы поспорил на что угодно, что уж вы-то Адаму не скажете.

— А ты знал о ней?

— Разумеется,— сказал Ли.

— А мальчикам известно?

— Не думаю. Но рано или поздно все равно узнают. Сами знаете, как жестоки дети. Рано или поздно им крикнут на школьном дворе, кто такая их мать.

— Ему, пожалуй, следует увезти их отсюда,— сказал Самюэл.— Ты обмозгуй это, Ли.

— Вы не ответили на мой вопрос, мистер Гамильтон. Как вы решились ему сказать?

— А я, по-твоему, так уж был не прав, что сказал?

— Нет, я этого совсем не думаю. Но мне всегда казалось, что вам не свойственна твердая, упрямая решительность. Так я оценивал вас. Вам, может, неинтересно меня слушать?

— Укажи мне человека, которому неинтересно слушать, как его оценивают. Продолжай.

— Вы человек добрый, мистер Гамильтон. И мне всегда казалось, что эта доброта исходит из нелюбви к тревогам. Притом ваш разум легконог, словно ягненок, резвящийся на ромашковом лугу. Вам, насколько я знаю, не присуща бульдожья хватка. А сейчас этот ваш внезапный поступок разрушил все мое представление о вас.

Кафи неспешно вез тележку, спотыкаясь в колеях. Намотав вожжи на кнутовище, воткнутое сбоку, Самюэл погладил бороду, бело мерцающую в звездном свете. Снял свою черную шляпу, положил себе на колени.

— Этот поступок меня самого удивил не меньше, чем тебя,— сказал он.— Но если хочешь знать его причину, обрати взор на себя.

— Не понял.

— Если бы ты рассказал мне о своих разысканиях раньше, то, возможно, многое бы у меня пошло иначе.

— Все еще не понял.

— Берегись, Ли, не буди во мне говорливого ирландца. Я тебе сказал, ирландское на меня находит полосами. И вот сейчас я чувствую — находит.

— Мистер Гамильтон, вы уезжаете и уже не вернетесь,— сказал Ли.— Вы на долгую жизнь не настроены.

— Это верно, Ли. Но как ты догадался?

— Вокруг вас присутствие смерти. Она на вас словно сиянье.

— Не думал я, что кто-нибудь это увидит,— сказал Самюэл.— Знаешь, Ли, мне моя жизнь кажется музыкой — не всегда хорошей, но все-таки имеющей строй и мелодию. И уже давно ее играл неполный оркестр. И звучала только одна нота — неизбывная нота печали. Я не один такой, Ли. Думается мне, слишком многие из нас заканчивают жизнь на грустной ноте поражения.

— Может быть, сейчас у людей чрезмерный достаток,— сказал Ли.— Я заметил, богатые особенно страдают неудовлетворенностью. Одень человека, насыть, дай ему хороший дом — и он умрет с тоски.

— И все изменили твои два заново переведенных слова: «Можешь господствовать». Они взяли меня за горло и потрянули. И когда голова перестала кружиться, открылся путь — новый и светлый. И моя жизнь, которая кончается, идет теперь к чудесному окончанию. У моей жизни теперь новая, прощальная мелодия, как птичья песня в ночи.

— Вот так же подействовало это на моих старых родичей,— сказал Ли, вглядываясь в Самюэла сквозь мрак.

— «Ты можешь господствовать над грехом». Да, в этом суть. Не верю я, что все люди кончают поражением. Могу назвать тебе с десятков победивших — и как раз ими-то и жив мир. В битвах духа, как во всяких войнах, только победителей увековечивает память. Конечно, большинство бойцов гибнут побежденными, но есть и другие, что, подобно столпу огненному, ведут испуганных людей сквозь темноту. «Ты можешь, ты можешь!» Какое торжество! Верно, что мы слабы, недужны, сварливы, но если бы этим все в нас исчерпывалось, то мы исчезли бы с лица земли много тысяч лет назад. Только и осталось бы от человечества, что несколько кусков окаменелой челюсти с обломанными зубами в пластах известняка. Но все меняет возможность выбора — возможность победы! Прежде я этого не признавал и не принимал. Понимаешь теперь, Ли, почему я сказал Адаму? Я воспользовался возможностью выбора. Может, я ошибся, но, сказав Адаму,

я и его заставил либо жить по-настоящему, либо очистить место. Как звучит это слово, Ли?

— Тимшел,— ответил Ли.— А сейчас я сойду.

— Далеко тебе будет идти.

Тележка остановилась, Ли сошел.

— Самюэл! — произнес он.

— Вот я,— отозвался со смехом старик.— Лиза сердится, когда я откликаюсь, как библейский Самуил.

— Самюэл, ты превзошел меня мыслью и делом.

— Уходящему так и положено, Ли.

— Прощай, Самюэл.— И с этими словами Ли торопливо зашагал обратно к дому. Услышал скрежет железных шин по камням, обернулся, глядя вслед тележке, въезжающей по склону,— и на звездном фоне неба увидел старого Самюэла в белом ореоле седин.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

1

На этот раз зима в долине была потопно-влажная, чудссная. Дождь падал мягко, впитываясь в почву, а не вымывал ее бурными ручьями. Травостой был высок в январе, а в феврале холмы буйно зазеленели, и шерсть на скотине густела и лоснилась. Мягкие дожди продолжались и в марте, и каждый проливень учтиво дожидался, пока предыдущий не впитается полностью в землю. Потом на долину хлынула теплынь, и земля вся запестрела желтыми, синими, червонными цветами.

Том жил на ранчо один; и даже это тощеземье похорошело, посочнело, камни спрятались под травами, и гамилтоновы коровы утучнились, а волглая шерсть у овец была густой и длинной.

Пятнадцатого марта, в полдень, Том сидел на скамье у кузницы. Солнечное утро кончилось, и с океана, из-за гор, плыли серые дождевые тучи, а внизу по пестрой земле скользили их тени.

Том услышал конский топот, увидел, что к дому скачет какой-то мальчонка, взмахивая локтями и колотя пятками усталую лошадь. Том встал, пошел к дороге. Мальчик подскакал к дому, сдернул шляпу с головы, достал

и кинул наземь желтый конверт, круто повернул лошадь и снова понудил ее пятками к галопу.

Том крикнул было ему вслед, потом неохотно нагнулся, поднял телеграмму. Посидел у кузницы на скамейке, держа конверт в руках. Поглядел на холмы, на старый дом, точно желая хоть что-то спасти, прежде чем надорвет, вскроет конверт и прочтет четыре неотвратимых слова, уведомляющих, с кем, когда и что произошло.

Медленно сложил Том телеграмму, потом еще раз, и еще, пока она не обратилась в квадратик размером с ноготь. Пошел к дому; через кухню и маленькую гостиную прошел к себе в спальню. Вынул из шкафа свой темный костюм, перекинул через спинку стула, а на сиденье положил белую рубашку и черный галстук. Потом лег на кровать и повернулся лицом к стене.

2

Пролетки и коляски уже покинули салинасское кладбище. Семейство и друзья вернулись в дом Оливии на Центральном проспекте — поесть, попить кофе, поглядеть, кто как печалится, и самому достойно погрустить и посочувствовать.

Джордж предложил Адаму Траску место в наемной пролетке, но Адам отказался. Он побродил по кладбищу, присел на низкую цементную ограду семейного участка Уильямсов. Кладбище траурно окружали традиционные темные кипарисы, дорожки густо заросли белыми фиалками. Кто-то занес их сюда, и они засорили все кладбище.

Над могильными камнями дул холодный ветер и плакал в кипарисах. Много здесь было чугунных надгробных звезд на могилах воинов республики, и на каждой звезде — обтрепанный ветром флажок с прошлогоднего Дня памяти погибших.

Адам сидел, глядя на горы, на восточный хребет, увенчанный Фримонт-Пиком. Воздух был пронизан влагой, как бывает иногда перед дождем. А потом по ветру начал сытаться дождик, хотя небо местами еще голубело.

Адам приехал утренним поездом. Что-то пересилило в нем неохоту и толкнуло сюда. А он не хотел ехать в Салинас. Просто потому, что не мог поверить в смерть Самюэла. В ушах еще звучал густой, задушевный голос, не поздешнему певучий, льющийся необычной музыкой странно

подобранных слов, так что никогда не знаешь, какое будет следующее. А слушая других, обычно знаешь без промаха, какое слово будет дальше.

Глянув на Самюэла в гробу, Адам понял, что не может примириться с его смертью. Лицо в гробу было чужое, и Адам ушел, уединился, чтобы сохранить в себе живого Самюэла.

На кладбище идти пришлось. Не пойти значило бы оскорбить обычай. Но Адам стоял далеко позади, куда слова не долетали, и когда сыновья засыпали могилу, он ушел и стал бродить по дорожкам, поросшим фиалками.

Кладбище было пустынно, ветер угрюмо гнул кипарисы, шумя в тяжких кронах. Капли дождя стали крупней и стегали лицо.

Адам встал, поежился, медленно прошел дорожками к могиле. Свежий сырой холмик был ровно устлан цветами, но ветер уже растрепал букеты и те, которые поменьше, сбросил вниз. Адам поднял их, положил на могилу, на место.

И пошел прочь с кладбища. Ветер бил дождем в спину, и черный пиджак промок, но Адам продолжал идти. Дорогу развезло, в колеях стояли лужицы, по обочинам рос высокий овсюг и горчица, бойко топорщилась сурепка, цепкие головки пурпурного чертополоха торчали над влажновесенным зеленым травяным буйством.

Черная глина покрыла ботинки Адаму, заляпала брюки. От кладбища до Монтерейской улицы почти миля, и когда, дойдя туда, Адам повернул на восток, в город, то был весь мокр и грязен. В загнутых полях котелка кольцом стояла вода, воротничок рубашки намок и смялся, как тряпка.

У въезда в Салинас дорога повернула, обратясь в Главную улицу. Адам ступил на тротуар, потопал ботинками, сбивая грязь. Дома отгородили его от ветра, и почти сразу же Адама стал бить озноб. Он ускорил шаг. Не доходя до конца Главной улицы, завернул в бар гостиницы Эббота. Спросил там коньяку, торопливо выпил, и дрожь усилилась.

Заметив это, человек за стойкой — мистер Лапьер — сказал:

— Выпейте-ка еще. Иначе сляжете. Горячего рому хотите? Он вышибет из вас простуду.

— Хочу,— сказал Адам.

— Сейчас сделаю. А пока за кипятком схожу, вот еще рюмка коньяку.

Адам взял рюмку, сел за столик, ежась в мокрой одежде. Бармен вернулся из кухни с кипящим чайником. Поставил на поднос широкий низкий стакан с ромом, принес Адаму.

— Пейте как можно горячей,— сказал он.— От этого рома осина трястись перестанет.

Бармен пододвинул стул, присел, но тут же встал.

— Гляжу на вас, и самому зябко стало. Налью себе тоже.

Принес еще стакан, сел напротив Адама.

— Действует,— сказал он.— А когда вошли, даже напугали — такой были бледный. Вы не местный?

— Я из окрестностей Кинг-Сити,— сказал Адам.

— На похороны прибыли?

— Да. Он был мой старый друг.

— Народу много?

— Много.

— И неудивительно. У него было множество друзей. Жаль, что погода подвела. А вам надо повторить — и в постель.

— Повторю,— сказал Адам.— От грога уютно делается, мирно на душе.

— Этим он и ценен. И, может, спас вас от воспаления легких.

Подав новую порцию грога, бармен ушел за стойку и вернулся с мокрой тряпкой.

— Вот, оботрите грязь,— сказал он.— Похороны — штука нерадостная. А когда еще и дождь на тебя льет, то хоть самому помирай.

— Дождь уже после полил,— сказал Адам.— Я промок, идя с кладбища.

— Советую взять у нас наверху комнатку. Лягте в постель, я вам пришлю еще стакан горячего, и утром встанете как ни в чем не бывало.

— Пожалуй, так и сделаю,— сказал Адам. Он чувствовал, как кровь разгоряченно щиплет щеки, растекается по плечам и рукам, точно их заполнила инородная жаркая жидкость. И жар этот проник в потайной ледничек Адама, в хранилище запретных мыслей, и размороженные

мысли робко выглянули, словно дети, не знающие, позволяют ли им войти. Адам взял тряпку, нагнулся, очищая штанины от грязи. Кровь застучала в висках.

— Налейте еще,— сказал он.

— Если как лекарство от простуды, то уже приняли достаточно,— сказал бармен.— Но если просто желаете выпить, то у меня есть старый ямайский. Выпейте неразбавленным. Он пятидесятилетней давности. Вода убьет аромат.

— Я просто хочу выпить,— сказал Адам.

— Тогда и я с вами глотну. Уже много месяцев не трогал этой бутылки. До рома у нас охотников мало. В Салинасе пьют виски.

Адам обтер ботинки, бросил тряпку на пол. Выпил темного ямайского, закашлялся. Крепчайшее питье шибануло в переносицу, окутало мозг сладким духом. Комната качнулась набок, выпрямилась.

— Хорошо, правда? — спросил бармен.— Но способен свалить с ног. Я бы на этом кончил, но, может, вы не прочь, чтобы вас свалило. Некоторые для того и пьют.

Адам лег локтями на столик. Ему донельзя, до испуга захотелось говорить, говорить. И он заговорил — каким-то не своим голосом, а слова изумили его самого.

— Я тут редко бываю,— сказал он.— Вы знаете, где заведение Кейт?

— Господи Иисусе! Этот ямайский даже крепче, чем я думал,— сказал бармен и продолжал сурово: — Вы на ранчо живете?

— Да. Недалеко от Кинг-Сити. Моя фамилия — Траск.

— Очень приятно. Женаты?

— Нет. Уже нет.

— Овдовели?

— Да.

— Сходите к Дженни. А к Кейт вам не надо. У Кейт нехорошо. Дженни там совсем рядом. Сходите к ней и получите все, что вам требуется.

— Совсем рядом?

— Да. Пройдете полтора квартала на восток, повернете направо. Любой вам скажет, где салинасский Ряд.

— А чем у Кейт нехорошо? — спросил Адам, тяжело ворочая языком.

— Вы идите к Дженни,— сказал бармен.

Вечер был слякотный. На Кастровилльской улице стояла глубокая липкая грязь; обитателям Китайского квартала пришлось положить через улочку доски — от хибары к хибаре. Тучи на вечернем небе были серые, крысиного оттенка, а воздух был не то что влажный — промозглый. По-моему, разница в том, что влага приходит сверху, а промозглость — снизу, порожденная гниlostным брожением. Ветер уже ослабел, налетал сырыми и холодными порывами. Холод этот вытрезвил Адама, но приданная ромом храбрость не испарилась. Адам быстро шагал по немощеному тротуару, глядя под ноги — обходя лужи. Там, где улицу пересекала линия железной дороги, горел предупредительный фонарь, и Ряд был тускло освещен им да еще слабенькой, с угольной нитью, лампочкой на крыльце у Дженни.

Адам уточнил адрес по дороге. Отсчитал от лампочки два дома и еле разглядел третий, спрятавшийся за высокими, нестриженными темными кустами. Поглядел на темный вход, не торопясь открыл калитку. По заросшей дорожке пошел к маячившему в полумраке, покосившемуся ветхому крыльцу, шатким ступенькам.

С дощатых стен давно облупилась краска, палисадник одичал, зарос. Если бы не полосы света по краям спущенных штор, он прошел бы мимо, сочтя дом нежилым. Ступеньки, кажется, вот-вот рухнут под тяжестью шага, доски крыльца визгливо скрипят.

Дверь отворилась, в проеме — темная фигура, держится за ручку. Негромкий, низкий женский голос произнес: — Входите, пожалуйста.

Гостиная слабо освещена лампочками в розовых абажурах. Под ногами — толстый ковер. Блестит лаком мебель, блестят золотом рамы картин. Богато, упорядоченно — это сразу чувствуется.

— Зря не надели плаща, — сказал низкий голос. — Вы наш клиент?

— Нет, — ответил Адам.

— Кто дал вам адрес?

— В гостинице дали.

Адам взглянул в стоящую перед ним девушку. Одета в черное, без украшений. Лицо красивенькое, остренькое.

Какого зверька она ему напоминает? Ночного, скрытного, хищного.

— Если желаете, я стану ближе к свету,— сказала девушка.

— Не надо.

Девушка издала смешок.

— Садитесь — вот здесь. Вы ведь для чего-то к нам пришли, верно? Скажите мне, что вам угодно, и я позову нужную девушку.

В хриловатом голосе уверенность и властность. И слова выбирает четкие, точно рвет не спеша цветы из разносортной смеси цветника.

Адам почувствовал стеснение.

— Мне нужно видеть Кейт,— сказал он.

— Мисс Кейт сейчас занята. Она вас ждет?

— Нет.

— Я могу обслужить вас и без нее.

— Мне нужно видеть Кейт.

— Вы можете мне сказать, зачем?

— Нет.

— К ней нельзя,— скрежетнул голос, как нож на точильном кругу.— Она занята. Если не желаете девушку или что-нибудь иное, то прошу вас уйти.

— А вы можете сказать ей, что я здесь?

— Она вас знает?

— Не уверен.— Он почувствовал, как никнет в нем храбрость. Словно возвращается озноб.— Не знаю. Но можете ей передать, что ее хочет видеть Адам Траск? Она сама решит, знает меня или нет.

— Понятно. Хорошо, я ей скажу.

Бесшумно подошла к двери справа, открыла. Проговорила несколько невнятных слов, и в дверь заглянул мужчина. Девушка оставила дверь открытой — дала понять Адаму, что он под наблюдением. Сбоку висели темные портьеры, скрывая еще одну дверь. Девушка раздвинула их тяжелые складки, скрылась. Адам сел поглубже. Краем глаза отметил, что мужчина снова мельком заглянул в гостиную.

Бывшую комнату Фей стало не узнать. Она сочетает комфорт с деловитостью; теперь это комната Кейт. Стены одеты шафранным шелком, гардины желтовато-зеленые. Вся комната в шелку — глубокие кресла обтянуты шелком,

у ламп шелковые абажуры, в дальнем конце комнаты широкая кровать мерцает атласным белым покрывалом, а на нем горой гигантские подушки. На стенах ни картин, ни фотографий — ничего, что говорило бы о характере и вкусах хозяйки. На туалетном черного дерева столике у кровати — голо, ни флакончика, ни склянки, и черный лоск столешницы отражается в трельяже. Ковер старинный, китайский — желтовато-зеленый дракон на шафранном поле; в этом ковре утопает нога. Глубина комнаты — спальня; середина — гостиная; ближний конец — кабинет со светлодубовыми шкафчиками, большим черным сейфом с золотыми буквами на дверце, и тут же стол-бюро с выдвижной крышкой, с двойной зеленой лампой, за ним вращающийся стул, а сбоку — стул обычный.

Кейт сидит за столом. Она все еще красива. Волосы снова светлые. Маленький рот очерчен твердо, уголки губ загнуты кверху, как всегда. Но линии тела потеряли четкость. Плечи стали пухловаты, а кисти рук — сухи и сверху морщинисты. Щеки округлились, кожа под подбородком дряблая. Грудь и сейчас плоская, но появился животик. Бедра по-прежнему узки, но голени потолстели, стопы набухловато выпирают из туфель-лодочек. Сквозь чулки слегка просвечивает эластичный бинт, которым стянуты расширенные вены.

Но Кейт все еще красива и следит за собой. По-настоящему постарели лишь руки — сухо блестит натянувшаяся кожа ладоней и кончики пальцев, а тыльная сторона рук в морщинках, в коричневых пятнышках. Одета Кейт в черное платье с длинными рукавами, и его строгость смягчена лишь пышным белым кружевом манжет и у горла.

Работа лет почти не заметна. По крайней мере для тех, кто видит Кейт каждодневно. Щеки чисты от морщин, глаза острые, пусты, носик точеный, губы тонкие и твердые. Шрам на лбу почти не виден. Запудрен под цвет кожи.

Кейт разглядывает снимки, во множестве разложенные перед ней; все они одного размера, все сняты одной фотокамерой и подсвечены магнием. И хотя персонажи различные, но есть в их позах унылая схожесть. А лица женщин на всех снимках спрятаны, повернуты прочь от камеры.

Рассортировав их на четыре стопки, Кейт вложила каждую в плотный, толстый конверт. Раздался стук девушки в дверь; Кейт спрятала конверты в ящик бюро.

— Войдите. А, Ева. Входи. Он уже пришел?

Прежде чем ответить, девушка приблизилась к столу. На свету стало видно, что лицо ее напряжено, в глазах блеск.

— Это новенький, чужой. Говорит, что хочет видеть вас.

— Мало ли что он хочет. Ты же знаешь, кого я жду.

— Я так и сказала, что к вам нельзя. А он говорит, что вы с ним, возможно, знакомы.

— Кто же он такой, Ева?

— Большой, долговязый, слегка пьян. Говорит, звать его Адам Траск.

Кейт не встрепенулась, не издала ни звука, но Ева поняла, что впечатление произведено. Пальцы правой руки Кейт медленно собрались в кулак, а левая рука сухощавой кошкой поползла к краю стола. Дыхание у Кейт словно бы сперло. А Ева нервно ждала, думая о своем — о том, что в спальне у нее, в ящике комода, лежит пустой шприц.

Наконец Кейт произнесла:

— Сядь вон в то кресло, Ева. Посиди минуту тихо.

Девушка не двинулась с места.

— Сядь! — точно кнутом хлестнула ее Кейт.

Ева испуганно пошла, села.

— Оставь свои ногти в покое, — сказала Кейт.

Ева послушно положила руки на подлокотники.

Кейт задумалась, глядя перед собой — на зеленое стекло ламповых колпаков. Потом шевельнулась так внезапно, что Ева вздрогнула, и губы у нее задрожали. Выдвинув ящик стола, Кейт достала бумажку, свернутую по-аптечному.

— Вот. Ступай к себе и зарядись. Всего не бери... нет, доверить тебе нельзя.

Кейт постучала пальцем по бумажке, разорвала ее на две половины, просыпав при этом немного белого порошка; сделала два пакетика, один дала Еве.

— Побыстрей! А спустишься из спальни, скажи Ральфу, пусть ждет в коридоре поодаль, но так, чтобы слышать мой звонок. Проследи, чтоб не подслушивал. А услышит мой звонок... нет, скажи ему... нет, он сам знает, что тогда делать. И потом приведи ко мне мистера Адама Траска.

— А это для вас не опасно, мисс Кейт?

Под долгим взглядом Кейт Ева опустила глаза, пошла к двери.

— Как только он уйдет, получишь вторую половину,— сказала Кейт вслед Еве.— Побыстрей!

Дверь затворилась; Кейт выдвинула правый ящик стола, вынула короткоствольный револьвер. Щелкнула барабаном, проверила заряды, защелкнула и, положив револьвер на стол, прикрыла листом бумаги. Выключила одну из двух настольных лампочек, потверже села. Положила руки перед собой, соединила пальцы.

В дверь постучали.

— Войдите,— произнесла она, почти не шевеля губами. Глаза у Евы уже повлажнели, нервозность исчезла.

— Привела,— сказала она и, впустив Адама, вышла и закрыла дверь.

Адам быстрым взглядом окинул комнату; Кейт сидела так тихо за своим столом, что он не сразу ее и заметил. Пристально глядя на нее, он медленно пошел к столу.

Руки Кейт разъединились; правая скользнула к бумажному листу. Глаза, холодные, лишенные выражения, не отрывались от глаз Адама.

Адам разглядел волосы, шрам, губы, поблекшую шею, руки, плечи, плоскую грудь. Глубоко вздохнул.

Рука у Кейт слегка дрожала.

— Что тебе надо? — сказала она.

Адам сел на стул сбоку. Из уст его рвался крик облегчения, но он лишь сказал:

— Теперь ничего не надо. Просто хотел повидать. Сэм Гамильтон сказал мне, что ты здесь.

Как только Адам сел, дрожь ушла из руки Кейт.

— А ты раньше не слышал?

— Нет,— сказал он.— Не слышал. И когда услышал, слегка полез на стену. Но теперь все в порядке.

У Кейт губы успокоенно раздвинулись в улыбку, показав мелкие зубы, острые белые длинные клычки.

— Ты меня напугал,— сказала Кейт.

— Чем?

— Я ведь не знала, что ты намерен сделать.

— Я и сам не знал,— сказал Адам, продолжая ее разглядывать, точно неживую.

— Я сперва тебя долго ждала, а потом просто забыла о тебе.

— Я-то тебя не забывал,— сказал он.— Но теперь смогу забыть.

— Что ты хочешь сказать?

— Что увидел тебя наконец,— пояснил он весело.— Знаешь, это Самюэл сказал, что я тебя никогда не видел. И это правда. Лицо твое я помнил, но по-настоящему не видел. А теперь я смогу его забыть.

Губы ее сомкнулись, сжались в линию, широко расставленные глаза люто сузились.

— Думаешь, что сможешь?

— Знаю, что смогу.

— А может, незачем тебе и забывать,— переменяла она тон.— Если не держишь на меня зла, мы сможем поладить.

— Не думаю,— сказал Адам.

— Ты был такой дурак,— приулыбнулась она.— Точно малый ребенок. Не знал, что с собой делать. Теперь я тебя научу. Ты вроде бы стал мужчиной.

— Ты уже научила,— сказал он.— Урок дала мне крепкий.

— Выпить хочешь?

— Да,— сказал он.

— От тебя пахнет вином — ромом.

Встав, она подошла к шкафчику, достала бутылку, две рюмки. Повернувшись, заметила, что он смотрит на ее потолстевшие лодыжки. Ярость сжала ей виски, но улыбочка на губах осталась.

Она поставила бутылку на круглый столик в центре комнаты, налила рому в рюмки.

— Пересядь сюда,— пригласила она.— Тут уютнее.

Садясь в кресло, он остановил взгляд на ее слегка выдавшемся животе; Кейт заметила этот взгляд. Подала ему рюмку, села, сложила руки под грудью.

Он сидел, держа рюмку.

— Пей. Ром очень хороший,— сказала она.

Он улыбнулся — новой для нее улыбкой.

— Когда Ева сказала мне о твоём приходе, я сперва хотела велеть тебя вышвырнуть.

— Я бы опять пришел. Надо же мне было тебя увидеть. Не то чтоб я не верил Самюэлу, но должен был сам убедиться.

— Пей же,— сказала она.

Он поглядел на ее рюмку.

— Ты что, думаешь, я отравить тебя...— Она запнулась, прикусила зло язык.

Он с улыбкой продолжал смотреть на ее рюмку. Злоба проглянула на лице Кейт. Она взяла рюмку, пригубила.

— Мне от спиртного плохо,— сказала Кейт.— Я не пью. Для меня это яд.— Она смолкла, закусив острыми зубками нижнюю губу.

Адам улыбался ей все той же улыбкой.

В Кейт неудержимо вскипала ярость. Она рывком влила ром себе в горло, закашлялась, отерла слезы с глаз.

— Ты не очень-то мне доверяешь,— сказала она.

— Верно, не доверяю.

Он выпил свой ром, привстал, наполнил обе рюмки.

Кейт отдернулась.

— Я больше пить не стану!

— Что ж, не пей,— сказал Адам.— А я выпью и пойду себе.

Проглоченный ром жег ей горло, будил в ней то, чего она страшилась.

— Я тебя не боюсь, я никого не боюсь,— и с этими словами она залпом выпила вторую рюмку.

— Меня бояться нечего,— сказал Адам.— Теперь можешь забыть обо мне. Но ты и так сказала, что забыла.

Ему было тепло, покойно, славно — впервые за много лет.

— Я приехал на похороны Сэма Гамильтона. Он был хороший человек. Мне будет его не хватать. Помнишь, Кэти, он принимал у тебя близнецов?

Внутри у Кейт бушевал алкоголь. Она боролась с ним, лицо было искажено этой борьбой.

— Что с тобой? — спросил Адам.

— Я тебе сказала, спиртное для меня яд. Я тебе сказала, что делаюсь больна.

— Рисковать я не мог,— спокойно ответил Адам.— Ты в меня уже стреляла. Других твоих подвигов я не знаю.

— Каких подвигов?

— Я слышал кое-что скандальное. Разные слухи нехорошие.

На минуту она отвлеклась от борьбы с ядом, растекшимся по жилам,— и бороться стало уже поздно. Мозг

багряно воспламенился, страх ушел, уступил место бесшабашной лютости. Схватив бутылку, Кейт налила себе.

Пришлось Адаму встать с кресла, самому наполнить свою рюмку. В нем разрасталось чувство, совершенно ему незнакомое; он наслаждался тем, что видел в Кейт,—ее тщетной борьбой. Поделом ей! Но он по-прежнему был начеку. «Осторожнее, Адам,—говорил он себе.—Язык не распускай, держи на привязи». А вслух сказал:

— Сэм Гамильтон был мне другом все эти годы. Мне будет его не хватать.

Две струйки пролитого рома влажнели в углах ее рта.

— Я его ненавидела,—сказала она.— Убила бы, если б могла.

— За что? Он делал нам добро.

— Он меня видел — насквозь разглядел.

— Ну и что? Он и меня насквозь видел, и помог мне.

— Ненавижу. Я рада, что он умер.

— Не сумел я тебя вовремя разглядеть,—сказал Адам.

Губа ее презрительно вздернулась.

— Ты дурак. Тебя-то ненавидеть незачем. Ты просто дурак и слабак.

Она делалась все возбужденней — Адам все успокоенней, улыбчивей.

— Ага, улыбайся,—воскликнула она.— Думаешь, освободился? Выпил малость и уже думаешь, что человек! Стоит мне шевельнуть мизинцем, и ты на коленях приползешь ко мне, пуская слюни.— Вся лисья осторожность в ней исчезла, и ощущение власти раскованно росло.— Я тебя знаю. Знаю твое сердце труса.

Адам продолжал улыбаться. Отпил, и Кейт налила себе новую рюмку, звякая горлышком о стекло.

— Когда меня изувечили, я нуждалась в тебе,—сказала Кейт.— Но ты оказался размазней. И когда я перестала в тебе нуждаться, ты полез меня удерживать... Довольно лыбиться.

— Любопытно, что это за ненависть в тебе такая?

— Тебе любопытно? — произнесла она, теряя остатки осторожности.— Это не ненависть. Это — презрение. Я еще маленькой девочкой раскусила этих дураков, лгунов, притворявшихся праведниками,—моих отца и мать. Не были они праведниками. Я их раскусила. И стала за

нос их водить, заставляла делать все по-моему. Я всегда умела заставлять других делать все по-моему. Когда еще совсем девочкой была, из-за меня один мужчина с собой покончил. Тоже притворялся праведным, а сам только и хотел, что лечь со мной в постель — с четырнадцатилетней.

— Но он же покончил с собой. Значит, мучился этим.

— Он был дурак. Я слышала, как он стучался к нам, молил отца поговорить с ним. Я просмеялась всю ночь.

— Мне было бы тяжело думать, что человек оборвал свою жизнь из-за меня, — сказал Адам.

— Ты тоже дурак. Я помню, как мной восхищались: «Какая хорошенькая, миленькая, нежненькая!» И всем им было невдомек, кто я на самом деле. Все ходили у меня на задних лапках, под мою команду — и не догадывались о том.

Адам допил рюмку. Он наблюдал за Кейт как бы со стороны. Видел, как в ней муравьино копошатся побуждения, позывы, и они, казалось, были ему все ясны. Хмель иногда дает такое чувство глубинного понимания.

— Как бы ты ни относилась к Сэму Гамильтону, он был мудр. Помню, он сказал мне как-то, что когда женщина считает себя знатоком мужчин, то обычно видит в них только одно и ни о чем другом даже не догадывается, а ведь в мужчинах много чего есть.

— Он был лжец да еще и лицемер, — не сказала, а выхаркнула Кейт. — Лжецов, вот кого я ненавижу, а они все лжецы. Вот их нутро. Обожаю раскрывать это их нутро. Обожаю тыкать их носами в их собственное дерьмо.

— Неужели, по-твоему, в мире только и есть, что зло и глупость? — Адам поднял брови.

— Именно так.

— Не верю, — спокойно сказал Адам.

— «Не верю», «Не верю», — передразнила она. — А хочешь, докажу?

— Не сможешь.

Она вскочила, подбежала к столу бюро, достала конверты, положила на стол.

— Полюбуйся вот на эти, — сказала она.

— Не хочу.

— Все равно покажу. — Она вынула снимок. — Смотри. Это депутат калифорнийского сената. Хочет выставить свою кандидатуру в Конгресс. Погляди на его брюхо.

Сиськи, как у бабы. Он любит, когда его плеточкой. Вон полоса от плети. А что за выражение на ряшке! И у него жена и четверо детей, и в Конгресс лезет. А ты — «не верю»! Ты вот на это глянь! Этот белый кусок сала — член муниципального совета; а у этого рыжего верзилы-шведа ранчо неподалеку от Бланко. А вот — любуйся! Профессор университета. Аж из Беркли ездит к нам, чтоб из ночного горшка ему в лицо плеснули — профессору философии! А на этого глянь! Проповедник Евангелия, иезуит-монашек. Ему раньше дом поджигать приходилось, чтоб удовлетвориться. Мы его удовлетворяем другим способом. Видишь спичку, горящую под его тощим боком?

— Не хочу я это видеть, — сказал Адам.

— Но все равно увидел. И теперь тоже не веришь? Ты ко мне еще проситься будешь. Скулить и плакать будешь, чтобы впустила, — говорила она, стремясь подчинить его своей воле — и видела, что он не подчиняется, не поддается. Ярость ее сгустилась, стала едко-ледяной. — Ни разу, ни один еще не ушел, — произнесла она негромко. Глаза ее глядели плоско, холодно, но коготки вцепились в обивку кресла, терзая и вспарывая шелк.

— Если бы у меня были такие снимки и те люди знали бы про них, то я бы опасался за свою жизнь, — сказал Адам со вздохом. — Один такой снимок, наверно, может погубить человеку всю жизнь. Ты за себя не боишься?

— Ты за дитя малое меня принимаешь? — спросила Кейт.

— Нет, больше уже не принимаю, — ответил Адам. — Я теперь начинаю думать, что в тебе природа искореженная — или вообще не людская.

Она усмехнулась, сказала:

— Может, ты и угадал. А думаешь, людская природа мне приманчива? Всмотрись в эти снимки. Я бы скорее в собаки записалась, чем в люди. Но я не собака. И я умней, чем люди. Меня тронуть никто не посмеет, не бойся. У меня вон там, — она указала рукой на шкафчики, — сотня прелестных картинок, и эти люди знают, что чуть только со мной что-нибудь случится — все равно что, — и тут же будет отправлено сто писем, и в каждом фотокарточка, и каждое адресовано туда, где она причинит наибольший вред. Нет, меня они тронуть не смеют.

— Ну, а вдруг с тобой произойдет несчастный случай? Или, скажем, заболеешь? — спросил Адам.

— У меня предусмотрено все, — сказала Кейт. Наклонилась ближе. — Я тебе скажу секрет, которого никто из них не знает. Через несколько лет я уеду. И тогда все равно эти письма будут отправлены. — И, смеясь, она откинулась на спинку кресла.

Адама передернуло. Он вгляделся в Кейт. Ее лицо и смех были детски-невинны. Он привстал, налил себе еще полрюмки. Бутылка была уже почти пуста.

— Знаю я, что тебе ненавистно, — проговорил он. — Тебе ненавистно в них то, чего ты не понимаешь. Ты не зло, ты добро в них ненавидишь, непонятное тебе. И желал бы я знать, чего ты в конце-то концов хочешь.

— Скоро будут у меня все деньги, сколько мне надо, — сказала она. — И я уеду в Нью-Йорк, а я еще не старая. Совсем не старая. Куплю дом, хороший дом в хорошем квартале, найму хороших слуг. Но первым делом разыщу одного человека, если он еще жив, и очень медленно его замучаю. Постараюсь замучить тщательно и аккуратно, чтобы он сошел с ума, прежде чем умереть.

— Чушь! — Адам сердито топнул ногой. — Наговариваешь на себя. Бред это. Все бред и ложь. Не верю.

— А помнишь, какою увидел меня в первый раз? — спросила она.

Лицо Адама потемнело.

— Еще бы не помнить.

— Помнишь разбитый рот, сломанную челюсть, вышибленные зубы?

— Помню. И хочу забыть.

— Вот первой моей отрадой и будет найти человека, который так меня отделал. А потом — потом найдутся и другие удовольствия.

— Мне пора, — сказал Адам.

— Не уходи, милый, — сказала Кейт. — Не уходи, мой любимый. У меня простыни шелковые. Я хочу, чтобы ты кожей ощутил их.

— Ты шутишь, что ли?

— О нет, я не шучу, любимый. Не шучу. Ты не хитер в любви, но я выучу тебя. Выучу.

Она встала, пошатываясь, взяла его за руку. Лицо Кейт казалось свежо и молодо. Но взглянув на ее руку,

Адам увидел, что она в морщинках, точно лапка светлокожей обезьяны. Он брезгливо отстранился.

Заметив, осознав это, Кейт сжала зубы.

— Не понимаю,— сказал он.— Знаю, что все так, но не могу поверить. И завтра не смогу. Буду считать это бредовым сном. Но нет, это не сон, нет. Я же помню, что ты мать моих сыновей. И ты не спросила о них. А ты мать моих сыновей.

Кейт поставила локти на колени, подперла руками подбородок, так что пальцы закрыли ее заостренные ушки. Глаза ее светились торжеством. Голос был издевательски ласков.

— Дурак в чем-нибудь да непременно оплошает,— произнесла она.— Я это еще в детстве установила. Я мать твоих сыновей. Но почему твоих? Я — мать, это так. Но почему ты знаешь, что отец — ты?

Адам открыл рот от удивления.

— Кэти, что ты такое говоришь?

— Меня зовут Кейт. А ты слушай, милый, и припоминай. Сколько раз я позволила тебе лечь со мной?

— Ты была больна. Изувечена.

— Один разок позволила. Один-единственный.

— Тебе было плохо беременной,— воскликнул он.— Ты не могла...

— Однако брата твоего смогла принять.

— Брата?

— У тебя же есть брат Карл, ты что, забыл?

Адам рассмеялся.

— Ну и бесовка же ты. Но зря думаешь, что я тебе поверю насчет брата.

— Хоть верь, хоть не верь,— сказала Кейт.

— Ни за что не поверю.

— Поверишь. Задумаешься, потом засомневаешься. Вспомнишь Карла — все о нем припомнишь. Карла я бы могла полюбить. Он моего пошиба.

— Нет.

— Ты припомнишь,— сказала Кейт.— Вспомнишь когда-нибудь, как напился горького чаю. Выпил по ошибке мое снотворное — помнишь? И спал крепко, как никогда, и проснулся поздно, с тяжелой головой.

— Ты была больна — ты не могла задумать и выполнить такое...

— Я все могу,— ответила Кейт.— А теперь, любимый, раздевайся. И я покажу тебе, что я еще могу.

Адам закрыл глаза; голова кружилась от выпитого. Открыл глаза, тряхнул головой.

— Это не важно, даже если правда,— проговорил он.— Совсем не важно.— И вдруг засмеялся, поняв, что это и правда не важно. Рывком встал на ноги — и оперся на спинку кресла, одолевая головокружение.

Кейт вскочила, ухватила за его рукав.

— Я помогу тебе, снимай пиджак.

Адам высвободился из рук Кейт, точно отцепляясь от проволоки. Нетвердой походкой направился к двери.

В глазах Кейт вспыхнула безудержная ненависть. Она закричала — издала длинный, пронзительный звериный вопль. Адам остановился, обернулся. Дверь грохнула, распавшись. Вышибала сделал три шага, боксерски развернулся и нанес удар ниже уха, вложив в него всю тяжесть тела. Адам рухнул на пол.

— Ногами! Ногами его! — крикнула Кейт.

Ральф приблизился к лежащему, примерился. Заметил, что глаза Адама открыты, смотрят на него. Неуверенно повернулся к Кейт.

— Я велела — ногами. Разбей ему лицо! — В голосе ее был лед.

— Он не сопротивляется. Уже успокоен,— сказал Ральф.

Кейт села, хрипло дыша ртом, положив руки на колени. Пальцы ее судорожно корчились.

— Адам,— произнесла она.— Ненавижу тебя, впервые ненавижу. Ненавижу! Слышишь, Адам? Ненавижу!

Адам попытался сесть, снова лег, потом все-таки сел.

— Это не важно,— сказал он, глядя на Кейт снизу.— Совсем не важно.— Встал на четвереньки.— А знаешь, я любил тебя больше всего на свете. Больше всего. Долго тебе пришлось убивать эту любовь.

— Ты ко мне еще приползешь,— прошипела она.— На брюхе приползешь — молить, проситься будешь!

— Так ногами прикажете, мисс Кейт? — спросил Ральф.

Кейт не отвечала.

Адам очень медленно пошел к дверям, осторожно ставя ноги. Провел рукой по косяку.

— Адам! — позвала Кейт.

Он тяжело повернулся. Улыбнулся ей, словно далекому воспоминанию. Вышел и без стука затворил за собою дверь.

Кейт сидела, глядя на дверь. В глазах у нее было пустынное отчаяние.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

1

Возвращаясь поездом из Салинаса в Кинг-Сити, Адам Траск сидел точно в облаке зыбких видений, звуков, красок. А мыслей не было никаких.

По-моему, в человеческой психике есть механизмы, с помощью которых в ее темной глубине сами собой взвешиваются, отбрасываются, решаются проблемы. При этом в человеке порой действуют нутряные силы, о которых он и сам не ведает. Как часто засыпаешь, полон непонятной тревоги и боли, а утром встаешь с чувством широко и ясно открывшегося нового пути — и все благодаря, быть может, этим темным глубинным процессам. И бывают утра, когда кровь вскипает восторгом, все тело туго, электрически вибрирует от радости — а в мыслях ничего такого, что могло бы родить или оправдать эту радость.

Похороны Самюэла и встреча с Кейт должны были бы вызвать в Адаме грусть и горечь, но не вызвали. В потемках души зародился восторг. Адам почувствовал себя молодым, свободным, полным жадного веселья. Сойдя в Кинг-Сити, он направился не в платную конюшню за своей пролеткой, а в новый гараж Уилла Гамильтона.

Уилл сидел в своей стеклянной клетке-конторе, откуда мог следить за работой механиков, отгородясь от производственного шума. Живот его солидно округлился. Он восседал, изучая рекламу сигар, регулярно и прямым доставляемых с Кубы. Ему казалось, что он горюет об умершем отце, но только лишь казалось. О чем он слегка тревожился, так это о Томе, который прямо с похорон уехал в Сан-Франциско. Достойней ведь глушить горе делами, чем спиртным, которое сейчас, наверное, глушит Том.

Адам вошел — Уилл поднял голову, жестом пригласил сесть в одно из кожаных кресел, смягчающих клиентам жесткость счета за купленный автомобиль.

— Я хотел бы выразить соболезнование, — произнес Адам, садясь.

— Да, горе большое, — сказал Уилл. — Вы были на похоронах?

— Был. Я хочу, чтобы вы знали, как я уважал вашего отца. Никогда не забуду, чем я ему обязан.

— Да, люди его уважали, — сказал Уилл. — Больше двухсот человек пришло на кладбище — больше двухсот.

— Такой человек не умирает, — сказал Адам и почувствовал, что не кривит душой. — Не могу представить его мертвым. Он для меня как бы еще живей прежнего.

— Это верно, — сказал Уилл, хоть сам этого не чувствовал. Для Уилла Самюэл был мертв.

— Вспоминаю все, что он, бывало, говорил, — продолжал Адам. — Я не очень прислушивался, но сейчас слова всплывают в памяти, я вижу выражение его лица.

— Это верно, — сказал Уилл опять. — И со мной то же самое происходит. А вы возвращаетесь к себе?

— Да. И решил — дай-ка зайду, поговорю насчет автомобиля.

Уилл слегка и молча встрепнулся.

— Мне казалось, вы последним во всей долине раскачаетесь, — заметил он, прищурясь на Адама.

Адам рассмеялся.

— Что ж, я заслужил такое мнение, — сказал он. — А переменялся благодаря вашему отцу.

— Как же он этого добился?

— Я вряд ли смогу объяснить. Давайте лучше о машине потолкуем.

— Я с вами буду без хитростей, — начал Уилл. — Скажу прямо и правдиво, что не успеваю выполнять заказы на автомобилях. У меня целый список желающих.

— Вот как. Что ж, тогда впишите и меня.

— С удовольствием, мистер Траск, и... — Уилл сделал паузу. — Поскольку вы нам близкий друг, то если кто-нибудь из очереди выбудет, я поставлю вас повыше, на его место.

— Спасибо, — сказал Адам.

— Как желаете оплачивать?

— То есть?

— Можно ведь в рассрочку — понемногу ежемесячно.

— Но в рассрочку как будто дороже?

— Да, добавляются разные проценты. Но некоторым так удобнее.

— Я сразу расплачусь,— сказал Адам.— Чего уж оттягивать.

— Немногие клиенты с вами согласятся,— сказал Уилл со смешком.— И я когда-нибудь начну предпочитать рассрочку, она мне тоже выгодней.

— Я об этом не подумал,— сказал Адам.— Но все-таки запишете меня?

Уилл наклонился к нему.

— Мистер Траск, я вас поставлю во главе списка. Первая же поступившая машина пойдет вам.

— Спасибо.

— Для вас я это с радостью,— сказал Уилл.

— Как ваша мама? Держится? — спросил Адам.

Уилл откинулся в кресле, улыбнулся любяще.

— Она удивительная женщина,— сказал Уилл.— Она как скала. Мне вспоминаются все наши трудные времена, а их было достаточно. Отец был не слишком практичен. Вечно в облаках витал или в книжки погружен был. Мать — вот кто держал нас на плаву, без нее бы Гамильтоны в богадельне очутились.

— Славная женщина,— сказал Адам.

— Мало сказать славная. Сильная она. Крепко стоит на ногах. Прямо твердыня. Вы с похорон зашли к Оливии?

— Нет, не заходил.

— С похорон туда вернулось больше ста человек. И мама сама всю курятину нажарила и всех насытила.

— Сама?

— Сама. А ведь не кого-нибудь утратила — мужа.

— Да, женщина удивительная,— сказал Адам.

— Земная она. Понимала, что людей надо накормить,— и накормила.

— Я надеюсь, ее не сломит это горе.

— Не сломит,— сказал Уилл.— Всех нас еще переживет наша маленькая мамочка.

Возвращаясь на ранчо в пролетке, Адам обнаружил, что замечает вокруг то, чего не замечал годами. Видит в густой траве полевые цветы, рыжих коров, пасущихся

и не спеша восходящих пологими склонами. Доехав до своей земли, Адам ощутил такую внезапную, острую радость, что удивился — откуда она? И вдруг поймал себя на том, что громко приговаривает в такт копытам лошади: «Я свободен. Свободен. Отмучился. Освободился от нее. Выбросил из сердца. О Господи мой Боже, я свободен!»

Он дотянулся до серебристо-серого ворсистого шалфея на обочине, пропустил его сквозь пальцы, ставшие от сока липкими, понюхал их, глубоко вдохнул в себя резкий аромат. Ему было радостно вернуться домой. И хотелось увидеть, насколько выросли ребята за эти два дня, — хотелось увидеть своих близнецов.

— Освободился от нее. Освободился, — пел он вслух.

2

Ли вышел из дома навстречу Адаму. Держал лошадь под уздцы, пока Адам слезал с пролетки.

— Как мальчики? — спросил Адам.

— В порядке. Я им сделал луки, стрелы, и они ушли к реке в низину — охотиться на кроликов. Но я не спешу ставить на огонь сковороду.

— И в хозяйстве у нас все в порядке?

Ли остро глянул на Адама и чуть было вслух не удивился такому пробуждению интереса, но только спросил:

— Ну, как похороны?

— Людно было. У него много друзей. Мне все не верится, что его уже нет.

— Мы, китайцы, хороним своих покойников под барабаны и сыплем бумажки для обмана демонов, а вместо цветов на могилу кладем жареных поросят. Мы народ практичный и всегда голодноватый. А наши демоны умом не блещут. Мы умеем их перехитрить. Прогресс своего рода.

— Самюэлу были бы по душе такие похороны, — сказал Адам. — Ему было бы занятно.

Ли все не сводил глаз с хозяина, и Адам сказал:

— Поставь лошадь в стойло и приготовь чаю. Хочу с тобой поговорить.

Войдя в дом, Адам снял с себя черный костюм. Ощутил ноздрями тошновато-сладкий, уже с перегарцем, запах рома, как бы исходящий из пор тела. Разделся донага, намылил губку и обмыл всего себя, прогнав запах. Надел

чистые синие рубашку и комбинезон, от носки-стирки ставший мягким и голубым, а на коленях белесым. Не спеша побрился, причесался; слышно было, как Ли орудует на кухне у плиты. Адам вышел в гостиную. Ли поставил уже на стол у кресла сахарницу, чашку. Адам огляделся — цветастые гардины от стирок полиняли, цветы выцвели. Ковры на полу вытерты, на линолеуме в коридоре бурая тропинка от шагов. И все это он заметил впервые.

Когда Ли вошел с чайником, Адам сказал:

— И себе принеси чашку, Ли. И если есть у тебя это твоё питье, угости. Опохмелиться надо, вчера я был пьян.

— Вы — пьяны? Не верится, — сказал Ли.

— Да, был пьян по одной причине. О чем и хочу поговорить с тобой. Я заметил, как ты на меня сейчас глядел.

— Заметили?

И Ли ушел на кухню за чашкой, чашечками, глиняной бутылкой. Вернувшись, он сказал:

— За все эти годы я пил из нее только с вами и с мистером Гамильтоном.

— Это все та же бутылка, что в день именованья близнецов?

— Все та же.

Ли разлил по чашкам зеленый чай, обжигающе горячий. Поморщился, когда Адам всыпал в свою чашку две ложечки сахара.

Размешав, понаблюдав, как кристаллики сахара тают кружась, Адам сказал:

— Я был у нее.

— Так я и думал, — сказал Ли. — Я даже удивлялся, как это живой человек может ждать столько месяцев.

— Возможно, я не был живым человеком.

— Мне и это приходило на ум. Ну, и что она?

— Не могу понять, — медленно проговорил Адам. — Не могу поверить, что такие бывают на свете.

— У вас, у западных людей, нет в обиходе злых духов и демонов — вот вам и нечем объяснить подобное. А напились вы после?

— Нет, выпил раньше и пил во время встречи. Для храбрости.

— А вид у вас теперь хороший.

— Да, теперь мне хорошо,— сказал Адам.— Об этом и хочу поговорить.— Он помолчал, произнес печально: — Будь это год назад, я бы к Сэму Гамильтону поспешил.

— Быть может, он какой-то своей частицей остался в нас обоих,— сказал Ли.— Быть может, в этом и состоит бессмертие.

— Я словно бы очнулся от глухого сна,— сказал Адам.— Глаза как-то странно прояснели. С души спала тяжесть.

— Вы даже заговорили языком Самюэла,— сказал Ли.— Я на этом построю целую теорию для моих бессмертных старцев-родичей.

Адам выпил чашечку темного питья, облизнул губы.

— Освободился я,— сказал он.— И должен поделиться этой радостью. Теперь смогу быть отцом моим мальчикам. Даже, возможно, с женщиной сведу знакомство. Ты меня понимаешь?

— Да, понимаю. Вижу это в ваших глазах, во всей осанке. Этого о себе не выдумаешь. Вы полюбите сыновей, мне кажется.

— По крайней мере, перестану быть чурбаном. Налей мне в чашечку. И чаю тоже налей.

Ли налил, отпил из своей чашки.

— Не пойму, как это ты не обжигаяешься таким горячим.

Ли чуть заметно улыбнулся. Вглядевшись в него, Адам осознал, что Ли уже немолод. Кожа на скулах у Ли обтянуто блестит, словно покрытая глазурью. Края век воспаленно краснеют.

Улыбаясь, точно вспоминая что-то, Ли глядел на чашечку в руке, тонкостенную, как раковина.

— Раз вы освободились, то, может, и меня освободите.

— О чем ты это, Ли?

— Может, отпустите меня.

— Ну конечно, ты волен уйти. Тебе нехорошо здесь? Ты несчастлив?

— Вряд ли я когда-нибудь испытывал то, что у вас называется счастьем. Мы стремимся к покою, а его верней назвать отсутствием несчастья.

— Можешь и так назвать,— сказал Адам.— И ты непокоен здесь?

— Мне думается, всякий будет непокоен, если есть у него неисполненные желания.

— Какие ж у тебя желания?

— Одно желание уже не исполнить — поздно. Я хотел иметь жену и детей. Хотелось передать им пустяки, именуемые родительской мудростью — навязать ее моим беззащитным детям.

— Ты еще не стар.

— Да, в физическом смысле еще могу стать отцом. Но есть другая препона. Слишком подружился я с тихой настольной лампой. А знаете, мистер Траск, у меня ведь когда-то была жена. Я так же не видел ее настоящую, как вы свою; но моя была не злая — вовсе никакая. С ней приятно было в моей маленькой комнате. То я говорил, а она слушала; то говорила она, рассказывала мне свои женские повседневности. Она была хорошенькая, кокетливо пошучивала. Но стал бы я слушать ее теперь? Сомневаюсь. А я не желал бы обречь ее на грусть и одиночество. Так что прощай мое первое желание.

— А второе?

— Я как-то говорил о нем мистеру Гамильтону. Я хочу открыть книжную лавку в Сан-Франциско, в китайском квартале. Жил бы в задней комнате и дни свои заполнял бы рассуждениями и спорами. А в числе товаров хотелось бы иметь стародавние, времен династии Сун, кирпичики туши с изображением дракона. Ящички источены червем, а тушь сделана из пихтовой сажки на клею, который добывают единственно из шкуры куланов. Когда рисуешь этой тушью, то пусть она и черная, но глазу являет словно бы все краски мира. И заглянет, скажем, в лавку художник, и мы с ним будем спорить о составе и торговаться о цене.

— Ты все это в шутку говоришь? — спросил Адам.

— Нет. Если вы освободились, выздоровели, то я бы хотел наконец осуществить свое желание. Хотел бы кончить дни в этой книжной лавке.

Адам посидел молча, помешивая ложечкой в остывшем чае. Потом сказал:

— Забавно. Мне даже захотелось, чтобы ты был у меня в рабстве — чтобы я тебя мог не отпустить. Конечно, уезжай, если желаешь. Я и денег тебе одолжу на книжную лавку.

— О, деньги у меня есть. Давно уже накоплены.



«НА ВОСТОК ОТ ЭДЕМА». Часть вторая



«НА ВОСТОК ОТ ЭДЕМА». Часть вторая

— Не думал никогда, что ты уедешь. Казалось в порядке вещей, что ты здесь.— Адам сел прямой.— А подождать еще немного можешь?

— Для чего?

— Чтобы помочь мне сблизиться с сыновьями. И хочу заняться как следует хозяйством. Или продать ранчо. Или сдать в аренду. А для этого мне надо будет знать, сколько у меня осталось денег и как я их могу употребить.

— Вы не западню мне устраиваете? — спросил Ли.— Желание мое уже не так сильно, как в былые годы. Я боюсь, вы сможете меня отговорить или — еще хуже — сможете удержать тем доводом, что без меня не обойтись. Пожалуйста, не соблазняйте меня этим доводом. Для человека одинокого, как я, нет соблазна сильнее.

— Одинокого, как ты...— произнес Адам.— Крепко же я в себе замуровался, что не видел этого.

— Мистер Гамильтон видел,— сказал Ли. Поднял голову, и глаза блеснули двумя искорками сквозь щелки толстых век.— Мы, китайцы, сдержанный народ. Чувства свои не выказываем. Я любил мистера Гамильтона. И хотел бы завтра съездить в Салинас, если позволите.

— О чем речь,— сказал Адам.— Ты столько для меня сделал.

— Хочу бумажки разбросать для обмана демонов,— сказал Ли.— Хочу поросенка жареного положить на могилу моего духовного отца.

Адам внезапно встал, опрокинув недопитую свою чашку, и вышел, и Ли остался за столом один.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

1

В ту зиму дожди падали мягкие, и река Салинас-Ривер не захлестывала берегов. Нешироким потоком вилась по серо-песчаному просторному ложу, и вода не мутнела, а была прозрачна и приятна глазу. У ив, растущих в русле и на этот раз не залитых, листва была густа, и ежевика выбрасывала во все стороны колючие, ползучие побеги.

Было не по-мартовски тепло, с юга дул и дул ветер, повертывая листья ив серебристой изнанкой кверху. Хорошо пускать змеев в такую погоду.

Среди ежевичных лоз и наносного древесного сора укромно сидел на солнце небольшой серый кролик и сушил грудку, влажную от росных трав, в которых с утра жировал. Кролик морщил нос, поводил то и дело ушами, исследуя тихие звуки — возможно, опасные. Лапкам передались было от земли какие-то ритмические сотрясения, и нос заморщился, уши задвигались — но вибрация стихла. Потом шевельнулись ветки ивы шагах в тридцати, но по ветру, так что устрашающих запахов до кролика не донеслось.

Минуты две уже слышны были ему звуки любопытные, но с опасностью не вяжущиеся: короткий щелк, а затем свист словно бы крыльев горлицы. Кролик лениво вытянул, подставил солнцу заднюю ногу. Щелк — свист — тупой удар в мех груди. Кролик замер, глаза расширились. Грудь пронзена была бамбуковой стрелой, железный ее наконечник глубоко вошел в землю. Кролик поник набок, забил, засучил в воздухе лапками, затих.

От ивы, пригибаясь, подошли два мальчика с большими, фута в четыре длиной, луками в руках; за левым плечом у каждого колчан с пучком оперенных стрел. Одежды оба в выцветшие синие рубашки и комбинезоны, но лоб по-индейски обвязан тесьмой, и за нее воткнуто у виска красивое перо из индюшиного хвоста.

Мальчики шли крадучись, ставя ноги носками внутрь — подражая походке индейцев. Кролик уже оттрепетал, когда они нагнулись к своей жертве.

— Прямо в сердце, — сказал Кейл таким тоном, точно иначе и быть не могло. Арон глядел молча.

— Я скажу, что это ты, — продолжал Кейл. — Пусть он тебе зачтется, а не мне. И скажу, очень трудно было попасть:

— И правда трудно, — сказал Арон.

— Вот я и скажу. Расхвалю тебя перед отцом и Ли.

— Да нет, не надо. Я не хочу. Знаешь что: если еще кролика подстрелим, то скажем, что добыли по одному, а если больше не подстрелим, то давай скажем, что стреляли одновременно и не знаем, кто попал.

— А не хочешь, чтоб его зачли тебе? — хитровато спросил Кейл.

— Одному мне? Нет. Хочу, чтобы нам обоим.

— А и правда, стрела-то ведь моя,— сказал Кейл.

— Нет, не твоя.

— Ты глянь на оперение. Видишь зазубринку? Это мой знак.

— Как же она попала ко мне в колчан? Я никакой зазубринки не помню.

— Не помнишь и не надо. Но все равно я скажу, что это ты стрелял.

— Нет, Кейл,— произнес благодарно Арон.— Не хочу. Скажем, что стреляли одновременно.

— Ладно, пусть будет по-твоему. Но вдруг Ли заметит, что стрела моя?

— А мы скажем, она была в моем колчане.

— Думаешь, поверит? Подумает, что ты врешь.

— Если подумает, что это ты стрелял,— ну что ж, пусть думает,— растерянно сказал Арон.

— Я просто хочу заранее тебя предупредить,— сказал Кейл.— Вдруг он заметит.

Кейл вытащил стрелу за наконечник, так что белые перья ее окрасились темной кровью кроличьего сердца. Сунул стрелу себе в колчан.

— Неси кролика ты,— сказал великодушно.

— Пора домой,— сказал Арон.— Отец, может, уже приехал.

— А мы могли бы этого кроля зажарить и поужинать, а потом заночевать тут,— сказал Кейл.

— Нет, Кейл, ночью слишком холодно. Помнишь, как ты дрожал рано утром?

— Мне ночевка не страшна,— сказал Кейл.— Я никогда не зябну.

— А сегодня утром озяб.

— И вовсе нет. Это я тебя передразнивал, это ты трясся и стучал зубами, как в лихорадке. Скажешь, я вру?

— Нет,— ответил Арон.— Я не хочу драться.

— Боишься?

— Нет, просто не хочу.

— Ага, дрейфишь! Ну говори, я вру?

— Не хочу я ничего говорить.

— Значит, дрейфишь!

— Пускай дрейфлю.

Арон медленно пошел прочь, оставив кролика на земле. Рот у Арона был очерчен красиво и мягко, синие глаза широко расставлены. Так широко, что придавали лицу выражение ангельской безгрешности. Волосы шелковые, золотистые. Под ярким солнцем голова казалась лучезарной.

Арон был озадачен; брат часто его озадачивал. Арон знал, что Кейл чего-то добивается, до чего-то докапывается — а до чего, не понимал. Кейл был для него загадка: ход его мыслей непонятен и всегда удивлял Арона неожиданными поворотами.

Кейл был похож больше на Адама. Волосы темно-каштановые. Крупней брата, шире в кости, плечистей, и подбородок жестко квадратен, как у Адама. Глаза у Кейла карие, внимательные и подчас взблескивают черным блеском. А вот кисти рук несоразмерно маленькие. Пальцы короткие, тонкие, ногти нежные. Кейл оберегает руки. Он почти никогда не плачет, но если порежет палец, обязательно заплачет. Не притронется руками к насекомому, не поднимет мертвую змею. А когда дерется, то бьет палкой или камнем.

Кейл глядел вслед уходящему брату с уверенной улыбкой.

— Арон, подожди меня! — крикнул он. Поравнявшись, протянул ему кролика. — Можешь нести его, — сказал дружелюбно и обнял за плечи. — Не сердись.

— Ты вечно хочешь драться, — сказал Арон.

— Да нет. Я просто пошутил.

— Правда?

— Конечно. Неси же кролика. И раз ты хочешь, пошли домой.

И наконец-то Арон улыбнулся. Ему всегда делалось легко, когда брат переставал задираться. Из речного русла мальчики крутой осыпью поднялись в долину. Правая штанина у Арона была закапана кроличьей кровью.

— Вот удивятся, что мы несем кролика, — сказал Кейл. — Если отец вернулся, подарим кролика ему. Он любит на ужин крольчатину.

— Давай, — сказал весело Арон. — Знаешь что: подарим вместе и не скажем, кто подстрелил.

— Ладно, раз ты так хочешь,— сказал Кейл.

Пошли дальше молча. Потом Кейл сказал:

— Все это наша земля — и за рекой до самой-самой дали.

— Не наша, а отцовская.

— Ну да, но после него будет наша.

— То есть как это — после него? — спросил озадаченно Арон.

— Все ведь умирают,— сказал Кейл.— Как мистер Гамильтон. Он же вон умер.

— Ах, да,— сказал Арон.— Да, он умер.— Но связать, соединить в уме мертвого Самюэла и живого отца Арон не мог.

— Мертвых кладут в гроб, роют яму и опускают,— сказал Кейл.

— Я знаю,— сказал Арон. Ему не хотелось ни говорить об этом, ни думать.

— А я знаю секрет,— сказал Кейл.

— Какой?

— Разболтаешь.

— Нет, не разболтаю, если секрет.

— Да уж и не знаю...

— Скажи,— уговаривал Арон просяще.

— А ты никому?

— Никому.

— Как по-твоему, где наша мама? — начал Кейл.

— Умерла.

— А вот и нет.

— Как это — нет?

— Она сбежала от нас,— сказал Кейл.— Я слышал, люди говорили.

— Врут они.

— Она сбежала,— повторил Кейл.— Но смотри, не выдай, что это я тебе сказал.

— Не верю. Отец сказал, мама на небе.

— Вот скоро я убегу из дому и разыщу ее,— произнес Кейл негромко.— Верну ее домой.

— А где она, те люди говорили?

— Нет, но я ее найду.

— Мама на небе. Отец врать не будет,— сказал Арон, взглядом прося у брата подтверждения. Кейл молчал.— Что ж, по-твоему, она не 'с ангелами на небесах? — напи-

рал Арон. Кейл по-прежнему молчал.— А кто они были, те люди?

— Какие-то мужчины. На почте в Кинг-Сити. Они думали, я не слышу. Но у меня слух острый. Ли говорит, я слышу, как трава растет.

— Да зачем ей было сбегать от нас? — спросил Арон.

— Откуда я знаю? Может, мы ей не нравились.

— Нет,— ответил Арон, подумав над этими кощунственными словами.— Врали они. Отец сказал, мама на небесах. И сам знаешь, как он не любит говорить об этом.

— Может, потому и не любит, что она сбежала.

— Нет. Я спрашивал у Ли. И он ответил: «Ваша мама любила вас — и теперь любит». И показал мне звезду в небе. «Гляди на нее — быть может, это ваша мама. И любить она вас будет, пока горит звезда». Вот что Ли сказал. Он что, врет, по-твоему?

Сквозь подступившие слезы Арон видел жестко-рассудительные глаза брата. В них не было слез.

Кейл был приятно возбужден. Еще одно оружие нашлось, тайное. Теперь когда надо, он будет пускать его в ход. Вон как дрожат губы у Арона. Но Кейл вовремя заметил, что ноздри Арона раздулись. Арон — плакса, но если доведешь его до слез, иногда лезет драться. А когда Арон и плачет и дерется, он опасен. Тогда он нечувствителен к ударам и ничем его не остановишь. Однажды Ли пришлось даже усадить Арона к себе на колени, обхватить, прижать ему к бокам руки, чтобы не молотил кулаками,— и так, обняв, долго держать, пока Арон не успокоился. В тот раз у него ноздри тоже раздулись.

Кейл не ответил — спрятал свое новое оружие. Вынуть его всегда можно, и оно острейшее из всех, им найденных. Надо будет на досуге обдумать, как и когда им пользоваться.

Но Кейл спрятал его поздновато,— возмущенный Арон бросился на него, ударил по лицу кроличьим вялым тельцем. Кейл отскочил, крикнул:

— Я же просто пошутил. Честное слово, Арон, это шутка.

Арон застыл с недоумением и болью на лице.

— Мне такие шутки не нравятся,— сказал он, шмыгнув носом, утерся рукавом.

Кейл подошел, обнял брата, поцеловал в щеку.

— Больше не буду так шутить.

Пошли дальше — молчаливо, не спеша. Свет дня начал меркнуть. Кейл оглянулся на тучу, гонимую порывистым мартовским ветром, черно наплывающую из-за гор.

— Гроза будет, — сказал он. — Сильноющая.

— Ты правда слышал, как те люди на почте говорили? — спросил Арон.

— Может, они о ком-то другом говорили, — поспешил успокоить Кейл. — Ух ты, ну и туча!

Арон обернулся взглянуть на черное чудище. Оно мрачно вспухало, огромно клубилось вверху, а под собой тянуло длинный шлейф дождя, — и вот грохотнуло, блеснуло огнем. Косой ливень гулко ударил по тучно-зеленым холмам, по простору долины. Мальчики бросились бежать, а туча рокотала, догоняя их, и молнии распарывали вздрагивающий воздух. И вот гроза догнала их, первые тяжелые капли шлепнулись на землю из разодранного неба. Сладко запахло озоном. На бегу они жадно вдыхали этот запах грозы.

Когда сворачивали уже к дому, на подъездную аллею, дождь обрушился на них сплошным водопадом. Они мгновенно промокли; с волос, прилипших ко лбу, вода заструилась в глаза, индюшиные перья на висках согнулись под тяжестью ливня.

Теперь — промокшим — бежать им стало незачем. Они остановились, переглянулись, засмеялись радостно. Арон крутнул тушку кролика, выжимая из меха воду, подбросил в воздух, поймал, кинул Кейлу. А тот, дурачась, надел кролика себе на шею горжеткой. И оба мальчика покатались со смеху. А дождь шумел в дубах, и ветер лохматил их величавые кроны.

2

Подходя к дому, близнецы увидели, что Ли, продев голову в прорезь желтой клеенчатой накидки-пончо, ведет к навесу какую-то чужую лошадь, запряженную в легонькую коляску на резиновых шинах.

— У нас гости, — сказал Кейл. — Гляди, коляска.

И они побежали бегом, потому что приезд гостей — целое событие. У крыльца перешли на шаг, осторожно обогнули дом, потому что при гостях они всегда робели.

Вошли в заднюю дверь, в кухню, остановились; с них текло. В гостиной слышались голоса — отцовский и еще какой-то, мужской, чужой. И вдруг раздался третий голос, от которого екнуло под ложечкой и спину щекотнуло мурашками. Женский голос. А женщин в доме здесь мальчики еще не видели. Они на цыпочках прошли в свою комнату, переглянулись.

— Кто это, как по-твоему? — спросил Кейл.

Арона вдруг озарило, как вспышкой. Он чуть не крикнул: «Может, это мама! Может, вернулась!» И тут же вспомнил, что мама ведь на небесах, а оттуда нет возврата. Он сказал:

— Не знаю. Надо переодеться.

Мальчики надели рубашки и комбинезоны — в точности такие же, как те, что сняли, но сухие и чистые. Отвязав намокшие перья, причесали пятерней волосы. И все время им слышны были голоса — низкие мужские и высокий женский, и вдруг они замерли: до них донесся детский голос — девчоночий — и уж это их так взволновало, что даже язык отнялся.

Они тихонько вышли в коридор, подкрались к дверям гостиной. Кейл медленно-медленно повернул ручку и приоткрыл дверь — приподнял ее, чтоб не скрипнула. Они стали глядеть в узенькую щелку, и за этим делом и застиг их Ли, когда вошел черным ходом и сбросил в коридоре пончо.

— Мало-мало подсматливай? — произнес Ли. Кейл тут же прикрыл дверь, язычок ее щелкнул, и Ли поспешил сказать:

— Отец приехал. Входите, что же вы?

— А кто там еще? — осипло шепнул Арон.

— Проезжие. От дождя укрылись. — И, положив свою ладонь поверх пальцев Кейла, Ли повернул ручку и открыл дверь.

— Мальсики домой плисла, — объявил он и удалился, оставив их на пороге, на виду у всех.

— Входите, мальчики! Входите! — пригласил Адам.

Они вошли потупясь, нога за ногу, исподлобья поглядывая на гостей. Мужчина одет по-городскому. А женщина — такой нарядной они в жизни не видали. Плащ ее, шляпа, вуаль лежат рядом на стуле, а сама вся в черном шелку и черных кружевах. Даже подбородок подпирают

кружева на распорочках. Казалось бы, уже и этого довольно, но нет. Рядом с женщиной сидит девочка, немного помоложе близнецов. На ней клетчато-голубая шляпка с полями, обшитыми спереди кружевцем. Платье цветастое, и поверх него — фартучек с карманами. Длинный подол платья отвернулся, и виднеется красная вязаная нижняя юбочка с кружевной каймой. Лицо скрыто полями шляпы, а руки сложены на коленях, и на среднем пальце правой блестит золотой перстенок с печаткой.

Мальчики даже дышать перестали, и от недостатка воздуха перед глазами поплыли красные круги.

— Мои сыновья, — сказал отец. — Близнецы. Это Арон, а это Кейлеб. Мальчики, поздоровайтесь с гостями.

Мальчики приблизились понурясь, подавая руки так, точно в плен сдавались. Сперва господин, затем кружевная дама пожали их вялые руки. Арон уже хотел отойти, но дама сказала:

— А с моей дочерью разве не здороваешься?

Арон вздрогнул, не глядя протянул в сторону девочки безжизненную руку. Но руку не взяли, не поймали, не пожали, не тряхнули. Она просто повисла в воздухе. В чем дело? Арон глянул сквозь ресницы.

Лицо девочки тоже опущено, да еще скрыто под шляпкой. Маленькая рука с перстнем тоже протянута, но не идет на сближение с Ароновой.

Он покосился на даму. Та улыбается, показывая зубы. В комнате давящая тишина. И тут Кейл фыркнул.

Арон дотянулся до девочкиной руки, ухватил, трижды качнул вверх-вниз. Она была мягкая, как лепесток. Его ожегло радостью. Он отпустил руку, спрятал свою в карман комбинезона. Поспешно пятясь, увидел, как подходит Кейл, учтиво подает руку, говорит: «Очень приятно». А сам Арон забыл сказать это «Очень приятно», и сейчас лишь, вслед за братом повторил — невпопад, запоздало. Адам и гости засмеялись.

— Мистер и миссис Бейкон чуть не попали под ливень, — сказал Адам.

— Мы еще удачно заблудились — близ вашей усадьбы, — сказал мистер Бейкон. — Мы ехали на ранчо к Лонгам.

— Оно южнее. Следующий поворот налево. — И Адам пояснил мальчикам: — Мистер Бейкон — окружной инспектор школ.

— Не знаю почему, но я очень серьезно отношусь к своей работе,— сказал мистер Бейкон и продолжал, тоже обращаясь к мальчикам: — Дочь мою зовут Абра. Чудное имя, верно? — спросил он снисходительным тоном, каким взрослые говорят с детьми. И, повернувшись к Адаму, процитировал нараспев: «Другого звал я. Но неожиданно, храбро Вместо него на зов явилась Абра». Мэтью Прайор¹. Не скрою, я желал сына, но теперь Абра для нас свет в оконце. Не прячь лица, милая.

Абра осталась в прежней позе. Руки опять сложены на коленях.

— «Вместо него на зов явилась Абра», — еще раз с чувством продекламировал мистер Бейкон.

Арон заметил, что брат смотрит на голубую шляпку без всякого страха. И проговорил сиплым голосом:

— По-моему, Абра вовсе не чудное имя.

— «Чудное» не в смысле смешное, — объяснила миссис Бейкон, — а в смысле необычное. — И, обратясь к Адаму: — Мой муж всегда отыскивает в книгах столько необычного. — И мужу: — Дорогой мой, не пора ли нам?

— Вы не спешите, — живо сказал Адам. — Ли сейчас принесет чаю. Вы согреетесь.

— Ах, с удовольствием! — сказала миссис Бейкон и продолжала: — Дети, дождь уже кончился. Идите на двор, поиграйте.

Голос ее прозвучал властно, и они вышли гуськом: Арон, за ним Кейл, а за Кейлом Абра.

3

— Красивые у вас места, — сказал мистер Бейкон, положив ногу на ногу. — А размеры у вашего ранчо приличные?

— Вполне, — сказал Адам. — Оно и за реку уходит. Земли порядочно.

— И за дорогой, значит, тоже ваша?

— Да. Стыдно признаться, но я ее всю запустил. Лежит необработанная. Может, в детстве слишком много на земле работал.

¹ Мэтью Прайор — английский поэт (1664—1721); цитата взята из поэмы «Соломон о суете мирской».

И мистер, и миссис Бейкон смотрели на него, явно ожидая объяснения, и он сказал:

— Ленив я, видимо. А тут еще отец оставил мне достаточно, чтобы жить, не занимаясь хозяйством.

Он, даже и не подымая глаз на гостей, почувствовал, что они успокоились. Раз он богат, значит, не ленив. Ленива только беднота. Равно как только беднота невежественна. А в богаче безграмотность — всего лишь каприз или своеобразность.

— Кто у вас занят воспитанием мальчиков? — спросила миссис Бейкон.

— Все воспитание, какое уж там есть, дает им Ли, — усмехнулся Адам.

— Ли?

Адама начали уже слегка раздражать расспросы.

— У меня только один человек служит, — сказал он коротко.

— Этот самый китаец? — Миссис Бейкон была несколько шокирована.

Адам спокойно улыбнулся ей. Опасливое чувство, вызванное у него этой дамой, уже прошло. Он сказал:

— Ли вырастил их, и обо мне все это время заботился.

— А женской заботы мальчики не знали?

— Нет.

— Бедные птенчики, — сказала миссис Бейкон.

— Они ребята диковатые, но крепкие, — сказал Адам. — Я запустил их точно так же, как землю. А теперь Ли уходит от нас. Не знаю, как мы будем без него.

Мистер Бейкон прокашлялся — прочистил горло для внушительных речей.

— А вы подумали об их образовании? — осведомился он.

— Нет. Об этом я пока особенно не думал.

— Муж мой твердо верит в образование, — сказала миссис Бейкон.

— На образовании зиждется будущность человечества, — сказал мистер Бейкон.

— На каком именно? — спросил Адам.

— Знающему человеку все доступно, — продолжал мистер Бейкон. — Да, факел знания — мой символ веры. — И, наклонясь к Адаму, он сказал доверительным то-

ном: — Коль скоро вы не намерены возделывать вашу землю, то вам бы стоило сдать ее в аренду и поселиться в нашем окружном городе, где хорошие школы.

У Адама чуть не вырвалось: «Какого вы черта лезете не в свои дела?»; но он сдержался и сказал:

— Вы думаете, стоит?

— Думаю, что мог бы подыскать вам хорошего, солидного арендатора,— сказал мистер Бейкон.— Почему бы вам не получать от земли доход таким способом, раз вы сами не хозяйствуете на ней?

Ли шумно внес чай. Из кухни, сквозь дверь он невнятно слышал голоса и по их тону чувствовал, что Адаму уже основательно надоел этот разговор. Ли был уверен, что гостям не понравится чай — во всяком случае, китайский зеленый, который он им заварил. И когда они стали пить и похваливать, он понял, что Бейконов задерживает не чай. Ли попытался поймать взгляд хозяина. Но Адам упорно глядел себе под ноги, на коврик.

— Мой муж уже много лет состоит в школьном совете...— начала миссис Бейкон, но Адам не слышал ее слов.

Он мысленно видел большой глобус, висящий, качающийся на ветке одного из здешних дубов. Затем почему-то вспомнился отец — топает на своей деревяшке, стучит по ней тростью, требуя от сыновей внимания. Припомнилось, с каким сурово-солдатским лицом он муштровал их, нагружал тяжелыми ранцами для развития спинных мышц. Под аккомпанемент голоса миссис Бейкон вспомнился, ощутился ранец, груженный камнями. Увиделось лицо Карла в едкой усмешке — злые, свирепые глаза Карла. Да, ярый нрав у брата... И вдруг захотелось повидаться с Карлом. Надо съездить к нему — и мальчиков взять. Он возбужденно хлопнул себя по ноге.

— Виноват? — Мистер Бейкон, говоривший что-то, умолк.

— Прошу прощения,— сказал Адам.— Вспомнилось одно дело, которое давно бы надо сделать.

Бейконы учтиво, терпеливо ждали объяснений.

«А что? — подумал Адам.— Я же в инспекторах ходить не собираюсь. В школьных советах не состою. Чего мне сюсюкать с ними?» И объяснил гостям:

— Я вспомнил, что уже больше десяти лет не писал

брату.—Покоробиешься от такой бестактности, гости обменялись многозначительными взглядами.

Ли разливал в чашки новую порцию чая. Щеки его весело надулись, он поспешил выйти в коридор, и Адам слышал, как он хохотнул там. Бейконы не стали комментировать слова Адама. Прокомментируют потом, по дороге, в коляске.

Ли предвидел, что теперь Бейконы уедут. Он тут же пошел запрягать, подвел коляску под крыльцо.

4

Выйдя на крытое небольшое крыльцо, дети постояли рядом, поглядели, как с раскидистых дубов льет и плещет дождевая влага. Ливень кончился, ушел к дальним раскатам громов, но дождь остался и, видимо, не скоро перестанет.

— А нам сказали, дождя нет,— проговорил Арон.

— Мама не глядя сказала,— мудро разъяснила Абра.— Она всегда не глядя говорит.

— Сколько тебе лет? — спросил Кейл.

— Десять,— ответила Абра.

— Хо! — сказал Кейл.— А нам одиннадцать.

Абра сдвинула шляпу на затылок, так что поля образовали ореол вокруг лица. Абра красива, темные волосы заплетены в косы. Лоб небольшой, округлый, выпуклый, брови ровные. Нос пуговкой, но позже оформится в красиво вздернутый. И уже оформились твердый подбородок и большой яркий рот, прелестный, как цветок. Светло-карие глаза глядят умно, остро и совершенно бесстрашно,— глядят прямо в лицо, в глаза то Кейлу, то Арону; и без следа исчезла стеснительность, которую Абра напустила на себя в доме.

— Не верю, что вы близнецы,— сказала Абра.— Вы непохожи друг на друга.

— И все равно мы близнецы,— сказал Кейл.

— И все равно мы близнецы,— эхом отозвался Арон.

— Близнецы бывают непохожие,— настаивал Кейл.

— И даже часто,— сказал Арон.— Ли нам объяснил. Если близнецы из одной клетки, то похожи. А если из двух, то нет.

— Мы из двух клеток,— сказал Кейл.

Абра снисходительно усмехнулась — до чего же темный народ эти фермерские дети.

— Из клеток. Ха! Из клеток,— повторила она — громко, без издевки, но теория Ли заколебалась, зашаталась. И Абра окончательно обрушила ее вопросом: — Вы что, из зоопарка? Или кролики?

Мальчики сконфуженно переглянулись. Они впервые столкнулись с неумолимой женской логикой, всепобеждающей даже тогда, когда она неверна — и, может быть, тут-то она и разит наповал. Это было ново для них, огорошивало, пугало.

— Ли — китаец,— объяснил Кейл.

— Ну, так бы сразу и сказал,— великодушно улыбнулась Абра.— Китайцы все живут в клетушках.— Она помолчала для пущей убедительности. И увидела, что возразить им нечего — она победила, взяла верх над мальчиками.

— Пошли в старый дом, поиграем,— предложил Арон.— Крыша протекает, но там хорошо.

Они пробежали под каплюющей листвой в старый санчесовский дом; полуотворенная дверь скрипнула, распахиваясь, на ржавых петлях.

В саманный толстостенный дом давно уже вернулись запустение и разруха. Большая зала, занимающая весь перед, оштукатурена лишь наполовину и так и брошена рабочими десяток с лишним лет назад. В окнах сменены рамы — и так и зияют незастекленные. Настланный пол в пятнах сырости, в углу куча старой бумаги и потемневших мешочков с гвоздями, окутанными ржавчиной.

Стоя на пороге, дети увидели, как из глубины дома вылетела летучая мышь. Серый призрак пометался от стены к стене, потом исчез в дверном проеме.

Мальчики провели Абру по дому, открывая чуланы, показывая умывальники, раковины, люстры, все еще нераспакованные, ждущие, чтобы их поставили и повесили. Пахло плесенью, сырыми обоями. Дети шли на цыпочках и молча, боясь будить в пустом доме гулкие отзвуки.

Воротились в залу.

— Ну, нравится тебе? — повернувшись к Абре, спросил Арон тихо, чтобы не проснулось эхо.

— Д-да,— неуверенно ответила Абра.

— Мы иногда тут играем,— сказал Кейл, смело глядя на нее.— Приезжай, будем играть вместе, если хочешь.

— Я ведь живу в Салинасе,— сказала Абра таким тоном, что близнецы поняли — она существо высшее и деревенскими забавами не интересуется.

Абра почувствовала, что пренебрежительно отвергла главное их сокровище,— и ей стало жаль их. Пусть мужчины народ хлипких качеств, но все же приятный. И к тому же она не грубиянка.

— Как-нибудь, когда мы будем проезжать здесь, я приду, поиграю с вами — немножко,— сказала она уже мягче, и оба мальчика благодарно просветлели.

— Я дам тебе моего кролика,— вдруг сказал Кейл.— Хотел отцу, но дам тебе.

— Какого кролика?

— Мы его сегодня застрелили, прямо в сердце стрелой. Он почти и не дернулся.

Арон возмущенно взглянул на брата.

— Это я...

Но Кейл перебил Арона.

— Ты его домой повезешь. Он довольно крупный.

— Зачем мне грязный кролик, весь в крови,— сказала Абра.

— Я ему вымою мех,— сказал Арон,— положу в коробку, обвяжу тесемкой, и если не хочешь его жарить, то можешь устроить ему похороны — у себя дома, в Салинасе.

— Меня уже берут на настоящие похороны,— сказала Абра.— Я вчера ездила. Цветов было — гора, как здесь до крыши.

— Так, значит, не хочешь нашего кролика? — спросил Арон.

Абра посмотрела на тугие солнечные завитки его кудрей, на глаза, готовые заплакать,— и в груди у нее что-то сжалось томяще и что-то горячо затлело — начальная искра любви. И потянуло притронуться к Арону. И она тронула его за руку — и ощутила дрожь в его руке.

— Ну, если уж в коробке,— сказала она.

Теперь, окончательно взяв над мальчиками верх, Абра оглядела побежденных. Тщеславиться она не стала. Мужское неповиновение больше не угрожало — и она исполнилась дружелюбия. Она заметила их стираную-перестиранную одежду, кое-где заплатанную, и ей вспомнились сказки о сиротах.

— Бедные вы,— сказала она.— Отец вас бьет?

Тронутые, но и удивленные, они качнули головой — нет, не бьет.

— Вы в нищете живете?

— В какой нищете? — спросил Кейл.

— Воду таскаете и хворост, как Золушка?

— Какой такой хворост? — не понял Арон.

— Бедняжки,— продолжала она, как бы не слыша переспросов, как бы держа в руке волшебный жезл с сияющей звездой.— А злая мачеха вас ненавидит и сживает со свету?

— У нас нет мачехи,— сказал Кейл.

— У нас нет ни мачехи, ни матери,— сказал Арон.— Мама умерла.

Слова эти разрушили сказку, сочиняемую Аброй, но тут же дали ей другой сюжет. Теперь она уже не фея с волшебным жезлом, а дама-благодетельница в большущей шляпе со страусовым пером, и в руке у нее громадная корзина, и из нее торчат ноги жареной индейки.

— Горькие вы мои сиротки,— сказала она нежно.— Я буду ваша мама. Буду брать вас на руки, баюкать и рассказывать вам сказки.

— Мы слишком большие,— сказал Кейл.— Ты с нами грохнешься со стула.

Абра отвернулась от него — фу, какой грубиян. А вот Арона ее сказка увлекла. Абра видела, как улыбаются его глаза, словно она уже баюкает его, а он покачивается в ее руках,— и опять в ней сладко сжалось сердце.

— Скажи, а вашу маму пышно хоронили? — спросила она ласково.

— Мы не помним,— отвечал Арон.— Мы маленькие были.

— А где похоронили? Вы ведь, наверно, носите цветы ей на могилу. Мы всегда носим — бабушке и дяде Альберту.

— Мы не знаем, где она лежит,— сказал Арон.

Глаза Кейла заинтересованно блеснули — в них пробудилось чуть ли не торжество. Он сказал наивным голоском:

— Я спрошу отца, где, и мы понесем ей цветы.

— Я с вами пойду,— сказала Абра.— Я умею делать венки. И вас научу. Научить? — спросила она замолчавшего грустно Арона.

— Научи,— проговорил он.

Ее потянуло опять дотронуться до него. Она потрепала его по плечу, коснулась щеки.

— Ваша мама будет рада,— сказала она.— Даже когда они на небесах, они глядят на землю и все видят. Так мой папа говорит. Он знает об этом стихотворение.

— Пойду кролика упакую. У меня есть коробка от брюк.— И Арон побежал домой. Кейл глядел ему вслед, усмехаясь.

— Ты чего улыбаешься? — спросила Абра.

— Да так,— сказал Кейл, в упор глядя на Абру.

Она решила его переглядеть. Она была на это мастерица. Но Кейл и не думал опускать глаза под ее взглядом. Первоначальная робость уже прошла, и он ликующе чувствовал, что выходит из-под ее власти. Он знал, что Арон ей больше по душе, но это было ему не ново. Почти всем больше нравится Арон с его золотистыми кудрями и открытой, простодушно-щенячьей манерой приязненно лхнуть. А чувства Кейла крылись глубоко и выглядывали осторожно, готовые тут же спрятаться или мстяще атаковать. И он уже начал карать Абру за то, что она предпочла Арона,— и это было тоже не ново. Он уже давно так поступал — с тех самых пор, как открыл в себе способность карать. И эти тайные отместки стали как бы его творчеством.

Пожалуй, разницу между двумя братьями можно выразить так. Увидев муравейник на полянке, Арон ляжет на живот и займется наблюдением сложной жизни муравьев. Вот одни тащат добычу муравьиными тропами, другие переносят белые яйца-коконы. Вот два земляка-муравья при встрече касаются друг друга усиками, толкуют о чем-то. Часами будет Арон так лежать и глядеть, поглощенный этой земляной жизнью.

А Кейл, наткнувшись на тот же муравейник, раскидает его ногой и полюбуется на то, как муравьи ошалело борются с бедой. Арону занятно быть частью живого мира; Кейлу же непременно надо этот мир переустроить.

Кейл давно знал, что Арон нравится людям больше, чем он, но научился вознаграждать себя за это: он расчетливо ждал, пока те, кто предпочел Арона, не подставят свою уязвимую сторону — и скрытно бил по ней, а жертва даже не догадывалась, за что ей мстят. И это

мщение давало Кейлу радость власти. Сильней, неразбавленной чувства, чем эта торжествующая радость, он не знал. Он не питал к Арону неприязни — напротив, любил его, потому что Арон-то и был причиной этих радостей. Кейл уже и позабыл, что мстит за то, что его любят меньше Арона, — а может, и вообще никогда этого не сознавал. Дошло до того, что он и не желал уже быть на месте Арона — предпочитал свои радости.

Прикоснувшись к руке Арона и ласково с ним поговорив, Абра пробудила в Кейле потребность покарать. Мозг его заработал привычно — стал искать в Абре слабое место, и, вслушавшись в ее слова, проницательный Кейл тут же и нашел слабину. Мало кто из детей доволен своим возрастом. Одни хотят быть малышами, другие — взрослыми. Абра хотела быть взрослой. Она употребляла взрослые слова, имитировала, как умела, взрослые позы и чувства. С младенчеством она распростилась, а к вожделенной взрослости еще не подошла. И, уловив это, Кейл получил возможность разрушить ее муравейник.

Он знал, что брат провозится довольно долго. Искать коробку, смывать с меха кровь — на это нужно время. И на то, чтоб разыскать тесьму и завязать бантиком. А покамест Кейл начал уже побеждать. Он чувствовал, как слабеет уверенность Абры в себе, и знал, как ослабить ее еще больше.

Наконец Абра отвела взгляд и сказала:

— Что у тебя за манера так пялиться?

Кейл оглядел ее с ног до головы — медленно и холодно, как оглядывают, например, стул. Он знал, что так можно и взрослого смутить.

Абра не выдержала:

— Что я тебе — музейный экспонат?

— Ты в школу ходишь? — спросил Кейл.

— Конечно.

— В какой класс?

— В пятый.

— И тебе десять лет?

— Одиннадцатый.

Кейл засмеялся.

— Что ты смеешься? — возмутилась она. Кейл молчал. — Что тут смешного? Отвечай же. — По-прежнему молчание. — Думаешь, что ты ужасно умный.

В ответ Кейл опять засмеялся, и Абре стало совсем неуютно. Она сказала:

— Твой брат очень задерживается... Смотри, дождь перестал.

— Он там возится, ищет,— сказал Кейл.

— Кролика?

— Да нет. Кролика искать не надо — кролик мертвый лежит. А он там ловит, а она, наверно, увертывается.

— Кто — она? Кто увертывается?

— Если скажу, он рассердится. Он готовит для тебя сюрприз. Поймал ее в пятницу. Она его даже укусила.

— Да кто — она?

— Откроешь коробку — увидишь. Спорим, он тебе скажет, чтобы сейчас не открывала.

Кейл говорил уверенно. Он знал брата.

Абра ощущала, что проигрывает — не только это сражение, но и всю кампанию. Она уже ненавидела Кейла. Мысленно она перебирала все обидные, осаживающие ответы, какие знала, — и беспомощно отбрасывала их, чувствуя, что все они отскочат от Кейла, как от стенки горох. Она молча вышла во двор, поглядела, нет ли на крыльце родителей.

— Пойду к ним в комнату,— сказала она.

— погоди,— сказал Кейл, идя вслед за ней.

Она повернулась к нему, холодно сказала:

— Что тебе?

— Не сердись на меня,— сказал он.— Ты не знаешь, как нам здесь живется. Посмотрела бы, какая у брата спина.

Эта перемена тона сбила ее с толку. Кейл уловил склонность Абры к романтическим сюжетам. Он говорил вполголоса, таинственно. И она тоже понизила голос:

— А что такое? Что у него со спиной?

— Вся в рубцах,— сказал Кейл.— Китайца работа.

У Абры пробежал по телу холодок интереса.

— А что китаец? Бьет его?

— Это бы еще что,— сказал Кейл.

— А почему вы не скажете отцу?

— Не смеем. Знаешь, что будет, если мы скажем?

— Не знаю. А что будет?

Он помолчал, как бы колеблясь, потом покачал головой:

— Нет... Боюсь даже тебе сказать.

В это время, ведя лошадь, Ли выкатил из конюшни высокую, на резиновом ходу, коляску. Мистер и миссис Бейкон вышли на крыльцо и первым делом поглядели на небо.

— Я потом как-нибудь,— бормотнул Кейл.— Сейчас нельзя — китаец догадается, что я сказал.

— Абра! Быстрее! Мы уезжаем,— позвала миссис Бейкон.

Ли держал нервную лошадь под уздцы, пока миссис Бейкон подсаживали в коляску.

Из дому выбежал Арон, неся картонную коробку, замысловато, с бантиками, перевязанную тесьмой. Протянул Абре.

— Вот,— сказал он.— Не открывай, пока не приедешь домой.

Кейл увидел, как ее лицо исказилось отвращением, руки отдернулись от коробки.

— Возьми же, милая,— сказал мистер Бейкон.— По-быстрее. Мы сильно запаздываем.— И, взяв коробку, сунул ее Абре.

Кейл шагнул к Абре.

— Я тебе что-то на ухо скажу,— проговорил он и шепнул: — Ты обмочилась со страху.

Она покраснела, надвинула на лицо шляпу. Миссис Бейкон подхватила дочь под мышки и помогла ей сесть.

Ли, Адам и мальчики смотрели, как лошадь взяла бодрой рысью.

Вдруг, еще до поворота, мелькнула рука Абры, и коробка полетела назад, на дорогу. Кейл видел, как омрачилось у брата лицо, загоревали глаза. Адам ушел в дом; Ли вынес миску с зерном — кормить кур. Кейл ободряюще обнял брата за плечи.

— Я хотел на ней жениться,— сказал Арон.— Я написал ей, вложил письмо в коробку.

— Не горюй,— сказал Кейл.— Я тебе дам пострелять из моей винтовки.

Арон живо повернул к нему голову.

— Никакой у тебя нету винтовки.

— Нету? А что, если есть? — сказал Кейл.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

1

Только за ужином близнецы осознали, что в отце произошла перемена. Прежде он был для них чем-то отвлеченно присутствующим — слышал их, но не слушал, глядел, но словно бы не видел. Не отец, а облако далекое. Он не научил сыновей делиться с ним своими увлечениями, открытиями, нуждами. Их связью со взрослым миром был Ли — и Ли не только растил, кормил, одевал их и приструнивал, но и сумел привить им уважение к отцу. Ли передавал им веленья этого таинственного отца, — отцовские установления, придуманные, разумеется, самим Ли и приписанные отцу.

За столом — вечером того дня, когда Адам вернулся из Салинаса — Кейла и Арона сперва удивило, а потом и смутило то, что Адам их слушает и задает вопросы, смотрит на них и видит их. Мальчики слегка оробели.

— Вы, я слышал, сегодня охотились, — сказал Адам.

Они насторожились — неожиданная перемена всегда настораживает людей. Помолчав, Арон ответил:

— Да, отец.

— И вернулись с добычей?

Еще длиннее пауза, и затем:

— Да, отец.

— С какой?

— Кролика застрелили.

— Из лука? Кто же из вас сумел?

— Мы стреляли оба, — сказал Арон. — Не знаем, чья стрела попала.

— Как это вы своих стрел не знаете? — сказал Адам. — Мы в детстве ставили знак на стрелах.

Арон не ответил, боясь угодить в западню. Тогда Кейл сказал:

— Стрела-то была моя. Но мы думаем, она могла попасть в колчан к Арону.

— Как же она там очутилась?

— Не знаю, — сказал Кейл. — Но, по-моему, это Арон застрелил.

— А ты как думаешь? — Адам перевел глаза на Арона.

— Может, и я, только я не уверен.

— Что ж, оба вы ведете дело по-благородному.

Тревога сошла с лиц у мальчиков. Западни, значит, никакой нет.

— А где тот кролик? — спросил Адам.

— Арон подарил его Абре, — сказал Кейл.

— Она его выкинула, — сказал Арон.

— Почему?

— Не знаю. А я хотел на ней жениться.

— Жениться?

— Да, отец.

— А ты не возражаешь, Кейл?

— Да пусть женится, — сказал Кейл.

Адам рассмеялся — впервые на памяти мальчиков. Спросил:

— Хорошая она девочка?

— Еще бы, — сказал Арон. — Еще какая хорошая. Добрая она.

— Что ж, я рад, что у меня будет такая невестка.

Ли убрал со стола и, пошумев в кухне посудой, вернулся.

— А теперь спать, ребята, — сказал он.

Ребята протестующе нахмурились.

— Садись. Пусть и они еще посидят, — сказал Адам.

— Счета подбиты, — сказал Ли. — Можем просмотреть все цифры еще сегодня.

— Какие цифры, Ли?

— По дому и по ранчо. Вы сказали, что хотите знать, чем располагаете.

— Все цифры за десяток с лишним лет?

— Вы ведь раньше вникать не хотели.

— Это правда. Но ты сядь, посиди. Арон хочет взять в жены девочку, нашу сегодняшнюю гостью.

— Они уже помолвились? — спросил Ли.

— По-моему, предложения она пока не приняла, — сказал Адам. — У нас еще есть время на раздумье.

Быстро освоившись с переменой в отце, во всей атмосфере за столом, Кейл принялся уже критическим оком рассматривать этот очередной муравейник — как бы его половчей раскидать. И сказал:

— Да, Абра ничего. Она мне понравилась. И знаете, почему? Она сказала — спросите у отца, где могила вашей мамы, и носите ей цветы.

— Ты нам позволишь? — спросил Арон. — Она сказала, что научит нас делать венки.

У Адама тревожно завихрились мысли. Ко лжи он не имел ни склонности, ни навыка. Но ответ явился тут же, навернулся на язык с ужаснувшей Адама естественностью.

— Жаль, ребята, но придется вас огорчить. Могила мамы на другом конце страны, в ее родных местах.

— А почему там? — спросил Арон.

— Люди иногда хотят, чтобы их похоронили на родине.

— А как ее туда перевезли? — спросил Кейл.

— Мы погрузили гроб в вагон — так ведь, Ли?

Ли кивнул.

— У нас это тоже в обычае, — сказал он. — Почти всех умерших китайцев отсылаем в Китай, хороним на родине.

— Я знаю, — сказал Арон. — Ты нам уже рассказывал.

— Разве? — сказал Ли.

— Рассказывал, — подтвердил Кейл, смутно разочарованный.

— Мистер Бейкон дал мне сегодня совет, — сказал Адам, торопясь переменить тему. — Вот послушайте, мальчики. Он советует нам переселиться в Салинас — там школы лучше и ребят больше, а тут вам играть не с кем.

Слова Адама ошеломили близнецов.

— А как же наше ранчо? — спросил Кейл.

— Ранчо у нас останется — на тот случай, если захотим вернуться.

— В Салинасе Абра живет, — проговорил Арон. И для Арона этим все решилось. Он уже забыл об отвергнутом кролике. Помнил только фартучек, голубую шляпу, пальцы, нежные, как лепестки.

— Подумайте хорошенько, мальчики. А теперь, пожалуйста, пора вам спать. Вы сегодня не ходили в школу, — почему?

— Учительница заболела, — сказал Арон.

— Мисс Калп уже три дня болеет, — подтвердил Ли. — Занятия только с понедельника. Идемте, мальчики.

Они послушно пошли за ним.

Адам сидел, с зыбкой усмешкой глядя на лампу и постукивая пальцем по колену. Вернулся Ли.

— Им что-нибудь известно? — спросил Адам.

— Не знаю, — сказал Ли.

— Может, это просто девочка заговорила о венках...

Ли сходил на кухню, принес большую картонную коробку.

— Вот счета. За каждый год в отдельной пачке, стянутой резинкой. Я их проверил. Тут за все годы.

— За все годы?

— Отдельная тетрадь за каждый год и счета, все оплаченные. Вы хотели знать, чем располагаете. Вот, пожалуйста. Вы в самом деле хотите переехать?

— Подумываю.

— Надо бы вам каким-то способом сказать сыновьям правду.

— Тогда сгинет у них светлый образ матери.

— Но есть же другая угроза.

— Какая?

— Они рискуют услышать правду от чужих людей. Многие ведь знают.

— Чем старше они будут, тем, может, легче им будет принять эту правду.

— Сомневаюсь, — сказал Ли. — Но главная опасность в другом.

— В чем же?

— Ложь — вот что опасно. Ложь отравит все. Если они когда-нибудь обнаружат, что вы лгали им в этом, то и в правдивых вещах усомнятся. Рухнет вся их вера в вас.

— Я понимаю. Но что я могу им сказать? Полную правду нельзя.

— Возможно, следует сказать им хотя бы часть правды, чтобы потом, если они узнают, не разрушилась их вера в вас.

— Я подумаю, Ли.

— Если переедете в Салинас, риск еще возрастет.

— Я подумаю.

— Я был совсем мал, когда отец рассказал мне о матери, и рассказал, не щадя меня, — продолжал Ли настой-

чиво.— И не однажды повторял этот рассказ по мере того, как я рос. Конечно, мать у меня была иная, но и у нас произошло ужасное. И я рад, что он открыл мне. Лучше мне было знать, чем не знать.

— И ты хочешь рассказать мне?

— Нет, не хочу. Но, рассказав, я убедил бы вас, возможно, сказать что-нибудь мальчикам. Ну, например, что она уехала, а куда, вы не знаете.

— Но я же знаю.

— Да, в том-то и беда. Правда должна быть полная, иначе неизбежно войдет в нее ложь. Но принудить вас к полной правде я не могу.

— Я подумаю,— опять сказал Адам.— Так что же стряслось с твоей матерью?

— Вы действительно хотите, чтобы я рассказал?

— Если тебе это не слишком тяжело.

— Я буду краток,— сказал Ли.— В первом моем младенческом воспоминании я живу вдвоем с отцом в темной хибарке среди картофельного поля и отец рассказывает мне о матери. Мы говорили с ним на кантонском диалекте, но эту быль он всегда рассказывал высоким и красивым языком — мандаринским. Что ж, слушайте.— И Ли углубился в былое.

— Начну с того, что когда строили на американском Западе железные дороги, то каторжный труд возведения насыпи, укладки шпал и рельсов достался тысячам и тысячам китайцев. Они стоили дешево, были работящи, и если гибли, то отвечать за них не приходилось. Их везли большей частью из Кантона, поскольку тамошний народ невелик ростом, крепок и вынослив, и к тому же смиренного нрава. Их вербовали по контракту; судьба моего отца — весьма обычная судьба.

Надо вам сказать, что китаец должен ко дню Нового года расплатиться со всеми долгами, чтобы начать год чистым. Иначе он ввергает себя в позор — более того, все семейство, весь род считается опозоренным. Никакие отговорки и резоны не берутся во внимание.

— Обычай неплохой,— сказал Адам.

— Да уж каков ни есть, но обычай. И моему отцу не повезло. Он не смог уплатить долг. Семейство собралось и обсудило положение. А семейство наше уважаемое. В невезенье нет ничьей вины, но невыплаченный долг —

долг всего семейства. И семейство уплатило за отца с тем, чтобы он расплатился позднее; но расплатиться отцу было нечем.

Вербовщики железнодорожных компаний манили той выгодой, что подпиши контракт — и тут же получай солидную часть денег. И потому к ним шло множество людей, увязших в долгах. Выход вполне честный и разумный. Но горе было вот в чем.

Отец был человек молодой и недавно женился, и привязанность его к жене была очень сильна, глубока, горяча, а уж любовь жены к нему и вовсе необорима. Тем не менее они простились по доброму китайскому обряду в присутствии глав рода. Я часто думаю, что обрядность может смягчить муку, не дает сердцу разбиться.

Шесть недель — до прибытия в Сан-Франциско — завербованные теснились, как скот, в черном трюме судна. Каково там было, можете себе вообразить. Но все же человеческий груз надо было доставить в пригодном для работы состоянии, так что явных издевательств не было. А мой народ веками привык тесниться в невыносимых условиях и при этом сохранять опрятность и не умирать с голоду.

Неделю уже пробыли в море, когда отец вдруг обнаружил, что жена его тут же — в трюме. Одета в мужскую одежду, волосы заплетены в мужскую косу. Она притаилась, молчала и осталась не замечена, — в те времена ведь не было медосмотров и прививок. Она перенесла свою циновку, села рядом с отцом. Они могли переговариваться только тихим шепотом на ухо, в темноте. Отец рассержен был ее неповиновением — но и рад.

Такие-то получились дела. Оба они были обречены на пять лет каторжного труда. Прибыв в Америку, бежать? Это им не приходило в голову — они ведь люди честные и подписали контракт.

Ли помолчал.

— Я думал, расскажется в немногих словах, — проговорил он. — Но вам вся обстановка незнакома. Я принесу себе воды. Вы не хотите?

— Принеси и мне, — сказал Адам. — Одного только не пойму. Разве такой труд под силу женщине?

— Сейчас вернусь, — сказал Ли. Принес из кухни воду в двух жестяных кружках, поставил на стол. Спросил:

— Так что вам непонятно?

— Как она могла выполнять тяжелый мужской труд? Ли улыбнулся.

— Отец говорил, она была сильная. И, по-моему, женская сила сильнее мужской, особенно когда в сердце у женщины любовь. Любящая женщина почти несокрушима.

Адам поморщил губы.

— Когда-нибудь вы в этом сами убедитесь,— сказал Ли.

— Да я не то чтобы не верю,— сказал Адам.— Как я могу судить обо всех женах по одной скверной? Но рассказывай же.

— Об одном только мать ни разу не шепнула отцу за все это тяжкое плаванье. И поскольку очень многих там свалила морская болезнь, то нездоровье матери не привлекало к себе внимания.

— Неужели беременна была? — воскликнул Адам.

— Да, была беременна,— сказал Ли.— И не хотела огорчать отца еще и этим.

— А садясь на пароход, знала о своей беременности?

— Нет, не знала. Являться в мир я надумал в самое неподходящее время. А рассказ мой получается длинен.

— Раз уж начал, то досказывай,— сказал Адам.

— Придется. В Сан-Франциско всем этим живым грузом набили телячьи вагоны, и паровозы повезли его, пыхтя, в Скалистые горы. Предстояло рыть под хребтами туннели, ровнять холмы под полотно. Мать и отца везли в разных вагонах, и они увиделись только в рабочем лагере, на горном лугу. Красиво было там — зеленая трава, цветы и снежные верхи гор вокруг. И только там она сказала отцу обо мне.

Они стали работать. У женщин мышцы тоже крепнут, как и у мужчин,— а мать была и духом крепка. Она исполняла, что требовалось, долбила киркой и копала лопатой, и мучилась, должно быть, как в аду. Но всего горше, неотвязней и ужасней была для обоих мысль, что рожать ей будет нигде.

— Неужели они были настолько темные? Пошли бы к начальству, сказали, что она женщина, что беременна. О ней бы как-то позаботились.

— Вот видите. Придется пояснить и это,— сказал

Ли.— Потому и получается длинно. Не были они темные. Но этот людской скот был привезен для одной только цели — для работы. Чтобы потом всех оставшихся в живых отправить обратно в Китай. Сюда везли только самцов. Самок не брали. Америка не желала, чтобы они тут плодились. Семья — мужчина, женщина и ребенок — не может угнездиться, врыться в землю, пустить корни. Поди ее потом выкорчуй. Толпа же мужчин, беспокойных, терзаемых похотью, полубольных от тоски по женщине, — такая толпа корней не пускает и готова ехать куда угодно, а тем более домой. И моя мать была единственная женщина в этой полубезумной, полудикой орде мужчин. Чем дольше работали и жили они здесь, тем беспокойней становились. Для хозяев они были не люди, а зверье, которое становится опасным, чуть только дашь послабление. Теперь вы поймете, почему мать не шла к хозяевам за помощью. Да ее бы мигом убрали из лагеря и — кто знает? — возможно, пристрелили бы и закопали, как сапную лошадь. Пятнадцать человек были застрелены за строптивость.

Нет уж, родители мои помалкивали — бедный наш народ от века приучен к немой покорности. Наверное, возможен и другой образ жизни — без кнута, без петли и без пули, — но никак не привьется он что-то. Напрасно я этот рассказ начал...

— Почему ж напрасно? — возразил Адам.

— Помню, с каким лицом рассказывал отец мне. Все старое горе воскресало в душе, вся боль и рана. Отец среди рассказа примолкал и, взяв себя в руки, говорил дальше сурово, жесткими, резкими словами, точно стегал себя ими.

Они с матерью держались бок о бок под тем предлогом, что они, мол, дядя и племянник. Так шли месяцы, и, к счастью, живот у матери не слишком выдавался, и она кое-как перемогалась. Отец опасливо и понемногу, но помогал ей в работе — племянник, мол, юн еще, кости хрупкие. Как дальше быть, что дальше делать, они не знали.

И вот отец надумал — бежать обоим в высокогорье, на один из альпийских лугов, и там у озера сделать шалаш для матери, а когда пройдут благополучно роды, самому вернуться и принять кару. Закабалиться еще на

пять лет — в уплату за бежавшего племянника. Горестен был этот его план, но другого не было, а тут, казалось, брезжила надежда. Надо было только успеть вовремя — и скопить еду.

— Мои родители...— На этом слове Ли приостановился, и так любо оно было его сердцу, что, улыбнувшись, он повторил и усилил его: — Мои дорогие родители стали готовиться. Оставлять часть дневной нормы риса, пряча под тюфяк. Отец нашел бечевку и сделал из куска проволоки крючок — в горных озерах водилась форель. Перестал курить, чтобы сберечь выдаваемые спички. А мать подбирала любую тряпицу, выдергивала нитку с краю, сшивала эти лоскутья-лохмотья, действуя щепочкой вместо иглы, — готовила мне пеленки. Как бы я рад был знать ее и помнить.

— И я бы тоже, — сказал Адам. — Ты Сэму Гамильтону об этом рассказывал?

— Нет. А жаль. Он любил то, что славословит душу человека. Свидетельства мощи ее были для него как праздник, как победа.

— Хоть бы удалось им это бегство...— проговорил Адам.

— Я вас понимаю. На этом месте я говорил отцу: «Беги же на озеро, доставь туда маму, пусть один хоть раз не будет неудачи. Хотя бы один раз скажи мне, что добрались до озера, сделали шалаш из еловых лап». И отец отвечал очень по-китайски: «В правде больше красоты, пусть это и грозная красота. Рассказчики, сидящие у городских ворот, искажают жизнь, подслащивают ее для ленивых, для глупых, для слабых, — и эта подсластка лишь умножает в них немощь и ничему не научает, ничего не излечивает и не возвышает дух человека».

— Досказывай же, — сказал Адам сердито.

Ли встал, подошел к окну и кончил свой рассказ, глядя на звезды, что мерцали и мигали на мартовском ветру.

— Валуном, скатившимся с горы, отцу переломило ногу. Ему наложили лубки, дали работу по силам калек — выпрямлять на камне молотком погнувшиеся гвозди. И тут, от тревоги за отца или же от тяжести труда — не все ль равно — у матери начались преждевременные роды. И весть о женщине ударила в полубезумных мужчин и обезумела полностью. Телесные лишения подхлестнули

плотскую нужду; притеснения — одно горше другого — разожгли в оголодалых людях гигантский, бредовый пожар преступления.

Отец услышал вопль: «Женщина!» — и понял. Он побежал, лубки слетели, со своей сломанной ногой он пополз вверх по скальному скату — к полотну будущей дороги.

Когда дополз, небо уже чернело скорбью, и люди расходились, чтобы затаиться и забыть, что они способны на такое. Отец нашел ее на куче сланца. У нее и глаз уже не осталось зрячих, но рот шевелился еще, и она сказала ему, что делать. Ногтями своими добыл меня отец из растерзанного тела матери. Под вечер она умерла там на куче.

Адам слушал, тяжело дыша. Ли продолжал мерно и певуче:

— И прежде чем возненавидеть их, знайте вот что. Всегда кончал заверением отец, что никогда еще так не заботились о ребенке, как заботились обо мне. Весь лагерь стал мне матерью. В этом есть красота — грозная красота. А теперь спокойной вам ночи. Больше уж не могу говорить.

3

Адам выдвигал ящики, искал на полках, открывал коробки — и, перерыв весь дом, вынужден был позвать Ли.

— Где у меня тут перо и чернила? — спросил он.

— У вас их нет, — сказал Ли. — Вы уже много лет ни слова не писали. Хотите, я принесу свои.

Он пошел к себе в комнату, принес широкую бутылочку чернил, ручку с пером «рондо», стопку почтовой бумаги, конверт, положил все это на стол.

— Как ты догадался, что письмо буду писать? — спросил Адам.

— Вы хотите писать брату, так ведь?

— Так.

— Трудное это будет дело — после такого долгого молчания.

И действительно. Адам грыз ручку, чесал ею в затылке, морщился, хмурился. Напишет несколько фраз — и скомкает листок, и начинает заново.

— Ли, если я съезжу на восток, ты останешься с детьми на это время?

— Ехать проще, чем писать,— сказал Ли.— Конечно, останусь.

— Нет. Я напишу.

— Вы пригласите брата приехать.

— А это мысль. Как я сам не додумался...

— Вот и будет повод для письма, исчезнет неловкость.

После этого письмо написалось довольно легко. Адам перечел, почеркал немного, переписал начисто. Еще раз медленно прочел, вложил в конверт.

«Дорогой брат Карл,— начиналось письмо.— Эта весточка тебя удивит после стольких лет. Много раз я хотел писать, да все откладывал — сам знаешь, как оно бывает.

Как ты там у себя? Надеюсь, здоров? У тебя, может, пятеро, а то уже и десятеро деток. Ха-ха! У меня двое сыновей, двойняшки. А мать не с нами. Сельская жизнь оказалась не по ней. Живет в городе неподалеку, вижусь с ней иногда.

У меня отличное ранчо, но, к моему стыду, я его запустил. Теперь, может, займусь. Намерения-то у меня всегда хорошие. Но я похварывал эти годы. Теперь выздоровел.

Как тебе живется-можетс? Хотелось бы повидаться. Приезжай ко мне в гости. Край здешний хорош. Может, даже приглядишь себе тут место, поселишься. Холодных зим у нас не бывает. А это важно для нашего брата, старичья. Ха-ха!

Подумай-ка об этом, напиши мне, Карл. Поездка тебя развлечет. Хочется повидаться с тобой. Расскажу много такого, о чем в письме не напишешь.

Откликнись, Карл, сообщи, что нового на родине. Должно быть, немало всякого произошло. Стареешь, и то один приятель умирает, то другой. Так уж, видно, мир устроен. Не мешкай же, напиши, приедешь ли. Твой брат Адам».

Он посидел с письмом в руке, видя мысленно перед собой темное лицо брата, шрам на лбу. В карих глазах недобрый ярый блеск — и вот дернулись губы, оскалился слепо крушащий зверь... Адам тряхнул головой, прогоняя видение. Попытался вспомнить Карла улыбающимся, вспомнить лоб без шрама — но не смог четко представить ни то, ни другое. Схватив перо, приписал:

«Р. S. Карл, во мне никогда не было к тебе ненависти — несмотря ни на что. Ты мой брат, и я всегда тебя любил».

Адам сложил письмо вчетверо, с силой пригладил ногтем складки. Заклеил конверт, пристукнув кулаком.

— Ли! — крикнул он. — Эй, Ли!

Китаец заглянул в дверь.

— Ли, сколько дней идет письмо на Восток — на самый дальний, в Коннектикут?

— Не знаю, — сказал Ли. — Недели две, наверно.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

1

Отправив это первое за десять с лишним лет письмо брату, Адам стал с нетерпением ждать ответа. Ему казалось, письмо послано уже давно. Оно еще до Сан-Франциско не добралось, а он уже громко недоумевал, обращаясь к Ли:

— Странно, что Карл молчит. Может, обижен, что я не писал. Но ведь и он не писал. Правда, он и не знал, куда писать... А может, он переехал.

— Дайте письму дойти. Дней-то прошло немного, — откликнулся Ли из кухни.

«А приедет Карл сюда? — спрашивал себя Адам. — И буду ли я ему тут рад?» Теперь, послав письмо, Адам даже побаивался того, что Карл примет приглашение. Адаму не сиделось, не молчалось — как неугомонному ребенку. Он не давал покоя близнецам, без конца расспрашивал их о школе.

— Ну, чему вы сегодня выучились?

— Да ничему.

— Как так ничему? Учили же что-то? Читали же что-нибудь?

— Читали, отец.

— Что именно?

— Басню про кузнечика и муравью.

— Басня интересная.



«НА ВОСТОК ОТ ЭДЕМА». Часть третья



«НА ВОСТОК ОТ ЭДЕМА». Часть третья

— В той книжке есть еще интересное — как орел унес ребенка.

— Помню такое. А чем там кончилось, забыл.

— Мы еще не проходили. Только картинки смотрели.

Мальчикам тошны были эти неуклюжие попытки Адама по-отцовски приглядеть за их учением, сблизиться с сыновьями. Во время одной из таких бесед Кейл взял у отца карманный нож, надеясь, что Адам забудет и ножик останется у него. Но тут ивы по-весеннему набухли соком и стало легко снимать кору с веточки цельной трубкой. Адам, вспомнив про нож, принялся учить сыновей, как делать свистки, — а Ли еще три года назад научил их. Вдобавок ко всему Адам забыл, где и как делать в коре прорез. Свистки отказывались свистеть.

Как-то в полдень приехал Уилл Гамильтон в новеньком форде, ревущем и подскакивающем на ухабах. Уилл знай давил на газ, и двигатель зря надрывался на нижней передаче, и откидной высокий верх автомобиля трялся, как судно в бурю. Медный радиатор и престолитовый бак, укрепленный сбоку на подножке, надраенно блестели, слепя глаз.

Уилл дернул рычаг тормоза, резко выключил мотор и откинулся на кожаном сиденье. Машину тряхнуло выхлопами, ибо мотор был перегрет.

— Вот и ваш автомобиль! — воскликнул Уилл с напускным воодушевлением. Он ненавидел форды лютой ненавистью, но именно на фордах богател день ото дня.

Адам и Ли нагнулись над распахнутым капотом, и Уилл, отпыхиваясь по-толстяцки, стал объяснять им работу механизма, в котором мало смыслил сам.

Ныне трудно и вообразить, до чего непросто было тогда научиться запуску, вождению и уходу за машиной. Сложное это было искусство, и к тому же отсутствовала всякая привычка. Современная детвора впитывает с колыбели познания и навыки автомобилизма, тонкости работы двигателей внутреннего сгорания; а в те времена человек приступал к делу в темной убежденности, что машина и с места не стронется, — и порой оказывался прав. Чтобы завести современную машину, нужно всего лишь повернуть ключ зажигания и включить стартер. Все остальное совершается автоматически. В начале же века было куда сложнее. Требовалась не только хорошая память, крепкие руки,

ангельское терпение и неугасимая надежда, но и определенная толика колдовства, так что за пусковую рукоятку форда модели «Т» многие брались не иначе, как сплюнув и прошептав заклятие.

Уилл Гамильтон объяснил, как обращаться с фордом, затем объяснил повторно. Слушатели внимали широко-глазо, заинтересованно-чутко, как терьеры, не прерывая ни словечком,—но, в третий раз начав объяснение, Уилл понял, что толку не будет.

— Знаете что,— сказал он бодро.— Инструктаж не по моей части. Я хотел лишь предварительно, так сказать, продемонстрировать вам вашу машину. Теперь я вернусь в город, а завтра пришлю вам ее со специалистом, и от него вы в несколько минут усвоите больше, чем от меня за неделю. А я просто хотел показать вам ее.

Но Уилл уже забыл свои собственные наставления. Сколько ни пытался, он так и не завел мотора — и уехал в город на адамовой пролетке, заверив, что механик явится завтра же.

2

Назавтра близнецы остались дома,— о школе не могло быть и речи. Форд стоял высокий, отчужденно-суровый под дубом, где Уилл его оставил. Новые владельцы, окружив машину, то и дело осторожно к ней прикасались,— так успокаивают прикосновением норовистую лошадь.

— Я к ней вряд ли когда-нибудь привыкну,— сказал Ли.

— Еще как привыкнешь,— сказал Адам без особой уверенности.— Скоро по всему округу станешь разъезжать.

— Понять устройство я попробую,— сказал Ли.— Но водить не стану.

Мальчики тянулись к рычагам — тронут что-нибудь и поскорей отпрянут.

— Что это за держачок, отец?

— Руками не трогай.

— А зачем он?

— Не знаю, но трогать не надо. Всякое может случиться.

— А тот дяденька не говорил, зачем он?

— Не помню, что он говорил. Отойдите от машины, мальчишки, а то в школу пошлю. Слышишь, Кейл? Не открывай дверцу.

Встали они очень рано — и начали ждать. К одиннадцати часам их уже лихорадило от нетерпения. Но только к полудню приехал на пролетке механик. Он был в щегольских полуботинках с твердым квадратным носком, в модных брючках, в широком, прямого покроя пиджаке чуть не до колен. У ног его в пролетке стояла сумка с инструментом и рабочей одеждой. Ему было девятнадцать лет, он жевал табак и с трехмесячных автомобильных курсов привез безграничное и усталое презрение к роду людскому. Сплюнув на землю, он бросил вожжи китайцу.

— Уведите эту сеножевалку, — сказал он. — Как это вы не путаетесь, каким концом заводить ее в оглобли?

И сошел с пролетки, как полномочный посол выходит из президентского поезда. Окинул едко-насмешливым взглядом близнецов, холодно повернулся к Адаму.

— Надеюсь, я не опоздал к обеду, — сказал он.

Адам и Ли растерянно переглянулись. Они и позабыли про обед.

Войдя в дом, божественный пришелец морщась принял подношение — бутерброды с сыром и бужениной, пирог, кофе, кусок шоколадного торта.

— Я привык к горячему обеду, — сказал он. — А пацанов советую не подпускать к машине, если она вам дорога.

Не спеша поев и посидев на крылечке, механик удалился со своей сумкой в спальню Адама. Через несколько минут он вышел оттуда в полосатом комбинезоне и белом картузике, на котором спереди красовалось «Форд».

— Так, — сказал он. — Руководство проштундировали?

— Что? — не понял Адам.

— Книжицу, какая под сиденьем.

— Я не знал, что она там, — сказал Адам.

— О господи, — вздохнул юнец брезгливо. Собрав все силы своего мужественного духа, он решительно шагнул к машине.

— Ладно, начнем, — сказал он. — Бог знает сколько придется канителиться, раз вы не проштундировали.

— Мистер Гамильтон не смог вчера завести мотор,— сказал Адам.

— Он вечно забывает переключить на батарею,— изрек юный мудрец.— Ладно же. Топайте сюда. С работой двигателя внутреннего сгорания знакомы?

— Нет,— сказал Адам.

— О господи боже мой! — Он поднял жестяные створки.— Вот это вот — двигатель внутреннего сгорания.

— Такой молодой — и уже эрудит,— произнес Ли как бы про себя.

Юноша крутнулся к нему.

— Ты чего это? — спросил, нахмурившись. Повернулся к Адаму: — Чего этот китаёза мелет? Кто ерундит?

Ли учтиво улыбнулся, развел руки в стороны.

— Моя говолила, твоя умный-умный,— пояснил он негромко.— Колледз, навелно, концала. Клепко умный.

— Зовите меня просто Джо,— произнес юноша ни с того ни с сего.— Колледж? Что эти образованные знают? Могут они зажигание отрегулировать? А? Зачистить надфилем контакт умеют? Колледж!

И сплюнул презрительно — цыкнул коричневой табачной струйкой. Близнецы восхищенно глядели на него; Кейл тут же стал накапливать слюну для пробных сплевов.

— Ли восхищается тем, как вы знаете дело,— сказал Адам.

Юноша полностью смягчился.

— Зовите меня просто Джо,— объявил он снова.— Еще бы мне не знать дела. Я кончил автошколу в Чикаго. Это вам не колледж, это школа настоящая.— И прибавил великодушно: — Мой родитель говорит: хороший китаёза — но только хороший — такой же человек, как и все мы. Китайцы, они честные.

— Если плохие, то нечестные,— сказал Ли.

— Ну само собой! Я не про бандитов всяких. Я про хороших.

— Меня вы — хочу надеяться — включаете в их число?

— Да вроде бы ты из хороших. Зовите меня просто Джо.

Настойчивое это напоминание удивило Адама, но близнецов не удивило.

— Зовите меня просто Джо,— сказал Кейл Арону в целях тренировки.

— Зовите меня просто Джо,— откликнулся тот беззвучно — опробовал фразу губами.

Механик опять заговорил инструкторским тоном, но уже помягче — не насмешливо, а дружески усмешливо.

— Вот это вот — двигатель внутреннего сгорания.

Они поглядели на уродливо-замысловатый ком железа не без благоговейного страха.

— Работает на принципе вспышки газов внутри замкнутой камеры,— зачастил юнец, и слова его слились в великую песнь новой эры.— Воспламененный газ давит на поршень, и через шатун, коленчатый вал, трансмиссию движение передается на задние колеса. Ясно? (Они растерянно кивнули, боясь прервать этот поток слов.) Двигатели бывают двух типов: двухтактные и четырехтактные. Этот вот — четырехтактный. Ясно?

Слушатели опять кивнули. Близнецы, завороченно глядя механику в лицо, кивнули тоже.

— Это интересно,— проговорил Адам.

— Главное отличие форда от других автомобилей,— частил дальше Джо,— состоит в планетарной передаче, рева-лю-ци-зи... ни-зи... рующей автомобиль,— выговорил он с трудом и остановился передохнуть. Четверо слушателей опять кивнули, и он сказал предостерегающе: — Пусть вам не кажется, что вы уже все знаете. Учтите, планетарный механизм рева-лю-ци-зирует машину. Советую проштундировать по книге. А теперь, если это ясно, перейдем к Вождению Автомобиля.— Последние два слова он произнес важно и торжественно. Он был явно рад, что теоретическая часть осталась позади, но еще больше рады были слушатели. Они уже начали изнемогать от напряженного вникания — тем более что не поняли ни единого слова.

— Встаньте поближе,— сказал механик.— Видите эту штуковину? Это ключ системы зажигания. Повернул — и машина готова к заводке. Вот этой штучкой щелкаешь налево — включаешь батарею. Видите надпись «Бат»? Сокращенно значит «батарея».

Они смотрели, вытянув шеи. Близнецы влезли на подножку.

— Нет, погодите. Я заскочил вперед. Раньше надо задержать искру и подать газ, иначе так ударит — руку

отшибет к чертям. Вот это — видите? — искра. Двигаешь вверх — понятно? Вверх. До упора. А вот это — газ — жмешь вниз. Теперь я буду объяснять и тут же показывать. Следите внимательно. А вы, пацанье, слезай с подножки. Вы мне свет застите. Да слазь, говорю.

Мальчики неохотно сошли наземь; теперь над дверцей виднелись только их глаза.

Юноша набрал в легкие воздуху.

— Ну, готовы? Искру задержал, газ подал. Искра — вверх, газ — вниз. Теперь переключай на батарею — налево. Запомнили? Налево. (Что-то внутри машины зажужжало, точно гигантская пчела.) Слышите? Это катушечный контакт. А если нет контакта, то отрегулируй или зачисти надфилем.

Он заметил смятение на лице у Адама.

— По книге проштундируете, — пояснил добродушно и шагнул к радиатору.

— Вот это вот — пусковая рукоятка. А это — видите? — проволочка торчит из радиатора — она от дросселя. Теперь внимание — показываю. Берем рукоятку вот так и толкаем в гнездо. Видите, большой палец держу прижатым к ладони. А если обхватить им рукоятку, то при обратном ударе она сломает этот палец к черту. Ясно?

Он, и не подымая глаз, знал, что они кивнут.

— Теперь глядите внимательно. Толкнул ее, значит, и повернул вверх, получаю сжатие — а тогда тяну проволочку не спеша, засасываю газ. Слышите, сосет? Это дроссель. Но если слишком потянуть, то рискуем затопить. Теперь проволочку отпускаю и вращаю рукоятку с силой — и, как только заработало, бегу назад — дать искру и нажать на газ, и дотягиваюсь, быстро переключая на магнето — видите, надпись «Маг». И готово дело.

Слушателей прошиб пот. Столько возни — и всего лишь мотор запустили.

Механик продолжал неумолимо:

— Теперь повторяйте за мной, чтоб заучить. Искра вверх — газ вниз.

— Искра вверх — газ вниз, — повторили они хором.

— Переключить на «Бат».

— Переключить на «Бат».

— Рукоятку на сжатие, большой палец прижат.

— Рукоятку на сжатие, большой палец прижат.

— Дроссель открыть — осторожно.
— Дроссель открыть — осторожно.
— Вертануть рукоятку.
— Вертануть рукоятку.
— Переключить на «Маг».
— Переключить на «Маг».
— Теперь повторим все сначала. Зовите меня просто Джо.

— Просто Джо.

— Да нет. Искра вверх — газ вниз.

Когда отгарабанили в четвертый раз, Адаму стало слегка тошно. Глупо как-то все это... И тут, словно на выручку, приехал Уилл Гамильтон в своем спортивном родстере.

— Шестнадцать клапанов у этой штучки, — почтительно произнес механик, глядя на подъезжающую низенькую красную машину. — Специсполнение.

— Ну как идет дело? — спросил Уилл, высунувшись из машины.

— Отлично, — сказал механик. — Ухватывают быстро.

— Слушай, Рой. Я за тобой приехал. У нового катафалка полетел подшипник. Предстоит тебе возиться до поздна, чтобы подать для миссис Хокс в одиннадцать утра.

Рой выпрямился деловито и готовно.

— Сейчас, только одежки возьму, — сказал он и побежал в дом. Выскочил со своей сумкой, но Кейл встал у него на дороге.

— Послушайте, — сказал Кейл. — Вас же зовут Джо.

— Чего?

— Вы говорили: «Зовите меня просто Джо». А мистер Гамильтон зовет вас Рой.

Рой со смехом прыгнул на сиденье родстера.

— Знаешь, почему я приговариваю: «Зовите меня просто Джо»?

— Нет. Почему?

— Потому что зовут меня Рой. — И, оборвав смех, строго сказал Адаму:

— Выньте руководство из-под сиденья и проштундуйте. Ясно?

— Ясно, — сказал Адам.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

1

Не только во времена библейские, но и в начале века случались еще на земле чудеса. Через неделю после инструктажа по главной улице Кинг-Сити шумно проехал форд и остановился, сотрясаясь, у почты. За рулем сидел Адам, рядом с ним — Ли, а позади восседали оба мальчика пряменько и важно.

Адам взглянул себе под ноги, и все четверо хором пропели:

— Нажать тормоз — снять газ — выключить.

Мотор взревел и заглох. Адам откинулся на спинку, посидел измочаленный, но гордый; затем сошел на тротуар, вошел в здание.

Почтмейстер поглядел на него сквозь прутья позолоченной решетки.

— Вы, я вижу, приобрели одну из этих чертовых тархтелок, — сказал он.

— Приходится не отставать от времени, — сказал Адам.

— Вот увидите, мистер Траск, придет пора, когда не останется ни одной лошади.

— Может, и так.

— Весь облик края из-за них переменится. Уже всюду они тархтят, — продолжал почтмейстер. — Даже у нас в конторе перемены. Раньше люди заявлялись за почтой раз в неделю. Теперь заезжают каждый день, а то и по два раза. Не терпится им получить свой дурацкий прейскурант «Товары почтой». Все на колесах. Все торопятся.

Он говорил с таким ожесточением, что Адаму ясно стало — у него еще нет форда, и он завидует.

— Ни за что не куплю, — заявил почтмейстер, и это значило, что жена уже давит на него. Давление исходит именно от женщин. Автомобиль для них — вопрос престижа, общественного положения.

Серdito порывшись среди писем в ячейке «Т», почтмейстер бросил Адаму длинный конверт.

— До встречи в хирургической палате, — ядовито сказал на прощание.

Адам улыбнулся ему, взял письмо и вышел.

Когда человек редко получает письма, он не спешит вскрыть конверт. Прежде взвесит его на руке, прочтет, кем и откуда послано, взглянется в почерк, в дату и надпись на штемпеле. Уже подойдя к форду, Адам все разглядывал конверт. В левом углу напечатано: «Беллоуз и Харви, юристы» и адрес — городок в Коннектикуте, на родине Адама.

— Я знаю их обоих,— сказал Адам бодрым голосом,— и Беллоуза и Харви, хорошо знаю. Что это я им зандобился? И как раздобыли мой адрес?— Он прищурился на конверт. Повернул его задней стороной, посозерцал.

— Ответ на эти вопросы, возможно, содержится в письме,— сказал Ли, наблюдавший с улыбкой.

— Пожалуй,— сказал Адам. Решившись распечатать, он достал карманный ножик, раскрыл большое лезвие, оглядел конверт, нет ли где щели, куда бы сунуть это лезвие, но не нашел таковой; определил положение письма в конверте, рассмотрев его на свет; встряхнул конверт, сдвинув письмо от края, и вспорол этот край. Дунул туда, двумя пальцами вынул письмо, стал медленно читать. Тон у письма был раздраженный.

«Мистеру Адаму Траску, Кинг-Сити, Калифорния.

Милостивый государь, вот уже в течение шести месяцев мы всеми возможными способами пытаемся разыскать Вас. Мы поместили объявления в газетах по всей стране, но безуспешно. Лишь после того, как местная почтовая контора передала нам Ваше письмо к брату, мы смогли установить Ваше местонахождение».

«Сердятся адвокаты»,— подумал Адам. Но в следующем абзаце тон резко менялся.

«Считаем своим печальным долгом сообщить Вам, что брат Ваш, Карл Траск, умер. Скончался он 12 октября от легочного недуга, проболев две недели. Прах его покоится на кладбище Тайных Братьев. Надгробие еще не поставлено. Полагаем, что этот скорбный долг Вы пожелаете исполнить сами».

Адам вдохнул всей грудью, перечел абзац и медленно выдохнул воздух, чтобы не получилось театрального вздоха.

— Мой брат Карл умер,— сказал он.

— Сочувствую вам,— сказал Ли.

— Он наш дядя? — спросил Кейл.

— Да, ваш дядя Карл,— сказал Адам.

— И мой тоже? — спросил Арон.

— И твой тоже.

— Я не знал, что у нас есть дядя, — сказал Арон. — Мы понесем ему на могилу цветы. Абра поможет. Она это любит.

— Могила далеко — на другом конце страны.

— А мы вот как сделаем, — возбужденно сказал Арон. — Когда повезем цветы маме, то и дяде Карлу повезем. — И добавил грустно: — Жаль, он был жив, а я его не знал. — И подумав: «Что-то у нас все родственники неживые», спросил: — Он был хороший?

— Очень, — сказал Адам. — Он был единственный мой брат — вот как у тебя Кейл.

— Вы тоже близнецы?

— Нет, просто братья.

— Он был богатый? — спросил Кейл.

— Откуда к нему богатство? А ты почему спрашиваешь?

— Если б он был богат, то наследство досталось бы нам. Так ведь?

— Когда умирает близкий, нехорошо говорить о деньгах. Мы печалимся, потому что он умер, — строго сказал Адам.

— Как я могу печалиться? — сказал Кейл. — Я его даже ни разу не видел.

Ли прикрыл губы рукой — спрятал улыбку. Адам вернулся к письму; с нового абзаца тон его опять менялся.

«На нас, как на доверенных лицах покойного, лежит приятный долг сообщить Вам, что брат Ваш, благодаря своему трудолюбию и здравомыслию, скопил порядочное состояние; стоимость его земли вместе с ценными бумагами и деньгами превышает сто тысяч долларов. Завещание его, составленное и подписанное им в нашей конторе, находится у нас на руках и будет выслано Вам по получении Вашего запроса. Согласно завещанию все деньги, имущество и ценные бумаги должны быть разделены поровну между Вами и Вашей женой. Если жена Ваша умерла, все состояние отходит к Вам. В случае же Вашей кончины все достается жене. Но судя по Вашему письму, Вы живы и здравствуете; примите же поздравления от Ваших покорных слуг, Беллоуза и Харви.

Джордж Б. Харви».

И внизу листа приписка от руки:

«Дорогой Адам! Не забудь слуг твоих во дни благоденствия твоего. Карл был скарעד. За каждый доллар держался мертвой хваткой. Желаю вам с женой радости от этих денег. Нет ли в ваших местах вакансии для хорошего юриста (то есть для меня)?

Твой старый друг Дж. Харви».

Адам поднял глаза на мальчиков, на Ли. Все трое ожидали, что он скажет еще. Адам сжал губы. Вложил письмо обратно в конверт, спрятал во внутренний карман пиджака.

— Какие-то сложности? — спросил Ли.

— Нет.

— Мне показалось, вас что-то озаботило.

— Нет. Просто брата жаль.

Адам старался освоиться с вестью, и мысли беспокойно копошились, как наседка на гнезде. Надо будет потом, у себя в комнате обдумать... Он сел за руль, уставился отсутствующим взглядом на рычаги. Он начисто забыл, что с ними делать.

— Подсказка требуется? — спросил Ли.

— Странно! — сказал Адам. — Не помню, с чего и начать.

— Искра вверх — газ вниз — переключить на «Бат», — затащил негромко Ли вместе с мальчиками.

— Да, да. Конечно.

Зажужжала пчела в аккумуляторном ящике; заведя рукояткой мотор, Адам кинулся дать искру и переключить на магнето.

Когда медленно подъезжали к дому по выбоинам дубовой аллеи, Ли сказал:

— Мясо купить забыли.

— А ведь и верно. Обойтись не сможем?

— Яичница с грудинкой устроит?

— Вполне. Вполне устроит.

— Завтра вы отправите ответное письмо. Тогда и мясо купите.

— Пожалуй, — сказал Адам.

Пока готовилась еда, Адам сидел, глядя куда-то перед собой. Он уже понимал, что ему не обойтись будет без Ли, — пусть даже Ли только выслушает, одно уж это поможет прояснить мысли.

А Кейл повел брата в сарай, где отдыхал фورد. Открыл дверцу, сел за руль.

— Залезай, садись рядом,— сказал он.

— Отец нам не велел,—возразил Арон.

— Он не узнает. Садись!

Арон робко сел на краешек сиденья, затем поглубже. Кейл завращал руль влево-вправо.

— Ду-ду! —И тут же: — А сказать, что я думаю? По-моему, дядя Карл был богатый.

— Нет, не был.

— Спорим на что хочешь.

— По-твоему, отец врет.

— Да нет. Но спорим, дядя был богатый.

Помолчали. Кейл яростно рулил, мчась по воображаемым извивам трассы.

— Спорим, что дознаюсь,— опять заговорил он.

— Каким способом? —спросил Арон.

— А на что поспоришь?

— У меня ничего нет.

— А свисток из оленьей кости? Ставлю этот шарик мраморный против твоего свистка, что нас отошлют спать сразу после ужина. Спорим?

— Ну, спорим,— неуверенно сказал Арон.— Зачем нас отсылать так рано?

— Отец захочет поговорить с Ли. А я подслушаю.

— Ты не посмеешь.

— Посмею.

— А я скажу отцу.

Взгляд у Кейла стал холодным, лицо потемнело. Он придвинулся к брату, понизил голос до шепота:

— Не скажешь. А то я скажу, кто украл у него ножик.

— Никто не крал. Ножик у него. Он конверт им разрезал.

Кейл криво усмехнулся.

— Завтра у него этого ножика не будет,— пригрозил он. И Арон понял угрозу и понял, что бессилен перед ней и сказать отцу не сможет. Кейлу опасаться нечего.

Кейл увидел на лице у брата смятение, беспомощность, и это исполнило его чувством собственной силы. Он радостно ощутил, что способен перехитрить, перемудрить брата. И даже, возможно, отца. А вот китайца Ли — нет. Разум Ли понимающе-спокойно, без усилия опережает

Кейла и всегда ждет там впереди, чтобы в последний миг предостеречь: «Не делай этого». Кейл питает к Ли уважение и побаивается его. А вот Арон, так беспомощно сейчас глядящий, в руках у Кейла как податливая глина. И внезапно сердце Кейла затопила любовь к брату, захотелось защитить слабенького. Кейл обнял Арона одной рукой.

Арон не сбросил руку, но и не прижался к брату. Чуть отстранился и взглянул ему в лицо.

— Что так смотришь? — спросил Кейл. — Никогда не видел, что ли?

— Не знаю, зачем тебе все эти штуки, — сказал Арон.

— Какие штуки?

— Все эти уловки-украдки.

— Какие уловки-украдки?

— Ну, с кроликом тогда, и за руль сейчас сел без разрешения. И Абре что-то сказал. Не знаю что, но она из-за этого коробку выбросила.

— Хо, — сказал Кейл, пряча смущение. — Не знаешь, а, небось, хочется узнать.

— Нет, не хочется, — медленно проговорил Арон. — Хочется только узнать, зачем тебе все это. Ты всегда хитришь, ловчишь. А для чего? Какая в этом радость?

Боль пронзила душу Кейла. Все его хитрости показались ему бесчестными и скверными. Брат разглядел их, раскусил его. И Кейл затосковал по любви Арона. Ощущал себя растерянным, потерянным и сирым.

Арон открыл дверцу форда, слез наземь, ушел из сарая. Кейл поворачивал еще баранку, силясь вообразить, что мчится по дороге. Но воображалось плохо, и скоро он тоже вернулся в дом.

2

Отужинали, и когда Ли помыл посуду, Адам сказал: — Идите-ка, ребята, спать. День был утомительный. Арон взглянул на Кейла, медленно вынул из кармана костяной свисток.

— Не надо, — сказал Кейл.

— Он теперь твой, — сказал Арон.

— Не надо мне его. Не хочу.

Арон положил свисток на стол, сказал:

— Возьмешь, когда захочешь. Он будет тут лежать.

— Кончайте, мальчики,— вмешался Адам.— Я сказал — идите спать.

— А почему? — спросил Кейл, умело придав лицу наивно-детское выражение.— Еще же рано.

— Правду говоря, мне надо потолковать с Ли. А уже сумерки, и во двор идти поздно, так что идите в постель — во всяком случае, к себе в комнату. Поняли?

— Да, отец,— сказали оба мальчика и вслед за Ли пошли коридором в глубь дома, в свою спальню. Потом в ночных рубашках вернулись сказать отцу спокойной ночи.

Ли возвратился в гостиную, закрыл дверь. Взял в руки костяной свисток, оглядел, положил обратно.

— Любопытно бы знать, что было предметом их спора.

— Какого спора? — спросил Адам.

— Они до ужина о чем-то поспорили, и после ужина обнаружилось, что Арон проиграл спор,— и вот он расплатился. О чем шла у нас речь за столом?

— Помню только, что я велел им идти спать.

— Ну что ж. Может быть, это раскроется позднее,— сказал Ли.

— Ты, по-моему, придаешь слишком большую важность ребячьим делам. Пустяки какие-нибудь, наверное.

— Нет, не пустяки.— И, помолчав, Ли сказал: — Мистер Траск, вы полагаете, что устремления людей приобретают важность лишь с определенного возраста? Разве у вас теперь чувства острее или мысли ясней, чем в десять лет? Разве звуки, краски, запахи мира вы воспринимаете так же ярко и живо, как тогда?

— Пожалуй, ты прав,— сказал Адам.

— Время старит и печалит, и мало что дает человеку сверх этого. Те, кто думает иначе, впадают, по-моему, в одно из величайших заблуждений.

— И еще оно дает воспоминания.

— Да, воспоминания — единственное оружие времени против нас. О чем вы хотели со мной говорить?

Адам вынул письмо из кармана, положил на стол.

— Прочти это письмо, прочти внимательно, а потом поговорим о нем.

Ли достал свои узкие, полукружьями, очки и надел. Развернул письмо под лампой, прочитал.

— Что скажешь? — спросил Адам.

— А есть в наших местах вакансии для юриста?

— Какая вакансия? А, понимаю. Шутить изволишь.

— Нет,— сказал Ли.— Это по-восточному, непрямо и учтиво, я даю понять, что желал бы узнать ваше мнение прежде, чем выразить свое.

— Ты это мне в укор говоришь?

— Да, в укор,— сказал Ли.— Отложив в сторону свою восточную учтивость, скажу прямо, что старею и становлюсь брюзглив. Раздражителен становлюсь. Разве вы не слышали, что все китайцы-слуги, старея, сохраняют верность, но характер у них портится.

— Я не хотел тебя обидеть.

— Я не обиделся. Вы хотели поговорить о письме. Так говорите, и я пойму из ваших слов, могу ли сказать свое честное мнение или же будет разумней поддержать ваше собственное.

— Не пойму я это завещание,— сказал Адам растерянно.

— Но вы-то ведь знали своего брата. И если не можете его понять, то как же могу я, никогда его не видевший?

Адам встал и вышел в коридор; он не заметил тени, скользнувшей за дверь. Принес из своей комнаты блеклый коричневый дагерротип и положил на стол перед Ли.

— Вот это мой брат Карл,— сказал Адам и, вернувшись к двери, затворил ее.

Ли вгляделся в старинную, на металле, фотографию, наклоняя ее под лампой в одну, в другую сторону, гася блики.

— Давным-давно снято,— сказал Адам.— Еще до того как я в армию ушел.

— Трудно разобрать,— сказал Ли, нагнувшись ближе к металлической пластинке.— Но, судя по выражению лица, я бы не сказал, что у вашего брата было очень тонкое чувство юмора.

— У Карла его не было вовсе,— сказал Адам.— Он никогда не смеялся.

— Я не о том. Читая в письме об условиях завещания, я подумал, что он, возможно, обладал чувством юмора, но грубым и жестоким. Он любил вас?

— Не знаю,— сказал Адам.— Иногда казалось, что любил. А однажды он чуть не убил меня.

— Да, это есть у него в лице — и любовь, и способность убить. И сочетание этих двух свойств сделало из него скрягу; скряга, скарעד — это ведь испуганный человек, прячущийся за крепостной стеною денег. Он знал вашу жену?

— Да.

— Любил ее?

— Терпеть не мог.

— В сущности, это не важно, — вздохнул Ли. — Не в этом же ваша проблема?

— Не в этом.

— И вы хотите ее четко выразить и рассмотреть?

— Вот именно.

— Ну что же, я слушаю вас.

— Голова моя что-то плохо работает.

— Хотите, чтобы я разложил за вас карты? Со стороны иногда видней.

— Давай, раскладывай.

— Хорошо же. — И вдруг Ли хмыкнул, на лице у него выразилось удивление. Худенькой рукой он взялся за подбородок, сказал: — Черт побери! Странная мысль мелькнула.

Адам пошевелился неуютно.

— О чем ты? Не скрытничай, — раздраженно произнес он. — А то смотрю на тебя, как неграмотный в книгу.

Ли, не отвечая, достал из кармана трубку — медную круглую чашечку с тонким, черного дерева чубуком. Набил чашечку-наперсток табаком тонкой, как волос, резки, зажег, длинно пыхнул четыре раза и положил трубку, и она погасла.

— Это опиум? — жестко спросил Адам.

— Нет, — ответил Ли. — Это дешевый сорт китайского табака, неприятный на вкус.

— Зачем же ты куришь его?

— Не знаю, — сказал Ли. — Наверно, потому что, как мне кажется, он проясняет мне ум. — Ли сощурил веки. — Ладно, попробую расправить ваши мысли, как лапшу после нарезки, и просушить на солнце. Эта женщина и посейчас жива, и посейчас ваша жена. По букве завещания ей достается пятьдесят с лишним тысяч долларов. Это крупная сумма. На эти деньги можно сделать много добра и много зла. Знай ваш брат, где она и чем занимается,

пожелал бы он оставить ей эти деньги? Суд всегда бывает склонен выполнить волю завещателя.

— Нет, не оставил бы ей брат,— сказал Адам. Но тут же вспомнил визиты Карла к девушкам в гостиницу, на верхний этаж.

— Решите-ка, подумайте-ка за него,— сказал Ли.— То, чем занимается ваша жена, само по себе ни хорошо, ни худо. Святость может произрасти из любой почвы. На эти деньги она, возможно, сотворит какое-нибудь доброе дело. Нет мощнее толчка к творению добра, чем угрызения совести.

— Она сказала мне, что сделает, когда накопит деньги,— поежился Адам.— Тут убийством пахнет, а не добрыми делами.

— Значит, по-вашему, лучше, чтобы у нее этих денег не было?

— Она грозилась погубить многих уважаемых людей в Салинасе. И это в ее силах.

— Понятно,— сказал Ли.— Я рад, что мое дело тут сторона. У этих уважаемых людей, должно быть, порядком подмокла репутация. Значит, по-вашему, нравственнее будет не давать ей этих денег?

— Да.

— Ну что ж. Она здесь безымянна и безродна. Шлюха возникает, как гриб из земли. Если она и узнает об этих деньгах, все равно без вашей помощи не сможет их заполучить.

— Пожалуй. Да, без моей помощи она их вряд ли получит.

Ли взял трубку, медной палочкой выковырнул золу, снова набил табаком. Четырежды пыхнул неторопливо, приподняв тяжелые веки и глядя на Адама.

— Проблема весьма деликатная,— сказал он.— С вашего позволения, я предложу ее на рассмотрение моим почтенным родичам — не называя имен, разумеется. Они обследуют ее тщательно, как мальчишка, выискивающий у собаки клещей. Я уверен, они достигнут интересных результатов.— Он положил трубку на стол.— Но у вас-то нет ведь выбора?

— Ты о каком выборе?

— О том, которого у вас нет. Неужели вы настолько хуже знаете себя, чем я вас?

— Не знаю я, как поступить,— сказал Адам.— Надо будет крепко подумать.

— Я вижу, что теряю время попусту,—сердито сказал Ли.— Вы меня хотите обмануть? Или же и самого себя обманываете?

— Не смей так говорить со мной!

— Но почему же? Я не терплю обмана. Как вы поступите с этими деньгами, совершенно ясно. Написано у вас, так сказать, на челе. Я намерен говорить так, как мне вздумается. Я стал капризен. Не сидится мне уже здесь. Меня манит затхлая вонь старых книг и аромат любомудрия. А вы из двух разных нравственных подходов неизбежно выберете тот, который впитан с детства. Думайте, не думайте — это ничего не изменит. И то, что жена ваша — салинасская шлюха, не изменит ни йоты.

Адам встал, нахмуясь гневно.

— Ты решил уйти — и потому стал дерзок,— сказал он, повысив голос.— Говорю тебе, что еще не решил, как поступить с деньгами.

Ли глубоко вздохнул. Ладонями оттолкнувшись от коленей, выпрямил свое щуплое тело. Устало подошел к передней двери, открыл ее. Обернулся к Адаму и сказал с дружеской улыбкой:

— Чушь вы собачью говорите!

Вышел и закрыл за собой дверь.

3

Кейл прокрался темным коридором, скользнул в свою и Аронову спальню. Увидел очертание головы брата на подушке в широкой кровати, но спит ли брат, разглядеть не смог. Бесшумно лег на свое место рядом, тихонько повернулся на спину, заложил руки за голову, сцепил пальцы и стал глядеть на пляшущие мириады цветных точек, из которых состоит темнота. Ночной ветер медленно надул оконную штору и утих, и старенькая штора, шурша, опала.

Серая, ватная тоска окутала Кейла. Зачем, зачем Арон ушел из сарая обиженный? Зачем, зачем было подслушивать за дверью в коридоре? Кейл зашевелил губами в темноте, произнося слова беззвучно и все же слыша их.

— Милый Господи, пусть я буду, как Арон. Пусть я не буду плохим. Я не хочу быть скверным. Сделай, чтобы все меня любили, и я дам тебе все, что хочешь, а если

не найдется у меня, то я обязательно добуду. Я не хочу быть скверным. Не хочу быть одиноким. Ради Христа прошу Тебя. Аминь.

По щекам медленно катились горячие слезы. Напрягаясь, Кейл сдерживал, глотал всхлипы.

Арон прошептал сбоку в темноте:

— Какой ты холодный. Ты простыл.

Пальцами коснулся руки Кейла, ощутил пупырышки гусиной кожи. Спросил негромко:

— Ну что, были у дяди Карла деньги?

— Нет,— сказал Кейл.

— А ты долго там пробыл. О чем это отец толковал с Ли?

Кейл молчал — у него еще сжимало горло.

— Не хочешь сказать мне? Ну и не говори.

— Я скажу,—прошептал Кейл. Повернулся на бок, спиной к брату.— Отец пошлет матери венок. Здоровенный венок из гвоздик.

Арон приподнялся в постели, взволнованно спросил:

— Правда? А как венок доедет на другой край Америки?

— Поездом. Тише говори.

— Но гвоздики же завянут? — перешел Арон на шепот.

— А их льдом обложат,— сказал Кейл.— Вокруг всего венка.

— Так это же куча льду нужна! — сказал Арон.

— Еще какая куча,— сказал Кейл.— Давай спи.

Арон замолчал. Потом шепнул:

— Вот бы хорошо, чтоб венок доехал свежий и красивый.

— Такой и доедет,— сказал Кейл. А мысленно молился: «Пусть я не буду скверным».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

1

Адам все утро пробродил в задумчивости по дому, а в полдень вышел на огород к Ли. Тот высевал в темную удобренную землю весенние овощи: морковь и свеклу,

репу, фасоль и горох, брюкву, браунколь. Сажал семена ровными рядами — по веревке, натянутой на колышках; пустые пакеты от семян Ли надел на колышки, чтобы знать, где что посеяно. В парнике на краю огорода рассада помидоров, сладкого перца и капусты была уже почти готова к высадке — дожидалась только, чтобы миновала опасность заморозков.

— Признаю, что вечером вел себя глупо, — сказал Адам.

Ли, опершись на вилы, спокойно поднял на него глаза.

— Когда едете? — спросил он.

— Хочу поспеть к поезду, что идет в два сорок. Чтоб вернуться восьмичасовым.

— Вы ведь можете и письмом сообщить, — сказал Ли.

— Я думал об этом. Но сам бы ты стал сообщать письмом?

— Нет. Вы правы. Тут уж сглупил я. Никаких писем.

— Надо ехать, — сказал Адам. — Я тыкался мыслью во всех направлениях, и всякий раз меня назад отдергивало, точно поводком.

— Вы можете быть нечестным во многих отношениях, но только не в этом, — сказал Ли. — Что ж, удачи вам. Интересно, что она скажет и как поступит.

— Я поеду в пролетке, — сказал Адам. — Оставляю в конюшне, в Кинг-Сити. В форде ехать один не рискую.

В четыре пятнадцать Адам, взойдя по шатким ступенькам, постучал в облупленную дверь заведения Кейт. Ему открыл новый вышибала — квадратнолицый финн в рубашке, широкие рукава подхвачены резинками в красной шелковой оплетке. Оставив Адама на крыльце, финн ушел справиться, через минуту вернулся и повел гостя в столовую.

Это была просторная комната, голые стены и панели выкрашены белой краской. В центре комнаты — прямоугольный длинный стол, на белой клеенке расставлены приборы — тарелки, блюда, чашки на блюдах повернуты доньшком вверх.

Кейт одиноко сидела во главе стола; перед ней лежала раскрытая счетоводная книга. Платье строгое. Глаза защищены зеленым козырьком; Кейт нервно вертела в пальцах желтый карандаш. Холодно поглядела на Адама, стоящего в дверях. Спросила:

— Что тебе на сей раз нужно?

Финн встал за спиной у Адама.

Адам не ответил. Подошел к столу, положил на счетоводную книгу письмо.

— Что это? — спросила Кейт и, не дожидаясь ответа, быстро прочла письмо. — Выйди и закрой за собой дверь, — велела она финну.

Адам сел за стол рядом с Кейт. Отодвинул тарелки, положил шляпу.

Когда дверь затворилась, Кейт сказала:

— Это что — шутка? Да нет, где тебе шутить шутки... — Немного подумала. — Но, может быть, брат шутит? Ты уверен, что он умер?

— Не имею никаких известий, кроме этого письма, — сказал Адам.

— Ну, и что ты хочешь, чтобы я сделала?

Адам пожал плечами.

— Надеешься, что подпишу что-нибудь? Зря надеешься. Чего тебе надо?

Адам не спеша провел пальцем по черной ленте на шляпе.

— Ты вот что — запиши адрес этих юристов и свяжись с ними сама, — сказал он.

— Что ты им обо мне писал?

— Ничего. Я написал Карлу, сообщил, что ты живешь в другом городе — и больше ничего. Карл умер, письмо получить не успел. Письмо передали адвокатам. Они об этом пишут.

— Из приписки видно, что писавший — твой приятель. Что ты ему ответил?

— Я еще не отвечал.

— А что собираешься написать?

— То же самое — что ты живешь в другом городе.

— Написать, что мы в разводе, ты не можешь. Мы не разведены.

— Я и не собираюсь так писать.

— Хочешь знать, сколько я возьму с тебя отступного? Сорок пять тысяч наличными.

— Нет.

— То есть как — нет? Торговаться тебе не с руки.

— Я не торгуюсь. Ты прочла письмо и знаешь столько же, сколько и я. Поступай как хочешь.

— С чего это ты такой хладнокровный?

— А с чего бы мне нервничать?

Она вгляделась в него из-под зеленого прозрачного козырька. Кудряшки окаймляли козырек, как плющ зеленую крышу.

— Адам, ты идиот. Тебе надо было молчать в тряпочку, и никто бы никогда не узнал, что я жива.

— Я знаю.

— Знаешь? И рассчитывал на то, что я побоюсь истребовать эти деньги? В таком случае ты просто набитый дурак.

— Мне все равно, как ты поступишь,— терпеливо отвечал Адам.

— Все равно?— Она саркастически усмехнулась.— А если я тебе скажу, что у шерифа лежит в столе бессрочный ордер, оставленный прежним шерифом? На высылку меня из округа и штата, как только я для чего-либо сошлюсь на тебя—разглашу, что я твоя жена. Соблазняет тебя эта новость?

— Соблазняет на что?

— На то, чтоб выдворить меня из Калифорнии и забрать все наследство себе.

— Я же принес тебе письмо,— сказал Адам так же терпеливо.

— Я хочу знать, почему.

— Мне все равно, что ты думаешь и кем меня считаешь,— продолжал Адам спокойно.— Карл оставил тебе деньги в завещании. Оставил без всяких оговорок. Я завещания не видел, но деньги он оставил тебе.

— Ты затеял с этими деньгами какую-то замысловатую игру. Но ты меня не проведешь. Не знаю, в чем твоя игра, но я дознаюсь.— И, помолчав, сказала: — Но о чем я? Будто ты, простофиля, сам додумался. Кто у тебя в советчиках?

— Никто.

— А этот китаец? Он умен.

— Он мне советов не давал.

Адаму было самому странно, до какой степени он равнодушен. Он как бы отсутствует, хотя говорит с ней. Взглянув пристальней на Кейт, он удивился—никогда прежде не видел у нее такого выражения. Кейт боится—боится его. Но почему?

Усилием воли Кейт согнала с лица страх.

— Ты такой честненький, да? Такой уж ангельски безгрешный, только крылышек не хватает.

— Крылышки тут ни при чем,— сказал Адам.— Деньги — твои, а я не вор. Мне все равно, что ты об этом думаешь.

Кейт сдвинула козырек кверху.

— Ты хочешь убедить меня, что принес мне эти деньги на блюдечке. Ну да ладно, я доберусь до подоплеки. Будь уверен, я сумею себя защитить. Думал, я клюну на такую глупую приманку?

— На какой адрес тебе пишут? — спросил он терпеливо.

— А тебе зачем?

— Я сообщу его тем адвокатам, чтобы связались с тобой.

— Не смей! — крикнула она. Положила письмо на счетоводную книгу и захлопнула ее.— Оно останется у меня. Я обращусь к юристу, будь уверен. Можешь больше не притворяться невинным ягненком.

— Да, конечно, сходи к юристу. Я хочу, чтоб ты получила завещанные деньги. Карл оставил их тебе. Они не мои.

— Я твою игру раскрою. Я докопаюсь.

— Ты, я вижу, не понимаешь,— сказал Адам.— Но мне в общем-то все равно. Я сам в тебе многого не понимаю. Не понимаю, как ты могла выстрелить в меня и бросить своих сыновей. Не понимаю, как ты и другие можете так жить.— Он указал рукой вокруг себя.

— А кто просит, чтобы ты понимал?

Адам поднялся, взял со стола шляпу.

— Ну вот, пожалуй, и все,— сказал он.— Прощай.— И пошел к двери.

— А вы переменялись, мистер Мышонок,— бросила Кейт ему вслед.— Наконец-то завели себе женщину?

Адам остановился, обернулся не спеша, поглядел раздумчиво.

— Меня сейчас лишь осенило,— сказал он и подошел к ней близко, так что ей пришлось задрать голову, чтобы глядеть в высящееся над ней лицо Адама.— Я сказал, что не могу разобраться в тебе,— продолжал он медленно.— Но вот сейчас мне стало ясно, в чем твое непонимание.

— В чем же оно, мистер Мышонок?

— Ты сведуща в людской мерзости. Ты мне снимки показывала. Ты играешь на всех слабых, постыдных струнках мужчины, а их у него, видит Бог, достаточно.

— У каждого, у каждого...

— Но ты не знаешь,— продолжал Адам, поражаясь собственным мыслям,— ты не ощущаешь всего другого, что есть в нем. Ты не веришь, что я принес письмо потому, что не хочу твоих денег. Не веришь, что я любил тебя. И те мужчины, кого гонит сюда мерзость, сидящая в них,— те, кто на снимках,— ты не веришь, что в них есть и добро, и красота. Ты видишь только одно и считаешь — нет, уверена,— что лишь это одно и существует.

— А что еще есть? Сладко размечтался наш мистер Мышонок! — глумливо хохотнула Кейт. — Угостите меня проповедью, мистер Мышонок.

— Нет, проповедовать не стану, потому что знаю — у тебя имеется невосполнимая нехватка. Некоторые не различают зеленый цвет — и всю жизнь не сознают в себе этой слепоты. По-моему, ты не вполне человек. И ничего тут не поделаешь. Но интересно мне — а вдруг ты хоть изредка, да чувствуешь, что всюду вокруг есть что-то, для тебя невидимое. Тогда ведь это страшно — знать, что оно есть, а увидеть, а ощутить его не можешь. Страшно это.

Кейт встала, оттолкнув ногой стул, прижав руки к бокам, пряча сжатые кулаки в складках платья.

— Наш мистер Мышонок — философ. — Кейт тщетно старалась заглушить визгливые нотки в своем голосе. — Но поскольку он дерьмо, то и философ из него дерьмовый. А слышал ты о такой вещи, как галлюцинации? Ты говоришь, я чего-то не вижу; а не кажется тебе, что это лишь призраки твоего больного воображения?

— Нет, не кажется,— сказал Адам. — Не кажется. И я уверен, что и тебе не кажется.

Он повернулся, вышел, закрыл за собой дверь.

Кейт села, уставилась на дверь, бессознательно постукивая кулаками по белой клеенке. Но что слезы мутят, перекашивают прямоугольник белой двери, это Кейт знавала,— и что все тело вздрагивает то ли от ярости, то ли от горя.

Когда Адам вышел из заведения Кейт, до восьмичасового поезда на Кинг-Сити оставалось еще два с лишним часа. Что-то толкнуло Адама свернуть с Главной улицы на Центральный проспект и направиться к дому № 130—высокому белому дому Эрнеста Стейнбека, ухоженному и гостеприимному, внушительному, но не чересчур. За белой оградой зеленел подстриженный газон, окружающий здание, белые стены окаймлены розами.

Взойдя по широким ступеням веранды, Адам позвонил. К дверям подошла Оливия, приоткрыла; из-за ее спины выглядывали Джон и Мэри.

Адам снял шляпу.

— Вы меня не знаете. Я Адам Траск. Ваш отец был моим другом. Захотелось навестить миссис Гамильтон. Она помогла мне, когда родились близнецы.

— Как же, как же. Прошу вас,— сказала Оливия и распахнула широкие двери.— Мы о вас слышали. Одну минуточку. Мы устроили здесь маме тихий уголок.

Она пересекла холл, постучала в дверь, произнесла: — Мама! К тебе приятель в гости.

Открыв дверь, она впустила Адама в опрятное обиталище Лизы со словами:

— А меня уж извините. Катрина жарит кур, надо присмотреть. Джон! Мэри! Идемте. Идемте со мной.

Лиза стала еще миниатюрней. Старенькая, она сидела в плетеном креслице-качалке. Просторное, с широким подолом платье из черной альпаги заколото у горла брошкой, на которой золотыми буквами написано «Маме».

Милая эта гостиная-спаленка сплошь набита фотографиями, флаконами туалетной воды, кружевными подушечками для булавок, щетками и гребнями, фарфоровыми и серебряными безделушками — рождественскими, именинными подарками за все это множество лет.

На стене большая подкрашенная фотография Самюэла, от которой веет достоинством и холодком, чем-то чопорным и вычищенным, столь несвойственным живому Самюэлу. А юмором и не пахнет, и не блестят его глаза любознательно-веселым огоньком. Фотография взята в тяжелую золоченую раму и глядит неотступно на всякого вошедшего — к испугу и замешательству детей.

Рядом с креслом Лизы, на плетеном столике — клетка с попугаем Полли. Том купил его у какого-то моряка. Попугай стар, — по словам продавца, ему пятьдесят лет, — и за свою грешную жизнь в кубрике он нахватался соленых матросских словечек. Как ни старалась Лиза, а не в силах оказалась обучить Полли псалмам взамен сочных словес попугаевой молодости.

Наклонив голову набок, Полли поизучал Адама, аккуратно почесал коготком себе перья у клюва.

— Отчаливай, подонок, — произнес он равнодушно. Лиза нахмурилась.

— Полли, — одернула она попугая. — Ты невежлив.

— Сукин сын! — не унимался Полли.

Лиза сделала вид, что не слышит. Протянула Адаму свою крохотную ручку.

— Рада вас видеть, мистер Траск. Садитесь, пожалуйста.

— Я проходил тут мимо, и захотелось выразить соболезнование.

— Мы получили ваши цветы. — Каждый букет помнит Лиза, а ведь столько уже времени прошло с похорон. Адам послал тогда красивый венок иммортелей.

— Трудно вам, должно быть, перестроить свою жизнь...

Глаза у Лизы налились слезами, но она тотчас же строго сжала губки, преодолевая слабость.

— Не хочу бередить ваше горе, — говорил Адам. — Но, признаться, не хватает мне Самюэла.

Лиза отвернулась, спросила:

— Как дела у вас на ранчо?

— Нынешний год хорошо. Много дождей. Травы стоят уже высокие.

— Том мне писал, — сказала Лиза.

— Заткни пасть, — сказал попугай, и Лиза нахмурила на него брови, как, бывало, на ребенка-неслуха.

— Вы в Салинасе по делу, мистер Траск?

— Да. — Он сел на плетеный стул, и стул скрипнул под его тяжестью. — Хочу переселиться сюда. Думается, мальчикам здесь будет лучше. Им на ранчо скучно.

— Мы никогда на ранчо не скучали, — сурово сказала Лиза.

— Здесь, подумалось мне, школы лучше. Близнецы мои здесь большему научатся.

— Моя дочь Оливия работала учительницей в Пичтри, в Плито и в Биг-Сер,— возразила Лиза тоном, говорившим ясней ясного, что искать каких-то лучших школ, чем эти, бессмысленно. Адам потеплел сердцем при виде такой железной верности родному гнезду.

— Да просто мне подумалось,— проговорил он.

— Сельские дети крепче и успешливей,— молвила она непререкаемо, готовая подкрепить этот закон примером собственных сыновей. И, сосредоточась затем на Адаме:— Присматриваете, значит, дом в Салинасе?

— Пожалуй, что так.

— Сходите к моей дочке Десси. Она хочет вернуться на ранчо, к Тому. У нее славный домик тут на проспекте, рядом с булочной Рейно.

— Обязательно схожу,— сказал Адам.— Ну, мне пора. Я рад, что вам здесь хорошо.

— Спасибо,— сказала она.— Да, мне здесь уютно. Адам шел уже к двери, когда она спросила:

— Мистер Траск, а вам случается видеться с моим сыном Томом?

— Да нет, не случается. Я ведь сижу сиднем на ранчо.

— Вы бы съездили, проведали его,— сказала она торопливо.— Мне кажется, он скучает там один.— И смолкла, точно ужаснувшись своей несдержанности.

— Съезжу. Непременно съезжу. До свиданья, мэм.

Закрывая дверь, он услышал голос попугая: «Заткнись, падаль». И голос Лизы: «Полли, если не перестанешь сквернословить, я задам тебе трепку».

Не беспокоя Оливию, Адам вышел на вечерний тротуар, направился к Главной улице. Рядом с французской булочной Рейно, за деревьями садика, он увидел дом Десси. Двор так зарос высокой бирючиной, что дом почти скрыт от прохожих. Аккуратная табличка пришуруплена к калитке: «Десси Гамильтон, дамское платье».

На углу Главной и Центрального — «Мясные деликатесы Сан-Франциско», окнами и на улицу, и на проспект. Адам завернул туда поесть. За угловым столиком — Уилл Гамильтон, расправляется с отбивной.

— Садитесь ко мне,— пригласил он Адама.— По делам приехали?

— Да,— сказал Адам.— И матушку вашу навестил. Уилл положил вилку, сказал:

— Я всего на часок. Не зашел к ней, чтоб не волиновать. А сестра моя, Оливия, подняла бы переполох в доме, закатила бы мне грандиозный обед. Просто не хочу их беспокоить. И притом мне надо сейчас же обратнo. Закажите отбивную. Они здесь хорошие. Ну, как, на ваш взгляд, мама?

— Очень стойкая она женщина,— сказал Адам.— Я чем дальше, тем сильнее восхищаюсь ею.

— Это верю, стойкая. Как она сумела выстоять со всеми нами и с отцом, не знаю.

— Отбивную, зажарить средие,— сказал Адам официанту.

— С картофелем?

— Нет... Или ладно, поджарьте ломтиками... Вашу матушку беспокоит Том. У него все в порядке?

Уилл обрезал оторочку жира, сдвинул ножом на край тарелки.

— Мать не зря беспокоится,— сказал Уилл.— Что-то с ним неладио. Супится, как надгробный памятник.

— У него была крепкая связь с отцом.

— Слишком уж крепкая,— сказал Уилл.— Сверх всякой меры. Никак не может Том обрезать эту пуповину. В некоторых отношениях он как большой младенец.

— Я съезжу, проведу его. Ваша матушка говорит, что Десси собирается переселиться к нему, на родное ранчо.

Уилл положил нож и вилку на скатерть и воззрился на Адама.

— Не может быть,— сказал он.— Я этого не допущу.

— А почему?

Но Уилл уже спохватился, сказал сдержанно:

— У нее здесь процветающее дело. Она прилично зарабатывает. Как же можно вот так все бросить.

Взяв снова нож и вилку, он отрезал кусок от оставшегося жира и положил себе в рот.

— Я еду восьмичасовым,— сказал Адам.

— Я тоже,— коротко сказал Уилл. Он сделался неразговорчив.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

1

Десси была любимица семьи. Любили у Гамильтонов и хорошенькую Молли, и упряменькую Оливию, и задумчивую Уну, но любимицей всех была Десси. Глаза ее блестящие, смех был заразителен, как ветряная оспа; веселость ее радужно расцветчивала день и передавалась людям, и они уходили от нее веселые.

Изобразу это так. Живет в Салинасе на Церковной улице, в доме 122, миссис Моррисон, у нее трое детей и муж Кларенс, владелец магазина тканей и одежды. Вот утром за столом Агнесса Моррисон объявляет: «После обеда я иду к Десси Гамильтон на примерку».

Услышав это, дети радостно колотят медными мысками ботинок по ножкам стола, так что детей приходится утихомиривать. А мистер Моррисон уходит в магазин, бодро потирая руки и надеясь, что сегодня заглянет к нему какой-нибудь заезжий комми. И если коммивояжер заглядывает, то получает солидный заказ. И для детей, и для мистера Моррисона весь этот день озарен радостью, а почему — они, возможно, уж и не помнят.

В два часа дня миссис Моррисон отправляется в домик, что рядом с булочной Рейно, и остается там до четырех. А выходит со слезящимися от смеха глазами и влажным, покрасневшим носом. На ходу она утирает нос, глаза и все еще похохатывает, вспоминая. Быть может, Десси всего-навсего вколола в подушечку несколько булавок с черными головками, преобразив ее в баптистского пастыря, и подушечка произнесла краткую сухую проповедь. Быть может, Десси поведала о своей встрече со стариком Тейлором, который скупает старые дома и перемещает их к себе на пустырь, так что там уже полнейший кавардак — сухопутное Саргассово море. А может быть, прочла вслух газетную страничку сплетен — шуточные стишки — с соответствующими жестами. Не важно, что именно сделала Десси. Важно, что это радостно-смешно и заразительно-смешно.

Миссис Моррисон не встречает пришедших из школы детей ни придирами, ни головной болью, ни иным недомоганием. Детский шум не выводит ее из себя, не удручают

чумазные лица. А к детскому смеху она присоединяется сама.

Вернувшийся домой мистер Моррисон рассказывает ей, как прошел деловой день,—и жена от него не отмахивается, и он угощает ее анекдотами, что рассказал коммивояжер,—теми, которыми угощать допустимо. Ужин отменно вкусен — омлет удается на славу, оладьи пышны и воздушны, печенье рассыпчато, а уж такой приправы к рагу никто не сочинит, кроме Агнессы Моррисон. После ужина, когда дети, изнемогшие от смеха, уйдут спать, мистер Моррисон тронет Агнессу за плечо, подавая ей давний, давний знак, и они лягут в постель и займутся любовью, и будут этой ночью счастливы.

Заряда, взятого у Десси, хватит еще дня на два, и лишь потом вернутся головные боли и сетование на то, что дела нынче идут хуже, чем в прошлом году. Вот что означала Десси, вот как она действовала на всех. Она несла людям радость, подобно отцу ее Самюэлу. Все к ней тянулось сердцем, она была общей любимицей.

Десси не числилась в записных красавицах. Может быть, не была даже хорошенькой, но была лучезарна, а мужчины тянутся к такой женщине, надеясь озариться ее светом. И можно было ожидать, что со временем Десси оправится от своей первой злосчастной любви и обретет новую — но нет, не обрела. Да и, в сущности, все Гамильтоны, при всей их разносторонности, были однолюбы. Видно, неспособны они были к легкой и переменчивой любви.

Десси не то чтобы замкнулась в горе и унынии. У нее вышло куда горше: она продолжала жить на прежний веселый манер — но лучезарность угасла. И людям, любившим ее, было больно глядеть на это натужное веселье, и они старались сами ее развеселить.

Подруги у Десси были хорошие, но все мы люди, а люди любят радость и не терпят горести. И со временем у миссис Моррисон и у других дам стали находиться убедительные причины, чтобы не бывать в домике у булочной. Они не то чтоб раздружились с Десси. Просто им не хотелось грустить, а хотелось радоваться. А если чего-либо не хочешь, то веская и благородная причина найдется без труда.

Дела у Десси пошли хуже. Стало убавляться заказ-

чиц — прежде они и не догадывались, что ходили к Дессе не за платьями, а за радостью. Времена менялись, магазины стали наполняться готовым платьем. И если мистер Моррисон занят продажей готовой одежды, то вполне естественно, что Агнесса Моррисон носит эти магазинные наряды.

Гамильтонов тревожила Десса, но что можно поделать, когда она твердит, что с ней все в порядке. Только признается, что побаливает в боку, и даже сильно, но эти острые приступы боли нечасты и непродолжительны.

Потом умер Самюэл, и мир Гамильтонов раскололся, как тарелка. Сыновья, дочери и друзья копошились в осколках, пытались как-то склеить все заново.

Десса решила продать свое дело (продавать-то было почти и нечего) и вернуться на ранчо, к брату Тому. Лиза и Оливия знали об этом, а Тому Десса написала. Но Уиллу, хмуро сидящему за столиком в котлетной, ничего не сообщили. В нем кипел гнев; наконец Уилл смял в комок свою салфетку и встал.

— Забыл одну вещь, — сказал он Адаму. — Встретимся в поезде.

Пройдя проспектом полквартала, он вошел в выросший бирючиной палисадник, позвонил в дверь.

Десса сидела одна за обедом; она пошла открыть с салфеткой в руках.

— Да это Уилл! Здравствуй, — сказала она и подставила порозовевшую щеку для поцелуя. — Когда ты приехал?

— Я по делам, — ответил он. — Уезжаю следующим поездом. Хочу поговорить с тобой.

Она провела его в свою кухоньку-столовую, уютную, с цветастыми обоями. Машинально налила ему чашку кофе, поставила перед ним сахарницу, молочник со сливками.

— С мамой виделся? — спросила Десса.

— Я, считай, с поезда на поезд, — буркнул он и спросил: — Десса, это правда, что ты хочешь вернуться на ранчо?

— Подумываю.

— Я не хочу, чтобы ты туда уехала.

— Но почему же? — приулыбнулась она. — Что в этом худого? Тому там одиноко.

— У тебя здесь неплохой бизнес,— сказал Уилл.

— У меня никакого уже не осталось,— ответила она.— Я думала, тебе это известно.

— Я не хочу, чтобы ты уезжала,— угрюмо повторил он.

— Приказание от старшего брата. Но объясни, почему Десси нельзя ехать? — В ее улыбке была грусть, но она постаралась вложить в свои слова немножечко бодрой насмешки.

— Там слишком тоскливо.

— Вдвоем нам будет не так тоскливо.

Уилл сердито подергал себя за усы, сказал резко:

— Том не в себе. Не надо тебе быть там вдвоем с ним.

— Он нездоров? Ему, значит, требуется помощь?

— Я не хотел говорить тебе... По-моему, Том так и не пришел в себя после отцовской смерти. Он стал странный.

Она улыбнулась любяще.

— Тебе, Уилл, всегда казалось, что он странный. Раз у него не лежит душа к бизнесу, значит, странный.

— Не о том сейчас речь. Он все время о чем-то думает. Молчит. Бродит ночью один по холмам. Я к нему ездил на ранчо. Он стихи там пишет... Весь стол устлан листками.

— А сам ты, Уилл, разве никогда не писал стихов?

— Никогда.

— А я писала. И весь стол был ими устлан.

— Я не хочу, чтоб ты уезжала.

— Позволь мне решать самой,— сказала Десси мягко.— Я утратила что-то свое. Хочу обрести его снова.

— Глупости это.

Десси встала, обошла стол, обняла Уилла.

— Милый брат, пожалуйста, позволь мне решать самой.

Уилл сердито высвободился из ее рук и ушел. Он еле поспел на поезд.

2

Том встретил Десси на вокзале в Кинг-Сити. Она увидела его в окно, он нетерпеливо оглядывал вагоны. Том приготовился к встрече: лицо тщательно выбрито и лоснится, как темное полированное дерево. Рыжие усы под-

стрижены. На Томе широкополая шляпа с плоским верхом, нарядная коричневая куртка с перламутровой пряжкой на поясе. Туфли блестят на полуденном солнце — ясно, что перед самым прибытием поезда Том прошелся по ним носовым платком. Крахмальный стоячий воротничок туго охватывает крепкую красную шею, голубой вязаный галстук заколот булавкой в форме подковы. Шершавые бурые руки сжаты, сцеплены вместе — Том борется с волнением.

Десси рьяно замахала ему рукой из окна, крикнула: «Я здесь, Том! Я здесь!», — хотя знала, что Том не слышит за шумом и лязгом колес. Сошла на перрон — Том стоит спиной к ней, глядит куда-то во все глаза, ищет. Десси подошла к нему с улыбкой.

— Прошу прощения, сударь, — сказала негромко. — Вы не видели здесь человека по имени Том Гамильтон?

Он обернулся рывком, вскрикнул от радости, сгреб ее по-медвежьи, заплясал-закружился. Держа Десси в воздухе одной рукой, другой шлепнул ее сзади. Жесткими усами ткнулся в щеку. Затем, взяв обеими руками за плечи, вгляделся в нее. И оба, откинув головы, захохотали.

Вокзальный кассир высунулся из своего окошка, уперся в подоконник локтями, одетыми в черные нарукавники.

— Уж эти Гамильтоны! Ты посмотри на них, — сказал через плечо телеграфисту.

А Том и Десси, касаясь кончиками пальцев, исполняли чинный танец встречи — с носка на пятку, с пятки на носок — и Том пел: «Дудл-дудл-ду», а Десси: «Дидл-дидл-ди», — и снова затем обнялись. Глядя с высоты своего роста, Том сказал:

— Вы, случаем, не Десси Гамильтон? Я вроде узнаю вас. Но вы переменились. Где ваши косички?

Взял у нее багажные квитанции, сунул в карман, а куда, тут же забыл, так что искал довольно долго; потом схватил не те вещи. Наконец ее корзины подняты в задок тележки. Две гнедые лошади бьют твердую землю копытом и взматывают головой, дергая глянцевитое дышло и скрипя вальками. Сбруя вычищена, медный набор блестит, как золото. На кнутовище навязан красный бант, в гривы и хвосты вплетены красные ленты.

Том посадил Десси в тележку и сделал вид, что стыдливо засмотрелся на ее лодыжку, выглянувшую из-под платья. Затем подтянул мартингалы, освободил удила. От-

мотал вожжи с кнутовища, и лошади повернули так круто, что колесо скрежетнуло об упор.

— Хочешь, проедемся по Кинг-Сити? Красивый городок,—сказал Том.

— Не надо,—сказала Десси.— Я и так помню.

Он повернул налево, на юг, пустил лошадей легкой, мерной рысью.

— А где Уилл? —спросила Десси.

— Не знаю,—ответил Том коротко.

— Он говорил с тобой?

— Да. Сказал, что против твоего переезда.

— То же самое он сказал и мне. И Джорджа убедил написать мне, чтобы не ехала.

— А почему, раз ты хочешь? —гневно сказал Том.— Чего Уилл суется?

Десси ласково коснулась руки Тома.

— Ты, по его мнению, свихнулся. Стихи, мол, пишешь. Лицо Тома помрачнело.

— Он, должно быть, без меня рылся в моих бумагах. А зачем? Какое он имеет право рыться?

— Не горячись, не надо,—сказала Десси.— Уилл — твой брат, не забывай.

— А ему бы понравилось, если бы я залез в его бумаги?

— Ты не смог бы,—рассудительно ответила Десси.— Он запирает их в сейф. Не сердись — не надо портить день.

— Ладно,—сказал Том.— Видит бог, я не хочу сердиться. Но поневоле рассердишься. Раз я не желаю жить по его шаблону, значит, я свихнулся.

— Знаешь, под конец мне пришлось выдержать мамин натиск,—сказала Десси, решительно меняя тему.— Она тоже хотела ехать. Ты хоть раз видел, чтобы она плакала?

— Нет, не припомню такого. Она не из плаксивых.

— Так вот, всплакнула. По ее меркам, почти разрыдалась: всхлипнула, шмыгнула носом раза два, высморкалась, протерла очки и замолчала — защелкнулась, как часы крышечкой.

— Господи, как здорово, Десси, что ты вернулась! Как хорошо. Я точно от болезни очнулся.

Лошади шли бойкой рысью. Том сказал:

— Адам Траск купил форд. Или точнее, Уилл продал ему форд.

— Про форд я не знала,— сказала Десси.— А он у меня дом покупает. Дает очень хорошую цену.— И продолжала со смехом: — Я запросила дорого-предорого, чтобы поторговаться и сбавить. А мистер Траск согласился не торгуясь. И поставил меня в трудное положение.

— Как же ты вывернулась?

— Да пришлось сказать, что назвала такую цену лишь в качестве начальной. Но он отнесся очень равнодушно.

— Ты только смотри Уиллу не проговорись. Он тебя в сумасшедший дом отправит за такой торг,— сказал Том.

— Но ведь дом не стоит этих денег!

— Еще раз предупреждаю, Уиллу не рассказывай. А для чего Адаму твой дом?

— Он переезжает в Салинас. Хочет, чтобы близнецы ходили в городскую школу.

— А как же ранчо?

— Не знаю. Он не говорил.

— Интересно, как бы повернулась наша жизнь, если бы у отца было такое ранчо, а не наш пыльный сухозем,— сказал Том.

— Не такое уж у нас тут плохое место.

— Оно во всех отношениях славное, только концы с концами свести не дает.

— А ты покажи мне такую семью, чтобы жила веселей нашей,— сказала Десси очень серьезно.

— Такой семьи я не знаю. Но это уж от людей зависит, а не от земли.

— Помнишь, Том, как ты возил Дженни и Беллу Уильямс на танцы в Пичтри? Водрузил диван на конные грабли и усадил их!

— Мама до сих пор попрекает меня этим диваном. Хочешь, пригласим Дженни и Беллу к нам в гости?

— А ведь они приедут,— сказала Десси.— Давай пригласим.

Когда с большой дороги повернули к ранчо, она проговорила:

— Мне земля запомнилась иной.

— Суше и скудней?

— Вот именно. А тут столько травы.

— Я двадцать голов скота покупаю, буду выпасать на ней.

— Да ты богач.

— Нет. И поскольку год хороший, на говядину цена упадет. Интересно, как бы Уилл тут вывернулся. Он мне говорил, что изобилия не любит. «Всегда делай бизнес на том, чего мало»,— учил он меня. Уилл парень дшлый.

Ухабистый проселок был все тот же, только глубже стали колеи, да округлые камни выпирали резче.

— Что там за табличка на мескитовом кусте? — сказала Десси. Проехали мимо, и, ухватив картонный квадратик, она прочла: «Добро пожаловать домой».

— Том, это ты написал!

— Нет, не я. Здесь побывал кто-то другой.

Через каждые пятьдесят ярдов новая карточка белела на кусте или свисала с веток мадроньи, или была прикинплена к стволу конского каштана, и на всех написано: «Добро пожаловать домой». И каждый раз Десси радостно ахала.

Поднялись на взгорок, и Том остановил лошадей, чтобы Десси полюбовалась панорамой родных мест. За долиной — холм, и по скату выбеленными камнями выложена огромная надпись: «Добро пожаловать домой, Десси». Прижавшись головой к куртке Тома, Десси и засмеялась, и заплакала.

Том строго поглядел на холм.

— Чьих это рук работа? — спросил он. — Прямо нельзя оставить ранчо ни на час.

На рассвете Десси проснулась от ознобной боли, проходящей к ней по временам. Сперва эта боль шелестнет смутной угрозой, куснет в боку, скользнет по животу, давет сильнее, схватит твердо, сожмет и скрутит наконец огромной жестокой рукой. И когда ручища отпустила, продолжало ныть, как от ушиба. Приступ был не так уж длителен, но внешний мир померк на это время, и ощущалась лишь борьба тела с болью.

Когда боль ослабла, Десси увидела, что окна серебрят рассвет. Она вдохнула свежий ветер утра, шевелящий занавески, приносящий ароматы трав, корней, влажной земли. Потом в утренний парад включились звуки: перебранка воробьев; мычание коровы, монотонно бранящей голодного теленка, — чего, мол, тычешься, как угорелый; наигранно-возбужденный крик голубой сойки; сторожкий краткий возглас перепела и тихий отклик перепелки откуда-то непо-

далеку, из высокой травы; кудахтанье над снесенным яйцом на весь птичий двор. И там же раздаются притворно протестующие вопли красной, в четыре фунта весом, род-айлендской курицы: «Караул! Меня топчут!» — а сама могла бы пришибить тощего петушка-насильника одним ударом крыла.

Воркованье голубей напомнило былые годы. Вспомнила Десси, как однажды отец, сидя во главе стола, рассказывал:

— Говорю Рэббиту, что хочу развести голубей, а он мне угадайте что в ответ? «Только не белых». «А почему?» — спрашиваю. «Как пить дать, принесут несчастье, — отвечает. — Заведи лишь стаю белых, и приведут в дом печаль и смерть. Серых разводи». «Я белых люблю», — говорю. «Серых разводи», — повторяет. А я белых разведу — и это твердо, как твердь небесная.

— Зачем тебе, Самюэл, вечно дразнить судьбу? — стала уговаривать терпеливо Лиза. — Серые крупней и на вкус не хуже.

— Не пойду я на поводу у пустых сказок, — отвечал Самюэл.

И Лиза сказала со своей ужасающе-трезвой простотой:

— Ты у собственной строптивости идешь на поводу. Ты спорщик и упрямец, ты упрям, как мул!

— Кому-то надо спорить с судьбой, — возразил Самюэл хмуро. — Если бы человечество никогда не дразнило судьбу, то до сих пор сидело бы на деревьях.

И, конечно, развел белых голубей и воинственно стал дожидаться печали и смерти — и разве не дождался? А теперь праправнуки тех голубей воркуют по утрам и вихрятся белою метелью, взлетая над сараем.

И, вспоминая былое, Десси слышала вокруг себя голоса, — дом опять наполнялся людьми. «Печаль и смерть, — думалось и будило снова боль. — Смерть и печаль. Только жди, имей терпение — и дождешься».

Ей слышалось, как шумно дышат мехи в кузнице и постукивает пробно молоток по наковальне. Слышалось, как Лиза открывает дверцу духовки, как шлепает тугим караваем на хлебной доске... А это Джо бродит, ищет свои ботинки в самых неподходящих местах и наконец находит их — под своей кроватью.

А вот и милый тонкий голосок Молли слышен в кухне, она читает главу из Библии, как заведено по утрам, и Уна поправляет ее не улыбаясь своим звучным грудным голосом.

И вспомнилось, как Том карманным ножиком сделал надрез под языком у Молли и от страха чуть не умер, осознав меру своей отваги.

— Ах ты, родной мой Том,— шепнула Десси одними губами.

Том боязлив настолько же, насколько и отважен; так уж свойственно людям великой души. Неистовство в нем пополам с нежностью, и весь он — поле сражения сил, мятущихся внутри. Он и теперь в смятенном состоянии духа, но Десси знает, что сможет держать его в узде и направлять, как всадник направляет на барьер скакуна чистых кровей, демонстрируя его породу и выучку.

В полудремоте, полуболи лежала Десси, а утро все ярче светлело в окне. И она вспомнила, что четвертого июля¹ Молли будет шагать на праздничный пикник впереди, рядом с самим Гарри Форбзом, членом Калифорнийского сената. А платье Молли еще не обшито галуном. Десси с трудом приподнялась. Столько еще дошивать, а она лежит и дремлет.

— Я успею, Молли. Оно будет готово,— громко проговорила Десси.

И встала, накинула халат, босиком обошла весь дом, так густо населенный Гамильтонами. Но в коридоре их нет — значит, в своих спальнях. Там аккуратно застланы постели — и тоже никого; значит, все в кухне. Но и там пусто — ушли, рассеялись. Печаль и смерть. Волна воспоминаний схлынула, осталась сухая трезвость пробуждения.

В доме убрано, вычищено, занавеси постираны, окна вымыты, но все это сделано по-мужски: выглаженные гардины повешены чуть косо, на стеклах полосы от тряпки, а на столе остался прямоугольный след, где лежала книга.

В кухне разгорается плита, огонь оранжевеет в щелях дверец, тихо гудит и тянется в проем заслонки. За стеклом стенных часов взблескивает маятник, и часы постукивают, будто деревянный молоточек по деревянному пустому ящичку.

¹ День независимости — национальный праздник США, годовщина провозглашения независимости (1776 г.).

Со двора донесся сипловатый странный свист — точно на древней тростниковой дудке играли дикарскую мелодию. На крыльце слышались шаги Тома, и он вошел с охапкой дубовых дров, такой объемистой, что он за ней ничего не видел. Каскадом посыпались дрова в ящик у плиты.

— Ты уже встала,— сказал Том. Лицо его светилось радостью.— А я хотел разбудить тебя этим грохотом. Утро сегодня легкое, как пух,— такое утро грех проспать.

— Ты говоришь в точности, как, бывало, отец,— сказала Десси, вторя брату своим смехом.

— Да,— сказал он громко; радость в нем свирепо разгоралась.— И мы вернем те времена. Я маялся, волокся тут в тоске, как змея с перебитым хребтом. Уилл недаром решил, что я свихнулся. Но теперь ты вернулась — и сама увидишь. Я оживу и все тут оживлю. Слышишь? Жизнь в этом доме воскреснет.

— Я рада, что вернулась,— проговорила Десси и скорбно подумала: «Как хрупок Том сейчас, и как легко может сломаться, и как зорко надо будет мне его оберегать».

— Ты, должно быть, день и ночь трудился, чтобы так все прибрать в доме,— сказала она.

— Пустяки,— сказал Том.— Шевельнул слегка пальцами.

— Знаю я это «слегка» — тут и ведро, и швабра участвовали, и на коленках пришлось поползать, если только ты не изобрел новый способ уборки, не впряг в это дело ветер или наших кур.

— Да, я здесь изобретаю, потому все время и занято. Изобрел такой паз, чтобы галстук свободно скользил в жестком воротничке.

— Ты ведь не носишь жестких.

— Вчера надел. И вчера же изобрел. А куры — кур я разведу миллионы, настрою курятников по всему ранчо, с приспособленьем на крыше, чтоб окунать их в белильный раствор. А яйца будет подавать наружу небольшой конвейер — вот! Я нарисую тебе.

— Прежде завтрак нарисуй,— сказала Десси.— Нарисуй глазунью. Окрась розовым и белым ветчину.

— Будет сделано! — воскликнул Том, открыл дверцу, занялся плитой так яростно, что волосы на пальцах свер-

нулись и обуглились от жара. Подложил дров и опять за-свистал свою мелодию.

— Ты точно козлоногий фавн, играющий на свирели где-нибудь на холме в древней Греции.

— А кто ж я, как не фавн? — воскликнул Том.

«Он так непритворно весел, почему же у меня на сердце тяжело? — горестно подумала Десси.— Почему я никак не могу выкарабкаться из серого мешка своей тоски?.. Нет, выкарабкаюсь! — вскричала она мысленно.— Раз он может, то и я смогу».

— Том! — сказала она.

— Да?

— Окрась мою глазунью в радостный, в пурпурный цвет.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

1

Долго в тот год зеленели холмы, и лишь к концу июня трава пожелтела. Метелки овсюга, тяжелые от семян, поникло висели на стеблях. Роднички не пересыхали и летом. Скот на вольном выпасе тучнел, наливался здоровьем. В то лето население долины Салинас-Валли забыло о засушливых годах. Фермеры прикупали землю, не соразмеряя со своими возможностями, и подсчитывали будущую прибыль на обложках чековых книжек.

Том Гамильтон трудился, как усердный великан — не только шершавыми сильными руками, но и сердцем и душой. Снова застучал молот в кузнице. Том покрасил старый дом, побелил сарай. Съездил в Кинг-Сити, изучил устройство туалетного бачка и соорудил ватерклозет из жести, которую умело согнул, и дерева, украшенного резьбой. Поскольку вода из родника поступала слабо, он сбил из секвойного красного дерева чан и поставил у дома, а воду туда подавал насос, приводимый в движение самодельным ветрячком, так умно слаженным, что он вертелся при самом слабом ветре. И Том сделал из металла и дерева модели еще двух своих изобретений, чтобы осенью послать в бюро патентов.

И трудился он весело, энергично. Десси приходилось вставать очень рано, иначе Том, того гляди, сделает сам всю домашнюю работу. Но она видела, что это великанье рыжее веселье не было естественным и легким, как у Самюэла. Оно не вскипало, не подымалось из нутра само собой. Том создавал, формовал, строил это веселье, прилагая все свое умение.

Десси была богаче всех в Долине приятельницами, но задушевных подруг у нее не было. И никому она не сказала о своем недуге, о своих болях. Хранила их в тайне.

Как-то застав ее замершей, напрягшейся в приступе боли, Том встревоженно воскликнул:

— Десси, что с тобой?

— Легкий прострел. Резануло спину — и уже прошло, — ответила она, согнав напряжение с лица. И через минуту оба уже смеялись.

Они часто и много смеялись, как бы подбадривая самих себя. Только ночью возвращалось к Десси горе утраты, неизбывное, невыносимое. А Том лежал в своей комнате, во тьме, и недоумевал, как ребенок. Слышал, как стучит, утомленно пошумливая, его сердце. Гнал от себя горькие мысли о сестре, хватался за планы, затеи, замыслы, изобретения.

Летними вечерами они всходили иногда на холм, глядели на закат, прощально красивший вершины западных гор, подставляли лицо ветерку, который шел в долину на место жаркого дневного воздуха, поднявшегося ввысь. Оба молча вдыхали вечерний покой. Оба были застенчивы и потому не говорили о себе. И, в сущности, не знали друг о друге ничего.

И Том удивился, и сама Десси удивилась своей смелости, когда однажды вечером спросила Тома, стоя на холме:

— Том, почему ты не женишься?

Он глянул на нее, отвел глаза, сказал:

— А кто за меня пойдет?

— Ты шутишь или серьезно?

— Кто за меня пойдет? — повторил он. — Кому я такой нужен?

— Ты, я вижу, говоришь всерьез. — И, нарушая неписанный закон их взаимной сдержанности, Десси спросила: — Ты был когда-нибудь влюблен?

— Нет,— коротко ответил он.

— Хотелось бы мне это знать,— произнесла она, точно не слыша.

Спустились с холма; Том молчал. Но на крыльце неожиданно сказал:

— Тебе здесь тоскливо. Тебе хочется уехать.— И, подождав минуту: — Так ведь? Ответь мне.

— Мне здесь лучше, чем где бы то ни было,— сказала Десси и спросила: — Ты к женщинам едешь хоть изредка?

— Да,— сказал он.

— И удастся там развеяться?

— Почти что нет.

— Что же ты намерен делать?

— Не знаю.

Они молча вошли в дом. Том зажег в старой гостиной лампу. Набитый конским волосом диван прислонил к стене изогнутую спинку — тот самый диван, на котором Том ездил на танцы и который потом основательно чинил. И на полу зеленый ковер — с тропкой истертости от дверей к дверям.

Десси села на диван, Том — у круглого стола посреди комнаты. Десси видела, что Том все еще сконфужен своим признанием. «Как неиспорчен он душой,— думалось Десси,— и как неприспособлен к миру, в котором даже я разбираюсь лучше, чем он. Он рыцарь по натуре, избавитель от змеев-драконов. Мелкие грешки его кажутся ему так велики, что он считает себя недостойным, низменным. Ах, был бы жив отец. Он ощущал великие задатки в Томе. Он, может быть, сумел бы извлечь их из тьмы, дать им крылатый простор».

Чтобы отвлечь и зажечь Тома, она заговорила о другом.

— Уж раз мы толкуем о себе, то подумай вот о чем. Весь наш мирок ограничен долиной да редкими поездками в Сан-Франциско. Ты был хоть раз южнее Сан-Луис-Обиспо?¹ Я ни разу не была.

— И я ни разу,— сказал Том.

— Ну разве не глупо?

— Очень многие не были,— сказал Том.

¹ Город в Калифорнии севернее Лос-Анджелеса.

— Но каким это законом предписано так жить? Мы могли бы съездить в Париж, в Рим или в Иерусалим. Как бы я хотела увидеть Колизей!

Он недоверчиво взглянул на Десси — не шутит ли она.

— Но как же мы поедem? Нужно много денег.

— Думаю, не так уж много, — сказала Десси. — Не обязательно жить в дорогих отелях. Можно сесть на самый дешевый пароход, ехать третьим классом. Как наш отец плыл сюда из Ирландии. И в Ирландию могли бы заехать.

Он все еще смотрел с недоверием, но в глазах уже зажегся огонек.

— Год поработаем, будем экономить каждый цент. Я в Кинг-Сити наберу заказов на шитье. Уилл нам поможет. А на будущее лето ты продашь весь скот, и мы поедem. Кто нам запретит?

Том встал и вышел на крыльцо. Поглядел на летние звезды, на голубую Венеру и красный Марс, ощущая мышцы рук, сжимая и разжимая пальцы. Повернулся, вошел в дом. Десси сидела в той же позе.

— Ты правда хочешь ехать, Десси?

— Больше всего на свете.

— Тогда поедem!

— А ты хочешь?

— Больше всего на свете. — И воскликнул: — А Египет — о Египте ты забыла?

— Афины, — откликнулась Десси.

— Константинополь!

— Вифлеем!

— Да, Вифлеем! — И неожиданно сказал: — Иди ложись. Впереди у нас год работы — целый год. Иди отдыхай. Я займу денег у Уилла, куплю сто поросят.

— А чем их кормить?

— Желудями, — сказал Том. — Я построю машину для сбора желудей.

Он ушел к себе, и Десси было слышно, как он там воится и негромко разговаривает сам с собой. И Десси радовалась этому, глядя из окна своей комнаты на звездную ночь. «Но действительно ли хочется мне ехать? И хочется ли Тому?» И вместе с этой мыслью шелестнула, просыпаясь, боль в боку.

Утром, когда Десси встала, Том уже сидел за чертежной доской, постукивая кулаком по лбу и что-то бормоча.

— Это та самая машина? — спросила Десси, глядя через плечо Тома.

— Желуди сгребать нетрудно, — сказал Том. — Но как отделять палочки и камешки?

— Ты изобретатель, знаю. Но для сбора желудей лучшую в мире машину изобрела я, и она уже готова к работе.

— Ты о чем это?

— О детях, — ответила Десси. — Об их ручонках, не знающих покоя.

— Они не станут собирать, даже за деньги.

— А за призы станут. Каждому дадим приз, а победителю — дорогой, долларов за сто. Они во всей долине не оставят ни одного желудя. Разрешишь мне попробовать?

Том почесал в затылке.

— Отчего ж? — проговорил он. — Но как ты ссыплешь вместе все собранное?

— Дети сами ссыплют, — сказала Десси. — Это уж моя забота. Ты только приготовь, куда ссыпать.

— Но это ведь эксплуатация, использование детского труда.

— Да, — согласилась Десси. — В моей мастерской я использовала труд девчушек, которые хотели научиться шить, а они использовали меня. Мы назовем это так: «Большое Монтерейское состязание по сбору желудей». И я не всех стану допускать. А призами будут, скажем, велосипеды. Разве ты не стал бы собирать желуди, если бы призом был велосипед?

— Конечно, стал бы. Но можно же и деньги заплатить им?

— Нет, — сказала Десси. — Тогда это будет не состязание, а работа. А работать детвора не любит. Я сама не люблю.

Том откинулся на спинку стула, засмеялся.

— И я не люблю, — сказал он. — Ладно, ты ведай желудями, а я — свиньями.

— Вот смешно будет, Том, если мы — и вдруг наживем деньги!

— Но ты же зарабатывала в Салинасе.

— Не так уж много. Обещаниями-то я была богата. Если бы по этим моим счетам мне заплатили, нам бы те-

перь не требовалось разводить свиней. Завтра же могли бы отправиться в Париж.

— Я утром съезжу в город к Уиллу, поговорю,— сказал Том. Отодвинул рывком стул от чертежной доски.— Хочешь, вместе съездим?

— Нет, я останусь дома — обдумывать планы. Завтра приступлю к Большому Монтерейскому состязанию.

2

Возвращаясь под вечер на ранчо, Том был грустен и обескуражен. Как всегда, Уилл сумел обдать холодной водой, погасить его энтузиазм. Уилл подергал себя за усы, потер брови, почесал нос, протер очки и медленно, сосредоточенно обрезал и зажег сигару. Замысел Тома оказался полон прорех, и Уилл умело сунул палец в каждую.

Состязание по сбору провалится,— хотя почему именно, Уилл не разъяснил детально. Он сказал, что вся затея весьма сомнительна, особенно по нынешним временам. Обещал— и то с великим скрипом — подумать над этой идейкой.

Среди разговора Том чуть было не сказал Уиллу про поездку в Европу, но вовремя спохватился, остановленный верным чутьем. Слоняться по Европе можно разве что уйдя на покой и вложив капитал в надежные ценные бумаги,— а иначе, с точки зрения Уилла, это чистое безумие, рядом с которым даже свино-желудевая затея — образец деловой сметки. Так что Том промолчал и уехал, увозя обещание Уилла «подумать» и чувствуя, что их план будет отвергнут.

Бедному Тому было невдомек, что одна из творческих радостей бизнесмена как раз и состоит в успешной маскировке. Для бизнесмена восторгаться чужим замыслом — полнейший идиотизм. Уилл и в самом деле решил подумать. План захватил его некоторыми своими возможностями. Том ненароком наткнулся на очень интересную идею. Купить поросят в кредит, откормить почти что даровыми желудями, продать, расплатиться с долгом — так ведь можно получить порядочную прибыль. Грабить Тома Уилл не собирался — просто оттеснить его слегка. Ведь Том мечтатель, ему нельзя доверить реализацию здоровой, хорошей идеи. К примеру, Том не знает даже, почем нынче свинина и склонна ли цена возрасти или упасть. В случае успеха Уилл непременно подарит Тому солидный пода-

рок — быть может, даже форд. А что если объявить форд первым и единственным призом? Ведь все население долины кинется собирать желуди!

Подъезжая к ранчо, Том раздумывал над тем, как бы помягче сказать Десси, что план их не годится. Лучше всего было бы сразу же заменить его другим планом. Но каким? Как заработать за один год деньги на поездку в Европу? И внезапно он отдал себе отчет, что не знает, сколько на это требуется денег. Не знает, сколько стоит билет на пароход. Надо сегодня же вечером прикинуть вместе с Десси.

Он полунадеялся, что Десси, завидя его, выбежит из дома, и приготовился встретить ее веселой улыбкой и шуткой. Но Десси не выбежала. Может быть, легла вздремнуть. Он напоил лошадей, поставил в стойло, задал сена.

Вошел в дом; Десси лежит на диване.

— Отдыхаешь? — спросил Том и тут увидел, как она бледна. — Десси, что с тобой? — вырвалось у него.

Она ответила, преодолевая боль:

— Просто живот разболелся. Довольно сильно.

— Ах, вот что, — сказал Том. — А я испугался. Ну, от живота я тебя вылечу.

Ушел на кухню и вернулся со стаканом серовато-прозрачной жидкости. Подал стакан Десси.

— Что это, Том?

— Хорошая старая слабительная соль. Слегка взбудоражит кишочки, но вылечит.

Она покорно выпила, поморщилась, сказала:

— Я помню этот вкус. Мамино верное средство в сезон зеленых яблок.

— Теперь лежи спокойно, — сказал Том. — Я спроворю обед.

Ей было слышно, как Том орудует на кухне. А внутри у Десси бушевала боль. И к боли присоединился теперь страх. Соль жгла пищевод, желудок. Десси еле добралась до ватерклозета и попыталась рвотой избавиться от этой соли. По лбу покатился пот, залил глаза. Мышцы брюшной стенки судорожно отвердели, мешая Десси разогнуться.

Потом Том принес ей омлет. Она тихо покачала головой.

— Не могу, — сказала, улыбнувшись. — Я лучше просто лягу в постель.

— Соль должна скоро подействовать,— заверил ее Том.— И все будет в порядке.

Он довел ее до спальни, помог лечь.

— Как ты думаешь, что ты могла такое съесть?

Десси лежала, собрав всю свою волю — борясь с болью. Часам к десяти вечера воля стала ослабевать.

— Том! Том! — позвала Десси.

Том открыл дверь, держа в руке «Всемирный альманах».

— Том,— проговорила Десси,— извини уж меня. Но мне очень нехорошо, Том. Мне худо.

В полумраке он присел на край постели.

— Сильно режет?

— Да, ужасно.

— Может быть, тебе в туалет надо?

— Нет, сейчас не надо.

— Я принесу лампу, посижу с тобой,— сказал он.— Может, ты уснешь. К утру пройдет. Соль вылечит.

Она молча скрепилась, снова собрав волю в кулак; Том читал ей вслух из «Альманаха». Когда ему показалось, что Десси уснула, он замолчал, задремал в кресле у лампы.

Его разбудил тонкий вскрик. Том вскинулся — Десси металась в постели. Взгляд ее был млечно-мутен, как у обезумевшей лошади. В углах губ пувырьками вскипала пена, лицо пылало. Том сунул руку под одеяло — мышцы живота каменно тверды. Наконец она перестала корчиться, откинулась на подушку, в полузакрытых глазах блеснул свет лампы...

Том не стал седлать коня — опрометью взнуздал и поскакал так. Рванул, выдернул пояс из брюк и, хлеща испуганного коня, понудил к спотыкливому галопу по каменистым рытвинам проселка.

Двухэтажный дом Дунканов стоит у самой дороги. Дунканы спали наверху и не слышали, как Том колотит в парадную дверь, но слышали треск и грохот двери, вырванной с замком и петлями. Когда Дункан сбегал вниз с дробовым ружьем, Том уже кричал в телефон, висящий на стене.

— Мне доктора Тилсона! Соедините с ним! Дозвонитесь! Во что бы то ни стало! Дозвонитесь, будь оно все проклято! — кричал он телефонистке в Кинг-Сити. Дункан,

еще не совсем проснувшийся, стоял, наведя на Тома дробовик.

В трубке раздался голос Тилсона.

— Да! Да, да. Я слышу. Вы Том Гамильтон. Что с ней такое? Мышцы живота напряжены? А что вы применили? Соль ей дал?! Дурак ты этакий!

И, подавив гнев, доктор продолжал:

— Том. Том, мальчик мой. Возьми себя в руки. Возвращайся к ней, мочи в холодной воде полотенца и прикладывай, чтобы как можно холодней. Льда у вас, конечно, нет. Все время меняй полотенца. Я еду немедленно. Слышишь меня? Слышишь меня, Том?

Доктор повесил трубку, оделся. Сердито и устало открыл стенной шкаф, вынул скальпели, зажимы, тампоны, трубки, иглы и нити для швов, чтобы вложить все это в чемоданчик. Встряхнул свой фонарь — проверил, заправлен ли. Рядом поставил на стол банку с эфиром, положил эфирную маску. Заглянула жена — в чепце, в ночной рубашке.

— Я иду в гараж Уилла Гамильтона, — сказал доктор Тилсон. — Позвони Уиллу. Передай, пусть отвезет меня сейчас на ранчо Гамильтонов. Если начнет разводить канинель, скажи ему, что его сестра умирает.

3

Через неделю после похорон Десси Том вернулся домой. Он ехал в седле подтянутый и строгий, плечи развернуты, подбородок убран — точно гвардеец на параде. Все, что надо, выполнено было не спеша и аккуратно. Конь вычищен скребницей; широкополая шляпа надета прямо и твердо. Даже и Самюэл не держался бы достойнее, чем Том, возвращающийся домой. Ястреб кинулся с высоты когтить цыпленка — Том и головы не повернул.

У конюшни он спешился, напоил гнедого, продержал у ворот минуту-другую, надел недоуздок, насыпал плющеного ячменя в ящик у яслей. Снял седло, повернул потник нижней стороною кверху, чтобы высушить. Когда ячмень был съеден, Том вывел коня во двор и пустил пастись на волю, на неогороженный земной простор.

В доме стулья, и вся мебель, и плита словно бы отпрянули от Тома с отвращением. Он вошел в гостиную — та-

бурет неприязненно посторонился. Спички в кармане отсырели, и Том виновато пошел на кухню за сухими. Вернулся — лампа стоит беспристрастно и одиноко. Том поднес спичку, и сразу, охватив круглый фитиль, пламя встало желтое, дюймовой высоты.

Том сел, обвел глазами вечернюю комнату, избегая глядеть на диван. Пискнули мыши в кухне, он обернулся на шум, увидел свою тень на стене — тень эта почему-то в шляпе. Он снял шляпу, положил на стол.

Так сидел он у стола, гоня от себя мысли, кроме самых пустяковых, — но зная, что этим защитишь себя ненадолго, что сейчас вызовут на суд, где судьей будет он сам, а присяжными и обвинителями — преступления его.

И вот резко прозвучало в ушах его имя, и он мысленно встал пред судом, и его стали уличать: Тщеславие — в том, что он одет безвкусно, грязен, груб; Похоть — в том, что тратится на проституток; Нечестность — что притязает на талант и силу мысли, коих не имеет; Обжорство выступило рука об руку с Лению. И Том был рад этим обличениям, ибо они заслоняли его от чего-то огромного, серого, ждущего в заднем ряду, — грозное, серое, маячило там Преступление. Том выискивал в памяти грешки и прегрешения, сясь прикрыться, спасти себя ими. Они казались почти добродетелями: Зависть к богатому Уиллу; Измена маминому Богу; пустая Трата времени и надежд; болезненное Уклонение от любви.

Раздался тихий голос Самюэла — и наполнил собой комнату: «Будь чист и добр, будь велик, будь Том Гамильтон».

Но Том отмахнулся от этого голоса. Том сказал: «Я занят, я приветствую друзей» — и кивнул Безобразию, Невежеству, Сыновнему Непослушанию, Грязным Ногам. Опять обратился к Тщеславию. Но тут выступило вперед, оттеснив прочих, Серое. Поздно прятаться за детские грешки. Серое — это Убийство Сестры.

Том ощутил рукою холодок стакана, увидел жемчужно-прозрачную жидкость, в которой еще кружились, растворяясь, кристаллы и поднимались светлые пузырьки, и повторил вслух в пустой, пустынной комнате: «Соль вылетит. К утру пройдет. И все будет в порядке». Вот так он заверял ее, в точности так, — и стены, стулья, лампа слышали, и ему не отпереться. Нет во всем мире места Тому

Гамильтону. Он уже искал. Он тасовал страны и города, как игральные карты. Лондон? Нет! Египет — пирамиды, сфинкс... Нет! Париж? Нет! Но погоди — в Париже ведь грешат почище твоего. Нет! Ну ладно, подожди пока, Париж, — еще к тебе, может, вернемся. Вифлеем? О Боже милостивый, нет! Тоскливо было бы там чужаку...

И тут заметим в скобках, что не всегда упомнишь, когда именно и как тебя не стало: то ли шепоток, поднятая бровь — и тебя уже нет; то ли не стало тебя в ночь, крапчатую от пятен света, когда гонимый порохом свинец, доискавшись твоего секрета, отворил тебе жилы.

И ведь верно, Тома Гамильтона уже нет, ему осталось лишь закончить двумя-тремя достойными деталями.

Диван издал короткий раздраженный треск, Том покосился на него и понял, что раздражение относится к коптящей лампе.

— Благодарю, — сказал Том дивану. — Я не заметил. Привернул фитиль, и пламя очистилось.

Мысли задремывали. Но оплеухой серое Убийство разбудило Тома. А рыжий Том, камедный Том устал. Кончать с собой — возня ведь и, возможно, боль и мука.

Вспомнилось, что мама с крайним отвращением относится к самоубийству, ибо в нем сочетаются три мерзкие ей вещи: невоспитанность, малодушие и грех. Оно для нее ничем не лучше прелюбодеяния и воровства. И надо как-то уйти от ее осуждения. Ведь если она осудит, то будешь страдать.

Отец не так строг, с Самюэлом легче — но, с другой стороны, его не перехитришь, он вездесущ. Самюэлу надо сказать.

— Прости меня, отец мой, — произнес Том. — Не могу иначе. Ты переоценил меня. Ты ошибся. Хотел бы я оправдать твою любовь, но зря ты меня любил и зря гордился мною. Возможно, ты нашел бы выход, а я вот не могу. Не могу я жить. Я убил Десси и хочу уснуть.

И мысленно ответил за далекого отца:

— Что ж, понять тебя можно. Немалый есть выбор путей от рождения к новому рождению. Но давай подумаем, как бы нам не оскорбить маму. Сделаем не торопясь, родной мой.

— Не могу не торопиться, — отвечал Том. — Не могу я больше.

— Да нет же, сможешь, сын мой любимый. Недаром я предвидел в тебе величие — оно уже расправило плечи. Открой ящик стола и пораскинь тем, что именуешь мозгами.

Том выдвинул ящик, увидел там стопку тисненой почтовой бумаги, пачку таких же конвертов и два карандашных огрызка, а в пыльном углу ящика — несколько марок. Вынул бумагу, очинил карандаши карманным ножиком. И стал писать:

«Дорогая мама!

Надеюсь, ты в добром здоровье. Я в будущем хочу чаще у тебя бывать. Оливия пригласила меня на День благодарения, и я, само собой, приеду. Наша маленькая Оливия умеет приготовить индюшку почти так же вкусно, как ты — но я знаю, ты этому никогда не поверишь. А мне тут повезло. За пятнадцать долларов купил мерина и, по моему, чистых кровей. Продали дешево, потому что этот мерин — человеконенавистник. Прежний владелец не столько, бывало, сидел у него на спине, сколько лежал на своей собственной, сброшенный наземь. Отрицать не буду, норовист коняга. Бросал меня уже дважды, но я все равно его объезжу, и тогда у меня будет едва ли не лучшая лошадь во всем округе. Зиму убью на это дело, но обуздаю, будь уверена. Не знаю, почему столько пишу о коняге. Но прежний владелец сказал о нем забавно. До того, говорит, зол меринок — готов зубами выесть всадника из седла. А помнишь, как говаривал отец, провожая нас на кроличью охоту: «Возвращайтесь со щитом или на щите». Ну, до встречи в День благодарения.

Твой сын Том».

Естественно ли получилось? Но устал он, сочинять заново не будет. Только приписал:

«P. S. А попугай, по моему, неисправим. Я краснею за него».

На другом листке Том написал:

«Дорогой Уилл!

Что бы ты сам ни подумал обо мне, но прошу, помоги мне сейчас. Ради нашей матери. Меня убила лошадь — сбросила и лягнула в голову. Подтверди — прошу тебя!

Твой брат Том».

Наклеил марки, сунул конверты в карман и спросил Самюэла:

— Теперь все как надо?

В комнате у себя распечатал коробку патронов и, взяв свежесмазанный свой револьвер — «Смит и Вессон» 38-го калибра, — вложил патрон в гнездо, что следующим ляжет под боек при повороте барабана.

Конь, сонно стоявший у забора, подошел на свист хозяина, и Том оседлал его, дремлющего.

Было три часа утра, когда, бросив письма на почте в Кинг-Сити, Том снова поднялся в седло и повернул коня на юг, к скудным холмам родного ранчо.

Том был истинный джентльмен.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Ребенок спрашивает: «Какая самая главная тайна на свете?» Взрослый иногда задается вопросом: «Куда идет мир, как он кончится? Да, мы живем, но в чем смысл жизни?»

Я думаю, что в истории есть одна-единственная тайна, она вселила в человека страх и одновременно вдохновила его на благородные дела. Поэтому вся его жизнь проходит в постоянном ожидании чего-то, в сомнениях и переживаниях, как будто он смотрит фильм с Перл Уайт в главной роли¹. Со всеми своими мыслями и поступками, желаниями и стремлениями, со всей своей жадностью и жестокостью, состраданием и великодушием люди с самого начала попадают в сеть добра и зла. Я считаю, что это единственная тайна, которая существует у человечества, и она захватывает все наши чувства и наш рассудок. Добродетель и порок стерегут первые проблески нашего сознания и будут с нами до его последнего мерцания, как бы мы ни изменяли землю, море и горы, экономику и нравы. Никакой другой тайны нет. Когда человек отрясает от ног своих прах и тлен земной жизни, перед ним встает прямой и трудный вопрос: «Какая она была — хорошая или плохая? Как я жил — правильно или неправильно?»

В своей истории греко-персидских войн Геродот рассказывает о том, как Крёз, самый богатый и почитаемый современниками царь, спросил у Солона Афинского: «Кто

¹ Перл Уайт (1889—1938) — американская киноактриса, завоевавшая популярность многосерийной картиной «Опасные приключения Полины». Героини Уайт сочетают женскую привлекательность и отвагу.

самый счастливый человек на свете?» Он жаждал ответа, потому и задал этот вопрос. Его грызли сомнения, и ему надо было во что бы то ни стало рассеять их. Солон поведал ему о трех достойных мужах, живших в старые времена. Крёз, наверное, плохо слушал его — так ему хотелось услышать о себе. И когда Солон не упомянул его, Крёз не вытерпел и спросил: «Разве ты не считаешь счастливым меня?»

Солон не колеблясь сказал: «Откуда мне знать? Ты же пока не умер».

Потом, когда удача покинула Крёза и он начал терять царство и сокровища, его, должно быть, неотвязно мучили эти слова. Взойдя на костер, он тоже, вероятно, думал об этом и жалел, что спросил Солона.

В наше время тоже так. Когда умирает человек, который имел деньги, вес, власть и другие вещи, вызывающие зависть, а живые подсчитывают его богатство, его труды, заслуги и памятники, то сам собой возникает вопрос: «Какую он прожил жизнь — хорошую или плохую?», то есть люди спрашивают то же самое, о чем другими словами спросил Крёз. Зависть прошла, и теперь человека меряют вечной меркой: «Любили его или ненавидели? Причинила его смерть горе или, наоборот, вызвала радость?»

Я хорошо помню смерть трех людей. Один из них был самый богатый человек нашего столетия, который продрался к богатству, уродуя судьбы и души, а потом много лет старался вернуть уважение и тем самым сослужил большую службу обществу, пожалуй, даже перевесившую зло, которое он причинил людям при возвышении. Я плыл на пароходе, когда он умер. Вывесили объявление о его смерти, и известие почти всем доставило удовольствие. Некоторые даже говорили: «Слава богу, помер-таки, сукин сын».

Другой был дьявольски хитер, он не понимал, что у каждого есть чувство собственного достоинства, зато хорошо изучил человеческие слабости и пороки и пользовался этим, чтобы подкупать и покупать людей, развращать, совращать и шантажировать их, и добился в конце концов большой власти. Он прикрывал свои поступки словами о добродетели, а я удивлялся — неужели он не понимает, что никакой дар не завоеует тебе уважение, если ты отнял у другого самоуважение. Когда покупаешь человека, ничего, кроме ненависти, от него не жди. Когда он умер, вся

страна возносила ему хвалу, но в глубине души каждый радовался его смерти.

Третий, наверное, совершил много ошибок, но вся его деятельная жизнь была посвящена тому, чтобы помочь людям стать хорошими, честными и мужественными в те времена, когда злые силы в мире захотели сыграть на их страхе. Немногие наверху очень не любили этого человека, но народ плакал на улицах, когда он умер, и вопрошал в отчаянии: «Что нам теперь делать? Как нам жить без него?»

Я полон сомнений, но для меня несомненно, что под наружным покровом слабости каждый хочет быть хорошим и чтобы его любили. Мало того, большинство наших пороков — это неудавшиеся попытки найти легкий, кратчайший путь к добродетели. Когда человеку приходит время умереть и он умирает, не вызывая жалости у других, то каковы бы ни были его способности, положение и заслуги, вся его жизнь — сплошная неудача, а смерть рождает в нем ужас. Если вы или я оказываемся перед выбором подумать или поступить так или иначе, мы всегда должны помнить о смерти и стараться жить так, чтобы наша смерть никому не доставила радости.

Да, у человечества есть одна-единственная тайна. Все наши романы, вся поэзия вертятся на непрекращающейся борьбе добра и зла в нас самих. Мне иногда кажется, что зло вынуждено постоянно приспосабливаться и менять обличье, но добро бессмертно. У порока каждый раз новое, молодое лицо, зато больше всего на свете чтут добродетель, и так будет всегда.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

1

Ли помог Адаму и мальчикам переехать в Салинас, проще сказать — перевез их: уложил вещи, отправил их на вокзал, загрузил заднее сиденье форда, а по прибытии в Салинас распаковал имущество, аккуратно разложил по местам и вообще обустроил Трасков в небольшом доме Десси. Он сделал все мыслимое для их удобства, массу сверх того и тем не менее продолжал хлопотать, дабы от-

тянуть время. Но вот однажды вечером, когда близнецы уже улеглись, он церемонно подал Адаму ужин. Вероятно, по этой церемонности Адам и догадался, к чему тот клонит.

— Я же вижу, ты давно хочешь что-то сказать мне. Выкладывай.

Ли заранее придумал речь, которую хотел начать так: «В течение многих лет я служил вам в полную меру моих сил и возможностей, однако теперь...», но прямое обращение Адама сбило его с толку.

— Я много раз откладывал объяснение, — сказал Ли. — Настоящую речь заготовил. Хотите выслушать?..

— А тебе непременно хочется произнести речь?

— Нет, — признался Ли, — не хочется. Хотя речь хорошая.

— Когда желаешь взять расчет?

— Как можно скорее. Боюсь передумать, если буду откладывать. Вы хотите, чтобы я подождал, пока найдете кого-нибудь на мое место?

— Не стоит. Ты же знаешь, какой я медлительный. Мне понадобится время. Может быть, я вообще никого не возьму.

— В таком случае я еду завтра.

— Мальчишки ужасно расстроятся, — сказал Адам. — Прямо не знаю, как они будут без тебя. Может, тебе лучше потихоньку уехать, а я им после все объясню.

— Мои наблюдения говорят о другом. Дети любят преподносить нам сюрпризы.

Так оно и случилось. На другой день за завтраком Адам объявил:

— Арон, Кейл, слушайте: Ли уезжает от нас.

— Правда?.. — переспросил Кейл. — Знаешь, сегодня вечером баскетбольная встреча. Вход десять центов. Ты не против, если мы пойдем?

— Идите. Но вы слышали, что я сказал?

— Факт, слышали, — отозвался Арон. — Ты сказал, что Ли уезжает.

— Совсем уезжает!

— И куда он едет? — поинтересовался Кейл.

— В Сан-Франциско. Он будет там жить.

— А-а... — протянул Арон. — На Главной улице появился один, видел? Поставил свою печку прямо на тротуа-

ре, жарит сосиски и кладет в булки. Всего десять центов за штуку, а горчицы сколько хочешь бери.

Ли стоял в дверях кухни и, глядя на Адама, улыбался. Когда близнецы собрались в школу, Ли сказал:

— До свидания, мальчики.

— До свидания! — выкрикнули оба и выскочили из дома.

Адам устоялся в чашку с кофе и пробормотал виновато:

— Бесенята бесчувственные! Вот тебе награда за десятилетнюю службу.

— По мне лучше так, — отозвался Ли. — Притворись они, что опечалены, они покривили бы душой. Для них мой отъезд пустяк. Может, они иногда вспомнят обо мне — втихомолку. Я не хочу, чтобы они огорчались. Надеюсь, у меня не настолько мелкая натура, чтобы радоваться, когда по мне скучают. — Он положил на стол перед Адамом пятьдесят центов. — Пойдут вечером на баскетбол — передайте им это от меня, и пусть купят булочки с сосисками. Только бы там не оказалось птомаина, в моем скромном прощальном подарке. Были такие случаи.

Адам удивленно смотрел на раздвижную корзину, которую Ли принес в столовую.

— Это все твои вещи?

— Кроме книг. Книги я сложил в коробки и оставил в подвале. Если вы не возражаете, я пришлю за ними или приеду сам, когда устроюсь.

— Конечно. Знаешь, Ли, мне будет здорово не хватать тебя. Не знаю, приятно тебе это слышать или нет. Ты в самом деле собираешься купить книжную лавку?

— Таковы мои намерения.

— Писать-то хоть нам будешь?

— Пока не знаю. Нужно подумать. Говорят, чистая рана быстрее заживает. Для меня самое печальное — общаться по почте. Когда близость держится одним клеем на марке. Если не видишь человека, не можешь его услышать или потрогать — его все равно что и нет.

Адам встал из-за стола.

— Я провожу тебя на вокзал.

— Ни в коем случае! — резко возразил Ли. — Ни к чему это. До свидания, мистер Траск. До свидания, Адам, —

добавил он и быстро вышел. Пока Адам успел выговорить «До свидания», тот уже спустился по ступенькам крыльца, а его выкрик вдогонку «Пиши!» совпал со стуком калитки.

2

В тот вечер после баскетбольной встречи Кейл и Арон умяли по пять булочек с сосисками, и это было кстати, потому что Адам забыл приготовить ужин. По дороге домой братья первый раз заговорили об отъезде Ли.

— Интересно, почему он уехал? — спросил Кейл.

— Он давно об этом поговаривал.

— Как же он будет без нас?

— Не знаю. Спорим, что он вернется, — сказал Арон.

— Как так вернется? Отец ведь сказал, что он хочет книжную лавку открыть. Смех да и только — китайская книжная лавка.

— Приедет он, соскучится по нам и приедет. Вот увидишь.

— Спорим на десять центов, что не приедет.

— До какого времени?

— До никакого! Вообще не приедет.

— Идет, — согласился Арон.

Целый месяц Арон ждал своего выигрыша, а еще через неделю дождался.

Ли приехал десятичасовым и вошел в дом, отперев дверь своим ключом. В столовой горел свет, но Адам был на кухне — он яростно скреб консервным ножом чугунную сковородку, стараясь счистить с нее черную корку. Ли поставил свою корзину на пол.

— Надо залить водой и оставить на ночь. Тогда она легко отстанет.

— Правда? Я жарю, а у меня все подгорает. Свеклу варил, тоже подгорела. Вонь — хоть святых выноси! Кастрюлю вот на двор выставил... У тебя что-нибудь случилось, Ли? — спросил Адам.

Ли взял у него сковороду, поставил в раковину и залил водой.

— Будь у нас газовая плита, вмиг бы кофе сварили, — сказал Ли. — Впрочем, я и печь могу растопить.

— Печь не горит.

Ли открыл дверцу.

— Вы золу-то хоть раз выгребали?

— Какую золу?

— Вот что, отдохните-ка пока в комнатах,— сказал Ли.— А я кофе заварю.

Адаму не сиделось в столовой, но перечить Ли ему не хотелось. Наконец тот принес две чашки кофе и поставил их на стол.

— В кастрюльке сварил,— сказал Ли,— чтобы побыстрее.— Он нагнулся к корзине, развязал веревку и вытащил глиняную бутылку.— Это китайская настойка на полыни — уцзяпи. Иначе еще лет десять пролежит. Да, я забыла спросить: вы нашли кого-нибудь на мое место?

— Вокруг да около ходишь,— съязвил Адам.

— Я знаю. Но я знаю и другое: лучше всего прямо сказать, и кончено дело.

— Ты проигрался в маджонг?

— Если бы. Нет, мои деньги целы... Черт, пробка раскрошилась, придется внутрь пропихнуть.— Ли влил черной жидкости себе в кофе.— Никогда так не пробовал. Вкусно, однако.

— Отдает подгнившими яблоками,— заметил Адам.

— Верно, только помните, как Сэм Гамильтон сказал? Хоть и подгнили, но хороши.

— Может, ты все-таки наберешься духу и расскажешь, что же с тобой произошло?

— Ничего со мной не произошло,— ответил Ли.— Мне одиноко стало, вот и все. Или этого мало?

— А как же книжная лавка?

— Не нужно мне никакой книжной лавки. Наверное, я понимал это еще до того, как сел в поезд. Просто время потребовалось, чтобы окончательно в этом убедиться.

— Выходит, пропала твоя последняя мечта?

— Скатертью дорога! — Ли был возбужден до крайности.— Мистел Тласк, китаёза сисас наклюкается.

— Что это вдруг на тебя нашло? — встревожился Адам.

Ли поднес бутылку ко рту, сделал долгий жадный глоток и выдохнул спиртные пары из обожженного рта.

— Адам,— сказал он.— Я бесконечно, безмерно, безгранично счастлив, что снова дома. Никогда в жизни я не был так чертовски одинок.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

1

В Салинасе были две начальные школы — огромные, крашенные желтой краской, с высокими мрачными окнами, да и двери тоже не веселили. Одна находилась на Восточной стороне, другая на Западной, и назывались они соответственно. Школа на Восточной стороне была у черта на куличках, на другом краю города, и в ней учились ребята, жившие восточнее Главной улицы, поэтому ее я описывать не буду.

Школа на Западной стороне представляла собой большое двухэтажное здание, обсаженное по фасаду сучковатыми тополями. Оно делило школьный двор на две части — для мальчиков и для девочек. За зданием мальчишечья площадка была отгорожена от девчоночьей высоким дощатым забором, а позади школьный двор упирался в болото со стоячей водой, где росли тимофеевка и даже камыш. В школе занимались ученики с третьего класса по восьмой. Первые два класса ходили в Детскую школу, она была в другом месте.

В школе на Западной стороне каждый класс имел свою комнату; третий, четвертый и пятый размещались на первом этаже, шестой, седьмой, восьмой — на втором. В каждой классной комнате стояли общарпанные дубовые парты, кафедра, квадратный учительский стол, висели часы «Сет Томас» и непременно — картина. Картины в каждом классе были разные, но написаны все под сильным влиянием прерафаэлитов. Галахад¹ в сияющих доспехах указывал путь третьеклассникам; состязание Аталанты² будило воображение четвертого класса; горшок с базиликом³ ставил

¹ Г а л а х а д — один из центральных персонажей основанной на древнейших преданиях эпопеи «Смерть Артура» (1469) англичанина Томаса Мэлори. Благодаря своему целомудрию Галахад находит Святой Грааль, чашу, наполненную кровью Христа.

² А т а л а н т а — в греческой мифологии охотница, славившаяся быстротой ног; всем сватавшимся к ней она устраивала испытание, предлагая состязаться в беге.

³ Имеется в виду поэма Китса «Изабелла, или Горшок с базиликом» (1820), сюжет которой заимствован из одной новеллы «Декамерона» Боккаччо: флорентийка Изабелла выкапывает голову возлюбленного, убитого ее злыми братьями, кладет в горшок с базиликом и хранит как святыню.

в тупик пятый и так далее до восьмого, где осуждение Катилины Цицероном внушало выпускникам чувства высшей гражданской добродетели, необходимые для перехода к среднему образованию.

Кейла и Арона по возрасту зачислили в седьмой класс, и они быстро изучили каждую черточку в своей картине, изображавшей Лаокоона и его сыновей, опутанных змеями.

После тесной школьной комнаты в деревне братьев поразили размеры и великолепие школы на Западной стороне. На них произвело глубокое впечатление и то, что здесь могли позволить себе роскошь держать учителя для каждого класса. Это казалось им расточительством. Но люди быстро привыкают к хорошему. Первый день близнецы изумлялись, второй восторгались, а на третий почти позабыли, что раньше ходили в какую-то другую школу.

Учительницей у них была хорошенькая темноволосая женщина, и у братьев с ней не было никаких неприятностей, так как они быстро сообразили, когда надо поднимать руку, чтобы тебя спросили, а когда нет. Кейл первый придумал, как надо действовать, и объяснил Арону.

— Обычно ребята как делают? Если выучат урок, то тянут руки, а не выучат — прячутся под парту. А мы по-другому поступим. Знаешь как?

— Нет, не знаю. Как?

— Ты заметил, что она не всегда вызывает тех, кто высовывается? Других спрашивает, а они, само собой, ни бум-бум.

— Верно, — заметил Арон.

— Ну так вот, первую неделю мы зубрим, как каторжники, но руки поднимать не будем. Она, конечно, вызывает нас, а мы чин-чином отвечаем. Это собьет ее с толку. Другую неделю ничего не учим, зато изо всех сил тянем руки. Но она нас не спрашивает. Потом третью неделю мы просто сидим тихо-мирно, то ли готовы отвечать, то ли нет — она не знает. И очень скоро она вообще от нас отвяжется. Зачем ей тратить время на тех, кто успевает?

Кейлова метода вполне оправдала себя. Прошло совсем немного времени, и учительница действительно оставила братьев в покое, а сами они завоевали репутацию ребят сообразительных и ловких. Собственно говоря, Кейл даром тратил время, придумывая свой план. Оба были способные ученики и схватывали все на лету.

Кроме того, Кейл ловко играл в шарики, втянул в игру полшколы и накопил целое богатство из цветных мелков и камешков, и всяких стекляшек. Когда увлечение игрой в шарики прошло, он стал менять свое богатство на волчки. Один раз он собрал и стал использовать в качестве платежного средства сорок пять волчков всевозможных размеров, форм и расцветок — от топорных, низеньких кубарей для малышни до изящных высоких башенок на тонюсенькой ножке с острым концом.

Все, кто знал Арона и Кейла, видели разницу между ними и удивлялись несходству близнецов. Кейл вырос смуглым, темноволосым, был быстр в движениях, уверен в себе и скрытен. Даже если бы он очень постарался, ему не удалось бы спрятать свою сообразительность. Взрослых поражала в нем ранняя, на их взгляд, не по годам зрелость, и это настораживало их. Кейл не пользовался особой симпатией, его даже побаивались, но именно поэтому уважали. Близких друзей у него не было, но одноклассники покорно приняли его в свою компанию, и скоро он естественно и с сознанием своего превосходства заделался школьным верховодом.

Кейл умел скрывать свои намерения, но умел скрывать и обиды. Поэтому его считали бесчувственным, толстокожим, даже жестоким.

Арона же любили все. На вид он был робкий и хрупкий. Сама его внешность — нежная кожа, золотистые волосы, широко расставленные голубые глаза — привлекала всеобщее внимание. Эта его привлекательность вызвала в школе кое-какие осложнения, пока его обидчики не убедились, что Арон упорный, умелый и совершенно бесстрашный боец, особенно если его довести до слез. О драках стало известно, и охотники учить новичков уму-разуму поняли, что с ним лучше не связываться. Арон не пытался скрывать ни свой характер, ни свое настроение, но окружающих, которые хотели разгадать его, обманывала его внешность. Решившись на что-то, он не отклонялся с пути. В его натуре было мало граней, еще меньше гибкости. Тело его было нечувствительно к боли, а ум не способен на изворотливость.

Кейл хорошо изучил Арона и, выводя его из равновесия, мог вертеть им как хотел, однако пользовался своим умением до определенного предела. Он знал, когда надо

уступить и отступить, а когда вообще держаться от брата подальше.

Единственное, что сбивало Арона с толку, это перемена пути. Он сам выбирал себе дорогу и шел по ней, не видя, что творится вокруг, и нисколько не интересуясь этим. Желания его были немногочисленны и глубоки. И глубина его натуры таилась за ангельской внешностью, которой он не замечал, как олененок не замечает пятен на своей молоденькой шерстке.

2

В первый же день занятий Арон едва дождался перемены и пошел на запретную половину, чтобы встретиться с Аброй. Стайка визжащих девчонок не отпугнула его. Потребовалось вмешательство учительницы, чтобы изгнать его на мальчишечью площадку.

В полдень, на большой перемене, ему опять не удалось повидать Абру: за ней приехал отец в своей коляске на высоких колесах и увез домой на второй завтрак. После уроков он решил подождать ее за воротами школы.

Абра вышла, окруженная подругами. Она и виду не подавала, что заметила его. Из всех учениц она была самая хорошенькая, но Арон вряд ли обратил на это внимание. Девочки плыли по улице веселым облачком, и оно никак не рассеивалось. Арон шел следом, отстав от них шагов на пять, шел упрямо и невозмутимо, даже когда те оборачивались и отпускали колючие шуточки по его адресу. Постепенно то одна девочка, то другая отделялась от группы, сворачивала к себе, и их осталось всего трое, когда Абра подошла к своей калитке и скрылась за ней. Подружки посмотрели на Арона, захихикали и пошли дальше.

Арон сел на бровку тротуара. Через минуту шелкнула задвижка, белая калитка распахнулась и появилась Абра. Она подошла к нему и остановилась.

— Что тебе нужно?

Арон поднял на нее глаза.

— Ты ни с кем не помолвлена?

— Вот глупый,— сказала она.

Он поднялся с земли.

— Мы, наверное, не скоро сможем пожениться.

— А кто сказал, что я хочу замуж?

Арон молчал. Может быть, он даже не слышал Абру. Он пошел рядом с ней.

Абра ступала твердыми неторопливыми шажками и глядела прямо перед собой. Лицо ее выражало здравый смысл и расположение. Она, казалось, глубоко о чем-то задумалась. Арон шагал рядом, не отнимая от нее глаз. Его взгляд словно был прикован к ее лицу.

Они молча прошли мимо Детской школы. Здесь тротуар кончился, и Абра взяла влево, на сенную стерню. Черные суглинистые комки рассыпались у них под ногами.

На другом краю поля стояла небольшая водокачка, а возле нее росла раскидистая, густая из-за обилия проливаемой воды ива. Ее длинные ветви свисали почти до самой земли. Абра раздвинула ветви, как занавес, и вошла в лиственный шатер, образуемый ими вокруг ствола. Сквозь листья хорошо виделось все окрест, но внутри было уютно, уединенно и тепло. Лучи послеполуденного солнца пробивались сквозь увядающую листву и становились желтыми.

Абра села, нет — плавно соскользнула на землю, и ее пышные юбки легли вокруг нее. Она сложила руки на коленях, словно собралась молиться.

Арон сел подле нее.

— Мы, наверное, не скоро сможем пожениться, — повторил он.

— Не так уж не скоро, — возразила она.

— Хорошо бы сейчас.

— Не так уж долго ждать, — сказала она.

— А твой отец позволит тебе, как ты думаешь?

Эта мысль не приходила ей в голову. Она повернулась и посмотрела на него.

— Я, может, и спрашивать не буду.

— А как мама?

— Мы им пока ничего не скажем, чтобы не волновались. А то еще засмеют или подумают плохое. Ты умеешь хранить секрет?

— Еще бы, могила. У меня самого их целая куча.

— Тогда прибавь к своим секретам еще один, — сказала Абра.

Арон взял прут и провел по черной земле линию.

— Абра, ты знаешь, как рождаются дети?

— Конечно, знаю,— ответила она.— А ты-то сам откуда узнал?

— Мне Ли рассказал. Все как есть объяснил. Наверное, у нас не скоро будут дети.

Абра снисходительно улыбнулась кончиками рта.

— Не так уж не скоро.

— Когда-нибудь у нас будет свой дом,— мечтательно произнес Арон.— Мы войдем в него, запрем дверь, и нам будет хорошо. Но это не скоро будет.

Абра протянула руку и коснулась его руки.

— Чего ты все твердишь «не скоро, не скоро»,— сказала она.— Посмотри, чем не дом? Мы можем вообразить, будто живем здесь — пока нам придется ждать. И ты понарошку будешь моим мужем и можешь называть меня женой.

— Жена...

Он сначала произнес это слово шепотом, потом повторил громче.

— Ну вот! Это вроде упражнения,— сказала Абра.

Аронова рука задрожала под ее рукой, и она положила ее к себе на колени ладонью вверх.

— Слушай,— внезапно сказал Арон,— пока мы упражняемся, может, еще что-нибудь придумаем?

— Что именно?

— А вдруг тебе не понравится?

— Да говори же!

— Может, ты понарошку будешь моей мамой?

— Ну, это совсем просто.

— Правда?

— Конечно, это даже интересно. Хочешь прямо сейчас?

— Конечно! А как это делается?

— Сейчас научу,— сказала Абра и начала нежным убаюкивающим голосом: — Иди ко мне, моя крошка, положи головку маме на колени. Сыночек мой любимый, мамочка обнимет тебя.— Она притянула его голову к себе, и тут Арон вдруг заплакал. Он плакал долго и беззвучно, а Абра гладила его по голове и утирала подолом слезы, бегущие у него по лицу.

Солнце клонилось к закату за реку Салинас, и откуда-то с золотого скошенного поля донеслось сладкое птичье пение. Сейчас в целом мире не было такого замечательного места, как здесь, под раскидистой ивой.

Постепенно Арон перестал плакать, на душе у него было покойно и хорошо.

— Сыночек мой маленький,— говорила Абра,— сейчас мама причешет тебе волосики.

Арон поднялся с ее колен и, сердясь на себя, сказал:

— Я почти никогда не плачу, только если разозлюсь. Не знаю, чего это на меня нашло.

— Ты свою маму помнишь? — спросила Абра.

— Нет, не помню. Она умерла, когда я был еще совсем маленьким.

— А какая она была?

— Не знаю.

— Даже ее карточки не видел?

— Да нет же, говорю тебе! Нет у нас ее карточки. Я раз спросил Ли, он сказал, что ее карточки не сохранились... Нет, кажется, это Кейл спросил, а не я.

— Когда она умерла?

— Как только мы с Кейлом родились.

— Как ее звали?

— Ли говорит: Кэти. Слушай, зачем тебе это нужно?

Абра спокойно продолжала:

— Она блондинка была или брюнетка?

— Что-что?

— Ну, волосы у нее светлые были или темные?

— Откуда я знаю.

— Отец не рассказывал?

— А мы и не спрашивали.

Абра замолкла, и немного погодя Арон спросил:

— Ты что, язык проглотила?

Абра сделала вид, будто любит закатом.

— Ты не рассердилась... — спросил обеспокоенный Арон и добавил неуверенно: — жена?

— Нет, не рассердилась. Я думаю.

— О чем?

— Об одной вещи.— Застывшее личико Абры ничем не выдавало, что ее обуревают глубокие сомнения.— А как это, когда у тебя нет мамы?

— Не знаю. Никак. Ничего особенного.

— Тебе что, все равно?

— Нет, не все равно. Слушай, говори прямо. Мне головоломок в «Бюллетене» хватает.

Но Абра сосредоточенно и невозмутимо гнула свое:

— А тебе хочется, чтобы у тебя была мама?

— Спрашиваешь! Конечно, хочется. А кому не хочется? погоди, ты меня не разыгрываешь? Кейл часто меня разыгрывает, назло, а потом смеется.

В глазах у Абры плыли багровые круги оттого, что она смотрела на солнце, и сейчас она не могла сразу разглядеть выражение лица Арона.

— Ты сказал, что умеешь хранить секреты.

— Конечно, умею.

— А у тебя есть самый важный секрет, ну, такой, когда говорят: «Пусть глаза мои лопнут»?

— Еще бы!

— Скажи мне свой секрет, Арон,— тихо попросила Абра, с особой нежностью произнеся его имя.— Скажи мне самый-самый большущий секрет.

Арон озадаченно отодвинулся от нее.

— Зачем? И вообще по какому праву ты меня расспрашиваешь? Я его никому не скажу.

— Ну, крошка, скажи своей маме,— промурлыкала Абра.

В глазах у Арона опять появились слезы, на этот раз слезы обиды.

— Наверное, я расхотел на тебе жениться. Мне пора домой.

Абра взяла его за запястье и не отпускала. Игривые нотки в ее голосе пропали.

— Я хотела проверить тебя. Теперь я вижу, ты умеешь хранить секреты.

— Зачем ты это сделала? Зачем ты меня злишь? Мне неприятно.

— Знаешь, я сама открою тебе один секрет.

— Да? Так кто же не умеет хранить секреты? — съязвил он.

— Я долго не решалась,— сказала она.— А теперь подумала, что этот секрет пойдет тебе на пользу. Может, он обрадует тебя.

— И кто же тебе велел молчать?

— Никто. Я сама себе велела.

— Тогда другое дело. Ну, и что же это за секрет?

Золотисто-багряный солнечный диск коснулся крыши дома Толлотов на Белой дороге, и на нем большим черным пальцем отпечаталась печная труба.

— Помнишь, как мы заезжали к вам? — тихо спросила Абра.

— Еще бы!

— Ну вот, когда мы поехали дальше, я в коляске уснула, а потом проснулась. Мама с папой разговаривали и не знали, что я не сплю. Они говорили, что твоя мама не умерла, а уехала. Будто с ней случилось что-то нехорошее, и она уехала.

— Мама умерла,— хрипло проговорил Арон.

— Разве плохо, если бы она оказалась живой?

— Отец сказал, что она умерла. Он никогда не врет.

— Он, может, просто не знает.

— Он бы знал,— сказал Арон, но в голосе у него не было уверенности.

— А вот было бы здорово, если б мы ее нашли! — воскликнула Абра.— Вдруг она память потеряла или что-нибудь в этом роде. Я читала, что так бывает. И вот мы бы нашли ее, и она сразу бы все вспомнила.— Как приливная волна, Абру подхватила и понесла романтика приключений.

— Я спрошу у отца.

— Арон,— сказала Абра твердо,— это же секрет.

— Кто сказал, что это секрет?

— Я сказала! Ну-ка, повторяй за мной... «Пусть глаза мои лопнут, руки-ноги отсохнут, если проговорюсь».

Арон заколебался, но потом повторил:

— «Пусть глаза мои лопнут, руки-ноги отсохнут, если проговорюсь».

— Теперь плюнь в ладонь — вот так, как я... Правильно! Теперь я беру твою руку и перемешиваю твою слюну с моей, понял?.. Ну вот, а сейчас вытри ладонь об волосы.— Оба проделали магический обряд, и Абра произнесла торжественно: — Теперь посмотрим, как ты скажешь. Я знаю одну девочку, которая дала эту клятву, а потом проговорила. Знаешь, что с ней случилось? В амбаре сгорела!

Солнце скрылось за домом Толлота, золотисто-багряный свет погас. Над Бычьей горой тускло замерцала вечерняя звезда.

— Ой, да они шкуру с меня спустят! — всполошилась Абра.— Побежали скорей. Отец наверняка уже собаку пустил, чтобы искала меня. Ну, зададут мне теперь порку!

Арон в недоумении уставился на нее.

— Какую порку? Разве тебя порют?

— А ты думал, нет?

Арон возбужденно сказал:

— Пусть только попробуют! Если они вздумают тебя выпороть, ты им скажи, что я убью их! — Его голубые глаза сузились и засверкали. — Я никому не позволю пороть мою жену.

Под ивой сделалось совсем темно. Абра обвила руками его шею и крепко поцеловала в губы.

— Я люблю тебя, муж, — сказала она и выскочила из ивнякового шатра. Подхватив обеими руками юбки, она понеслась домой, так что только замелькали в сумерках ее белые, отороченные кружевами панталоны.

3

Арон отпустил ветки, сел на прежнее место и откинулся на ствол. В голове у него было пусто и пасмурно, к животу то и дело подкатывала боль. Он старался разобраться в своих чувствах, облечь их в мысли и зримые образы, чтобы избавиться от нее. Давалось это ему трудно. Его неторопливый, обстоятельный ум не мог сразу переварить такое множество разнообразных впечатлений. Внутри него словно захлопнулась какая-то дверь и не впускала ничего, кроме физической боли. Потом дверь приоткрылась, и вошла одна мысль, которую надо было обдумать, за ней другая, третья, пока не прошли все по очереди. Снаружи его запертого сознания оставалась лишь одна самая большая забота, и она настойчиво стучалась в дверь. Арон оставил ее напоследок.

Первой он впустил Абру, внимательно окинул внутренним взором ее лицо и платье, почувствовал ее руку на своей щеке, услышал ее запах, слегка похожий на запах молока и скошенного сена. Он снова видел и слышал ее, снова осязал и обонял.

Он подумал, какие чистые у нее руки и ногти, какая вся она чистая и честная и как отличается от других девчонок-пустосмешек.

Потом он представил себе, как она положила его голову себе на колени, а он плакал, словно ребенок, плакал томимый каким-то неясным желанием и почему-то чувство-

вал, что это желание исполняется. Может, он и плакал-то от радости, оттого, что желание его исполнилось.

Потом он принялся думать об испытании, которое она устроила ему. Интересно, что бы она сделала, если бы он раскрыл ей свой большой секрет. Какой именно секрет он бы ей раскрыл? Он не припоминал сейчас никакого секрета, кроме того, что стучался в его сознание.

Как-то незаметно, бочком, в дверь проскользнул самый болезненный вопрос из тех, что она задала. — «Как это, когда у тебя нет мамы?» Правда, как? Он сказал, что никак, что ничего особенного. Да, но вот на Рождество и на вечер по случаю окончания учебного года в школу приходили чужие мамы, и тогда у него комок подкатывал к горлу и мучило бессловесное томление. Вот что это такое — когда у тебя нет мамы.

Со всех сторон Салинас окружали, подступая кое-где к самым домам, бесконечные болота с окнами воды, заросшими камышом. На болотах водилось множество лягушек, которые по вечерам устраивали такой концерт, что казалось, будто воздух насыщается каким-то стонущим безмолвием. Квakanье не утихало ни на минуту, делалось постоянным фоном, бесконечной звуковой пеленой, и если бы она упала, то это было бы такой же неожиданностью, как мертвая тишина после удара грома над головой. Если бы лягушки вдруг перестали квакать, жители Салинаса повскакали бы с кроватей как от страшного шума. В их огромном разноголосом хоре был свой ритм и темп, или, может быть, наши уши различали этот ритм и темп — так же, как звезды мерцают только тогда, когда на них смотрят.

Под ивой стало совсем темно. Арон не знал, готов ли он задуматься над самым главным, и пока он колебался, оно прокралось в сознание.

Его мама жива! Не раз и не два он представлял себе, как она лежит в земле — спокойно, удобно, нетронутая тленом. Но оказывается, она жива, где-то ходит и говорит, руки ее движутся, и глаза у нее открыты. Его подхватила волна радости, и тут же накатилась печаль, и он испытал чувство невозвратимой ужасной утраты. Арон изо всех сил старался распутать паутину сомнений. Если мама жива, значит, папа врет. Если она жива, значит, умер он. Арон вслух и громко сказал самому себе: «Мама давно умерла. А похоронена она где-то на Востоке».

Из тьмы выплыло лицо Ли, и Арон услышал его негромкий мягкий говорок. Ли потрудился на славу. Он любил правду, любил любовью, доходящей до благоговения, и презирал ее противоположность — ложь. Он внушил мальчикам, что по незнанию человек может поверить неправде и сказать неправду — тогда это ошибка, заблуждение. Но если он знает правду, а говорит неправду, то его поступок достоин презрения и сам он тоже.

Арон слышал голос Ли: «Бывает, ложь хотят использовать во благо. Я не верю, что ложь способна сотворить добро. Чистая правда иногда причиняет острую боль, однако боль проходит, тогда как рана, нанесенная ложью, гноится и не заживает». Упорно и долго трудился Ли, чтобы сделать Арона средоточием и воплощением правды.

Арон стоял в темноте и тряс головой, стараясь избавиться от сомнений. «Если отец говорит неправду, значит, Ли тоже говорит неправду?» — думал он. Кто поможет, кто подскажет? Кейл, конечно, любит приврать, но по сравнению с Ли и его непререкаемостью Кейл всего-навсего выдумщик, обыкновенный выдумщик, а не обманщик. Арон чувствовал, что что-то должно умереть — либо его мать, либо весь его мир.

И тут вдруг перед ним блеснул ответ. Абра не соврала, она сказала только то, что слышала. И ее родители тоже только слышали от других, будто мать жива. Арон встал и вытеснил ее из сознания обратно в небытие, и запер дверь.

К ужину Арон опоздал. «Я был с Аброй», — коротко объяснил он. После ужина, когда Адам сидел в новом удобном кресле и читал «Салинасский вестник», он почувствовал, что кто-то прикоснулся к его плечу, и поднял голову.

— Ты что, Арон?

— Спокойной ночи, папа, — ответил тот.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

1

Февраль в Салинасе обычно бывает сырой, промозглый, печальный. Об эту пору идут самые сильные и самые затяжные дожди, и река если поднимается, то поднимается

как раз об эту пору. В феврале 1915-го в Салинасе было полно воды.

Траски хорошо устроились в городке. Отбросив свои заумные бредни о книжкой лавке, Ли тоже обосновался здесь, в доме рядом с пекарней Рейно. На ферме он держал свои пожитки в бауле и сумках, потому что жил как на перекладных, постоянно собираясь куда-то уехать. Здесь же в первый раз за всю свою жизнь он свил себе собственное удобное и прочное гнездо.

Ли выбрал большую спальную комнату, расположенную у самой входной двери. Раньше он не тратил ни одного лишнего цента, потому что откладывал деньги на книжную лавку. Теперь он залез в сбережения, купил узкую жесткую кровать и письменный стол, заказал полки и расставил на них книги, приобрел пушистый ковер, а по стенам развесил гравюры. Неизвестно где раздобыл какую-то необыкновенную лампу и к ней удобное кресло с откидывающейся спинкой и съемными подушками. Под конец он даже потратился на пишущую машинку и начал учиться печатать.

Покончив со спартанским образом жизни, Ли принялся обновлять хозяйство Трасков, причем без всякого сопротивления со стороны Адама. В доме появилось электричество, газовая плита, телефон. Он без зазрения совести сорил чужими деньгами — новая мебель, ковры, газовый кипятильник, большой ледник. За короткое время дом Трасков стал едва ли не самым комфортабельным в Салинасе. Ли оправдывался перед Адамом:

— У вас куча денег. Зачем же отказывать себе в удовольствии?

— А я и не возражаю,— отвечал тот.— Только мне и самому хочется что-нибудь купить. Только не знаю, что.

— Почему бы не сходить в музыкальный магазин к Логану и не прицениться к граммофону?

— А что, схожу,— согласился Адам и приобрел виктролу фирмы «Виктор», высоченное, похожее на готический собор устройство, а потом частенько захаживал к Логану приобрести новые пластинки.

Век быстро подрастал и выталкивал Адама из его скорлупы. Он подписался на «Атлантический ежемесячник» и «Национальный географический журнал», вступил в местную масонскую ложу и всерьез подумывал о клубе

«Сохатых». Новый ледник целиком завладел его воображением. Он купил книжку по холодильному делу и принялся штудировать ее.

Попросту говоря, Адам испытывал потребность занять себя. Он опоминался от долгого сна и жаждал деятельности.

— Займусь-ка я, пожалуй, бизнесом,— сказал он однажды Ли.

— С какой стати? У вас есть на что жить.

— Но мне хочется что-нибудь делать.

— Ну, тогда другое дело. А что именно делать — знаете? Не думаю, что из вас получится хороший бизнесмен.

— Почему?

— Так.

— Послушай, Ли, мне попалась одна статья — прочти ее. В ней рассказывается, как в Сибири откопали мамонта. Несколько тысячелетий пролежал во льду, а мясо, представь, не испортилось.

Ли улыбнулся.

— Вот что вам втемяшилось! Кстати, что у вас там в банках, которые в леднике?

— Так, пробую кое-что.

— Для будущего бизнеса? От некоторых банок плохо пахнет.

— Пришла мне в голову одна мыслишка. Никак не отвяжется. Понимаешь, я подумал, что, если продукт хорошо охладить, он дольше сохранится.

— Только, пожалуйста, никаких мамонтов в нашем леднике.

Если бы у Адама зарождалось много идей, как у Сэма Гамильтона, то они постепенно могли бы рассеяться, но ему в голову засела одна-единственная. Мамонт, замерзший в сибирских льдах, не шел из ума. В леднике появлялись все новые и новые банки с фруктами, всевозможными запеканками, с кусками сырого и вареного мяса. Он покупал все книги про микробов, которые ему попадались, и начал заказывать журналы, печатавшие научно-популярные статьи. Как всякий увлеченный одной идеей, Адам стал одержим ею.

В Салинасе работала фабрика по производству льда, фабрика небольшая, но ее продукции хватало на то, чтобы

обеспечить льдом несколько кафе, где подавали мороженое, и десяток-другой жителей, обзаведшихся заводскими ледниками. Запряженные лошадьми фургоны со льдом каждый день объезжали город.

Адам стал наведываться на фабрику, сделался там своим человеком и скоро начал носить в холодильные камеры свои банки. Он горевал, что нет в живых Сэма Гамильтона и ему не с кем обсудить, как лучше замораживать продукты. Сэм быстро вник бы в дело.

Адам думал именно о Сэме, когда, идучи раз дождливым деньком с фабрики, увидел Уилла Гамильтона. Тот направлялся в закусочную при Торговом доме Эббота. Адам тоже зашел туда и стал рядом с ним у стойки.

— Заглянул бы к нам, поужинаем все вместе.

— Я бы с удовольствием, — сказал Уилл. — Понимаете, мне сейчас одно дельце повернуть надо. Если быстро освобожусь, забегу. Что-нибудь важное?

— Как сказать... — Я тут над одной штукой думаю, хотел посоветоваться.

Почти все деловые начинания в округе рано или поздно попадали в поле зрения Уилла Гамильтона. Уилл мог уклониться от приглашения под любым благовидным предлогом, однако он знал, что Адам Траск богатый человек. Хорошая идея — это замечательно, но вот когда идея подкрепляется наличными — еще лучше.

— Уж не подумываете ли отдать ферму за приличную цену?

— Да нет, мальчишки привязаны к ней, особенно Кейл. Так что пока подержу.

— А то я бы мог подыскать хорошего покупателя.

— Я ее в аренду сдал, налоги как раз покрывает. Не буду сейчас продавать.

— Если к ужину не успею, загляну попозже, — пообещал Уилл.

Уилл Гамильтон был весьма основательный деловой человек. Никто в точности не знал, где он только приложил руку, а где греб полными пригоршнями, однако слыл он малым ловким и с деньгами. У него не было постоянной области приложения сил, зато вид он напускал чрезвычайно занятой, так как считал это лучшей тактикой в бизнесе.

Уилл поужинал у Эббота один и, выждав положенное

время, вышел на Центральный проспект, завернул в переулок и позвонил у дома Адама Траска.

Мальчики уже улеглись. Ли сидел с корзинкой для шитья и штопал длинные черные чулки, которые братья надевали в школу. Адам читал «Науку и Америку». Он радушно встретил Уилла, пододвинул ему кресло. Ли принес кофейник и снова взялся за штопку.

Уилл удобно устроился в кресле и раскурил толстенную черную сигару, дожидаясь, пока Адам первым начнет разговор.

— Немного дождя — хорошо, правда? — сказал Адам. — Как матушка?

— Прекрасно! Молодеет с каждым днем. Парни растут?

— Не по дням, а по часам. Кейл вот будет в школьном спектакле участвовать. Такие представления устраивает — умора! А Арон хорошо успевает. Вообще-то Кейл по фермерской части хочет.

— Ничего плохого в этом нет. Стране нужны фермеры с размахом. — Уилл почувствовал себя не в своей тарелке. Вдруг слухи об Адамовом состоянии преувеличены и Траск хочет попросить денег взаймы? Уилл быстро подсчитал в уме, сколько он может ссудить под залог его фермы и сколько взять в кредит под нее. Суммы и проценты расходились. Но Адам словно и не думал переходить к делу. Уилл сидел как на иголках.

— Я, к сожалению, сегодня не могу васиживаться, — сказал он. — У меня еще встреча с одним человеком.

— Еще чашечку кофе?

— Нет, благодарствую. Плохо от него сплю. Вы хотели о чем-то меня спросить?

— Да, я вот твоего отца вспоминал и подумал, что надо бы поговорить с кем-нибудь из Гамильтонов.

Уилл немного успокоился.

— Да, папаша большой говорун был.

— При нем человек становился лучше, чем он есть на самом деле, — произнес Адам.

Ли поднял голову от деревянного штопального яйца:

— Может, говорун, — это тот, кто умеет других разговаривать.

— Ты, выходит, нормальными словами говоришь?

Чудно, ей-богу,— сказал Уилл.— Раньше, помню, на китайской тарабарщине объяснялся.

— Было дело,— согласился Ли.— От гордыни, наверное.— Он лукаво улыбнулся Адаму и повернулся к Уиллу.— Слышали, будто в Сибири мамонта нашли?..

— Кого-кого нашли?

— Мамонта. Это слон такой доисторический. Теперь они все вымерли.

— И мясо, говоришь не испортилось?

— Он миллион лет во льду пролежал, а мясо свежее, как парная поросятина.— Ли просунул деревянное яйцо в порвавшийся на колене чулок.

— Интересно...— протянул Уилл.

Адам рассмеялся.

— Как тебе нравится? Ли и тут быка за рога. А я все мямлю. Устал я сидеть сложа руки,— продолжал он серьезно,— вот в чем штука. Хочу за что-нибудь взяться. Хватит попусту убивать время.

— Вот за ферму и возьмитесь.

— Не тянет меня к земле. Я ведь не просто работу ищу, а интересное занятие. Работа ради денег мне не нужна.

Ощущение настороженности наконец покинуло Уилла.

— Хорошо, но я-то тут с какой стороны?

— Хочу поделиться кое-какими соображениями и узнать твое мнение. Ты же у нас бизнесмен.

— Само собой,— сказал Уилл.— К вашим услугам, сэр.

— Понимаешь, я тут о холодильном деле почитал,— сказал Адам.— И засела мне в голову одна идея. Днем еще ничего, а как лягу, так думать начинаю. Все думаю, думаю — извелся весь. По-моему, очень стоящая идея, хотя кто ее знает...

Уилл выпрямил скрещенные ноги и подобрал брючины, чтобы не тянуло на коленях.

— Ну, давайте, я слушаю,— сказал он.— Сигару?

Адам то ли не слышал, то ли не понял.

— Страна быстро меняется,— сказал он.— Люди по-другому хотят жить, не так, как раньше. Ты вот, например, знаешь, где зимой самый большой спрос на апельсины?

— Нет. Где?

— В Нью-Йорке! Сам читал. Разве люди, ну, те, которые в холодных краях живут, думаешь, они не купят зимой свежие овощи — зеленый горошек, салат или там цветную капусту? Во многих штатах такие скоропортящиеся продукты месяцами не видят. А у нас здесь, в долине Салинас, их круглый год выращивают.

— Здесь — не там, — возразил Уилл. — И вообще я не очень улавливаю.

— Видишь ли, я ледник фабричный купил. Ли настоял, ну, и заинтересовал он меня. Начал класть туда овощи, по-разному пробовал. Вот если раскрошить лед, положить туда кочешок салата и все это обернуть воощеной бумагой, то листья целых три недели не вянут и не портятся.

— Ну и что из того? — недоверчиво отозвался Уилл.

— Новые железнодорожные вагоны для перевозки фруктов видел? Я на днях сходил на станцию, посмотрел хорошенько. Неплохо придумано. В таких вагонах салат даже зимой можно до Восточного побережья довести.

— Вы-то сами чего хотите? — осведомился Уилл.

— Я подумал, не купить ли мне здешнюю фабрику, которая лед изготавливает, а потом перевозки наладить.

— На это куча денег понадобится.

— Куча не куча, но деньги найдутся.

Уилл Гамильтон досадливо дернул себя за ус.

— Угораздило же меня на крючок попасться, — сказал он. — Не маленький, мог бы сразу сообразить.

— Не понимаю.

— Не понимаете? Ладно, я объясню, — разгорячился Уилл. — Когда кто-то спрашивает у меня совета, я знаю, что никакой совет ему не нужен. Он хочет, чтобы я согласился с ним. И вот, чтобы не отпугнуть клиента, я вынужден говорить, какая замечательная у него идея и ее надо немедленно проворачивать. Но вы хороший человек и друг нашей семьи. Поэтому в эту затею я не полез.

Ли отложил штопку, поставил на пол корзинку и переменил очки.

— Чего ты раскипятился? — недоумевал Адам.

— Я рос в семье, где одни фантазеры были, — продолжал Уилл. — Нам идеи с утра к завтраку подавали. А то и вместо завтрака. У нас было так много идей, что мы не успевали зарабатывать деньги, чтобы расплатиться с бакалейщиком. А если деньжата появлялись, отец или Том их

тут же тратили. Патенты, видите ли, надо было на изобретения покупать. Я единственный в семье был, кто не носился со всякими завиральными идеями. Я да еще мама. И я единственный деньги в дом приносил. Том даже мечтал людям помогать, и от его мечтаний за милю несло социализмом. Поэтому не надо мне говорить, что вас про-фит не интересует. А то я в вас вот этим кофейником за-пущу.

— Не очень интересует, правда.

— Как хотите, а я от этого дела подальше. И вам сове-тую. Если, конечно, не хотите выкинуть на ветер тыщенок сорок или пятьдесят. Забудьте про свою идею. Похорони-те ее, как положено, и песочком присыпьте.

— Чем же она все-таки плоха?

— Всем! Народ на Восточном побережье — не привык он свежий овощ зимой потреблять. Его просто покупать не будут. Вдобавок ваши вагоны загонят на боковые ветки и сгноят товар. Рынок-то ведь тоже поделен и управляется. Господи Иисусе! С ума можно сойти от наивных проста-ков, которые на голой идее хотят миллион сколотить.

Адам вздохнул.

— Тебя послушать, так Сэм Гамильтон прямо-таки преступник какой.

— Он мой отец, и я его уважаю, но сыт я его фанта-зиями во как! — Уилл увидел недоумение в глазах Адама и смутился, замотал головой. — Нет, я к своим родичам с полным почтением, таких поискать надо. Но если хотите моего совета, бросьте эту холодильную затею.

Адам повернулся к Ли.

— У нас там лимонного пирога от ужина не осталось?

— Вряд ли. На кухне вроде как мыши скреблись. А утром наверняка найду у мальчиков на подушках яич-ный белок. Но у вас есть полбутылки виски.

— Правда? Неси-ка ее сюда.

— Извините, я, кажется, наговорил лишнего, — Уилл натянуто рассмеялся. — Выпить сейчас не повредит. — Лицо у него побагровело, голос сел. — Что-то я толстеть начал.

Но после двух порций спиртного он поудобнее уст-роился в кресле и принялся просвещать Адама.

— Есть товар, который ни при какой погоде не обес-ценится. И вообще, если хотите хорошо вложить капитал,

надо сперва поглядеть что почем. Войне в Европе конца не видно. А во время войны так: одни воюют, другие голодают. Утверждать — кто возьмется, но я лично не исключаю, что нас втянут в войну. Не верю я Вильсону. Одна трескотня да теории. Если же мы начнем воевать — вот тогда самое время прилично заработать. Целое состояние сколотить можно. Знаете, на чем? На зерновых! Рис, кукуруза или там пшеница, бобы. Им никакого замораживания не нужно. Они и так пролежат сколько угодно и людей накормят. Послушайте меня: засевайте всю свою заливную пойму фасолью, а урожай снимите — и в амбар. Тогда вот сыновьям вашим нечего за будущее беспокоиться. Фасоль сейчас по три цента за фунт идет. Начнись война, цены ох как подскочат. Центов до десяти. И главное, никаких тебе хлопот, просто следи, чтобы зерно не подсырело, и дожидайся выгодного момента. Значит, так: хотите барыша — беритесь за фасоль.

Уилл Гамильтон ушел чрезвычайно довольный собой и с сознанием того, что подал дельный совет. Нахлынувший было на него стыд прошел.

После ухода гостя Ли принес остатки лимонного пирога и разрезал его пополам.

— Он сам жаловался, что начал толстеть.

Адам сидел в задумчивости.

— Что я такого сказал? — проговорил он. — Я ведь на самом деле хочу чем-нибудь заняться.

— Ну, и как насчет фабрики льда?

— Наверное, все-таки куплю.

— Посадить фасоль тоже не помешает, — заметил Ли.

2

Осенью Адам начал подготовку к своему дерзкому предприятию, и это вызвало настоящую сенсацию, хотя сенсаций как внутри страны, так и в мире в том году хватало с избытком. Бизнесмены заговорили о его широте, дальновидности и прогрессивности. Отправление шести вагонов с салатом и льдом стало общественным событием. На церемонии присутствовали члены Торговой палаты. Вагоны были украшены большими полотнищами, на которых красовалось: «Салат из долины Салинас». При всем при том охотников вложить деньги в начинание не нашлось.

Адам проявил удивительную энергию, какой за собой не знал. Собрать салат и отсортировать его, уложить в ящики, проложить льдом и погрузить в вагоны — все это потребовало огромного труда. Подходящего оборудования и приспособлений не было. Все придумывалось и решалось на месте. Одновременно шло обучение целой артели нанятых рабочих. Советы сыпались со всех сторон, а реальной помощи никакой. Досужие умы подсчитали, что Адам потратил целое состояние, хотя ни одна душа не знала, каковы действительные расходы. Даже сам Адам не знал. Знал один Ли.

Идея выглядела вполне привлекательно. Салат был отправлен одной нью-йоркской фирме, которая получила приличные комиссионные. Когда поезд ушел, народ разбрелся по домам. Если предприятие увенчается успехом, всякий раскошелится и вложит в него деньги. Даже Уилл Гамильтон засомневался, не поторопился ли он со своим советом.

Самый коварный и беспощадный враг и тот не придумал бы таких жестоких передраг, какие случились с партией отправленного салата. Когда состав прибыл в Сакраменто, оказалось, что переезд через Сьерру-Неваду закрыт из-за снежных лавин, и шесть вагонов двое суток простояли на запасных путях, истекая тающим льдом. На третьи сутки поезд пересек горы, однако на всем Среднем Западе выдалась необычно теплая для этого сезона погода. В Чикаго перепутали накладные — ничьей конкретно вины в том не было, с такой путаницей сталкиваешься сплошь и рядом, и холодильники застряли на сортировочной еще на пять дней. Нет необходимости вдаваться в подробности. Достаточно сказать, что в Нью-Йорк прибыли шесть вагонов отвратительного месива, которое еще надо было отправить на свалку, уплатив при этом изрядную сумму.

Когда Адам получил от контрагента телеграмму, он опустился в кресло, откинулся на спинку, и на лице его заиграла и застыла странная стоическая улыбка.

Ли в те дни не навязывался к Адаму с утешениями — пусть лучше он сам придет в себя после случившегося. Мальчишки же слышали, что говорят в городе. Недотепа он, Адам Траск. Да что ожидать от всезнайки и фантазера? Сугубо деловые люди радовались своей осмотрительности. Настоящий бизнес — он солидности требует и опыта. Ко-

торым капитал даром достается, по наследству — те первыми в переделки попадают. Какие тут еще доказательства? Посмотрите, как он хозяйство на ферме развалил. У дурака деньги не держатся. Поделом Траску, глядишь, за ум возьмется. Слышали, он по глупости у себя на фабрике производство льда вдвое увеличил?

Уилл Гамильтон хорошо помнил, что не только предостерегал Адама, но и предрекал, что произойдет, — так оно в точности и произошло. Особого удовольствия он при этом не испытывал, но что поделаешь, если не хотят слушать здравомыслящих людей? Уж кто-кто, а он, Уилл Гамильтон, знает цену пустым мечтаниям. Откуда-то подкралась исподтишка мыслишка: Сэм Гамильтон тоже порядочный недотепа был. А уж с Тома Гамильтона вообще взятки гладки — чокнутый, и все тут.

Когда Ли счел, что срок пришел, он не стал ходить вокруг да около. Он решительно сел перед Адамом, давая понять, что хочет объясниться.

— Ну как настроение?

— Нормальное.

— Обратно в скорлупу залезть не собираетесь?

— С чего ты взял?

— У вас такой же отрешенный вид, как и раньше. И глаза, как у лунатика. Сильно расстроились?

— Нет, не сильно. Гадаю только, окончательно я в трубу вылетел или нет.

— Не окончательно, — сказал Ли. — У вас еще целых девять тысяч долларов и ферма.

— Да, но там счет на две тысячи за вывоз отходов.

— Этот счет учтен.

— За новые холодильные установки надо платить.

— Уже уплачено.

— Выходит, девять тысяч осталось?

— И ферма, — уточнил Ли. — К тому же можно продать фабрику.

Лицо у Адама посуровело, недоуменная улыбка пропала.

— Нет, я и сейчас считаю, что идея стоящая. То, что произошло, просто стечение обстоятельств. Фабрику я не продам. Холод все-таки сохраняет продукты, верно? Да и прибыль она как-никак приносит. Может, придумаю что-нибудь.

— Не что-нибудь, а то, что не требует расходов, — поправил Ли. — Жалко расставаться с газовой плитой.

Близнецы тяжело переживали неудачу отца. Им уже было пятнадцать, они свыклись с мыслью, что они сыновья состоятельного человека, и расстаться с ней было трудно. Если бы первоначальная затея отца не стала своего рода праздником — еще куда ни шло. Но они с ужасом вспоминали огромные полотнища на вагонах. Городские дельцы открыто подсмеивались над Адамом, а уж от школьников братьям вообще прохода не было. Их в одночасье прозвали Арон-салатник и Кейл-салатник, а то и еще хлестче — Салатная башка.

Арон первым заговорил о своих тревогах с Аброй.
— Теперь все по-другому будет.

Абра выросла в очаровательную девушку. С годами грудь ее округлилась, лицо светилось теплотой и приятностью. Она была не просто красива, но и умна, энергична и вместе женственна.

Она смотрела на его огорченное лицо.

— Почему по-другому?

— Потому. Бедные мы теперь.

— Разве ты не собирался наняться на работу?

— Я в колледж поступить хочу, ты же знаешь.

— И в колледж можно. Я буду помогать тебе. Твой папа — он что, все деньги потерял?

— Точно не знаю. Говорят, все.

— Кто говорит?

— Ну, вообще. Твои родители скорее всего тоже не захотят, чтобы ты за меня вышла.

— А я им не скажу.

— Очень ты смелая.

— Да, смелая, — сказала она. — Поцелуй меня.

— Прямо сейчас, на улице?

— Ну и что?

— Увидят же.

— Пусть видят на здоровье.

— Не надо! Не нравится мне, когда напоказ.

Абра стала перед ним, загородив дорогу.

— Вот что, мистер, извольте-ка сейчас же поцеловать меня.

— Но зачем?

— Затем,— медленно ответила она,— чтобы все знали, что я хочу быть миссис Салатная башка.

Он смущенно чмокнул ее в щеку, и они снова пошли рядом.

— Нет, пора давать задний ход.

— Что значит — «давать задний ход»?

— Не пара я тебе. Кто я теперь? Обыкновенный парень из бедных. Думаешь, я не вижу, как переменился твой отец?

— Вот выдумал,— сказала Абра, нахмурившись: она и сама видела, что отец действительно переменился по отношению к Арону.

Они вошли в кондитерскую Белла и сели за столик. В том году помешались на пряной сельдерейной шипучке — так же, как в прошлом на мускатной содовой с мороженым. Абра помещивала соломинкой пузырьки в стакане и думала над переменой в отце.

— Не думаешь, что тебе стоит разнообразить компанию? — сказал однажды он.

— Я помолвлена с Ароном.

— Помолвлена! — презрительно фыркнул он. — С каких это пор дети стали жениться? Раскрой глаза, дочка. Тебе что, кавалеров не хватает?

Потом она вспомнила разговор родителей о том, что приличные семьи должны знаться с приличными, а один раз даже услышала намек, что семейный позор рано или поздно раскрывается.

Абра нагнулась к Арону.

— Знаешь, что мы можем сделать? Это так просто — со смеху помрешь!

— Что?

— Жить на ферме твоего отца, вести хозяйство. Папа говорит, там земля хорошая.

— Ни за что,— отрезал Арон.

— Почему?

— Я не желаю быть фермером. И моя жена не будет фермершей.

— А я хочу быть женой Арона Траска, и мне все равно, кто он.

— Я хочу учиться в колледже.

— А я буду помогать тебе,— повторила Абра.

— Интересно, где же ты достанешь деньги?

— Возьму и украду.

— Мне надо уехать отсюда. Терпеть не могу, когда надо мной смеются.

— Очень скоро все позабудут.

— Как бы не так — позабудут. Мне еще два года до окончания школы. Не выдержу я здесь.

— Арон, неужели ты меня бросишь?

— Не выдумывай... Дернуло же его взяться за то, в чем он ни черта не смыслит!

— Зачем ты так об отце? — упрекнула его Абра.— Если бы дело выгорело, перед ним бы все преклонялись.

— Но ведь не выгорело же! А мне теперь отдувайся. Стыдно ребятам в глаза смотреть. Ненавижу его, ненавижу.

— Сейчас же перестань! — строго сказала Абра.— Как ты смеешь так говорить?

— Откуда мне знать, может, он и про маму соврал? Абра покраснела от возмущения.

— Всыпать бы тебе хорошенько, Арон Траск! Сама бы отшлепала, если бы не люди.— Она посмотрела на его красивое лицо, искаженное обидой и злостью, и переменила тактику.— Почему ты не спросишь его про маму? Просто подойди и спроси.

— Не имею права. Я тебе честное слово дал.

— Ты честное слово дал, что не проболтаешься о нашем разговоре.

— Да, но если я спрошу, он тоже спросит, почему я спрашиваю.

— Никакого сладу с тобой! — воскликнула Абра.— Упрямый, как избалованный ребенок. Хорошо, я освобождаю тебя от клятвы. Спроси.

— Не знаю, захочется ли спрашивать.

— Знаешь, а мне иногда до смерти хочется исколотить тебя. Прямо руки чешутся! — воскликнула Абра.— И все равно... Я тебя люблю, Арон. Очень люблю!

Школьники, сидевшие за стойкой у сифона с шипучкой, услышали их возбужденные голоса и захихикали. Арон вспыхнул, в глазах появились слезы обиды. Он выскочил из кондитерской и побежал по улице.

Абра невозмутимо взяла свою сумочку, встала из-за стола, поправила юбку. Потом так же невозмутимо подошла к мистеру Беллу, расплатилась с ним. Идя к выходу, она

приостановилась около стайки насмешников и холодно сказала:

— Только попробуйте еще раз подразнить его.

Она вышла, а вслед ей кто-то пискливо протянул: «Ах-ах, Арон, я тебя люблю!»

Выйдя на улицу, Абра кинулась бежать вдогонку за Ароном, но его нигде не было. Она позвонила ему домой. Ли сказал, что он еще не приходил. Ли сказал неправду. Арон был в спальне, молча переживая обиду. Ли видел, как он проскользнул к себе и закрыл за собой дверь.

Абра долго ходила по улицам, ища Арона. Она сердилась на него и в то же время чувствовала себя бесконечно одинокой. Раньше он ни разу не удирали от нее, не бросал ее одну, а она уже разучилась быть одна.

Что до Кейла, то ему пришлось привыкать к одиночеству. Сперва он старался бывать с Аброй и братом, но скоро понял, что он лишний. Он страдал от ревности, по-всякому пытался привлечь ее внимание, и все напрасно.

Учился Кейл легко, но без особого интереса. Арону приходилось заниматься больше, зато он получал удовольствие, когда узнавал что-нибудь, и вообще уважал учение, независимо от того, как и чему их учат. Кейл просто переходил из класса в класс, его не увлекали ни школьная жизнь, ни спорт, ни развлечения. Растущее беспокойство гнало его по вечерам из дома. Он вытянулся, похудел, и было в нем что-то непонятное и темное.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

1

С тех пор как Кейл себя помнил, он, как и любой другой, жаждал ласки и любви. Если бы он был единственным ребенком или если бы Арон был совсем другим, то его отношения с окружающими развивались бы легко и естественно. С самого начала взрослых подкупала привлекательность и простодушие Арона. Понятно, что Кейл изо всех сил старался завоевать внимание и любовь старших, и делал это единственным доступным ему способом, то есть во всем подражая брату. Однако именно то, что

покоряло в белокуром, чистосердечном Ароне, отталкивало и вызывало неприязнь в смуглом, вечно прищуренном Кейле. Поскольку он большей частью притворялся, то и поведение его отнюдь не располагало в его пользу. Кейлу доставались попреки, даже если он говорил и делал то, за что Арон удостоивался похвал.

Щелкни щенка разок-другой по носу, он забьется в угол или начнет кататься по полу, прося у хозяина прощения. У ребенка же от попреков рождается опасливость, и он прячет ее за безразличием, бравадой или замыкается в себе. Оттолкни однажды ребенка, он потом будет чувствовать неприязнь, даже когда ее и в помине нет, и, хуже того, вызовет неприязнь одной своей опасливостью.

Перемены в Кейле накапливались так медленно и так долго, что он не замечал ничего необычного. Как бы само собой получилось, что он выстроил вокруг себя защитную стену, отгораживающую его от других. Если в ней и были уязвимые места, то как раз там, где она ближе всего соприкасалась с Ароном, с Ли и особенно — с Адамом. Может быть, Кейл и чувствовал себя всего безопаснее, когда отец не обращал на него внимания. Лучше пусть тебя вообще не замечают, чем замечают в тебе только плохое.

Еще совсем маленьким Кейл разгадал одну хитрость. Если потихоньку подойти к сидящему отцу и слегка прислониться к его колену, то он машинально поднимет руку и погладит тебя по плечу. Вероятно, Адам даже не отдавал себе отчета в том, что делает, но его непроизвольная ласка вызывала взрыв чувств у сына, и тот научился дорожить этой редкой радостью и приберегал ее на самый худой случай. Это была Кейлова волшебная палочка-выручалочка и обряд, выражающий слепое обожание отца.

Мало что меняется при перемене места. В Салинасе Кейл не завел друзей, как не завел их в Кинг-Сити. У него были знакомые и приятели, его уважали и даже восхищались им, но вот настоящих друзей у него не было. Кейл жил один, сам по себе.

2

Хотя Ли знал, что Кейл по вечерам уходит из дома и возвращается иногда за полночь, он и виду не подавал и не пытался понапрасну расспрашивать или распекать под-

ростка. Городские полицейские не раз и не два видели, как Кейл допоздна бродит один по улицам. Начальник полиции Хайзерман счел полезным поговорить со школьным надзирателем, и тот заверил его, что Кейл отнюдь не прогульщик, а очень даже успевающий ученик. Хайзерман, разумеется, неплохо знал Адама Траска, и, поскольку Кейл не бил окна и не нарушал общественный порядок, он велел своим подчиненным оставить мальчишку в покое, но не спускать с него глаз, чтобы тот не попал в беду.

Однажды старый Том Уотсон подошел к Кейлу:

— Ты чего по ночам шляешься?

— Я же никому не мешаю, правда? — возразил тот.

— Вижу, что не мешаешь. Но в такую поздноту спать положено.

— А мне не хочется, — сказал Кейл. Для Старины Тома слова Кейла были сущей бессмыслицей, ибо за всю свою жизнь он не припоминал ни единого дня или часа, когда бы ему самому до смерти не хотелось спать. Парень даже захаживал в игорные дома в Китайском квартале, хотя играть не играл. Словом, загадка да и только. Впрочем, Тому Уотсону вообще многие вещи казались полнейшей загадкой, и у него не возникало никакого желания разгадывать ее.

Во время своих прогулок Кейл частенько вспоминал подслушанный им еще на ферме разговор между Ли и отцом. Ему хотелось докопаться до истины, но составлялась она медленно, по кусочкам: то из фразы, оброненной кем-то на улице, то из болтовни в бильярдной. Арон и внимания бы не обратил на обрывки разговоров, но Кейл схватывал их на лету и запоминал. Он знал, что его мать жива. Он знал также, что Арон не обрадуется, если она вдруг отыщется.

Однажды вечером Кейл наткнулся на Кролика Холмана, приехавшего из Сан-Ардо на выпивон, который он устраивал для себя раз в полгода. Кролик радостно облапил Кейла, как это водится у деревенских при встрече со знакомцем в чужом городе. Он затащил парня в переулок за Торговым домом Эббота и там, отхлебывая виски из пол-литровой бутылки, выложил ему такую кучу новостей, какую только удержала его память. Он как раз загнал за хорошую цену кусок своей земли и подался

в Салинас отметить событие, а «отметить», на его языке означало пуститься в загул. Сейчас вот он двинет прямо по путям в Ряд и покажет здешним шлюшкам, на что способны настоящие мужчины.

Кейл молча сидел рядом и слушал. Заметив, что в бутылке у Кролика осталось на доньшке, он сбегал и упротил Луиса Шнайдера купить ему виски. Когда Кролик потянулся за выпивкой, в руке у него оказалась непечата бутылка.

— Вот те на! — удивился он. — А я думал, только одну прихватил. Каждый раз бы так ошибаться, а?

Дойдя до половины второй бутылки, Кролик начисто позабыл, кто такой Кейл и сколько ему годков. Однако он твердо знал, что встретил самого что ни на есть дорогого друга.

— Погоди-ка, Джордж, — плел он. — Я вот сейчас еще малость заправлюсь, чтоб не сплеховать, и потопаем к девочкам. Дорого, говоришь? Да брось ты! Я плачу — гуляй не хочу. Сорок акров я продал? Продал. Да и на кой они мне, все равно бросовые... Гарри, знаешь, что мы сделаем? К дешевкам не пойдем, ну их... Закатимся-ка мы к Кейт. Цену она, натурально, ломит, по десятке берет, но ничего, не обеднеем. Зато вот где представление — сила! Ты такого отродясь не видывал. И девочки у Кейт что надо. Не знаешь, кто такая Кейт? Ты что, Джордж, с луны свалился! Супружница Адама Траска, она ему еще этих близнят-щелкоперов родила. Господи Иисусе, как сейчас помню... Бабахнула по нему — и давай деру. Пулю, значит, в плечо муженьку всадила и смылась, понял? Супружница она, само собой, никакая, зато баба первостатейная, таких поискать. И смех и грех! Говорят, будто из шлюх хорошие жены получаются. Оно и понятно, им присматриваться да пробовать незачем. Эй, Гарри, помоги-ка мне встать. О чем я говорил-то?

— О том, какое там представление, — еле слышно произнес Кейл.

— Ну да, точно. Придем, сам увидишь. Глаза на лоб вылезут. Знаешь, что они у Кейт выделывают?

Кейл шел, чуть поотстав от Кролика, чтобы тот не очень его разглядывал. Кролик рассказывал, что они там выделывают, а Кейлу было противно. Противно не от того, что выделывают девочки, это казалось просто глупо,

а противны глазевшие на них мужики. Свет от фонарей падал на покрасневшуюся физиономию Кролика. Кейл представлял себе их ухмыляющиеся рожи.

Они прошли запущенный палисадник и поднялись на некрашеное крыльцо. Хотя Кейл был достаточно росл для своих лет, он приподнялся на цыпочки. Сторож не стал его разглядывать. В полутемной комнате с неяркими, низко опущенными лампами он затерялся среди возбужденных от ожидания мужчин.

3

Кейл давно привык собирать все, что видел и слышал, как бы в секретную копилку, прятал в своего рода кладовку, откуда в любую минуту мог взять понадобившийся инструмент, но после посещения публичного дома он испытывал отчаянную потребность поделиться с кем-нибудь впечатлениями и попросить совета.

Как-то вечером за стрекотом своей пишущей машинки Ли различил негромкий стук в дверь. Это был Кейл.

Подросток присел на краешек кровати, а худощавый Ли опустился в свое кресло, удивляясь удовольствию, какое он получает от него. Он сидел, сложив руки на животе,—типичная поза китайца, не хватало только халата с широкими рукавами,—и молча ждал. Кейл уставился в пустоту над его головой, потом заговорил негромко, быстро:

— Я знаю, где моя мать и чем она занимается. Я ее видел.

Китаец лихорадочно сотворил в уме молитву, призывая Всевышнего на помощь.

— Что ты еще хочешь узнать? — сказал он осторожно.

— Думаю вот. А ты скажешь правду?

— Обязательно.

Вопросы роились и путались в голове Кейла, сбивали с толку. Он не знал, что спросить.

— Отец знает?

— Знает.

— Почему же он говорил, что она умерла?

— Жалел вас.

Кейл подумал.

— Может, он что-нибудь такое сделал, и она ушла?

- Он любил ее всей душой и телом. Отдавал ей все.
- Она выстрелила в него?
- Да.
- Зачем?
- Он не хотел ее отпускать.
- Он не обижал ее?
- Никогда — я бы знал. Не мог он ее обидеть.
- Зачем она это сделала, Ли?
- Не знаю.
- Взаправду не знаешь или не хочешь сказать?
- Взаправду не знаю.

Кейл так долго молчал, что пальцы у Ли вздрогнули и сами собой сжали запястья. Он овладел собой, лишь когда подросток заговорил снова. В голосе его теперь слышалась мольба.

- Ли, ты ее хорошо знал. Какая она?

Ли вздохнул с облегчением, руки у него разжались.

- Тебя интересует мое личное мнение? Я могу ошибаться.

- Ну и пусть!

— Видишь ли, мой мальчик, я много думал об этом и все же не понял ее до конца. Она остается для меня загадкой. Что-то отличает ее от других, так мне кажется. Чего-то недостает ей — может быть, доброты, может, совестливости. Человека понимаешь только тогда, когда чувствуешь его в себе. А я ее совсем не чувствую. Вот начинаю думать о ней и весь будто немею. Так и не разгадал, чего она хотела, к чему стремилась. Она полна какой-то злобы, но откуда она, эта злоба, и против чего — не пойму. И злоба какая-то особенная, нездоровая. Бывает, человек сердится, а у нее одно бессердечие. Не знаю, правильно ли я делаю, что говорю такие вещи.

- Я должен знать.

- Зачем? Тебе стало от этого легче?

- Нет, тяжелее. Но я должен все знать.

— Верно, — вздохнул Ли. — Вкусивший правды должен знать ее до конца. Но я сказал все, что знаю сам. Больше мне добавить нечего.

- Тогда расскажи мне об отце.

— Это гораздо проще... — начал было Ли. — Как ты думаешь, нас никто не слышит? Давай говорить тише.

- Ну, рассказывай же!

— У твоего отца непомерно развиты те самые качества, которых нет у его жены. Он так добр и так совестлив, что его достоинства оборачиваются против него самого, понимаешь? Ему трудно жить.

— Что он делал, когда она уехала?

— Ничего не делал. Он умер. Нет, он ходил, дышал, спал. Но внутри у него все омертвело. И только совсем недавно ожил.

Какое-то новое, незнакомое выражение появилось на лице Кейла. Глаза у него расширились, а резко очерченные и обычно стиснутые губы слегка разжались и как бы поправились. И тут в первый раз, к своему изумлению, Ли разглядел в его облике черты Арона, хотя тот был светлый, а этот смуглый. Плечи Кейла подрагивали, как под тяжелой ношей.

— Что с тобой, Кейл? — спросил Ли.

— Я люблю его, — выдавил тот.

— Я тоже, — сказал Ли. — Если бы не любил, я не смог бы так долго жить с вами. Твой отец непрактичен, и житейской хватки у него нет, но он замечательный человек. Может, самый замечательный из всех, кого я знал.

Кейл вдруг встал.

— Спокойной ночи, Ли.

— погоди, погоди! Ты кому-нибудь говорил?..

— Нет.

— И Арону тоже?.. Ой, что я спрашиваю, конечно, не говорил.

— А если он сам узнает?

— Тогда поддержи его, помоги. Подожди, не уходи! Другой раз, может, не придется вот так, по душам. Или сам не захочешь — тебе будет неприятно, что я посвящен в твой секрет... Скажи откровенно — ты на нее озлобился?

— Я ее ненавижу.

— Я потому спросил, — произнес Ли, — что твой отец не озлобился. Он только сильно печалился.

Кейл медленно пошел к двери, глубоко сунув руки в карманы, потом резко обернулся.

— Ты вот сказал: когда понимаешь человека по-настоящему. Я знаю, почему она уехала, и поэтому ненавижу ее. Я все знаю, потому что... потому что это есть во мне самом. — Голос Кейла дрогнул, он опустил голову.

Ли вскочил с кресла.

— Замолчи! — воскликнул он. — Замолчи немедленно, слышишь? Попробуй сказать хоть слово. Может, в тебе это тоже есть — ну и что? Это в каждом человеке сидит. Но в тебе есть и другое, понимаешь, — другое! Ну-ка, посмотри мне в глаза!

Кейл поднял голову и убито сказал:

— Что ты от меня хочешь, Ли?

— Я хочу, чтобы ты понял: в тебе есть и другое, доброе. Иначе ты не стал бы мучиться, задаваться вопросами. Легче легкого свалить все на наследственность, на родителей. Ну, а сам-то ты что — пустое место? Смотри у меня! Нечего убирать глаза! Запомни хорошенько: все, что человек делает, это он сам делает, а не его отец или мать.

— И ты в это веришь, Ли?

— Да, верю! И тебе советую. Иначе я из тебя душу вытрясу.

Когда Кейл ушел, Ли опустился в кресло. «Куда же подевалась моя хваленая восточная невозмутимость», — уныло подумал он.

4

Открытие, сделанное Кейлом, отнюдь не явилось для него новостью — оно скорее подтвердило его горькие подозрения. Он давно догадывался, что над матерью нависает темное облако тайны, но что скрывается за ним — он не видел. К случившемуся он отнесся двойственно. С одной стороны, ему было даже приятно сознавать свою силу и, узнав, что же в действительности произошло, он по-новому оценивал слышанное и виденное, мог до конца понять туманные намеки и даже восстановить и упорядочить события прошлого. Однако это сознание не заживляло рану, нанесенную правдой о матери.

Весь его организм перестраивался, сотрясаясь под капризными переменчивыми ветрами возмужания. Сегодня он был прилежен, исполнен благих намерений, чист душой и телом, завтра поддавался порочным порывам, а послезавтра сгорал от стыда и очищался пламенем покаяния.

Открытие обострило чувства Кейла. Он казался себе каким-то особенным: ни у кого нет такой семейной тайны. Ли он не вполне поверил и тем более не представлял себе, что его сверстники тоже переживают похожие сомнения.

Представление в заведении Кейт занозой засело у него в душе. Воспоминание о нем то распяло его воображение и созревающую плоть, то отталкивало, вызывало отвращение.

Кейл начал ближе присматриваться к отцу и увидел в нем такую неизбывную горечь и печаль, какой, возможно, сам Адам и не испытывал. В нем варождалась страстная любовь к нему и желание уберечь его и вознаградить за перенесенные страдания. От повышенной чувствительности эти страдания казались ему совершенно непереносимыми. Однажды он ненароком сунулся в ванную комнату, где мылся отец, увидел у него уродливый шрам от пулевого ранения и с удивлением услышал собственный голос:

— Папа, откуда у тебя этот шрам?

Адамова рука сама собой поднялась к плечу, словно прикрывая обезображенное место.

— Это старая рана, сынок. Еще с той кампании против индейцев. Я как-нибудь расскажу тебе.

Кейл пристально смотрел на отца и, казалось, видел, как тот отчаянно ворошит памятью прошлое и придумывает неправду. Ему было неприятно — не сама неправда, а то, что отец вынужден говорить ее. Сам Кейл тоже иногда врал — когда хотел получить какую-нибудь выгоду. Но врать, потому что у тебя нет другого выхода, — такого злейшему врагу не пожелаешь. Ему хотелось крикнуть: «Папа, не нужно ничего придумывать! Я ведь все знаю и понимаю!», но он не крикнул, а сказал вместо этого:

— Обязательно расскажи.

Арона тоже подхватил бурливый поток внутренних перемен, но порывы его были гораздо умереннее и зов плоти спокойнее. Его желания устремились в русло религии. Он решил стать духовным лицом. Он не пропускал ни одной службы в Епископальной церкви, по праздникам помогал украшать ее цветами и зелеными ветками и целые часы проводил в обществе курчавого священника — его преподобия мистера Рольфа. Уроки житейской мудрости, почерпнутые Ароном из общения с молодым, неискушенным в мирских делах человеком, развили у него способность к скоропалительным выводам, какая встречается только у очень наивных людей.

В Епископальной церкви Арона привели к первому причастию, и он начал петь в воскресном хоре. Абра по-

следовала его примеру. Не то чтобы она придавала особенное значение этим церемониям, но женский ее ум подсказывал, что они необходимы.

Вполне естественно, что вскорости новообращенный Арон занялся спасением брата. Поначалу он просто молился за Кейла, но в конце концов приступил с беседами. Он упрекал его в безбожии и настаивал на том, чтобы он исправился.

Будь Арон похитрее, Кейл, может быть, и поддался бы его увещеваниям. Однако тот вознес себя на недостижимую высоту в смысле непорочности, так что по сравнению с ним все остальные просто грязли в грехах. После нескольких нотаций Кейл решил, что брат слишком много о себе понимает, и назвал его зазнайкой. Оба вздохнули с облегчением, когда Арон пообещал ему адские муки на веки вечные и отстал от него.

Набожность Арона неизбежно распространилась на половое чувство. Он доказывал Абре необходимость воздержания и твердо готовился дать обет безбрачия. Женское чутье подсказывало Абре, что надо соглашаться с ним, так как в глубине души она догадывалась, что скоро он переменится. Сама она знала одно-единственное состояние — девичество и мечтала выйти замуж за Арона и нарожать ему детей, однако пока помалкивала. Ей было незнакомо чувство ревности, но она ощущала в себе инстинктивную и, пожалуй, оправданную неприязнь к преподобному мистеру Рольфу.

Кейл с любопытством наблюдал, как брат замаливает грехи, которые он не совершал. Однажды он язвительно подумал, не рассказать ли ему о матери — интересно посмотреть, как Арон примет новость, но сразу же отказался от этой мысли. Он понимал, что у Арона неостанет сил перенести такой удар.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

1

Время от времени Салинас страдал от легких приступов стыдливости. Один приступ был похож на другой, и болезнь каждый раз протекала почти что одинаково.

Иногда она начиналась с проповедника на амвоне, иногда с нового честолюбивого президента Женского клуба в защиту порядка. Карточные и иные азартные игры неизменно провозглашались величайшим злом, каковое надлежало немедленно искоренить. Выступать против азартных игр весьма удобно. Об этом пороке общества прилично говорить вслух — не то что о проституции. Кроме того, слишком уж он очевиден, да и большинство игорных домов держали китайцы, так что было мало вероятности нечаянно задеть кого-нибудь из дальних родственников.

Из церкви или клуба пламя возмущения перекидывалось на две городские газеты. Тут же появлялись разгромные редакционные статьи с требованием очистить город от вредных элементов. Полиция соглашалась, но ссылалась на нехватку рук и просила дополнительных ассигнований, которые иногда и удавалось получить.

Когда пламя достигало газетных этажей, все понимали: скоро. И верно: уже приведена в готовность полиция, подготовились игорные дома, газетчики наперед сочинили хвалебные репортажи. Начинался отлично поставленный, как на балетной сцене, спектакль. Облава проводилась по заранее намеченному плану. Полиция загребала десятка полтора-два китайцев, переселившихся из Пахаро, несколько бродяг и мелких коммивояжеров, которых никто не предупредил, поскольку люди они заезжие, сажала попавшихся под замок, а утром, оштрафовав, отпускала с миром. Городок успокаивался, убаюканный собственной незапятнанностью, а игорные дома терпели убыток в размере дохода за ночь плюс вполне божеский штраф. Удивительное все-таки достижение человечества: способность смотреть на очевидность и не верить своим глазам.

Однажды вечером, это было осенью 1916-го, Кейл забрел к Коротышке Лиму посмотреть на игру и угодил в облаву. В темноте и суматохе никто не обратил на него внимания. Наутро начальник полиции обнаружил его, к своему удивлению, в арестантской и позвонил Адаму — тот как раз сел завтракать. Адам не спеша прошел два квартала до полицейского участка, забрал Кейла, заглянул на почту, стоящую напротив, и они вместе отправились домой.

Ли накрыл салфеткой сваренные для Адама яйца и приготовил яичницу для Кейла. Арон собрался в школу и, проходя через столовую, спросил брата:

— Тебя подождать?

— Не надо,— бросил тот. Он ел, опустив глаза в тарелку.

Адам не проронил ни слова с тех пор, как, поблагодарив начальника полиции, позвал сына: «Пойдем!» Кейл поглощал завтрак, хотя ему кусок в горло не шел, и поглядывал исподлобья на отца. Он не мог разобрать, что написано на его лице — то ли недоумение и недовольство, то ли задумчивость и печаль.

Адам смотрел в чашку. Молчание тянулось, делалось все более тягостным, и становилось все труднее нарушить его.

В комнату заглянул Ли:

— Еще кофе?

Адам покачал головой, и Ли исчез, притворив за собой дверь на кухню.

В тишине все громче тикали часы. В душу Кейлу закрадывался страх. Он чувствовал, что от отца исходит какая-то непонятная сила, о существовании которой он не подозревал. В ногах у него закололо, надо было переменить положение, чтобы восстановить кровообращение, но он боялся шелохнуться. Он будто ненароком стукнул вилкой о край тарелки, однако стук растворился в тишине. Часы мерно пробили девять, и звон тоже растворился в тишине.

Страх постепенно проходил, уступая место обиде — так, наверное, досадует лисица на свою попавшую в капкан лапу.

И вдруг Кейл вскочил на ноги. Еще секунду назад он и шевельнуться не смел, и вот вскочил и закричал, тоже совершенно неожиданно для себя.

— Ну, давай, бей, бей! Я не боюсь!

Его крик тоже растворился в тишине.

Адам медленно поднял голову. Не поверите, до чего же много на свете таких, кто ни разу как следует не заглянул в глаза своему отцу, и Кейл был один из них. Радужка у Адама была светло-голубая с темными лучиками, уходящими в пучину зрачка. И где-то там, глубоко-глубоко в отцовских зрачках Кейл вдруг увидел свое отражение, словно оттуда глядели на него два Кейла.

— Значит, я сам виноват...— медленно произнес Адам. Слова ранили сильнее, чем удар.

— Как так? — пробормотал Кейл.

— Тебя зацапали в игорном доме. А я даже не знаю, как ты туда попал. Не знаю, зачем пошел, что там делал, — ничего не знаю. — У Кейла подогнулись ноги, он сел, уставился в тарелку. — Ты начал играть, сын?

— Нет, отец, я просто смотрю.

— Значит, ты и раньше бывал там?

— Да, отец, много раз.

— Зачем?

— Не знаю... Не сидится мне по вечерам дома, и все... Я как кошка бродячая. — Кейл сказал и ужаснулся: неудачно вырвавшаяся шутка привела на память Кейт. — Спать не хочется, вот я и хожу по улицам, чтобы ни о чем не думать.

Слово за словом Адам перебрал услышанное.

— Арон тоже бродит по улицам?

— Арон? Зачем ему! Он... ему и так хорошо.

— Ну вот видишь, — сказал Адам. — Я совсем тебя не знаю.

Кейлу вдруг захотелось броситься к отцу, обнять его, захотелось, чтобы тот тоже его обнял. Ему хотелось во что бы то ни стало показать, что он понимает отца и любит его. Он машинально взял деревянное салфеточное кольцо, просунул в него палец и негромко сказал:

— Я бы ничего не скрывал, если бы ты спрашивал.

— Вот именно, если бы спрашивал... А я не спрашивал. Нет, никудашный я отец, и мой отец тоже был никудашный.

Кейл ни разу не слышал, чтобы отец говорил так — хриловатым, прерывающимся от нахлынувших чувств голосом, и он отчаянно, словно в темноте, ловил каждое отцовское слово.

— Понимаешь, он втиснул меня в готовую изложницу, — сказал Адам. — Отливка получилась плохая, но что делать? Человека не переплавишь. Плохая была отливка, плохой и осталась.

— Не мучай себя, папа. Тебе и так досталось!

— Да?.. Может, и досталось, но — то ли, что нужно? Собственных сыновей не знаю. И узнаю ли?

— Если хочешь, я все-все про себя расскажу.

— Я даже не знаю, с чего начать... Давай с самого начала?

— Папа, ты очень рассердился, что меня забрали в арестантскую? Или просто расстроился?

К полному изумлению Кейла отец только рассмеялся.

— Забрали и забрали — что тут такого? Ты же не сделал ничего плохого.

— Но я же был в недозволенном месте. — Кейлу очень хотелось ответить за свой поступок.

— Я однажды тоже попал в похожую историю, — сказал Адам. — Целый год отсидел за то, что был в недозволенном месте.

Кейл изо всех сил старался переварить невероятную новость.

— Не может быть, — выговорил он наконец.

— Мне иногда самому кажется, что не может быть. Но факт остается фактом. Потом я убежал, забрался в лавку и выкрал одежду.

— Не может быть, — огорошенно повторил Кейл, но внутри у него разливалось такое упоительное тепло от сознания близости к отцу, что он едва дышал, чтобы сбегать это чувство, не дать ему улетучиться.

— Ты ведь Самюэла Гамильтона помнишь? — спросил Адам. — Так вот, когда ты был совсем маленьким, он сказал, что я плохой отец. А чтобы вразумить хорошенько — стукнул меня да так, что я свалился.

— Это тот старик?

— Старик-то старик, но рука у него тяжелая была. Только потом я его понял. Я, понимаешь, весь в отца. Он не признавал во мне человека, и я своих сыновей за людей не держал. За это Сэм меня и поколотил.

Он смотрел Кейлу в глаза и улыбался, а у того от любви к отцу мучительно замирало сердце.

— Мы с Ароном все равно считаем, что у нас хороший отец.

— Бедные вы мои, — сказал Адам. — Откуда вам знать, плохой или хороший. Другого-то у вас нет.

— А я рад, что меня посадили в тюрьму!

— Знаешь, я тоже! — рассмеялся Адам. — Мы оба были в тюрьме, значит, у нас есть, о чем потолковать. — Ему становилось легко и радостно. — Расскажи, какой ты — можешь?

— Конечно, могу.

— А захочешь?

— Конечно, отец.

— Ну, вот и расскажи. Понимаешь, быть человеком — значит взять на себя какую-то ответственность, а не просто заполнять собой пространство. Итак — какой ты?

— Ты это взаправду? — застенчиво спросил Кейл.

— Конечно, взаправду... Честное слово! Давай рассказывай — если хочешь.

— Ну, если взаправду, я... — начал было Кейл и замолк. — Трудно так, сразу.

— Еще бы не трудно. Может, вообще невозможно. Расскажи тогда про Арона.

— А что тебя интересует?

— Что ты о нем думаешь. Остальное, наверное, никто не знает.

— Арон — он добрый, — сказал Кейл. — Он не делает ничего плохого. И в голове ничего плохого не держит.

— Ну вот, ты и начал о себе рассказывать.

— Как это?

— Ты делаешь что-то плохое и в голове плохое держишь — верно?

Кейл покраснел.

— Верно.

— Очень плохое?

— Очень. Рассказать?

— Не надо, Кейл. Ты уже все рассказал. По твоим глазам я вижу, что в тебе идет борьба. Ты не стыдишься этого, сын. От стыда можно с ума сойти. Арон тоже испытывает стыд?

— Ему нечего стыдиться, он ничего такого не делает. Адам нагнулся к нему.

— Ты это точно знаешь?

— Точно.

— Скажи, Кейл, ты его защищаешь?

— В каком смысле, сэр?

— В таком... Вдруг ты узнал о чем-нибудь неприятном или жестоком — поделишься с ним или нет?

— М-м... Вряд ли.

— Почему? Думаешь, у него не хватит сил вынести неприятность, не то что у тебя?

— Не в этом дело, Арон не слабак, он просто добрый, не вредный. Мировой парень! Никого не обижает

и сам не жалуется. Драться он не любит, но кому хочешь сдачи даст, ничего не боится.

— Ты, я вижу, любишь брата.

— Да, люблю... Но и гадости тоже ему делаю. Мне нравится его дурачить, дразнить и вообще. Иногда сам не знаю, зачем.

— А потом сам переживаешь, правда?

— Угу...

— Арон тоже переживает?

— Наверное, не знаю... Вот когда я не захотел стать членом церковной общины, он очень огорчился. И еще он ужасно переживал, когда Абра на него взъелась. Ненавижу, говорит. Он прямо заболел от этого. У него тогда жар начался, и Ли за доктором посылал — помнишь?

— Господи, живу рядом с вами и ничего-то не знаю! — изумился Адам. — За что же она на него взъелась?

— Да так... Тебе обязательно нужно знать?

— Если не хочешь, не говори.

— Ладно уж, ничего тут секретного нет. Арон ведь священником хочет стать, ну а мистер Рольф, священник наш, он за высокую церковь выступает и брата подговаривает¹. Арон сказал, что он, может, никогда не женится, будет затворником жить.

— То есть вроде монахом заделается?

— Ну да!

— И Абре это не понравилось?

— Еще бы! Как кошка зафыркала. Она вообще такая злюка бывает. Схватила у Арона самописку и ка-ак бросит ее на землю и давай топтать. Я, говорит, полжизни ему посвятила, а он...

— Сколько же лет Абре? — рассмеялся Адам.

— Скоро пятнадцать, но она... ну, вроде взрослее.

— Понятно. Ну и что Арон?

— Ни слова не сказал, но здорово обиделся.

— Ты, наверное, отбил бы ее у Арона, если б захотел? — сказал Адам.

— Абра с Ароном обручена, — серьезно возразил Кейл.

¹ Одно из трех направлений в англиканской и епископальной церквях, наиболее близкое к католицизму.

Адам пристально посмотрел сыну в глаза и позвал Ли. Тот не появился.

— Ли! — крикнул он снова и добавил: — Странно, по-моему, он никуда не уходил. Кофейку бы еще.

Кейл вскочил.

— Я сейчас заварю!

— Тебе в школу пора.

— Мне не хочется.

— Надо. Арон уже там.

— Можно я с тобой побуду, па? Сегодня как праздник.

Адам глянул себе на руки и сказал тихим, неверным голосом:

— Ну хорошо, завари.

Пока Кейл возился в кухне, Адам с удивлением чувствовал, что в нем происходит какая-то перемена. Каждой клеточкой своего существа он ощущал незнакомое волнение. Ноги напряжились, вот-вот сами понесут его, руки тянулись к работе. Жадными глазами он обвел комнату. Стулья, картины на стенах, алые розы на ковре — вещи казались новыми, одушевленными, близкими. В его сознании зародилась неуголимая жажда жизни, такое ожидание и предвкушение будущего, как будто отныне каждая минута его существования должна приносить одну радость. Он испытывал необыкновенную приподнятость, словно перед ним занимался мирный безоблачный, золотистый день. Адам закинул руки за голову и вытянул ноги.

Кейл на кухне мысленно торопил кофейник, и вместе с тем ему было приятно ждать, пока вода закипит. Знакомое чудо уже не чудо. Восторг от счастливых минут близости с отцом прошел, но радостное ощущение осталось. В нем растворился и яд одиночества, и грызущая зависть к тем, кто не одинок, дух его очистился и просветлел, и он понимал это. Чтобы проверить себя, Кейл старался припомнить старые обиды, но они куда-то пропали. Ему хотелось услужить отцу, доставить ему радость, сделать какой-нибудь подарок и вообще совершить в его честь что-нибудь великое.

Кофе убежал, и Кейл принялся вытирать плиту. «Вчера ни за что не стал бы этого делать», — мелькнуло у него в голове.

Когда Кейл принес дымящийся кофейник в комнату, Адам улыбнулся, понюхал воздух и сказал:

— Хорошо пахнет! Такой аромат мертвого из могилы подымет.

— Убежал он,— виновато сказал Кейл.

— Самый смак, когда кофе убежит,— возразил Адам.— Интересно, куда это Ли отправился?

— Может, он в своей комнате. Пойти посмотреть?

— Не стоит. Он бы отозвался.

— Папа, ты позволишь мне заняться фермой после школы?

— Ну, об этом рано говорить. А какие планы у Арона?

— Он в колледж хочет поступить. Не выдавай меня, ладно? Пусть он сам тебе сюрприз сделает.

— Хорошо, не выдам. А ты сам — разве не хочешь в колледж?

— Да я лучше на ферме... Я там прибыль сумею получить, вот увидишь! За обучение Арона заплатить хватит.

Адам отхлебнул кофе.

— Это просто замечательно с твоей стороны,— сказал он.— Не знаю, стоит ли заводить этот разговор... Нет, наверное, стоит... Я вот про Арона попросил тебя рассказать. И ты так неуклюже его хвалил, что я подумал — может, ты не любишь его, может, он даже неприятен тебе?

— Да я его просто ненавижу! — выпалил Кейл.— Поэтому и задираю его по-всякому. Но это прошло, папа, правда, прошло. Никакой вражды сейчас у меня к нему нет, честное слово, и не будет. Вообще ни к кому не будет, даже к матери...— Он прикусил язык, сам удивившись своей обмолвке и холодея от ужаса.

Адам молча смотрел прямо перед собой. Потом он провел ладонью по лбу и наконец негромко произнес:

— Выходит, тебе известно о матери.— Адам не спрашивал, а размышлял.

— М-м... Да, отец, известно.

— Все?

— Все.

Адам откинулся на спинку кресла.

— А Арон — он тоже знает?

— Да нет, что ты, папа! Конечно, не знает!

— Чего ты испугался?

— Не нужно ему про такие вещи знать.

— Почему?

— Не выдержит он этого,— упавшим голосом сказал Кейл.— Он слишком неиспорченный.— Он чуть было не добавил: «Как и ты, папа»,— но вовремя спохватился.

Адам выглядел усталым и растерянным. Он покачал головой.

— Кейл, слушай меня внимательно... Какая есть гарантия, что Арон не узнает? Подумай хорошенько.

— Да он такие места за милю обходит,— ответил Кейл,— не то что я.

— А если ему кто-нибудь расскажет?

— Он просто не поверит, папа. Подумает, что на нее наговаривают, да еще побьет того, кто заикнется об этом.

— Сам-то ты бывал там?

— Да, папа. Я должен был все разузнать... Вот если бы Арон поступил в колледж,— горячо продолжал Кейл,— и совсем уехал из нашего города...

Адам кивнул:

— Может, это действительно неплохой выход. Но ему еще два года учиться.

— Он запросто за один год все сдаст! Он у нас головастый. Попробую подговорить его.

— А ты не головастее?

— Я в другом смысле — головастый.

Адама всего распирало от гордости за сыновей. Казалось, он вот-вот сделается размером с комнату. Лицо у него стало суровым и торжественным, голубые глаза смотрели твердо и проницательно.

— Кейл! — позвал он.

— Да, папа?

— Я верю в тебя, сын,— произнес Адам.

2

Отцовские слова переполняли Кейла счастьем. Он не чувствовал под собою ног. Лицо озаряла улыбка, угрюмая замкнутость все реже посещала его.

Ли быстро заметил перемену в своем воспитаннике и однажды как бы невзначай спросил:

— Ты, случаем, не влюбился?

— Влюбился? А зачем?

— Затем,— только и ответил Ли.

Потом Ли поинтересовался у Адама:

— Что это произошло с Кейлом?

— О матери узнал,— ответил Адам.

— Ах вот оно что...— Ли чувствовал себя не вправе расспрашивать.— Я предупреждал вас, что давно надо им сказать — помните?

— Помню, но это не я ему сказал. Он сам разузнал.

— Подумать только! — продолжал Ли.— Не такая ведь приятная новость, чтобы напевать во время занятий и подкидывать фуражку на улице. Хорошо, а как насчет Арона?

— Вот за него я боюсь. Не хотелось бы, чтобы ему стало известно.

— Смотрите, а то поздно будет.

— Наверное, мне нужно поговорить с ним, прощупать, так сказать.

Ли подумал и заметил:

— С вами тоже что-то произошло.

— Правда? Впрочем, да, пожалуй, ты прав.

Кейл не только мурлыкал, по-быстрому разделяясь дома с уроками, и не только подкидывал и ловил фуражку, шагая по улице. Он радостно принял на себя обязанность хранить покой отца. Он и впрямь не испытывал никакой вражды к матери, однако не забывал, что именно она навлекла на отца горе и позор. Если она так поступила тогда, рассуждал он, то способна на такую же подлость и теперь. И он решил, что должен разузнать о матери всё-всё. Противник, которого знаешь, менее опасен, так как не застигнет врасплох.

К дому за железнодорожными путями он наведывался чаще всего вечером, но днем тоже устраивал наблюдательный пункт в бурьяне по другую сторону улицы. Он видел, как иногда из дома выходили девицы, обязательно по двое и одетые очень скромно, даже строго. Он провожал их глазами до угла, пока они не сворачивали на Кастровилльскую улицу, направляясь к Главной. Если не знать, откуда они, то никак не догадаешься, кто они такие. Впрочем, девицы интересовали Кейла меньше всего. Ему хотелось увидеть при свете дня собственную мать. В конце концов он установил, что Кейт выходит из дому каждый понедельник в половине второго.

На «отлично» сделав дополнительные задания, Кейл попросил у классного наставника разрешение не присутст-

воватъ по понедѣльникамъ на дневныхъ занятіяхъ. На расспросы Арона онъ отвѣтилъ, что затѣялъ одну штуку, сюрпризъ, и не имѣетъ пока права никому ничего говорить. Арон не настаивалъ и, цѣликомъ занятый собой, скоро вообще обо всемъ позабылъ.

Нѣсколько понедѣльниковъ Кейлъ незаметно ходилъ за Кейтъ по пятамъ и досконально изучилъ, гдѣ и когда она бываетъ. Маршрутъ ее не мѣнялся. Начинала она съ Монтерейскаго окружнаго банка. Ее пропускали за хромированную перегородку, въ хранилище, гдѣ размещались сейфы, и она проводила тамъ минутъ пятнадцать — двадцать. Затемъ Кейтъ не спеша, разглядывая витрины, шла по Главной улицѣ и заходила въ «Конфекцію и Галантерею» Портера и Эрвина посмотреть новыя наряды, а иногда и покупала разную мелочь — подвязки или англійскія булавки, вуалетку, перчатки. Примерно въ четверть третьяго она скрывалась въ Салонѣ у Минни Фрэнкен и черезъ часъ выходила оттуда въ шелковой, завязанной подъ подбородкомъ косынкѣ, изъ-подъ которой виднелась модная завивка.

Въ три тридцать Кейтъ уже поднималась по лѣстницѣ въ домѣ, гдѣ находились «Товары для земледѣльцевъ», и входила въ приемную доктора Розена. После врачебнаго кабинета она заглядывала въ кондитерскую къ Беллу и покупала двухфунтовую коробку шоколадныхъ конфетъ-ассорти. От Беллы она шла до Кастровилльской улицы и по ней домой. Она никогда не мѣняла путь и пункты следованія.

Во внешности и нарядѣ Кейтъ не было решительно ничего необычнаго. Она одевалась точно такъ же, какъ одевались все остальные зажиточныя и благочинныя салинассскія дамы, отправляющіяся по понедѣльникамъ за покупками. Единственное, что отличало ее — это перчатки, — перчатокъ у насъ въ городѣ, какъ правило, не носили. Ея руки въ перчаткахъ выглядели пухлыми, даже распухшими.

Когда Кейтъ шла по улицѣ, казалось, будто она заключена въ стеклянный футляръ. Она ни съ кѣмъ не заговаривала и словно бы никого не замечала. По временамъ оборачивался какой-нибудь мужчина и смотрѣлъ ей вслѣдъ, потомъ, какъ бы опомнившись, спешилъ по своимъ деламъ дальше. Большею же частью она скользила мимо прохожихъ, точно невидимка.

Въ теченіе нѣсколькихъ недѣль, стараясь ничѣмъ не привлечь ея вниманія, Кейлъ преслѣдовалъ мать. При ходьбѣ она смотрѣла прямо передъ собой, и поэтому онъ былъ убеж-

ден, что она ничего не видит. Когда Кейт входила к себе в палисадник, он с безразличным видом шествовал мимо, а потом другой дорогой шел домой. Кейл не спрашивал себя, зачем он следит за ней. Ему просто хотелось узнать про нее все до конца.

Шла восьмая неделя. Кейт по обыкновению завершила свой обход и скрылась в заросшем палисаднике. Кейл выждал минуту и зашагал мимо покосившейся калитки. Кейт спокойно окликнула его из-за высокого развесистого куста бирючины:

— Эй, ты зачем ходишь за мной?

Кейл замер, едва дыша. Время словно остановилось. И тут же по старой, выработанной еще в детстве привычке он принялся усиленно подмечать и перебирать всякие пустяки, не имеющие касательства к неудобному положению, в каком он очутился. Краем глаза Кейл видел, как шевельнулись молодые листочки на кустарнике под налетевшим с юга ветерком. Потом он заметил грязную слякотную дорожку, истоптанную до черного месива, и ноги, отступившие к самому ее краю, чтобы не запачкать туфли. Он слышал, как поодаль с сухим отрывистым шипением выпускает пар маневровый паровозик, и чувствовал холодок на щеках, покрытых пробивающимся пушком. И все это время он в упор глядел на Кейт, и она тоже не сводила с него взгляд. По постановке и цвету глаз, по окраске волос и даже по манере приподнимать плечи, словно слегка пожимая ими, Кейл видел, как похож на мать Арон. Сам он плохо знал собственную внешность и потому не узнал в ее лице свой рот, мелкие зубы, широкие скулы. Так они и стояли друг перед другом, подросток и женщина, пока очередной порыв ветра не вывел их из неподвижности.

— Ты уже который раз ходишь за мной,— сказала Кейт.— Чего тебе от меня нужно?

— Ничего не нужно,— ответил Кейл, опуская голову.

— Кто тебя подучил подглядывать за мной?

— Никто... мэм.

— Не хочешь, значит, признаться?

Кейл вдруг с изумлением услышал, что он заговорил. Слова вырвались сами, помимо его воли:

— Вы моя мать, и я хотел посмотреть, какая вы.

Это была чистая правда, и Кейт как обухом по голове стукнуло.

— Что? Ничего не пойму. Ты кто?

— Я — Кейл Траск, — сказал он и тут же почувствовал, что чаша весов качнулась в его сторону. Хотя она и виду не подавала, Кейл понял, что берет верх в поединке, а мать вынуждена защищаться.

Она пристально вглядывалась в подростка, изучая каждую его черточку. Полузабытое лицо Карла вдруг встало перед ее внутренним взором. «Ну-ка, пойдём!» — кинула она, повернулась и осторожно, чтобы не угодить в грязь, пошла по краю дорожки.

Поколебавшись секунду, Кейл последовал за ней и взошел по ступеням. Он хорошо помнил темное зальце, но дальше не был. Кейт повела его коридором к себе. Проходя мимо кухни, она крикнула в открытую дверь: «Чаю, две чашки!»

В комнате Кейт, казалось, совсем забыла про него. Не снимая перчаток, дергая за рукава непослушными пальцами, она сняла пальто. Потом подошла к двери, прорубленной в дальней стене, вдоль которой стояла ее кровать, и скрылась в пристройке.

— Иди сюда! — позвала она. — И захвати стул.

Кейл очутился в какой-то каморе без окон, с голыми темно-серыми стенами. Пол устилал пушистый ковер, тоже серый. Из мебели тут стояло только огромное кресло с множеством серых шелковых подушек, небольшой стол с наклонной крышкой и напольная лампа с низким абажуром. По-прежнему не снимая перчаток, Кейт неловко, словно у нее была искусственная рука, зажала шнурок глубоко между большим и указательным пальцами и зажгла лампу.

— Закрой дверь! — приказала Кейт.

Лампа бросала яркий кружок света на стол, но остальная комната едва освещалась. Серые стены словно поглощали свет. Кейт долго устраивалась в кресле среди подушек, потом начала осторожно стягивать перчатки. Пальцы на обеих руках у нее были забинтованы.

— Чего уставился! Артрит это, — зло бросила она. — Хочется взглянуть, да? — Она размотала пропитавшуюся мазью повязку и поднесла скрюченный указательный палец к свету. — Вот, полюбуйся! Это и есть артрит. — Она тихонько застонала, бережно обматывая палец бинтом. —

Боже мой, до чего болят в перчатках! — вырвалось у нее. — Садись, чего стоишь.

Кейл присел на краешек стула.

— Смотри, у тебя, наверное, тоже артрит будет, — сказала Кейт. — У моей двоюродной бабки был и у матери начинался... — Она осеклась. В комнате воцарилась мертвая тишина. Потом в дверь тихонько постучали.

— Это ты, Джо? — отозвалась она. — Оставь поднос. Ты что, оглох?

Из-за двери что-то промычали. Ровным голосом Кейт отдавала распоряжения:

— В гостиной намусорили, подмети. Анна опять не прибрала у себя в комнате. Предупреди ее еще раз, скажи, что это последний. Ева чересчур умничала вчера вечером. Впрочем, я сама с ней поговорю... Да, вот еще что, Джо. Скажи поварихе, если она опять приготовит на этой неделе морковь, пусть собирает вещи. Ты меня слышишь?

Мычание из-за двери повторилось.

— Все, иди! — приказала она. — Хуже свиней! — в сердцах вырвалось у нее. — Дай им волю, как в хлеву будут жить... Принеси-ка поднос из той комнаты.

Когда Кейл открыл дверь, в спальне уже никого не было. Он принес поднос и осторожно поставил его на крышку стола. Поднос был большой, серебряный, на нем стояли оловянный чайник, две чашки тонкого, как бумажный листок, фарфора, сливки и открытая коробка шоколадных конфет.

— Налей чаю, — сказала Кейт. — У меня руки болят. — Она сунула в рот конфету. — Удивляешься, что я в этой комнатенке устроилась? — продолжала она, проглотив конфету. — Мне от света глаза режет. А здесь я отдыхаю. — Заметив, что Кейл украдкой посмотрел на ее глаза, повторила тоном, не терпящим возражения: — Мне от света глаза режет... Ты что не пьешь? — спросила она бесцеремонно. — Не хочешь?

— Не хочу, мэм. Я не люблю чай.

Кейт зацепила забинтованными пальцами тоненькую чашку.

— А что же ты хочешь?

— Ничего, мэм.

— Вздумал просто посмотреть на меня?

— Да, мэм.

— Ну и как?

— Обыкновенно.

— Ну и как я выгляжу? — Она бесстыдно улыбнулась, обнажив мелкие острые зубы.

— Нормально.

— Я так и знала, что из тебя слова не вытянешь. Где твой братец?

— В школе, наверное, или дома.

— Какой он?

— Он... он больше на вас похож.

— Правда? Интересно. И он такой же, как я?

— Арон в священники хочет.

— Ну что ж, это в самый раз — с моей внешностью в священники. Духовное лицо такое натворить может. Когда мужчина сюда приходит, он весь настороже, а в церкви раскрывается душа нараспашку.

— У Арона это серьезно.

Кейт подалась вперед, лицо ее оживилось.

— Налей мне еще... Скажи, твой брат — зануда?

— Он хороший.

— Я спрашиваю — зануда?

— Нет, мэм, не зануда.

Кейт откинулась, поднесла чашку к губам.

— А как отец?

— Я не хочу об этом говорить.

— Вот как! Значит, ты его любишь?

— Очень, — сказал Кейл.

Кейт пристально всматривалась в сына. Сердце у нее внезапно сжалось от боли, и по телу пробежала непонятная судорога. Потом она встряхнулась и быстро справилась с собой.

— Возьми конфету.

— Спасибо, мэм... Зачем вы это сделали?

— Что я сделала?

— Зачем выстрелили в отца и бросили нас?

— Это он тебе рассказал?

— Нет, он нам ничего не рассказывал.

Кейт дотронулась одной рукой до другой, но обе отдернулись, как обожженные.

— У твоего отца есть... к нему приходят в гости... ну, девицы или молодые женщины?

— Не приходят,— отвечал Кейл.— Почему вы хотели застрелить его и убежать?

Лицо у Кейт напряглось, рот распрямился в одну линию. Она подняла голову — глаза ее глядели холодно и пусто.

— Ишь ты, как взрослый заговорил,— сказала она.— Только вот рассуждаешь, как маленький. Может, тебе лучше пойти поиграть?.. И не забудь сопلي утереть.

— Я тоже иногда издеваюсь, над братом. Дразню, даже до слез довожу и вообще. Он даже не понимает, как это у меня получается. Я умнее его, то есть хитрее. Но больше я не буду его обижать, никогда. Противно стало.

Кейт подхватила, словно сама только о том и думала:

— Мои тоже воображали, будто они такие умные. Думали, что насквозь меня видят. А я обманывала их, как хотела, всех обманывала. Особенно когда мне что-нибудь велели сделать. Тут уж я спуску не давала! Да, Карл, что-то, а козни строить я умела.

— Меня Кейлеб зовут, а не Карл. Был такой человек, Халев, он в землю Ханаанскую пришел. Мне Ли рассказывал, из Библии это.

— А-а, китаец этот,— протянула Кейт и продолжала свое: — Адам думал, что право на меня имеет. Когда меня в кровь избили, сломали руку, он меня в свой дом принес, ухаживал за мной, с ложечки кормил. Думал приязнать меня к себе. И большинство, представь, поддается. Благодарные — они всегда в долгу, а это хуже цепей. Но я не такая, меня никто не удержит. Вот и решила: подожду, выздоровлю, наберусь сил, а потом поминай как звали. Для меня западня еще не сделана.— Она помолчала.— Я знала, что он замышляет, и выжидала, когда мой час пробьет.

В сером полумраке комнаты слышалось только ее возбужденное свистящее дыхание.

— Зачем вы в него выстрелили? — снова спросил Кейл.

— Затем, что он не хотел отпускать меня. Я ведь и убить его могла, правда? Только зачем? Мне просто надо было вырваться.

— И вы никогда не жалели, что не остались с нами?

— Жалела? Господь с тобой! Я еще девчонкой умела настоять на своем. Никто не понимал, как это мне удаст-

ся. Мои-то думали, что чин-чином меня воспитывают. Нет, ничегошеньки они обо мне не знали. Ни одна живая душа не знала. И сейчас не знает.— У Кейт вдруг мелькнула догадка.— Послушай, мы ведь как-никак одной породы. Может, ты весь в меня. Я бы не удивилась.

Кейл встал, заложил руки за спину.

— Скажите, когда вы были маленькая, вы...— он умолк, стараясь найти подходящие слова.— У вас не было такого чувства, будто вам чего-то не хватает? Вот у других это есть, а у вас нет... Ну, вроде все остальные знают какой-то секрет и не хотят с вами поделиться? Вы это не замечали за собой?

Едва он заговорил, лицо у Кейт сделалось непроницаемым, а когда умолк, она окончательно замкнулась в себе. Между ними словно стена выросла.

— Разговорилаcь ни с того ни с сего! — спохватилась она.

Кейл разнял руки и засунул их в карманы.

— И с кем? С мальчишкой-сопляком. Совсем свихнулась.

Лицо Кейла светилось от возбуждения, глаза широко раскрылись, словно он увидел что-то неожиданное.

— Эй, чего это ты? — сказала она.

Кейл стоял не шелохнувшись, на лбу у него заблестел пот, руки сами сжались в кулаки.

Кейт умела, как ножом, уколоть человека бессмысленной жестокостью.

— Я, может, наградила тебя кое-чем, вроде вот этого...— Усмехнувшись, она выставила вперед скрюченные пальцы.— Но вот если припадки будут, то, извини, это не от меня.

Она глядела на сына лучезарными глазами, предвкушая удовольствие от его растерянности и испуга. Но Кейл заговорил легко и свободно:

— Теперь я пойду. Нечего мне тут больше делать. Ли правильно сказал.

— Что Ли правильно сказал?

— Я боялся, что в вас пошел.

— Конечно.

— Нет, я в себя самого пошел. Не обязательно быть таким, как мать.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю и все. Я только сейчас все сообразил. Если и есть во мне злоба, то это не от вас, а от меня самого.

— Наслушался всякой чепухи у своего китайца. Ты чего так на меня смотришь?

— И совсем вам не режет глаза от света,— сказал Кейл.— Вы просто боитесь и поэтому прячетесь.

— Что?! — вскрикнула Кейт.— Вон отсюда! Убирайся!

— Я и сам уйду,—отвечал Кейл, берясь за ручку двери.— Ненависти у меня к вам нет, но я рад, что вы боитесь.

Кейт хотела крикнуть: «Джо!», но вместо этого у нее вырвалось какое-то карканье.

Кейл толкнул дверь, вышел и захлопнул ее за собой.

В гостиной болтали Джо и одна из девиц. Оба слышали частые легкие шаги, но едва они успели поднять головы, как мимо них пронеслась какая-то фигура, выскользнула из комнаты, и тут же громко хлопнула наружная дверь. Потом кто-то спрыгнул с крыльца.

— Что за чертовщина? — удивилась девица.

— Бог его знает,—отвечал Джо.— Мне иной раз незнамо что мерещится.

— Мне тоже,—вдохнула она.— Я тебе говорила, что у Клары истерика была?

— Должно быть, тени от иголки испугалась,— сказал Джо.— Чем меньше знаешь, тем лучше —я так считаю.

— Что верно, то верно,—согласилась девица.

ГЛАВА Сороковая

1

Утопая в подушках, Кейт бессильно откинулась на спинку кресла. Ее била нервная дрожь, по телу ползли мурашки, волосы шевелились на голове.

— Успокойся,—негромко твердила она себе.— Возьми себя в руки. Не обращай внимания. Ни о чем не думай. Сопляк паршивый!

Ей вдруг вспомнился один-единственный человек, который вызывал у нее такой же панический страх и жгучую

ненависть. Это был Самюэл Гамильтон — седобородый, румяный, своими насмешливыми глазами он словно сди-
рал с нее кожу и заглядывал в самую глубь ее существа.

Забинтованным указательным пальцем Кейт подцепи-
ла тонкую цепочку и вытянула из-за корсажа прикреплен-
ные к ней два ключа от сейфа, золотые часики с булав-
кой в виде лилии и маленький стальной патрон с кольцом
на крышке. Она не спеша отвинтила крышку, расправив
юбку, вытряхнула из трубочки желатиновую капсулу, под-
несла ее к свету: внутри шесть белых кристалликов мор-
фия — верное, безотказное средство. Потом аккуратно опу-
стила капсулу в патрон, завинтила крышку и опустила
цепочку за лиф.

«Вы просто боитесь и поэтому прячетесь», — звенели
у нее в голове слова Кейла. Чтобы избавиться от навязчи-
вого звучания, она повторила их вслух. Звон перестал, но
перед ее внутренним взором возникла отчетливая картина,
и она не гнала ее прочь — ей надо было оживить воспо-
минания.

2

Это случилось перед тем, как Кейт велела сделать при-
стройку. Она получила чек, оставленный ей Карлом. Чек
был обменен на крупные казначейские билеты, и билеты
стопками лежали в сейфе Монтерейского окружного банка.

Как раз тогда ей начало крЮчить пальцы от боли. Она
могла уехать. Денег у нее было предостаточно — оста-
навливала только возможность выжать из заведения по-
больше. Кроме того, лучше подождать, пока она совсем
поправится.

Но совсем Кейт так и не поправилась. Нью-Йорк ка-
зался холодным и очень далеким.

Однажды она получила письмо, подписанное: «Этель».
Какая еще Этель? Женщин с таким именем — как собак
нерезанных. И вообще — что за наглость клЯнчить деньги!
Письмо было написано какими-то каракулями на плохой
линованной бумаге.

Немного погодя Этель заявила собственной персо-
ной, и Кейт едва узнала ее.

Сидевшая за столом Кейт встретила гостью спокойно,
холодно и настороженно.

— Давненько тебя не было видно,— сказала она.

Этель держала себя, как старый солдат, заглянувший навестить своего сержанта, который когда-то его муштровал.

— Болела я.— Этель расплылась и огрубела. Ее старательно вычищенная одежда выдавала бедность.

— Где ты?.. Где проживаешь-то? — спросила Кейт, нетерпеливо дожидаясь, когда эта старая развалина перейдет к делу.

— В гостинице, в «Южно-Тихоокеанской»... Комнату там сняла.

— Значит, не работаешь больше?

— Так и не сумела устроиться. Зачем ты меня прогнала, Кейт? — Краем матерчатой перчатки Этель промокнула выступившие на глазах крупные слезы.— Плохи у меня дела, ей-ей плохи. Первый раз попалась, когда новый судья к нам заявился. Три месяца дал, хотя за мной ничего такого не числилось, то есть здесь, в городе, не числилось. Вышла я, значит, и с нашим Джо слюбилась. Знать не знала, что подцепила заразу. А от меня наш бывший клиент... симпатичный такой, десятником на путях работает. Ну он, само собой, трепку мне, нос повредил, четыре зуба вышиб. Судья, значит, новый еще на полгода меня упек. А за полгода, сама знаешь, всех растеряешь, клиентов-то. Будто тебя и нет больше. Вот и не сумела я снова бизнес наладить.

Кейт слушала и равнодушно кивала, даже не особенно стараясь показать, что сочувствует. Она догадывалась, что Этель хочет поймать ее на крючок. Вот-вот кинет наживку, сообразила Кейт и сделала ответный ход. Она выдвинула ящик стола, достала денег и протянула Этель.

— Не такая я, чтоб старую подругу в беде бросить,— сказала она.— Может, тебе куда-нибудь перебраться, в другом месте попробовать? Глядишь, фортуна и повернется к тебе.

Этель едва удержалась, чтобы не схватить сразу деньги, и развернула бумажки веером, как карты в покере,— четыре десятидолларовых билета. Губы у нее задрожали.

— А я-то рассчитывала, что у тебя побольше найдется. Старой подруге — четыре десятки всего?

— Что значит «всего»?

— Разве ты не получила мое письмо?

— Какое еще письмо?

— Ах-ах! — проговорила Этель. — Значит, затерялось на почте. До чего ж безалаберные! Ну, ладно... Я-то считала, что повнимательнее ко мне будешь. Плоха я, болею часто. В животе вот тяжесть какая-то последнее время. — Она вздохнула и затараторила так, что Кейт поняла: заранее все наизусть выучила. — Ты же знаешь, что я вроде как ясновидящая. Могу заранее сказать, что и как исполнится. Видения у меня. Как примерещится, так потом и сбудется. Один сказал мне, что сеансы надо устраивать, бизнес делать. Ты, говорит, медюм прирожденный. Ты же знаешь.

— Понятия не имею, — отвечала Кейт.

— Правда? Значит, просто внимания не обращала. Остальные-то все знают. Я им разные вещи рассказывала, так потом они взаправду происходили.

— Ты куда гнешь? Выкладывай.

— Было, значит, мне видение — я его хорошо помню, потому как в ту ночь Фей померла. — Этель скользнула взглядом по непроницаемому лицу Кейт и продолжала настойчиво: — Дождик еще тогда пошел, и мне тоже дождик мерещился, и вообще мокро было. Ну вот, вижу я, значит, тебя, из кухни на двор выходишь. Темень на дворе не особенная, как раз луна показалась малость. Ясно видела — ты это. Вроде побежала ты к забору дальнему, нагнулась, что делала — не видать. Потом потихоньку назад — шмыг!.. Очнулась я, значит, а мне говорят: Фей богу душу отдала.

Этель замолкла, дожидаясь, что скажет Кейт, но лицо у той по-прежнему решительно ничего не выражало. Видя, что Кейт молчит, Этель заговорила снова:

— Вот я и говорю, что верю я в свои видения. И чудно, понимаешь, ничегошеньки там у забора не было, только разбитые пузырьки из-под лекарств и резинка от пипетки.

— И ты, конечно, всю эту дрянь к доктору потащила, — безмятежно произнесла Кейт. — Ну и что же там было, в этих пузырьках? Чего он тебе сказал?

— Никуда ничего я не потащила.

— А надо бы! — заметила Кейт.

— Зачем, чтоб кто-то страдал? Сама горя хлебнула, знаю. Я просто склянки в конверт положила и спрятала.

— И теперь пришла спросить, что с ними делать? — вкрадчиво осведомилась Кейт.

— Ага.

— Тогда я тебе вот что скажу, милая.— Кейт не повысила голос.— Ты старая истрепавшаяся шлюха, поняла? И по голове тебя чересчур много били.

— Ты хочешь сказать, что свихнулась я?..— начала было Этель.

— Может, и не свихнулась,— перебила ее Кейт,— не знаю. Но то, что нездорова и устала вся,— это точно. Я же тебе сразу сказала: не такая я, чтобы старую подругу в беде бросить. Возвращайся, если хочешь. Гостей, конечно, принимать — куда тебе, но по хозяйству пригодишься. Прибрать где или повару помочь. Полный пансион обеспечу, комнату и стол. Деньжат буду давать на карманные расходы. Ну, как?

Этель заерзала на стуле.

— Да нет, спасибочки. Не хочется мне что-то... жить здесь не хочется. А конвертик тот я при себе не держу. У знакомого он.

— Чего же ты хочешь?

— По чести говоря, я думала, ты сумеешь мне сотню в месяц подкидывать. Тогда бы я перебилась, и еще на доктора бы хватило.

— Ты в «Южно-Тихоокеанской», говоришь, проживаешь?

— Там. Комната у меня в конце коридора, направо от конторки. А ночной портье — приятель мой. На дежурстве никогда не дрыхнет. Хороший парень.

— Ладно, Этель, не трухай. Присмотри только за своим «хорошим парнем», чтоб не продал по дешевке.— Кейт отсчитала еще шесть десятидолларовых билетов из ящика стола и протянула Этель:— Вот, держи!

— По почте будут первого числа приходить или мне сюда заглядывать?

— Сама посылать буду. И вот что, Этель,— ровно сказала Кейт.— На твоём месте я бы все-таки отнесла эти склянки на анализ.

Этель крепко сжимала в руке деньги. Ее переполняла радость и торжество. Не часто у нее так складно получалось.

— И не подумаю,— ответила она.— Если только приспичит...

После ухода Этель Кейт не спеша пошла в дальний угол двора. Даже сейчас, по прошествии стольких лет, было видно, что земля на знакомом месте разрыта.

На другое утро городской судья рассматривал обычную вереницу дел о незначительных драках и мелких ночных кражах. Он слушал доклад по четвертому обвиняемому впслуха и после немногословного свидетельства жалобщика спросил:

— Сколько, говорите, у вас пропало?

— Почти сотня, ваша честь,— ответил темноволосый мужчина.

Судья повернулся к дежурному полицейскому:

— А у нее сколько нашли?

— Девяносто шесть долларов, ваша честь. В шесть утра она купила у ночного портье бутылку виски, пачку сигарет и несколько иллюстрированных журналов.

— Да я его в первый раз вижу! — закричала Этель.

Судья поднял голову от бумаг.

— Два задержания за проституцию и теперь — ограбление. Слишком дорого нам это обходится. Чтобы к двенадцати дня тебя в городе не было, слышишь? — Он повернулся к полицейскому. — Скажи шерифу, чтобы он выпроводил ее из округа. — Потом сказал Этель: — Еще раз тебя в городе увижу, передам дело в окружной суд и потребую самой строгой меры наказания. Так что, если не хочешь угодить в Сан-Квентин... поняла?

— Ваша честь, мне нужно поговорить с вами с глазу на глаз! — умоляла Этель.

— Зачем?

— Нужно, — настаивала она. — Обвинение подстроено.

— Все подстроено, — ответил судья. — Давайте следующего.

Помощник шерифа повез Этель на мост через реку Пахаро, по которой проходила граница округа, а в это время по Кастровилльской улице жалобщик направлялся к заведению Кейт, потом передумал и зашел к парикмахеру Кено подстричься.

3

Встреча с Этель не сильно беспокоила Кейт. Она знала, что проститутку никто и слушать не будет и никакой анализ разбитых пузырьков не покажет ни малейших сле-

дов яда. О Фей она почти забыла, и вынужденное напоминание оставило лишь легкий неприятный осадок.

Однако через некоторое время Кейт с досадой стала ловить себя на том, что все чаще и чаще вспоминает о прошлом. Как-то раз вечером, когда она проверяла счета от бакалейщика, в голове у нее внезапно, как молния с небес, пронеслась и пропала какая-то шальная мысль, и она даже отложила работу, стараясь поймать и продумать ее. Почему эта мимолетная мысль воскресила в памяти смуглое лицо Карла? И загадочные, насмешливые глаза Сэма Гамильтона? И почему она оставила по себе трепетный страх?

Она заставила себя не думать и снова принялась за счета, но ей чудилось, будто за спиной стоит Карл и заглядывает ей через плечо. Вдруг нестерпимо занули пальцы. Кейт отложила бумаги и обошла дом. В заведении было тихо и скучно — вторник. Гостей — жалкая горстка, и представление устраивать незачем.

Кейт знала, как относятся к ней ее девочки. Она держала их в страхе, и они до смерти боялись ее. Очень может быть, что они даже ненавидят ее, но это не имеет никакого значения. Имеет значение то, что они целиком полагаются на нее. Если они твердо следуют установленным в доме правилам, то Кейт всегда позаботится о них и заступится в случае чего. При таких отношениях ни к чему ни уважение, ни личные симпатии. Кейт никогда не награждала девочек за службу, но и наказывала редко, только дважды — на третий раз она отказывала провинившейся от места. Девочки знали, что мадам без причины не наказывает, и потому чувствовали себя в сравнительной безопасности.

Кейт обходила свои владения, а девочки изо всех сил старались держаться как ни в чем не бывало. Она знала эти маленькие хитрости и не обращала на них внимания. И все же в этот вечер она не могла избавиться от ощущения, будто рядом с ней, чуть поотстав, ходит Карл.

Миновав столовую, она зашла в кухню, заглянула в ледник. Ногой приподняв крышку мусорного ящика, проверила, чисто ли там. Она проделывала это каждый вечер, но сегодня была особенно придирчива.

Когда Кейт вышла из гостиной, девицы переглянулись, пожимая плечами. Элоиза, болтавшая с темноволосым Джо, поинтересовалась:

- Что-нибудь случилось?
- Да нет вроде. А что?
- Не знаю, нервничает что-то она.
- Из-за чего?
- Ну чего ты прицепилась? — окрысился Джо.

Я знать ничего не знаю и тебе не советую.

- Ясненько. Не суй нос куда не надо!
- Понятливая, чёрт тебя побери! Так и договоримся.
- А вообще-то мне нисколечко неинтересно, — заявляет Элоиза.

— То-то, — заключает Джо.

Кейт заканчивает обход.

— Я спать иду, — обращается она к Джо. — Не беспокоить — разве что в крайнем случае.

- Я вам не нужен?
- Завари чаю. Элоиза, ты гладила платье?
- Конечно, мэм.
- Непохоже.
- Я поглажу еще, мэм.

Кейт было не по себе. Она аккуратно разложила бумаги по ящичкам стола. Вошел Джо с подносом, и она велела поставить его подле кровати.

Откинувшись на подушки и прихлебывая чай, она пыталась вспомнить, о чем думала. Ах да, Карл! И тут ее осенило.

Соображал Карл — вот оно что! Сэм Гамильтон, хоть и тронутый, тоже соображал. Соображали они — эта мысль внушала страх. Конечно, оба уже умерли, но, может, есть другие, которые соображают. Кейт старалась размышлять здраво.

Допустим, это я откопала пузырьки. Что бы я сама подумала? Что бы сделала? словно тугим обручем стянуло ей грудь. Зачем их разбили и закопали? Никакого яда в них не было. Тогда зачем их закапывать? Напрасно она это сделала. Надо было в мусорный ящик выкинуть или на Главной улице в канаву бросить. Доктора Уайльда тоже нет в живых. Но он, наверное, вел какой-нибудь журнал. Как теперь узнаешь? Предположим, она сама находит склянки и узнает, что в них было? Разве она не спросила бы у понимающего человека: «Что будет, если выпить кротонового масла?»

«А если его давать человеку понемножку; но долго?»

Она бы знала, что ответить на этот вопрос. Найдутся и другие, которые тоже ответят.

«Предположим, разнесся слух, будто одна хозяйка публичного дома, притом богатая, отказала все свое имущество новенькой, а сама вскоре умерла». Кейт прекрасно знала, о чем бы она прежде всего подумала. Что за блажь — прогнать эту дуреху Этель! Ищи теперь ветра в поле. Ей надо было хорошо заплатить, умаслить, чтоб сама осколки отдала. Где они теперь? Сказала, в конверте, но где этот конверт? Разыскать бы паршивку.

Этель, очевидно, догадалась, почему и как ее погнали из округа. Сама-то она тупа, как пробка, но ведь обязательно сболтнет кому-нибудь, а тот сразу смекнет что к чему. Разнесет, балаболка, как заболела Фей и как плохо выглядела, и про завещание разнесет.

Кейт начала задыхаться, от страха по телу побежали мурашки. Надо уезжать, в Нью-Йорк или еще куда. Даже дом можно бросить. Зачем ей еще деньги? И так за глаза хватит. Да, но если она исчезнет, а Этель проболтается какому-нибудь умнику — не будет ли ее отъезд уликой?

Она поднялась с постели и приняла двойную дозу брома.

С того времени ее ни на минуту не покидал страх. Она даже чуть ли не обрадовалась, когда ей сказали, что начавшиеся боли в пальцах — это признаки артрита. Зло-радный голос внутри нашептывал, что болезнь — это ей в наказание.

Кейт вообще редко выбиралась в центр, а теперь ей и подавно не хотелось появляться там. Она заметила, что мужчины на улице узнают ее и украдкой оглядываются. Вдруг ей встретится лицо, как у Карла, и глаза, как у Сэма.

Потом она велела сделать пристройку и покрасить ее в серый цвет. Глаза от яркого режет, объясняла она и сама поверила в свою выдумку. Теперь уже ей щипало глаза после каждой вылазки в город. Она буквально заставляла себя раз в неделю выходить из дома.

Некоторые умудряются иметь одновременно два противоположных мнения об одном и том же. Кейт относилась к их числу. Она не только внушила себе, что у нее глаза болят от яркого света, но и что ее серая комната — как глубокая земляная нора, пещера, убежище, где ее

не достанет посторонний взгляд. Однажды, сидя по своему обыкновению в кресле, обложенная подушками, Кейт подумала, не прорубить ли в пристройке потайную дверь, чтобы скрыться в случае чего. И тут же эту мысль вытеснила другая, даже не мысль,—она нутром почувствовала, что тогда она будет совершенно беззащитной. Если она может выбраться отсюда через эту дверь, то через нее можно забраться и сюда: что-то уже окружает дом, подкрадывается по ночам к самым стенам и безмолвно заглядывает через окно внутрь. Кейт приходилось пересиливать себя, чтобы по понедельникам выйти из дома. Она страшно перепугалась, заметив, что Кейл следит за ней, а когда он подошел к калитке, ее охватил ужас.

Кейт зарылась головой в мягкие подушки, и невесомая тяжесть капель брома смежила ей веки.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

1

Страна незаметно сползала к войне, напуганная и зачарованная ею. Почти шестьдесят лет американцы не испытывали невзгод и ужасов войны. Распря с Испанией была скорее просто вооруженной экспедицией. В ноябре 1916 года мистер Вильсон был переизбран президентом благодаря его предвыборным обещаниям не дать втянуть нас в войну и с одновременным наказом проводить твердую линию, что неизбежно толкало нас к войне. Оживилось предпринимательство; начали расти цены. По городам и весям рыскали англичане-агенты, скупая продовольствие и одежду, металл и химикаты. Страна была возбуждена. Народ не верил, что начнется война, и сам же готовил ее. Жизнь в Салинасской долине мало чем изменилась.

2

Кейл и Арон шли в школу.

— Не выспался? — спросил Арон.

— С чего ты взял?

— Я слышал, когда ты пришел. В четыре утра. И что только в такую поздноту делал?

— По улицам гулял, думал все. Слушай, ты не хочешь бросить школу и перебраться на ферму?

— Зачем?

— Хозяйством заняться, денег отцу заработать.

— Нет, я в колледж хочу. Хоть завтра бы уехал. Над нами весь город смеется. Тошно мне здесь.

— Ты просто свихнулся.

— Ничего я не свихнулся. Разве это я даром потратил деньги? Разве я придумал эту затею с салатом? А ребята дразнят меня. И на колледж теперь вряд ли денег хватит.

— Не нарочно же он деньги даром потратил.

— Не нарочно, а потратил.

— До колледжа тебе еще этот год трубить и весь следующий, — сказал Кейл.

— Как будто сам не знаю.

— Слушай, а если засесть как следует, может, успеешь на будущее лето к вступительным экзаменам подготовиться?

Арон круто повернулся к брату.

— Нет, не успею.

— А я думаю, успеешь. Поговори с нашим директором. Наверняка и преподобный Рольф словечко замолвит.

— Я хочу отсюда уехать насовсем, — сказал Арон. — Не могу я больше слышать — Салатная башка, Салатная башка. Надоели мне их приставания.

— А как Абра?

— Абра умница, всегда сообразит, что правильно.

— А она не против, чтобы ты уехал? — осторожно спросил Кейл.

— Она сделает, как я захочу.

Кейл подумал и сказал:

— Знаешь что, я хочу попробовать зашибить денег. Если как следует возьмешься и сдашь экзамены на год раньше, я за колледж заплачу.

— Честно?

— Честно.

— Сейчас же поговорю с директором! — Арон ускорил шаг.

— Подожди! — позвал брата Кейл. — Если он пойдет навстречу, не говори ничего отцу, ладно?

— Почему же не сказать?

— Ну, ему приятнее будет, когда придешь и скажешь: вот, досрочно сдал.

— Не вижу разницы.

— Не видишь?

— Нет, — стоял на своем Арон. — По-моему, глупо скрывать.

Кейлу неудержимо хотелось крикнуть: «А я знаю, чем наша мать занимается! Хочешь, сам увидишь!» Чтобы братца до костей пробрало.

Перед самым звонком Кейл поймал в коридоре Абру.

— Слушай, что это с Ароном творится?

— А что с ним творится?

— Сама знаешь.

— В облаках витает, вот и все. Священника нашего работа, вот и все.

— Он тебя хоть домой-то провожает?

— А как же! Только я его все равно насквозь вижу. Ангелочек с крылышками.

— Он все еще из-за истории с салатом переживает.

— Да знаю, — сказала Абра. — Я уж по-всякому его успокаиваю. Но, может, ему нравится — переживать.

— Как это — нравится?

— Так.

После ужина Кейл спросил у Адама:

— Папа, ты не будешь возражать, если я в пятницу поеду на ферму?

Адам повернулся к сыну.

— Зачем?

— Ну, просто так, посмотреть.

— Арон тоже едет?

— Нет, я один хочу.

— Ну что ж, почему не съездить. Ли, ты не против?

— Не против. — Ли внимательно посмотрел на Кейла. — Что, на землю потянуло?

— Хочу попробовать хозяйством заняться, па, если, конечно, ты разрешишь.

— Мы же ферму в аренду сдали. Срок только через год с лишним кончится.

- А когда кончится — можно?
- А школа?
- Я ее как раз к тому времени окончу.
- Хорошо, там видно будет,— сказал Адам.— Может, еще в колледж надумаешь.

Когда Кейл направился к двери, Ли вышел за ним на крыльцо.

— Что ты затеваешь, если не секрет? — спросил Ли.

— Просто посмотреть хочется.

— Ладно, не хочешь говорить, не надо.— Ли wszel было в дом, но вдруг повернулся и позвал: — Кейл! — Тот остановился.— Ты чем-то встревожен, Кейл?

— Да нет, все в порядке.

— Я пять тысяч накопил... если тебе вдруг деньги понадобятся.

— Зачем мне могут деньги понадобиться?

— Мало ли зачем,— сказал Ли.

3

Уилл Гамильтон любил свою квадратную застекленную клетуху в гараже. Хотя его деловые интересы отнюдь не ограничивались сбытом автомобилей, другой конторы у него не было. Ему нравилось наблюдать, как работают люди и машины, а чтобы не мешал шум из гаража, он велел вставить в перегородки двойные стекла.

Он восседал в большом вращающемся кресле, обитом красной кожей, и почти всегда был вполне доволен жизнью. Когда кто-нибудь заговаривал о его брате Джо, который жил на Востоке и заколачивал большие деньги на рекламе, Уилл обязательно замечал, что он и сам не последняя спица в колесе и что вообще лучше быть первым парнем на деревне, чем незнамо кем в городе.

— До смерти боюсь большого города,— говорил он.— Мы же деревенщина.— Шутка неизменно встречалась смехом, и ему нравилось оживление: значит, приятели знают, что имеют дело с человеком состоятельным.

Кейл приехал к нему утром в субботу и, поймав недоуменный взгляд Уилла, напомнил:

— Я Кейл Траск.

— Ну да, конечно! Ты здорово вытянулся. С отцом приехал?

— Нет, один.

— Ну, присаживайся, присаживайся. Наверное, не куришь еще.

— Курю, иногда. Сигареты.

Уилл пододвинул Кейлу коробку «Мюратов». Тот открыл было крышку, но раздумал.

— Сейчас не хочется.

Уилл разглядывал смуглого юношу, сидящего перед ним. Парень ему понравился. Видно, не дурак, соображает что к чему.

— Мозгуешь, чем тебе заняться, так?

— Да, сэр. Вот окончу школу, может, за ферму возьмусь.

— Зряшное это дело,— сказал Уилл.— С земли не разбогатеешь. Сельскохозяйственный продукт прибыли не приносит. Перекупщик — вот кто наживается, а не фермер.

Уилл догадывался, что парень прощупывает его, и это тоже ему нравилось.

Наконец Кейл решился, но сперва спросил:

— Мистер Гамильтон, у вас ведь нет детей?

— Не обзавелся, о чем и сожалею. Больше всего об этом жалею... А почему ты интересуешься?

Кейл будто не слышал вопроса.

— Мне ваш совет нужен...— сказал он.— Подскажете?

Уилл весь загорелся от удовольствия.

— Охотно подскажу, если сумею. Выкладывай, что тебе нужно.

И тут Кейл пустил в ход простодушие и тем самым еще больше расположил к себе Уилла Гамильтона.

— Мне деньги нужны, много денег, и я хочу, чтобы вы научили меня, как их заработать.

Уилл с трудом удержался от смеха. Наивное желание, ребяческое, что и говорить, но сам парень, видать, не простак.

— Всем деньги нужны,— проговорил он.— И сколько же это по-твоему — «много денег»?

— Тысяч двадцать — тридцать.

— Ну ты замахнулся! — Со скрипом подвинув вперед кресло, Уилл расхохотался — от души, не обидно. Кейл сидел и тоже улыбался.

— И зачем же тебе так много — скажешь?

— Да, сэр, скажу, — ответил Кейл. Он открыл коробку, взял сигарету с мундштуком, закурил. — Конечно, скажу. Уилл уселся поудобнее.

— Мой отец потерял много денег, вы знаете.

— Еще бы не знать! — сказал Уилл. — Я его предупреждал — глупо гнать партию салата через всю страну.

— Правда? Откуда вы знали?

— В его затее никаких гарантий не было. Деловой человек всегда должен подстраховать себя. Иначе в трубу вылетишь. Так оно и вышло. Давай дальше.

— Ну вот, я хочу заработать и вернуть ему эти деньги.

— Вернуть — почему вернуть? — изумился Уилл.

— Так мне хочется.

— Ты так любишь отца?

— Да.

Пухлое, мясистое лицо Уилла Гамильтона дрогнуло, на него пронизывающим ветерком пахнуло прошлое. Память не стала перебирать одно, другое, третье — все годы и люди словно высветились разом некой вспышкой и остановились перед ним одной цельной картиной, одной радостью и одной печалью, как фотоаппарат останавливает мгновение. Вот Самюэл, ослепительный и прекрасный, словно заря, со своими причудами и правилами, точно ласточка в полете, вот умный, задумчивый и загадочный Том, вот хозяйка и примирительница всего и всех Уна, хорошенькая Молли, смеющаяся Десси, красавец Джордж, чья благожелательность наполняла комнату, как наполняет ее аромат цветов, ну и, конечно же, Джо, самый младший, общий любимец. Каждый легко обогатил семью чем-то своим, неповторимым.

Почти каждый из Гамильтонов был чем-то недоволен, но переживал обиду молча, не делясь ни с кем. Уилл тоже научился скрывать, что у него на душе, громко смеялся, не стеснялся извлекать выгоду из того, что ошибочно считал своими достоинствами, но и зависти не давал воли. Он сознавал, что он тугодум, ограниченный, заурядный середнячок. У него не было высокой цели, большой мечты, и никакая беда не толкнула бы его на самоуничтожение. Его то и дело как бы оттесняли в сторону, а он отчаянно цеплялся за край родственного круга, отдавая семье все

свои способности — заботливость, рассудительность, усердие. Он записывал расходы, нанимал адвокатов, звал гробовщика и в конечном итоге сам оплачивал счета. Остальные Гамильтоны понятия не имели, как нужен им Уилл. Он умел зарабатывать деньги и копить их, но думал, что другие презирают его за это его единственное умение. И все-таки он любил их всех до единого, любил, несмотря ни на что, и всегда оказывался рядом, выручая деньгами и вообще исправляя чьи-то ошибки. Ему казалось, что родные стыдятся его, и потому он изо всех сил старался завоевать у них признательность и уважение. Пронзительный порыв этих чувств пробрал его до глубины души.

Уилл смотрел мимо Кейла, его большие, чуть навывкате глаза повлажнели.

— Что с вами, мистер Гамильтон? Вам нехорошо?

Уилл ощущал свою кровную связь с другими Гамильтонами, но, по правде говоря, плохо понимал их. А они со своей стороны относились к Уиллу так, словно в нем и понимать-то нечего. И вот появляется паренек, которого он понимает, ощущает в нем что-то свое, близкое, родное. Именно такого сына он хотел бы иметь, будь у него сын, или такого брата, или отца. Стылый ветерок воспоминаний переменился, и откуда-то изнутри поднялось и подступило Уиллу к груди теплое чувство к Кейлу. Он заставил себя вернуться к разговору с ним. Кейл сидел выпрямившись и терпеливо ждал.

Уилл не знал, как долго он молчал.

— Задумался вот... — произнес он нерешительно, но тут же спохватился и сказал строгим голосом: — Ты пришел ко мне за советом. Я человек деловой и даром ничего не делаю.

— Я понимаю, сэр. — Кейл не спускал с Уилла глаз, хотя чувствовал, что тот настроен к нему доброжелательно.

— Прежде чем давать советы, я должен кое-что знать. Причем только правду. Ты готов говорить мне правду?

— Не знаю, — ответил Кейл.

— Вот это по мне — толково и честно! Ты же не знаешь, что я спрошу, верно? Отлично. Итак, у тебя есть брат — отец его больше любит, чем тебя?

— Арона все любят, — спокойно ответил Кейл. — Все до единого.

— И ты тоже?

— И я тоже. Во всяком случае... да нет, конечно, люблю.

— Что значит — «во всяком случае»?

— Иногда он глупо себя ведет, так мне кажется, но все равно я его люблю.

— А отца?

— Очень.

— А отец, значит, больше любит брата?

— Не знаю.

— Итак, ты хочешь заработать денег и возместить отцу его потерю. Зачем тебе это нужно?

Обычно Кейл смотрел настороженно, чуть-чуть прищурившись, но сейчас глаза его были широко раскрыты и, казалось, видели Уилла целиком и насквозь. Кейл чувствовал в нем близкую, родную душу — роднее не бывает.

— Мой отец — он хороший, — сказал Кейл. — Я хочу, чтобы он не огорчился, хочу порадовать его. Сам-то я плохой.

— Но если ты порадуешь его — разве ты тоже не станешь хорошим?

— Не стану, — сказал Кейл. — Я о людях плохо думаю.

Уиллу еще не приходилось встречать человека, который так прямо говорит о самом сокровенном. Ему было почти чуждо от этой прямоты, и он понимал, что именно открытость делала Кейла неуязвимым.

— И последнее, — сказал он. — Не хочешь, не отвечай, не рассержусь. Я и сам бы, может, не ответил... Допустим, ты заработаешь эти деньги и отдашь отцу — тебе не приходит в голову, что ты пытаешься купить его любовь?

— Да, сэр, приходит. Так оно и есть.

— Все, хватит вопросов!

Уилл уткнулся вспотевшим лбом в ладони, в висках у него стучало. Он был потрясен. У Кейла от радости забило сердце. Он понял, что добился своего, но вида не подал.

Уилл поднял голову, снял очки, протер запотевшие стекла.

— Пошли прокатимся, — сказал он.

Уилл ездил сейчас на огромном «винтоне» с длинным, как гроб, капотом, из-под которого раздавалось мощное глухое урчание. Они выехали из Кинг-Сити по главной дороге округа и взяли на юг. Кругом набирала силу весна. Скворцы разлетались от автомобиля и с посвистом рассаживались на ветках.

вались по проволочным оградам. К западу вырисовывалась на фоне неба Белая гора, увенчанная тяжелой шапкой снега, а поперек долины шли ветроупорные полосы эвкалиптов, серебрящихся молодой листвой.

Не доезжая до проселка, ведущего в лощину, где стояла ферма Трасков, Уилл съехал на обочину и остановил автомобиль. На всем пути от Кинг-Сити он не проронил ни слова. Негромко урчал отключенный мотор.

Глядя прямо перед собой, Уилл сказал:

— Кейл, хочешь стать моим компаньоном?

— Еще бы, сэр!

— Если уж брать компаньона, то с деньгами, а у тебя... Правда, я мог бы одолжить тебе, но начинать с этого...

— Я раздсбуду денег.

— Сколько?

— Пять тысяч.

— Пять тысяч? Ни в жизнь не поверю.

Кейл молчал.

— Ну ладно, верю,— вздохнул Уилл.— В долг возьмешь?

— Да.

— Под какой процент?

— Ни под какой.

— Ловко! И где же ты их раздобудешь?

— Этого я вам не скажу, сэр.

Уилл тряхнул головой и рассмеялся. Он был доволен.

— Может, я как последний болван поступаю, но вот верю я тебе и все. Да и не болван я вовсе.— Он включил было сцепление и тут же отключил.— Слушай меня внимательно. Ты газеты читаешь?

— Читаю.

— Со дня на день мы в войну вступим.

— Похоже на то.

— Люди знают, что говорят. Так вот — тебе известно, почем сейчас фасоль? Ну, сколько в Салинасе за сотню мешков можно выручить?

— Точно не знаю, но думаю, фунт цента по три идет, по три с половиной.

— А говоришь, не знаешь. Откуда тебе цены известны?

— Так, слышал. С отцом готовился поговорить, чтобы он мне на ферме разрешил хозяйничать.

— Понятно. Но незачем тебе в земле ковыряться. У тебя голова на плечах есть. Вашего арендатора Рантани зовут, верно? Итальянец он, из Швейцарии приехал. Толк в земле знает. Почти пятьсот акров у вас на участке распахан. Если ему обещать по пять центов за фунт да еще семян взаймы дать, он фасоль посеет. Соседи то же самое сделают. Одним словом, можно запросто договориться, что купим весь урожай с пяти тысяч акров.

— Фасоль же сейчас по три цента идет, а мы пять заплатим...— сказал Кейл.— А, понял! Но какая у нас гарантия?

— Компаньоны мы или нет?

— Да, сэр, компаньоны.

— Говори: «Да, Уилл!»

— Да, Уилл!

— Когда раздобудешь пять тысяч?

— К среде.

— Тогда по рукам!

Мужчина-здоровяк и смуглый худощавый паренек торжественно пожали друг другу руки. Держа Кейлову руку в своей, Уилл сказал:

— Поскольку мы теперь заодно, я тебе вот что скажу. У меня контракт с Британской заготовительной компанией. Да еще приятель в Интендантстве имеется. Мы этой фасоли сушеной сколько хочешь сбудем, ручаюсь. По десять центов за фунт, а то и больше.

— И когда вы начнете продавать?

— Начну, и безо всяких договоров... А что если нам на ферму заглянуть? Сразу бы и потолковали с Рантани?

— Идет.

Уилл включил вторую скорость, и тяжелый зеленый автомобиль с ревом въехал на проселок.

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

1

Война всегда начинается где-то в другом месте, а не у нас. В Салинасе твердо знали, что Соединенные Штаты — самая большая и самая могущественная страна

в мире. Каждый американец — прирожденный стрелок и в бою с десятком иностранцев справится, а то и с двумя десятками.

Экспедиция Першинга в Мексику и его стычки с Панчо Вильей ненадолго развеяли один из наших любимых мифов. Мы были убеждены, что мексиканцы и стрелять-то как следует не умеют и к тому же глупы и ленивы. Когда с границы вернулся изрядно потрепанный наш славный городской Третий эскадрон, ребята рассказывали, что байки насчет тупоголовых мексиканцев — брехня собачья. Стреляют они — дай тебе боже! И лошади у Вильи быстрее наших да и выносливее. Месячная подготовка — по два вечера в неделю — не сделала из городских пижонов закаленных бойцов. К тому же мексиканцы перехитрили Черного Джека Першинга, заманили его в западню. А уж когда к ним на помощь пришла дизентерия, наши вообще свету божьего невзвидели. Иные потом долго не могли прийти в себя, целый год поправлялись, а то и дольше.

Когда мы прослышали о немцах, мы почему-то позабыли про мексиканцев и снова оказались во власти самобольщения. Один американец двадцати германцев стоит. А раз так, надо потверже действовать, приструнить кайзера. Пусть только попробует вмешаться в нашу заморскую торговлю — а он взял и вмешался. Пусть только полезет на нас и вздумает топить наши пароходы — а он полез и стал топить их. Глупость и наглость с его стороны, и тем не менее ничего другого нам не оставалось, как дать ему отпор.

Сначала на войну пошли какие-то чужие, не знакомые нам люди. Мы же, то есть я сам, мои родные, наши знакомые, словно расселись на галерке и с любопытством глазели на захватывающее зрелище. Раз воюют другие, значит, и погибают другие. Матерь божья, до чего же мы были наивны! Мало-помалу в город начали приходить похоронки, то чей-то брат погиб, то сын. Так оно и вышло, что шесть с лишним тысяч миль, которые отделяли нашу землю от Европы, не спасли нас от побоища.

Тут уж было не до зрелищ. Что толку от того, что по улицам Салинаса в белых шапочках и белых же шелковых костюмчиках маршировали «Красавицы Свободы». Что толку, что наш дядя переписал свою заготовленную к Чет-

вертому июля речь и агитировал покупать облигации военного займа. Что толку, что в школе мы носили куртки и брюки цвета хаки и походные шляпы и занимались строевой подготовкой под руководством учителя физики. Господи Иисусе! Мартина Хопса убили, а у Берджесов, живших через улицу, их парня — видный такой, в него наша младшая сестренка с трех лет влюблена была — прямо на куски разорвало.

Нестройной колонной, шаркая ногами, шли по Главной улице к вокзалу нескладные юноши с чемоданчиками в руках. Впереди шагал городской оркестр, выдувая «Да здравствуют звезды и полосы». По тротуарам поспешали провожающие, родные, плакали матери, новобранцы конфузились, не смея поднять глаз, и музыка была похожа на похоронную. Кто бы мог подумать, что война доберется до нас!

Тем временем по салинасским бильярдным и барам поползли слухи. То один, то другой уверял, что имеет достовернейшие сведения оттуда, а нам эти сведения не сообщают. Наших, мол, посылают на фронт без винтовок. Вражеские субмарины топят наши транспорты, а правительство как воды в рот набрало. Немецкая армия вообще нашу превосходит, не видать нам победы, как своих ушей. Ихний кайзер, видать, голова. Уже подумывает, как бы в Америку вторгнуться. Думаете, Вильсон объявит об этом? Как бы не так! Каркали причем больше всего крикуны, которые раньше хвалились, что один американец двух десятков германцев стоит, если до дела дойдет, крикуны и каркали.

А по стране разъезжали группами британцы в своей чудной форме (вообще-то они фасонисто в ней выглядели) и скупали все, что плохо лежит, зато платили хорошо. Многие из них были инвалиды, но все равно в форме щеголяли. Помимо всего прочего, они покупали фасоль, потому что фасоль удобно перевозить, она не портится и прокормиться ею вполне можно. Теперь фасоль шла по двенадцати с половиной центов за фунт да и то поискать надо. Фермеры локти себе кусали из-за того, что полгода назад польстились на два паршивых цента сверх рыночной цены.

Другие времена — другие песни. Так было в Салинасской долине, так было по всей стране. Сначала мы распе-

вали о том, как сокрушим Гельголанд¹, вздернем кайзера и наши brave ребята расхлебают эту кровавую кашу, которую заварили проклятые европейцы. Теперь мы в одночасье запели по-иному: «Из Красного Креста сестрица стоит в грязи, где кровь струится, она в ничейной полосе растет, как роза алая». Или так: «Эй, барышня, послушайте, алё! Соедините с раем, дорогая, туда дружка я отправляю». Или так: «Когда вечером гаснут огни, в доме тихо под темным покровом, малютка с молитвенным взором шепчет: «Боженька, оборони, моего папу оборони». Наверное, мы были похожи на сильного, но неумелого подростка, которому в первой же драке расквасили нос. Ему больно и обидно, и хочется, чтобы все поскорее кончилось.

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

1

Однажды поздним летом Ли пришел домой со своей большой корзиной для покупок. После переезда в Салинас он стал одеваться, как старомодный консерватор. Выходя из дому, он непременно облачался в строгий черный костюм в рубчик. Сорочки он носил только белые, с жесткими стоячими воротничками и предпочитал черные, узкие, шнурком, галстуки, похожие на те, что в свое время были в моде у южных сенаторов. Шляпы у него были тоже черные, с прямыми полями и высокой круглой тульей, которую он никогда не приминал, как будто носил под ней косичку. Словом, одет Ли был всегда безупречно.

Как-то Адам мягко проехался насчет его нарядов. Ли осклабился.

— Что делать — приходится, — сказал он. — Только очень богатые люди могут позволить себе плохую одежду, как у вас. Бедные должны хорошо одеваться.

— Бедные! — фыркнул Адам. — Да мы скоро в долг у тебя брать будем.

— Не исключаю, — сказал Ли.

¹ Гельголанд — остров в Северном море, в годы первой мировой войны — опорный пункт военно-морского флота Германии.

В тот день Ли поставил тяжелую корзину на пол и объявил:

— Хочу попробовать приготовить жаркое в тыкве. Это китайское блюдо, для него нужна мускатная тыква. Меня двоюродный брат научил. Он в Китайском квартале живет, хлопушки и шутихи делает, еще карточный стол держит.

— Я не знал, что у тебя есть родственники,— заметил Адам.

— Китайцы — все родственники,— возразил Ли.— А те, которых Ли зовут — самые близкие. Правда, у моего брата другое имя — Сю Тен. Недавно приболел он, в деревню уехал и там готовить научился... Так вот, ставишь тыкву в котел, аккуратно срезаешь верхнюю часть, кладешь внутрь курицу, грибы, водяные орехи, лук-порей, имбиря совсем немножко. Потом закрываешь все отрезанной верхушкой и ставишь на медленный-медленный огонь, томиться должно двое суток. Вкусно, наверное.

Адам полулежал в кресле, закинув руки за голову, и улыбался, глядя в потолок.

— Вкусно, Ли, вкусно.

— Вы даже не слышали, что я говорил.

Адам сел прямо.

— Интересно получается,— сказал он.— Человек уверен, что знает своих детей, и вдруг обнаруживает, что ничего подобного.

— И что же ускользнуло от вашего родительского внимания? — улыбнулся Ли.

— Многое, Ли! — засмеялся Адам.— И представь себе, я узнал об этом совершенно случайно. Конечно, я заметил, что Арон этим летом мало бывает дома, но думал, играет где-нибудь.

— Играет? Да он уж несколько лет, как игры бросил.

— Правда? Но дело не в этом... Так вот, встречаю я сегодня мистера Килкенни — это их директор школьный, знаешь? И он очень удивился, что Арон ничего не сказал мне. Как ты думаешь, чем он был занят все это время?

— Понятия не имею,— ответил Ли.

— Он по всем предметам за последний класс сдал, чтобы выиграть год, и теперь хочет поступать в колледж. И мистер Килкенни считает, что он поступит. Как тебе это нравится?

— Замечательно,— сказал Ли.— Но зачем?
— Я же сказал — чтобы выиграть год!
— А зачем ему год-то выигрывать?
— Черт возьми, Ли! Честолюбие у него, неужели не понимаешь?

— Не понимаю,— невозмутимо ответил Ли.— И никогда не понимал.

— И подумать только — ни разу не обмолвился,— задумчиво произнес Адам.— Интересно, Кейл знает?

— Видно, Арон хочет всем нам сюрприз преподнести. Надо сделать вид, будто мы ничего не знаем.

— Пожалуй, ты прав... И знаешь, Ли? Я горжусь им, очень горжусь. Совсем другим человеком себя чувствуешь. Вот если бы у Кейла тоже честолюбие было.

— Может, оно у него есть,— сказал Ли.— Может, он тоже какой-нибудь сюрприз по секрету готовит.

— Все может быть. Кстати, он тоже все время где-то пропадает, почти не бывает дома — ты уверен, что это хорошо?

— Кейл ищет себя. По-моему, игра в прятки с самим собой — не такая уж редкая штука. Некоторые всю жизнь в нее играют и все без толку.

— Нет, только подумай — за целый год вперед сдать,— повторил Адам.— Обязательно надо какой-нибудь подарок ему приготовить.

— Золотые часы,— сказал Ли.

— А что? Немедленно куплю, закажу надпись выгравировать, и пусть лежат. Какую надпись сделать — как ты думаешь?

— Гравировщик вам подскажет...— сказал Ли.— Через двое суток вынимаешь курицу, выбираешь кости, а мясо снова внутрь кладешь.

— Какую курицу, о чем ты?

— О том, как приготовить жаркое в тыкве.

— Слушай, Ли, а у нас денег на колледж Арону хватит?

— Если не будем бросать их на ветер, хватит. И если он будет умерен в желаниях.

— Конечно, будет!

— Я тоже так о себе думал, однако же ошибся.— Ли с удовольствием оглядел рукав пиджака.

Пасторский дом при Епископальной церкви святого Павла состоял из множества помещений. Строили его для священников, имеющих большое семейство. Мистер Рольф был не женат, вел скромный образ жизни и за ненадобностью позапирал большинство помещений, однако когда Арону понадобилось место для занятий, он выделил ему одну большую комнату и вообще всячески помогал ему.

Мистер Рольф привязался к Арону. Ему нравилось его ангелоподобное лицо с гладкой кожей, его узкий таз и прямые длинные ноги. Он любил сидеть с ним в комнате и наблюдать, с каким упорством и сосредоточенностью тот овладевает знаниями. Мистер Рольф понимал, почему Арон предпочитает заниматься здесь: обстановка у него дома отнюдь не благоприятствовала углубленным, несуетным размышлениям. Пастор считал юношу своим творением, духовным сыном, своим даром Церкви. Он, как умел, поддерживал ученика, преодолевающего муки целомудрия, и горячо надеялся, что приведет его в безмятежные воды безбрачия.

Наставник и ученик часто вели долгие доверительные беседы.

— Я знаю, что многие упрекают меня,— говорил мистер Рольф,— за то, что я верую в каноны более высокой Церкви, чем наша. Никто не убедит меня, что покаяние менее важное таинство, нежели причащение. Помяни мое слово: я попытаюсь ввести исповедь в наши обряды, хотя, разумеется, постепенно и осторожно.

— Я тоже буду принимать исповедь, когда стану священником.

— Только помни: это требует величайшей деликатности,— предостерегал мистер Рольф.

— Хорошо, если бы в нашем приходе... я ведь имею право сказать «наш приход», правда?.. Хорошо, если бы у нас было что-то вроде монастыря. Ну, место для уединения, как у августинцев и францисканцев. Так иногда хочется затвориться и очиститься от мирской грязи.

— Я понимаю тебя,— серьезно говорил мистер Рольф.— Однако не вполне с тобой согласен. Вряд ли Господу нашему Иисусу Христу угодно было, чтобы слуги Его не служили одновременно и пастве своей. Вспомни, как Он

учил, чтобы мы несли слово Его, помогали больным и бедным и даже сходили в грязь и мерзость, дабы поднять падшего и очистить грешника от скверны. Мы всегда должны держать перед собой Его пример.

Глаза у мистера Рольфа загорелись, голос сделался глубоким, зычным, как бывало, когда он вещал с амвона.

— Может быть, мне не следовало говорить тебе это. Во всяком случае, надеюсь, что ты не попрекнешь меня гордыней. Единственно о славе Всевышнего тшусь. Итак, слушай... Вот уже месяц, как к вечерне приходит одна женщина. Тебе с хоров ее вряд ли видно. Она всегда в последнем ряду садится, по левую сторону от прохода. Погоди, ты тоже должен ее видеть, она ближе к краю ряда сидит. Да-да, с твоего места тоже видно. Лицо ее всегда закрыто вуалью, и она уходит сразу же, как кончается служба.

— Кто она такая? — спросил Арон.

— Думаю, тебе пора знать такие вещи... Мне пришлось навести справки об этой женщине. Она... Ты ни за что не догадаешься. Она... как бы это сказать... хозяйка публичного дома.

— У нас в Салинасе?

— Представь себе.— Мистер Рольф подался вперед.— Арон, я вижу, у тебя она вызывает отвращение. Попробуй превозмочь себя. Вспомни Господа нашего и Марию Магдалину. Без гордыни тебе говорю: я был бы счастлив наставить ее на путь истинный.

— Зачем она ходит в церковь? — резко спросил Арон.

— Наверное, за тем, что мы можем даровать ей, а именно — спасение. Задача необыкновенно трудная: такие люди, как она, — они замкнутые, осторожные, надо щадить их самолюбие. Но я уже представляю, как оно будет. В мою дверь раздастся стук, и она умоляет впустить ее. И тогда, Арон, мне придется испросить у Господа мудрости и терпения. Поверь, мой мальчик, когда такое случается, когда заблудшая душа жаждет света вышнего, это и есть самое драгоценное и счастливое, что выпадает на долю священнослужителя.— Мистер Рольф едва унимал волнение.— Да ниспошлет Господь мне удачу!

Адам Траск смотрел на военные действия за океаном сквозь призму смутных воспоминаний о стычках с индейцами. Никто толком не знал, как она идет, эта большая, захватившая весь мир война. Ли вчитывался в книги по европейской истории, из обрывков прошлого старался составить картину будущего.

Умерла Лиза Гамильтон — умерла тихо, с едва заметной мученической улыбкой, и когда с лица сошла краска, скулы ее неприятно заострились.

Адам с нетерпением ждал, когда Арон объявит, что сдал выпускные экзамены. В верхнем ящике комода, под стопкой платков лежали тяжелые золотые часы. Он не забывал заводить их и проверял ход по своим часам.

Ли тоже готовился к торжеству. Вечером, после объявления итогов экзаменов, он должен был зажарить индейку и испечь пирог.

— Как насчет шампанского, Ли? — спросил Адам. — Праздновать так праздновать!

— Прекрасная мысль, — ответил Ли. — Адам, вы когда-нибудь читали фон Клаузевица?

— А кто это такой?

— Не очень утешительные вещи пишет, — сказал Ли. — Шампанского — одну бутылку?

— Одной, пожалуй, хватит. Просто поздравить мальчика. Чтобы торжественно было.

И вот однажды Арон пришел домой и спросил Ли:

— Где отец?

— Бреется.

— Я не буду обедать дома, — объявил Арон.

Он открыл дверь в ванную и сказал отражению с намыленным лицом в зеркале:

— Мистер Рольф пригласил меня на обед.

Адам отер бритву о бумажную салфетку.

— Это замечательно.

— Я хотел принять душ.

— Через минуту я закончу, — сказал Адам.

Кейл и Адам проводили Арона глазами, когда тот прошел через гостиную и, попрощавшись, скрылся за дверью.

— Моим одеколоном надушился, — сказал Кейл. — По запаху чую.

— Видно, важный обед,— заметил Адам.

— Отметить хочет, это понятно. Зубрил дай бог.

— Отметить? Что отметить?

— Все экзамены сдал. Разве он тебе не говорил?

— Ах, да! Конечно, говорил. Молодец, мы можем гордиться им. Подарю-ка я ему золотые часы.

— Неправда, ничего он тебе не говорил! — выкрикнул Кейл.

— Да нет же, правда, говорил — сегодня утром.

— Утром он еще ничего не знал.— Кейл встал и вышел из дому.

Сгущались сумерки. Он быстро шагал по Центральному проспекту, мимо городского парка, мимо особняка Джексона Смарта, туда, где кончались уличные фонари и проспект переходил в дорогу, которая потом огибала ферму Толлота и шла дальше.

Часов в десять вечера Ли вышел на улицу, чтобы опустить письмо. На крыльце, на нижней ступеньке сидел Кейл.

— Где ты был?

— Гулял.

— А где Арон?

— Откуда я знаю.

— Кажется, он на что-то обиделся. Не хочешь со мной на почту?

— Не-а.

— Чего ты тут сидишь?

— Арона жду, хочу морду ему набить.

— Не стоит.

— Почему это — не стоит?

— Не сладишь ты с ним. Он же из тебя дух вышибет.

— Пусть вышибет. Сукин он сын!

— Немедленно перестань выражаться!

Кейл рассмеялся.

— Айда лучше на почту!

— Ты фон Клаузевица читал?

— Даже не слышал о таком.

Когда Арон вернулся домой, его, сидя на крыльце, ждал Ли.

— Скажи спасибо, если бы не я, вадали бы тебе жару. Иди садись.

— Я спать хочу.

— А ну, садись! Потолковать надо. Ты почему отцу не сказал, что сдал экзамен?

— Он бы не понял.

— Вольно ты хвост распускаешь, недолго и задницу застудить.

— Не нравится мне, когда так выражаются.

— Вот и хорошо, что не нравится. Я ведь специально грубости говорю, чтобы тебе стыдно стало... Арон, отец так ждал этого дня.

— Откуда он узнал?

— Ты сам должен был ему сказать.

— Не твое это дело.

— Ну вот что, ты сейчас пойдешь, разбудишь его и все расскажешь. Хотя я не думаю, что он спит. Иди!

— Я не пойду.

— Арон,— вкрадчиво проговорил Ли,— тебе когда-нибудь приходилось драться с коротышкой, с малявкой, который тебе едва до плеча достает?

— Что ты придумываешь?

— Самая некрасивая вещь на свете. Представь, лезет такой на тебя с кулаками, никак не отцепится, и ты хочешь не хочешь вынужден дать сдачи. Но от этого еще хуже. Стукнув его, ты попадаешь в настоящую беду.

— Не пойму, о чем это ты?

— Арон, если ты немедленно не сделаешь то, что я велю, мы подеремся. Вот смеху-то будет!

Арон хотел обойти Ли, но тот, сжав маленькие кулачки, преградил ему дорогу. Поза, в какой стоял Ли, и весь его вид, были настолько комичны, что он и сам засмеялся.

— Я совсем не умею драться, но попробую.

Арон недовольно отступил и чуть погодя сел на ступеньку крыльца.

— Ну и слава богу! — сказал отдуваясь Ли.— А то бы черт-те что вышло... Арон, почему ты не хочешь сказать, что с тобой? Ты же всегда со мной делился.

Вдруг Арона как прорвало.

— Уеду я отсюда! Противный, мерзкий город.

— Напрасно ты так. Город как город.

— Я здесь никому не нужен. Зачем мы вообще переехали сюда? Не знаю я, что со мной, не знаю! Уеду я.— Арон чуть не плакал.

Ли полуобнял его за широченные плечи.

— Мальчик, ты просто вырастешь,— сказал он негромко.— Наверно, в этом все дело. Иногда я думаю, что именно в таком возрасте жизнь преподносит нам самые тяжелые испытания. Тогда человек целиком уходит в себя, с ужасом заглядывает себе в душу. Но самое страшное даже не в этом. Человеку кажется, что другие видят его насквозь. И под этим посторонним взглядом все плохое в нас делается чернее черного, а хорошее — белее белого. Но это проходит, Арон. И у тебя пройдет, только потерпи немножко. Понимаю, это слабое утешение. Может быть, ты не согласен со мной, но я не знаю, чем еще я могу тебе помочь. Постарайся понять одну простую вещь: что бы ни происходило, все не так страшно и не так радостно, как кажется. А сейчас иди спать, вот тебе мой совет, а утром встань пораньше и расскажи отцу о своих успехах. Пусть он порадуется. Он очень одинок, и ему хуже, чем тебе. Ведь перед тобой будущее, о нем и помечтать можно. Сделай душевную зарядку, говорил в таких случаях Сэм Гамильтон. Задумай что-нибудь хорошее, глядишь — и исполнится. Попробуй, не пожалеешь. Ну, а сейчас иди спать. Мне еще пирог испечь надо... к завтраку. Да, вот еще что: там отец тебе на подушке подарок оставил.

ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

1

Абра по-настоящему сблизилась с Трасками лишь после того, как Арон уехал учиться в колледж. До этого они были заняты только друг другом. После отъезда Арона Абра привязалась к его семье и поняла, что может целиком положиться на Адама, а Ли вообще полюбила больше, чем собственного отца.

С Кейлом дело обстояло сложнее. Временами он раздражал ее, временами огорчал, временами вызывал любопытство. Он словно бы находился в состоянии непрекращающегося соперничества с ней. Абра не знала, как он к ней относится, и потому держалась с ним настороженно. Бывая у Трасков, она чувствовала себя гораздо свободнее, когда Кейла не было дома. И, напротив, ей делалось не по

себе, когда он, сидя в сторонке, смотрел на нее непонятым, оценивающим взглядом, о чем-то думая, и быстро отворачивался, когда она случайно ловила его взгляд.

Абра была стройная крепкая девушка с высокой грудью, готовая стать женщиной и терпеливо дожидаящаяся таинства брака. Она взяла за правило после школы приходить домой к Траскам и подолгу читала Ли целые страницы из писем, которые каждый божий день присылал ей Арон.

Арону было одиноко в Станфорде. Письма его были полны тоски и желания увидаться с Аброй. Когда они были вместе, он воспринимал их близость как нечто само собой разумеющееся, но теперь, уехав за девяносто миль, он отгородился ото всех и слал ей страстные любовные послания. Арон занимался, ел, спал и писал Абре, это составляло всю его жизнь.

Абра приходила днем после школы и помогала Ли чистить на кухне фасоль или лущила горох. Иногда она варила сливочные тянучки и часто оставалась у Трасков обедать — домой ее не тянуло. С Ли она могла говорить о чем угодно. То немногое, чем она делилась с матерью и отцом, казалось теперь мелким, неинтересным и как бы даже ненастоящим. Ли был совсем не такой, как ее родители. Ей почему-то хотелось говорить с Ли о самом важном, настоящем, даже если она не была уверена, что важно, а что — нет.

Ли сидел в таких случаях неподвижно, едва заметно улыбался, и его тонкие хрупкие пальцы словно летали, делая какую-нибудь работу. Абра не замечала, что говорит только о себе самой. Ли слушал ее, но мысли его где-то бродили, рыскали взад и вперед, как легавая на охоте, временами он кивал и что-то мычал себе под нос.

Абра нравилась Ли, он угадывал в ней силу, чистоту и отзывчивость. Ее открытое лицо с крупными чертами могло со временем сделаться либо отталкивающим, либо необыкновенно красивым. Слушая Абру и думая о своем, Ли вспоминал круглые гладкие личики кантонок, женщин его расы. Даже худенькие были круглолицы. Они должны были бы нравиться Ли, потому что обычно люди считают красивым то, что похоже на них самих, но кантонки не нравились Ли. Когда он думал о красоте китайцев, перед его внутренним взором вставали свирепые рожи маньчжуров, сурового воинственного народа, который за многие века приучился властвовать над другими.

— Может, он таким и был все время, я не знаю,— говорила Абра.— Об отце он никогда не любил распространяться. Но после того, как мистер Траск... ну, после этой истории с салатом Арон особенно переживает.

— В каком смысле? — спросил Ли.

— Над ним смеяться стали.

Ли вытаращил глаза.

— Над ним? Он-то тут при чем?

— Ни при чем, а все равно переживает. Хотите знать, о чем я думаю?

— Конечно, хочу.

— Пока это только так, догадка, я еще не до конца продумала. Одним словом, мне кажется, что он считает себя... как бы это сказать... обделенным, что ли. Или даже неполноценным, потому что у него нет матери.

Ли широко раскрыл глаза, но тут же снова приспустил веки и кивнул.

— Понимаю. Как ты думаешь, с Кейлом такая же история?

— С Кейлом? Ну нет!

— Почему же так?

— Я еще не разобралась. Может, некоторым нужно больше, чем другим, они сильнее любят что-нибудь или, наоборот, сильнее ненавидят. Вот папа мой — он репу не выносит. Не любит и все, просто ненавидит. Если мама репу купит, прямо из себя выходит. Один раз она... ну, в общем, рассердилась и приготовила из репы пюре в духовке. Перцу туда положила, сверху тертым сыром обсыпала и хорошенько запекла, сверху корочка получилась. Папа съел половину, потом спрашивает, что это, мол, такое. А мама возьми да и скажи: репа это! Он тогда тарелку — об пол, сам из-за стола выскочил, дверью хлопнул. Думаю, до сих пор не может простить ей.

— Ну и зря не простил,— фыркнул Ли,— раз она правду сказала. Представь, если бы она сказала, что это не репа, а что-нибудь другое. Он бы съел, вдруг еще попросил, а потом обман случайно открылся. Тут и до смертоубийства недалеко.

— Очень может быть... Так вот, по-моему, Арон больше переживает, что у него нет матери, чем Кейл. И во всем винит отца.

— Почему ты так думаешь?

— Не знаю, так мне кажется.

— Ты со знакомыми много времени проводишь?

— А что, разве нельзя?

— Ну что ты, конечно, можно.

— Тянучек сделать?

— Да нет, пока не надо. Там еще есть.

— Могу еще что-нибудь приготовить.

— Мне сегодня хороший кусок мяса попался — огузок. Если хочешь, вываляй его в муке. Будешь обедать с нами?

— Спасибо, но меня на день рождения пригласили. Как вы думаете, он на самом деле священником станет?

— Как тебе сказать. Может, это одно мечтание.

— Хорошо бы не стал,— сказала Абра и тут же зажала рот рукой, поразившись тому, как это у нее вырвалось. Ли встал с места и, вытащив кухонную доску, положил на нее кровоточащий кусок мяса и рядом — сито.

— Бей тупым концом ножа,— сказал он.

— Я знаю.— Она втайне надеялась, что Ли пропустил ее замечание мимо ушей. Но он спросил:

— И почему же ты не хочешь, чтобы он стал священником?

— Зря я это сказала.

— Ты имеешь право говорить, что хочешь. И не нужно никому ничего объяснять.

Ли сел на место, а Абра обсыпала мясо мукой и принялась колотить его ножом: тук-тук-тук.

— Зря сказала...— Тук-тук.

Ли отвернулся, чтобы дать ей возможность справиться со смущением.

— Все время в крайности кидается,— продолжала Абра, не переставая колотить мясо.— Церковь — значит, обязательно высокая. Священник — значит, не должен жениться.

— По последнему письму это не чувствуется,— вставил Ли.

— По письму не чувствуется, но говорить он говорил.— Стук ножа прекратился. Все юное лицо ее выражало растерянность и печаль.— Знаете, Ли, я ему не пара.

— Что значит — не пара?

— Правда, я не прикидываюсь. Он меня совсем не замечает. Придумал себе идеал и дал ему мою внешность. Но я ведь не такая, я обыкновенная.

— А какая она, идеальная?

— Чистая, как стеклышко. Сплошная добродетель. А у меня полно недостатков.

— У кого ж их нет?

— А меня он совсем не знает, понимаете, и не хочет узнать. Ему идеал нужен, идеал... ангел белоснежный.

Ли растирал сухарь.

— Но он же тебе нравится? Конечно, ты еще совсем молоденькая, но это, по-моему, не помеха.

— Да, он мне нравится, и я хочу стать его женой. Но ведь мне хочется, чтобы я тоже ему нравилась, правда? А как я могу ему нравиться, если он обо мне ничего не знает? Раньше думала, знает, а сейчас вижу — ничего подобного.

— Может быть, ему просто трудно сейчас. Но это пройдет. А ты девочка умная, очень умная. Тебе трудно до идеальной возлюбленной дотянуться? То есть, если хочешь остаться самой собой.

— Я все время боюсь: вдруг он заметит во мне что-нибудь такое, чего в ней не должно быть. Я вот, например, злюсь иногда, или от меня будет пахнуть. И тогда он разочаруется.

— Даст бог, не разочаруется,— сказал Ли.— Да, тяжелая это задачка — быть одновременно Пречистой Девой, богиней непорочной и живой женщиной. И от людей на самом деле иногда пахнет.

Абра подалась было к столу, за которым сидел Ли.

— Ли, вот если бы...

— Осторожнее, у тебя мука на пол сыплется,— сказал тот.— Что — «если бы»?

— Я вот о чем подумала... Арон ведь без матери рос, правильно? Вот он и вообразил, что она была самая лучшая женщина на свете.

— Не исключено. И потом ты решила, что он перенес все ее драгоценные качества на тебя, верно? — Абра удивленно смотрела на него, ее пальцы скользили вверх и вниз по острию ножа, словно она пробовала, хорошо ли он наточен.— А теперь ты думаешь: вот если стряхнуть с себя все это.

— Да.

— А если ты ему разонравишься?

— Будь что будет,— твердо сказала она.— Лучше оставаться самой собой.

— В жизни не встречал такого бессовестного человека, как я. Вечно сую нос в чужие дела, а у самого ни на что нет готового ответа,— сказал Ли.— Ты будешь отбивать мясо или нет? А то я сам отобью.

Абра снова принялась за работу.

— Смешно, правда? Еще школу не окончила, а о таких серьезных вещах рассуждаю.

— Правильно делаешь, иначе и быть не может. Смеяться потом будешь. Смех — это зрелость, так же, как зубы мудрости. А смеяться над собой научаешься только во время сумасшедшего бега наперегонки со смертью, да и то не всегда успеваешь.

Нож в руках у Абры застучал быстрее, беспокойнее, с перебоями. Ли задумчиво двигал сухие фасолины по столу, складывая из них прямые линии, углы, круги.

Стук ножа вдруг прекратился.

— Скажите, миссис Траск — она жива?

На какой-то миг рука Ли застыла в воздухе, потом медленно опустилась и подвинула фасолину, сделав из буквы «Б» другую, «В». Он чувствовал на себе ее неотрывный взгляд. Ему казалось, что он видит на ее лице ужас от собственной дерзости. Мысли его метались, как крыса, попавшая в западню. Ничего путного в голову не приходило. Он медленно обернулся и посмотрел на Абру: выражение лица у нее было именно такое, каким оно представилось ему.

— Сколько мы с тобой беседовали,— начал он ровным голосом,— но обо мне не говорили ни разу.— Он застенчиво улыбнулся.— Поэтому, Абра, я тебе вот что скажу. Я слуга, я старый человек да еще китаец. Все это ты сама знаешь. К тому же я измучен до смерти и вдобавок трус.

— Ничего подобного...— начала было Абра.

— Молчи! — перебил он ее.— Да, я трус. Боюсь в человеческую душу лезть.

— Я что-то не совсем понимаю.

— Абра, скажи, твой отец еще что-нибудь не любит — кроме репы?

Лицо ее сделалось упрямым.

— Я серьезно спрашиваю, а вы...

— Я ничего не слышал, Абра,— сказал он тихо и как бы даже просительно.— Ты у меня ничего не спрашивала.

— Вы, наверно, думаете, что я слишком мала...— начала та, но он снова перебил ее.

— В свое время я работал у одной женщины. Ей было тридцать пять лет, но она упорно не хотела набираться ума-разума, не хотела ничему учиться да и за внешностью своей не следила. Если бы она была ребенком, годков этак шести, родители бы в отчаянье от нее пришли, и все. Но она была взрослый человек, у нее деньги, власть, от нее зависели судьбы других людей... Нет, Абра, возраст тут ни при чем. Я бы сказал тебе, если бы знал, что сказать.

Девушка улыбнулась.

— А я ведь догадливая. Попробовать?

— Упаси тебя Господь, не надо,— сказал Ли.

— Значит, вы не хотите, чтобы я разобралась, что к чему?

— Ты вольна делать, что угодно, только не втягивай, пожалуйста, меня. Да у самого порядочного человека есть свои слабости и недостатки, и грехов столько, что колени подгибаются. У меня тоже грехов хватает. Может, они не какие-нибудь особенные, но дай мне сил хоть с ними-то справиться. Так что прости меня, пожалуйста.

Абра протянула руку и обсыпанными мукой пальцами дотронулась до его кисти. Кожа у него была сухая, желтая, морщинистая. Он молча смотрел на белые пятна, оставленные ее прикосновением.

— Папа мальчика хотел,— сказала Абра.— Думаю, он не только репу терпеть не может, но и девчонок. Кого встретит, сразу начинает рассказывать, как дал мне это дурацкое имя. «Другого звал я, но явилась Абра».

— Ты очень хорошая девочка,— улыбнулся Ли.— Приходи завтра обедать, я соображу что-нибудь из репы.

— Она жива? — тихо спросила Абра.

— Жива,— ответил Ли.

Стукнула входная дверь, и в кухню вошел Кейл.

— Здорово, Абра! Ли, отец дома?

— Нет еще. Чего ты так сияешь?

Кейл подал ему чек.

— Вот, это тебе.

Ли разглядывал бумажку.

— Мне не нужны проценты.

— С процентами вернее. Я, может, их в долг у тебя возьму.

— И как же ты их заработал? Скажешь?

— Не-а, пока не скажу. Идея у меня есть...— он метнул взгляд на Абра.

— Мне пора домой,— заспешила та.

— Ей тоже полезно знать,— сказал Кейл.— Я одну штуку к Дню благодарения приготовил. Абра, наверное, к нам на обед придет, и Арон на каникулы приедет.

— Какую штуку? — спросила Абра.

— Отцу подарок сделаю.

— А что именно? — снова поинтересовалась она.

— Потом узнаешь.

— А Ли знает?

— Знает, но он — могила.

— Давно я тебя таким веселым не видела,— сказала Абра.— И вообще, кажется, никогда не видела веселым.— В ней поднялось теплое чувство к нему.

Когда Абра ушла, Кейл уселся и сказал:

— Вот только не знаю, когда лучше вручить — до того, как за стол сядем, или после.

— После,— посоветовал Ли.— Ты на самом деле раздобыл денег?

— Пятнадцать тысяч долларов.

— Честно?

— То есть, ты хочешь знать, не украл ли я их?

— Именно.

— Честно,— сказал Кейл.— Помнишь, мы купили шампанского, когда Арон сдал экзамены? И на праздник обязательно купим, столовую украсим, ну и вообще... Абра нам поможет.

— Ты думаешь, отец захочет взять деньги?

— А почему бы нет?

— Посмотрим, может, ты и прав,— сказал Ли.— А как у тебя в школе дела?

— Не очень,— признался Кейл.— Ничего, после праздника нагоню.

2

На другой день после уроков Абра нагнала Кейла, идущего домой.

— Привет, Абра,— сказал он.— Тянучки у тебя вкусные получаются.

— Последний раз жестковатые вышли. Надо мягче их делать.

— Ты прямо-таки заворожила нашего Ли. Как это тебе удалось?

— Просто он мне симпатичен,— сказала она и добавила: — Слушай, Кейл, я хочу спросить тебя об одной вещи.

— Спрашивай.

— Что происходит с Ароном?

— Я что-то не понимаю.

— Мне кажется, он только о себе и думает.

— Открыла Америку! Ты что, поссорилась с ним?

— Нарочно хотела поссориться, когда он начал плести, что хочет церковником стать, не женится и всякое такое. А он не ссорится.

— Не женится? Не может быть.

— Правда, теперь он завалил меня любовными письмами, вот только адресованы они не мне.

— То есть как это не тебе? А кому же еще?

— Вроде как самому себе.

— Гляди, я ведь знаю, что вы под ивой уединялись.

— Правда? — сказала она, ничуть не смутившись.

— Здорово ты, видать, на него разозлилась.

— Да нет, я не злилась. Просто он... как бы это сказать... из рук ускользает. Не пойму я его.

— Потерпи,— сказал Кейл.— Может, у него кризис какой.

— Я все думаю, правильно ли я себя веду. А может, я просто фантазирую — как ты считаешь?

— Я-то откуда знаю?

— Кейл, это правда, что ты гуляешь по ночам? И даже ходишь в... в нехорошие дома?

— Правда. Это тебе Арон сказал?

— Нет, не Арон. А зачем ты туда ходишь?

Он так же спокойно шел рядом с ней и молчал.

— Скажи,— настаивала она.

— Тебе-то что?

— Не потому, что ты в самом себе плохое чувствуешь?

— А что это значит — «плохое»?

— Я и сама не ах какая хорошая.

— Совсем спятила,— сказал Кейл.— Арон из тебя эту дурь вышибет.

— Ты так думаешь?

— Еще как вышибет,— убежденно повторил Кейл.— А куда ему деться?

ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

1

Джо Валери жил, по его собственным словам, не высовываясь, но настороже, зорко приглядываясь и прислушиваясь к тому, что происходит вокруг. Обиды его копились постепенно, начиная с обиды на мать, не обращавшую на него ни малейшего внимания, и на отца, который попеременно то порол его, то сюсюкал над ним. От обиды на родителей полшага до обозленности — на учителей, приучающих его к порядку, на полицейских, которые гонялись за ним, на священников, наставлявших на путь истинный. Еще до того, как Джо первый раз предстал перед мировым судьей, из обид и озлобленности родилась у него жгучая ненависть к целому свету.

Одной ненавистью не проживешь. Ей нужна подкормка, стимулятор роста в виде любви. Поэтому Джо Валери с самого начала нежно любил и лелеял Джо Валери. Он заботился о нем, опекал его и утешал, потакал ему и льстил. Он ограждал и защищал его от враждебного мира. Постепенно Джо сделался невосприимчивым к несправедливости и злу. Если Джо попадал в беду, то это значило, что люди плетут против него гнусные интриги. Если же Джо сам наносил удар, то это был акт мщения: получили-таки свое, сучьи дети. Джо как никто нежил и холил себялюбие и разработал стройный пригодный только ему одному свод правил, который выглядел примерно так:

1. Никому ни в жисть не верь. Любой прохвост только и ждет, чтобы достать тебя.

2. Держи язык за зубами. И вообще не высовывайся.

3. Востри уши. Ежели кто дал маху, хватай свое и молчи в тряпочку.

4. Кругом — одни подонки. Ты хоть что вытворишь, у них свой номер наготове.

5. Не суетись. Кривая дорожка — самая верная.

6. Не верь бабам. Ни единой.

7. Молись монете. Денежки каждому позарез. На них кого хошь купишь.

Были у него и другие правила, но они лишь дополняли и уточняли основной канон. Правила помогали — и неплохо, а поскольку других Джо не знал, то и сравнивать было

не с чем. Он давно понял: первое дело — надо шевелить извилинами, и считал, что сам он сообразит. Когда удавалось что-нибудь повернуть, значит, он хорошо обмозговал, если не удавалось — значит, просто не повезло. Не то чтобы удача так и перла, однако жил он без особых забот и тревожений. Кейт держала его, так как знала: он для нее что хочешь сделает — за деньги или из страха. Она не питала иллюзий на его счет. В ее деле такой, как Джо,— находка.

Как только Джо получил место у Кейт, он начал выискивать в ней слабинку, на которой можно сыграть — тщеславие и жадность, чревоугодие и сластолюбие, стыд или страх за содеянное, слабые нервы... У какой бабы их нет? Каково же было его удивление, когда он не нашел в ней ни одной из этих слабостей, хотя, может, они и были. Эта дамочка соображала и вела себя как настоящий мужик. Да еще почище мужика была — круче, хитрее, умнее. Когда у него пара промашек вышла, она ему такую выволочку учинила — не дай бог никому. Джо начал бояться ее и потому зауважал еще сильнее. А когда Кейт пронюхала про некоторые его затеи, то он окончательно понял, что теперь ничто и никогда не сойдет ему с рук. Кейт сделала из него раба — точно так же, как раньше делались рабынями все его женщины. Хозяйка кормила и одевала его, заставляла работать и наказывала.

В конце концов Джо признал, что Кейт более хитроумна, чем он сам, а потом он совсем уверился, что хитроумнее ее вообще на свете нет. В его глазах она обладала двумя величайшими талантами: голова на плечах и неизменное везение. Чего еще человеку надо? Он был рад-радехонек делать за нее грязную работу, потому что отказаться боялся. Не-е, такая маху не даст, говорил Джо. И ежели ты с ей заодно, она тебя откуда хошь вытащит.

Сначала Джо только в уме так прикидывал, потом это вошло в привычку. Он потратил всего один день, чтобы Этель выставили из округа. Где его это дело, а ее, а она баба сообразительная.

2

Когда руки особенно донимали Кейт, она почти не спала. Она чуть ли не физически чувствовала, как распухают и твердеют суставы, и старалась думать о постороннем,

пусть даже неприятном, лишь бы только пересилить боль и забыть о своих скрюченных пальцах. Иногда она представляла себе какую-нибудь комнату, куда давно не заходила, пытаясь не пропустить ни одной вещи. Иногда смотрела на потолок, выстраивала на нем колонки цифр и складывала их. Иногда погружалась в воспоминания. Перед ее мысленным взором возникало лицо мистера Эдвардса, его костюм, слово, выбитое на металлической застежке его помочей. Тогда она не замечала его, однако сейчас оно явно припомнилось — «Эксцельсиор».

По ночам она часто думала о Фей, вспоминала ее глаза, волосы, говор, ее беспокойные руки и небольшое вздутие у ногтя на левом большом пальце — шрамик от давнего пореза. Кейт пыталась разобраться в своем отношении к ней. Любила она ее или ненавидела? Может, жалела? Раскаивается или нет, что отравила благодетельницу? Мысли извивались, копошились, как черви. Кейт поняла, что ничего не испытывает к Фей — ни симпатии, ни неприязни, и воспоминания о ней не вызывают у нее решительно никаких чувств. Правда, когда та умирала, Кейт раздражали ее бормотанье и тяжелый запах, и ей хотелось поскорее разделаться с ней раз и навсегда.

Кейт вспоминала Фей в гробу, обитом розовой материей, — белое платье, румяна и пудра скрывают дряблую кожу, на лице застывшая парфюмерная улыбка.

Кто-то позади нее шепнул: «Гляди-ка, я ее такой сто лет не видала!» «Может, и мне попробовать это средство?» — заметила другая, и обе захихикали. Кажется, это были Этель и Трикси. Кейт вспомнила, как она сама внутренне усмехнулась: и впрямь, мертвая потаскуха ничем не отличается от порядочной женщины.

Да, первое замечание скорее всего отпустила Этель. Этель вообще часто являлась в ее тревожные ночные раздумья, каждый раз принося с собой сжимающий душу страх. Дура набитая, поганая шлюха, сует нос куда не надо, старая паршивка. Однако здравый смысл то и дело подсказывал: «Погоди, погоди! Почему паршивка? Не потому ли, что ты сама неверный шаг сделала? Зачем ты ее прогнала и из округа выперла? Надо было спокойно все взвесить и оставить ее тут...»

Кейт хотелось узнать, где она сейчас, Этель. Что если обратиться в какую-нибудь сыскную контору... хотя бы ра-

узнать, куда она подевалась? Да, но Этель обязательно расскажет про ту ночь, да еще стекляшки предъявит. Вот и получится, что уже двое пронюхают о том, что произошло. С другой стороны, какая разница? И так, небось, болтает, стоит только пивом накачаться. Факт, болтает — только кто ей поверит, потаскухе-то упившейся? А сыщик из конторы... Нет, никаких контор.

Много часов провела Кейт в обществе Этель. Интересно, судья догадался, что иск подстроен? Слишком уж ладно все сходилось. Как назло, ровно сотню ей отвалила. Очень уж бросается в глаза. И как смотрит на это дело шериф? Джо сказал, что ее ссадили как раз за административной чертой, на территории округа Санта-Крус. Чего она наговорила, пока помощник шерифа вез ее туда? До смерти девка ленива, могла остановиться прямо в Уотсонвилле. От того места, где ее высадили, до Пахаро рукой подать, а оттуда на Уотсонвилль железная дорога идет, по мосту через реку Пахаро. Железнодорожные рабочие из одного округа в другой то и дело катаются, все больше мексиканцы, правда, есть и индусы. Дурехе Этель всякое может взбрести в голову, к примеру, додумается с путейскими путаться. Вот смеху-то, если она на самом деле в Уотсонвилле обосновалась! Оттуда до Салинаса всего ничего, миль тридцать. Она в любой момент может даже обратно прискакать, если вздумает с кем-нибудь повидаться. Наверное, так и делает. Не исключено, что как раз сейчас она здесь, в городе. Полицейские вряд ли углядят за ней — невелика птица! А что если послать в Уотсонвилль Джо — пусть посмотрит, там ли она? Могла ведь и в Санта-Крус податься. Пускай Джо и туда заглянет, на это много времени не уйдет. Джо где угодно любую гулящую девку за несколько часов разыщет, он такой. А уж когда найдет, то и заманить ее обратно нетрудно. Дура она. Можно и так сделать: он Этель разыщет, а она сама к ней съездит. Придет к ней, дверь запрет, а снаружи табличку повесит: «Прошу не беспокоить». Поедет в Уотсонвилль, провернет что нужно и назад. На таксомоторе опасно, автобусом надо, вечерним рейсом, когда по сторонам никому глазеть неохота. Народ башмаки скинет, пальто под голову и дрыхнет себе. Внезапно Кейт поняла, что боится ехать в Уотсонвилль. Можно, конечно, себя заставить. Ладно, посмотрим. Как это она раньше не подумала послать Джо.

Это же замечательно! Такие делишки ему в самый раз. Дубина и подонок, хотя умником себя считает. Такого вокруг пальца обвести легче легкого. А вот Этель глупа как пробка, с ней труднее.

У Кейт все больше крючило пальцы и мучительнее грызла тревога, и ей все чаще приходилось прибегать к услугам Джо Валери — главного ее помощника, посредника и палача. В глубине души она всегда побаивалась своих девочек — не потому, что она доверяла им еще меньше, чем Джо, а потому, что под покровом осторожности в них бурлило недовольство своим положением. В любой момент вопреки инстинкту самосохранения это недовольство могло вырваться наружу и погубить не только их самих, но и окружающих. Раньше Кейт умело предупреждала эту опасность, однако отложение солей в суставах и растущая тревога заставляли ее искать помощи у других, прежде всего у Джо. Опыт подсказывал, что у мужчины нервы крепче, себе на погибель он ничего не сделает, не то что женщины ее профессии.

Кейт целиком положилась на Джо, потому что в ее бумагах хранился полицейский протокол касательно некоего Джозефа Венуты, который, будучи осужден на пять лет за ограбление, на четвертом году заключения в Сан-Квентине сбежал из тюремной команды, работавшей на прокладке дорог. Она ни полсловом не обмолвилась Джо про этот документ, однако же справедливо полагала, что он быстро приведет беднягу в чувство, если тот паче чаяния взбрыкнет.

Каждое утро Джо подавал ей на подносе завтрак: зеленый китайский чай, сливки и несколько ломтиков поджаренного хлеба. Поставив поднос на столик у кровати, он докладывал новости и получал распоряжения на день. Джо отдавал себе отчет, что хозяйка теперь все больше и больше зависит от него. И он спокойно и неторопливо изыскивал возможности и способы целиком прибрать заведение к рукам. Если ей станет хуже, у него есть шанс. Вместе с тем глубоко засевший в Джо страх перед Кейт не проходил.

— Доброе утречко, — сказал он.

— Не хочется мне что-то вставать, Джо. Выпью чаю и все. Подержи-ка чашку.

— Болят?

— Болят. Вот разогреюсь, полегче будет.

— Плохо, похоже, спали?

— Нет,— сказала Кейт,— спала я замечательно. Новое лекарство достала.

Джо поднес чашку ей ко рту, и она не спеша начала прихлебывать чай, дуя на него, чтобы остудить.

— Хватит,— сказала она, не выпив и полчашки.— Как вечер прошел?

— Я еще вчера хотел вам сказать,— отвечал Джо.— Деревенщина какая-то из Кинг-Сити завалилась. Только что зерно продал. За все, говорит, плачу. Семь сотен выложил, не считая чего цыпочкам дал.

— Как зовут-то?

— Не знаю. Наверняка опять заглянет.

— Имя, имя спрашивай! Сколько раз тебе говорила.

— Больно увертлив оказался.

— Тем более надо было разузнать, кто такой. Девуцы у него ничего не утянули?

— Не знаю.

— Так узнай!

Джо почувствовал в ее голосе расположение, и у него сразу настроение поднялось.

— Обязательно узнаю,— заверил он хозяйку.— Самому-то мне хватает.

Кейт окинула его долгим испытывающим взглядом, и Джо понял, что она что-то надумала.

— Тебе у меня нравится? — спросила Кейт негромко.

— Известно. Мне здесь хорошо.

— Может еще лучше быть... а может и хуже.

— Нравится мне у вас,— насторожился он, а сам мучительно соображал, не допустил ли где промашку.— Мне здесь просто замечательно.

Кейт облизала губы, показав острый кончик языка.

— Мы могли бы вместе дела делать.

— Я как есть готовый,— поддакнул он, чувствуя, как изнутри поднимается радостное ожидание.

Кейт молчала, а Джо терпеливо ждал, что она скажет.

— Джо,— сказала она наконец,— я не люблю, когда у меня воруют.

— Я ничего не брал.

— А я и не говорю, что это ты.

— А кто?

— К тому и веду речь. Помнишь ту потрепанную ворону, которую нам пришлось убрать из города?

— Этель... Как ее?..

— Она самая. У меня одну вещь утащила. Я только потом хватилась.

— Какую вещь?

В ее голосе появились ледяные нотки:

— А вот это тебе знать не обязательно. Слушай хорошенько! Ты мужик неглупый — как, по-твоему, где ее найти?

Джо была чужда рассудительность, однако голова его сразу же заработала, подчиняясь опыту и чутью.

— Ей дай бог трепку задали. Далеко не уехала. Которая цыпочка в тираж выходит, в чужое место ни в жисть не подается.

— Соображаешь. Значит, в Уотсонвилле обосновалась?

— Факт. Или же в Санта-Крусе. В любом разе дальше Сан-Хосе не залетела. На что хошь поспорю.

Кейт бережно поглаживала пальцы.

— Джо, хочешь заработать пять сотен?

— Желаете, чтоб я разыскал ее?

— Именно разыскал. Только смотри, не спугни. Мне одно нужно — знать, где она. Адрес нужен, понял?

— Понял,— сказал Джо.— Здорово, должно быть, она вас обчистила.

— Не твоего ума дело.

— Да-да, мэм, конечно. Хотите, чтобы я сразу же поехал?

— Да, и поживее там поворачивайся.

— Поживее трудно,— сказал Джо.— Давненько уж дело-то было.

— Трудно, не трудно — это меня не касается.

— Сегодня же в Уотсонвилль выеду.

— Давай, Джо.

Кейт задумчиво глядела на него. Он чувствовал, что она хочет сказать что-то, но не знает, стоит ли. Наконец Кейт решилась.

— Джо, тогда, в суде... она ничего такого не выкинула?

— Не, вроде ничего. Начала только бодягу плести: подстроено, мол... Все они так.

И вдруг ему отчетливо припомнилось то, на что он тогда не обратил внимания. Внутренним слухом он услышал,

как Этель хнычет: «Ваша честь, мне с вами с глазу на глаз надобно. Имею что-то сообщить».

Он спохватился и мгновенным усилием воли выкинул это из памяти, чтобы не выдало лицо, но было уже поздно.

— Ну? — нажимала Кейт.

Он лихорадочно соображал, как бы выкрутиться.

— Чевой-то еще было... — проговорил он, стараясь выиграть время. — Сейчас, может, припомню...

— Не тани, выкладывай! — Голос у нее был настойчивый и жесткий.

— Ну, это... — мямлил он, — она вроде легавым сказала... м-м... нельзя ли на южную дорогу ее вывезти. Сродственники, мол, у нее в Сан-Луис-Обиспо...

Кейт приподнялась с подушек.

— А они что?

— Не желают они к черту на кулички мотаться, так и сказали.

— У тебя своя голова на плечах — ты-то куда сначала двинешь?

— В Уотсонвилль, — твердо сказал Джо. — А в Сан-Луисе приятель у меня. Я ему звякну, скажу, чтоб разведаль.

— Но смотри, — предупредила она, — чтоб без шуму и по-быстрому.

— За пять-то сотен? Все в ажуре будет.

Он снова воспрянул духом, хотя по-прежнему видел ее изучающие, в прищуре глаза, и тут он вдруг услышал то, от чего внутри у него все оборвалось.

— Да, кстати, Джо... Тебе знакомо такое имя — Венута?

— Не-а! — выпалил Джо и обрадовался, что голос не отнялся.

— Возвращайся как можно скорее, — спокойно сказала Кейт. — И скажи Елене, чтобы зашла. Пусть без тебя за домом присматривает.

3

Джо собрал чемодан, пошел на вокзал и взял билет до Уотсонвилля. Однако на первой же станции, в Кастровилле он слез и через четыре часа пересел на экспресс «Горный», который ходит между Сан-Франциско и Монтереем. Прибыв в Монтерей, он зарегистрировался в гостинице

«Центральная» под именем Джона Викера. Потом спустился в забегаловку Папы Эрнста, съел бифштекс, купил бутылку виски и заперся у себя в номере.

Там он снял пиджак и жилет, отстегнул воротничок с галстуком, сбросил башмаки и плюхнулся на медную кровать. Бутылка и стакан стояли на столике рядом. Верхний свет бил ему в глаза, но он ничего не замечал. Для начала он хорошенько заправился полстаканом виски, а потом, закинув руки за голову и скрестив ноги, принялся методично проворачивать в уме и складывать в одно обрывки мыслей, впечатления, возможности и внутренние побуждения.

На вполне подходящее место устроился и думал уже, что облапошил хозяйку. Выходит, просчитался, не на такую напал. От дьявол, как она докопалась, что в бегах он? Может, пора дать тягу — махнуть в Рино, а еще лучше в Сиэтл? Портовые города — самая малина. А там... Не, стой-стой! Надо хорошенько обмозговать.

Этель, факт, ничего не крада. Просто пронюхала что-то об Кейт, и та, натурально, всполошилась. Выложить пять сотен, чтобы разыскать потрепанную девку — не, тут что-то не так. Значит, то, что Этель собиралась выложить судье, — правда, это первое. И второе: Кейт боится. Может, самому удастся сыграть на этом? Черта с два! Раз обо мне знает, в любой момент легавым стукнет. Джо ужасно не хотелось загреметь снова.

Но прикинуть-то можно, никакого вреда от этого. А что ежели рискнуть, пойти ва-банк: четыре года против... допустим, десяти косых? Не мало? Ладно, чего гадать. Она ж и раньше знала и ничего, не стукнула. Может, считает, что ручным его сделала.

Как ни крути, выходит, что Этель и есть главный козырь.

Спокойненько, спокойненько, не пори горячку. Такой шанс... Может, сначала прикуп взять, а там посмотрим? До чего же хитрющая баба! С такой, чтобы выиграть, надо карту хорошую иметь и ходы правильные делать. А пока он ей все в лист ходит.

Джо спустил ноги с кровати и наполнил стакан. Потом выключил свет и, подойдя к окну, поднял жалюзи. Отхлебывая виски, он наблюдал за худощавой маленькой женщиной в халате, которая стирала в рукомойнике чулки

в номере, находящемся напротив его собственного. От выпитого приятно шумело в голове.

Да, шикарный шанс. Видит бог, Джо давно ждал такого. Господи, до чего ему опротивела эта сучка мелкозубая. Ладно, погодим малость.

Джо тихонько поднял оконную раму и, взяв карандаш со стоящего рядом стола, бросил его в окно напротив. Его позабавило, как перепугалась и затрепыхалась тоненькая дамочка, по-быстрому опуская жалюзи.

После третьего стакана полулитровая бутылка была пуста. Джо захотелось выйти, прошвырнуться по городу. Однако порядок есть порядок. Джо давно взял за правило не выходить из дому в подпитии — и неукоснительно придерживался его: береженного бог бережет. На пьяного любой нагрешит, а там уже полиция, проверка и прочее. На кой ему это путешествие по заливу в Сан-Квентин да еще безо всякой перспективы посачковать на дорожных работах за хорошее поведение. Нет, прогулочка по городу отпадает.

Когда на Джо нападала тоска, он прибегал к проверенному спасительному средству, сам не сознавая, какое удовольствие оно ему доставляет. Самое время предаться этому удовольствию. Он лег на кровать и начал вспоминать о том, какое несчастное у него было детство и каким перепуганным и испорченным входил он в возраст. Нет, не везло ему, ни разу настоящего шанса не выпало. Шансы, они у больших шишек. Пока таскал по малости, не попадался, но как только ножички перочинные в наборе с прилавка увел, сразу же легавые домой пожаловали и загребли. С тех пор и попал под наблюдение. Какой-нибудь вахлак уволочет в Дали-Сити ящик с клубникой, тут же Джо цапнут. В школе тоже не везло. Учителя норовили подножку подставить, и директор заодно с ними. От такой жизни кого хочешь тоска заберет. Надо было сматывать куда подалее.

Джо перебирал в памяти неудачи и невезения, и от этих картинок из прошлого внутри поднималась сладкая печаль; он подогревал ее все новыми и новыми воспоминаниями, и вот уже глаза у него наполнились слезами и губы задрожали от жалости к себе: позабыт-позаброшен с молодых, юных лет. И вот, пожалуйста, награда за всю маету и лихо — в борделе служит, а у других дома и автомобили собственные. Живут себе поживают всласть, а по ночам став-

ни закрывают — от таких, как Джо. Он плакал тихо и безутешно, пока не заснул.

Проснулся он наутро в десять, здорово поел у Папы Эрнста и около часу отправился автобусом в Уотсонвилль. Там он встретился со старым приятелем, которого заранее предупредил по телефону, и сыграл с ним три партии в бильярд. Выиграв последнюю, Джо поставил на место кий и подал приятелю две десятки.

— Зачем мне твои деньги, — удивился тот.

— Бери-бери!

— За что? Я же ничего...

— Очень даже чего. Толково объяснил, что ее тут нету. У тебя на таких дамочек нюх.

— Одно не пойму — на кой она тебе понадобилась.

— Уилсон, я ж тебе сразу сказал: не знаю. И сейчас то же самое говорю. Заплатили мне, вот и ищу.

— Ну ладно, я тебе все выложил... Да, тут еще съезд какой-то собирался — вроде дантисты или Совы. Хотела будто туда податься. Не помню только, сама она сказала или померещилось мне. Пошукай в Санта-Крусе. Свои там есть?

— Кое-кто имеется.

— Поговори с Малером. Хол Малер — запомнишь? Он большую бильярдную держит, «Холова луза» называется. Ну, и втихую, натурально, стол покерный.

— Спасибочки, — сказал Джо.

— Не за что. Деньги-то возьми назад.

— Не мои они. Купи себе гавану.

Автобусная остановка была через два дома от «Холовой лузы». Было уже поздно, но игра в заднем зальце была в самом разгаре. Джо прождал целый час — пока Холу не понадобилось в сортир, — чтобы познакомиться с ним. Хол разглядывал его своими большими водянистыми глазами, которые из-за толстых стекол очков казались размером с блюдце. Он не спеша застегнул ширинку, поддернул черные сатиновые нарукавники, поправил зеленый защитный козырек на лбу.

— Подожди, пока кончим, — сказал он наконец. — Сам-то не любитель?

— А сколько под тебя играют, Хол?

— Только один.

— Давай и я, — согласился Джо.

— Пятерку в час кладу,— сказал Хол.

— Плюс десять процентов с моего выигрыша.

— Ладно, идет. Моя рука — Вильямс, белобрысый такой.

В час ночи Хол и Джо потопали в «Барлов гриль».

— Две грудинки на ребрышках и картошечки жареной, по-французски,— распорядился Хол и спросил у Джо: — Суп будешь?

— Не, и картошку жареную не буду. Пучит меня от нее.

— Меня тоже,— сказал Хол.— А все равно нажираюсь. Моциону мало.

Хол молчал, пока не подали еду. А как только набил рот, так и заговорил.

— Твой-то тут какой интерес? — осведомился он, откусывая кусок грудинки.

— Никакой. Сотню дали — я и взялся. Если столкнемся, двадцать пять — твои.

— Доказательства нужны, бумага какая?

— Бумага — это хорошо, но обойдусь.

— В таком разе... Не знаю, как и что, только подчаливает она ко мне: так, дескать, и так, нездешняя я, а мне клиент нужен. Да никудышная оказалась. Больше двадцатки за целую неделю я от нее ни разу не имел. И не узнал бы об ней ничего, если бы Билл Примус ее в моем заведении не видел. Когда ее нашли, он, само собой, сразу ко мне, давай расспрашивать. Правильный он мужик, Билл. У нас тут полиция вся правильная.

Этель была не так плоха, как казалось,— да, ленивая, неопрятная, зато простая, добродушная. Ей хотелось стать приличной женщиной и жить достойно. Но бедняге не везло, потому что была она не очень смышлена и не очень красива. Нашли ее на берегу, куда ее выкинули волны, полузасыпанную песком. Стали вытаскивать. Если бы она узнала, что у нее при этом задралась сзади до пояса юбка, она бы со стыда сгорела. Этель очень хотела выглядеть приличной.

— У нас тут диких артелей развелось,— продолжал Хол.— Сардиной промышляют. Бормотухи налижут и в море. Кто-нибудь взял да и затащил ее на свою посудину, а после за борт спустил. Я так понимаю. Иначе как она в воде очутилась?

— Может, сама с причала сиганула?

— Кто, она? — удивился, пережевывая картофель, Хол.— Ни хрена подобного. Да ей задницей пошевелить лень, не то что руки на себя наложить. Ну что, удостовериться желаешь?

— Да нет, раз ты говоришь, что это она самая, значит, так оно и есть,— сказал Джо и пододвинул Холу две десятки и пятерку.

Хол свернул билеты наподобие самокрутки и сунул в жилетный карман. Потом аккуратно отрезал треугольник мяса и положил в рот.

— Она это, точно. Пирога хочешь?

Джо хотел поспать часов до двенадцати, но проснулся в семь утра и долго лежал в постели. Спешить некуда, в Салинас приедет ночью, а сейчас надо хорошенько все обдумать.

Поднявшись, он долго изучал себя в зеркале, словно примеряя, какую мину соорудить, вернувшись домой. Надо, чтобы Кейт видела, что он расстроен, хотя и не очень. Хитрющая баба, с ней ухо остро держи. Пусть она ходы делает, а ты приглядывайся. Думаешь, она так сразу и покажет карту? Держи карман шире! Джо мысленно признался себе, что боится ее до смерти.

Осторожность подсказывала: «Просто приди, расскажи все как есть и получай заработанные пять сотен». И тут же, обозлясь, он возразил самому себе: «Вот о шансах мечтаешь, а много ли их у тебя было? Шанс, он тогда начинается, когда усечешь, что он вообще есть. Кому охота всю жизнь в поганных сутенерах ходить? Слушай, поддакивай, следи за картой. Пусть первой заговорит она. Не убудет тебя от этого. Ежели что не так, всегда можно сказать, что сам, мол, только что узнал».

«Она ж тебя через пять минут в тюрягу упечет».

«Не упечет, надо только за картой следить. Чего ты теряешь? Хоть раз в жизни у тебя настоящий шанс был?»

Кейт чувствовала себя гораздо лучше. Похоже, помогло новое лекарство. Ломота в руках поутихла, пальцы как будто немного распрямились, опали припухлости на суста-

вах. Первый раз за много дней она по-настоящему выпалась, потому и настроение у нее было хорошее, даже приподнятое. Ей захотелось вареного яичка на завтрак. Кейт встала, надела халат и взяла ручное зеркальце. Потом, подоткнув под спину подушки, она снова уселась в постель и принялась изучать свое лицо.

Отдых творит чудеса. От боли и тревог рот деревенеет, глаза блестят нездоровым, беспокойным блеском, а мышцы на висках и на щеках и даже крылья носа неестественно напрягаются. Так выглядят захворавшие люди, старающиеся превозмочь страдания.

Перемена после ночного отдыха была в ней поразительна. Сейчас ей можно дать лет на десять меньше. Кейт оттопырила сначала верхнюю губу, потом нижнюю и внимательно осмотрела зубы. Надо почистить хорошенько. Она очень следила за зубами. Золотые мосты на месте коренных зубов — это единственное, за чем она обращалась к дантисту. До чего же молодо выгляжу, думала Кейт. Одна спокойная ночь, и она снова в форме. Потому она их и дурачит, как маленьких. Хвораю, думают, слабенькая. Хороша слабенькая, усмехнулась она про себя, — как стальной капкан. Впрочем, она всегда берегла свое здоровье: ни спиртного, ни тем более кокаина или еще чего в этом же роде, а последнее время даже от кофе отказалась. Умеренность явно шла ей на пользу. Ничего не скажешь, внешность у нее прямо-таки ангельская. Она приподняла зеркало повыше, чтобы не отражался в нем, не лез в глаза платочек на шее.

Внезапно перед ней возникло другое ангельское личико, так похожее на ее собственное, — как же его зовут?.. Черт побери, забыла... Алекс или что-то в этом роде. Она словно бы видела, как он медленно движется мимо нее, в белом стихаре с кружевом, склонив голову и касаясь нежным подбородком груди, и на волосы ему падает отблеск свеч. В руках он держит дубовый жезл, медный крест на его верхушке чуть кренится вперед. Есть в нем что-то завораживающе-прекрасное, что-то нетронутое, неприкасаемо чистое. Да, но разве что-нибудь нехорошее по-настоящему затронуло ее самое, разве проникло в душу, запачкало ее? Только снаружи от соприкосновения с другими оставались грязные пятна. А внутри она такая же светлая и цельная, как этот юноша — Алекс его, что ли?

Кейт фыркнула: мать двоих взрослых парней, а выглядит, как невинная малолетка. Если бы ее увидели, разве не заметили бы, как они похожи. Она вообразила, как они стоят рядышком, кругом народ, и все любят их ими. Интересно, что бы он... Арон, вот как его зовут... что бы он сделал, если бы узнал о ней? Братец-то его пронюхал. Пронюхал, сукин сын... ах, что же я говорю, нельзя так. Могут и впрямь подумать, что... Некоторые давно думают. И ведь не пригульный, не на стороне его прижила, а от священного таинства брака рожден. Кейт громко, от души рассмеялась. Забавно все-таки получается.

Только вот беспокоит он ее, этот смуглый пронюхал. Весь в Карла пошел. Кого-кого, а Карла она действительно уважала: он наверняка бы ее тогда прикончил.

Замечательное все-таки лекарство: боль как рукой сняло, а главное, опять придало ей уверенности в своих силах. Еще немного, и загонит заведение, а там — в Нью-Йорк, как и хотела. Снова подумалось об Этель. Чего такую бояться? Совсем, должно быть, сдала, дуреха старая. А что если добить ее добротой? Когда Джо найдет эту развалину, может быть... может быть, взять ее в Нью-Йорк? Чтобы при себе держать.

В голове у Кейт вдруг родилась занятная мыслишка. До чего же смешное смертоубийство будет — о таком ни одна живая душа ни под каким видом не проведает. За кормить дурочку до смерти! Пичкать ее шоколадом — коробки шоколадных конфет, вазы с помадками, обязательно ветчина, причем пожирнее и поджаренная, портвейну хоть залейся, и, само собой, масло, все пропитано маслом, и взбитые сливки, но никаких фруктов и овощей и никаких прогулок. Посиди, дорогуша, лучше дома, присмотри за порядком — нынче никому доверять нельзя. Вид у тебя сегодня усталый, приляг, нет-нет, я сама винца тебе принесу. Кстати, я тут новых конфет купила — возьми коробку прямо в постель. Что? Говоришь, нездоровится? Может, слабительное принять? Очень вкусные орешки, не хочешь попробовать? Да после всего этого она за полгода от обжорства лопнет, сучка паршивая. А глисты? Интересно, кто-нибудь использовал глисты для умерщвления? Как звали того типа, который никак напиться не мог, потому что воду решетом черпал, — Тантал?

На губах у Кейт играла сладкая улыбка, ей станови-

лось весело. Вот потеха была бы — закатить ее мальчикам прощальную вечеринку перед отъездом. Простую вечериночку, а потом показать им, сыночкам ее драгоценным, представление с девочками. Потом Кейт увидела милостивое лицо Арона, так похожее на ее собственное, и какая-то боль, непонятная и несильная, стеснила ей грудь. Хитрости в нем нет. Не умеет защитить себя. А тот, смуглый, — от него чего угодно жди. Она нутром чуяла, какой он. Кейл поборол ее, как ни крути. Ну, ничего, до отъезда она ему покажет. Что если... а правда, почему бы ему не устроить так, чтобы он подцепил триппер... Быстро приведет нахала в чувство.

И вдруг она поняла, что не хочет, чтобы Арон узнал о ней. Хорошо, если бы он приехал к ней в Нью-Йорк. Он подумает, что все это время она жила в красивом особняке на Ист-Сайд. Они будут вместе ходить в театр или оперу, бывать на людях, и все будут удивляться, какие они красивые и как похожи друг на друга. Брат и сестра? Молодая мама со взрослым сыном? Они бы и Этель похоронили вместе. Гроб придется побольше заказать и шестерых нанять, чтобы вынесли. Кейт так развеселилась, что не слышала стука. Приоткрыв дверь, Джо заглянул в комнату и увидел ее довольное, улыбающееся лицо.

— Завтрак вот, — сказал он, подтолкнув дверь краем покрытого белой салфеткой подноса. Войдя в комнату, он прикрыл за собой дверь коленом. — Там будете? — кивнул он в сторону серой каморы.

— Нет, здесь поем. Яйцо принеси и поджаренный ломтик хлеба. Проследи, чтобы четыре с половиной минуты варили. Терпеть не могу жидкие яйца.

— Вижу, мэм, лучше вам сегодня.

— Гораздо, — сказала она. — Это новое лекарство — просто чудо. А вот ты, Джо, растерзанный какой-то. Не здоровится?

— Да нет, нормально себя чувствую. — Джо поставил поднос на стол прямо перед большим креслом. — Значит, четыре с половиной минуты варить?

— Ровно четыре с половиной. И если есть,хвати яблочко посвежее, чтобы хрустело.

— Да вы отродясь столько не ели, — сказал Джо.

Дожидаюсь на кухне, пока повар сварит яйцо, он тревожно размышлял. Может, она прониюхала чего? Гляди

в оба. Черт, чего она цепляется. Он же по натуре ничего не знает. Не виноват он.

Возвратясь в комнату хозяйки, Джо доложил:

— Яблок нету. Повар говорит, что груша вот хорошая.

— Груша? Еще лучше.

Он стоял и смотрел, как она чистит скорлупу и окунает ложку в яйцо.

— Ну как?

— Замечательно! — кинула Кейт. — Просто замечательно.

— Выглядите сегодня что надо.

— Я и чувствую себя что надо. А вот на тебе лица нет. Что-нибудь случилось?

— Понимаете, мэм... — замычал словно бы нехотя Джо. — Мне сейчас незнамо как пять сотен требуется.

— Позарез... — перебила Кейт игриво.

— Чего-чего?

— Ладно, проехали... Ты что — хочешь сказать, что не нашел ее? Посмотрим, если хорошо поработал, получишь свои пять сотен. Давай-ка по порядку. — Кейт взяла солонку и вытрясла в яйцо несколько крупинок.

Джо изобразил на лице радость.

— Спасибочки, — сказал он. — Ей-ей, во как нужно... Ну, был я, значит, в Пахаро и Уотсонвилле. В Уотсонвилле видели ее, сказали, в Санта-Крус подалась. Я — туда, разведаль все чин-чином: верно, ошивалась там, а после куда-то смылась.

Кейт попробовала яйцо и добавила еще соли.

— И это все?

— Не, не все, — продолжал Джо. — Дай-ка, думаю, в Сан-Луис-Обиспо махну. И точно, была она там, а после как в воду канула.

— И никаких следов? Никто ничего не знает?

Джо нервно перебирал пальцами. Вся его затея, а может, и вся его жизнь зависели от того, что он сейчас скажет, и он боялся промахнуться.

— Ну, чего молчишь? — проговорила она, теряя терпение. — Выкладывай, чего у тебя там.

— Да так, ничего особенного. Сам не знаю, что об этом думать...

— А ты не думай, — говори. Думать я буду, — резко оборвала его Кейт.

— Может, вранье все...

— Вот наказанье-то, Господи! — рассердилась она.

— С мужиком одним я калякал. Он ее, значит, последний видел. Джо его зовут, как и меня...

— Как его бабушку зовут — не узнал? — съязвила Кейт.

— Мужик этот, значит, и говорит, набралась она раз пива и грозилась в Салинас вернуться втихую. Дескать, должок вернуть надо. Больше этот мужик ничего не знает, потому как укатила она.

На какой-то короткий миг Кейт потеряла самообладание, но Джо засек этот миг, заметил ее тревогу, ее испуг и почти полную растерянность. Он не знал, что именно на нее подействовало, но почувствовал себя на коне. Наконец-то у него появился шанс.

Она подняла глаза со своих скрюченных рук, лежащих на коленях.

— Бог с ней, с этой бздюшкой, Джо, — сказала она. — Считай, что пять сотен твои.

Она целиком погрузилась в себя, а бедный Джо боялся дыхнуть, чтобы не спугнуть ее. Поверила-таки, поверила даже тому, о чем он и полслова не вымолвил. Ему захотелось поскорее убраться вон.

— Спасибо, мэм, — тихо сказал он и начал бочком подвигаться к двери. Его пальцы уже легли на ручку, когда она сказала как бы между прочим:

— Кстати, Джо...

— Да, мэм?

— Услышишь чего... о ней, — скажи мне, хорошо?

— Обязательно. Может, мне еще поспрошать?

— Да нет, не стоит. Не так уж это важно.

У себя в комнате Джо защелкнул дверь, уселся, сложил руки на груди и, заулыбавшись, принялся прикидывать, как ему вести себя дальше. Остановился он на том, что лучше всего дать ей помозговать, к примеру, с недельку. Пусть успокоится малость, а там опять, будто ненароком, заговорить об Этель. Джо не понимал, какое оружие попало ему в руки, и не умел им пользоваться. Зато он твердо знал, что оружие опасное, и ему не терпелось пустить его в ход. Он расхохотался бы от радости, если бы знал, что Кейт заперлась в серой каморе, неподвижно сидит в своем кресле и глаза ее закрыты.

ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ

1

Иногда вдруг в ноябре на долину Салинас проливается дождь. Это случается так редко, что «Газета» и «Вестник» тут же откликаются на событие редакционными статьями. После дождя склоны гор и предгорья покрываются пушистой зеленью, а в воздухе разливается приятная свежесть. От дождей в такую пору земледелию никакой пользы, если только они не зарядят как следует, а это бывает чрезвычайно редко. Обычно же снова быстро настает сушь, зелень жухнет, или же побеги прихватывает заморозками, и иногда большая часть посевов гибнет.

Когда началась война, пошли сырые осени, и многие объясняли капризы погоды тем, что во Франции палят из огромных пушек. Сей предмет серьезно обсуждался в разговорах и даже в газетах.

Первую военную зиму наших войск во Франции было мало, однако миллионы проходили обучение и готовились к отправке за океан.

Война — это всегда несчастье, и в то же время она приносит в жизнь разнообразие. Германцев так и не удалось остановить. Больше того, они снова перехватили инициативу и неудержимо двигались к Парижу. Одному Господу Богу было ведомо, когда их остановят и остановят ли вообще. Утверждали, что если кто и спасет нас, то только генерал Першинг. В любой газете каждый день красовалась фотография: строгий, по-военному подтянутый, в щегольской форме, подбородок каменный, на гимнастике ни единой складочки. Вот он, настоящий солдат! Но никто не знал, какие стратегические планы строились в его голове.

Мы твердо знали, что победим, а пока проигрывали одно сражение за другим. Муку́, белую муку, продавали только «с нагрузкой», то есть покупатель был обязан взять еще четыре таких же веса муки серой. Люди с деньгами ели хлеб и пироги, выпеченные из белой муки, а из серой делали похлебку и скармливали ее курам.

В помещении музея нашего славного Третьего эскадрона проходила военно-строевую подготовку Гражданская гвардия, состоящая из мужчин за пятьдесят — не самый лучший, понятно, солдатский материал. И тем не менее они регулярно, два раза в неделю проводили занятия, носили

военные фуражки и гвардейские значки, отдавали друг другу распоряжения и постоянно ссорились из-за того, кому быть командиром. Отжимаясь на полу, прямо на месте помер Уильям С. Берт. У бедняги сердце не выдержало.

Во множестве расплодились минитмены, то есть охотники до коротких, одноминутных патриотических речей, которые произносились в кино и церквах. Минитмены тоже носили особые значки.

Что до женщин, то они катали из марли бинты, ходили в форме Красного Креста и считали себя ангелами милосердия. Каждая непременно что-нибудь вязала — будь то шерстяные митенки, которые надевались на запястье, чтобы солдату не дуло в рукав, или глубокие вязаные шлемы с отверстием спереди для глаз. Последние предназначались для того, чтобы предохранить голову от примерзания к новенькой металлической каске.

Самая лучшая, первосортная кожа до последнего кусочка шла на офицерские сапоги и портупеи. Портупеи были умопомрачительны, носить их имели право только офицеры. Состояли они из широкого пояса и узкого ремня, который проходил наискось по груди и пропускался через левый погон. Мы переняли портупеи у англичан, но и те, пожалуй, позабыли, для чего они первоначально предназначались — очевидно, к ним подвешивались тяжеленные мечи. Мечи давно вышли из употребления, да и сабли носили только на парадах, однако же офицеры только что не спали в ремнях. Цена на хорошую портупею доходила до двадцати пяти долларов.

Мы вообще многому научились у англичан: они были хорошие вояки — иначе зачем нам было подражать им. Так, мужчины начали на их манер засовывать носовые платки под рукав, а молодые лейтенантики щеголяли с тросточками. Перед одним нововведением мы, правда, поначалу устояли — разве не глупо носить часы на руке? Нам казалось, что тут мы с бритта ни за что обезьянничать не будем.

Помимо всего прочего, среди нас обнаружили внутренние враги, и мы должны были проявлять бдительность. Сан-Хосе охватила шпиономания, и Салинасу, растущему городу, не пристало плестись в хвосте.

Лет двадцать портняжил в нашем городе мистер Фенкель. Он был маленький, круглый и говорил по-нашему

так что обхохочешься. Целыми днями он сидел на столе, скрестив по-турецки ноги, у себя в крохоткой мастерской на Алисальской улице, а вечером шел в свой чистенький домик в самом конце Центрального проспекта. Он без конца белил стены дома и реденький штакетник вокруг него. Ни одна живая душа не замечала его смешного выговора, но как только началась война, мы вдруг спохватились: да он же немец! К нам затесался настоящий немец. Мистер Фенкель буквально разорился, покупая облигации военных займов, но это лишь усугубило его положение: ловко придумал, хочет от себя подозрение отвести.

В Гражданскую гвардию его, разумеется, не взяли — незачем выдавать шпиону секретные планы обороны Салинаса. И вообще, кому нужен костюм, сшитый врагом. Мистер Фенкель все так же сидел целыми днями на столе, но делать ему было решительно нечего. По несколько раз он метал и переметывал, сшивал и распарывал одну и ту же вещь.

Каких только пакостей не строили мы мистеру Фенкелю! Он был нашим, городским немчурой. До войны, бывало, он каждый божий день проходил мимо нашего дома и ко всякому — и к взрослому, и к ребенку, и к собаке обращался с добрым словом, и все охотно отзывались на него. Теперь же с ним никто не разговаривал, и я как сейчас вижу его одинокую сгорбившуюся фигуру и выражение горькой обиды на лице.

Мы с моей маленькой сестренкой тоже обижали мистера Фенкеля, и при воспоминаниях об этом меня до сих пор от стыда бросает в пот, и комок подкатывает к горлу. Раз вечером мы играли перед домом и увидели, как он тащится по улице мелкими шажками. На голове у него прямо сидела аккуратно вычищенная черная шляпа с твердыми полями и высокой тульей, слегка примятой сверху. Не припомню, сговорились мы с сестрой сыграть с ним злую шутку или нет, наверное, все-таки сговорились, потому что удалась она на славу.

Когда он подошел поближе, мы вышли из калитки, не спеша пересекли улицу и остановились на обочине. Мистер Фенкель поравнялся с нами и, улыбнувшись, сказал:

— Топрый фечер, Тшон, топрый фечер, Мэри.

Стоя рука об руку, мы с сестрой разом выкрикнули: «Hoch der Keiser!»¹

¹ Ура кайзеру! (нем.)

Я до сих пор словно бы вижу его лицо, его удивленные и испуганные голубые глаза. Он хотел что-то сказать, но не выдержал и заплакал, даже не пытаясь скрыть слезы. И что бы вы думали? Мы с сестрой отвернулись, как ни в чем не бывало перешли улицу и скрылись за калиткой. Нам было стыдно. Мне и сейчас стыдно, когда я вспоминаю об этом.

И все же мы, дети, не могли причинить особого вреда мистеру Фенкелю. Для этого потребовалась толпа взрослых здоровых мужчин, человек в тридцать. Однажды в субботу они собрались в какой-то пивной и оттуда шеренгами по четыре двинулись по Центральному проспекту, подзуживая себя выкриками в такт маршу. Они в щепки разнесли побеленный заборчик у мистера Фенкеля и подожгли крыльцо. Ни один кайзеровский прихвостень не уйдет от нас! Теперь Салинас может прямо смотреть в глаза Сан-Хосе.

Теперь уже и Уотсонвилль, разумеется, не пожелал оставаться в стороне. Там вымазали дегтем и выкатали в перьях какого-то поляка, которого приняли за немца, потому что он тоже говорил с акцентом.

Словом, в Салинасе делали все, что в военное время неминуемо делается повсюду, и думали так же, как принято думать в такую пору. Мы, словно дети, радовались хорошим новостям и помирали со страху, когда приходили дурные. Каждый непременно знал что-нибудь этакое и считал своим долгом непременно рассказать, понятно под секретом, другим. Жизнь в городе изменилась, как она всегда меняется в трудные времена. Росли цены и заработки. Слухи о нехватке продуктов заставляли хозяек закупать всё впрок. Благовоспитанные, чинные дамы глаза были готовы выцарапать друг другу из-за какой-то банки помидоров.

Но в нашей жизни было не только плохое, мы видели не только низость или психоз, но и что-то высокое, даже героическое. Некоторые добровольно записывались в армию, хотя могли преспокойно отсидеться дома. Другие отказывались от военной службы по моральным или религиозным соображениям и принимали крестные муки, которые, как ведется, выпадают на долю несогласных. Третьи отдавали все, что имели, для победы, потому что шла последняя, решительная война, и надо было выиграть ее, чтобы

удалить ядовитый шип из тела человечества и избавить его от этой чудовищной бессмыслицы.

Никакого величия в смерти на поле боя нет. Чаще всего такая смерть являет собой отвратительное зрелище: растерзана живая человеческая плоть, пролита горячая кровь. Но есть величие и какая-то почти неизъяснимая сладость в той безграничной, беспредельной и неизбывной печали, которая охватывает близких, когда приходит телеграфное извещение о гибели сына, мужа или брата. Что тут скажешь, тем паче — что поделаешь, и только теплится в душе одно-единственное утешение: может, не мучился, милый. Но до чего же слабо и безнадежно это последнее утешение. Правда, были и такие, кто — едва только притуплялась боль от потери — начинал гордиться ею и важничать. После войны кое-кто из них даже обратил потерю себе на пользу. Это вполне естественно, так же, как естественно наживаться на войне для тех, кто всю жизнь посвятил наживе. Никто не упрекал человека за то, что кровь приносит ему деньги, — он должен был всего лишь вложить часть добычи в облигации военных займов.

Мы, салинасские, воображали, будто сами придумали все это, в том числе и печаль.

ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ

1

В доме у Трасков появилась карта Европы. Ли и Адам утыкали ее цветными булавками, обозначив извилистую линию Западного фронта, и это придавало им чувство причастности к происходящему за океаном. Когда умер председатель призывной комиссии мистер Келли, на его место назначили Адама. Он был самой подходящей кандидатурой на этот пост. Холодильная фабрика много времени не отнимала, у него был безупречный послужной список в армии и увольнение с благодарностью.

Адам Траск повидал войну, правда, малую, состоящую из погонь и побоищ, но, во всяком случае, он сам пережил то, что бывает, когда переиначивают все законы нормальной жизни и человеку дозволяют убивать других людей.

Он плохо помнил свое боевое прошлое. Конечно, многое отчетливо вставало в воспоминаниях: чье-то искаженное лицо, груды обгоревших трупов, клацанье ножен при быстрой, сбивающейся на бег ходьбе, нестройные рваные залпы из карабинов, холодный режущий голос горна по вечерам. Но эти картины, запечатлевшиеся в памяти, были словно бы мертвые. В них не было ни движения, ни волнения — скорее просто картинки в книге, да и то не очень хорошо нарисованные.

Адам ревностно отдавался работе, но им владела печаль. Он не мог побороть ощущения, что, признавая молодых людей годными к воинской службе, он тем самым выносит им смертный приговор. Чем сильнее его мучили сомнения, тем более дотошным он становился и непримиримым ко всяким отговоркам в сложных, спорных случаях. Он брал списки призывников домой, навещал их родителей и беседовал с ними — словом, делал гораздо больше, чем от него требовалось. Он был в положении судьи, который отправляет людей на виселицу, ненавидя казнь.

Генри Стэнтон с тревогой наблюдал, как худеет и замыкается в себе Адам, потому что сам он любил веселье, просто жить без него не мог. Ему было тошно смотреть на кислую рожу коллеги.

— Да брось ты переживать, — твердил он Адаму. — Тебя что, война больше других касается? Не ты ее начал, верно? Тебя на это место поставили, чтобы ты действовал по правилам. Вот и действуй! Не ты у нас главнокомандующий.

Адам повернул створки жалюзи, чтобы полуденное солнце не било в глаза, и уставился на испещренную резкими параллельными тенями столешницу.

— Да понимаю я, — сказал он досадливо, — все понимаю! Хуже всего, когда надо принимать решение. Когда от тебя зависит «годен» или «не годен». Я вот парня судьи Кендела годным признал, а его взяли и убили на тренировочных стрельбах.

— Ты-то тут при чем, чудаков-человек! Хочешь, совет дам? Лучше нет, как вечером стаканчик пропустить. Или же в кинематограф сходи... спится потом замечательно. — Генри засунул оба больших пальца под жилет и откинулся на спинку стула. — Раз уж мы об этом заговорили, я тебе вот что скажу. От твоих беспокойств никакой пользы ре-

бятam нету. Меня бы и уговорил какой, а ты — нет, «го-ден», и точка.

— Знаю я, — ответил Адам. — Генри, это еще долго протянется, как ты думаешь?

Генри испытующе посмотрел на него, потом вытащил карандаш из нагрудного кармана жилета, набитого бог-весть чем, и потер резинкой на его кончике о крупные бе-лые зубы.

— Понятно, — негромко сказал он.

— Что — «понятно»? — словно встряхнулся Адам.

— Не заводись. Я только сейчас подумал, как мне по-везло. У меня-то — девчонки.

Адам медленно провел пальцем по длинной тени от жа-люзи.

— Угу, — выдохнул он.

— До твоих ребят черед не скоро дойдет.

— Угу. — Его палец переместился на солнечную полосу и так же медленно двинулся по ней.

— Жуткое дело... — выговорил Генри.

— Что именно?

— Не представляю, как это своих сыновей свидетель-ствовать.

— Я бы ушел с этого места.

— Верно, лучше уйти. А то ведь захочется негодными их признать, своих-то.

— Нет, — возразил Адам. — Я бы по другой причине ушел. Просто не смог бы не признать их годными. Как раз своим-то нельзя поблажки делать.

Сплетя пальцы, Генри сложил ладони в один большой кулак и выставил его перед собой на столе. Лицо у него было озабоченное и хмурое.

— Да, — сказал он, — тут ты прав. Своим никаких по-блажек.

Генри любил веселье и потому старался избегать серъ-езных и тяжелых тем, так как путал их с неприят-ными.

— Как там у Арона жизнь в Станфорде?

— Хорошо. Пишет, что заниматься много приходится. Но рассчитывает справиться. Скоро День благодарения, вот на праздники и приедет.

— Надо поглядеть на него. Вчера вечером Кейла на-улице встретил. Шустрый он у тебя.

— Шустрый. Только экзамены в колледж на год раньше он не сдавал.

— Ну и что? Может, у него планида другая. Я, к примеру, в колледже не учился. А ты?

— Я тоже,— сказал Адам.— В армию пошел.

— Армия — дело полезное. Ручаюсь, что не жалеешь. Адам медленно встал из-за стола, взял шляпу с оленьих рогов на стене.

— Будь здоров, Генри,— сказал он.

2

Адам шел домой и думал, какую же ответственность он взял на себя. Когда он уже подходил к дверям, из булочной Рейно вышел Ли с длинным румяным батоном в руках.

— Чесночного хлеба захотелось,— сказал он.

— Я бы тоже поел, с жареным мясом.

— А я как раз поджарил мясо. Письма есть?

— Забыл в ящик заглянуть.

Они вошли в дом, и Ли тут же отправился на кухню. Через минуту туда пришел Адам, сел за стол.

— Ли,— начал он,— представь, наша комиссия берет парня в армию, а его убивают. Несем мы за это ответственность или нет?

— Раз уж начали, все говорите. Я хочу иметь полную картину.

— Ну, допустим, у нас есть сомнение — вполне ли он подходит. Тем не менее мы его берем, и он гибнет.

— Понятно. А все-таки, что вас больше беспокоит — ответственность или вина?

— Вины за собой я не чувствую.

— Да, но иногда бремя ответственности еще тяжелее. При ответственности никакого тебе сладостного утешения: венок мученика не напаялишь.

— Я все думаю о том... помнишь, как Сэм Гамильтон, ты и я насчет одного слова спорили...— сказал Адам.— Как его?..

— А-а... «Тимшел» это слово.

— Вот-вот, «тимшел». И ты еще сказал...

— Я сказал, что в этом слове заключено все величие человека. Если, конечно, он хочет быть великим.

— Помню, что твое объяснение очень понравилось Сэму Гамильтону.

— В этом слове — залог свободы. Оно дает человеку право быть личностью, быть непохожим на других.

— Непохожий, он всегда одинок, — задумчиво произнес Адам.

— Все великое и истинное тоже одиноко.

— Какое, ты говоришь, это слово?

— «Тимшел», то есть «ты можешь» по-нашему.

3

Адам с нетерпением ждал Дня благодарения и приезда сына. Хотя тот пробыл в колледже совсем недолго, память уже подводила Адама и преображала в его сознании Арона — любимый человек вообще преобразается на расстоянии. После отъезда Арона в доме почему-то стало тихо, и любая мелкая неприятность как бы сама собой связывалась с его отсутствием. Адам поймал себя на том, что начинает хвастаться сыном перед людьми, рассказывая им, какой он способный и как удачно, на целый год раньше школу окончил, хотя люди были чужие, и Арон не особенно интересовал их. Он решил, что в День благодарения в доме надо устроить настоящий праздник, чтобы сын знал, как ценят его успехи.

Арон снимал комнату в Пало-Альто, и каждый день ему приходилось идти целую милю пешком до университетского городка и потом столько же обратно. Его не оставляло чувство покинутости. До приезда сюда университет виделся ему в какой-то прекрасной туманной дымке. Он не задумывался, как возникла в его сознании эта картина, но представлял себе юношей с чистым взором и целомудренных дев, все они в студенческих мантиях и собираются вечерами — там всегда вечер — на вершине лесистого холма у белоснежного храма, у них сияющие, одухотворенные лица, и голоса сливаются в сладкозвучном хоре. Арон не знал, откуда он почерпнул этот образ университетской жизни, может быть, из иллюстраций Доре к дантову «Аду», на которых красуются тучи лучезарных серафимов. Университет, основанный Лиландом Станфордом, был совершенно не похож на выдуманные Ароном картинки. Правильный квадрат, образованный строениями из

красного песчаника и поставленный в чистом поле; церковь с итальянской мозаикой по фронтому; аудитории, обшитые лакированными панелями из сосны; возвышение и распад студенческих братств, которые словно отражали извечную вражду и междоусобицы соседних народов. А сияющие серафимы оказались всего лишь парнями в замызганных вельветовых штанах — одни ошалели от зубрежки, другие успешно осваивали пороки отцов.

Раньше Арон не задумывался, что у него есть дом, но теперь безумно тосковал по дому. У него не возникало никакого желания узнать свое окружение, тем более войти в него. После всех его мечтаний беготня, гвалт и сальные шуточки студизов приводили его в ужас. Из просторного дортуара при колледже он переселился в убогую мебелирашку и там принялся выстраивать и украшать новую мечту, которая только-только появилась на свет. Отсидев положенные лекционные часы, он спешил в свое новое, неприступное убежище, и, выбросив из головы университетскую суетню, радостно погружался в нахлынувшие воспоминания. Дом, стоявший рядом с пекарней и булочной Рейно, становился близким и дорогим, и в том доме — Ли, лучший на свете наставник и старший товарищ, отец — невозмутимое, надежное божество и брат — умница и заводила, и есть еще Абра... из Абры он вообще сотворил бесплотный, беспорочный образ — и влюбился в него по уши. Поздно вечером, покончив с занятиями, он принимался за очередное еженощное послание к ней — так же, как иные регулярно принимают ароматическую ванну. И чем чище, прекрасней и лучезарней становилась Абра, тем большую радость извлекал он из мысли о собственной греховности. Он лихорадочно изливал на бумаге ликующее самоуничтожение и потом ложился в постель такой же очищенный и опустошенный, как после совокупления с женщиной. Он тщательно описывал малейший дурной помысел и тут же каялся в нем. В результате его любовные письма переполнялись желанием, и Абре было не по себе от их высокопарного штиля. Откуда ей было знать, что его состояние — это довольно-таки обычная форма созревания полового чувства.

Он совершил ошибку. Он признает это, но исправить ее пока не может. Значит, так и договоримся: на День благодарения — домой, а там будет видно. Может быть,

он вообще бросит университет. Арон вспомнил, что однажды Абра высказала пожелание жить с ним на ферме, и эта идея завладела его воображением. Он вспоминал высоченные дубы, чистый животворный воздух, свежий, наполненный полынью ветер с гор, играющий пожелтевшей листвой. Ему казалось, что он видит Абру: она стоит под деревом, ждет — когда он придет с поля. Спускается вечер. Так они и будут жить, отдыхая после дневных трудов, честно, чисто, в мире с соседями, отгороженные от них неглубоким овражом. Там он укроется от грязи, укроется под покровом вечера.

ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ

1

В конце ноября умерла Негра. Согласно воле покойной хоронили ее просто, безо всякой пышности. Гроб из черного дерева и с серебряными ручками был с утра выставлен в часовне Мюллера. Худое строгое лицо усопшей казалось еще строже и аскетичнее от мигания больших свечек по четырем углам гроба.

Муж Негры, маленький, щуплый чернокожий, сидел, сгорбившись, у изголовья гроба, справа, пребывая в такой же неподвижности, как и она сама. Не было ни цветов, ни панихиды, ни молитвы, ни проявлений печали. Но весь день к часовне тянулась пестрая вереница горожан, они на цыпочках переступали порог, заглядывали внутрь и молча шли прочь. Кого там только не было! Адвокаты и работники, чиновники и банковские кассиры, в большинстве своем люди пожилые. Девушки Негры тоже пришли, они по одной заходили внутрь последний раз взглянуть на хозяйку и понабратся у нее чинности и везения.

Из Салинаса ушла целая часть городской жизни — темная роковая сила пола, такая же неотвратимая и горестная, как смерть. Все так же потом ходил ходуном от рева граммофона, топота и гогота бордель развеселой Дженни. Все так же заходились потом в порочном экстазе мужчины в комнатах Кейт и уходили оттуда опустошенные, ослабевшие и как бы даже напуганные тем, что с ними произош-

ло. Но строгое таинство слияния тел, напоминавшее шаманское жертвоприношение, ушло из города навсегда.

Согласно завещанию похоронная процессия состояла из катафалка и легкового автомобиля, где на заднем сиденье забился в угол низкорослый, щуплый негр. День выдался серенький. С помощью жирно смазанной бесшумной лебедки могильщики опустили гроб в яму, катафалк уехал, и супруг, взяв в руки новенькую лопату, принялся забрасывать могилу землей, а до служителя, который поодаль полл сухие сорняки, ветерок доносил негромкий плач.

Джо Валери и Боров Биверс потягивали в «Сове» пиво, но тоже пошли последний раз взглянуть на Негру. Боров смылся пораньше, так как ему надо было поспеть на аукцион в Нативидаде, чтобы закупить несколько голов беломордой керефордской породы для стада Тавернетти.

Выйдя из часовни, Джо столкнулся с Элфом Никельсоном, тем самым тронутым Элфом Никельсоном, который каким-то образом сохранился с незапамятных и невозвратимых времен. Эльф был мастер на все руки: плотник, жестянщик, кузнец, монтер, штукатур, точильщик, сапожник. Эльф умел делать что угодно, кроме как зарабатывать деньги, хотя и вкалывал от зари до зари. Он знал всё и вся, начиная чуть ли не с сотворения мира.

В былые времена, когда Эльф был еще на коне, самыми желанными и полезными гостями в любом доме были белошвейки и мастеровые. Именно они подхватывали городские слухи, и именно от них шла молва. Эльф мог рассказать о каждом, кто жил на Главной улице. Жадный до новостей, он был неистощимый сплетник, язва и злослов, хотя зла ни к кому не питал.

Эльф глянул на Джо, словно бы припоминая что-то.

— Постой, постой,— сказал он.— А ведь я тебя, кажется, знаю.

Джо бочком от него. Он терпеть не мог людей, которые его знают.

— Ну да, точно! Ты у Кейт служишь, верно?

У Джо камень с души свалился. А он-то подумал, что Эльф о его прошлом прослышал.

— Верно,— отозвался Джо коротко.

— У меня память на лица знаешь какая,— сказал Эльф.— Я тебя видел, когда эту дурацкую пристройку ей

к дому ставил. На кой дьявол она ей? Даже окно делать не велела.

— Захотела, чтоб света поменьше,— объяснил Джо.— Глаза у нее болят.

Элф фыркнул. Ни в жизнь не поверит, что все так просто и гладко. Такому скажешь: «Доброе утречко!», а он это сразу в какой-нибудь тайный знак оборачивает. Элф был убежден, что у каждого есть секрет, каждый что-то скрывает, и ему одному известно, как в этот секрет проникнуть.

Элф кивнул в сторону часовни.

— Событие, ничего не скажешь. Старая гвардия почти вся перемерла. Пердунья Дженни последняя осталась. Но пока на здоровье не жалуется.

Джо было не по себе. Ему хотелось поскорее отвязаться от Элфа, и тот нутром чуял беспокойство Джо. У него был нюх на тех, которые хотят от него отвязаться. Если вдуматься, как раз поэтому, наверное, у него полно всяких рассказней. Кому не захочется о другом что-нибудь этакое услышать, если уж случай выпал. Все мы в душе сплетники, и порядочные. Элфа не очень-то жаловали за его байки, но слушать слушали. Он понимал, что Джо сейчас отговорку придумает и смоемся, а ему не хотелось упускать парня: маловато он в последнее время о кейтовом борделе слышал. Может, удастся разнюхать что-нибудь новенькое в обмен на старенькое.

— Да, было времечко,— начал Элф.— Ты-то, натурально, еще пацаном был...

— Мне тут с одним встретиться надо,— сказал Джо.

Элф притворился, будто не слышит.

— Взять, к примеру, Фей,— продолжал он.— Во баба! — И добавил как бы между прочим: — Слышал, небось, она раньше вместо Кейт мадамой была. Как Кейт заведением завладела, никто в точности не знает. Тайна, покрытая мраком. А у некоторых вообще подозрения имеются.— Элф с удовольствием отметил про себя, что «одному», с которым должен встретиться Джо, ждать придется долго.

— Какие же такие подозрения? — спросил Джо.

— Бес их знает! Народ, известно, болтать любит. Может, ничего и не было. Только сдается мне, что-то там не то.

— Пивком не побалуемся? — предложил Джо.

— Вот это ты в самую точку, — обрадовался Элф. — Говорят, мужик после похорон на бабу лезет. Староват я стал, не такой прыткий, как раньше. На покойника теперь гляну, сразу в глотке сохнет. А Негра, что ни говори, фигура была, деятель. Я об ней такое порассказать могу... Тридцать пять годков ее знаю... не, тридцать семь.

— А кто это такая — Фей? — спросил Джо.

Они отправились в салун мистера Гриффина на Главной улице. Мистер Гриффин недолголюбивал все, что связано со спиртным, а пьяниц вообще презирал до смерти. Тем не менее он держал питейное заведение, которое называл Салуном Гриффина, хотя по субботам, бывало, отказывался обслуживать тех, кто, по его мнению, уже достаточно хлебнул, а таких набиралось десятка два. Благодаря такой странности в салуне всегда был полный порядок, тишина и прохлада, и от клиентов отбою не было. Сюда приходили обговорить сделку и вообще потолковать без помехи.

Джо и Элф сели за круглый столик и заказали по три порции пива. Чего только не наслушался Джо — несомненные факты мешались с сомнительными слухами, удачные догадки с низкими подозрениями. В конце концов он совершенно запутался, но некоторые выводы все-таки сделал. Кое-что не вязалось в болезни и смерти Фей. Очень может быть, что Кейт — супружница Адама Траска. Он это в момент усек: если Траск не захочет огласки, его можно здорово подоить. А вообще-то в этой истории с Фей сильно пахло жареным. Правда, тут и обжечься не долго. Надо хорошенько умом пораскинуть, потом, когда один останется.

По прошествии двух часов Элф забеспокоился. Джо явно увиливал. Ничем не поделился в обмен: ни единой новости, ни одной мало-мальской догадки. Элф призадумался. Парень язык за зубами держит, значит, ему есть что скрывать. Кого бы порасспросить о нем?

— Только ты правильно пойми, — заключил Элф, — я против Кейт ничего не имею. Она работенку мне подкидывает и расчет не откладывает, и не прижимистая. Конечно, говорят об ней, но, может, это брехня одна. А все-таки, если мозгами пошевелить, железная она баба. Иной раз глянет — мороз по коже. Как, по-твоему?

— У меня все путем.

Элф обозлился на Джо за его скрытность и закинул еще один крючок.

— Мыслишка у меня была,— сказал он.— Когда я ей пристройку эту темную ставил. Глянула она эдак на меня, тут, значит, и пришла мыслишка-то. Вдруг она выпить мне предложит или куличиком угостит? Тут я и брякну: «Спасибочки, мэм, не хочется». Как она это проглотит, а? Ежели знает, что об ней говорят?

— У нас с ней все путем,— твердил Джо.— Пойду я, встретиться с одним надо.

Джо закрылся у себя, чтобы спокойно все обдумать. Ему было не по себе. Он вскочил с места, распахнул чемодан, выдвинул ящики в комод. Ему показалось, что кто-то шарил в его вещах. Бред, ничего он тут не прячет, а все равно боязно. Джо старался разобраться в том, что услышал от Элфа.

В дверь постучали, вошла Тельма с распухшими от слез глазами и покрасневшим носом.

— Что это на Кейт нашло?

— Болеет она.

— При чем тут болеет? Взяла я кувшин из-под сока, коктейль молочный делаю, а она врывается на кухню и, как тигра, на меня.

— Может, ты бурбону в коктейль подмешала.

— Ни капельки! Только ванильного экстракта добавила. Не имеет она права на меня орать.

— Мало ли что не имеет.

— Я не потерплю...

— Еще как потерпишь, дорогуша. И вообще вали отсюда!

Тельма посмотрела на него своими красивыми темными задумчивыми глазами и, собрав все свое женское достоинство, сказала:

— Джо, ты взаправду форменный сукин сын или только притворяешься?

— Тебе-то что?

— Мне — ничего,— ответила Тельма.— Сукин ты сын

2

Джо порешил действовать осторожно, не спеша, хорошенько поразмыслив. Раз выпал шанс, надо им как следует воспользоваться, твердил он себе.

Вечером, как обычно, Джо пошел к Кейт, чтобы получить от нее распоряжения. Распоряжения он получил и заодно выведал кое-что из того, что было у хозяйки на уме. Кейт сидела за бюро, надвинув на глаза защитный зеленый козырек, и даже не оглянулась, когда он вошел. Она коротко и четко перечислила, что надо сделать, и продолжала:

— Послушай, Джо, ты не очень-то за домом присматривал, пока я болела. Теперь вот поправилась, можно сказать, совсем поправилась.

— Случилось чего?

— Возьми Тельму. По мне, пусть лучше она виски побалуется, чем ванильным экстрактом. А вообще-то я не хочу, чтобы девушки пили. Распустил ты их.

Джо лихорадочно соображал, что бы сказать.

— Занят я был.

— Занят?

— Ну да. Ваше дело раскручивал.

— Дело? Какое дело?

— Как какое? Насчет этой, как ее... Этель.

— Да хватит о ней!

— Хватит так хватит,— буркнул Джо, и вдруг у него вырвалось, сам не ожидал: — Вчера случайно встретил одного, видел он ее.

Если бы Джо не изучил Кейт, он не придавал бы никакого значения внезапному, напряженному молчанию, длившемуся ровно столько, сколько требуется, чтобы сосчитать до десяти. Потом Кейт негромко спросила:

— Где?

— У нас в городе.

Кейт медленно повернулась с креслом к нему.

— Да, Джо, напрасно я заставила тебя вслепую работать. Кому хочется признаваться в собственных ошибках, правда? Ну, выходит, обязана. Ты ведь помнишь, это я устроила, чтобы ее из округа выгнали. Я думала, что она меня обворовала.— Голос у Кейт сделался грустный.— Так вот, я ошиблась. Я потом нашла эту вещь. С тех пор меня совесть мучит. Не сделала она мне ничего плохого. Поэтому я хочу разыскать ее и попросить прощения. Тебе, наверное, странно это слышать.

— Да нет, мэм.

— Разыщи ее, Джо, пожалуйста. Мне самой лучше станет, если я отблагодарю ее, бедняжку.

— Постараюсь, мэм.

— И смотри, Джо... если деньги понадобятся, не стесняйся. Когда найдешь, передай ей мои слова. Если вдруг не захочет сама прийти, узнай, куда ей позвонить, хорошо? Деньги нужны?

— Пока нет. Только мне придется почаще из дому отлучаться.

— Не возражаю. Ну, а теперь ступай, Джо.

Джо хотелось обнять самого себя. Выйдя в коридор, он схватился за локти от переполнявшей его радости. Ему уже начинало казаться, что он сам всю эту штуку подстроил. Он прошел полутемную гостиную — тут и там вспыхивали и угасали негромкие разговоры: час был ранний, — вышел на крыльцо и поглядел на косяки звезд, плывущие сквозь гонимые ветром облака.

Джо вспомнил своего вечно ворчащего отца и то, что однажды старик сказал. «Следи, которые суп несут, — говорил он. — Ежели дамочка с супом к одному и тому же ходит, значит, добивается чевой-то. Зарубку на память сделай».

«Суп носит, — повторил про себя Джо. — Я думал, похитрее она». Он еще раз перебрал слова, произнесенные Кейт, припомнил, как она их говорила, чтобы не пропустить чего-нибудь важного. И тут же ему на ум пришло сказанное Элфом: «Вдруг она выпить мне предложит или куличиком угостит...»

3

Кейт сидела за бюро. Она слышала, как шумит на дворе ветер в высоком кустарнике, и в беспокойной, ветреной тьме мерещилась ей повсюду неряшливая, расплывчатая, как медуза, Этель. Ее охватила бессильная досада.

Она пошла в серую камору, закрыла за собой дверь и долго сидела там, чувствуя, как снова заныли пальцы и стучит в висках. Она дотронулась до цилиндрика с капсулой, висящего на цепочке на груди, — он был теплый от тела, — потерла им о щеку, и к ней вернулось самообладание. Кейт сполоснула лицо, попудрилась, покрасила губы и взбила волосы. Потом она вышла в коридор и, как обычно, остановилась перед дверью в гостиную и прислушалась.

В уголке справа от двери две девушки болтали с каким-то мужчиной. Едва Кейт переступила порог, разговор сразу же прекратился.

— Елена,— сказала она,— мне нужно поговорить с тобой, если ты не занята.

Девушка, светлая блондинка с гладким, словно фарфоровым личиком, последовала за Кейт в ее комнату.

— Что-нибудь случилось, мисс Кейт? — спросила она боязливо.

— Нет, ничего особенного. Сядь. Скажи, ты на похоронах Негры была?

— А разве нельзя?

— Не о том речь. Была?

— Да, мэм, была.

— Расскажи, как это было.

— Что рассказать?

— Все, что запомнила. Как это было.

— Как было? — Елена ужасно волновалась. — Ну, страшно, конечно, и... красиво.

— Что значит «страшно» и «красиво»?

— Что значит? Ну... ни цветов, ни молитвы, ничего, а все равно так прилично все, торжественно. Негра лежит себе, гроб черный, из черного дерева, а ручки серебряные, огромные, черт, сроду таких не видела. И от всего этого ты вроде... как бы это сказать... нет, словами не опишешь.

— Ладно, уже описала. Что на ней было надето?

— Надето?

— Ну да, надето. Не голая же она лежала, верно?

По лицу Елены было видно, что она изо всех сил старается припомнить, но напрасно.

— Н-не знаю,— выдавила она наконец. — Не помню.

— А на кладбище ходила?

— Нет, мэм. Кроме него, никто не пошел.

— Кроме кого?

— Кроме ее мужа.

Кейт быстро спросила, может, даже слишком быстро:

— У тебя сегодня постоянные есть?

— Нет, мэм, народу мало. Завтра же День благодарения.

— Ах, да, я чуть не позабыла,— сказала Кейт. — Идешь! — Она проводила Елену глазами и быстро вернулась к бюро. Глаза ее смотрели на длинный счет от водо-

проводчика, а рука сама потянулась к груди и дотронулась до цепочки. Цепочка на шее успокаивала и придавала силы.

ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ

1

Ли и Кейл пытались отговорить Адама от намерения встречать Арона на вокзале. Тот должен был приехать ночным экспрессом «Жаворонок», курсирующим между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом.

— Пусть Абра одна на вокзал пойдет,— говорил Кейл.— Он все равно первым делом ее захочет увидеть.

— И я думаю, что остальных он просто не заметит,— вторил ему Ли.— Зачем идти без толку?

— А мне хочется посмотреть, как он из вагона выходить будет,— стоял на своем Адам.— Он, должно быть, сильно переменился. Хочу поглядеть, какой он теперь.

— Да его всего два месяца не было,— сказал Ли.— За это время не очень-то переменишься и старше не станешь.

— И все-таки он переменился. Новое окружение и вообще.

— Если ты пойдешь, нам тоже придется,— сказал Кейл.

— Ты что, не хочешь поскорее повидаться с братом? — строго спросил Адам.

— Я-то хочу, это он не захочет... то есть со мной с первым.

— Захочет,— сказал Адам.— Ты плохо Арона знаешь. Ли примирительно поднял ладони кверху.

— Я вижу, мы все идем.

— Вы только представьте, как много нового он узнал! — увлеченно продолжал Адам.— Я не удивлюсь, если он и говорит теперь по-другому. Ты знаешь, Ли, учащиеся на Востоке привыкают изъясняться так, как принято в их учебном заведении. Гарвардского студента, например, сразу отличишь от принстонского. Так по крайней мере утверждают.

— Что ж, послушаем,— сказал Ли.— Интересно, на каком диалекте изъясняются в Станфорде? — Он, улыбаясь, подмигнул Кейлу.

Адам не видел в этом решительно ничего смешного.

— Ты поставил ему в комнату фрукты? — спросил он.— Арон обожает фрукты.

— Конечно, поставил,— ответил Ли.— Груши, яблоки и виноград «мускат».

— Да-да, он любит «мускат», я хорошо помню.

Адам так торопился и торопил других, что они пришли на вокзал за полчаса до прибытия поезда. Абра была уже там.

— Обидно, но я завтра не успею к обеду,— сказала она Ли.— Отец хочет, чтобы я дома была. Попозже приду, как только освобожусь.

— Что-то ты запыхалась,— заметил Ли.

— А вы?

— Я, наверное, тоже. Погляди-ка на пути, может, там уже «зеленый» дали?

Почти для всех нас железнодорожное расписание является предметом гордости и причиной постоянного беспокойства. Когда вдали на светофоре вместо красного света зажегся зеленый, когда из-за поворота полоснул длинный тонкий луч паровозного прожектора и ярко осветил вокзал, мужчины разом посмотрели на часы и удовлетворенно сказали: «Точно приходит».

Точность не только придает нам гордость, но и приносит облегчение. Мы теперь уже склонны считать доли секунды. Все плотнее переплетаются и соединяются в одно дела человеческие, и появляется необходимость мерить время десятой долей секунды, потом придется придумывать название для сотой доли, тысячной, и так далее, пока в один прекрасный день мы не воскликнем: «Какого черта? Чем плох час?» — хотя я лично в это не верю. Но наше внимание к ничтожно малым единицам времени — отнюдь не глупая прихоть. Случись что-нибудь чуточку раньше или чуточку позже, расстроится весь порядок вещей, одна поломка вызовет другую, потом третью, и они будут расходиться кругами, как волны от камня, брошенного в спокойный пруд.

«Жаворонок» влетел на станционные пути с такой скоростью, что казалось, будто он вообще проскочит мимо.

Уже промелькнул локомотив и багажные вагоны, и лишь потом раздалось шипенье и скрежет тормозов, и состав, дергаясь и дребезжа, начал сбавлять ход и наконец остановился.

Из вагонов высыпала немалая по салинасским меркам толпа. Люди приехали домой или погостить на праздник, в руках у них были картонки и пакеты в яркой подарочной бумаге. Наши герои искали глазами Арона, а когда увидели его, он показался им солиднее, чем раньше.

На нем была модная, с плоским верхом и узкими полями шляпа. Заметив их, он сорвал шляпу и кинулся бегом навстречу, и они увидели, что его пышные волосы коротко подстрижены и торчат ежиком. Глаза его сияли, и все засмеялись от радости, глядя на него.

Арон бросил чемодан и одним махом поднял Абру. Потом поставил ее на землю и подал Адаму и Кейлу руки.

Он так сильно обнял Ли, что у того кости захрустели.

По пути домой говорили без умолку и все разом: «Ты-то как?», «Прекрасно выглядишь», «Абра, ты так похорошела!»

— Какое там похорошела. Ты зачем постригся?

— Да все так носят.

— Жалко, у тебя такие замечательные волосы.

Они быстро вышли на Главную улицу, через квартал свернули на Центральный проспект, прошли мимо булочной Рейно, в витринах которой красовались батоны французского хлеба, и черноволосая миссис Рейно помахала им белой, в муке рукой, и вот они — дома.

— Как насчет кофе, Ли? — спросил Адам.

— Я еще до ухода заварил. На медленном огне стоит.

На столе уже были расставлены чашки. И тут все поняли, что они вместе: Арон и Абра на диване, Адам в кресле у стоячей лампы, Ли разливает кофе, Кейл прислонился к дверному косяку. Настала минута, когда первая радость от встречи уже прошла и еще рано начинать другие разговоры. Нарушил молчание Адам.

— Ну, рассказывай обо всем по порядку. Баллы-то какие получаешь — высокие?

— Экзамены только в следующем месяце, отец.

— Ах, да. Ну, ничего, все сдашь прекрасно. Я уверен. По лицу Арона промелькнуло неудовольствие.

— Я вижу, ты устал,— сказал Адам.— Хорошо, завтра поговорим.

— А я вижу, что не устал,— возразил Ли.— Я вижу, ему одному хочется побыть.

Адам поглядел на Ли и сказал:

— Ну, да, конечно, конечно. Тогда мы пошли спать? Спасла положение Абра.

— Я не могу долго засиживаться,— сказала она.— Арон, может, ты проводишь меня? Завтра я опять приду.

На улице Арон прижал к себе ее руку. Он весь дрожал.

— Мороз будет.

— Ты рад, что приехал? — спросила Абра.

— Еще бы! Нам надо о многом поговорить.

— О хорошем?

— Думаю, тебе понравится.

— Очень уж ты серьезный сегодня.

— Это на самом деле серьезно.

— Когда тебе нужно возвращаться?

— В воскресенье вечером.

— Ну, тогда у нас масса времени. Я тоже хочу кое-что рассказать тебе. У нас, значит, есть завтра, пятница, суббота и почти все воскресенье. Слушай, ты не рассердишься, если я не приглашу тебя зайти сейчас к нам?

— Почему?

— Потом скажу.

— Скажи сейчас.

— У отца очередной бзик.

— Из-за меня дуется?

— Да, из-за тебя. Я к вам завтра на обед не смогу прийти. Но дома много есть не буду, у вас поем. Скажи Ли, чтобы оставил мне индюшки.

Абра чувствовала, что Арона одолевает робость. Его рука на ее руке разжалась, он молча поднял на нее глаза.

— Напрасно я тебе сегодня сказала.

— Нет, не напрасно,— отозвался он медленно.— Скажи, только честно: ты не передумала? Ты выйдешь за меня?

— Выйду.

— Тогда все в порядке. Я пошел. Завтра поговорим.

Абра стояла на крыльце, чувствуя на губах след легкого поцелуя. Ей было обидно, что Арон так быстро со-

гласился и ушел, потом она невесело рассмеялась: что просила, то и получила — чего же обижаться. Она смотрела, как он быстрыми широкими шагами проходит круг света от фонаря на углу. Совсем с ума сошла, подумала она. Неизвестно что выдумываю.

2

Пожелав всем спокойной ночи, Арон пошел к себе, сел на краешек кровати и, зажав между коленями сцепленные руки, уставился на них. Тщеславные отцовские планы относительно его будущего спеленали его, как младенца, не давали распрямиться, вызывали досаду. До сегодняшнего вечера он не представлял, как сковывает чрезмерная родительская забота, и не знал, хватит ли у него сил вырваться из-под этой нежной и неусыпной опеки. Мысли его разбегались. Он поежился; в доме, казалось, было холодно и сыро. Арон встал, тихонько вышел в коридор. Из-под двери в комнату брата пробивался свет. Он постучал и, не дожидаясь ответа, вошел.

Кейл сидел за своим новым письменным столом и над чем-то колдовал, шурша папиросной бумагой. Тут же стояла катушка красной тесьмы. Как только Арон вошел, он быстро прикрыл что-то большим блокнотом.

Арон улыбнулся:

— Подарки готовишь?

— Ага,— ответил Кейл, не вдаваясь в подробности.

— Можно с тобой поговорить?

— А почему нет? Давай. Только тише, а то отец придет. Знаешь, какой он любопытный.

Арон сел на кровать. Кейл долго ждал, пока брат заговорит, но тот молчал, и тогда он спросил сам:

— Чего молчишь? У тебя неприятности?

— Нет, все нормально. Поговорить вот надо... Знаешь, Кейл, не хочу я больше учиться в колледже.

Кейл резко повернулся.

— Не хочешь учиться? Почему?

— Не нравится и все.

— Ты хоть отцу еще не сказал? Расстроится он. Мало того, что я не учусь, теперь вот ты. И чем же ты хочешь заняться?

— Попробую на ферме хозяйствовать.

— А как Абра?

— Она давно сказала, что согласна.

Кейл испытующе посмотрел на брата.

— Ферма-то в аренду сдана.

— Как раз об этом я и думаю.

— На земле много не заработаешь,— сказал Кейл.

— Мне много не надо. А на жизнь хватит.

— «На жизнь хватит» — нет, мне это не подходит. Мне нужно много денег, и я их заработаю.

— Каким образом?

Кейл почувствовал себя гораздо старше, чем его брат, и опытнее в житейских делах. Ему захотелось подбодрить, поддержать его.

— Пока ты учишься, я бы начал зарабатывать и копить деньги. Потом, когда окончишь колледж, можем партнерами стать. Я буду чем-нибудь одним заниматься, а ты — другим. Думаю, у нас дело пойдет.

— Не хочу я возвращаться в колледж. Не обязан я.

— Отец хочет, чтобы ты учился.

— Мало ли что он хочет.

Теряя терпение, Кейл пристально вглядывался в брата, в его словно бы выгоревшие волосы, в его широко поставленные глаза, и вдруг со всей отчетливостью понял, почему отец так любит Арона.

— Иди лучше спать,— сказал он как отрезал.— Закончи хоть семестр, а там видно будет. Ничего пока не решай.

Арон встал и пошел к двери.

— Кому же подарок? — спросил он.

— Отцу. Завтра увидишь после обеда.

— Не Рождество ведь.

— Знаю, что не Рождество. Но, может, еще лучше праздник.

Когда Арон ушел к себе, Кейл откинул блокнот со своего подарка — пятнадцать новеньких, хрустящих от малейшего прикосновения банковских билетов и тщательно пересчитал их еще раз. Монтерейский окружной банк специально посылал за ними человека в Сан-Франциско, хотя согласился на такую операцию только после того, как были представлены убедительные доводы. Управляющий был ошарашен, он отказывался верить, что, во-первых, владельцем такой крупной суммы является семнадцатилетний юнец и что, во-вторых, тот желает получить ее наличны-

ми. Финансисты не любят, когда живые деньги переходят из рук в руки с такой легкостью, даже если это делается из родственных чувств. Уиллу Гамильтону пришлось представить банку поручительство в том, что деньги действительно принадлежат Кейлу, заработаны честным путем и, следовательно, тот имеет право распоряжаться ими по собственному усмотрению.

Кейл завернул билеты в бумагу, обмотал красной тесьмой и завязал каким-то немыслимым узлом, который отдаленно напоминал бантик. По виду в пакете мог лежать носовой платок или какая-нибудь другая пустячная вещь. Кейл сунул пакет в комод под рубашки и улегся, но сон не шел. Он был возбужден и робел, как мальчишка. Поскорее бы пришел и прошел завтрашний день, поскорее бы избавиться от злосчастного подарка. Он ломал голову, ища, что сказать отцу.

«Это — тебе».

«Что это?»

«Подарок».

Что последует дальше, Кейл не представлял. Он ворочался с бока на бок до тех пор, пока не забрезжил рассвет, потом встал, оделся и потихоньку выскользнул из дома.

На Главной улице Старый Мартин прохаживался метлой по мостовой. Городской совет никак не мог решить вопрос о приобретении подметальной машины. Старый Мартин рассчитывал сам сесть на эту машину, но жаловался: самые сливки молодым достаются. Мимо проехал мусорный фургон Бачигалупи, и Мартин завистливо посмотрел ему вслед. Вот оно, настоящее дельце. Наживаются, итальяшки паршивые.

Главная улица была пустынна, только два-три бродячих пса обнюхивали подворотни да у ресторации «Сан-Францискские мясные блюда» наблюдалось кое-какое сонное движение. У входа стоял новенький таксомотор Пета Булена, поскольку его с вечера позвали отвести уильямсовских девиц к утреннему поезду в Сан-Франциско.

— Эй, парень, сигаретки не найдется? — окликнул Кейла Старый Мартин.

Кейл остановился и достал коробку «Мюратов».

— Ишь ты, шикарные! — сказал Мартин. — И уж огоньку пожалуй.

Кейл чиркнул спичкой и осторожно поднес ее Мартину, чтобы не опалить ему усы и бороду.

Мартин оперся на ручку метлы и, попыхивая сигаретой, досадливо изрек:

— Самые сливки молодым достаются.— И добавил: — Не, не дадут мне на машину сесть.

— Вы о какой машине? — спросил Кейл.

— Как о какой? О подметальной! Или не слышал? Ты, парень, видать, с луны свалился.— Мартин пребывал в убеждении, что всякий, кто мало-мальски наслышан о городских новостях, должен знать о подметальной машине. Он пустился в рассуждения, совершенно позабыв про Кейла. Может, у Бачигалупи и для него местечко найдется. Они, видать, сами деньги печатают. Три конных фургона уже и грузовик новый.

Кейл повернул на Алисальскую улицу, зашел на почту и заглянул в окошечко 632. Там ничего не было, и он отправился домой.

Ли был уже на ногах и готовил начинку для огромной индейки.

— Всю ночь бродил? — спросил Ли.

— Да нет, только что пройтись вышел.

— Волнуешься?

— Есть немного.

— На твоём месте я бы тоже волновался. Дарить подарки трудно. Хотя получать, наверное, ещё труднее. Чудно, правда? Кофе хочешь?

— Не откажусь.

Ли вытер руки, налил чашку себе и Кейлу.

— Как тебе Арон?

— По-моему, нормально.

— Поговорить удалось?

— Пока нет,— соврал Кейл. Сейчас проще соврать. Иначе Ли начнет расспрашивать, а ему не хотелось говорить об Ароне. Сегодня его день. Он долго готовился к этому дню, ждал его, как праздника. Это будет его праздник.

Вошел заспанный Арон.

— Ли, ты на когда обед намечаешь?

— На полчетвертого или на четыре.

— А если в пять сделать?

— Можно и в пять, если Адам не против. А в чем дело?

— Абра только к пяти прийти может. Одну идею отцу собираюсь изложить и хочу, чтобы при ней.

— Ну что ж, в пять так в пять.

Кейл вскочил и поднялся к себе. Там он включил настольную лампу и сел. В нем кипела обида и досада. Арон отнимает у меня мой день, и как легко это у него получается. Мой праздник хочет своим сделать. И вдруг Кейлу стало невыносимо совестно. Он уронил голову на руки и начал твердить себе: «Я просто завидую. Да, я завистливый, в этом все дело. Я завидую, завидую. Но я не хочу никому завидовать». Он повторял снова и снова: «Завидую... завидую», — как будто признаваясь в этом чувстве, он хотел избавиться от него. От покаяния он перешел к самобичеванию: «Зачем я дарю отцу деньги? Разве я это ради него делаю? Нет, ради себя. Уилл Гамильтон правильно сказал — я пытаюсь купить его любовь. Нехорошо это, нечестно. Я вообще нехороший и нечестный. Искожу завистью к Арону. Надо называть вещи своими именами».

Кейл продолжал хриплым шепотом: «Надо смотреть правде в глаза. Я знаю, почему отец любит Арона. Потому что он похож на нее. Отец все еще переживает из-за нее. Он, может, не сознает этого, но все равно переживает. А может, сознает? Поэтому я и ей тоже завидую. А что, если забрать деньги и уехать? Никто по мне плакать не будет. Скоро они вообще забудут, что я есть на свете. Все забудут, кроме Ли. Интересно, любит он меня? Может и нет». Кейл прижал кулаки ко лбу. «Неужели Арон тоже так мучается? Вряд ли. Хотя откуда я знаю. Спросить? Да не скажет он».

Кейл то злился на себя, то жалел. И вдруг услышал какой-то голос, который говорил холодно, даже презрительно: «Если ты такой честный, почему не признаешься, что тебе нравится заниматься самобичеванием? Ведь это же правда. Так почему же не быть самим собой, почему не делать то, что хочется?» Кейл прямо-таки остоленел от этой простой мысли. Конечно же, ему это нравится. Он ругал себя для того, чтобы не ругали другие. В нем крепла решимость. Надо отдать отцу деньги, но сделать это как бы между прочим. Не придавай этому значения, ни на что не рассчитывай, не строй никаких планов. Отдай и дело с концом. И хватит думать. Надо отдать... на-

до уметь отдавать. Пусть это будет Аронов день. Да конечно! Кейл вскочил со стула и быстро спустился к кухне.

Арон держал индейку, а Ли начинял ее фаршем. Духовка постреливала от жара.

— Имеем восемнадцать фунтов. По двадцать минут на фунт...— бубнил Ли себе под нос.— Восемнадцать на двадцать — это будет триста шестьдесят минут, ровно шесть часов. Сейчас одиннадцать часов... Двенадцать, час...— считал он, загибая пальцы.

— Арон, кончишь — давай пройдемся,— сказал Кейл.

— Куда? — спросил Арон.

— Никуда, просто так. Мне нужно у тебя кое-что спросить.

Братья вышли, и Кейл направился наискосок через улицу в магазин Бержеса и Гаррисьера, которые торговали заграничными винами.

— Послушай, Арон, я вот о чем подумал... Ты не хочешь купить вина к обеду? Деньги я дам, я тут немного заработал.

— А какого вина?

— Надо как следует отметить праздник. Давай шампанского, а? Пусть это будет вроде как твой подарок.

— Нет, дорогие юноши,— сказал Джо Гаррисьер,— вы возрастом не вышли.

— Почему, мы же к семейному обеду берем.

— Понимаю, но продать вам вино права не имею.

— Тогда мы вот как сделаем,— сказал Кейл.— Мы заплатим, а вы пришлете вино отцу, идет?

— Идет! — обрадовался Джо Гаррисьер.— Могу предложить вам *Oeil de Perdrix*.— Он причмокнул губами, как будто пробуя вино на вкус.

— А что это такое? — деловито осведомился Кейл.

— Куропачий глаз, сорт шампанского. Очень тонкое, и цвет особый, как глаз куропатки... Знаете, нежный такой, розовый, вернее темно-розовый. Сухое. Четыре пятьдесят бутылка.

— А это не дорого? — встревожился Арон.

Кейл рассмеялся:

— Конечно, дорого! Хорошо, Джо, пришлите, пожалуйста, три бутылки. Это будет твой подарок отцу,— обернулся он к брату.

Кейлу казалось, что день тянется бесконечно долго. Ему хотелось пройтись, но какая-то сила удерживала его дома. Часов в одиннадцать Адам отправился на призывной пункт посмотреть списки очередной партии молодых людей.

Арон внешне был совершенно спокоен. Он сидел в гостиной, разглядывая карикатуры в старых номерах «Обозрения обозрений». Из кухни по всему дому разливались сочные запахи поджариваемой индейки.

Кейл пошел к себе, достал из комода подарок и положил его на стол. Он хотел прикрепить к пакету карточку с надписью «Отцу от Кейла». Нет, лучше так: «Адаму Траску от Кейлеба Траска». Он порвал карточки на мелкие кусочки и спустил их в уборную.

Почему именно сегодня? — думал он. Не лучше ли вручить подарок завтра? Просто пойти к нему, сказать спокойно: «Это тебе» и уйти. Так проще. «Нет, — сказал он вслух. — Я хочу, чтобы остальные тоже видели». Только так. Но страх теснил Кейлу грудь, у него повлажнели ладони — как у молодого актера перед выходом на сцену. И тут ему вспомнилось то утро, когда отец пришел за ним в полицейский участок. Взаимная близость, тепло и, главное, отцовское доверие — такие вещи не забываются. Отец поверил ему. Он ведь даже сказал: «Я верю в тебя, сын». Да, тогда ему было куда как легче.

Около трех часов Кейл услышал, что вернулся отец, и из гостиной донеслись негромкие голоса. Он пошел вниз, там беседовали отец и Арон.

— Времена переменились, — говорил Адам. — Теперь молодому человеку надо иметь специальность, иначе он ничего не добьется. Поэтому я рад, что ты учишься в колледже.

— Последнее время я как раз об этом думаю, — отвечал Арон. — Засомневался я, честно говоря.

— Нечего тут думать и сомневаться. Ты правильно решил. Возьми, к примеру, меня. Я о многом знаю, но все понемногу, а этого совсем недостаточно, чтобы в наше время зарабатывать на жизнь.

Кейл тоже присел. Адам не обратил на него внимания. Он был целиком занят своими мыслями.

— Это же естественно, когда человек хочет, чтобы его сын добился успеха,— продолжал Адам.— И вообще мне, наверное, виднее.

В комнату заглянул Ли.

— Кухонные весы неправильны,— объявил он.— Блюдо будет готово раньше, чем указано в рецептурной таблице. Боюсь, в индейке нет восемнадцати фунтов.

— Ничего, держи пока на медленном огне,— отозвался Адам и продолжал, обращаясь к Арону: — Сэм Гамильтон это предвидел. Помню, он говорил, что время универсальных умов кончилось. Запас знаний так велик, что ни один человек не в состоянии овладеть ими. Приходит пора, когда каждый ученый будет знать только крошечную область, зато досконально.

— Да, он говорил это,— заметил Ли, стоя в дверях,— но говорил с сожалением. Не нравилось ему это.

— Разве? — сказал Адам.

Ли ступил в комнату. В правой руке он держал большую соусную ложку, подставив под нее левую горсть, чтобы не капало на ковер. Но войдя в гостиную, он забыл о предосторожности и начал размахивать ложкой, роняя капли жира на пол.

— Вы вот спросили, и я тоже засомневался,— говорил он.— То ли он огорчился из-за этого, то ли я ему свое отношение приписываю.

— Чего ты так разволновался? — сказал Адам.— Словом нельзя обменяться — сразу на свой счет принимаешь.

— Может быть, не наука стала большой, а человек — маленьким? — горячился Ли.— Люди падают на колени перед атомом, а душа у них при этом разве уменьшается до размеров атома? Может быть, узкий специалист — это просто трус, который боится высунуться из своей скорлупы? Он дальше своего участка ничего не видит, а за забором-то — целый мир!

— Мы же о другом говорим,— возразил Адам.— Только о том, как на жизнь заработать.

— На жизнь заработать, деньги заработать,— возбужденно продолжал Ли.— Деньги заработать — легче легкого, если тебе только деньги нужны. Но людям не деньги нужны. Большинству роскошь подавай, преклонение, власть...

— Хорошо, ты что — против учения в колледже возражаешь? Мы же только о колледже говорим.

— Прошу прощения,— сказал Ли.— Вы правы, я в самом деле чересчур разволновался. Нет, я не возражаю против учения в колледже. При условии, что колледж — это то место, где человек обретает связь с миром. Станфорд — это то место, Арон?

— Не знаю,— задумчиво откликнулся тот.

На кухне что-то зашипело.

— Боже ты мой! — воскликнул Ли.— Проклятые потроха убежали.— И стремглав кинулся из гостиной.

Адам тепло посмотрел ему вслед.

— До чего замечательный человек. И друг замечательный.

— Хорошо, если бы он до ста лет прожил,— сказал Арон.

— Откуда ты знаешь? — фыркнул Адам.— Может, ему уже сто?

— Как дела на холодильной фабрике, отец? — спросил Кейл.

— Неплохо. Вполне себя окупает да и прибыль кое-какую дает.

— Я кое-что придумал, чтобы она настоящий доход приносила.

— Не будем сегодня о делах,— сразу же возразил Адам.— Отложим на понедельник, ладно?.. А знаете,— продолжал он,— до чего же хорошее у меня сегодня настроение. Давно такого не было. Такое чувство, будто... как бы сказать... будто исполнились все мои желания. Может, просто выспался как следует, и душ подбодрил. А, может, оттого, что мы все вместе и в доме покой.— Он улыбнулся Арону: — Мы и не знали, что будем так скучать без тебя.

— Я тоже скучал,— признался Арон.— Первые дни вообще казалось, что умру без вас.

Вошла запыхавшаяся Абра. Щеки у нее порозовели, глаза радостно сияли.

— Видели? — воскликнула она.— На Бычьей горе — снег.

— Я тоже заметил,— сказал Адам.— Говорят, это обещает удачный год. А удача никогда не помешает.

— Я дома едва притронулась к еде,— заявила Абра.— Берегла аппетит.

Ли церемонно извинялся за то, что обед получился не такой, как хотелось бы. Он бранил газовую плиту, которая жарит не так, как дровяная. Ругал новую породу индеек, у которой нет чего-то такого, чем славилась индюшати́на в прежние времена, но его дружно перебили, сказав, что он ведет себя, как старая хозяйка, напрашивающаяся на похвалу, и он засмеялся вместе со всеми.

Когда был подан грушевый пудинг, Адам открыл шампанское. Настал торжественный миг. За столом воцарился дух изысканной вежливости и доброжелательности. Всем хотелось сказать тост. По очереди выпили за здоровье каждого, а Адам даже произнес небольшой спич в честь Абры.

Глаза ее сияли. Арон под столом пожал ее руку. Вино успокаивающе подействовало на Кейла, и он перестал нервничать из-за подарка.

Покончив с пудингом, Адам сказал:

— Такого замечательного Дня благодарения я просто не помню.

Кейл достал из кармана пиджака пакет, перевязанный красной тесьмой, и положил его перед отцом.

— Что это? — спросил тот.

— Подарок.

Адам был доволен.

— Не Рождество, а смотри-ка — подарок. Интересно, что это может быть?

— Носовой платок,— сказала Абра.

Адам снял тесьму, развернул бумагу и в изумлении уставился на деньги.

— Что это? — спросила Абра и привстала посмотреть. Арон тоже нагнулся вперед. В дверях напрасно старался сохранить спокойствие на лице Ли. Он кинул на Кейла быстрый взгляд и увидел в его глазах ликующее торжество.

Медленно, словно нехотя, Адам развернул банкноты веером.

— Что это?..— будто откуда-то издалека донесся его голос и оборвался.

Кейл судорожно сглотнул.

— Это тебе... я заработал... ты так много потерял на салате...

Адам тяжело поднял голову.

— Заработал? И каким же образом?

— Мистер Гамильтон... мы вместе... на фасоли,— выжал из себя Кейл и торопливо продолжал: — Мы заплатили по пяти центов под будущий урожай, а когда цены подскочили... Тут пятнадцать тысяч... это тебе.

Адам выровнял банкноты, завернул их в папиросную бумагу и вопросительно поглядел на Ли. Кейл чувствовал, что надвигается беда, вот-вот случится что-то непоправимое, и ему стало нехорошо. Отцовский голос сказал:

— Ты должен их вернуть.

Тоже словно издали Кейл услышал собственный голос:

— Вернуть? Кому?

— Тем, у кого получил.

— Британской закупочной компании? Как же они обратно возьмут? Они всем за фасоль по двенадцать с половиной центов платят.

— Верни фермерам, которых ты ограбил.

— Никого мы не грабили! — воскликнул Кейл. — Мы же на два цента больше рыночной цены за каждый фунт платили. — У него было такое ощущение, будто он повис в воздухе, а время медленно обтекает его.

Отец долго молчал, потом заговорил — тяжело, с остановками:

— Я отбираю таких, как ты, в армию. Ставлю свою подпись, и они идут на войну. Одни гибнут, другие останутся без рук без ног. Вряд ли кто вернется целый и невредимый. Сын, неужели ты думаешь, что я мог бы наживаться на их жизнях?

— Я сделал это ради тебя,— сказал Кейл. — Я хотел вернуть тебе то, что ты потерял.

— Нет, Кейл, мне не нужны деньги. А что до истории с салатом — не ради наживы я ее затеял. Это было вроде игры... мне хотелось посмотреть, можно ли перевозить салат на большие расстояния. Затеял игру и проиграл, вот и все.

Кейл смотрел прямо перед собой. Он чувствовал, что под взглядами Ли, Арона и Абры у него краснеют щеки, но не мог оторвать глаз от шевелящихся отцовских губ.

— Мне приятно, что ты решил сделать мне подарок. Спасибо тебе, сын, что ты подумал...

— Я уберу, я сохраню их для тебя,— перебил его Кейл.

— Нет, я никогда не возьму эти деньги. Я был бы счастлив, если бы ты подарил мне... ну, например, то, чем гордится твой брат,—увлеченность делом, радость от своих успехов. Деньги, даже честные деньги, не идут ни в какое сравнение с такими вещами.— Лоб у Адама разгладился, он добавил: — Ты рассердился на меня, сын? Не надо. Живи правильно — это будет мне самый дорогой подарок. Я буду беречь его.

Кейл чувствовал, что задыхается, во рту было горько, по лбу струится пот. Он вскочил и, опрокинув стул, выбежал из гостиной, сдерживая рыдания.

— Не сердись, сын! — крикнул Адам вдогонку.

Никто не полез утешать Кейла. Он сидел у себя за столом, подперев голову руками. Он думал, что вот-вот заплачет, но глаза его оставались сухими. Ему было бы легче от слез, но они будто испарялись от раскаленного чугуна, который заливал ему голову.

Немного погодя Кейл отдышался и почувствовал, как потихоньку, словно украдкой, зашевелились в мозгу нехорошие мысли. Сделав усилие, он вытеснил их в дальний угол сознания, однако и там, в глубине, они продолжали свою коварную работу. Кейл оборонялся от них как мог, но ненависть разливалась по всему телу, отравляя каждый его нерв и каждую клеточку. Он со страхом чувствовал, что теряет самообладание.

Потом настал момент, когда он перестал владеть собой, но и страх тоже прошел, и, преодолевая боль, торжествующе вспыхнул мозг. Рука Кейла потянулась к карандашу и сама собой начала выписывать на блокноте тугие спиральки. Когда часом позже в комнату вошел Ли, бумага была сплошь изрисована спиральками, десятки и десятки — одна другой меньше. Кейл даже головы не поднял.

Ли тихонько притворил за собой дверь.

— Я вот кофе тебе принес.

— Я не хочу... впрочем, давай. И спасибо тебе, Ли. Так мило с твоей стороны.

— Перестань! — сказал Ли.— Немедленно перестань, слышишь?

— Что «перестань»? Что я должен перестать?

Ли заговорил, словно нехотя.

— Ты вот однажды пожаловался, что это есть в тебе

самом. Помнишь, что я ответил? Я ответил, что это можно побороть... при желании.

— Что побороть, Ли? Не понимаю, о чем ты говоришь.

— Ты меня совсем не слушаешь, Кейл. Не желаешь слушать. Неужели ты на самом деле не понимаешь, что я хочу сказать?

— Я слушаю тебя, Ли. Что ты хочешь сказать?

— Он просто не мог поступить иначе. Это у него в натуре, а против собственной натуры не пойдешь. У него нет другого выхода, а у тебя есть. Слышишь меня? У тебя есть выход.

Спиральки делались все мельче и мельче, линии соприкасались, соединялись, сливались, образуя одно черное блестящее пятно.

— Тебе не кажется, что ты поднимаешь шум по пустякам? — хладнокровно проговорил Кейл. — Неизвестно что воображаешь. Послушать тебя, можно подумать, что я кого-то убил. Брось придумывать, Ли, честное слово, хватит.

Ли ничего не ответил. Кейл обернулся — его уже не было в комнате. На столе стояла дымящаяся чашка. Кейл чуть ли не залпом выпил горячий кофе и спустился в гостиную.

Адам поднял на него жалостный взгляд.

— Прости меня, отец, — сказал Кейл. — Я не знал, что ты так к этому отнесешься. — Он взял пакет с деньгами с камина, куда его положили, и сунул обратно во внутренний карман пиджака. — Я подумаю, что сделать с этими деньгами. — Потом добавил как бы между прочим. — А где все?

— Абре надо было домой, Арон пошел ее провожать. А Ли куда-то вышел.

— И я, пожалуй, пройдусь, — сказал Кейл.

4

На дворе уже спустилась ноябрьская ночь. Кейл приоткрыл переднюю дверь и на белеющей стене «Французской прачечной» через улицу увидел очертания фигуры Ли. Он сидел на ступеньках, и тяжелое пальто его торчало горбом.

Кейл потихоньку прикрыл дверь и прошел гостиной в кухню. «От шампанского пить хочется», — сказал он. Отец не поднял головы.

Кейл выскользнул во двор, пошел между редкими грядами, предметом особой заботы Ли. Потом перелез через высокий забор, ступил на доску, служившую мостками через канаву с черной водой, и тесным переулком между Лэнговой пекарней и мастерской местного жестянщика выбрался на Кастровилльскую улицу.

По ней он дошел до Каменной, где стоит католическая церковь, взял налево, миновал дома Каррьяго, Уилсонов, Забала и у дома Стейнбеков снова повернул налево, на Центральный проспект. Еще два квартала, и он был у школы на Западной стороне.

Тополя перед школьным двором почти облетели, лишь кое-где покачивались под вечерним ветром пожухлые листья.

Внутри у Кейла все как будто онемело. Он даже не замечал холода, которым несло с гор. Впереди, через несколько домов он увидел человека — тот пересекал круг света, падающий от фонаря, и направлялся в его сторону. По походке и по фигуре он узнал брата и вообще он знал, что встретит его тут.

Кейл замедлил шаги и, когда Арон приблизился, окликнул его:

— Эй, а я тебя ищу.

— Ты уж извини меня за сегодняшнее,—сказал Арон.

— Ты тут ни при чем... Ладно, не будем об этом.— Братья пошли рядом.— Не хочешь со мной? — спросил Кейл.— Могу кое-что показать.

— Что именно?

— Сам увидишь. Думаю, тебе будет интересно. Очень интересно.

— Только если недолго.

— Нет, совсем недолго.

Они вышли на Центральный проспект и направились к Кастровилльской улице.

5

Вербовочный пункт в Сан-Хосе сержант Аксель Дейн обычно открывал ровно в восемь, но, если он немного задерживался, за него это делал капрал Кемп, причем безропотно.

Аксель Дейн представлял собой довольно распространенный тип американского вояки. Длительная служба в армии Соединенных Штатов между двумя войнами — Испанской и Германской — сделала его совершенно непригодным к жестокой, неупорядоченной жизни на гражданской. Он прекрасно понял это во время месячного перерыва между двумя сроками армейской службы в мирных условиях, а они вместе, в свою очередь, сделали его не пригодным к участию в войне, и потому он разработал целую методику, как не попасть на фронт. Вербовочный пункт в Сан-Хосе доказывал правильность этой методики. Он ухаживал за младшей девицей из богатого семейства Ричи, а она — так уж случилось — проживала именно в этом городке.

Кемп был в армии недолго, однако он успешно усваивал основное уставное правило: лады с непосредственным начальством и по возможности держись подальше от офицеров. Его отнюдь не трогали легкие насмешки и нагоняи, какими баловался Дейн.

В восемь тридцать Дейн вошел в помещение пункта и увидел, что Кемп похрапывает за столом, а рядом терпеливо жмет на стуле какой-то паренек. Бросив на него взгляд, сержант зашел за перегородку и положил руку на плечо Кемпу.

— Милый, — пропел он. — Заря занялась, и уже заливаются жаворонки.

Кемп поднял голову с рук, вытер нос тылом ладони и чихнул.

— Будь здоров, хороший мой! — сказал сержант. — Вставай, у нас клиент.

Кемп прищурил набрякшие веки.

— Война подождет.

Дейн внимательно оглядел паренька.

— Боже ж ты мой! Вот это красавчик. Будем надеяться, что там поберегут такого, а? Капрал, вы, конечно, полагаете, что он хочет сражаться с ненавистным врагом, а я считаю, что он от любви драпает.

Кемп с облегчением понял, что сержант еще не до конца протрезвел.

— Думаете, девица какая обидела? — Он научился подыгрывать сержанту. — Думаете, он в Иностранный легион метит?

— Может, он от самого себя драпает.

— Посмотрел я то кино,— сказал Кемп.— Там один сержант есть, подлюга и сучий сын.

— Быть такого не может,— возразил Дейн.— Ну, двигай поближе, парень. Тебе, говоришь, восемнадцать?

— Да, сэр.

Дейн обернулся к подчиненному:

— Как считаешь?

— Чего там считать? Ростом вышел, значит, годится.

— Восемнадцать...— проговорил сержант.— Значит, так и запишем?

— Да, сэр.

— Заполни вот этот бланк. Высчитай, в каком году родился, укажи там и хорошенько запомни.

ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ

1

Джо не нравилось, что Кейт целыми часами сидит в своем кресле, не двигаясь и глядя в одну точку. Это означало, что она думает. Поскольку лицо ее ровным счетом ничего не выражало, он не мог проникнуть в ее мысли и оттого сильно беспокоился. Ему очень не хотелось упустить свой первый настоящий шанс.

У него был один-единственный план и поэтому пусть она посидит, понервничает, пока не даст где-нибудь маху. А там видно будет, чем ее охмурить. Но вот как догадаешься — нервничает она или нет, ежели сидит, как истукан, и в стенку зырит.

Джо видел, что Кейт сегодня не ложилась. Он спросил ее насчет завтрака, а она только головой легонько мотнула. Может, вообще его не слышала, поди узнай.

«Не суетись! — предупреждал он себя.— Смотри в оба и востри уши». Девки тоже, видать, чуют: что-то неладно, но у каждой, видите ли, собственное объяснение имеется. Дуры набитые, мозги куриные!

Кейт не могла сосредоточиться. Разные образы метались у нее в голове, как мечутся в сумерках летучие мыши. То перед нею вставало лицо ее белокурого красавца, его засверкавшие от потрясения и злости глаза, и слышались

его сердитые слова, которые он выкрикивал не столько ей, сколько самому себе. То она видела его смуглого братца — тот стоял, прислонившись к косяку, и смеялся.

Она тоже тогда засмеялась, это самое быстрое и самое верное оружие самозащиты — смех. Что же он сделает, ее сын, ее мальчик? Что он сделал после того, как не торопясь вышел из комнаты?

Ей вспомнился устало-безжалостный и довольный взгляд Кейла, когда он, не спуская с нее глаз, медленно ватворял за собой дверь.

Зачем он привел брата? Что ему нужно, чего он добивается? Если бы она знала, то могла бы встретить их как полагается. Но она не знала.

У нее снова ломило суставы, причем ломота проявлялась то в одном месте, то в другом. Когда она двигалась, нестерпимо ныла поясница, ближе к правому боку. Значит, боль надвигается со всех сторон, думала она, и рано или поздно она сойдется в середине, как сбивается в подвале стая крыс, и примется грызть ее.

Несмотря на все добрые советы, которые Джо давал самому себе, он не мог сидеть сложа руки. Так и сегодня он не утерпел и с чайником в руке негромко постучал к Кейт в дверь, приоткрыл ее и вошел. Насколько он мог заметить, она даже не вставала.

— Чайку вот принес, мэм.

— Поставь на стол, — откликнулась она и, словно подумав, добавила: — Спасибо тебе, Джо.

— Нездоровится, мэм?

— Опять руки заболели. Не помогло новое лекарство.

— Может, что сделать нужно?

Она приподняла руки.

— Разве что отрубить их... — Лицо ее исказилось от боли, причиненной движением. — И ведь никакого просвета нет, — добавила она жалобно.

Джо ни разу не слышал такого слабодушия в ее голосе, и чутье подсказало ему, что пора действовать.

— Может, ни к чему вам лишнее беспокойство, но я кое-что разнюхал об ней... — По молчанию Кейт Джо понял, что она насторожилась.

— О ком это ты? — наконец тихо спросила она.

— Об гулящей об этой.

— А, об Этель.

— Об ней самой.

— Надоела она мне... Чего разнюхал-то?

— Я вам по порядку, потому как не усек я, что к чему. Стою я, значит, в табачной у Келлога, и подходит ко мне один. Ты, говорит, Джо? А я ему, откуда, мол, знаешь. Знаю, говорит, и все, ты одного человека ищешь. Я его сроду не видал, но заинтересовался. Так, мол, и так, выкладывай, ежели знаешь. «Она с тобою хочет говорить»,— так прямо и выложил. Я ему, значит: «За чем же дело стало?» А он смотрит на меня, как на чокнутого. «Ты чего, не помнишь, что судья сказал?» Видать, намекал, что она возвернуться грозилась,— Джо видел бледное, неподвижное лицо Кейт и ее глаза, уставившиеся в стену.

— А потом денег потребовал? — проговорила Кейт.

— Никак нет, мэм, денег не потребовал. Плести начал что-то, не разобрал я. Ты, говорит, Фей знаешь? Не, говорю, в первый раз слышу. А он мне, значит: «Поговори с ней, не пожалеешь». Я ему тогда говорю, посмотрим, мол, и пошел себе. Никак не допру, чего он намолол. Дай, думаю, хозяйке донесу.

— Ты в самом деле не знаешь, кто такая Фей? — спросила Кейт.

— В самом деле не знаю.

Голос у Кейт сделался вкрадчивый.

— Ты, выходит, ни разу не слышал, что Фей была хозяйкой в нашем доме?

Джо почувствовал, что внутри у него что-то дернулось и заныло. Ну и дубина! Надо же так по-глупому подставиться. Мысли его заметались.

— А-а... теперь вроде что-то припоминаю... Разве не Фейз ее звали?

Мимо Кейт, конечно, не прошло, как, струхнув, встрепенулся Джо. От его беспокойства померк в голове облик белокурого Арона, притупилась боль в руках и прибыло сил. Ловко я его, подумала она с удовольствием.

— Скажешь тоже — Фейз,— словно самой себе повторила она и негромко рассмеялась ¹. — Налей-ка мне чайку, Джо!

¹ Здесь непереводаемая игра слов: Фейз (Faith) по-английски вера.

Кейт, казалось, не замечала, как дрожит у Джо рука, и постукивает о чашку носик чайника. Она даже не взглянула на него, когда он поставил чай перед ней и отступил в сторонку, чтобы она его не видела. Он буквально трясся от страха.

— Скажи, Джо, ты можешь меня выручить? — умоляющим тоном произнесла Кейт. — Я готова тебе десять тысяч отвалить, если ты наконец уладишь это дело. — Она выждала ровно секунду и, круто повернувшись, вперилась ему в лицо.

Джо облизывал губы, глаза у него повлажнели. Он отшатнулся от ее резкого движения, словно его ударили, но цепкий взгляд Кейт не отпускал его.

— Попался, голубчик?

— Не пойму я, о чем вы, мэм.

— А ты иди и подумай! Когда пораскинешь как следует мозгами — потолкуем. Ты ведь у нас сообразительный. погоди, пошли-ка мне Терезу.

Джо не терпелось выбраться вон из этой комнаты, где его разделали, как бог черепаху. Да, натворил он делов. Видать, все его шансы теперь к чертям собачьим. Сучка проклятая, еще изгаляется, подумал он, услышав:

— Спасибо за чай, Джо. Ты парень примерный.

Ему хотелось хлопнуть дверью, но он побоялся.

Кейт осторожно, стараясь не потревожить больной бок, поднялась, подошла к бюро и вытащила листок бумаги. Пальцы едва держали перо.

«Дорогой Ральф, — царапала она, водя всей рукой, чтобы не тревожить кисть. — Скажите шерифу, что не вредно посмотреть отпечатки пальцев Джо Валери. Вы знаете Джо, он у меня служит. Ваша Кейт». Она сложила бумагу, и тут вбежала перепуганная Тереза.

— Вы меня звали? Я что-нибудь не то сделала, мэм? Я, честное слово, старалась, только нездоровится мне.

— Поди сюда, — сказала Кейт. Бедняжка застыла у бюро, а она не торопясь надписывала конверт и наклеивала марку. — Хочу попросить тебя о небольшом одолжении. Сходи в кондитерскую, к Беллу, возьми две коробки ассорти. Одну большую, на пять фунтов — угостишь девочек, другую маленькую, на фунт, мне принесешь. Потом зайдешь в аптеку Крафа и купишь мне две зубных щетки

среднего размера, смотри, не перепутай, и баночку зубного порошка — знаешь, такую, с носиком?

— Конечно, знаю, мэм,— Тереза с облегчением вздохнула.

— Ну вот и умница! — продолжала Кейт.— Я давно ж тебе приглядываюсь. Понимаешь, Тереза, нездоровится мне в последнее время. Если будешь хорошо выполнять мои поручения, я, пожалуй, тебя вместо себя оставляю, когда в больницу лягу.

— Значит, вы... Неужели вы хотите лечь в больницу?

— Пока еще точно не знаю, милочка. Но помощница мне все равно потребуется. Вот тебе деньги на конфеты. И не забудь — щетки среднего размера.

— Не забуду, мэм, спасибо, можно идти?

— Иди. И знаешь что? Девочкам пока ничего не говори. Постарайся незаметно из дома выйти.

— Я черным ходом пройду,— заторопилась Тереза.

— Да, чуть было не забыла,— сказала Кейт.— Тебе не трудно опустить это в почтовый ящик?

— Ну что вы, мэм, конечно, не трудно! Больше ничего не нужно?

— Нет, милочка, кажется все.

Тереза ушла, а Кейт положила обе руки на крышку бюро, давая отдых ноющим пальцам. Ну вот оно, начинается. Пожалуй, она всегда знала, что он придет, этот час. Наверняка знала... впрочем, не надо сейчас об этом думать. Еще будет время. Джо, конечно же, уберут, но ведь обязательно найдется еще кто-нибудь... И сама эта поганка Этель. Так что раньше или позже... не надо об этом думать, не надо. Ее мысли ходили на цыпочках туда и сюда, взад и вперед, словно ища какую-то вещь, которая то попадалась на глаза, то пропадала. Первый раз краешек ее высунулся, когда она думала о своем белокуроем сыночке. Они появились рядом — эта вещь и его лицо, растерянное, испуганное, убитое горем. И тут Кейт вспомнила.

Она вдруг увидела себя девочкой, совсем маленькой и хорошенькой, розовощекой, как ее сын. Эта девочка понимала, что она умнее и красивее своих сверстниц. Но время от времени она чувствовала себя совсем одинокой, и ее охватывал такой страх, как будто ее обступает высоченный лес врагов. И каждым своим помыслом, взглядом

и словом они старались навредить ей. Она плакала от испуга, потому что ей некуда было бежать от них и негде спрятаться. Потом однажды она увидела одну книгу. Читая ее научили, когда ей было пять лет. Она хорошо помнила эту книгу в твердом оторвавшемся переплете коричневого цвета с серебряным тиснением. Это была «Алиса в стране чудес».

Кейт переменяла положение: у нее затекли локти. Перед глазами встали картинки из книги, и на каждой — Алиса с длинными прямыми волосами. Но больше всего поразил ее воображение и запал в память на всю жизнь пузырек с надписью «Выпей меня!». Она многому научилась у Алисы.

Когда Кэти начинал обступать лес врагов, она была наготове. В кармане у нее лежал пузырек с подслащенной водой, и на этикетке с красным обводом она написала «Выпей меня!». Она отпивала глоточек и начинала уменьшаться, уменьшаться. Пусть-ка теперь враги поищут ее! Она спрячется под какой-нибудь листок или залезет в муравьиную норку, и будет выглядывать оттуда и смеяться над ними. Никто ее не найдет! И нигде ее не запрет, и никто от нее не запрется, потому что она под любой дверью пешком пройдет.

Она любила Алису, играла с ней и делилась всякими секретами. Алиса была верной подружкой и всегда ждала ее, когда ей пожелается стать маленькой-маленькой.

Это было замечательно, так замечательно, что иногда просто хотелось чувствовать себя покинутой и несчастной. И все-таки у нее была приготовлена еще одна маленькая хитрость. В ней ее сила и ее спасение. Стоит только выпить весь пузырек, и ты начнешь уменьшаться и уменьшаться, пока не исчезнешь совсем и не перестанешь существовать. И самое приятное, что, когда тебя не будет, то не будет никогда. Вот ее желанное спасение. Иногда, ложась в постель, она глотала много-много капель из «Выпей меня» и делалась маленькой, как самая крохотная мошка. Но она никогда не пробовала выпить себя насовсем — не было причины. Она тщательно скрывала от других эту маленькую хитрость.

Кейт вспоминала нарисованную в книге девочку и печально качала головой. Странно, почему она забыла про свою волшебную выручалочку. Сколько раз она спасала ее

от разных напастей и бед. До чего интересно спрятаться под клеверным листком, и как дивно просвечивает сквозь него солнце. Кэти и Алиса, две неразлучные подружки, обнявшись бродили среди высоченных травяных стеблей. Кэти и в голову не приходило выпить весь пузырек с надписью «Выпей меня», потому что у нее была Алиса.

Кейт уронила голову на скрюченные руки. В душе было одиноко, холодно, пусто. Она много чего натворила, но ее вынуждали к этому. Да, она отличается от других, ей больше дано. Она подняла голову, по лицу ее бежали слезы, но она не пошевелилась, чтобы смахнуть их. Да, это сущая правда. Она умнее и сильнее, чем другие. У нее есть то, чего нет у них.

Едва она подумала об этом, как перед ней выплыло смуглое лицо Кейла. Губы его кривились в злой усмешке. И тут она почувствовала вдруг такую тяжесть, что едва не задохнулась.

У других есть то, чего нет у нее, но она не знала, что именно. Теперь она знает и готова; она поняла, что готовилась к этой минуте давно, быть может, всю свою жизнь. Ум ее работал, как несмазанное колесо, тело дергалось, как кукла в руках неумелого кукловода, но она методично принялась за последние приготовления.

Был полдень, она поняла это по щебетанию в столовой. Лентяйки, сони несчастные, только что встали.

Дверная ручка долго не поддавалась; наконец Кейт удалось повернуть ее, зажав между ладонями.

Девушки словно подавились смехом и испуганно уставились на нее. Из кухни прибежал повар.

Бледная, осунувшаяся, скособоченная, Кейт была похожа на привидение. Она прислонилась к стене, улыбнулась, но улыбка еще больше напугала девушек, им показалось, будто изо рта у нее вот-вот вырвется дикий крик.

— А где Джо? — спросила Кейт.

— Куда-то вышел, мэм.

— Слушайте меня внимательно, — начала она. — Я долго не спала и совсем измучилась. Сейчас я приму лекарство и усну, и чтоб никто меня не беспокоил. Ужинать, конечно, не буду. Мне надо как следует выспаться. Передайте Джо, чтобы никто не приходил ко мне до завтрашнего утра. Ни под каким видом, понятно?

— Понятно, мэм.

— Тогда спокойной ночи. Я знаю, сейчас день, но я желаю всем спокойной ночи.

— Спокойной ночи, мэм,— послушным хором откликнулись девушки.

Кейт повернулась и поплелась к себе.

Прикрыв за собой дверь, она оглядела комнату, соображая, что нужно сделать. Подошла к бюро, присела. Превозмогая боль, взяла ручку и как можно четче написала: «Все свое имущество я оставляю моему сыну Арону Траску». Поставила число и подпись: «Кэтрин Траск». Пальцы ее погладили бумагу. Потом она поднялась, оставив завешание на видном месте лицевой стороной вверх.

У стола посередине комнаты она налила в чашку холодного чаю, отнесла ее в камору и поставила на столик. Подойдя к трюмо, причесала волосы, взяла немного румян, втерла в лицо, слегка напудрила нос и щеки, подкрасила губы бледной помадой, которой всегда пользовалась. Напоследок она подпилила ногти и сделала маникюр.

Теперь, когда закрылась дверь в большую комнату, здесь, в серой каморе опустился полумрак, и только лампа бросала кружок света на столик. Кейт взбила и поправила подушки в кресле, прилегла, чтобы проверить, удобно ли. Ей было даже весело, как будто она собиралась на вечеринку. Она бережно выудила цепочку из лифа, отвинтила крышку с цилиндрика и вытряхнула облатку на ладонь. Заулыбалась, глядя на нее.

«Съешь меня»,— скомандовала Кейт себе и кинула облатку в рот. Потом взяла чашку. «Выпей меня»,— сказала она и отхлебнула крепкого чаю.

Она заставила себя думать только об Алисе, такой крошечной, ожидающей ее. Но другие лица сами лезли на глаза — лица отца и матери, Карла и Адама, Самюэла Гамильтона, Арона, ухмыляющееся лицо Кейла. Он молчал, но злые огоньки в его глазах говорили за него: «Вам чего-то не хватает. У людей это есть, а у вас нет».

Она снова заставила себя думать об Алисе. В стене напротив была дырка от гвоздя. Алиса наверняка там. Сейчас она обнимет Кэти за талию, и Кэти обнимет ее, и они пойдут рядышком, две верные подружки, маленькие, величиной с булавочную головку.

Боль в пальцах постепенно унималась, сладко цепенели руки и ноги. Веки словно набухли, отяжелели. Она зевнула.

— Алиса ведь не знает, что я сразу в прошлое, — то ли подумала она, то ли сказала, то ли подумала, что сказала.

Глаза закрылись, и ее вдруг затошнило, затрясло. Она испуганно открыла глаза и обвела комнату угасающим взглядом. В серой камере совсем потемнело, и только тусклый кружок света от лампы колыхался и расплывался, как вода в озерце. Веки ее опять опустились, и ладони сложились в горсть, словно держали маленькие груди. Сердце стучало торжественнее и тише, дыхание слабело, становилось реже, а она сама уменьшалась, уменьшалась, уменьшалась и вдруг исчезла совсем — как будто ее и не было.

2

Прямо от Кейт Джо пошел в парикмахерскую — он всегда так делал, бывая в расстроенных чувствах. Там его подстригли, вымыли голову яичным шампунем, сполоснули хинной водой, сделали массаж лица и горячий компресс, подпилили ногти на руках, а также до блеска начистили ботинки. Обычно эта процедура плюс новый галстук прекрасно поднимали дух, однако на этот раз, расставаясь с цирюльником и полдолларом чаевых, он все еще пребывал в поганом настроении.

Попался-таки в ее мышеловку, прямо штаны с него спустила. Цепкая баба, смекалистая, такой палец в рот не клади. И опасному фокусу научилась, никогда не поймешь, блефует она или нет.

Клиент в тот вечер шел вяло, но потом ввалилась орущая орава из станфордского отделения общества «Сигма, Альфа, Эпсилон» — шестнадцать членов и двое кандидатов. Они только что прошли инквизиторскую, изобилующую всякими подначками церемонию принесения присяги в Сан-Хуане, и их бьющая через край энергия требовала разрядки.

Флоренс, которая по ходу представления должна была изображать девочку с сигаретой, простудилась. Каждый раз, когда она затягивалась, чтобы пустить дым, ее разбирал кашель. У жеребчика-пони обнаружился жесточайший понос.

Студюозы ржали от восторга и хлопали друг друга по спине. Выкатываясь из борделя, они шутки ради прихватили с собой все, что плохо лежало. После их ухода две девицы затеяли ленивую дурацкую перебранку, и Тереза первый раз получила возможность показать замашки старины Джо. Словом, вечерок выдался — хуже некуда.

А там, в конце коридора, за затворенной дверью притаилась беда. Перед тем, как пойти к себе, Джо постоял у двери, но ничего не услышал. В половине третьего он запер дом и в три улегся и начал ворочаться — сон не шел. Тогда он уселся в постели и проглотил семь глав «Добычи Барбары Уорт», а когда рассвело, спустился в пустую кухню и зажег огонь под кофейником.

Он сидел, поставив локти на стол и обеими руками держа кружку с кофе. Где-то он дал маху, факт, но где? Может, она пронюхала, что Этель отдала концы? Тогда смотри в оба. И здесь к нему пришло и крепко засело в голове решение. Вот будет девять, он пойдет к ней и поговорит. Только ухо остро надо держать. Может, он чего не расслышал. Самое правильное сейчас — выложить ей все напрямик и затребовать свои, только не переборщить. Давай, мол, тысячу, и я сматываюсь отсюда, а ежели не захочет, черт с ней, все равно сметаюсь. Глядишь, в Рино банкометом устроится, работенка «от» и «до» и никаких тебе юбок. Хорошо бы квартиркой собственной обзавестись и обставить ее чин-чином — кресла кожаные, диван, ну и все такое. Чего он потерял в этом паршивом городишке? Лучше вообще в другой штат перебраться. Ему вдруг пришло в голову: а не рвануть ли прямо сейчас? Подняться наверх, сложить вещички — всего и делов-то. Пять минут, и поминай, как звали. Не с кем ему тут прощаться-обниматься. Заманчиво, ничего не скажешь. Шанс подзаработать на Этель не такой уж крупный, как сперва казалось. С другой стороны, тысяча долларов на земле не валяются. Не, лучше подождать.

Пришел повар в самом мрачном настроении духа. У него на шее выскочил чирей, кожа так воспалилась и распухла, что отдавалось в голове. Нечего посторонним тут у него в кухне под ногами путаться, и без них тошно.

Джо пошел к себе в комнату, почитал еще немного и уложил чемодан. Как бы ни повернулось с ней, он твердо решил сматываться.

Ровно в девять он легонько постучал к Кейт и толкнул дверь. Постель ее была нетронута. Он поставил поднос на стол и постучал в камору раз, потом другой, негромко окликнул хозяйку и вошел.

На стол падал кружок света. Голова Кейт утопала в подушках.

— Видать, всю ночь тут проспали,— сказал Джо. Он подошел поближе, увидел бескровные губы и погасшие глаза под полузакрытыми веками и понял, что она мертва.

Он задумчиво покачал головой и выскочил в переднюю комнату посмотреть, закрыта ли дверь. Потом, не теряя ни секунды, обшарил ящик за ящиком комод, проверил сумочки и портмоне, заглянул в шкатулку около кровати и оторопел: ни единой мало-мальски стоящей вещицы, даже щетка для волос в серебряной оправе и та куда-то подевалась.

Снова по-быстрому в пристройку и нагнулся над ней — ни колечка, ни булавки какой. Потом заметил тонюсенькую цепочку на шее, ловко поддел ее пальцем, разомкнул замочек. С цепочкой вытянулись золотые часики, патрон какой-то и ключи от сейфа, с номерами 27 и 29.

— Вон куда заначила, сучка,— процедил он, снял часики с цепочки и сунул их в карман. Ему хотелось двинуть ей по морде, но тут пришла мысль порыскать в бюро.

Бумага с двумя нацарапанными строчками и подписью сразу же бросилась в глаза. За такую хороший куш отвялят. Он сложил бумагу и бережно положил в карман. Потом взял с полки пачку бумаг — счета и квитанции, на другой лежали страховки, на третьей — записная книжечка, где на каждую дешевку целое дело заведено. Сгодится, в карман. На одной полке — пачка больших конвертов, желтых, не почтовых. Он стянул с них резинку, открыл один и вытащил фотографию. На обороте аккуратным остреньким почерком Кейт имя, адрес, занятие.

Джо радостно гоготнул. Вот это да, всем шансам шанс! Он открыл другой конверт, третий. Господи Иисусе, да тут целый Клондайк! На это сколько ж годков припеваючи прожить можно. Глянуть, к примеру, на этого толстожопого, который в городском совете сидит — со смеху помрешь! Он схватил конверты резинкой.

В верхнем ящичке обнаружилось восемь десятидолларовых бумажек и связка ключей. Деньги сразу пошли в кар-

ман. Джо приоткрыл второй ящичек — в нем бумага писчая, сургуч, пузырек с чернилами, и в эту секунду в комнату постучали. Он подошел к двери, высунулся. В коридоре стоял повар.

— Там тебя один видеть желает.

— Кто такой?

— А я откуда знаю.

Оглянувшись, Джо вышел в коридор, вынул ключ изнутри, запер дверь и ключ в карман. Может, чего проглядел там.

Оскар Ноубл стоял в просторной гостиной. На нем была серая шляпа и драповое, в рыжую клетку полупальто, застегнутое до самого верха. Глаза тоже водянистые, серые, того же цвета, как щетина на щеках и подбородке. Ставни еще не открыли, в комнате света едва-едва.

Джо ленивой походочкой вошел из коридора, и Оскар спросил:

— Тебя Джо зовут?

— Кому потребовался?

— Шериф с тобой поговорить хочет.

У Джо внутри похолодело.

— Задержание? — спросил он. — Покажь ордер.

— Какой к чертям ордер! — сказал Оскар. — Ничего мы тебе не клеим. Проверка, простая формальность. Пройдем?

— Пройдем, отчего не пройти, — согласился Джо.

Они вышли. Джо поежился.

— Пальтишко бы взять...

— Хочешь — возьми.

— Да ладно уж, обойдусь.

Они шли в сторону Кастровилльской улицы.

— Раньше загребали? — спросил Оскар. — Брали отпечатки?

Джо помолчал, потом сказал:

— Было дело.

— За что?

— Выпил и легавому двинул, — объяснил Джо.

— Ну вот и проверим, — сказал Оскар Ноубл и повернул за угол.

Джо рванул, как заяц, через улицу, через железнодорожные пути, туда, где виднелись пакгаузы и переулки Китайского квартала.

Чтобы достать револьвер, Оскару пришлось сорвать перчатку и расстегнуть пальто. Он выстрелил, выкинув руку, и промахнулся.

Джо начал петлять на бегу. Он был уже метрах в пятидесяти и приближался к проходу между двумя зданиями. Оскар подскочил к телефонному столбу на обочине, уперся в него левым локтем, левой же ладонью ухватил правое запястье и навел мушку на начало узкого проулка. Как только Джо попал в поле прицела, он выстрелил.

Джо грохнулся ничком и проехал по земле с полметра.

Рядом была бильярдная какого-то филиппинца. Оскар Ноубл зашел туда и позвонил в участок. Когда он вышел оттуда, вокруг убитого уже собралась порядочная толпа.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

1

Гораций Куин стал шерифом в 1903 году, победив на местных выборах мистера Р. Кифа. В качестве помощника шерифа он накопил хороший опыт, и избиратели решили: коли бóльшая часть работы все равно лежит на нем, пусть он и будет шерифом. Куин пробыл в должности до 1919 года. Он так долго занимал свой пост, что мы, монтерейские подростки, воспринимали слова «шериф» и «Куин» как одно целое. Никого другого на его месте мы себе просто не представляли. Куин так и состарился шерифом. В молодости он повредил ногу и потом всю жизнь слегка прихрамывал, но мы знали, что он храбр и стоек, потому что много раз выходил победителем из всевозможных переделок и перестрелок. Кроме того, у него и вид был, как у настоящего шерифа — других-то мы ведь не видели. Крупное, квадратное красноватое лицо, седые усы, закручивающиеся как рога у быка-лонгхорна, могучие плечи. С возрастом он приобрел осанистость, которая придавала ему еще больший вес. Ходил он в стетсоновской шляпе из дорогого фетра и просторной английской куртке, а кобуру с револьвером под старость носил на заплочном ремне, потому что прежний поясной чересчур оттягивался под ее весом и давил на живот. Он досконально знал свой округ еще в 1903-м, а уж в 1917-м узнал его лучше некуда

и единолично поддерживал в нем надлежащий порядок. Коротко говоря, шериф Куин был одним из столпов здешней жизни и такой же неотъемлемой частью Салинас-Валли, как и обступавшие ее горы.

После того, как Кейт пальнула в Адама, Куин держал ее под негласным надзором. Когда умерла Фей, он нутром чувствовал, что именно эта бабенка скорее всего повинна в ее смерти, но понимал, что у него нет доказательств, а умный шериф ни за что не станет биться головой об стенку. Да и стоит ли огород городить из-за каких-то потаскух.

Со своей стороны Кейт не пыталась обвести шерифа вокруг пальца, так что мало-помалу он даже проникся к ней определенным уважением. С проституцией бороться все равно невозможно, пусть уж лучше бордели будут под началом солидных и строгих мадам. К тому же Кейт время от времени застукивала у себя разных типов, числящихся в бегах, и доносила Куину. В заведении у нее всегда был полный порядок. Словом, Куин и Кейт вполне ладили меж собой.

В субботу после Дня благодарения часов в двенадцать шериф Куин просматривал бумаги, найденные в карманах Джо Валери. Пуля тридцать восьмого калибра прошила ему край сердечной мышцы и вышла через ребра, вырвав кусок мяса величиной с кулак. Желтые конверты склеились от спекшейся крови. Шерифу пришлось намочить платок и, прикладывая его к плотной бумаге, разнимать их. Завещание было сложено и запачкалось только снаружи. Он прочитал его, отложил и, глубоко вздыхая, начал разглядывать фотографии.

От содержимого каждого конверта зависели честь и покой человека. Если эти фотографии ловко пустить в ход, не оберешься самоубийств, неизвестно, сколько людей покончат с собой. Сама Кейт уже лежала на столе в мертвецкой Мюллера, ее накачивали формалином, а в помещении судебно-медицинской экспертизы стояла банка с ее желудком.

Просмотрев все карточки до единой, Куин взял телефонную трубку и набрал номер.

— Ты не можешь заглянуть ко мне в участок? — сказал он. — Завтракаешь? Ничего, подождет твой завтрак. Да, очень важно, сам увидишь. Я жду.

Через несколько минут в старой кирпичной окружной тюрьме позади здания суда появился человек, чье имя называть не обязательно, и встал у конторки шерифа. Тот выложил перед ним завещание.

— Ты у нас законник. Скажи, эта бумага имеет какую-нибудь силу?

Посетитель пробежал глазами две написанные строчки и шумно вдохнул через нос.

— Это та самая?

— Та самая.

— Понятно... Если ее имя действительно Кэтрин Траск и это ее рука и если Арон Траск действительно ее сын,— то законнее быть не может.

Ногтем указательного пальца Куин приподнял кончики своих пушистых усов.

— Ты ведь знал ее?

— М-м... не то чтобы знал. Я знал, кто она.

Куин поставил локти на стол и подался вперед.

— Сядь-ка, потолковать надо.

Человек пододвинул стул, завертел пальцами пуговицу на пальто.

— Кейт тебя шантажировала? — спросил шериф.

— Шантажировала? С какой стати?

— С такой. Я по-дружески спрашиваю. Она же померла. Чего ты боишься?

— Не понимаю, о чем ты... Никто меня не шантажирует.

Куин выудил фотографию из соответствующего конверта и кинул, как игральную карту, лицевой стороной на стол.

Посетитель водрузил очки на переносицу и прерывисто задышал, засвистел ноздрями.

— Господи Иисусе,— проговорил он едва слышно.

— Ты что, не знал, что она снимает?

— Знал... Она сама мне сказала... И что же ты с этим собираешься сделать? Да не молчи ты, Христа ради!

Куин взял фотографию у него из рук.

— Гораций, что ты с ними сделаешь?

— Сожгу.— Большой палец шерифа с треском прошелся по краю пачки.— Адская колода, правда? — сказал он.— Если ее раздать, в округе такое начнется...

На отдельный листок Куин выписал столбиком имена,

поднялся, опираясь на хроющую ногу, и подошел к железной печке, стоящей у стены. Там смял «Салинасскую утреннюю газету», поджег ее и бросил в печку. Когда комок разгорелся, он бросил в огонь пачку конвертов, выдвинул задвижку, закрыл дверцу. В печке загудело, и сквозь слюдяные окошки было видно, как заиграли внутри желтые языки пламени. Куин потер ладони, как будто счищал грязь.

— Негативы тоже там,— сказал он.— Сам ее бюро обыскал. Других отпечатков нет.

Посетитель хотел было что-то сказать, но сумел только выдать хриплым шепотом:

— Спасибо тебе, Горацій.

Шериф, переваливаясь, вернулся к столу, взял листок с именами.

— Хочу попросить тебя об одном одолжении. Вот список. Поговори с теми, кто тут значится. Скажи, что я сжег фотографии. Ты же всех их знаешь, черт побери. Тебе поверят. Ангелы — они только на небесах водятся. Поговори с каждым по отдельности, расскажи, что тут произошло. Гляди! — Куин открыл дверцу печки и начал шуровать кочергой, сминая сгоревшую бумагу в пепел.— Все расскажи.

Посетитель поглядел на шерифа, и тот понял, что нет такой силы на земле, которая отныне помешала бы сидящему напротив него человеку видеть в нем злейшего врага. До гробовой доски между ними будет стоять невидимая стена, хотя ни один не посмеет признаться в этом.

— Даже не знаю, как тебя благодарить, Горацій.

— Ладно, чего уж там,— печально проговорил шериф.— Надеюсь, мои друзья и со мной поступили бы таким же манером.

— Вот сволочь проклятая! — выдавил посетитель, и Горацій Куин понял, что в какой-то степени проклятие адресовано ему самому. И еще он понял, что недолго уже ему быть шерифом. Эти пристыженные уважаемые граждане выпрут его с должности, ничего другого им не остается. Он вздохнул и сел за стол.

— Иди, тебя завтрак дожидается,— буркнул он.— А у меня работы по горло.

Без четверти час шериф Куин свернул с Главной улицы на Центральный проспект. В булочной Рейно он взял

горячий, прямо с поду, душистый батон французского хлеба. Опираясь на перила, он взошел на крыльцо дома и позвонил.

Дверь открыл Ли. Вокруг пояса у него было обернуто кухонное полотенце.

— Его нет дома,— сказал он.

— Нет, так будет. Я на пункт позвонил — идет он.

Ли посторонился, пропуская гостя, и усадил его в гостиную.

— Чашку горячего кофе не желаете?

— Не откажусь.

— Только что заварил,— сказал Ли и скрылся в кухне.

Куин с удовольствием оглядел удобную гостиную и подумал, что хватит ему сидеть в своем участке. Один знакомый доктор говорил ему: «Люблю принимать ребенка при родах, потому что меня ждет радость, если я хорошо потружусь». Шериф часто вспоминал эти слова и думал, что если он хорошо потрудится, его ждет чья-то беда. То, что его работа необходима,— слабое утешение. Да, пора на пенсию, хочет он этого или нет.

Рисуя себе уход на пенсию, каждый мечтает заняться тем, на что не хватало времени раньше: путешествовать по разным городам и странам, читать книги, которые не успел раскрыть, хотя делал вид, будто читал их, и тому подобное. Много лет шериф мечтал о том времени, когда он сможет поохотиться, порыбачить, побродить по горам Санта-Лусия, пожить в палатке на берегу какой-нибудь неизвестной речушки. И теперь, стоя на пороге этой прекрасной предзакатной поры, он вдруг почувствовал, что ему не хочется ни рыбачить, ни охотиться. Поспишь на земле — разболится нога. Подстрелишь оленя — попробуй-ка поволочи на себе тяжелую обмякшую тушу. Да и не любитель он оленины. Мадам Рейно в вине ее вымачивает, потом приправы разной добавит, поперчит хорошенько, но ведь после такой готовки и старый башмак уплетешь за милую душу.

Ли приобрел новую, струйную кофеварку с ситечком. Куин слышал, как ударяется о стеклянный колпак пробивающийся сквозь молотые зерна кипятка, и его натренированный ум отметил, что китаец покривил душой, сказав, что у него только что сварился кофе.

У старика была хорошая память, обострившаяся за долгие годы службы. При желании он выстраивал перед

глазами разных людей, рассматривал их лица и жесты, слышал их слова, воссоздавал целые сцены, как будто кинопроектор включал или ставил старую пластинку. Едва он подумал об оленине мадам Рейно, как его ум начал машинально регистрировать вещи в гостиной, и не просто регистрировать, но и словно подталкивать в бок, приговаривая: «Глянь-ка, тут что-то не так, чудно вроде».

Шериф внял совету, подаваемому внутренним голосом, и принялся рассматривать комнату: мебель обита цветастым ситцем, кружевные занавески, на столе — белая вышитая скатерть, диванные подушки с затейливым рисунком. Словно для дамочки комнатка, а в доме одни мужики.

Он представил себе свою собственную гостиную. Все, что в ней есть, высмотрено, приобретено и в чистоте поддерживается неутомимой миссис Куин, все, до последней вещицы. Разве что к подставке для трубок она не притрагивается, хотя сама же ее и купила, если уж на то пошло. Комната у Трасков тоже вроде бы женщиной убрана, но только с виду. Чересчур кокетливая, что ли, мужчиной придумана, с перебором. Наверняка китайские штучки. А Адам ничего не замечает, не говоря уже о том, чтобы твердой рукой порядок навести... Впрочем, нет, тут другое... Ли старается, чтобы у Трасков дом был, семейный очаг, так сказать, но Адам, видно, даже этого не замечает.

Горацій Куин вспомнил, как давным-давно допрашивал Адама и был поражен глубиной его горя. Он как сейчас видел его отрешенный затравленный взгляд. Он еще подумал тогда, какой перед ним чистый и честный человек, и даже растерялся. Впоследствии они часто бывали вместе. Оба принадлежали к братству вольных каменщиков. Они вместе проходили обряд посвящения в масоны, по очереди — сначала Адам, потом Горацій — занимали кресло мастера местной ложи и оба носили булавки экс-мастера. И тем не менее будто невидимая стена отгородила Адама от других людей. Никто не мог заглянуть к нему в душу, и он сам не мог распахнуть ее ни перед кем. Но во время того мучительного разговора стены между ними не было.

Женившись, Адам соприкоснулся с реальным миром. Горацій подумал о Кейт — лежит вся серая, обмытая, иглы в горле, к ним прикреплены спускающиеся с потолка резиновые трубки с формалином.

Адам не способен на бесчестный поступок. Бесчестные поступки совершают те, кто жаждет чего-нибудь. А ему ничего не нужно. Шериф старался понять, что же все-таки происходит за этой стеной, какие там заботы, радости и какая боль.

Он переменял положение, чтобы не сильно опираться на хромую ногу. В доме было тихо, слышалось только, как бурлит вода в кофеварке. Адам что-то задерживается. Старую, изумленно подумал шериф, и ничего, нравится.

Стукнула входная дверь, пришел Адам. Ли тоже услышал его и кинулся в прихожую.

— Шериф пришел,— предупредил он.

Адам вошел в гостиную и, улыбаясь, подал Куину руку.

— Здравствуй, Горацій! Ордер при себе? — Старая шутка, но срабатывает безотказно.

— Привет,— отозвался Куин.— Твой помощник собирался напоить меня кофе.

Ли скрылся в кухне и загремел тарелками.

— Что-нибудь случилось? — спросил Адам.

— В моей работенке всегда что-нибудь случается. Дай сначала кофейку испить.

— Говори, не стесняйся. Ли все равно услышит. Даже через закрытую дверь. У меня от него секретов нет. Бесполезно — обязательно разузнает.

Вошел Ли с подносом. Он улыбался, едва заметно, словно своим мыслям, разлил кофе и исчез. Адам снова спросил:

— Что-нибудь серьезное, Горацій?

— Нет, не очень. Скажи, ты не развелся с той особой?

Адам весь напрягся.

— Нет, а что?

— Сегодня ночью она с собой покончила.

Лицо у Адама исказилось, на покрасневших глазах выступили слезы, рот задергался. Он старался не дать волю чувствам, но потом упал лицом на стол и зарыдал.

— Бедная ты моя, бедная... — твердил он.

Куин терпеливо ждал, пока Адам успокоится. Через некоторое время тот взял себя в руки и поднял голову.

— Ты уж прости, Горацій.

Пришел Ли, вложил в руки Адаму смоченное в воде полотенце. Тот послушно протер лицо, отдал полотенце назад.

— Совсем не думал...— виновато сказал он.— Что я должен сделать? Я заберу ее. Сам похороню.

— Я не стал бы,— возразил Гораций.— Впрочем, если считаешь, что это твой долг... Но я не за этим пришел.— Он вытащил сложенный листок из кармана и протянул Адаму.

Тот отпрянул.

— Это... это ее кровь?

— Да нет, не ее, не бойся. Прочти.

Адам прочитал и уставился в бумагу, словно за написанными двумя строками увидел что-то еще.

— Ведь он... он не знает, что она его мать,— сказал он.

— Как не знает? Ты что, никогда не рассказывал?

— Никогда.

— Вот тебе на...— протянул шериф.

— Не захочет он от нее ничего,— убежденно произнес Адам.— Давай порвем это, и дело с концом. Если узнает, ничего от нее не захочет.

— Не имеем права — порвать-то,— сказал Куин.— Мы и так кое в чем нарушили. Деньги она в банке хранит, в собственном сейфе. Неважно, где я раздобыл завещание и ключи. Решил не дожидаться судебного предписания и сам сходил в банк, чтобы проверить.— Шериф умолчал о том, что хотел, кроме того, посмотреть, нет ли там других фотографий.— Старина Боб все понял. Мы вдвоем сейф открыли, но никто это не докажет. Так вот, там больше ста тысяч в золотых сертификатах и наличные. Сколько там пачек — не считал. Одни деньги в сейфе, и ни единой вещицы, ничего, понял?

— Совсем ничего?

— Бумага еще есть — брачное свидетельство.

Адам откинулся в кресле. Взгляд принял отсутствующее выражение, и сам он заволакивался незримой пеленой, закрывающей его от других людей. Однако чашку на столе заметил, отхлебнул кофе и спросил спокойно:

— Что я, по-твоему, должен сделать?

— Скажу только, что я бы сделал на твоём месте,— ответил шериф.— Впрочем, ты вовсе не обязан слушаться моего совета. Я бы немедленно позвал парня и все ему

рассказал — с самого начала до самого конца. Объяснил бы, почему раньше молчал. Сколько ему сейчас?

— Семнадцать.

— Взрослый мужик. Все равно потом узнает. Лучше уж сразу выложить, ничего не утаивать.

— Кейл и сейчас знает,— задумчиво проговорил Адам.— Интересно, почему она именно на Арона записала?

— Бог ее ведает. Ну, что решил?

— Ничего не решил. Поступлю, как ты говоришь. Ты побудешь со мной?

— Побуду, побуду.

— Ли,— позвал Адам,— скажи Арону, чтобы спустился. Он ведь пришел домой?

Ли появился в дверях. Его тяжелые веки на миг прикрылись, потом поднялись.

— Еще не пришел. Может, он в колледж уехал.

— Нет, он бы мне сказал. Понимаешь, Горащий, мы на праздник шампанского хватили. А Кейл где?

— У себя,— ответил Ли.

— Позови его. Пусть придет. Он наверняка знает.

Плечи у Кейла были опущены и выдавали усталость, но лицо, хоть и осунулось, было непроницаемое и настороженное, и вообще он смотрел вызывающе.

— Где брат, не знаешь? — спросил Адам.

— Не знаю.

— Ты что, совсем его не видел?

— Совсем.

— Два дня дома не ночует. Куда же он подевался?

— Откуда я знаю? — сказал Кейл.— Я не сторож ему.

Адам вздрогнул, совсем незаметно, и опустил голову. В самой глубине его глаз вспыхнул на миг и погас ослепительно-яркий голубой огонь.

— Может, он на самом деле в колледж уехал,— хрипло выдал он. Губы у него отяжелели, и речь стала похожа на бормотанье спящего.— Как ты думаешь, в колледж уехал?

Шериф Куин поднялся с кресла.

— Ладно, мне не к спеху. А ты ложись, отдохни. Тебе надо в себя прийти.

Адам поднял голову.

— Да-да, лягу. Спасибо тебе, Джордж. Большое тебе спасибо.

— Джордж? Почему Джордж?

— Большое тебе спасибо,— повторил Адам.

Шериф ушел, Кейл поднялся к себе, а Адам откинулся в кресле и сразу же уснул. Рот у него открылся, он храпел.

Ли немного постоял подле него и пошел в кухню. Там он приподнял хлебницу и достал из-под нее небольшой переплетенный в кожу томик с полустершимся золотым тиснением — «Размышления Марка Аврелия» в английском переводе. Он протер очки кухонным полотенцем и начал листать книгу. Потом заулыбался, найдя то, что искал.

Читал он медленно, шевеля губами.

«Ничто не постоянно. Приходит и уходит и тот, кто помнит, и то, что помнится.

Наблюдение показывает, что все происходит из перемен. Размышление подсказывает: ничто так не угодно природе мира, как изменять вещи и создавать новые, на них похожие. Все сущее есть семя, из какового произрастает будущее».

Несколькими строчками ниже он прочитал:

«Ты скоро умрешь, но подступающее небытие не облегчает твой удел и не освобождает от треволнений; ты все еще подвержен внешним опасностям и не можешь быть равно добрым к каждому. Еще не срок ограничить мудрость единственно справедливыми поступками».

Ли поднял голову от книги и ответил писателю, как будто тот был его дальним предком:

— Это верно, хотя и трудно принять, прости. Но не забудь, что ты сам же говорил: «Выбирай прямую дорогу, ибо прямая дорога — в природе вещей». Помнишь? — Он положил книгу, страницы перевернулись, и открылся форзац, на котором плотницким карандашом было размашисто написано: «Сэм Гамильтон».

Ли ни с того ни с сего повеселел. Интересно, Сэм хватился книги или нет, догадался, кто ее украл? Он считал тогда, что самый верный и самый простой способ раздобыть книгу — украсть ее. С тех пор он ни разу не пожалел об этом. Ли любовно погладил гладкую кожу переплета, потом положил томик под хлебницу. «Ну, конечно, он понял, кто взял книгу,— сказал он вслух.— Кому еще взбрело бы в голову красть Марка Аврелия?» Ли пошел в гостиную и подвинул кресло поближе к спящему Адаму.

Кейл сидел за столом, подпирая раскалывающуюся голову ладонями и надавливая пальцами на виски. В животе у него бурчало, в ноздри изо рта бил перегар, он словно был окутан перегаром, каждая пора его кожи и каждая складка одежды, казалось, пропитаны им.

Кейл до этого не пил — не было ни потребности, ни повода. Поход в бордель не облегчил боль обиды, и месть не принесла торжества. Рваными, клочковатыми облаками проносились в воспаленном мозгу звуки, образы, ощущения. Происшедшее никак не отделялось от воображаемого. Он помнил, что, когда они с братом вышли из заведения, он дотронулся до его рукава, и тот резким ударом свалил его на землю — точно хлыстом стеганул. Арон постоял над ним, потом вдруг круто повернулся и побежал в темноту, всхлипывая, как испуганный, страдавший ребенок. Кейл и сейчас различал сквозь топот тот хриплый, надрывный плач. Он лежал, не двигаясь, где упал, — под развесистой бирючиной в палисаднике, и до него доносилось пыхтение и шипение паровозов у поворотного круга и лязг составляемых товарных вагонов. Он закрыл глаза, но слышал легкие шаги, почувствовал, что кто-то подошел и нагнулся над ним. Он глянул, и ему показалось, что это Кейт. Фигура неслышно отошла.

Немного погодя Кейл встал, стряхнул с себя пыль и пошел к Главной улице, удивляясь, что почти ничего не чувствует. Он шел и напевал под нос: «Чудесно роза расцвела в ничейной полосе».

В пятницу Кейл весь день не находил себе места, а вечером Джо Лагуна принес ему литровую бутылку виски. Самому Кейлу по возрасту спиртное не отпускали. Джо очень хотелось присоединиться к Кейлу, но в конце концов он довольствовался полученным от того долларом и тут же отправился купить себе пол-литра граппы.

Кейл пошел в переулок за Торговым домом Эббота и спрятался в том самом укромном местечке позади фонарного столба, откуда совершил первый поход в заведение матери. Там он уселся на землю, скрестив ноги, и, преодолевая отвращение и подступавшую тошноту, начал вливать в себя виски. Два раза его вырвало, но он продолжал пить до тех пор, пока не закачалась под ним земля и не закружился каруселью фонарь.

В конце концов бутылка выскользнула у него из рук, он потерял сознание, но его все еще рвало. В переулок забрел бродячий пес, короткошерстый, хвост кольцом, и, степенно останавливаясь, делал свои дела, но потом учуял Кейла и осторожно обошел его стороной. Джо Лагуна тоже учуял Кейла. Он взял бутылку, прислонившуюся к его ноге, встряхнул ее, посмотрел на свет, отбрасываемый фонарем: на треть полна. Джо поползал вокруг, понапрасну ища пробку, и пошел себе, заткнув горлышко большим пальцем, чтобы не расплескалось.

Когда на рассвете Кейл проснулся от холода, на душе у него и вокруг него все было погано. Он потащился домой, как полураздавленный жук, благо недалеко было — только из переулка выползти и улицу пересечь.

Ли слышал, как Кейл ввалился в дом — от него несло, как из бочки, — как он, шатаясь и хватаясь за стены, добрался до своей комнаты и свалился на кровать. Уснуть Кейл не мог: раскалывалась от боли голова и неотступно грызла совесть. Немного погодя он стал под ледяной душой и изо всех сил натерся пемзой — самое лучшее, что он был способен придумать. По всему телу разливалось жжение и успокаивало, возвращало силы.

Он знал, что должен повиниться перед отцом и просить у него прощения. Должен признать, что брат лучше и добрее его. Иначе ему не жить. И все-таки, когда Ли позвал Кейла, злость на себя обернулась у него злостью на целый свет, и перед отцом и шерифом Куином стоял сейчас затравленный, готовый отгрызнуться щенок, которого никто не любит, и он сам не любит никого.

Когда Кейл вернулся к себе, его охватило острое чувство вины, и он не знал, как от него избавиться. Он вдруг испугался за брата. А что если Арон угодил в беду. Не умеет он за себя постоять. Кейл понял, что должен вернуть Арона домой, должен разыскать его и сделать так, чтобы он снова стал таким, как прежде. Это нужно сделать во что бы то ни стало, даже если придется пойти на жертву. Идея жертвы увлекла Кейла, как и любого, жаждущего искупить вину. Арон почувствует, что ради него чем-то пожертвовали и тогда обязательно вернется.

Кейл подошел к комоду и достал из ящика спрятанный между платками пакет. Он обвел глазами комнату и поставил на стол фарфоровую пепельницу. Потом глубоко вздох-

нул, и прохладный воздух показался ему приятным на вкус. Взяв хрустящую банкноту, он сложил ее пополам, домиком, и, чиркнув спичкой снизу о крышку стола, поджег. Пламя побежало по плотному листку, он свернулся, почернел, и, лишь когда огонь обжег пальцы, Кейл бросил обуглившийся комок в пепельницу. После чего снял вторую банкноту и тоже поджег.

Когда догорала шестая, в комнату без стука вошел Ли.

— Гарью пахнет,— сказал он и, увидев, что делает Кейл, негромко охнул.

Кейл думал, что Ли вмешается, и приготовился дать отпор, но тот стоял, сложив руки на животе, и молча ждал. Кейл упрямо, одну за другой жег банкноты, а когда они кончились, растер черные хлопья в порошок и посмотрел на Ли, дожидаясь, что тот скажет. Ли все так же неподвижно стоял и молчал.

— Ну что же ты молчишь? — не выдержал Кейл.— Хотел поговорить — говори!

— Нет,— ответил Ли,— не хотел. И ты ничего не говори, если не хочешь. Я посижу немного и пойду. Вот тут присяду.— Он опустился на стул и сложил перед собой руки. По лицу его блуждала улыбка, которую называют загадочной.

Кейл отвернулся.

— Я дольше тебя посижу,— сказал он.

— Если решим состязаться,— вероятно. Но вот если сидеть целые дни, годы, может, и века — нет, Кейл, не пересидишь ты меня, проиграешь.

Немного погодя, Кейл раздраженно бросил:

— Ну что же, начинай свою нотацию.

— Не собираюсь я читать никаких нотаций.

— Тогда на кой черт ты сюда приперся? Ты же прекрасно знаешь, что я сделал. И что напился вчера — тоже знаешь.

— Не знаю, но догадываюсь. А что напился — чую.

— Как это так — чуешь?

— От тебя до сих пор несет.

— Первый раз это со мной. Ничего хорошего.

— По-моему, тоже. У меня желудок спиртное не принимает. Вдобавок я от него завожусь, то есть умственно завожусь.

— Что значит умственно?

— Приведу тебе один пример. В молодости я теннисом увлекался. Нравилась мне эта игра, да и полезно для слуги. Играешь парную с хозяином, берешь пропущенные им мячи и за сноровку не благодарность получаешь, а нечто более существенное — два-три доллара. Так вот, хватил я однажды как следует — херес, кажется, был,— и втемяшилась мне такая теория. Будто самые быстрые и увертливые существа на свете — это летучие мыши... Короче говоря, застукали меня ночью в звоннице Методистской церкви в Сан-Леандро. В руках у меня ракетка, и я доказываю полицейскому, что на этих самых летучих мышах удар слева отрабатываю.

Кейл так весело и так неподдельно, от души рассмеялся, что Ли пожалел, что ничего такого у него в жизни не случилось.

— А я у столба уселся и давай глушить. Как свинья наклюкался,— сказал Кейл.

— Вечно мы бедных животных...

— Я боялся, что пулю себе в лоб пушу. Вот и напился,— прервал его Кейл.

— Напрасно боялся. Чересчур себя любишь, чтобы застрелиться, и злобы в тебе много. Кстати, ты на самом деле не знаешь, где Арон?

— Убежал от меня, а куда — не знаю.

— В Ароне злобы нет,— проговорил Ли задумчиво.

— Знаю, меня самого это беспокоит. Но он ведь ни за что не решится, правда? Как ты думаешь, Ли?

— Старая история! Когда человек спрашивает у другого, что он думает, ему хочется, чтобы тот подтвердил его собственное мнение. Это все равно что спрашивать у официанта, что сегодня стоит заказать. Не знаю я, решится или нет.

— И зачем только я это сделал? — воскликнул Кейл. — Зачем?

— Пожалуйста, не усложняй,— сказал Ли. — Отлично знаешь, зачем. Ты разозлился на него, а разозлился потому, что обиделся на отца. Проще простого: разозлился, и все.

— Наверное, ты прав... Но я не хочу быть злым, не хочу! Что же мне делать, Ли, подскажи!

— Погоди-ка, кажется, это отец.— Ли выскользнул за дверь.

Кейл слышал, как они о чем-то говорят, потом Ли вернулся.

— На почту идет. Иногда мне кажется, что все мужское население Салинаса отправляется днем на почту, хотя никакой почты в это время не привозят.

— Многие по дороге заходят выпить,— заметил Кейл.

— Да, своего рода обычай, расслабиться можно, знакомых повидать... Знаешь, Кейл,— переменял Ли тему,— не нравится мне отец, очень не нравится. Глаза какие-то неподвижные, и вообще... Да, совсем забыл. Ты новость слышал? Вчера ночью твоя мать покончила с собой.

— Как покончила? Правда? — вскинулся Кейл и проворчал: — Надеюсь, помучилась хорошенько... Господи, что я говорю! Вот видишь, опять, опять! Не хочу я быть таким, не хочу!

Ли не спеша почесал голову в одном месте, потом в другом, третьем, будто вся она кругом зачесалась. Ему нужно было выиграть время и принять глубокомысленный вид. Наконец он спросил:

— Ты получил удовольствие от того, что сжег деньги?

— М-м... Кажется, да.

— А тебе не кажется, что ты получаешь удовольствие от самобичевания? Что наслаждаешься тем, что терзаешь себя?

— Ли!..

— Ты чересчур поглощен собой. Заворожен трагедией Кейлеба Траска. Еще бы! Кейлеб — великий и неповторимый. Кейлеб, чьи страдания должны быть воспеты новым Гомером. А тебе никогда не приходило в голову, что ты всего-навсего мальчишка? Просто-напросто зловредный сопляк, зловредный и в то же время благородный — как все сопляки. Молокосос, набравшийся скверных привычек, но и сохранивший редкую чистоту помыслов. Допускаю, что у тебя побольше энергии, побольше напористости, чем у других. Но в остальном ты такой же мальчишка, как твои сверстники. Хочешь выставить себя великомучеником только потому, что от шлюхи родился? А если, не дай бог, что-нибудь случилось с Ароном, то и роль братоубийцы себе присвоить? Сопляк ты несчастный!

Кейл медленно отвернулся к столу. Затаив дыхание, Ли пристально следил за ним — точно так же, как врач

следит за тем, как действует на пациента укол. Он видел, какие чувства бушуют в его подопечном: ярость, вызванная оскорблением, желание нанести ответный удар, и сменившая его горькая обида — признак того, что кризис миновал.

Ли облегченно вздохнул. Он действовал настойчиво и нежно, и труд его, судя по всему, не пропал даром.

— Кейл, мы — народ необузданный, — негромко начал он. — Надеюсь, тебя не удивляет, что я говорю «мы»? Вероятно, правильно утверждают, что американцы происходят из бродяг и бедокуров, драчунов и спорщиков, психопатов и преступников. Но среди наших предков были и мужественные, независимые и великодушные люди. Иначе мы бы до сих пор лепились на жалких кочках истощенной земли Старого Света и голодали.

Кейл повернулся к Ли, его насупившееся лицо расплылось в улыбке. Китаец понимал, что ему не удастся совсем уж заговорить своего воспитанника, а тот понимал, ради чего старается Ли, и был благодарен ему.

— Я говорю «мы», потому что нам всем это передано, независимо от того, откуда приехали наши отцы. У американцев разных цветов и оттенков кожи есть нечто общее. Все мы — порода, которая вывелась сама по себе. Именно поэтому мы ласковы и жестоки, как дети. Среди нас есть отчаянные смельчаки и жалкие трусы. Мы быстро сходимся с людьми, а с другой стороны, побаиваемся чужаков. Хвастаемся своими успехами и вместе с тем подражаем другим, как обезьяны. Мы чересчур сентиментальны, но и вполне прозаичны. Мы прагматики до мозга костей, расчетливость у нас в крови, а в то же время назови мне другую страну, которая так вдохновляется идеалами. Мы слишком много едим. У нас нет ни вкуса, ни чувства меры. Мы понапрасну растрачиваем нашу энергию. В Старом Свете говорят, что американцы из варварства перескочили сразу в декаданс, миновав промежуточные стадии. Но, может быть, те, кто критикует Америку, просто не подобрали ключ к нашему образу жизни? Да, мы все такие, Кейл, все до единого. И ты не очень отличаешься от других.

— Зубы заговариваешь? — улыбнулся Кейл. — Ну, давай, давай.

— Нечего мне больше давать. Я все сказал. Отцу пора бы вернуться. Беспокоит он меня.— С этими словами Ли торопливо вышел.

В прихожей, у входной двери, прислонившись к стене, стоял Адам. Плечи у него были опущены, шляпа сбилась на глаза.

— Адам, что с тобой?

— Не знаю. Устал вроде бы. Устал.

Ли взял его под руку, ему показалось, что Адам не знает, как пройти в гостиную. В комнате он тяжело рухнул в кресло, Ли снял с него шляпу. Правой рукой Адам потирал наружную сторону левой руки. Глаза у него были какие-то странные — неестественно-прозрачные и неподвижные, губы пересохли и распухли, речь сделалась, как у говорящего во сне — медленной, слышимой словно бы откуда-то издалека. Он яростно тер руку.

— Удивительно,— проговорил он.— Должно быть, в обморок упал... на почте. Никогда такого не было. Мистер Пьюда мне нашатырю под нос. Всего и длилось-то полминуты. Никогда обмороков не было.

— А почту привезли? — спросил Ли.

— Да-да, кажется, привезли.— Адам сунул левую руку в карман, потом вынул.— Рука что-то онемела,— сказал он виновато, потянулся правой рукой и достал желтую казенную открытку.

— Кажется, я уже прочитал... Да, наверное, прочитал. Он подержал открытку перед глазами, потом уронил на колени.

— Ли, пора мне, кажется, очки выписать. В жизни не страдал глазами, а сейчас вот плоховато вижу. Расплывается все.

— Может, я прочту?

— Странно... Завтра же схожу за очками... Да-да, прочти, что там.

Ли прочел:

— «Дорогой отец, я записался в армию. Наврал, что мне уже восемнадцать. Не волнуйся за меня. Все будет в порядке. Арон».

— Странно,— сказал Адам.— Вроде бы читал я... Впрочем, нет, кажется, нет.

Он изо всех сил тер руку.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

1

Та зима 1917—1918 годов была мрачным, тяжелым временем. Немцы продвигались вперед, сокрушая все перед собой. За три месяца англичане потеряли триста тысяч человек убитыми и ранеными. Во многих частях французской армии начались волнения. Россия вышла из войны. Отдохнувшие и усиленные новыми пополнениями и новым снаряжением германские дивизии были переброшены с восточного фронта на западный. Судя по всему, война была безнадежно проиграна.

Настал уже май, а в боевых действиях участвовало только двенадцать американских дивизий, и лишь летом восемнадцатого началась систематическая переправка наших войск в Европу. Союзные генералы грызлись между собой. Немецкие субмарины топили наши транспорты.

Вот тогда мы, наконец, уразумели, что война — отнюдь не лихой кавалерийский наскок, а кропотливый, изнурительный труд. Зимой мы совсем упали духом. Улеглось возбуждение первых недель, а упорства и привычки к тяжелой войне мы пока не выработали.

Людендорф был несокрушим. Ничто не могло остановить его. Он наносил удар за ударом по потрепанным английским и французским армиям. Мы уже начали опасаться, что не успеем соединиться с ними и окажемся один на один с непобедимой германской машиной.

Многие старались не замечать тягот войны, искали утешения кто в фантазиях, кто в пороках, кто в безрассудных развлечениях. Пошла мода на гадалок и предсказателей, в пивных не было отбоя от народа. Другие старались избавиться от растерянности и гнетущего страха, уходили в себя, замыкались в личных радостях и личных бедах. Как мы могли забыть все это? Первая мировая война вспоминается ныне совсем иначе: цепочка легких побед, парады вернувшихся фронтовиков, знамена, оркестры, безудержное хвастовство, драки с треклятыми бриттами, которые воображали, будто войну выиграли они и только они. Как быстро мы забыли, что в ту зиму нам никак не удавалось побить Людендорфа, и мы умом и сердцем приготовились к поражению.

Адам Траск был не столько опечален происшедшим, сколько огорошен. Он хотел вообще уйти из призывной комиссии, однако ему предоставили отпуск по болезни. Целыми часами возился он с левой рукой, держал ее в горячей воде и растирал жесткой щеткой.

— Это нарушение кровообращения,— объяснял он.— Как только кровообращение восстановится, будет действовать нормально. А вот глаза меня беспокоят. Никогда на глаза не жаловался. Наверное, надо врачу показаться, пусть очки выпишет. Я и в очках — как тебе нравится? Уж и не знаю, сумею ли к ним привыкнуть. Сегодня надо бы к доктору сходить, да голова немного кружится.

Адаму не хотелось признаваться, что головокружения у него довольно сильные. Он передвигался по дому, только опираясь на стены. Ли нередко приходилось помогать Адаму подняться с кресла или утром с кровати, он завязывал ему шнурки на ботинках, потому что левая рука у него почти не слушалась.

Едва ли не каждый день Адам заговаривал об Ароне.

— Я могу понять, почему мальчиков тянет в армию. Если бы он мне сказал, что хочет завербоваться, я бы попытался отговорить его, но запрещать... запрещать бы не стал, ты же знаешь.

— Знаю,— отвечал Ли.

— Почему он тайком — вот этого я не могу понять. Почему не пишет? Мне казалось, что я знаю его. Абра от него не получала писем? Уж ей-то он должен написать.

— Я спрошу у нее.

— Обязательно спроси. И поскорее.

— Говорят, муштруют их здорово. Может, просто времени нет.

— Какое там время — черкнуть открытку.

— Сами-то вы писали отцу, когда служили в армии?

— Думаешь, подловил? Нет, не писал я, и ты знаешь, почему. Я не хотел идти в армию, это отец заставил. Он обидел меня. Так что у меня причина была. А Арон — он ведь так успевал в колледже. Оттуда даже письменный запрос пришел, ты сам видел. Уехать, все бросить, даже одежды не взять и часы золотые.

— Зачем ему в армии гражданская одежда? И часы золотые тоже ни к чему. Там один цвет — хаки.

— Наверное, ты прав. Но все равно я его не понимаю... Надо что-то с глазами делать. Не могу же я постоянно тебя просить почитать мне.— Зрение на самом деле серьезно беспокоило Адама.— Строчки вот вижу, а слова расплываются,— говорил он. По десять раз на дню он хватался за газету или за книгу, а потом огорченно откладывал ее.

Чтобы Адам не нервничал понапрасну, Ли старался побольше читать ему вслух, но посреди чтения тот часто засыпал. Потом, очнувшись, спрашивал:

— Ли, это ты? Или Кейл? Странно, в жизни глаза не беспокоили. Надо завтра же врачу показаться.

Как-то раз в середине февраля Кейл пришел в кухню к Ли.

— Все время о глазах говорит. Давай сводим его к врачу.

Ли варил абрикосовый компот. Он быстро закрыл дверь и вернулся к плите.

— Не надо ему к врачу.

— Почему не надо?

— Не глаза это, по-моему. И если врач подтвердит, он еще больше расстроится. Повременим, пусть оправится от удара. Я ему все читаю, что пожелает.

— А что с ним?

— Не хочу гадать. Вот если мистера Эдвардса попросить, чтобы заглянул... Просто так, провести.

— Ну, как знаешь,— сказал Кейл.

Ли спросил:

— Ты Абру последнее время видишь?

— Факт, вижу. Но она меня избегает.

— И что, догнать не можешь?

— И догнать могу, и повалить могу, и стукнуть как следует, чтоб не молчала. Могу, но не буду.

— А все-таки стоит попробовать растопить ледок. Иногда стена только с виду крепкая и неприступная, а тронешь пальцем, и она разваливается. Подкарауль Абру где-нибудь. Скажи, что мне нужно с ней поговорить.

— И не подумаю.

— Угрызаешься, да?

Кейл молчал.

— Разве она тебе не нравится?

Кейл молчал.

— Слушай, если так будет продолжаться, я не ручаюсь за последствия. Ты себя доведешь. Не держи это в себе, раскройся. Тебе же лучше будет.

— Рассказать отцу, что я сделал? — воскликнул Кейл. — Если хочешь, расскажу!

— Нет, Кейл, не надо. Пока не надо. А вот когда он поправится, тебе придется рассказать. Ради самого себя. Одному нести такую ношу не под силу. Она задавит тебя.

— А, может, так и надо, — чтобы меня задавило.

— Замолчи! — спокойно и презрительно оборвал его Ли. — Пожалел, видите ли, Кейла Траска. Поблажку самому себе сделал, только дешевый это ход. Так что лучше помалкивай.

— Сам-то ты не помалкиваешь.

Ли переменял тему.

— Не пойму, почему Абра к нам не заходит. Ни разу не была.

— Зачем ей теперь приходить.

— Нет, на нее это не похоже. Тут что-то другое. Ты ее видел?

— Я же сказал — видел! — хмуро бросил Кейл. — Ты, похоже, тоже тронулся. Три раза с ней заговаривал. Ничего слышать не желает. Уходит и все.

— Тут что-то не то. Она же хорошая женщина, настоящая.

— Девчонка она, вот кто, — возразил Кейл. — Смешно называть девчонку женщиной.

— Ошибаешься, Кейл, — проникновенно сказал Ли. — Некоторые с самого рождения женщины. Абра красива, как взрослая женщина, она смелая, сильная... и умная. Все прекрасно понимает, на вещи смотрит трезво. Давай спорить, что она по пустякам волноваться не станет, не злобная и не ломака — разве что из кокетства помается немного.

— Высоко же ты ее ставишь.

— Да, высоко, и потому думаю, что сама она не перестала бы навещать нас, — сказал Ли и добавил: — Соскучился я по ней. Попроси ее зайти ко мне.

— Уходит она, я же сказал.

— А ты догони. Скажи, что я скучаю и хочу ее видеть.

- Вернемся к разговору об отцовских глазах? — спросил Кейл.
- Не стоит.
- Может, поговорим об Ароне?
- Тоже не стоит.

3

Все перемены на следующий день Абра была среди подруг, и, лишь выйдя из школы после занятий, Кейл увидел, что она идет домой одна. У ближайшего угла он свернул на параллельную улицу, обежал квартал и, рассчитав время, выскочил из переулка как раз перед идущей Аброй.

— Привет,— сказал он.

— Привет. Значит, мне не показалось, что ты сзади крадешься.

— Не показалось. Я квартал обежал, чтобы подкараулить тебя. Поговорить надо.

Абра внимательно посмотрела на Кейла.

— Если поговорить, то зачем бегать и караулить?

— Я же в школе хотел поговорить, но ты не соизволила.

— Ты был не в духе. Не люблю разговаривать, когда человек не в духе.

— Откуда ты знаешь, что я был не в духе?

— По лицу было видно, по походке. Вот сейчас ты в духе.

— Да, в духе.

— Ты не хочешь взять мои книги? — улыбнулась Абра.

У Кейла сразу отлегло от сердца.

— Ну, ясное дело,— заторопился он. Сунув стопку книг под мышку, Кейл зашагал рядом с Аброй.— Ли просил передать, чтобы ты зашла повидаться.

— Правда? — оживилась она.— Скажи, обязательно приду. Как отец?

— Так себе. Глаза беспокоят.

Они шли молча, потом Кейл не выдержал и спросил:

— Об Ароне знаешь?

— Знаю,— откликнулась она и добавила: — Открой мой дневник на второй странице.

Кейл вытащил из стопки учебников дневник. Внутри была вложена простенькая открытка. На ней было нацарапано: «Дорогая Абра! Я как в грязи вывалялся. Совсем не пара тебе. Ты ни в чем не виновата. Нахожусь в армии. К отцу не ходи. Прощай, Арон».

Кейл захлопнул дневник.

— Сукин сын! — пробормотал он.

— Что ты сказал?

— Ничего.

— Я все равно слышала.

— Ты знаешь, почему он уехал?

— Нет. Хотя если подумать... как дважды два сходится. Но я не хочу гадать. Я пока не готова... то есть, если ты сам не захочешь сказать.

Неожиданно Кейл спросил:

— Абра, ты... ты меня очень не любишь?

— Это ты меня недолюбила. Только не знаю, за что.

— Я... Боюсь я тебя.

— Боишься? Неужели я такая страшная?

— Знаешь, сколько я тебе гадостей делал. И вдобавок ты невеста моего брата.

— Какие гадости? И вовсе я не невеста.

— Хорошо, я скажу.— В тоне Кейла звучала горечь.— Только учти, ты сама попросила... Наша мать была проститутка. Она держала в нашем городе публичный дом. Я давно об этом узнал. В День благодарения я повел туда Арона, чтобы он полюбовался на свою мамочку. Я...

— Ну, а он что? — взволнованно перебила его Абра.

— Он? Распсиховался весь. Стал на нее орать. Потом, когда мы вышли, сшиб меня на землю и убежал. Наша дорогая матушка наложила на себя руки, а отец... с ним что-то странное происходит... Ну вот, теперь ты все обо мне знаешь. Теперь имеешь полное право не знаться со мной.

— Теперь я его понимаю,— произнесла она задумчиво.

— Кого, Арона?

— Да.

— Он был хороший... Нет, почему был? Он и сейчас хороший. Добрый, неиспорченный, не то что я.

Они шли медленно и молчали. Потом Абра совсем остановилась, остановился и Кейл, и она посмотрела ему прямо в лицо.

— Кейл, а я ведь давным-давно про твою мать знаю.

— Откуда?

— Мои родители об этом разговаривали. Они думали, что я сплю, а я все слышала. Кейл, я хочу тебе что-то сказать. Мне трудно говорить про это, но молчать еще труднее. Лучше сказать. Я уже не маленькая девочка, какой была совсем недавно. Я стала взрослой. Ты понимаешь, о чем я?

— Понимаю.

— Ты уверен?

— Уверен.

— Ну, смотри. Теперь самое трудное... Мне надо было это раньше сказать... Я разлюбила Арона.

— Разлюбила? Почему?

— Я очень старалась разобраться... Когда мы были маленькие, мы с ним придумали красивую сказку и начали жить в этой сказке. Потом я подросла и поняла, что мне нужно что-то другое, настоящее, а не придуманное.

— Но ведь...

— Подожди, дай мне досказать. Я переменилась, а Арон так и остался, каким был. Не повзрослел. Может, он вообще никогда не станет по-настоящему взрослым. Ему нравился этот придуманный мир, в нем все так, как он хочет. Он даже подумать не смел, что у сказки может быть другой конец.

— А ты?

— А я не хочу терпеливо дожидаться, как и что получится из этой сказки. Я хочу жить взаправдашней жизнью. Понимаешь, Кейл, мы с ним разные, настолько разные, что почти чужие. Мы цеплялись за сказку по привычке. Но я больше не верю в красивые сказки.

— Что же будет с Ароном?

— Он всегда старался, чтобы получилось, как он хочет. Ради этого готов все вверх дном перевернуть.

Кейл стоял, уставившись в землю.

— Ты мне не веришь? — спросила Абра.

— Разобраться пытаюсь.

— Понимаешь, ребенку кажется, что он центр Вселенной. Все, что делается вокруг, делается для него одного. Другие люди в его глазах просто куклы, с которыми он играет. Но когда ребенок подрастает, он начинает сравнивать себя с другими, узнает себе цену, находит свое место

в мире. Начинает понимать, что не только люди что-то должны ему, но и он должен людям. Это гораздо труднее, зато справедливее. Я рада, что ты рассказал мне про Арона.

— Рада?

— Да, рада. Теперь я убедилась, что была права. Узнать плохое про собственную мать — это удар. Арон не перенес удара, потому что он разрушил придуманную им сказку. А другого, реального мира он не хочет знать. Вот он и перевернул все вверх дном, все поломал. Он и меня поломал, когда объявил, что хочет быть священником.

— Это надо обмозговать,— проговорил Кейл.

— Давай сюда мои книги,— сказала Абра.— И передай Ли, что я приду. Я теперь свободна. Мне тоже надо кое-что обмозговать. Знаешь, Кейл, мне кажется, я тебя люблю.

— Я нехороший.

— Именно за то, что ты нехороший.

Кейл не чуял под собой ног.

— Она завтра придет! — с порога крикнул он Ли.

— Что-то ты взбудоражился,— ответил тот.

4

В дом Абра вошла на цыпочках. В прихожей прокрадась вдоль стены, где не скрипел пол, хотела было подняться к себе по устланной ковром лестнице, но передумала и пошла в кухню.

— Пришла,— встретила ее мать.— Подзадержалась.

— Надо было остаться после уроков. Как отец, лучше?

— Думаю, что да.

— Что доктор сказал?

— То же самое, что вначале,— переутомление. Ему нужен отдых.

— По его виду не скажешь, что переутомился.

Мать открыла ящик, вынула три картофелины и положила их в раковину.

— Отец очень стойкий человек, дорогая. Никогда не пожалуется на здоровье. Зато я хороша, могла бы и догадаться. Столько сил отдавал на помощь фронту, и это не считая собственной работы. Доктор говорит, что такой человек может сразу слечь.

— Можно, я загляну к нему?

— Видишь ли, Абра, мне кажется, ему не хочется никого видеть. Давеча судья Кнудсен звонил, так отец велел сказать, что спит.

— Тебе помочь?

— Пойди сначала переоденься. Не дай бог, запачкаешь новое платье.

Абра прошла на цыпочках мимо отцовского кабинета и поднялась к себе. Ее комната слепила полированными поверхностями мебели и яркими, цветастыми обоями. Фотографии родителей в рамочках на столе, стихотворные послания в рамочках на стенах, туфли, аккуратно поставленные рядышком у кровати на натертом полу,— решительно все на своем, раз и навсегда определенном месте. Мать все делала так, как хотела: кормила ее, выбирала платье, устанавливала распорядок жизни. Абра давно отказалась от мысли завести себе личные, только ей принадлежащие вещи. Даже в собственной комнате она не знала уединения. Уединялась она единственно в свои мысли. Несколько писем, которые она хранила, находились в гостиной — были спрятаны в двухтомных «Воспоминаниях Улисса С. Гранта»¹. С тех пор, как генеральские мемуары сошли с печатного станка, ни одна живая душа в доме, кроме нее самой, не прикоснулась, насколько ей было известно, к их страницам.

Абра не задумывалась, почему ей сейчас так хорошо. Многое она сердцем чувствовала и не любила говорить. Она прекрасно знала, к примеру, что отец вовсе не болен. Скрывает он что-то. А вот Адам Траск, напротив, точно болен: она видела, как он, шаркая ногами, брел по улице. Интересно, мать знает, что отец притворяется?

Абра скинула платье и надела ситцевый сарафанчик, предназначенный для работы по дому. Причесав волосы, она прошла на цыпочках мимо комнаты отца и спустилась вниз. Там она вытащила из дневника открытку, полученную от Арона, и в гостиной вытряхнула из второго тома «Воспоминаний» его письма, плотно сложила и, подняв юбку, засунула их под резинку панталон. Письма немного

¹ Улисс Симпсон Грант (1822—1885) — американский военачальник, главнокомандующий вооруженных сил северян во время Гражданской войны, 18-й президент США.

выпирали на животе, но на кухне она надела передник, и стало совсем незаметно.

— Можешь почистить морковь,— сказала мать.— Вода вскипела?

— Закипает.

— Тебе нетрудно положить бульонный кубик в эту чашку? Доктор сказал, что отцу очень полезен бульон.

Когда мать понесла наверх дымящуюся чашку, Абра открыла мусорную топку в газовой плите, кинула туда письма и подожгла.

Мать вернулась, потянула носом.

— Дымом пахнет.

— Это я мусор сожгла. Ведро было полно.

— Надо спрашивать, прежде чем берешься что-нибудь делать,— сказала мать.— Я коплю сухой мусор и по утрам обогреваю им кухню.

— Прости, мама, я не подумала.

— Пора научиться думать о таких вещах, дорогая. Ты какая-то рассеянная последнее время.

— Прости, мама.

— Бережливость — это статья дохода.

В столовой зазвонил телефон. Мать пошла туда, сняла трубку, и Абра слышала, как она сказала: «Нет, к нему нельзя. Доктор запретил. Нет-нет, категорически никаких разговоров. Ни с кем».

Вернувшись в кухню, она сказала:

— Это опять судья Кнудсен.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

1

На другой день в школе Абра была невнимательна: она предвкушала встречу с Ли. На перемене ей попался Кейл.

— Ты сказал, что я сегодня приду?

— Он уже какие-то пирожные затеял,— сказал Кейл. На нем была военная форма: гимнастерка не по росту с жестким стоячим воротничком, на ногах краги.

— У тебя строевая,— сказала Абра.— Тогда я одна пойду. А какое пирожное?

— Не знаю, кажется, корзиночки с клубникой. Оставь штучки две, ладно? Хоть попробовать.

— Хочешь посмотреть, что тут? Это я Ли подарок приготовила. Гляди! — Она открыла картонную коробку. — Новая картофелечистка, только кожицу снимает. И очень удобная. Думаю, ему понравится.

— Ну все! Не видать мне пирожных как своих ушей, — протянул Кейл и добавил: — Если задержусь, подожди, не уходи без меня, ладно?

— А ты понесешь потом мои книжки?

— Факт, понесу.

Она посмотрела ему прямо в глаза таким долгим, внимательным взглядом, что он чуть было не опустил голову, и пошла в класс.

2

Поднимался теперь по утрам Адам поздно. Последнее время он спал часто и понемногу, и Ли приходилось по нескольку раз заглядывать к нему, чтобы посмотреть, не проснулся ли он.

— Хорошее утро, чувствую себя прекрасно, — сказал он в этот день.

— Какое уж там утро! Почти одиннадцать.

— Боже ты мой! Надо скорей вставать!

— А зачем вам вставать? — сказал Ли.

— Как зачем?.. А правда, зачем... Но я же хорошо себя чувствую, Ли. Можно в комиссию сходить. Как там на дворе?

— Сыро, — ответил Ли.

Он помог Адаму встать с постели, помог застегнуть пуговицы, завязать шнурки на ботинках и вообще привести себя в порядок. Пока Ли хлопотал, Адам рассказывал:

— Знаешь, мне сон приснился, очень жизненный. Отца во сне видел.

— Насколько мне известно, достойный был джентльмен, — отвечал Ли. — Я видел папку с газетными вырезками; помните, адвокат вашего брата прислал? Должно быть, достойный был джентльмен.

— А тебе известно, что он был вор? — Адам смотрел на Ли совершенно спокойно.

— Дурной вам сон приснился, не иначе,— возразил Ли.— Ваш отец похоронен на Арлингтонском кладбище. В одной заметке говорится, что на похоронах присутствовал вице-президент и военный министр. Мне кажется, наш «Вестник» заинтересовала бы статья о нем. Как раз ко времени. Не хотите посмотреть папку?

— И тем не менее он был вор,— повторил Адам.— Раньше я не верил, а теперь верю. Он присваивал деньги, принадлежащие СВР.

— Ни в жизнь не поверю.

На глазах у Адама выступили слезы. Последнее время глаза у него вообще были на мокром месте.

— Вы тут посидите, а я принесу что-нибудь поесть,— сказал Ли.— Знаете, кто днем придет к нам? Абра!

— Абра? — переспросил Адам.— Ах да, конечно. Славная девчушка.

— А я так просто люблю ее,— сказал Ли. Он усадил Адама перед карточным столиком.— Может, поломайте голову над разрезной картинкой, пока я завтрак готовлю?

— Спасибо, сегодня не хочется. Сон попробую разгадать, пока не забыл.

Когда Ли вошел к Адаму с подносом, тот мирно спал в кресле. Ли разбудил его, заставил есть, а сам тем временем почитал ему «Салинасскую газету». Потом он проводил его в ватер-клозет.

В кухне стоял душистый аромат печеного теста, а от сока ягод, пролившегося в духовке на противень, разливался приятный горько-сладкий, вяжущий запах.

Сердце Ли переполнялось радостью. То была радость ожидания подступавших перемен. Кончается земное время Адама, подумал он. Мое тоже должно бы кончаться, но я этого не чувствую. Я словно бы бессмертен. Когда-то, когда был совсем молодым, я знал, чувствовал, что смертен, а сейчас нет. Смерть отступила. Не знаю, нормальное ли это чувство.

Любопытно, что имел в виду Адам, говоря, что его отец был вор. Вероятно, ему это приснилось, подумал Ли. Но тут же началась привычная для него игра ума. Допустим, что это правда — тогда получается, что Адам, этот честнейший из честных человек, всю жизнь жил на ворованные деньги. Теперь вот это завещание, усмехнулся про

себя Ли. Значит, Арон, который чуть ли не упивается собственной безгрешностью, тоже всю свою жизнь будет жить на накопления от доходов с публичного дома. Что это, какая-то шутка или же порядок вещей таков, что если одно явление чересчур перевешивает другое, то автоматически включается некий балансир, и равновесие восстанавливается?

Ему вспомнился Сэм Гамильтон. В какие только двери он ни стучался! Какие у него были замечательные идеи и изобретения, однако никто не помог ему деньгами. Впрочем, зачем ему деньги? Он и так был богат, у него хватало всего, а больше ему не нужно. Земные богатства и скапливаются-то у нищих духом, у тех, кто обделен подлинными интересами и радостями жизни. Если уж прямо, по чести, то главные богатеи—это и есть голытьба убогая. Так это или не так, размышлял Ли. Судя по некоторым делам их, безусловно так.

Он подумал о Кейле, который сжег деньги, чтобы наказать себя, и о том, что от наказания мучился меньше, чем от своего поступка.

«Если где-нибудь и когда-нибудь мне посчастливится встретиться с Сэмом Гамильтоном,—сказал себе Ли,—порасскажу же я ему всяческих историй!»—и добавил в уме: «Да и он мне тоже!»

Ли пошел к Адаму; тот старательно открывал папку, где хранились вырезки об его отце.

3

Днем подул холодный ветер, однако Адам настоял на своем: надо пойти заглянуть в призывную комиссию. Ли хорошенько укутал его и вывел на улицу.

— Если вдруг почувствуете себя плохо, садитесь прямо на тротуаре и ждите.

— Хорошо,—пообещал Адам.— Но сегодня совсем голова не кружится. Может, даже к Виктору зайду, пусть глаза посмотрит.

— Не надо, завтра вместе сходим.

— Там посмотрим,—ответил Адам и зашагал, бодро размахивая руками.

Пришла Абра с сияющими глазами и покрасневшим от студеного ветра носом. При виде ее Ли тихонько засмеялся от радости.

— А где же обещанные пирожные? — по-хозяйски ссведомилась она. — Давайте спрячем их от Кейла, а? — Она присела на стул, огляделась. — До чего хорошо у вас. Я так рада, что пришла.

Ли раскрыл было рот, но в горле у него запершило, и все же надо было сказать, что́ он хотел, сказать как можно деликатнее. Он остановился перед ней.

— Знаешь, — начал он, — я не так многого хотел в жизни. Смолоду приучил себя к мысли, что многого мне и не надо. От желаний сплошные разочарования.

— А теперь чего-то хотите? — весело спросила Абра. — И чего же?

— Хорошо, если бы ты была моей дочерью!.. — выпалил он. Потрясенный, Ли быстро отошел к плите, выключил газ под чайником, потом снова зажег.

— Хорошо, если б вы были моим отцом, — тихо отозвалась Абра.

Он посмотрел на нее и быстро отвернулся.

— Правда?

— Правда.

— И почему?

— Потому что я люблю вас, как отца.

Ли кинулся вон из кухни. У себя в комнате он тяжело опустился на стул и сидел так, крепко стиснув руки, пока его не перестали душить слезы. Потом он встал и взял с комода миниатюрную резную шкатулку из черного дерева. На крышке был изображен дракон, вздымающийся к небесам. Ли бережно понес коробочку в кухню и поставил перед Аброй.

— Это тебе, — сказал он недрогнувшим тоном.

Абра открыла шкатулку и увидела там маленькую нефритовую брошь, на которой была вырезана человеческая рука, правая рука — изящная, с длинными, чуть согнутыми пальцами, как бы предлагающая мир и покой. Абра осторожно вынула брошь, лизнула ее, медленно провела по своим пухлым губам и приложила прохладный темно-зеленый камень к горячим щекам.

— Единственное украшение моей матери, — сказал Ли.

Абра встала, положила ему на плечи руки и поцеловала в щеку. Ни разу в жизни он не испытывал такого волнения.

— Кажется, изменила старику его хваленая восточная невозмутимость,— счастливо рассмеялся Ли.— Дай я лучше чай приготовлю, родная. А то совсем расчувствуюсь.— Он отошел к плите и добавил: — Знаешь, я еще никому не говорил «родная». Ни разу в жизни.

— Я еще утром проснулась такая счастливая,— сказала Абра.

— Я тоже,— проговорил Ли.— И знаю отчего: тебя ждал.

— Мне тоже поскорее прийти хотелось, хотя...

— Я вижу, ты другая стала. Совсем взрослая. Что-нибудь произошло?

— Произошло. Я Ароновы письма сожгла.

— Он тебя обидел?

— Да нет. Просто не по себе мне было последнее время. Я же с самого начала старалась ему доказать, что никакая я не идеальная.

— Теперь тебе больше не надо никому ничего доказывать, достаточно быть самой собой. И от этого тебе стало легче. Правильно я говорю?

— Наверное, так оно и есть.

— Абра, ты об их матери знаешь?

— Да... Слушайте, Ли, я еще даже пирожного не попробовала! — сказала Абра.— И пить ужасно хочется.

— Вот тебе чай... Тебе Кейл нравится?

— Нравится.

— Трудно ему сейчас. До краев и хорошим, и плохим напичкан. Его любой одним пальчиком...

Абра опустила голову.

— Он меня в Алисаль пригласил, когда распустятся дикие азалии.

Ли взялся за край стола и подался к ней.

— Я не собираюсь выпытывать, поедешь ты или нет.

— А я и не скрываю. Поеду.

Ли откинулся и сказал, глядя ей в лицо:

— Заходи почаще, не забывай нас.

— Мама и папа против.

— Я твоих родителей только раз видел,— сказал Ли язвительно.— Почтенная пара. Но понимаешь, родная, есть такие лекарства, которые на кого хочешь действуют. Что если взять да и сказать им, что Арон только что получил в наследство сто тысяч. Как ты думаешь, поможет?

Абра кивнула с серьезным видом, хотя кончики губ у нее задергались.

— Думаю, поможет. Только не знаю, как им сказать.

— Дорогая, если бы я узнал такую потрясающую новость, я бы первым делом к телефону кинулся. На весь бы свет раззвонил. Боюсь только, неисправность на линии появится.

Абра кивнула.

— И вы бы сказали, откуда деньги?

— Э, нет! Секрет фирмы.

Абра взглянула на будильник, повешенный на гвоздь в стене.

— Ой, скоро пять! Мне надо бежать,— заторопилась она.— Отец болен. Я думала, Кейл пораньше со строевой придет.

— Заходи почаще,— сказал ей Ли вдогонку.

4

На крыльце Абра столкнулась с Кейлом.

— Подожди, я сейчас! — Он вошел в дом и бросил книги.

— Смотри, не растеряй ее учебники! — крикнул Ли из кухни.

Надвигался зимний вечер. Порывистый ледяной ветер яростно раскачивал мигающие газовые фонари, и тени метались туда-сюда, как испуганные летучие мыши. Прохожие, спешащие с работы в тепло родного дома, прятали лица в воротники. Когда ветер утихал, с катка за несколько кварталов доносилась механическая музыка.

— Абра, поддержи, пожалуйста, книги. Надо воротничок расстегнуть, а то голову отрежет.— Кейл нащупал крючки и вздохнул с облегчением. Он взял книги у Абры. Высокая пальма перед домом Берджесов гнулась под ветром, и ее разлапистые листья с треском колотились друг о друга, а у закрытых дверей кухни протяжно, истошно мяукала кошка.

— Не получится из тебя хороший солдат,— заметила Абра.— Чересчур ты самостоятельный.

— Это мы еще посмотрим,— сказал Кейл.— На что он способен, наш старый Краг-Йоргенсенс? Только дурацкие

упражнения придумывает. А вот если на самом деле понадобится, и мне будет интересно, не хуже других буду.

— Пирожные были замечательные,— сказала Абра.— Я тебе одно оставила.

— Спасибо, попробую. Вот из Арона настоящий вояка выйдет.

— Да, настоящий,.. и к тому же симпатичный, во всей армии такого не найдешь. Когда поедем азалии смотреть?

— Только весной.

— Давай пораньше. И еды возьмем.

— Пораньше дождь может быть.

— Дождь или ясно — все равно поедем.

Абра взяла у него свои книги и вошла в калитку.

— До завтра!

Кейл не повернул к дому, а пошел дальше, в беспокойную мглу, мимо школы, мимо катка — крытой площадки с громыхающим механическим мелодеоном, и ни единого человека не было на льду. Старик — хозяин катка сиротливо сидел в будочке, задумчиво наматывая на указательный палец билетную ленту.

На Главной улице тоже не было ни души. Ветер гнал по тротуару обрывки бумаги. Из кондитерской Белла вышел полицейский Том Мик и зашагал рядом с Кейлом.

— Эй, солдат, застегнул бы воротничок,— заговорил он.

— А, это вы, Том, привет! Режет, проклятый.

— Что-то тебя последнее время не видеть по ночам.

— Угу.

— Неужто исправился?

— Все может быть.

Том ужасно гордился тем, что умеет с самым серьезным видом разыгрывать людей.

— Похоже, зазнобу завел?

Кейл ничего не ответил.

— Слышал, будто твой братец годков себе надбавил и махнул в армию. А ты, выходит, у него девчонку отбиваешь?

— Выходит, отбиваю.

Тома разбирало любопытство.

— Уилл Гамильтон раззвонил, будто ты пятнадцать тысяч на фасоли заколотил. Верно это?

— Выходит, верно.

— Ты же малолетка еще. Куда тебе такую кучу денег?

— А никуда. Сжег я их,— ухмыльнулся Кейл.

— Как сжег?

— Очень просто, взял спички — и готово!

Том пристально посмотрел Кейлу в лицо.

— Поня-я-тно!.. Ну и правильно сделал. Бывай, мне тут заглянуть надобно.— Том Мик страсть как не любил, когда его разыгрывают. «Ишь, щенок паршивый,— пробурчал он, отойдя.— Шибко умный заделался!»

Разглядывая витрины, Кейл медленно брел по Главной улице. Интересно, где похоронена мать? Может, узнать и отнести ей на могилу цветы? Он усмехнулся. Странное желание — или он просто дурачит себя? Салинасский ветер надгробный камень снесет, не то что букетик гвоздик. Ему вдруг почему-то вспомнилось мексиканское название гвоздик, кто-то, кажется, говорил ему, когда он был маленький. Их называют Гвòздиками Любви, а ноготки — Гвòздиками Смерти. И слово какое-то гвоздистое, острое — *claveles*. Пожалуй, лучше отнести на ее могилу ноготков. «Я уже, как Арон, рассуждаю»,— усмехнулся Кейл.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Зимняя стужа не отпускала. Уже давно прошли все сроки, а зима все тянулась — холодная, сырая, ветреная. «Во Франции палат из этих проклятых пушек,— толковали в народе,— а во всем мире погода портится».

Всходы в Долине были робкие, редкие, а полевые цветы так припозднились, что некоторые решили, что они не появятся вовсе.

Мы привыкли, что Первого мая, когда воскресные школы во всей округе устраивают в Алисале пикники, кусты дикой азалии, протянувшиеся там по берегам речки, уже стоят в полном цвету. Иначе и быть не может — так мы считали. Какой же это праздник без распустившихся цветов азалии!

Но в тот год Первое мая выдалось холодным. Ледяной дождь отбил всякую охоту к загородной прогулке. Про-

шло две недели, а в Алисале по-прежнему не распустилось ни единого цветка.

Кейл не мог знать, что погода так подведет его, когда приглашал Абру за город в пору цветения азалий. Ему было неудобно откладывать поездку.

Их «форд» стоял в гараже у Уиндхэмов на ходу: накачаны шины, два новеньких аккумулятора, чтобы сразу завести мотор. Ли должен был приготовить бутерброды и через день покупал особые булочки, но потом это ему надоело и он бросил.

— Зачем откладываешь? — спросил он Кейла.

— Я же обещал показать цветущие азалии.

— А как ты узнаешь, когда они распустятся?

— У нас в школе два брата учатся, Силаччи. Они оттуда. Говорят, еще неделю ждать, а то и дней десять.

— Смотри, как бы она вообще не лопнула, твоя вылазка.

Здоровье Адама постепенно улучшалось. Он уже шевелил левой рукой и начал понемногу читать и с каждым днем — все дольше.

— Вот когда устаю, буквы расплываются. А так — прекрасно вижу. Хорошо, что я очки не заказал, от стекловидного тела зрение только портится. В жизни на глаза не жаловался.

Ли довольно кивал. Он съездил в Сан-Франциско, привез оттуда пачку книг и, кроме того, выписал множество оттисков различных публикаций. Он перечитал все, что написано об анатомии мозга, и теперь прекрасно разбирался в симптомах и осложнениях тромбоза и вообще в патологических изменениях мозговой деятельности. Он изучал предмет и расспрашивал знающих людей с таким же упорством, с каким в свое время изловил, разделал и проанализировал ивритский глагол. Поначалу доктора Г. С. Мэрфи раздражала настырность слуги-китайца, но потом раздражение уступило место искреннему уважению к его любознательности, и он начал относиться к нему едва ли не как к ученому коллеге. Он даже брал у Ли новые журналы и оттиски статей с сообщениями о диагностике и лечении таких заболеваний. «Этот китаёза побольше моего знает о кровоизлияниях в мозг, — заявил он однажды доктору Эдвардсу. — И наверняка не меньше вас». В голосе его прозвучало деланное недовольство и скрытое восхище-

ние. Медики терпеть не могут, когда непосвященные лезут в тайны их профессии.

— Мне кажется, что процесс абсорбции продолжается,— говорил Ли, докладывая об улучшении состояния Адама.

— Был у меня больной...— перебил его доктор Мэрфи и поведал целую историю о счастливом излечении.

— Однако я опасаясь рецидива,— продолжал Ли.

— Ну уж это как Всевышнему будет угодно,— отвечал доктор Мэрфи.— Артерия не автомобильная шина, ее не залатаешь. Кстати, как тебе удастся так часто измерять у него давление?

— Он загадывает мое давление, а я его. Это интереснее, чем играть на скачках.

— И кто же выигрывает?

— Он бы в два счета продулся, если бы я захотел. Но это испортит игру и показания тоже.

— А каким образом ты не даешь ему разволноваться? — поинтересовался доктор Мэрфи.

— У меня есть собственный метод. Я его разговорной терапией называю.

— Должно быть, уйму времени отбирает?

— Отбирает,— согласился Ли.

2

28 мая 1918 года американские войска провели свое первое крупное сражение Первой мировой войны. Первой дивизии под командованием генерала Булларда было приказано овладеть деревней Кантиньи. Расположенная на холме, она господствовала над долиной реки Авр. Несколько линий траншей и тяжелые пулеметы образовывали ее систему обороны. Боевые позиции протянулись больше чем на милю.

В 6.45 утра 28 мая после часовой артиллерийской подготовки началась атака. В бою участвовали 28-й пехотный полк под командованием полковника Или, один батальон 18-го пехотного полка во главе с Паркером, рота Первой саперной части и дивизионная артиллерия Самеролла при поддержке французских танков и огнеметов.

Атака завершилась полным успехом. Американские ча-

сти закрепились на новом рубеже и отбили две мощные контратаки немцев. Клемансо, Фок и Петен направили Первой пехотной дивизии поздравления.

3

Только в самом конце мая братья Силáчки объявили, что на азалиях высыпал наконец оранжево-розовый цвет. Это было в среду, как раз перед звонком на первый урок.

Кейл кинулся в английский класс, и как только мисс Норрис заняла свое место на учительской платформе, он помахал носовым платком и шумно высморкался. Выйдя из класса, он сбежал вниз в уборную для мальчиков и через несколько минут услышал за стеной, в туалете для девочек, шум спускаемой воды. Он выскользнул черным ходом во двор, прокрался вдоль кирпичной стены, махнул за перечный куст и лишь после того, как его уже нельзя было увидеть из школы, сбавил шаг. Вскоре Абра нагнала его.

— Когда они распустились? — спросила она.

— Сегодня утром.

— Может, подождем до завтра?

Кэйл поглядел на яркое, золотое солнце, первый раз в этом году пригревающее землю, и спросил:

— Ты хочешь подождать?

— Нет, не хочу, — сказала она.

— И я не хочу.

Они бросились бегом, купили у Рейно хлеба и начали тормошить Ли, чтобы тот поскорее приготовил еду. Адам слышал громкие голоса и заглянул в кухню.

— Что тут за шум?

— На пикник собираемся, — сказал Кейл.

— Разве в школе отменили занятия?

— Как же, они отменяют, — вставила Абра. — Мы сами себе праздник устроили.

— Ты сегодня как роза, — улыбнулся Адам.

— Мы в Алисаль едем, за азалиями! Поедемте с нами, а? — воскликнула Абра.

— А и в самом деле... — проговорил Адам и сам же себя перебил: — Впрочем, нет, не могу. На фабрику обещал заглянуть. Трубы там кое-где меняем. А денек правда замечательный.

— Мы привезем вам цветов, — пообещала Абра.

— Спасибо, я люблю азалии. Ну что ж, желаю приятно провести время.

С этими словами Адам ушел. Тогда Кейл предложил Ли:

— Может, ты с нами поедешь, Ли?

— Вот уж не думал, что такое сморозишь,— сердито сказал тот.

— Правда, поедем! — позвала Абра.

— Не смешите меня.

4

Речушка, что, журча, протекала через Алисаль у подножия хребта Габилан, была необыкновенно живописна. Вода мягко перекатывалась через валуны и полоскала обнаженные, словно бы вымытые корневища стоящих вдоль берега деревьев.

Аромат азалий и дурманящая свежесть от действия солнца на хлорофилл растений наполняли воздух. На берегу стоял «форд», и от его еще не остывшего мотора наплывали волны жара. Заднее сиденье автомобиля было завалено охапками веток азалии. Кейл и Абра сидели, свесив ноги в воду, среди пакетов с едой.

— Они всегда вянут, пока домой довезешь,— сказал Кейл.

— Зато можно сказать, что долго собирали,— отозвалась Абра и добавила: — Если ты такой недогадливый, я сама...

— Что — сама?

Абра потянулась и взяла его руку.

— Вот что.

— Я боялся.

— Чего?

— Сам не знаю.

— А вот я не побоялась.

— Мне кажется, девчонки вообще гораздо смелее.

— Наверное.

— А ты чего-нибудь боишься?

— Еще бы. Я испугалась, когда ты сказал, что я панталоны обмочила.

— Ужасно подло с моей стороны. Сам не знаю, зачем я это ляпнул...— начал Кейл и запнулся.

Ее пальцы стиснули ему руку.

— Я знаю, о чем ты думаешь. Не надо.

Кейл посмотрел на бурлящий речной поток и большим пальцем ноги ковырнул бурую гальку.

— Ты думаешь, что это только в тебе сидит, да? — спросила Абра.— Нехорошее только к тебе прилипает?

— Н-не знаю...

— А я знаю! Тогда я тебе вот что скажу. У моего отца серьезные неприятности.

— Неприятности? Какие?

— Не подумай, что я подслушивала, из-за двери было слышно. Он просто притворяется, что болен. Сам что-то натворил, а теперь трусит.

Кейл повернулся к ней.

— Что именно натворил?

— Кажется, забрал деньги, принадлежащие его фирме. И теперь не знает, посадят его компаньоны или разрешат вернуть деньги.

— Откуда ты все это узнала?

— Они собрались в комнате, где он лежит, и так кричали, просто ужас! Мама даже патефон завела, так неприлично было.

— А ты не придумываешь?

— Нет, не придумываю.

Он пододвинулся поближе, положил голову ей на плечо; рука его робко обвила ее талию.

— Вот видишь, ты не один такой...— Она посмотрела на него искоса.— Ой, теперь, кажется, я боюсь...— сказала она слабеющим голосом.

5

Было три часа пополудни. Ли сидел у себя за письменным столом и разглядывал каталог семенного материала. Его внимание остановила цветная картинка душистого горошка.

— А неплохо будет смотреться на заднем заборе. Болотину заслонит. Только хватит ли ему там солнца? — Услышав звук собственного голоса, Ли поднял голову и засмеялся. Он все чаще ловил себя на том, что разговаривает сам с собой, когда в доме никого нет.

— Это возрастное,— сказал он вслух.— Замедляется мыслительный процесс, и поэтому...— Он вдруг умолк и на секунду замер.— Совсем уж странно — прислушиваться неизвестно к чему. А я чайник на газу не оставил? Нет, снял... точно помню.— Он снова прислушался.— Слава богу, не суеверный я. Только дай воображению волю, примерещится, будто привидения ходят. Такое услышишь...

Зазвонил дверной звонок.

— Ну вот, именно этого я и ждал. Нет, не пойду. Пусть себе звонит. Нечего поддаваться предчувствиям. Пусть звонит.

Звонок больше не позвонил.

На Ли вдруг напала беспросветная, непроходимая усталость, навалилось какое-то безысходное отчаяние. Он попытался рассмеяться. «Вот он, выбор. Пойти и увидеть на крыльце какую-нибудь дурацкую рекламу. Или же трусливо прислушиваться к тому, что нашептывает мне старческое слабоумие: будто смерть на пороге. Нет, я предпочитаю рекламу».

Потом он долго сидел в гостиной, глядя на казенный конверт, лежащий у него на коленях. «Ну, погоди, проклятый!» — сплюнул он, наконец разорвал конверт и тут же положил извещение обратной стороной на стол.

Уронив локти на колени, он уставился в пол. «Нет, не имею я права,— рассуждал он.— Ни у кого нет такого права— лишать человека любой, самой малой частицы того, что ему положено на земле. И жизнь, и смерть — наш общий удел. Каждый должен нести свою боль».

Внутри у него все напряглось. «Нет, не могу... Трус несчастный! А сам бы я выдержал?»

Ли пошел в ванную комнату, влил в стакан три чайные ложки брома, добавил туда воды, пока жидкость не стала розовой. Потом он отнес стакан в гостиную, поставил его на стол, сложил извещение, положил в карман. «Жалкий, презренный трус,— твердил он, усаживаясь.— Ненавижу, ненавижу!» Руки у него тряслись, на лбу выступил холодный пот.

В четыре часа Ли услышал, что Адам возится с ручкой входной двери. Он облизал пересохшие губы, поднялся и не торопясь пошел в прихожую. В руке он держал стакан с розовым раствором, и держал твердо.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

1

Все огни в доме Трасков были зажжены. Кто-то забыл прикрыть дверь на крыльцо, и с улицы несло холодом. Ли сидел в гостиной, в кресле под лампой, съезжившийся и сморщенный, как опавший лист. Дверь в комнату Адама была открыта, оттуда слышались голоса.

Вошел Кейл.

— Что случилось?

Ли посмотрел на него и кивнул головой на стол, где лежало извещение.

— Арона убили. А у отца удар.

Кейл кинулся было в коридор.

— Не ходи туда! — сказал Ли. — Там доктор Эдвардс и доктор Мэрфи. Не мешай им.

Кейл подошел к креслу.

— Это серьезно, Ли, очень серьезно?

— Не знаю. — Он говорил медленно, будто припоминая что-то давно забытое. — Он совсем без сил пришел. Но я все равно прочитал ему телеграмму. Отец должен знать. Я прочитал, а он минут пять повторял ее вслух, как будто ничего не понимал. Только потом, наверное, смысл дошел до него и словно бы взорвался в мозгу.

— Он в сознании?

— Сядь и потерпи, — устало сказал Ли. — Научись терпению. Я и сам пытаюсь.

Кейл взял извещение, пробежал глазами скорбные, беспощадно-суровые и торжественные строки.

Из комнаты появился доктор Эдвардс со своим саквояжем; едва кивнув, он прошествовал через гостиную и вышел из дома, ловко притворив за собой дверь. Доктор Мэрфи поставил саквояж на стол и, вздохнув, сел.

— Доктор Эдвардс поручил мне сообщить наше заключение.

— Как отец? — нетерпеливо перебил Кейл.

— Я скажу все, что известно нам самим, утаивать нет смысла. Кейл, с сегодняшнего дня считай себя главой семьи. Ты представляешь себе, что такое удар? — Не дожидаясь ответа, он продолжал: — В данном случае мы имеем обширное церебральное кровоизлияние. Поражены неко-

торые участки мозга. Небольшие кровоизлияния наблюдались у него и раньше, Ли об этом знает.

— Наблюдались,— отозвался Ли.

Доктор Мэрфи поглядел на него и снова обратился к Кейлу:

— Левая сторона парализована полностью, правая частично. Левый глаз, очевидно, не видит, однако с уверенностью сказать нельзя. Короче говоря, Кейл, твой отец в тяжелом состоянии.

— А говорить он может?

— Немного может, с трудом. Но не стоит его утомлять. Кейл судорожно искал, как спросить.

— Он... Он поправится?

— Я слышал о случаях резорбции в подобном тяжелом состоянии, но самому сталкиваться не приходилось.

— Вы хотите сказать, что он умрет?

— Сие никому не известно. Может неделю протянуть или месяц, а может и год прожить, даже два. А может скончаться сегодня же.

— Он узнает меня?

— Сам увидишь... Я сейчас пришлю сиделку на ночь, а завтра найдешь постоянную.— Доктор Мэрфи поднялся.— Мне очень жаль, Кейл, но ничего не поделаешь. Держись, мой мальчик! Главное сейчас — мужество... Знаешь, меня всегда поражает, как люди находят в себе силы держаться. При любых обстоятельствах. Ну, спокойной ночи! Утром придет Эдвардс.— Он хотел было похлопать Кейла по плечу, но тот отстранился и пошел к отцу.

Голова Адама покоилась на высоко подложенных подушках. Лицо его застыло, кожа была бледная, словно прозрачная, губы вытянулись в прямую линию, ни усмешки в них, ни укоризны. В широко раскрытых глазах была такая ясность и такая глубина, что, казалось, сквозь них можно заглянуть в самую его душу, и они сами словно бы видели насквозь все вокруг. Но смотрели они спокойно и безразлично прямо перед собой. Когда Кейл вошел, взгляд переместился на него, потом уперся ему в грудь, поднялся вверх и остановился на его лице.

Кейл присел на стул подле постели.

— Прости меня, отец.

Веки медленно, по-лягушачьи, опустились и поднялись снова.

— Ты меня слышишь, отец, понимаешь? — Глаза смотрели все так же неподвижно и покойно.— Это я, я виноват! — крикнул Кейл.— Я виноват, что убили Арона, а у тебя вот удар. Я со зла повел его в публичный дом. Со зла мать показал. Поэтому он и убежал в армию. Я не хочу никому во вред делать, у меня так получается, правда!

Он припал лицом к изголовью кровати, чтобы не видеть уставившихся на него ужасных глаз, но они не отпустили его, и он понял, что этот взгляд пребудет с ним до конца жизни, станет частью его самого.

В передней позвонили, и через минуту вошел Ли в сопровождении плотной, с густыми черными бровями женщины. Она раскрыла саквояжик, и из него словно посыпалось наигранное оживление.

— Где он, мой больной, вот этот?! Непохоже, непохоже... Зачем только меня позвали. Да мне тут делать нечего. Он же здоровее нас с вами. Эй, мистер, может, встанете и поможете мне справиться с моими болячками? Такой видный, красивый, неужели оставите бедную женщину? — Одним привычным движением, без видимых усилий она правой рукой приподняла Адама за спину, левой ловко взбила подушки, и, подтянув его повыше к изголовью, опустила на постель.

— Мы ведь любим, когда подушечки прохладные, правда? — тараторила она.— Так-так, замечательно! А где у вас тут туалет? Нам, само собой, утка будет нужна и горшок. И будьте добры, поставьте сюда раскладушку.

— Составьте список,—мрачно отозвался Ли.— И если вам понадобится помощь...

— Какая там помощь! Мы и сами прекрасно управимся, правда же, золотко?

Ли и Кейл убрались в кухню. Ли сказал:

— Хотел заставить тебя поесть, да вот эта особа помешала. Многие считают, что и на радостях еда в охотку, и от горя лучшее средство. Она из таких, это наверняка. Ну что, будешь есть или нет?

Кейл заулыбался.

— Если бы ты стал заставлять, меня бы наизнанку вывернуло. Но раз ты с подходом, то я, пожалуй, умну сэндвич.

— Сэндвичей нет.

— Хочу сандвич.

— Просто поразительно, как мы любим вопреки всякой логике, когда все шиворот-навыворот становится,— сказал Ли.— Даже досада берет.

— А я уже расхотел сандвич,— возразил Кейл.— Там пирожков не осталось?

— Осталось — в хлебнице. Уже, наверное, зачерствели.

Он достал блюдо с пирожками и поставил на стол.

— Люблю, когда черствые.

В кухню влетела сиделка.

— Аппетитно выглядят! — Взяв пирожок, она надкусила его и затараторила, жуя: — Где тут телефон? Аптекарю Крафу позвоню, не возражаете? Заказать кое-что надо. И постельное белье — где у вас белье? Раскладушки тоже не вижу. Вы уже газетку прочитали? Где, говорите, телефон-то? — Взяв еще один пирожок, она исчезла.

— Он что-нибудь сказал? — негромко спросил Ли.

Кейл качал головой, как заведенный.

— Тяжело будет, я знаю. Но доктор прав. Человек, в сущности, удивительное животное, все вынесет.

— А я нет.— Голос Кейла звучал глухо, безразлично.— Я не выдержу. Ни за что не выдержу. Надо кончать... Я должен...

Ли яростно схватил его за руку.

— Щенок! Трус поганый!.. Погляди вокруг себя. Сколько замечательного в жизни, а ты... Только попробуй, зайкнись еще раз... С чего ты взял, что твое горе глубже моего?

— Да не от горя это. Я ему все выложил. Я убил собственного брата. Убийца я — вот кто. Теперь он все знает.

— И он сказал, что ты убийца? Говори прямо, сказал?

— К чему ему говорить. Я и так понял, по его глазам. Его глаза все сказали. Куда мне теперь деться? Нигде мне места нет...

Ли облегченно вздохнул и отнял руку.

— Кейл, выслушай меня, мальчик,— терпеливо начал он.— У Адама поражены некоторые центры головного мозга. Думаю, что кровоизлияние затронуло и зрительные нервы, то есть тот участок в коре, от которого зависит зрение. То, что ты видишь в его глазах,— это скорее всего следствие разрыва кровеносных сосудов в зрительной сфере. Помнишь, он совсем не мог читать? Это не потому, что

у него вдруг испортились глаза. Это от давления. Поэтому нельзя по глазам судить. Откуда тебе знать, обвиняет он тебя или нет.

— Обвиняет, я знаю. Его глаза сказали, что я — убийца.

— Да он простит тебя. Обещаю!

В дверях появилась сиделка.

— Ты что-то обещаешь, Китай? А как насчет обещанного кофейку?

— Сейчас сварю. Как он?

— Уснул, как младенец! Почитать что-нибудь в этом доме найдется?

— Что именно вы бы хотели?

— Что угодно, лишь бы о ногах не думать. Набегалась за день-то.

— Кофе я скоро принесу... А почитать — могу предложить неприличные рассказы, французская королева сочинила. Правда, они, может быть, слишком...

— Тащи их сюда вместе с кофе, — скомандовала она. — А ты бы прилег, парень. Нас тут двое в случае чего. Эй, Китай, не забудь книжку принести!

Ли поставил кофейник на газ и подошел к столу.

— Кейл!

— Чего?

— Сходи к Абре.

2

Кейл стоял на ухоженном крыльце и давил на кнопку звонка. Наконец над ним вспыхнул яркий свет, загремел болт и из-за двери высунулась миссис Бейкон.

— Мне нужно видеть Абру, — сказал он.

— Что?! — переспросила миссис Бейкон и раскрыла от изумления рот.

— Мне нужно видеть Абру.

— Нельзя, она уже спит. Уходи.

— Мне нужно видеть ее! — закричал Кейл. — Неужели не понимаете?

— Уходи немедленно или я позову полицию.

Из дома раздался голос мистера Бейкона:

— Что там такое? Кто это?

— Это не к тебе. Иди ложись, ты же болен. Я сама

разберусь.— Она обернулась к Кейлу: — Вот что, убирайся-ка с моего крыльца. Если опять вздумаешь трезвонить, я вызову по телефону полицию. Вон отсюда! — Дверь захлопнулась, стукнул болт, свет погас.

Кейл стоял в темноте и улыбался, представляя, как к нему подваливает старый Том Мик и интересуется: «Привет, Кейл! Ты чегой-то тут надумал?»

Из-за двери раздался голос миссис Бейкон:

— Ты, вижу, еще здесь? Немедленно уходи! Чтобы духу твоего не было!

Кейл не торопясь прошел по дорожке к калитке и свернул к дому, но на углу его нагнала Абра. Она вся запыхалась от бега.

— Через черный ход выскочила! — объявила она.

— Они же все равно узнают.

— Ну и пусть!

— И ты не боишься?

— Нет.

— Абра,— сказал, помолчав, Кейл.— Я — убийца, из-за меня погиб брат, а отца разбил паралич.

Обеими руками она вцепилась в его руку.

— Ты слышала, что я сказал?

— Конечно, слышала.

— Абра, и мать у меня была проститутка.

— Я знаю, ты говорил. А у меня отец — вор.

— Во мне ее кровь, Абра, неужели ты не понимаешь?

— А во мне — его.

Кейл пытался собраться с мыслями, оба молчали. Дул холодный ветер, и они невольно пошли быстрее, чтобы не продрогнуть. Уже остались позади последние уличные фонари, уже кончилась на краю города мостовая и перешла в проселочную дорогу, которую развезло от весенних дождей, а они все шли и шли в беспросветную мглу по скользкой черной грязи, и сырая от росы трава на обочине хлестала им по ногам.

— Куда мы идем? — спросила Абра.

— Мне хочется убежать. Убежать от отцовских глаз. Они все время передо мной. Я их вижу, даже когда сам закрываю глаза. И так будет всегда. Отец умрет, а его глаза все равно будут смотреть на меня и говорить, что я убил брата.

— Ты его не убивал.

- Нет, убил. И его глаза говорят, что убил.
- Зачем ты так говоришь? Куда мы идем?
- Тут уже недалеко. Котловина, водокачка... и ива. Ты помнишь, там стоит большая ива?
- Да, я помню эту иву.
- У нее ветви свисают до самой земли, и получается как шатер.
- Я знаю.
- И днем, после уроков... когда вовсю светило солнце... вы с Ароном раздвигали ветви и входили туда... и вас не было видно.
- Ты подглядывал?
- Подглядывал,— сказал Кейл и добавил: — А теперь я хочу, чтобы ты со мной пошла под иву. Вот чего я хочу. Она остановилась, он тоже.
- Нет, мы туда не пойдем,— сказала она.— Это будет неправильно.
- Ты не хочешь... со мной?
- Если тебе хочется просто убежать, я не пойду. Ни за что.
- Тогда я не знаю, как мне дальше быть,— сказал он.— Не знаю, что делать. Ну, скажи.
- А ты послушаешь меня?
- Не знаю.
- Давай вернемся?
- Вернемся? Куда?
- Домой к твоему отцу.

3

Из окон кухни лился яркий свет. Ли зажег духовку, и она согревала промозглый воздух.

- Это она заставила меня прийти,— буркнул Кейл.
- Правильно сделала. Я так и думал.
- Он бы и сам пришел,— сказала Абра.
- Этого никто не знает и не узнает,— отозвался Ли. Он вышел из кухни и через минуту вернулся. Ставя на стол глиняную бутылку и три миниатюрные, прозрачные фарфоровые чашечки, сказал:
- Он еще спит.
- А я помню эту штуку,— заметил Кейл.
- Еще бы не помнить.— Ли разлил темного тягучего

напитка по чашечкам.— Надо чуть-чуть отхлебнуть и подержать на языке, а потом уж глотать.

Абра оперлась локтями на стол.

— Ли, вы — человек мудрый. Помогите ему, научите, как примириться с судьбой.

— Я и сам не знаю, умею ли я примириться с судьбой,— вздохнул Ли.— У меня не было случая испытать себя по-настоящему. Я всегда был... сколько раз я сомневался, но мне редко удавалось разрешить свои сомнения. Когда совсем было немоготу, я плакал один.

— Плакал? Ты?!

— Когда умер Самюэл Гамильтон, для меня весь свет померк, как будто единственную свечу задули. Я зажег ее снова, чтобы насладиться его замечательными созданиями. И что же я увидел? Детей его раскидало, смяло, а кое-кого и погубило — словно поработал злой рок... Давайте-ка глотнем еще немного уцзяпи.

— Я должен был сам убедиться,— продолжал он,— что думаю и поступаю глупо. И главная моя глупость состояла вот в чем: я считал, что добро всегда гибнет, а зло живет и процветает.

Мне казалось, что однажды Бог разлюбил людей, которых сам же сотворил из праха, или разгневался на них, и раздул гончарный горн, чтобы обратить их обратно в прах или очистить от вредных примесей.

Мне казалось, что предки передали мне и ожоги от очищающего обжига, и примеси, из-за которых потребовалось разжечь большой огонь. Передали все — и хорошее, и плохое. У вас нет такого чувства?

— Наверное, есть,— ответил Кейл.

— Я не знаю,— сказала Абра.

Ли покачал головой.

— Но это обманчивое чувство и куца мысль. Быть может... — он вдруг умолк.

— Что — быть может? — спросил Кейл, чувствуя, как внутри него разливается теплота.

— Быть может, мы когда-нибудь поймем, что каждый человек без исключения в каждом поколении проходит передел. Разве у мастера, пусть даже в глубокой старости, пропадает желание сделать, например, прекрасный сосуд — тонкий, прозрачный, прочный? — Ли поднял чашку к свету. — Как эта чашка! Чтобы не было никаких примесей,

чтобы получился самый лучший и самый чистый спек — надо много огня. И тогда происходит одно из двух: либо пережег, и тогда выгарок, пустая порода, либо... либо то, к чему никто и никогда не перестанет стремиться,—совершенство.— Ли допил до конца свою чашку и сказал громко: — Кейл, как ты думаешь: то, что нас создало... что бы это ни было... неужели оно бросит начатое дело?

— Не знаю, ничего не знаю,— промолвил Кейл.

В гостиной слышались тяжелые шаги сиделки. Она влетела в кухню и смерила оценивающим взглядом Абру, которая сидела, подперев ладонями лицо.

— Где у вас тут графин? Мы пить захотели. Налейте кипяченой водички, пусть под рукой будет. Мы через рот начали дышать,— сообщила она.

— Он проснулся? — спросил Ли.— А графин, вот он.

— Проснулся и теперь отдохнувший. Я лицо ему протерла и волосы причесала. Хороший больной, спокойный. Он даже улыбнуться мне попробовал.

Ли встал.

— Кейл, пойдем к нему. И ты тоже, Абра. Надо, чтобы вы вместе.

Наполнив над раковиной графин водой, сиделка кинулась вперед.

Когда они по одному вошли в комнату, Адам лежал высоко в подушках. Бледные руки его покойно лежали по бокам, ладонями книзу, и кожа на пальцах разгладилась. Черты воскового лица заострились еще больше. Редкое дыхание пробивалось сквозь полуоткрытые бескровные губы. В голубых глазах отражался тусклый свет ночника над головой.

Ли, Кейл и Абра остановились у изножья кровати. Адам медленно переводил взгляд с одного на другого, и губы его слегка шевелились, словно он хотел поздороваться с ними.

— Вы только посмотрите, разве мы не замечательно выглядим? — пропела сиделка.— За него хоть замуж иди, такой красавчик.

— Перестаньте! — поморщился Ли.

— Нечего беспокоить моего больного.

— Пожалуйста, уйдите отсюда,— сказал он.

— Я расскажу доктору...

Ли решительно повернулся.

— Сейчас же выйдите из комнаты и закройте дверь! Можете даже жалобу доктору подать.

— Я не привыкла, чтобы надо мной китаёзы командовали!

— Уйдите и закройте дверь,— вмешался Кейл.

Сиделка хлопнула дверью, хотя не слишком громко, словно затем, чтобы сказать: она этого так не оставит. Адам моргнул при стуке.

Ли подошел поближе и позвал:

— Адам!

Широко раскрытые голубые глаза задвигались, отозвались на голос и, наконец, замерли, уставившись в блестящие карие глаза Ли.

— Адам, я не знаю, хорошо ли ты меня слышишь и все ли понимаешь. Когда у тебя занемела рука и глаза плохо видели, я постарался как можно больше разузнать про твою болезнь. Но есть вещи, о которых можешь знать один ты. Глаза у тебя останавливаются, но очень может быть, что ум такой же живой и острый. А может быть, твой рассудок сейчас как в дурмане, и ты, словно новорожденный, различаешь только свет и движение.

У тебя поврежден мозг, вероятно, ты уже не тот, кем был раньше. Кто-то совсем другой. Что если твое великодушие перешло в своеволие, а строгая порядочность выродилась в прихоть и каприз? Кроме тебя, на эти вопросы не ответит никто. Адам, ты меня слышишь?

Веки у лежащего дрогнули, опустились, потом поднялись снова.

— Спасибо, Адам. Я вижу, тебе тяжело, очень тяжело. Но я хочу попросить тебя сделать еще одно усилие. Вот твой сын Кейлеб... твой единственный сын. Посмотри на него!

Бледно-голубые глаза обвели комнату и остановились на лице Кейла. Пересохшие губы у того задергались, но он не проронил ни звука.

Тишину опять пререзал голос Ли.

— Адам, я не знаю, сколько ты проживешь. Может быть, очень долго, а, может, каких-нибудь полчаса. Но твой сын — он будет жить. Он возьмет себе жену, и у него родятся дети. Они — единственное, что останется после тебя.— Ли пальцами вытер слезы на глазах.— Адам, он

думал, что ты отвернулся от него, и в минуту обиды и недовольства натворил дел. Из-за этого погиб Арон, его брат и твой сын.

— Ли, не надо... — умоляюще выдавил Кейл.

— Нет, надо! — возразил Ли. — Надо, даже если это будет стоить ему жизни. А у меня как-никак есть выбор, — произнес он печально и процитировал: «Коль будет суд, меня судите». — Он распрямился и сказал твердо: — Твоему сыну на роду написано нести груз вины... да, на роду написано... Груз почти непосильный, самому ему не справиться. Не отвергай его из-за этого, Адам. Не губи своего сына.

Ли дышал тяжело, со свистом.

— Адам, дай ему отцовское благословение. Не оставляй его одного, пожалуйста, Адам, ты меня слышишь? Благослови Кейла!

В глазах Адама на мгновение вспыхнул какой-то необыкновенный яркий свет, потом он прикрыл веки. На лбу у него собрались морщины.

— Ты должен помочь ему, слышишь, Адам! Дай ему возможность еще раз испытать себя. Дай ему свободу. Это единственное, что отличает нас от животных. Сними с него этот груз! Благослови же его!

Адам весь напрягся, стараясь собрать последние силы, даже кровать, казалось, качнулась под ним, дыхание сделалось частым, прерывистым, и вдруг медленно, с трудом он приподнял правую руку, приподнял совсем немного и тут же уронил ее обратно.

Лицо у Ли разом словно бы постарело. Он нагнулся, краем простыни вытер Адаму лоб и, глядя на его закрытые глаза, тихо произнес:

— Спасибо, Адам... Спасибо тебе, друг мой! Ты больше не можешь говорить, да? И все-таки попробуй... Скажи хоть его имя.

Адам устало и безнадежно поднял глаза. Рот у него беззвучно приоткрылся раз, другой... Вдруг он шумно втянул в себя воздух, и тут же задрожавшие губы выдохнули:

— *Тимшел!*

Потом он закрыл глаза и заснул вечным сном, а слово как будто осталось.

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

В начале ноября 1951 года рукопись романа «На восток от Эдема» была отослана издателям. «Неделю тому назад закончил мою книгу,— писал Стейнбек 16 ноября 1951 года в письме художнику Бо Бескову.— Немногим меньше тысячи страниц... Самая длинная и, безусловно, самая тяжелая из всех работ, что я создал. Сейчас вношу исправления и кое-что переписываю, на это уйдет все время до Рождества. Как бы там ни было, работа закончена, но облегчения это не принесло. Мне не хватает ее. Нельзя так долго и так органично быть связанным с чем-то и не испытывать чувства потери, когда оно исчезает... В эту только что законченную книгу я вместил все, о чем я хотел написать всю жизнь. Для меня эта книга с большой буквы. И если она не удалась, значит, все это время я обманывал сам себя... Я всегда ожидал, когда же я, наконец, напишу эту книгу».

Замысел этого романа возник у Стейнбека еще в середине 40-х годов. В 1947 году он начал подготовительную работу. «Я собираю материалы для романа, действие которого происходит в районе между Сан-Луис-Обиспо и Санта-Крус, в основном в долине Салинас,— сообщал он 2 января 1948 года редактору газеты «Салинас-Калифорниен» Паулю Касуэллу.— Время действия — между 1900 годом и нашими днями. Чрезвычайно важная часть моих исследований, естественно, связана с архивами салинасских газет. Смогу ли я ознакомиться с этими архивами? Не знаете ли вы, где сейчас находятся архивы газеты «Индекс-джорнэл», и нельзя ли устроить так, чтобы я получил к ним доступ?»

Через неделю Стейнбек получил телеграмму: «Будем рады предоставить архивы газет Салинаса в ваше распоряжение». Через несколько дней писатель был в Салинасе. Три месяца он изучает материалы для романа, встречается со старыми и новыми знакомыми, расспрашивает старожилов, «возобновляет знакомство с деревьями и рощами», «стоит на ветру и смотрит, как покрываются зеленью склоны холмов». Но, конечно, главное его занятие — работа в архивах, чтение подшивок старых газет.

«Косвенная информация в этих старых газетах — огромна, и это в дополнение к прямой информации,— делился своими соображениями Стейнбек в феврале 1948 года в письме к Паскалю Ковичи.— Я сверил рассказы старожилов с газетами того времени и обнаружил, что старожилы, как правило, не только не точно излагают факты, но и

дают неправильную характеристику тем или иным событиям. Время безжалостно изменяет людей».

В сентябре 1952 года «На восток от Эдема» появился на полках книжных магазинов страны, а в ноябре он уже прочно утвердился на первом месте в списке бестселлеров. Но большая пресса роман не приняла. Еженедельник «Нью-Йоркер» опубликовал язвительную и недоброжелательную рецензию. Журнал «Тайм» писал, что роман «слишком плохо и неумело выполнен, чтобы рассказанная в нем история могла заинтересовать».

Явная предвзятость критиков озадачила Стейнбека. «Не понимаю, что так разозлило его,— писал он по поводу высказываний рецензента «Нью-Йоркера»,— его рецензию иначе, как злой не назовешь. Хотелось бы встретиться с ним и выяснить, почему он так сильно ненавидит эту книгу и боится ее».

Безо всякого восторга роман был встречен и на родине писателя. В Салинасе и его окрестностях потомки первых переселенцев не хотели, чтобы стало известно о том, какими путями создавались их фамильные богатства. Ведь Стейнбек в своем романе на фактическом материале воссоздал прошлое этого края, показал подлинные нравы провинциальной Америки, показал, какими путями наживались состояния: убийством и подкупом, клеветой и шантажом. В романе это хорошо показано на примере семейства Адама Траска.

Критики отмечали, что Траски показаны неубедительно, особенно Кэти, жена Адама. Работая над романом, Стейнбек писал в дневнике: «Теперь о Трасках. Они изумляют меня. Я знаю их досконально, я изучил их родословную. Я понимаю их чувства и их побуждения лучше, чем свои собственные».

Что же касается Кэти, то он делился своими мыслями с одним из друзей: «Ты не веришь в нее, и многие не верят. Я и сам не знаю, верю ли я в нее, но твердо знаю, что она существует. Я не верю в Наполеона, Жанну Д'Арк, Джека-Потрошителя... Я не верю в них, но они существовали. А не верю в них потому, что они не похожи на меня. Ты говоришь, что поверил в нее в самом конце книги. Ага! Именно тогда, когда она из страха стала похожей на всех нас. Так ведь это так и было спланировано».

Стейнбек любил повторять, что события в романе должны развиваться по своим собственным законам, их нельзя ни замедлить, ни поторопить. Умение и мастерство писателя в том и заключаются, чтобы уловить темп смены событий в своей книге и точно следовать ему. Сам Стейнбек делает это с подлинным мастерством. Темп смены событий в романе точно соответствует темпу описываемой жизни. Медленно течет жизнь на ферме Самюэла Гамильтона, и умеренно течет повествование. Но стоит сравнить темп жизни Самюэла с тем, как живут Кейл и Арон, и станет ясно, что писатель сумел отразить смену времен.

С течением времени существенно изменилось и отношение к роману Стейнбека. Сегодня в США роман этот считается классическим, он входит в школьные и университетские программы.

СОДЕРЖАНИЕ

На восток от Эдсма. Перевод А. Михалева, О. Сороки, Г. Злобина * 5

Историко-литературная справка 685

* А. Михалев — главы 1—18; О. Сорока — главы 19—33; Г. Злобин — главы 34—55.

Джон СТЕЙНБЕК

Собрание сочинений
в шести томах

Том V

Редактор тома
Ю. И. Жукова

Оформление художника
Ю. К. Бажанова

Технический редактор
В. Н. Веселовская

ИБ 1988

Сдано в набор 31.01.89. Подписано к печати 12.05.89.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 36,54. Усл. кр.-отт. 37,38. Уч.-изд. л. 39,76.
Тираж 1 700 000 экз. (5-й завод: 850 001--1 100 000).
Заказ № 3192. Цена 4 р. 60 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва.
А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Советская Сибирь».
630048, г. Новосибирск, 48, ул. Немировича-Данченко, 104.

Индекс 70655

